Питер

БИГЛ

Последний единорог

Питер

БИГЛ

Последний единорог

Сканировал и создал книгу

mefysto

Питер
БИГЛ

Последний единорог

•

Соната единорога

•

Нагиня

•

Песня трактирщика

Москва
«ЭКСМО»
2003

Питер

БИГЛ

Последний единорог

Москва
«ЭКСМО»
2003

УДК 820(73)
ББК 84(7США)
Б 59

Peter S. BEAGLE

THE LAST UNICORN
THE UNICORN SONATA
Copyright © Peter S. Beagle, 1996

THE NAGA
Copyright © Peter S. Beagle, 1992

THE INNKEEPER'S SONG
Copyright © Peter S. Beagle, 1993

Серийное оформление художника *А. Саукова*

Серия основана в 2001 году

Бигл П.

Б 59 Последний единорог: Фантастические произведения/Пер. с англ. — М.: Изд-во Эксмо, 2003. — 640 с. (Серия «Шедевры фантастики»).

ISBN 5-699-01979-0

Питера Сойера Бигла называют «непревзойденным мастером «фэнтези», «волшебником слова», его имя ставят в один ряд с именами Льюиса Кэрролла, Джона Р. Р. Толкиена, Урсулы Ле Гуин.

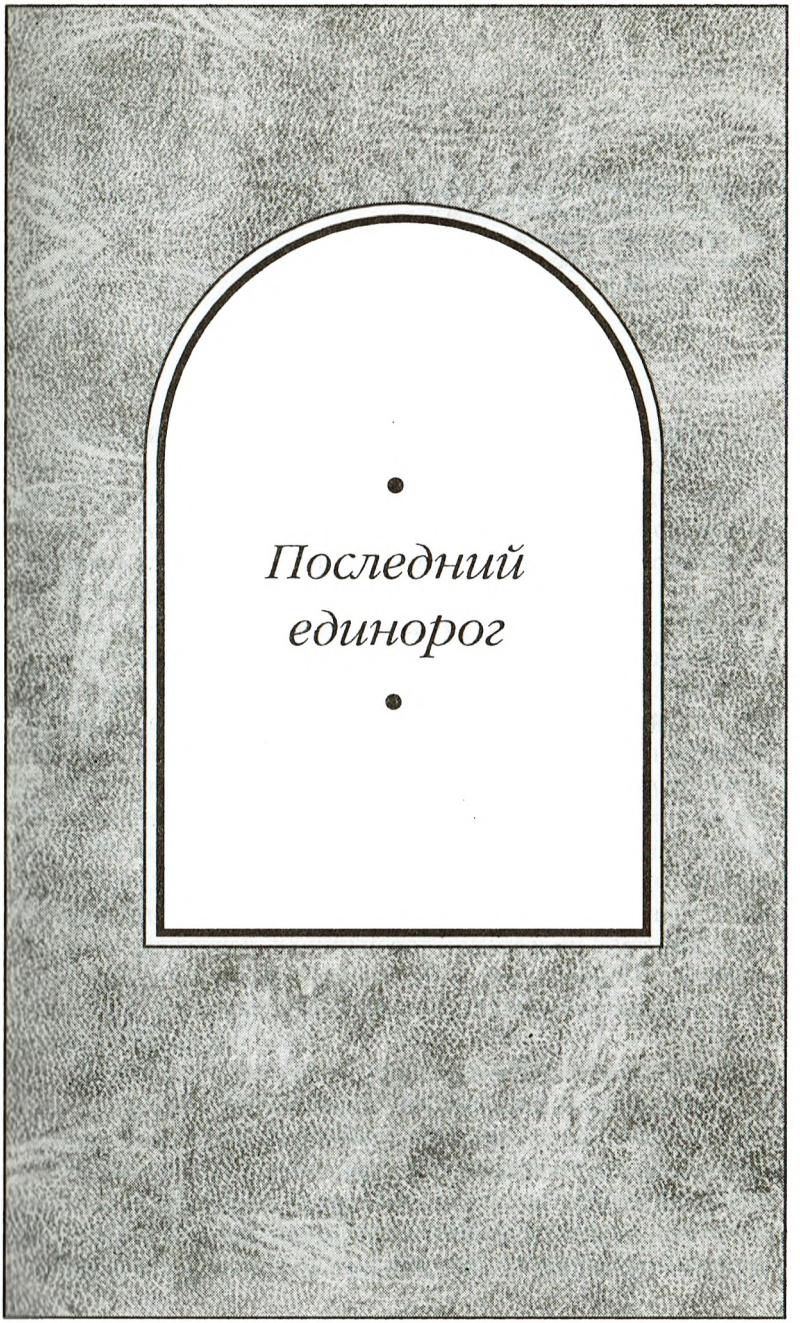
В книгу вошли фантастические романы «Последний единорог», «Соната единорога», «Песня трактирщика» и рассказ «Нагиня». Эти произведения погружают читателя в волшебную страну, где бок о бок живут сатиры и водяницы, дракончики размером с ладонь и двухголовые змеи, птицы феникс и прекрасные гордые единороги...

Смерть и бессмертие, горе и радость, веселье и печаль, шутка и глубокая мудрость — все сплетено в этих фантастических притчах, как в сказке, как в мифе, как в жизни.

УДК 820(73)
ББК 84(7США)

© Ю. Соколов. С. Степашкина, А. Хромова. Перевод. 2003
© ООО «Издательство «Эксмо». Издание на русском языке. Оформление. 2003

ISBN 5-699-01979-0


Последний
единорог

Светлой памяти доктора Олферта Дэппера, встретившего единорога в лесах штата Мэн в 1673 году, и Роберту Натану, видевшему одного или двух в Лос-Анджелесе.

Глава 1

Она жила в сиреневом лесу в полном одиночестве. Она была очень стара, хотя не знала об этом, и не беззаботную морскую пену напоминала теперь ее белизна, а снег, искрящийся в лучах Луны. Но по-прежнему живыми и ясными оставались глаза ее, и двигалась Она легко, словно тень облачка по волнам.

Она была совсем не похожа на тех однорогих лошадей, которых люди рисуют в книжках и называют единорогами. Она была меньше лошади, копыта ее были раздвоены, и была Она прекрасна той древней и дикой красотой, которой никогда не было у лошадей, которой стыдливо и неубедительно подражают олени и шутовски пародируют козы. Длинная и стройная шея делала ее голову меньше, чем она была на самом деле, а грива, ниспадавшая почти до середины спины, была мягкой, как пух, и легкой, как дымка. У нее были остроконечные уши и тонкие ноги с пучками белых волос на лодыжках, длинный рог над глазами сиял перламутровым светом даже в глубокую полночь. Им Она убивала драконов, исцеляла королей и сбивала наземь спелые каштаны для медвежат.

Единороги бессмертны. Они живут уединенно, обычно в лесу у заводи с чистой водой, в которой можно видеть отражение, — ведь они немного тщеславны и знают, что на свете нет существ столь же прекрасных и волшебных. Единороги редко соединяются в пары, и нет места таинственнее, чем то, где был рожден единорог. В последний раз она видела другого единорога так давно, что с тех пор даже язык переменился

в окрестных селах и невинные девушки звали ее уже иначе, но Она не знала ни о месяцах, ни о столетиях, ни даже о временах года. В ее лесу всегда была весна, потому что Она жила в нем и целый день странствовала среди громадных буков, наблюдая за всеми, кто обитал на земле и в кустах, в гнездах и в пещерах, в норах и на вершинах деревьев. Поколение за поколением волки и кролики охотились, паслись, любили, рожали детенышей и умирали, а так как сами единороги ничего подобного не делают, Она никогда не скучала, наблюдая за ними.

Однажды по следу оленя в ее лес заехали два охотника с длинными луками. Она шла за ними так тихо, что даже лошади не почувствовали ее близости. Вид людей постепенно наполнил ее странным и древним ощущением нежности и ужаса. Обычно Она никогда не позволяла увидеть себя, но ей нравилось незамеченной следовать за всадниками и слушать их разговоры.

— Не по себе мне в этом лесу, — проворчал старший охотник. — Там, где живет единорог, и простые звери потихоньку обучаются волшебству: в основном умению колдовски исчезать. Мы не найдем здесь дичи.

— Ну, если единороги когда-то и жили на свете, то уже давно исчезли, — возразил второй. — Да и лес тут такой же, как везде.

— А почему здесь никогда не опадают листья и не идет снег? Нет, что ни говори, здесь живет последний на свете единорог — долгих лет ему, одинокому бедняге, — и пока он жив, ни один охотник не привезет из этого леса даже синицы. Поехали дальше, сам убедишься. Уж я-то их знаю, единорогов.

— Из книг ты их знаешь, — отозвался другой, — да сказок и песен. При трех последних королях о единорогах не было и слуха. Так что знаешь ты о них не больше меня. И я книжки читал те же, истории слушал те же и, как и ты, ни разу не видел ни одного единорога.

Охотники помолчали какое-то время, потом первый задумчиво произнес:

— Моя прабабушка однажды видела единорога. Когда я был совсем мал, она часто рассказывала мне об этом.

— О, в самом деле? И, конечно, она поймала его золотой уздечкой?

— Что ты, откуда ей было взяться у прабабушки! Это сказки. Чтобы поймать единорога, нужно чистое сердце, а не золотая уздечка.

— Да-да, — хихикнул молодой человек, — и она ехала под деревьями на своем единороге без седла, как нимфа в дни юности мира?

— Моя прабабушка боялась больших зверей, — сказал первый охотник. — Она и не пыталась сесть верхом на него, а словно замерла, и единорог положил ей голову на колени и уснул. Она не пошевельнулась, пока он не проснулся.

— И на кого же он был похож? Плиний пишет, что единорог весьма свиреп, имеет тело лошади, голову оленя, ноги слона, хвост медведя, низкий голос и черный рог длиной в два локтя. А китайский...

— Моя прабабушка говорила только, что от него приятно пахло. Она терпеть не могла запаха зверей, даже коровы или кота, а уж о диких и говорить не приходится. А вспоминая этот запах, она даже расплакалась однажды. Конечно, она была уже очень стара и легко плакала, когда что-нибудь напоминало ей юность.

— Давай-ка повернем и попытаем счастья в другом месте, — внезапно сказал второй охотник.

Она тихо отступила в чащу и последовала за охотниками, лишь когда они вновь оказались впереди. Охотники приближались к опушке, когда второй тихо спросил:

— Как ты думаешь, почему единороги исчезли, если они все-таки существовали?

— Кто знает? Времена меняются. Как по-твоему, этот век хорош для единорогов?

— Конечно, нет, но разве раньше-то было лучше? Кажется, слышал я, что... нет, тогда я был навеселе или думал о другом. А, чепуха... Поспешим, пока еще светло для охоты!

Они выбрались на край леса и пришпорили лошадей. Первый охотник обернулся и, словно увидев притаившегося в тени единорога, крикнул:

— Оставайся здесь, бедняга. Этот мир не для тебя. Оставайся в своем лесу, храни зелень деревьев и долголетие друзей. И не обращай внимания на молодых девиц — из них по-

лучаются всего лишь глупые старухи, не более. Счастливо! — и он исчез вдали.

Еще стоя у края леса, Она громко сказала:

— Я — единственный на свете единорог. — Это были первые слова, произнесенные ею за последние сто лет. И все же такого не может быть, подумала Она. Жизнь в одиночестве, без встреч с другими единорогами ее не пугала, ведь Она знала, что подобные ей существуют на свете, а для того, чтобы единорог не чувствовал себя одиноким, большего и не требуется. — Но надо узнать, здесь остальные или нет. Ведь тогда мне тоже надо уйти. То, что случилось с ними, должно случиться и со мной.

Собственный голос испугал ее, и ей захотелось бежать. Быстрая и светящаяся, Она неслась по темным тропинкам своего леса, пересекая внезапно возникающие прогалины, ослепляющие зеленью трав или погруженные в полумрак, ощущая все, что окружало ее, — от трав, ометающих ноги, до серебряно-синих вспышек в колеблемых ветром листьях. «Нет, я не могу оставить все это, никогда-никогда, даже если я и в самом деле последний единорог на свете. Я знаю, как жить здесь, знаю любую травинку, ее запах и вкус. Что нужно мне во всем свете, кроме моего леса?»

Но когда Она наконец остановилась и тихо стояла, прислушиваясь к карканью ворон и ссоре белок над головой, ей пришла в голову мысль: «А вдруг они собрались все вместе и ускакали далеко-далеко? А если они спрятались и поджидают меня?»

И с этого момента Она не знала покоя... С той минуты, когда впервые представила себе, что покидает лес, Она не могла стоять на одном месте. Беспокойная и несчастная, сновала Она туда-сюда у своей заводи. Единороги не должны выбирать, они не созданы для этого. Днем и ночью Она говорила себе и «нет» и «да» и снова «нет», и впервые узнала, что минуты могут ползти как гусеницы. «Я никуда не пойду. То, что люди какое-то время не видели ни одного единорога, еще не значит, что их больше нет, а если это и правда, я все равно никуда не пойду. Здесь мой дом».

Но наконец однажды ночью Она проснулась и сказала себе: «Да, сейчас». Она спешила, стараясь не видеть ничего вокруг, не ощущать запахов, пытаясь не чувствовать раздвоен-

ными копытами свою землю. Видящие в темноте звери — совы, лисы, олени — поднимали головы, следя за нею, но Она не смотрела на них. «Я должна идти быстро, — думала Она, — и быстро вернуться назад. Может быть, мне не придется идти далеко. Но найду я их или нет, я вернусь назад очень скоро, вернусь сразу, как только почувствую, что могу вернуться».

Под лучами луны дорога, которая вела от края леса, светилась, как на воде, но когда, словно вырвав себя из чащи, Она ступила на нее, то почувствовала, как та тверда и длинна. Она хотела вернуться назад, но вместо этого лишь глубоко вдохнула еще ощутимый запах леса и надолго задержала его в груди.

Длинная дорога спешила неизвестно куда и была бесконечна. Она бежала через деревни и городки, сквозь горы и равнины, по каменистым пустошам и сочным лугам, не становясь их частью и нигде не отдыхая. Дорога мчала единорога вперед, подгоняла, не позволяя остановиться и привычно прислушаться. Ее глаза постоянно были запорошены пылью, а грива стала тяжелой и жесткой от грязи.

В ее лесу время всегда шло мимо нее, теперь же, в дороге, Она шла сквозь время. Менялся цвет листвы, звери одевались в плотные зимние шубы и сбрасывали их; облака, гонимые разными ветрами, то медленно ползли, то неслись, то розовели и золотились в лучах солнца, то лиловели от приближающейся бури. И куда бы Она ни шла — всюду искала Она своих сородичей, но не находила даже следа, даже имени в языках, что звучали у дороги.

Однажды ранним утром, собираясь свернуть с дороги и поспать, Она увидела человека, копавшегося у себя в саду. Она знала, что лучше спрятаться, но почему-то стояла и тихо наблюдала за его работой, пока, разогнувшись, он не увидел ее. Человек был толст, и щеки его дрожали, как студень.

— О, — сказал он, — ты прекрасна. — И когда он снял свой пояс, сделал на нем петлю и неуклюже направился к ней, Она скорее обрадовалась, чем испугалась.

Все было правильно. Человек узнал ее и делал то, что следует делать человеку: полоть репу и пытаться поймать ее,

неуловимую и сверкающую. Она уклонилась от его первого броска так легко, будто ее отнесло дуновением ветерка.

— Раньше на меня охотились с колоколами и знаменами, — сказала Она, — тогда люди знали, что меня можно поймать, лишь сделав охоту настолько удивительной, чтобы я от любопытства подошла поближе. Но даже тогда меня ни разу не поймали.

— Я поскользнулся, — ответил толстяк. — Берегись, красотка!

— Не понимаю, — удивилась Она, пока тот поднимался с земли. — Зачем ты ловишь меня, для чего я тебе?

Человек метнулся вновь, и Она ускользнула от него, как дождь в землю.

— Не думаю, чтобы ты понимал себя самого, — сказала Она.

— Ну-ну, потише. — Его потное лицо было измазано, человек ловил ртом воздух. — Красотка, — проговорил он, задыхаясь. — Прелестная кобылка.

— Кобылка? — Она протрубила это слово так пронзительно, что человек остановился и закрыл уши руками. — Кобылка?! — возмутилась Она. — Это я — лошадь?! Так вот за кого ты меня принимаешь?! Так вот кого ты видишь?!

— Добрую лошадку, — пропыхтел толстяк. Он вытирал лицо, опершись о забор. — Вымыть тебя да вычистить, в любом месте сойдешь за самую красивую старую кобылку. — Он вновь протянул руку с ремнем. — Отведу тебя на ярмарку, — сказал он. — А ну, лошадка, ко мне!

— Лошадь, — сказала Она. — Так ты хочешь поймать лошадь. Белую кобылу с гривой, полной репьев.

Когда толстяк приблизился к ней, Она зацепила ремень рогом, вырвала его и закинула через дорогу в заросли маргариток.

— Это я-то лошадь? — презрительно фыркнула Она.

На мгновение толстяк оказался очень близко к ней, и ее громадные глаза заглянули в его маленькие усталые и изумленные смотрелки. Потом Она повернулась и понеслась по дороге так быстро, что видевшие ее говорили вслед: «Вот это да! Вот это настоящая лошадь!» А один старик тихо сказал сидевшей рядом жене: «Это арабская лошадь. Помню, в порту я видел однажды такую».

С этого времени Она старалась избегать городов даже ночью, разве только когда город нельзя было обойти стороной. И все-таки несколько раз ее пытались поймать, но всякий раз так, как ловят убежавшую белую кобылу, а не веселым и почтительным способом, приличествующим для единорога. Люди несли с собой веревки и сети, подманивали ее кусками сахара, свистели ей, звали ее Бесс и Нелли. Иногда Она замедляла свой бег, так, чтобы их лошади могли почуять ее, и смотрела, как пятились и взвивались на дыбы кони, унося перепуганных седоков. Лошади всегда узнавали ее. «Как же это? — удивлялась Она. — Я могла бы понять, если бы люди совсем забыли или до смерти возненавидели единорогов. Но долго не видеть, а потом смотреть на единорога и не узнавать — какими же тогда они видят самих себя, деревья, дома, лошадей, собственных детей, наконец?!»

Иногда она думала: «Если люди теперь не понимают, что видят, то в мире могут быть и другие единороги, о которых никто не знает и которые вполне счастливы этим». Но, несмотря на надежду и тщеславие, Она понимала, что люди изменились и мир вместе с ними, потому что ушли единороги. И Она все бежала и бежала вперед по твердой дороге и с каждым днем все больше жалела, что покинула свой лес.

Однажды подгоняемый ветром мотылек сел на кончик ее рога. На его темных бархатных крыльях блестели золотые пятнышки, он был легок, как лепесток. Приплясывая, он отсалютовал ей изогнутыми усиками: «Приветствую, я странник и игрок».

Впервые за все время странствий Она рассмеялась.

— Мотылек, почему ты летаешь в такой ветер? — спросила Она. — Ты простудишься и умрешь раньше времени.

— Смерть забирает у мужа то, что он хотел бы удержать, — ответил мотылек, — и оставляет то, что он охотно бы потерял. Дуй, ветер, дуй, пусть лопнут щеки. Я грею руки у пламени бытия, и это меня утешает. — Он темнел на кончике ее рога, как кусочек сумерек.

— Ты знаешь меня, мотылек? — с надеждой спросила Она, и он ответил:

— Прекрасно — ты торгуешь рыбой. Ты все, что угодно, ты мой солнечный свет, ты стара, седа и сонлива, ты моя кислолицая чахоточная Мэри Джейн. — Он остановился и,

трепеща крылышками на ветру, добавил: — Твое имя — это золотой колокольчик, подвешенный в моем сердце. Я разорвался бы на части, чтобы хоть однажды назвать тебя по имени.

— Ну, скажи его, — просила Она. — Если ты знаешь мое имя, скажи мне.

— Румпельстилтскин, — радостно провозгласил мотылек. — Попалась! Ты не получишь медали!

Поблескивая, он плясал на ее роге, подпевая себе:

— Придешь ли домой ты, Билл Бейли, придешь ли ты домой, куда однажды не смог ты вернуться? Гнись пониже, Уинсоки, и лови с небес звезду. Грязь лежит себе тишком, кровь зовет, бушует, бродит, потому-то смельчаком я зовусь в своем приходе. — В белом сиянии рога глаза его светились красными огоньками.

Она вздохнула и, удивленная и разочарованная, побрела дальше. Все правильно, подумала Она. Разве мотылек может ее знать? Это барды и менестрели — все-то у них стихи да песни, что свои, что чужие... Душа-то у них добрая, а вот пути кривые. И почему у них должен быть прямой характер, ведь они так рано умирают...

Мотылек важно разгуливал перед ее глазами и распевал:

— Раз, два, три, о'лиари. Нет, о утешение бренной плоти, не пойду я по уединенной дороге. Что за ужасные минуты считает тот, кто в детство впал, но сомневается. Блаженство, поспеши и приведи рой яростных фантазий, откуда я повелеваю и который назначен на продажу по договорным летним ценам, в течение трех дней он будет продаваться. Я люблю тебя, люблю тебя; о ужас, ужас, прочь, ведьма, прочь, хромать плохое выбрала ты место, о ива, ива, ива. — Его голос серебром звенел в ее голове.

Он путешествовал с ней до конца дня, но когда солнце садилось и розовые рыбки заполнили небосвод, он взлетел с ее рога и вежливо сказал:

— Простите, я боюсь опоздать на поезд. — Сквозь его бархатные с тонкими черными жилками крылья Она могла видеть облака.

— Прощай, — сказала Она, — надеюсь, ты услышишь еще много песен.

С мотыльками, знала Она, лучше было прощаться имен-

но так, но вместо того чтобы улететь, он поднялся над ее головой в голубом вечернем воздухе, слегка волнуясь и потеряв удаль.

— Лети, — велела Она. — Уже очень холодно.

Но мотылек медлил, что-то бормоча:

— Они ездят на конях, которых вы называете Македонскими, — рассеянно провозгласил он нараспев и тут же ясно, четко произнес: — Единорог по-старофранцузски — unicorne, по-латыни — unicornis, дословно означает «однорогий»: unus — один, corne — рог. Сказочное животное, напоминающее лошадь с одним рогом. О, я — кок и капитан из команды брига «Нэнси». Кто-нибудь здесь видел Келли? — Он весело важничал в воздухе, и первые светлячки с удивлением мерцали вокруг него.

Она настолько удивилась и обрадовалась, услышав наконец свое имя, что пропустила мимо ушей слова о лошадях.

— Ты знаешь меня! — в восторге закричала Она, и дуновение ее слов унесло мотылька на двадцать футов в сторону. Когда он с трудом опять добрался до нее, Она попросила: — Мотылек, если ты действительно знаешь меня, скажи мне, видел ли ты таких, как я, скажи, куда мне идти, чтобы найти их? Куда они делись?

— Мотылек, мотылек, где спрячусь я? — запел он в сумерках. — Сейчас появится влюбленный и горестный дурак. Дай бог, чтобы моя любовь была в моих объятиях, а я бы с ней в своей постельке. — Он опять опустился на ее рог, и Она почувствовала, что мотылек дрожит.

— Пожалуйста, — сказала Она, — я только хочу знать, если ли на свете еще единороги. Мотылек, скажи мне, что есть, я поверю тебе и вернусь в свой лес. Я обещала скоро вернуться, а брожу уже так долго.

— Через лунные горы, — начал он, — долиной тени, смело, смело ступай. — Тут он остановился и странным голосом произнес: — Нет, нет, не слушай меня. Послушай, ты можешь найти свой народ, если будешь храброй. Давным-давно прошли они по дорогам, и Красный Бык бежал за ними по пятам. Пусть ничто тебя не пугает, но и не чувствуй себя в полной безопасности. — Его крылья касались кожи единорога.

— Красный Бык? — спросила Она. — Кто это?

Мотылек запел:

— За мной, за мной, за мной, за мной, за мной. — Но затем резко замотал головкой и сообщил: — Величествен бык — первенец его, и рога быка, как у дикого тура. Ими он отбросит все народы за край земли. Слушай, слушай, слушай скорее.

— Я слушаю! — вскричала Она. — Где же мой народ и кто такой Красный Бык?

Подлетев поближе к ее уху, он расхохотался.

— В кошмарах я ползаю по земле во мгле, — запел он. — Собачки Трей, Бланч и Су лают на меня, они, как маленькие змеи, шипят на меня, бродяги приходят в город. И наконец ударили в колокола.

Какое-то мгновение он еще плясал перед нею во мгле, а потом упорхнул в фиолетовую тень у обочины, демонстративно распевая:

— Это ты или я мотылек! Рука в руке, рука в руке... — В последний раз он мелькнул меж деревьями, но он ли это был... Глаза могли обмануть ее, ведь ночь уже была полна крылатых.

«По крайней мере, он узнал меня, — грустно подумала Она. — Это все-таки что-то значит. Нет, — тут же возразила Она себе, — ничего это не значит, кроме того, что кто-то однажды сочинил песню или стихи о единорогах. Но Красный Бык... Что он имел в виду? Другую песню?»

Она медленно шла вперед, вокруг нее смыкалась ночь. Низкое небо было почти угольно-черным, кроме желто-серебряного пятна там, где за толстыми облаками шествовала луна. И она тихо запела песню, которую давным-давно слышала от молодой девушки в своем лесу:

Рыбы пойдут по земле, милый мой,
Прежде чем жить ты станешь со мной.
Вырастет лес у меня на окне,
Прежде чем ты возвратишься ко мне.

Хотя Она и не понимала слов, песня заставила ее затосковать о доме. И вдруг ей показалось, что, вступив на дорогу, она услышала, как осень зашумела в ее березках. Наконец Она легла в холодную траву и заснула. Единороги — самые осторожные существа на свете, но если они спят, то спят крепко. И все равно, если бы ей не пригрезился родной лес, Она вскочила бы, едва заслышав в ночи приближающийся

шум и позвякивание, даже если бы колеса были обмотаны тряпками, а у маленьких колокольчиков были подвязаны язычки. Но Она была далеко, так далеко, что никакие колокольцы не были слышны в этой дали, и Она не проснулась.

Худые черные лошади тянули девять задрапированных в черное фургонов, они щерились зубами своих полосатых боков, когда ветер отбрасывал черные занавески. Передним фургоном правила приземистая старуха. На занавешенных боках его крупными буквами было написано: «Полночный карнавал Мамаши Фортуны», а ниже более мелко: «Порождение ночи — пред ваши очи».

Едва первый фургон поравнялся с местом, где спала Она, старуха внезапно остановила своего черного коня. Когда она уродливо спрыгнула на землю, встали и остальные фургоны. Бесшумно пробравшись к единорогу, старуха долго смотрела на белого зверя и наконец сказала:

— Вот тебе и раз, клянусь огрызком, оставшимся от моего старого сердца, это последняя из них. — Слова ее оставляли в воздухе запах меда и пороха. — Если бы она только знала это, — улыбнулась старуха, показывая лошадиные зубы, — ну, я-то не проболтаюсь.

Она посмотрела назад на черные фургоны и дважды щелкнула пальцами. Возницы второго и третьего фургонов спрыгнули на землю и подошли к ней. Один из них был невысок, смугл и столь же безжалостен, как и она, другой, худой и длинный, казался нескладным до нелепости. На нем был старый черный плащ, глаза его были зелены.

— Ну, и кто это? — спросила старуха у коротышки. — Как по-твоему, Ракх?

— Мертвая лошадь, — ответил тот. — Э, нет, не мертвая. Ее можно скормить мантикору или дракону. — Его хихиканье напоминало чирканье спички.

— Ты глуп, — сказала ему Мамаша Фортуна. — Ну а ты, колдун, провидец, тамматург? — обратилась она к другому. — Что же видят очи чудотворца, ясновидца и волшебника? — И вместе с Ракхом они залились смехом, как заливается лаем гонящая оленя свора. Однако когда она увидела, что высокий, не отрываясь, глядит на единорога, смех затих. — Ну, отвечай, фокусник, — ворчливо потребовала она; но высокий даже не повернул головы. Тогда, вытянув клешней

свою костлявую руку, старуха повернула его голову к себе. Глаза его опустились под ее желтым взглядом.

— Лошадь, — пробормотал он, — белую кобылу.

Мамаша Фортуна долго смотрела на него.

— И ты тоже глуп, волшебник, — наконец выдавила она со смехом, — но ты больший дурак, чем Ракх, и более опасный. Он врет только от жадности, ты же — от страха. Или от доброты. — Волшебник ничего не ответил, и Мамаша Фортуна рассмеялась. — Хорошо, — сказала она, — это белая кобыла. И я хочу иметь ее в своем «карнавале». Девятая клетка пустует.

— Мне нужна веревка, — отозвался Ракх. Он уже хотел было повернуться, но старуха остановила его.

— Только одна веревка могла бы удержать ее, — сказала она. — Та веревка, которой древние боги связали волка Фенрира. Она была сплетена из дыхания рыб, слюны птиц, женских бород, мяуканья кошки, медвежьих жил и еще из чего-то. Ах да, из корней гор. А так как ничего этого у нас нет и гномы не совьют нам веревку, то придется обойтись железной решеткой. Я погружу ее в сон. — И руки Мамаши Фортуны что-то связали в ночном воздухе, а из ее горла вырвалось несколько неприятно прозвучавших слов. Когда старуха закончила заклинание, от единорога запахло молнией.

— Ну а теперь поместите ее в клетку, — сказала она мужчинам. — Она проспит до рассвета, какой бы шум вы ни подняли, если только по присущей вам глупости вы не станете трогать ее руками. Разберите на части девятую клетку и соберите вокруг нее. И помните: рука, осмелившаяся коснуться ее гривы, мгновенно и заслуженно превратится в ослиное копыто. — Она снова насмешливо посмотрела на худого длинного человека. — А маленькие фокусы, волшебник, станут теперь для тебя еще труднее, — сопя сказала она. — Живо за работу. До рассвета уже недолго.

Когда она скользнула в тень фургона, как кукушка внутрь часов, и слова уже не могли донестись до нее, Ракх сплюнул и с любопытством произнес:

— Что же это обеспокоило старую каракатицу? Почему мы не можем тронуть эту тварь?

Волшебник ответил ему мягким, почти неслышным голосом:

— Прикосновение человеческой руки пробудило бы ее даже от самого глубокого сна, который способен наложить разве что дьявол, но уж не Мамаша Фортуна.

— Ну ей хотелось бы, чтоб мы поверили в обратное, — усмехнулся темноволосый. — Ослиные копыта! Тьфу! — Но при этом он глубоко засунул руки в карманы. — И что же может разрушить чары? Это же просто старая белая кобыла.

Но волшебник уже шел к последнему из черных фургонов.

— Поспеши, — отозвался он, — скоро утро.

Весь остаток ночи они разбирали девятую клетку, ее пол, крышу, решетку, и окружали ею спящего единорога. Ракх толкал дверь, проверяя замок, когда меж серых деревьев на востоке заполыхало и Она открыла глаза. Они поспешно отскочили от клетки, но волшебник, оглянувшись, увидел, что единорог, мотая головой, как старая лошадь, оглядывает прутья решетки.

Глава 2

Девять черных фургонов «Полночного карнавала» при свете дня не казались такими большими и зловещими. Они были хрупки и ломки, как сухие листья. Драпировки исчезли — фургоны украшали сшитые из одеял печальные черные знамена и вьющиеся на ветру короткие черные ленты. Странным было их расположение на поросшем кустарником поле: в сложенном из клеток пятиугольнике находился треугольник, а в центре его стоял фургон Мамаши Фортуны. Лишь он был закрыт черным занавесом, надежно скрывающим содержимое. Самой Мамаши Фортуны нигде видно не было.

Ракх медленно вел толпу селян от клетки к клетке, сопровождая путь мрачными комментариями:

— А вот здесь — мантикор. Голова человека, тело льва, хвост скорпиона. Пойман в полночь за едой: лакомился оборотнем. Порождения ночи — пред ваши очи. Это дракон. Время от времени изрыгает пламя, обычно на тех, кто его дразнит, малыш. Внутри у него ад, но кожа обжигает холодом. Плохо говорит на семнадцати языках, страдает подагрой. Сатир. Дам прошу держаться подальше. Настоящий

безобразник. Пойман при любопытных обстоятельствах, мужчины могут ознакомиться с ним за дополнительную плату после завершения осмотра.

Стоя возле клетки единорога, одной из трех внутренних клеток, высокий волшебник наблюдал за ходом процессии вдоль внешнего пятиугольника.

— Я не должен был находиться здесь, — сказал он единорогу. — Старуха велела мне держаться подальше от вас. — Он довольно хихикнул: — Она издевается надо мной с того самого дня, как я стал у нее работать, но ей и самой достается от меня.

Она почти не слышала его. Она крутилась и вертелась в своей тюрьме, и тело ее сжималось от одной мысли о прикосновении окружавших ее железных прутьев. Ни одно из населяющих ночь существ не любит железа, и хотя Она могла терпеть его присутствие, убийственный запах железа, казалось, превращал ее кости в песок, а кровь в дождевую воду. Прутья ее клетки, должно быть, были заколдованы — они все время переговаривались друг с другом бессмысленными когтистыми голосами. Тяжелый замок хихикал и скулил, как сумасшедшая обезьяна.

— Кто это там? — повторил волшебник слова Мамаши Фортуны. — Кто это там, в клетках? Скажите мне, что вы видите.

Железный голос Ракха звенел под нависшим низким небом:

— Привратник преисподней. Как видите — три головы и плотная шуба из гадюк. В последний раз на земле был во времена Геркулеса, вытащившего его на свет божий под мышки. Мы выманили его сюда деньгами. Цербер. Посмотрите-ка в эти шесть красных жуликоватых глаз. Настанет день — и вы, должно быть, вновь увидите их. А теперь — к Змее Мидгарда. Сюда.

Сквозь прутья Она смотрела на животное в клетке и не верила глазам.

— Ведь это всего лишь собака, — прошептала она, — голодная несчастная собака с одной головой и облезлой шерсткой. Как же они могут принять ее за Цербера? Может, они слепы?

— Глядите внимательнее, — сказал волшебник.

— А сатир, — продолжала Она. — Сатир — это обезьяна, старая хромая горилла. Дракон же — просто крокодил, который скорее будет поглощать рыбу, чем извергать огонь. А великий мантикор — это лев, очень славный лев, но не более чудовищный, чем все остальные звери. Я ничего не понимаю.

И словно ее глаза привыкли к темноте, Она стала замечать еще по фигуре в каждой клетке. Гигантами возвышались они над узниками «Полночного карнавала», из которых они вырастали, как кошмарное видение из породившего его зерна истины. Мантикор с голодными глазами и слюнявым ртом изгибал хвост с ядовитой колючкой, пока она не оказалась у него над ухом, но был в клетке и лев, удивительно малый рядом с мантикором. И все же оба они составляли единое целое. От удивления Она топнула ногой.

То же было и в других клетках. Тень дракона открывала рот и, шипя, выбрасывала безвредный огонь, заставляя зевак задыхаться и ежиться от страха; опушенный змеями сторожевой пес Ада выл в три голоса, призывая разорение и погибель на головы тех, кто его предал; хромой сатир подозрительно близко подбирался к решетке, лукаво обещая молодым девушкам невероятное наслаждение, сейчас же, здесь, на людях. Крокодил же, обезьяна и печальная собака таяли рядом с призраками и становились смутными тенями даже в не поддающихся обману глазах единорога.

— Какое странное колдовство, — мягко промолвила Она. — В нем больше сходства, чем магии.

Волшебник рассмеялся с удовольствием и явным облегчением.

— Хорошо, действительно хорошо сказано. Я знал, что старое пугало не обманет вас своими грошовыми чарами. — Его голос стал твердым и таинственным. — Теперь она сделала свою третью ошибку, — сказал он, — и это, по крайней мере, на две ошибки больше, чем может позволить себе старая фокусница. Время близится.

— Близится время, — будто подслушав, говорил толпе Ракх, — Рагнарок. В этот день падут боги, и Змея Мидгарда извергнет море яда на великого Тора, и падет он, как отравленная муха. А пока змея ждет судного дня и грезит о буду-

щем. Не знаю, может, все будет и по-другому, порождения ночи — перед ваши очи.

Клетку заполняла змея. Не было ни головы, ни хвоста, лишь волна черноты катилась от одного края клетки к другому, не оставляя места ничему другому, кроме своего чудовищного колыхания. И только единорог видел свернувшегося в середине клетки мрачного боа, быть может, лелеявшего мысль о собственном судном дне над «Полночным карнавалом». Но в тени змеи очертания его были призрачны и неясны.

Некто весьма деревенского вида воздел руку и потребовал у Ракха ответа:

— Если эта большая змея в самом деле обвивает мир, то как же вы можете уместить ее часть в этой клетке? И если, вытянувшись, она расплещет моря, то почему она не разорвет ваш «карнавал», как нитку бус?

Раздался одобрительный ропот, самые осторожные попятились от клетки.

— Рад, что ты спросил меня об этом, друг, — немедленно подхватил Ракх. — Понимаешь, Змея Мидгарда обитает в ином пространстве, в другом измерении. Поэтому обычно она невидима, но если затащить ее в наш мир, как сделал когда-то Тор, она станет видна, как молния, которая тоже прилетает к нам неведомо откуда, где она выглядит совсем по-другому. Конечно, она могла бы разозлиться, если бы узнала, что кусок ее пуза ежедневно и по воскресеньям выставлен на обозрение у Мамаши Фортуны в «Полночном карнавале». Но у нее есть заботы посерьезнее, чем размышлять о своем пупочке, вот мы и пользуемся ее благоволением. — Он раскатал последнее слово, как кухарка тесто, и слушатели осторожно засмеялись.

— Магия сходства, — сказала Она, — старуха не может ничего сотворить...

— Или изменить, — добавил волшебник. — Суть ее жалкого мастерства — умение выдавать одно за другое. И даже эти трюки не удались бы ей, если бы не верящие во что угодно глупцы и простаки. Она не сумеет превратить сливки в масло, но придаст льву внешность мантикора в глазах, желающих его видеть, в глазах, которые примут настоящего мантикора за льва, дракона за ящера, а Змею Мидгарда за землетрясение. И единорога — за белую кобылу.

Она прекратила свое отчаянное медленное кружение по клетке, вдруг осознав, что волшебник понимает ее речь. Он улыбнулся, и Она увидела, что его лицо, на котором не было следов ни времени, ни мудрости, ни горя, пугающе юно для взрослого мужчины.

— Я знаю вас, — сказал он.

Разделявшие их прутья злобно перешептывались между собой. Ракх вел толпу к внутренним клеткам. Она спросила:

— Кто ты?

— Меня зовут Шмендрик Маг, — ответил он. — Вы не слыхали обо мне?

Она хотела было сказать, что едва ли должна знать каждого волшебника, но что-то сильное и печальное в его голосе удержало ее. Волшебник сказал:

— Я развлекаю собравшихся на представление. Немного магии, немного ловкости рук: цветы — во флажки, а флажки — в рыбок, да разная болтовня и намеки на те серьезные чудеса, которые могу творить, если пожелаю. Не очень-то трудная работа. Было и хуже, будет и лучше. Еще не конец.

Но от звука его голоса ей показалось, что Она заточена навеки, и Она вновь засновала по клетке, стараясь не поддаваться ужасу заточения. Ракх стоял перед клеткой, в которой не было ничего, кроме маленького коричневого паучка, прявшего меж прутьев свою скромную паутину.

— Арахна Лидийская, — сообщил он толпе. — Даю гарантию, лучшая ткачиха в мире, судьба ее тому подтверждение. Она имела несчастье победить в состязании ткачих саму богиню Афину. Афина очень обиделась, и теперь Арахна в обличье паука по особому договору творит лишь для «Полночного карнавала Мамаши Фортуны». Уток из огня, из снега основа, ну а узор неизменно новый. Арахна.

Висящая на прутьях клетки паутина была очень проста и почти бесцветна, лишь изредка она радужно отсвечивала, когда паук пошевеливал ее, прокладывая нить. Но он сновал туда-сюда, притягивая взоры зрителей — и единорога тоже — все больше и больше, пока не начинало казаться, что они смотрят в глубочайшие пропасти мира, мрачные, безжалостные расщелины, и лишь паутина Арахны удерживает мир в целости. Вздохнув, Она освободилась от чар и увидела

настоящую паутину, которая была очень проста и почти бесцветна.

— Тут не так, как в других клетках, — сказала Она.

— Не так, — недовольно согласился Шмендрик. — Но Мамаша Фортуна здесь ни при чем. Дело в том, что паучиха верит. Она видит все эти хитросплетения и принимает их за свою работу. Эта вера-то и создает здесь все отличие от обычной магии Мамаши Фортуны. Перестань эта кучка остряков удивляться, и от всего ее колдовства остался бы только паучий плач. А его-то никто не услышит.

Она не хотела вновь смотреть в паутину. А глянув мельком на ближнюю к ней клетку, вдруг почувствовала, как окаменело ее сердце. Там на дубовом насесте восседало существо с телом большой бронзовой птицы и лицом ведьмы, таким же напряженным и смертоносным, как и стискивающие дерево когти. У нее были лохматые медвежьи уши, а по чешуйчатым плечам, цепляясь за светлые клинки перьев, ниспадали похожие на лунный свет волосы, густые и молодые, они обрамляли омерзительное человеческое лицо. Она сверкала, но при взгляде на нее казалось, что, сияя, она поглощает нисходящий с неба свет.

Тогда Она тихо сказала:

— Вот она — настоящая. Это гарпия Келено.

Шмендрик побледнел, как овсяная мука.

— Старуха поймала ее случайно, — зашептал он, — во сне, как и вас. Но это к несчастью, и обе они это знают. Искусства Мамаши Фортуны едва хватает, чтобы держать чудовище в заточении, но одно ее присутствие так ослабляет все чары Мамаши Фортуны, что скоро у нее не останется сил даже испечь яйцо. Не следовало бы ей связываться с настоящей гарпией и настоящим единорогом. Правда ослабляет ее колдовство, но Мамаша Фортуна все пытается заставить ее служить себе. Однако на этот раз...

— Верите или нет, сестра радуги, — раздался неприятный голос Ракха, обращенный к потрясенным посетителям. — Ее имя значит «темная», та, чьи крылья затмевают небосвод перед бурей. Она и две ее милые сестрички заморили голодом короля Финея — перехватывали его пищу и гадили в нее. Однако сыны Борея заставили их прекратить это, не так ли, моя красотка? — Гарпия не издала ни звука, а Ракх усмехнул-

ся, как усмехнулась бы сама клетка. — Она сопротивлялась сильнее всех остальных, вместе взятых. Это было все равно что пытаться связать одним волоском весь ад, но у Мамаши Фортуны хватает сил даже для этого. Порождения ночи — пред ваши очи. Полли, хочешь крекер?

В толпе раздались сдавленные смешки. Когти гарпии стиснули насест, и дерево скрипнуло.

— Вам надо быть на свободе, прежде чем она вырвется из клетки, — сказал волшебник единорогу. — Она не должна застать вас здесь.

— Я не осмеливаюсь прикоснуться к железу, — ответила Она. — Я могла бы открыть замок рогом, но чтобы дотянуться... Нет, сама я не выберусь из клетки. — Она дрожала от ужаса перед гарпией, но голос ее был вполне спокоен.

Маг Шмендрик стал на несколько дюймов выше, чем это казалось возможным.

— Не бойтесь ничего, — величественно начал он. — Несмотря на мое ремесло, у меня чувствительное сердце...

Его прервал приход Ракха и его спутников, уже не хихикавших, как возле мантикора. Волшебник пустился прочь, нашептывая: «Не бойтесь, Шмендрик с вами. Ничего не делайте без меня!» Его голос доносился до единорога так тихо и так одиноко, что Она даже не была уверена, слышала ли Она его или почувствовала слабое прикосновение.

Темнело. Толпа стояла перед ее клеткой, глядя на нее со странной застенчивостью. Ракх сказал:

— Единорог, — и отступил в сторону.

Она слышала, как стучат сердца, замирает дыхание, видела, как слезы наполняют глаза, но никто не произнес ни слова. По печали, растерянности и нежности на их лицах Она поняла — они узнали ее, и принимала поклонение как должное. Она вспомнила прабабушку охотника и попробовала представить себе, каково это — быть старым и плакать.

— Большинство представлений, — через некоторое время сказал Ракх, — на этом бы и закончилось: что еще можно показать после настоящего единорога? Но в «Полночном карнавале Мамаши Фортуны» есть еще одна тайна — демон, что разрушительнее дракона, чудовищнее мантикора, ужаснее гарпии и, вне сомнения, понятнее единорога. — Он взмахнул рукой в сторону последнего фургона, и черный за-

навес заколыхался и стал раздвигаться, хотя никто не касался его.

— Воззрите на нее! — крикнул Ракх. — Воззрите на последнее диво, самое последнее! Воззрите на Элли!

Внутри клетки было темнее, чем снаружи, и, казалось, сам холод как живой шевелился за прутьями. Что-то дрогнуло, и Она увидела Элли, старую, худую, оборванную женщину, скрючившуюся в клетке у огня, которого не было. Она казалась настолько хрупкой, что вес темноты сокрушил бы это изможденное тело, и такой беспомощной и одинокой, что посетителям следовало бы рвануться на помощь и освободить ее. Вместо этого они молчаливо попятились, словно Элли подбиралась к ним. Но она даже не смотрела на них. Она сидела в темноте и наскрипывала под нос песню, подобно тому, как скрипит пила, впиваясь в дерево, и как скрипит дерево, готовящееся упасть:

То, что украли, — вернется домой,
Сжатая вырастет рожь,
Мертвый — в другом, по-иному — живой,
Прошлого не вернешь.

— Ну как, не очень-то сильна на вид? — спросил Ракх. — Но ни один герой не может противостоять ей, ни один бог не поборет ее, и никакое волшебство не оградит от нее, ведь она не пленница. Мы показываем ее, а она тем временем ходит среди вас и берет свое. Элли — это старость.

Холод клетки тянулся к единорогу, и там, где он прикасался к ней, Она никла и слабела. Она чувствовала, как съеживается и покрывается морщинами ее кожа, как покидает ее красота. Уродство свисало с ее гривы, пригибало голову, вырывало волосы из хвоста, гнездилось в ее теле, пожирало шкуру и томило ум воспоминанием о том, как хороша Она была когда-то. Где-то поблизости гарпия издала низкий энергичный звук, но, спасаясь от последнего страшного демона, Она укрылась бы и под сенью этих бронзовых крыл. Песнь Элли пилила ее сердце.

В море рожденный на суше умрет,
Глину, как хочешь, мнешь,
Подарок и руки и душу сожжет —
Прошлого не вернешь.

Представление было закончено. Люди, крадучись, расходились не поодиночке, а парами, большими и маленькими

группами, крепко держа за руки незнакомцев, поминутно оглядываясь, не идет ли по пятам Элли. Ракх грустно предложил:

— Не желают ли джентльмены задержаться и выслушать историю о сатире? — и, подвывая, кисло расхохотался в их удаляющиеся спины. — Порождения ночи — пред ваши очи!

Они шли мимо клетки единорога, смех Ракха подгонял их, а Элли все пела.

Это же иллюзия, сказала Она себе. Это — иллюзия, и, подняв отягощенную смертью голову, вгляделась в темноту последней клетки, ища взглядом не Старость, а Мамашу Фортуну, потягивающуюся, хихикающую, с неестественной легкостью спускающуюся на землю. И она поняла, что не стала уродливей и смертней ни на волосок, но все же прекрасной почувствовать Она себя не могла. Может быть, это тоже иллюзия, устало подумала Она.

— Я просто наслаждаюсь, — проговорила Мамаша Фортуна, — как всегда. Подозреваю, что я просто создана для сцены.

— Лучше б ты держала покрепче эту проклятую гарпию, — отозвался Ракх. — Я чувствовал, что она вот-вот освободится. Будто я был связывающей ее веревкой, а она развязывала меня. — Он поежился и понизил голос. — Отделайся от нее, — хрипло произнес он, — отделайся, пока она не разорвала нас в клочья. Она только об этом и думает. Я все время чувствую это.

— Молчи, глупец, — голос ведьмы был свиреп от страха. — Если она вырвется, я смогу превратить ее в ветер, в снег, в семь нот. Но я хочу держать ее при себе. Ведь никакая другая ведьма на свете не умеет и не сумеет этого. И я буду держать ее, даже если мне придется для этого каждый день кормить ее твоей печенью.

— Прекрасно, — ответил Ракх и слегка отодвинулся от нее. — Ну а если она потребует твою? Что ты будешь делать тогда?

— Буду продолжать кормить ее твоей, — заявила Мамаша Фортуна. — Она не почувствует разницы. Гарпии не слишком умны.

Старуха одинокой тенью скользила в лунном свете от клетки к клетке, гремя замками и проверяя свои чары, как

хозяйка ощупывает арбузы на рынке. Когда она подошла к клетке гарпии, чудовище издало вопль, пронзительный, как стрела, и ужасающе расправило свои великолепные крылья. Единорогу показалось, что прутья решетки начали извиваться и опадать дождем, но Мамаша Фортуна хрустнула тонкими пальцами, и прутья вновь стали железом, а гарпия, выжидая, замерла на насесте.

— Не сейчас, — сказала ведьма, — еще не сейчас. — Они смотрели друг на друга одинаковыми глазами. Мамаша Фортуна сказала: — Ты моя. Ты моя, даже если убьешь меня. — Гарпия не шевельнулась, но тучка затмила луну. — Не сейчас, — повторила Мамаша Фортуна и повернулась к клетке единорога. — Ну, — сказала она сладким дымным голосом. — Я все-таки напугала тебя, не правда ли? — Она рассмеялась, и смех ее был похож на шорох змеи в тростниках, и подобралась поближе. — Что бы ни говорил твой приятель волшебник, — продолжала она, — хоть немного мастерства у меня должно быть. Для того чтобы ты показалась себе старой и отвратительной, требуется, скажу вам, некоторое искусство. И неужели грошовым заклятьем можно держать в плену Темную? Никто до меня...

Она ответила:

— Не хвастай, старуха. В этой клетке — твоя смерть, и она слушает тебя.

— Да, — спокойно ответила Мамаша Фортуна, — но я, по крайней мере, знаю, где она. А вот ты бродила по дороге в поисках своей смерти. — Она опять рассмеялась. — И где она, я знаю тоже. Но не дам тебе встретиться с ней, и ты должна поблагодарить меня за это.

Забыв все, Она прижалась к прутьям. Они причиняли ей боль, но Она не отступала.

— Где Красный Бык? — спросила Она. — Где мне найти его?

Мамаша Фортуна подошла к клетке вплотную.

— Красный Бык Короля Хаггарда, — пробормотала она, — значит, ты его знаешь. — Блеснули два ее зуба. — Ты моя, — сказала она, — он тебя не получит.

Тогда Она покачала головой и мягко ответила:

— Тебе лучше знать. Освободи, пока не поздно, освободи гарпию и меня. Занимайся своими тенями, если хочешь, но освободи нас.

В стоячей воде ведьминых глаз что-то полыхнуло так, что несколько ночных мотыльков отвлеклись от своей прогулки, ринулись на свет и белыми хлопьями пепла упали на землю.

— Скорей я оставлю свое дело, — осклабилась она. — Волочиться сквозь вечность с моими доморощенными пугалами — об этом я мечтала, когда была молода и зла. Ты думаешь, я выбрала эту убогую магию, порождение глупости, потому что никогда не знала настоящей? Я вожусь с собаками и обезьянами потому, что не смею коснуться травы, но я понимаю разницу. И теперь ты просишь меня отказаться от вас, от присутствия вашей силы. Я сказала Ракху, что, если потребуется, стану кормить гарпию его печенью, и я это сделаю. А чтобы удержать тебя, я бы взяла твоего дружка Шмендрика и... — тут она в ярости забормотала какую-то чепуху и наконец замолкла.

— Кстати, о печени, — ответила Она. — Настоящий маг не предлагает чужую печень. Ты должна вырвать свою собственную и научиться обходиться без нее. Настоящие ведьмы это знают.

Несколько песчинок прошелестело по щеке Мамаши Фортуны, пока она смотрела на единорога. Все ведьмы так плачут. Она повернулась было и заспешила к своему фургону, но внезапно оглянулась назад с каменной ухмылкой на лице.

— А все-таки дважды я обвела тебя вокруг пальца, — сказала она. — Неужели ты в самом деле думаешь, что эти пучеглазые глупцы узнали бы тебя без моей помощи? Нет. Я придала тебе вид, который они могут понять, и рог, который они могут увидеть. В наше время, чтобы простой народ признал единорога, нужна дешевая ярмарочная ведьма. Уж лучше оставайся со мной в поддельном обличье, во всем мире тебя узнает только Красный Бык.

Она исчезла внутри своего фургона, и гарпия выпустила луну из-за туч.

Глава 3

Шмендрик вернулся почти перед рассветом, тихим ручейком скользнув между клетками. Только гарпия издала неясный звук, когда он пробирался мимо ее клетки.

— Я не мог уйти раньше, — пояснил он. — Она велела Ракху наблюдать за мной, а он почти не спит. Но я загадал ему загадку, а чтобы найти ответ хоть на одну, ему обычно нужна целая ночь. В следующий раз я расскажу ему анекдот, и это займет его на неделю.

Она была тускла и спокойна.

— Я заколдована, — произнесла Она. — Почему ты не сказал мне об этом?

— Я думал, вы это знаете, — мягко ответил маг. — Разве вы не удивились тому, что они все же узнали вас? — Он улыбнулся и от этого постарел. — Ну конечно, нет. Это просто не пришло вам в голову.

— Меня еще никогда не заколдовывали, — сказала Она дрожа. — И раньше меня узнали бы повсюду.

— Я прекрасно представляю, как вы себя чувствуете. — Под глубоким взглядом ее темных бездонных глаз он нервно улыбнулся и потупился. — Редкий человек кажется именно тем, чем является на самом деле, — продолжал он. — Мир неверных суждений и неправильных оценок. Вот я сразу же признал в вас единорога, сразу же... И я вам друг. Вы же принимаете меня за клоуна, или тупицу, или предателя, и таков я, должно быть, и есть, если таким меня видите вы. Чары, которыми вы зачарованы, — это всего лишь чары, они спадут, как только вы окажетесь на свободе, а вот проклятие вашей ошибки навсегда ляжет на меня. Мы не всегда такие, какими мечтаем быть. Но я читал, или песня такая была, что, когда мир был молод, единороги умели различать «свет истинный и ложный, лица улыбку и души печаль».

По мере того как светлело, голос его становился все громче, и на мгновение Она перестала слышать скулеж прутьев и мягкий звон крыл.

— Я думаю, что ты мой друг, — сказала Она. — Ты поможешь мне?

— Если не вам, то уж никому, — ответил волшебник. — Вы моя последняя надежда.

Повизгивая, чихая и дрожа, один за другим пробуждались печальные узники «Полночного карнавала». Одному только что снились скалы, жуки и нежные листья; другому — прыжки в теплой высокой траве; третий грезил о жидкой

грязи и крови. Четвертому снилась рука, чешущая заветное место за ухом. Только гарпия не спала и сидела, не мигая глядя на солнце.

— Если она освободится первой, мы погибли, — проговорил Шмендрик.

Вблизи (он всегда раздавался вблизи) они услышали голос Ракха: «Шмендрик! Эй, Шмендрик, я разгадал! Это же кофейник, правда?» — и волшебник начал медленно удаляться.

— Завтра, — прошептал он единорогу. — Поверьте мне хоть до вечера. — И тут он с шумом и значительным усилием исчез, при этом казалось, что какую-то часть себя он все-таки оставил.

Через секунду скупыми, как смерть, прыжками у клетки появился Ракх. В глубине своего черного фургона Мамаша Фортуна ворчала себе под нос песню Элли:

Станет далекое близким,
Правдою станет ложь,
Станет высокое низким —
Прошлого не вернешь.

Вскоре стала неторопливо скапливаться новая группа зрителей. «Порождения ночи!» — как заводной попугай, зазывал их Ракх. Шмендрик стоял на ящике и показывал фокусы. Она наблюдала за ним с интересом и растущим недоверием не к честности его, а к мастерству. Он сотворил свинью из свиного уха, обратил проповедь в камень, стакан воды — в горсть песка, пятерку пик — в двадцатку пик, кролика — в золотую рыбку, которая тут же утонула. Но каждый раз, когда он ошибался, глаза его говорили единорогу: «Ну, вы ведь знаете, что я могу делать». Один раз он превратил мертвую розу в семя, ей это понравилось, хотя семечко и оказалось огуречным.

Представление началось. Опять Ракх вел толпу от одного жалкого призрака Мамаши Фортуны к другому. От дракона исходили языки пламени; Цербер выл, призывая себе на помощь весь Ад: сатир до слез смущал женщин. Зрители украдкой взирали на желтые клыки мантикора и на его набухшее жало; затихали при мысли о Змее Мидгарда; удивлялись новой паутине Арахны, похожей на сеть рыбака, сквозь которую по капле просачивается луна. Все они принимали пау-

тину за настоящую, но только паучиха верила, что в ней запуталась настоящая луна.

На этот раз Ракх не рассказывал о короле Финее и аргонавтах, он проскочил мимо клетки гарпии так быстро, как только мог, нечленораздельно пробормотав посетителям имя гарпии и его значение. Гарпия улыбнулась. Улыбку гарпии увидела только Она. Увидела и пожалела, что не смотрела в другую сторону.

Когда потом зрители молча стояли перед ее клеткой, Она с горечью подумала: «Их глаза так печальны. А насколько печальнее они стали бы, если бы чары рассеялись и они бы обнаружили, что смотрят на простую белую кобылу? Ведьма права, меня никто не узнает». Но какой-то мягкий, похожий на Шмендрика голос сказал ей: «Но их глаза так печальны...»

Когда Ракх резко вскрикнул: «А теперь Самый Конец!» — и черные завесы поползли в сторону, открывая бормочущую во тьме и холоде Элли, Она опять почувствовала тот же беспомощный страх перед старостью, который обратил толпу в бегство, хотя, Она знала это, в клетке была лишь Мамаша Фортуна. «Ведьма и не подозревает, что знает больше, чем кажется ей самой», — подумала Она.

Ночь настала быстро, возможно, гарпия поторопила ее. Солнце потонуло в грязных облаках, как камень, имея не больше надежд вновь взойти на небо, чем скала из глубины морских вод. Не было ни луны, ни звезд. Мамаша Фортуна кругами скользила мимо клеток. Когда она подошла ближе, гарпия не пошевелилась, и это заставило старуху остановиться и долго-долго глядеть на нее.

«Нет еще, — наконец прошептала она, — не сейчас». Но в голосе ее звучали усталость и сомнение. Она мельком взглянула на единорога, в грязном мраке ее глаза светились желтым светом. «Что ж, еще один день», — со скрипом вздохнула она и вновь отвернулась.

После ее ухода в «Карнавале» не раздавалось ни звука. Все звери спали, лишь пряла паучиха и ждала гарпия. Ночь раскачивалась все сильнее и сильнее, единорогу казалось, что она вот-вот разорвет небо, чтобы явить еще одну решетку. Где же волшебник?

Спотыкаясь в тени, он спешил, тихо переступая и поджи-

мая ноги, словно кот на обжигающем лапы снегу. Подойдя к ее клетке, он отвесил жизнерадостный поклон и гордо произнес:

— Шмендрик с вами.

В ближайшей клетке позвякивала тонкая бронза.

— Я думаю, у нас очень мало времени, — сказала Она. — Ты действительно можешь меня освободить?

Высокий человек улыбнулся, и даже его тонкие серьезные пальцы повеселели.

— Я говорил, что ведьма сделала три больших ошибки. Ваше пленение было последней, поимка гарпии — второй, потому что вы обе реальны, а Мамаша Фортуна властна над вами не более, чем над зимой или летом. Но принимать меня за такого же, как она, шарлатана — вот ее первая и роковая ошибка. Ведь я тоже реален, я — Шмендрик Маг, последний из пламенных свами, и я старше, чем кажусь.

— Где другой? — спросила Она.

Шмендрик засучил рукава.

— Не беспокойтесь. Я загадал Ракху загадку без ответа. Теперь он и не шевельнется.

Он произнес три угловатых слова и щелкнул пальцами. Клетка исчезла. Она оказалась среди апельсиновых и лимонных деревьев, груш и гранатов, миндаля и акаций, под ногами ее была мягкая весенняя земля, а над головой небо. Сердце ее стало легким, как облачко, и Она собралась было одним прыжком выскочить на волю в тихую ночь. Но желание исчезло, не исполнившись: Она почувствовала, что прутья, невидимые прутья, на месте... Она была чересчур стара, чтобы не знать этого.

— Извини, — где-то в темноте сказал Шмендрик. — Мне хотелось, чтобы именно это заклинание освободило вас.

И он запел низким холодным голосом, странные деревья сдуло, словно одуванчик ветром.

— Это более надежное заклинание, — сказал он. — Решетка теперь хрупка, как старый сыр, я ее разломлю и разбросаю, вот так. — Он судорожно охнул и оторвал руки от решетки, его длинные пальцы сочились кровью. — Должно быть, я неправильно произнес... — сказал он хрипло, потом спрятал руки в плащ и попытался спокойно сказать: — Это бывает.

2 – 7877

Хрупко царапнулись фразы, окровавленные руки Шмендрика метнулись к небу. Нечто серое и ухмыляющееся, похожее на слишком большого медведя, прихрамывая и грязно хихикая, появилось откуда-то, явно желая раздавить клетку как орех и выковырять из нее когтями мясо единорога. Шмендрик приказал этому нечто исчезнуть в ночи, но оно не послушалось.

Единорог попятился в угол клетки и опустил голову; гарпия, звеня, шевельнулась в своей клетке, нечто повернуло к ней то, что должно было быть головой, испустило смутный протяжный крик ужаса и исчезло. Волшебник, дрожа, выругался.

— Когда-то давно я вызывал его, — сказал он. — Тогда я тоже не мог с ним справиться. Теперь мы обязаны нашими жизнями гарпии, и она может потребовать их еще до рассвета. — Он молчал, шевеля израненными пальцами, и ждал, что скажет Она. — Я попробую еще, — сказал он наконец. — Попытаться еще раз?

Ей казалось, что ночь еще кипит в том месте, где только что было серое нечто.

— Да, — ответила Она.

Шмендрик глубоко вздохнул, плюнул три раза и произнес несколько слов, прозвеневших, как колокольчики в морской глубине. Затем он высыпал горсть порошка на плевок и триумфально улыбнулся в зеленом свете безмолвной вспышки огня. Когда свет погас, он произнес еще три слова. Они прожужжали, как пчелы на Луне.

Клетка начала уменьшаться. Она не видела, как движутся прутья, но каждый раз, когда у Шмендрика вырывалось: «О нет!» — Она чувствовала, что пространство вокруг нее уменьшается. Она уже не могла повернуться. Прутья сжимались, безжалостные, как прилив, как утро; они пройдут сквозь ее тело, окружив навсегда ее сердце железной клеткой. Она молчала, когда вызванное Шмендриком нечто, ухмыляясь, направилось к ней, но сейчас Она вскрикнула тонко и отчаянно, и все же не сдаваясь.

Как Шмендрик остановил прутья, Она так никогда и не узнала. Если он и произносил заклинания, Она не слышала их. Прутья остановились на волосок от ее тела. Они завывали

от голода, словно холодный ветер. Но достать ее они не могли.

Волшебник наконец бессильно опустил руки.

— Я не могу больше, — выдавил он с трудом. — В следующий раз, наверное, я не смогу даже... — Голос его прервался, в глазах было то же поражение, которое отягощало руки. — Ведьма не ошиблась во мне, — сказал он.

— Попробуй еще, — попросила Она. — Ты мой друг. Попробуй снова.

Но Шмендрик, горько улыбаясь, рылся в карманах, где что-то бренчало и позвякивало.

— Так я и знал, что этим кончится, — бормотал он, — мечтал я, что будет иначе, но так я и знал. — Он вынул кольцо, на котором висели ржавые ключи. — Вам должен служить великий волшебник, — продолжал он. — Но пока, увы, придется ограничиться услугами второразрядного карманника. Единороги не знают нужды, позора, сомнений, долгов, но смертные, как вы могли заметить, хватают, что могут. А Ракх может думать только о чем-нибудь одном.

Она внезапно почувствовала, что все звери в «Полночном карнавале» не спят и бесшумно наблюдают за ней. В соседней клетке гарпия начала медленно переступать с ноги на ногу.

— Скорее, — сказала Она, — скорее.

Шмендрик уже вставлял ключ в замочную скважину. При первой неудачной попытке замок молчал, но когда он попытался вставить второй ключ, замок громко выкрикнул:

— Хо-хо, тут какой-то волшебник? Какой-то волшебник! — у него был голос Мамаши Фортуны.

— Ах, чтоб ты сдох, — пробормотал волшебник. Он повернул ключ, и замок с презрительным ворчанием открылся. Шмендрик широко распахнул дверцу клетки и мягко произнес: — Прошу вас, леди. Вы свободны.

Она легко ступила на землю, и Маг Шмендрик изумленно попятился.

— О, вы не такая, как за решеткой, — прошептал он, — меньше и не такая... О боже.

Она была в своем лесу, мокром, черном и опустошенном ее долгим отсутствием. Кто-то звал ее издалека, но Она согревала деревья, пробуждала травы.

Галькой о днище лодки проскрежетал голос Ракха:

— Ну, Шмендрик, я сдаюсь. Почему ворон похож на классную доску?

Она отодвинулась в самую глубину тени, и Ракх увидел только волшебника и пустую клетку. Рука его нырнула в карман и появилась вновь.

— Ну, тощий вор, — сказал он, осклабившись в железной ухмылке. — Теперь она нанижет тебя на колючую проволоку и сделает ожерелье для гарпии. — Он повернулся, направляясь к фургону Мамаши Фортуны.

— Бегите, — сказал волшебник. Совершив отчаянный и неуклюжий полупрыжок-полуполет, он приземлился прямо на спину Ракха, зажав ему глаза и рот своими длинными руками. Они упали вместе, но Шмендрик поднялся первым и пригвоздил коленями плечи Ракха к земле. — На колючую проволоку, — задыхался он. — Ты — мешок с камнями, ты — пустырь, ты — разорение. Я набью тебя несчастьем, покуда оно не польется из твоих глаз. Я превращу твое сердце в траву, а все, что ты любишь, в овец. Я превращу тебя в плохого поэта с возвышенными мечтами. Я сделаю так, что все ногти у тебя на ногах станут расти внутрь. Ты у меня поплясшешь.

Ракх тряхнул головой и сел, отбросив Шмендрика на десять футов в сторону.

— О чем ты говоришь? — злобно хохотнул он. — Тебе не под силу даже превратить сливки в масло.

Волшебник только начинал подниматься на ноги, как в свою очередь Ракх придавил его к земле.

— Ты никогда не нравился мне, — с удовольствием сказал он. — Ты любишь выпендриваться, хотя при твоей силенке... — Его руки, тяжелые, как ночь, сомкнулись на горле волшебника.

Она не видела. Она была у самой дальней клетки, где скулил, рычал и припадал к земле мантикор. Концом рога Она прикоснулась к замку и, не обернувшись, направилась к клетке дракона. По очереди Она освободила всех — сатира, Цербера, Змея Мидгарда. Чары пропадали, когда узники обретали свободу и исчезали в ночи, кто быстро, кто медленно и неуклюже, — веселая собака, лев, обезьяна, крокодил и змея. Никто не благодарил ее, но Она и не ждала благодарности.

Только паучиха не обращала внимания на мягкий зов единорога, донесшийся к ней сквозь открытую дверь. Арахна трудилась над паутиной, полагая, что это Млечный Путь, опадающий хлопьями снега.

Она шепнула:

— Ткачиха, свобода лучше, свобода лучше, — но Арахна сновала вверх и вниз по своему железному ткацкому станку. Паучиха не остановилась даже на секунду, и когда Она воскликнула: — Это очень красиво, Арахна, но это не искусство, — новая паутина тихо, как снег, опускалась вдоль прутьев.

Поднялся ветер. Паутина скользнула мимо глаз единорога и исчезла. Это гарпия, взмахивая крыльями, собиралась с силами — так навстречу изогнувшемуся гребню волны несутся потоки смешанной с песком воды. Залитая кровью луна вырвалась из-за облаков, и Она увидела Келено, золотую, с волосами, полыхавшими, как пламя. Сильные, холодные взмахи крыльев сотрясали клетку. Гарпия смеялась.

Ракх и Шмендрик стояли на коленях рядом с клеткой единорога. Волшебник сжимал в руках тяжелую связку ключей, Ракх потирал голову и мигал. Слепыми от ужаса глазами смотрели они на поднимающуюся гарпию. Ветер пригибал их, толкал друг на друга, их кости гремели.

Она направилась к клетке гарпии. Маг Шмендрик, маленький и бледный, повернувшись к ней, открывал и закрывал рот; Она знала, что он кричит, хотя и не могла слышать его: «Она убьет тебя, она убьет тебя! Беги, глупая, пока она еще в клетке! Она убьет тебя, если ты ее выпустишь!»

Но Она шла, озаряемая светом своего рога, пока не оказалась перед Келено, Темной. На мгновение ледяные крылья повисли в воздухе, как облака, и древние желтые глаза гарпии опустились прямо в сердце единорога, притянув ее к себе. «Я убью тебя, если ты освободишь меня, — говорили глаза. — Освободи меня».

Она опустила голову, и кончик рога коснулся замка на клетке гарпии. Дверь клетки не отворилась, и прутья не растаяли в свете звезд. Гарпия подняла свои крылья, и все четыре решетки медленно опали, как лепестки раскрывающегося в ночи гигантского цветка. На обломках, ужасная в своей

красе и свободная, вскричала гарпия, волосы ее развевались, как мечи. Луна съежилась и скрылась.

Без ужаса Она удивленно воскликнула:

— О, ты такая же, как я! — и радостно попятилась, чтобы увернуться от гарпии, рог ее взметнулся в злобном ветре. Гарпия ударила один раз, промахнулась и с медным звоном взлетела в сторону. Дыхание ее было теплым и зловонным, крылья звенели. Гарпия сияла над головой. Она видела свое отражение на бронзовой груди гарпии и чувствовала, как свет чудовища отражается от ее тела. Как двойная звезда, кружили они друг подле друга, и подо всем съежившимся небосводом не было никого реальнее этой пары. Гарпия в восторге смеялась, и глаза ее обрели цвет меда. И Она поняла, что гарпия собирается ударить во второй раз.

Гарпия сложила крылья и упала с неба, как звезда, но не на нее, а мимо; она пронеслась так близко, что одним пером до крови поранила плечо единорога, светлые когти ее были нацелены в самое сердце Мамаши Фортуны, которая простирала к ней свои острые пальцы, как бы призывая гарпию к себе на грудь.

— Вдвоем! — триумфально кричала ведьма. — Порознь вы не освободились бы! Вы были моими!

Гарпия настигла ее, ведьма переломилась, как сухая ветка, и упала. Гарпия припала к ее телу, скрыв его, и бронзовые крылья ее побагровели.

Тогда Она повернулась. Совсем рядом детский голос звал ее бежать, бежать. Это был волшебник. Глаза его были громадны и пусты, а лицо, всегда слишком юное, стало совсем детским.

— Нет, — ответила Она. — Следуй за мной.

Гарпия издала густой довольный звук, от которого у волшебника задрожали колени. Но Она вновь сказала:

— Иди за мной.

Так вместе шли они из «Полночного карнавала». Луны не было, но в глазах волшебника Она была луной, холодной, бледной и очень старой, освещавшей путь к безопасности или к сумасшествию. Он следовал за ней, не оглянувшись, даже когда удар бронзовых крыльев прервал тяжелый топот Ракха и раздался предсмертный его крик.

— Он побежал, — сказала Она, — от бессмертных нельзя

бежать. Это привлекает их внимание. — Ее голос был мягок, и в нем не слышалось жалости. — Никогда не беги, — сказала Она, — ступай медленно и притворись, что думаешь о другом. Пой песню, рассказывай поэму, показывай свои фокусы, но иди медленно, и она, быть может, не станет преследовать. Иди очень медленно, волшебник.

Так вместе, шаг за шагом, шли они сквозь ночь, высокий человек в черном и белый зверь с одним рогом. Волшебник жался к ее свету так близко, как только осмеливался, ведь вокруг в темноте метались голодные тени, тени звуков, с которыми гарпия уничтожала жалкие остатки «Полночного карнавала». Но один звук долго преследовал их уже после того, как затихли остальные, — тонкий сухой плач паука.

Глава 4

Долго, как новорожденный, рыдал волшебник, прежде чем смог заговорить.

— Бедная старуха, — прошептал он наконец.

Она ничего не сказала, и Шмендрик поднял голову и странно поглядел на нее. Начинал накрапывать серый утренний дождь, и она плыла в нем, словно дельфин.

— Нет, — ответила Она на его немой вопрос. — Я не умею жалеть. — Скорчившись под дождем у дороги, он молчал, кутаясь в промокший плащ, пока не стал похож на сломанный зонтик. Она ждала, чувствуя, как каплями дождя падают дни ее жизни. — Я могу грустить, — мягко молвила Она, — но это не одно и то же. — Когда Шмендрик вновь посмотрел на нее, он, хотя и с трудом, но уже взял себя в руки.

— Куда вы идете теперь? — спросил он. — Куда вы шли, когда она поймала вас?

— Я искала свой народ, — ответила Она. — Ты не видел их, маг? Они так же белы и дики, как и я.

Шмендрик серьезно покачал головой:

— Взрослым я ни разу не слышал о подобных вам. Когда я был мальчишкой, думали, что три-четыре единорога еще осталось, однако я знавал лишь одного человека, встречавшегося с единорогом. Несомненно, все они ушли, все, кроме

вас, леди. Когда идешь там, где они жили раньше, раздается эхо.

— Нет, — ответила Она. — Ведь другие-то их видели. — Она обрадовалась, услыхав, что единороги встречались еще так недавно, когда волшебник был ребенком, и спросила: — Мотылек рассказал мне о Красном Быке, а ведьма — о Короле Хаггарде. Я ищу их, чтобы узнать, что им известно о единорогах и где искать королевство Хаггарда?

Черты волшебника перекосились, однако он вернул их на прежнее место и начал улыбаться так медленно, словно его рот обрел жесткость металла. Через минуту-другую рот принял нужную форму, но это была железная улыбка.

— Я могу рассказать вам одно стихотворение, — сказал он.

Там, где сердца жестоки, как меч,
Где зла и коварна людская речь,
Где скалы остры, бесплодна земля —
Там встретишь Хаггарда-короля.

— Ну, теперь, когда я попаду туда, несомненно узнаю эту страну, — сказала Она, думая, что он дразнит ее. — А ты знаешь что-нибудь о Красном Быке?

— О нем нет стихов, — ответил Шмендрик. Бледный и улыбающийся, он поднялся на ноги. — О Короле Хаггарде дошли до меня только слухи. Он стар и колюч, как последние дни ноября, и правит бесплодной страной у моря. Говорят, прежде эта земля была мягкой и зеленой, но пришел Хаггард, коснулся ее, и она увяла. У фермеров есть поговорка — когда они смотрят на поле, погубленное пожаром, ветром или саранчой, то говорят: «Погибло, как сердце Хаггарда». Говорят еще, что в его замке нет ни света, ни очагов, и это он посылает своих людей красть цыплят, простыни и пироги с подоконников. Рассказывают, что в последний раз он рассмеялся, когда...

Она топнула ногой. Шмендрик заговорил быстрее:

— О Красном Быке я знаю меньше, чем слышал. Историй о нем так много, и все они противоречат друг другу. Бык — это живое существо, Бык — это призрак, Бык — это Король Хаггард после захода солнца. Бык жил в той стране до Хаггарда, или пришел с ним, или пришел к нему. Он защищает Хаггарда от набегов и мятежей и позволяет ему экономить на войске. Он — дьявол, которому Хаггард продал

свою душу. Он — то самое, за что Хаггард продал свою душу. Бык принадлежит Хаггарду. Хаггард принадлежит Быку.

Она чувствовала, как, словно круги на воде, ширится в ней уверенность. В памяти ее вновь заверещал голосок мотылька: «Давным-давно прошли они по дорогам, и Красный Бык бежал по пятам за ними». Она увидела белые тени, уносимые ревущим ветром, и колеблющиеся желтые рога.

— Я отправлюсь туда, — сказала Она. — Волшебник, ты выпустил меня на свободу — и я выполню одно твое желание, пока мы не расстались. Чего ты хочешь?

Узкие глаза Шмендрика сверкнули изумрудными листьями:

— Возьмите меня с собой.

Не отвечая, равнодушным танцующим шагом Она двинулась прочь. Волшебник сказал:

— Я могу оказаться полезным. Я знаю дорогу в страну Хаггарда и языки, на которых говорят вдоль пути. — Казалось, Она вот-вот исчезнет в вязком тумане, и Шмендрик поспешил за нею. — К тому же ни один путник не пострадал бы от общества волшебника, даже единорог. Вспомните, что рассказывают о великом волшебнике Никосе. Однажды в лесу он наткнулся на единорога, который спал, положив голову на колени хихикавшей девицы, а в это время к ним подкрадывались с натянутыми луками три охотника, которым был нужен его рог. У Никоса оставалось только мгновение. Одним словом и взмахом он обратил единорога в милого молодого человека, тот проснулся, увидел пораженных лучников, набросился на них и перебил всех до единого. У него был витой сужающийся к концу меч, и он топтал тела поверженных.

— А девушка? — спросила Она. — Он тоже ее убил?

— Нет, он на ней женился. Он говорил, что она всего лишь ничего не понимающее, рассерженное на собственную семью дитя, которому нужен только хороший муж. Он им был и тогда, и после, даже Никос так и не смог вернуть ему прежний облик. Он умер в преклонном возрасте, уважаемый всеми. Некоторые говорят, что он умер потому, что исчезли фиалки, ему всегда не хватало фиалок. Детей у них не было.

Ее дыхание чуть изменилось.

— Волшебник не помог, а причинил ему зло, — мягко сказала Она. — Ужасно, если добрые волшебники преврати-

ли весь мой народ в людей — это ведь все равно что запереть человека в горящем доме. Уж лучше бы их всех убил Красный Бык.

— Там, куда вы идете, — ответил Шмендрик, — мало кто пожелает вам добра, а доброе сердце, пусть даже глупое, может однажды оказаться нужнее воды. Возьмите меня с собой ради смеха, ради удачи, ради неизвестного. Возьмите меня с собой...

Пока он говорил, дождь утих, небо стало проясняться, и мокрая трава засветилась, как внутренность морской раковины. Она посмотрела вдаль, пытаясь среди сливающихся в серый туман королей разглядеть сухую хищную фигуру, а в снежном блеске замков и дворцов увидеть тот, что покоится на плечах Быка.

— Никто еще не путешествовал со мной, — ответила Она, — но ведь никто еще и не брал меня в плен, не принимал за белую кобылу и не придавал мне мой же собственный вид. Кажется, многое должно случиться со мной впервые и твое общество не будет ни самым странным, ни самым последним. Если хочешь, можешь отправиться со мной, но я бы предпочла, чтобы ты выбрал другую награду.

Шмендрик печально проговорил:

— Я думал об этом. — Он посмотрел на свои пальцы, и она увидала серповидные отметины там, где прутья укусили его. — Вы не сможете выполнить мое настоящее желание.

«Вот оно, — подумала Она, почувствовав первое прикосновение печали. — Таким оно и будет, путешествие со смертным».

— Нет, — ответила Она. — Как и ведьма, я не могу сделать из тебя то, чем ты не являешься. Я не могу превратить тебя в настоящего волшебника.

— Я так и думал, — ответил Шмендрик. — Все правильно. Не беспокойтесь.

— Я не беспокоюсь, — отозвалась Она.

В первый день путешествия на них спикировал голубой самец сойки и сказал:

— Вот это да, пусть меня набьют сеном и поместят за стекло! — И полетел прямо домой, чтобы рассказать жене об увиденном.

Сидя на краю гнезда, она нудно и монотонно бубнила:

Мухи, жуки, пауки, слизняки,
Клещ из куста и комарик с реки,
Овод, кузнечик и червячок —
Все будут срыгнуты вам в должный срок.
Баюшки-бай, непоседы, проказники,
Кстати, полеты — уж вовсе не праздники.

— Сегодня я видел единорога, — сев на ветку рядом, сказал самец.

— А ужина ты не видел? — холодно ответила жена. — Терпеть не могу мужчин, говорящих с пустым ртом.

— Детка, подумай — единорога! — Отбросив свою обычную важность, он подскочил на ветке. — Я не видел ни одного из них с тех пор, как...

— Ты никогда их не видел, — ответила она. — Не забывай, с кем говоришь. Мне лучше знать, что ты видел в своей жизни, а что нет.

Он не обратил внимания на выпад.

— С ней был кто-то странный в черном, — трещал он. — Они шли за Кошачью гору. Уж не направляются ли они в страну Хаггарда? — В позе, когда-то покорившей его жену, он артистично нагнул голову. — Чем не завтрак для старого Хаггарда, — дивился он. — Явился единорог и смело стучится в его черную дверь. Я бы все отдал, чтобы увидеть...

— Полагаю, вы не целый день наблюдали с *нею* за единорогом? — щелкнув клювом, прервала его жена. — Понятно, ей не привыкать по части оправданий. — Взъерошив перья, она надвигалась на него.

— Дорогая, я даже не видел ее, — пискнул муж, и хотя жена знала, что он в самом деле не видел и не осмелился бы увидеть, она все же влепила ему разок. Уж она-то знала толк в вопросах морали.

Единорог и волшебник шли вверх по мягкой весенней Кошачьей горе, потом вниз в долину, в которой росли яблони. За долиной высились невысокие горы, толстые и ручные, как овцы, удивленно нагнувшие свои головы, чтобы обнюхать проходящего единорога. Их сменили летние вершины и прожаренные равнины, над которыми воздух дрожал, как над сковородкой. Вместе они перебирались через реки, ка-

рабкались вверх или вниз по поросшим куманикой берегам и обрывам, странствовали в лесах, напоминавших ей собственный, хотя быть похожими они не могли, ведь они знали время. «И мой лес теперь тоже его знает», — думала Она, но говорила себе, что это ничего не значит и все будет по-прежнему, когда Она вернется.

Ночью, когда Шмендрик спал сном стершего ноги голодного волшебника, Она, не смыкая глаз, припадала к земле и ждала, что громадный силуэт Красного Быка вот-вот бросится на нее с луны. Иногда Она была уверена в этом, до нее доносился его запах — темный лукавый смрад, сочащийся в ночи. Вскрикнув, с холодной готовностью Она вскакивала на ноги, но всякий раз обнаруживала лишь двух-трех оленей, глазеющих на нее с почтительного расстояния. Олени любят единорогов и завидуют им. Однажды вытолкнутый хихикающими друзьями двухлетний бычок подошел к ней совсем близко и, пряча глаза, пробормотал:

— Вы прекрасны. Вы так прекрасны, как рассказывала мне мать.

Молча Она посмотрела на него, зная, что он и не ждет ответа. Остальные олени фыркали, давились смехом и шептали:

— Давай дальше, дальше.

Тогда олень поднял голову и быстро и радостно воскликнул:

— А я все же знаю кое-кого прекраснее вас. — Он повернулся и в лунном свете побежал прочь, его друзья последовали за ним.

Она снова легла.

Время от времени они заходили в деревни, Шмендрик объявлял, что он бродячий волшебник, и просил на улицах разрешения «песнями оплатить ужин, чуточку вас потревожить, слегка помешать спать и проследовать дальше». Почти в каждом городке ему предлагали ночлег и стойло для прекрасной белой кобылы. Пока детей не отправляли спать, он при свете фонаря давал представления на рыночных площадях. Не пытаясь сделать что-то значительное, он заставлял кукол говорить, превращал мыло в конфеты, но даже такие пустяки подчас не удавались ему. Однако детям представления нравились, их родители не скупились на ужин, а летние вечера были мягки и приятны. Спустя века Она все еще

вспоминала странный шоколадный запах стойла и тень Шмендрика, пляшущую на стенах, дверях и трубах.

По утрам они продолжали путь, карманы Шмендрика раздувались от хлеба, сыра и апельсинов, и Она выступала рядом с ним — белая, как барашки на волнах в лучах солнца; зеленая, как сами волны в тени деревьев. Люди забывали его фокусы раньше, чем он исчезал из вида, но его белая кобыла тревожила по ночам многих селян, и не одна женщина пробуждалась в слезах, увидев ее во сне.

Однажды вечером они остановились в сытом благополучном городке, где даже у нищих были двойные подбородки, и мыши не бегали, а ходили вперевалку. Шмендрика тут же попросили отобедать с мэром и наиболее округлыми членами магистрата, а ее, как всегда неузнанную, отпустили на пастбище, где трава была подобна сладкому молоку. Обед был сервирован на открытом воздухе, на площади — вечер был теплым, и мэр хотел покрасоваться перед гостем. Это был превосходный обед.

За едой Шмендрик рассказывал истории из своей жизни бродячего чародея, наполняя их королями, и драконами, и благородными дамами. Он не лгал, а просто излагал события наиболее выгодным для себя образом, и рассказы его казались правдоподобными даже благоразумным членам магистрата. И не только они, но все на площади потянулись к рассказчику, чтобы понять природу заклинания, открывающего любые замки, если его произнести должным образом. И все они, затаив дыхание, рассматривали отметины на пальцах волшебника.

— Память о встрече с гарпией, — спокойно объяснял Шмендрик. — Они кусаются.

— И вы никогда не боялись? — робко удивилась молоденькая девушка. Мэр шикнул, но Шмендрик раскурил сигару и улыбнулся ей.

— Голод и страх сохранили мне молодость, — ответил он. Члены магистрата дремали и переговаривались за столом; искоса глянув на них, волшебник подмигнул девушке.

Мэр не обиделся.

— Это верно, — вздохнул он, сложив переплетенные пальцы над местом, где теперь находился его обед. — Мы здесь хорошо живем; если это не так, я ничего не понимаю в

жизни. Иногда я думаю, что самая малая капля страха, голода нам бы не повредила — так сказать, обострила бы наши чувства. Вот почему мы всегда приветствуем странников, у которых есть новые истории и песни. Они расширяют наш кругозор... заставляют нас заглянуть внутрь... — Он зевнул и, постанывая, потянулся.

Один из членов магистрата неожиданно воскликнул:

— Боже, взгляните на пастбище!

Тяжелые головы повернулись на нетвердых шеях, и все увидели, что деревенские коровы, лошади и овцы сгрудились на дальнем конце поля и не отрывают глаз от белой кобылы волшебника, пасшейся на прохладной траве. Все животные молчали. Даже свиньи и гуси были безмолвны, как тени. Где-то вдалеке крикнул ворон, словно угольком перечеркнув закат.

— Необыкновенная, — пробормотал мэр. — Совершенно необыкновенная...

— Да, в самом деле, — согласился волшебник. — Если бы вы знали, что мне предлагали за нее...

— Любопытно, — сказал начавший разговор советник, — они ведь не кажутся испуганными. Словно благоговеют, как бы поклоняются ей.

— Они видят то, что вы разучились видеть. — Шмендрик уже достаточно подвыпил, а молоденькая девушка смотрела на него глазами и более ласковыми, и менее глубокими, чем глаза единорога. Он стукнул стаканом по столу и сказал улыбающемуся мэру: — Она более редкостное создание, чем вы осмеливаетесь думать. Она — это миф, память, нечто не-у-ло... неуловимое. Если бы вы помнили, если бы вы голодали...

Голос его потонул в топоте копыт и детском вопле. С гиканьем и свистом дюжина одетых в лохмотья всадников ворвалась на площадь, разбрасывая горожан, будто мраморные шарики. Они объезжали площадь, сбивая все, что попадалось на их пути, нечленораздельно похваляясь и неизвестно кого вызывая на битву. Один из них привстал в седле, согнул лук и стрелой сбил флюгер со шпиля церкви, другой схватил шляпу Шмендрика, нахлобучил себе на голову и с громким хохотом помчался по площади. Некоторые подхватывали на седло визжащих детей, некоторые довольствовались прови-

зией и бурдюками с вином. Дико сверкали глаза на небритых лицах, барабанным боем звучал смех.

Толстяк мэр стоял, пока не встретился глазами с предводителем разбойников. Он поднял одну бровь, предводитель щелкнул пальцами, и кони сразу присмирели, а оборванцы умолкли, как деревенская живность перед единорогом. Заботливо опустили они детей на землю и вернули почти все бурдюки с вином.

— Джек Трезвон, пожалуйте, — невозмутимо произнес мэр.

Предводитель всадников соскочил на землю и медленно подошел к столу, за которым обедали советники с гостем. Это был громадный детина почти семи футов ростом, каждый шаг его сопровождался звоном и бренчанием колец, колокольчиков и браслетов, пришитых к его латаной куртке.

— Здорово, ваша честь, — посмеиваясь, хрипло отозвался он.

— Кончайте это, — сказал ему мэр, — неужели вы не можете являться спокойно, как воспитанные люди.

— Парни не причинят никакого вреда, ваша честь, — простодушно пробормотал гигант. — Сами понимаете, целыми днями в лесу, нужно ведь и немного расслабиться, так сказать, маленькая разрядка. Ну-ну, все, э?.. — И он со вздохом вытащил из-за пазухи тощий мешочек с монетами и положил на открытую ладонь мэра. — Вот, ваша честь, — сказал Джек Трезвон. — Это немного, но больше мы сэкономить не могли.

Мэр высыпал монеты на ладонь и недовольно тронул их пальцами.

— Ну, тут немного, — посетовал он. — Даже поменьше, чем в прошлом месяце, а уж и там было с гулькин нос. Жалкие вы грабители — вот вы кто.

— Тяжелые времена настали, — мрачно проговорил Джек Трезвон. — Не дóлжно нас винить, если у путников золота не больше, чем у нас. Из репки, как известно, крови не выдавишь.

— Я выдавлю, — мэр свирепо посмотрел на гиганта и поднес к его носу кулак. — Ну, если ты темнишь! — закричал он. — Ну, если ты греешь карманы за мой счет! Я выдавлю из тебя, я выдавлю из твоей шкуры все внутренности и вышвырну собакам! Катитесь отсюда, и передай это своему босяку-капитану! Вон, негодяи!

Когда Джек Трезвон, что-то бормоча, повернулся, Шмендрик прокашлялся и неуверенно сказал:

— Кстати, если вам не трудно, верните мне мою шляпу. — Гигант молча уставился на него налитыми кровью бычьими глазами. — Мою шляпу, — потребовал Шмендрик уже более твердо. — Один из ваших людей взял мою шляпу, и было бы разумнее, если бы он вернул ее.

— Разумнее? — наконец проговорил Джек Трезвон. — А кто ты такой, чтобы судить о разуме?

Вино все еще шумело в голове Шмендрика:

— Я — Шмендрик Маг, и враждовать со мной не советую, — объявил он. — Я старше и опаснее, чем кажусь. Шляпу!

Джек Трезвон с минуту смотрел на него, потом подошел к своему коню, переступил через него и оказался в седле. Подъехав к Шмендрику и едва не касаясь его бородой, он загремел:

— Ну, если ты и впрямь колдун, покажи-ка свои штучки. Раскрась мне нос краской, набей седельные сумки снегом, сведи мою бороду. В общем, или колдуй, или показывай пятки. — Вытащив из-за пояса ржавый кинжал, он покачивал его, держа за острие и кровожадно посвистывая.

— Волшебник — мой гость, — предупредил мэр, но Шмендрик торжественно сказал:

— Ну хорошо. Да падет она на твою голову. — Убедившись краем глаза, что молоденькая девушка смотрит на него, он показал на банду пугал, ухмылявшихся позади своего предводителя, и произнес что-то в рифму. Мгновенно его черная шляпа вырвалась из рук схватившего и медленно, как сова, поплыла в темнеющем воздухе. Две женщины лишились чувств, мэр сел. Разбойники завопили детскими голосами.

Черная шляпа проплыла вдоль площади до конской поилки, там она нырнула и, зачерпнув достаточно воды, отправилась обратно, явно нацеливаясь на немытую голову Джека Трезвона. Закрываясь руками, он бормотал: «Не, не, отзовите ее», и даже его люди хихикали в ожидании. Шмендрик триумфально улыбнулся и щелкнул пальцами, чтобы подогнать шляпу.

По мере приближения к предводителю шляпа стала отклоняться в сторону сначала слегка, потом больше — ближе к столу советников — больше, больше. Мэр успел вскочить на ноги раньше, чем шляпа удобно устроилась на его голове. Шмендрик вовремя нырнул под стол, но сидевшие вблизи советники слегка пострадали.

Под рев и хохот Джек Трезвон, наклонившись, подхватил Шмендрика Мага, который пытался вытереть скатертью захлебнувшегося от возмущения мэра.

— Сомневаюсь, что кто-нибудь потребует повторить номер на бис, — проревел гигант ему в ухо. — Лучше поедем с нами. — Он перекинул Шмендрика поперек седла и ускакал, сопровождаемый своей оборванной когортой. Их грубый смех, лошадиное фырканье и ржание еще долго витали в воздухе и после того, как затих топот копыт. Мэра окружили, чтобы спросить, не следует ли погнаться за разбойниками и отбить Шмендрика, но он лишь покачал мокрой головой:

— Едва ли это нужно. Если наш гость тот, за кого себя выдает, он вполне способен сам позаботиться о себе. Если нет — мошенник, воспользовавшийся нашим гостеприимством, не вправе рассчитывать на помощь. Нет-нет, не беспокойтесь о нем. — Ручейки, стекавшие с его подбородка, сливались в ручьи на шее и в речку на куртке, но он кротко посмотрел на пастбище, где светлым пятном выделялась в сумерках белая кобыла волшебника. Не издавая ни звука, она сновала взад и вперед вдоль забора.

— Думаю, нам скорее следует позаботиться о скакуне нашего отбывшего друга, раз он, как мы слыхали, так высоко его ценил, — негромко сказал мэр и послал на пастбище двоих мужчин поймать кобылу и поместить ее в самое надежное стойло его конюшни.

Однако белая кобыла перепрыгнула забор и исчезла, как падающая звезда в ночи, прежде чем они добрались до ворот пастбища. Какое-то время они стояли, не слыша криков мэра, который звал их назад, и ни один из них так и не смог понять, почему так долго он смотрел вслед кобыле волшебника. Но после этого порой они принимались странно смеяться в самых неподходящих обстоятельствах, отчего прослыли людьми легкомысленными.

Глава 5

Из всей дикой скачки с разбойниками Шмендрик помнил потом лишь ветер, край седла и хохот позвякивающего гиганта. Он был слишком поглощен размышлениями о при-

чине столь неожиданного окончания фокуса со шляпой, чтобы замечать что-нибудь еще. «Чересчур по-английски, — думал он. — Возмещение ущерба. — Он помотал головой, хотя это было трудно в его положении. — Магия знает, что делает, — продолжал размышлять он, перепрыгивая вместе с лошадью через ручей, — но я никогда не знаю, что она знает. Во всяком случае, в нужное время. Я написал бы ей послание, знай ее адрес». Кусты и ветви хлестали его по лицу, в ушах ухали совы. Кони перешли на рысь, затем на шаг. Высокий дрожащий голос выкрикнул: «Стой, пароль».

— Черт побери, — пробормотал Джек Трезвон, — это же мы. — Он шумно почесал голову и уже громко произнес: — Короткая и веселая жизнь в добром лесу, союз веселых друзей, повенчанный с победой.

— Со свободой, — поправил его тонкий голос. — Похоже, но не так.

— Ну, спасибо. Повенчанный со свободой союз друзей веселый... не-не, я это уже говорил... короткая и веселая жизнь, веселые друзья — не, не то. — Джек Трезвон почесал в затылке и простонал: — Повенчанный со свободой... Ну, помоги немножко, а?

— Один за всех и все за одного, — любезно отозвался голос. — Остальное давай уж сам.

— Один за всех и все за одного — не могу я! — прокричал гигант. — Один за всех и все за одного, мы вместе не боимся никого, врозь перебьют нас всех до одного. — Он пустил лошадь вперед.

Из темноты свистнула стрела. Она отхватила клок его уха и, оцарапав лошадь следующего всадника, летучей мышью упорхнула в сторону. Разбойники попрятались за деревьями, а Джек Трезвон яростно проревел:

— Черт побери, я же десять раз повторил пароль! Ну дай мне только до тебя добраться!!!

— Джек, я совсем забыл: мы тут переменили без вас пароль, — раздался голос часового.

— Ах, так вы переменили пароль?! — Джек Трезвон зажал свое ухо концом Шмендрикова плаща. — А как же я, безголовые, безмозглые, потрошеные болваны, должен был бы об этом узнать?

— Не бесись, Джек, — примирительно ответил часо-

вой. — Ну, ничего, что ты не знаешь нового пароля. Проще его ничего не придумаешь: надо прокричать жирафом. Это Капитан придумал.

— Прокричать жирафом? — Гигант ругался до тех пор, пока лошади смущенно не зашевелились. — Балда, да жирафы немые. Капитан мог бы еще потребовать, чтобы мы отзывались рыбой или бабочкой.

— Знаю. Поэтому пароль никто не забудет, даже ты. Ну как, умен наш Капитан?

— Дальше некуда, — удивленно отозвался Джек Трезвон, — но послушай, что помешает лесничему или кому-нибудь из людей короля кричать жирафом, когда ты окликнешь его.

— Ага, — обрадовался часовой. — В этом-то и самая мудрость. Нужно крикнуть три раза. Два длинных крика и один короткий.

Джек Трезвон молча восседал на лошади, потирая ухо.

— Два длинных крика и один короткий, — наконец вздохнул он. — Ну, это не глупее, чем когда у нас не было никакого пароля и стреляли во всякого, кто отвечал на зов. Два длинных и короткий, хорошо. — Он ехал между деревьями, его люди следовали за ним.

Где-то впереди недовольно, словно жужжание ограбленных пчел, слышались людские голоса. Когда они подъехали ближе, Шмендрику показалось, что среди них выделяется женский голос. Его щека почувствовала тепло, и он поднял голову. Кони встали на небольшой прогалине, где вокруг костра раздраженно переругивались десять-двенадцать человек. Пахло горелыми бобами. Веснушчатый рыжеволосый разбойник в лохмотьях поприличнее, чем на прочих, поднялся, чтобы приветствовать прибывших.

— Ну, Джек! — крикнул он. — Кого ты нам везешь: друга или пленника? — и, обернувшись, добавил: — Любимая, подбавь воды в суп — у нас гости.

— Кто он, я и сам не знаю, — проворчал Джек Трезвон и стал рассказывать о мэре и шляпе, но едва добрался до налета на город, как рассказ прервал сухой, как колючка, пронзительный голос женщины, проталкивающейся сквозь кольцо мужчин:

— Я не потерплю этого, Калли, суп и так не гуще испарины! — Бледное худое лицо ее с неистовыми светло-коричневыми глазами обрамляли волосы цвета жухлой травы.

— Это еще что за жердь? — спросила она, обозревая Шмендрика так, будто обнаружила нечто прилипшее к каблукам собственных туфель. — Он не из города. Мне не нравится его вид. Смахните-ка ему с плеч колдун. — Она хотела сказать «колтун», но от совпадения страх мокрой водорослью прополз вдоль позвоночника Шмендрика. Он соскользнул с коня и встал перед капитаном разбойников.

— Я — Шмендрик Маг, — провозгласил он, вздымая плащ руками. — А ты действительно знаменитый Капитан Калли из Зеленого леса, храбрейший из храбрых и свободнейший из свободных?

Разбойники прыснули, женщина застонала.

— Я так и знала, — объявила она. — Калли, выпотроши его от жабр до греха, прежде чем он облапошит тебя, как прошлый.

Но Капитан гордо поклонился, блеснув плешью, и ответил:

— Воистину это я. Коль с миром ты пришел — то вот моя рука, а с умыслом — опасней нет врага. Как вы прибыли сюда, сэр?

— На брюхе, — ответил Шмендрик, — и непреднамеренно, но тем не менее как друг. Хотя ваша возлюбленная и сомневается в этом, — кивнул он в сторону тощей женщины.

Она плюнула на землю.

Капитан Калли ухмыльнулся и осторожно положил руку на хрупкие плечи подруги.

— Такой уж характер у Молли Отравы, — объяснил он. — Она охраняет меня лучше, чем я сам. Я доверчив и благороден, возможно и слишком. Открытое сердце для всех беглецов от тирании — вот мой девиз. Естественно, Молли должна была стать подозрительной, исстрадавшейся, суровой, преждевременно постаревшей, даже тираничной. Яркий шарик следует завязывать с одного конца, а, Молли? Но какое доброе сердце, какая душа. — Женщина увернулась от его протянутой руки, но Капитан не повернул головы. — Приветствуем вас, сэр волшебник, — сказал он Шмендрику. —

Прошу к огню, и расскажите нам что-нибудь. Что говорят обо мне в вашей стране? Что слыхали вы о лихом Капитане Калли и его свободной шайке? Угощайтесь.

Шмендрик устроился у огня, изящно отклонил холодное угощение и ответил:

— Я слыхал, что вы — друг беспомощным, враг могучим и вместе со своей веселой шайкой ведете счастливую жизнь в лесу, отдавая бедным отобранное у богатых. Дошло до меня, как вы с Джеком Трезвоном разбили друг другу головы дубинками и так стали побратимами и как вы спасли свою Молли от назначенной ее отцом свадьбы с богачом. — На самом же деле Шмендрик до этого дня ни слова не слыхал о Капитане Калли, однако хорошая подготовка в области англо-саксонского фольклора позволила ему использовать типичные мотивы. — И конечно, — рискнул он, — некий злой король...

— Хаггард, да сгинет он! — вскричал Калли. — О, многим из нас причинил зло старый Король: кого лишил земли, кого — титула и доходов, кого — наследства. Они живут только местью — заметь, волшебник, — и настанет день, когда Хаггард нам за это заплатит так...

Оборванные тени что-то прошипели в знак согласия, но Молли Отрава разразилась смехом, шуршащим и разящим, как град.

— Может, он и заплатит, — с издевкой сказала она, — но не таким болтливым трусам. С каждым днем его замок ветшает, его люди стали слишком стары, чтобы надевать броню, но если это будет зависеть только от Капитана Калли, его царство никогда не кончится.

Шмендрик поднял бровь, и Калли покраснел, как редиска.

— Вы должны понять, — пробормотал он. — У короля Хаггарда есть этот Бык.

— Ах, Красный Бык, Красный Бык, — как на травле, закричала Молли. — Говорю тебе, Калли, после всех лет, проведенных с тобой в лесу, я поняла, что Бык — это имя, данное тобой собственной трусости. И если я услышу эту сказку еще раз, я пойду и свергну Хаггарда сама и докажу, что ты...

— Довольно! — взревел Калли. — Не перед чужими! — Он схватился за меч, и Молли, все еще смеясь, простерла к

нему руки. У огня салёные пальцы лениво вертели кинжалы, а длинные луки, казалось, сами звенели тетивой, но Шмендрик поспешил на помощь тонущему тщеславию Калли. Он ненавидел семейные сцены.

— В моей стране о вас поют балладу, — начал он. — Я только забыл, как она начинается...

Капитан Калли замурлыкал, как кот.

— Которую? — вопросил он.

— Не знаю, — растерялся Шмендрик. — Разве их больше одной?

— Воистину так! — воскликнул Калли, сияя и раздуваясь от собственной славы. — Вилли Джентль! Вилли Джентль! Где он?

Волоча ноги, подошел длинноволосый прыщавый юнец с лютней.

— Спой этому джентльмену об одном из моих подвигов, — приказал ему Калли. — Спой о том, как ты присоединился к моей вольной шайке. Я не слышал этой баллады со вторника.

Менестрель вздохнул, ударил по струнам и запел дрожащим фальцетом:

Было так: ехал Калли из леса
С королевским оленем домой,
Видит — навстречу юноша бледный
Едет дорогой прямой.

«Что случилось с тобою, юноша бледный,
Почему столь печален твой взгляд?
Или потерял ты навек свою даму,
Или с шуйцей десница не в лад?»

«Нет, с десницей в ладу моя шуйца,
Что б ни значили эти слова,
Но братья мои увезли мою даму,
И склонилась моя голова».

«Я — славный Калли из Зеленого леса,
Сильны и свободны люди мои,
Какую службу ты мне сослужишь,
Коль деву верну я в объятья твои?»

«Коль деву спасешь ты, о старый коршун,
Сверну я набок твой глупый нос,
Носила она изумруд на шее,
Один из трех братьев его унес».

И Калли отправился к смелым ворам,
Мечом пригрозил им: «А ну-ка, голь,

Возьмите девицу, отдайте мне камень,
Которым гордился бы даже король».

— Начинается лучшая часть, — прошептал Калли Шмендрику. Обхватив себя руками, он прыгал на месте.

Три молнии — трое мечей сверкнули,
Плащи долой — бой, как чайник, кипит,
«Ни камня, ни девы, — им крикнул Калли, —
Клянусь собой, вам не получить!»
И он их гнал, и мечи сверкали,
И он их гнал, как овец...

— Как овец, — выдохнул Калли. Забыв про колкости Молли и смешки своих людей при исполнении последующих семнадцати куплетов, он раскачивался, мычал под нос и парировал рукой удары трех мечей. Наконец баллада завершилась, и Шмендрик громко и честно зааплодировал, восхищаясь техникой правой руки Вилли Джентля.

— Я называю это щипком Аллана-э-Дейла... — ответил менестрель.

Он хотел продолжить, но Калли перебил:

— Вилли, хорошо, малыш, а теперь сыграй остальные. — Сияя, он следил за выражением лица Шмендрика, которое, как тот надеялся, выражало смесь удовольствия и изумления. — Я говорил, что обо мне сложено много песен. Точнее, их тридцать одна, хотя до настоящего времени в собрание Чайльда они не попали, — и тут его глаза внезапно расширились, и он схватил волшебника за плечи. — Послушайте, а вы не мистер Чайльд собственной персоной, а? — спросил Калли. — Он часто выезжает переодетым на поиски баллад.

Шмендрик покачал головой:

— Нет, мне очень жаль, поверьте, нет.

Капитан вздохнул и отпустил его.

— Ничего, — пробормотал он, — конечно, ведь так хочется, чтобы собирали, подтверждали достоверность, искали разницу между вариантами, даже чтобы сомневались в подлинности... Ну-ну, ничего. Вилли, дорогой, спой остальные песни. Когда-нибудь тебя будут записывать в полевых условиях, и тебе это понадобится...

Ворча, разбойники стали расходиться, кто-то наподдал по камню. Из безопасной тени раздался грубый голос:

— Не, Вилли, лучше спой нам настоящую песню. Что-нибудь про Робин Гуда.

— Кто сказал это? — Калли поворачивался из стороны в сторону, и меч его позвякивал в ножнах. Лицо его сразу стало бледным, усталым и выжатым как лимон.

— Я, — ответила до того молчавшая Молли. — Дражайший Капитан, люди устали от баллад о твоей храбрости. Даже если ты пишешь их сам.

Калли вздрогнул и искоса глянул на Шмендрика.

— Но они все-таки могут считаться народными песнями, правда, мистер Чайльд? — спросил он тихим обеспокоенным голосом. — Все-таки...

— Я не мистер Чайльд, — ответил Шмендрик. — Поверьте...

— По-моему, описание эпических событий не следует доверять людям. Они все переврут.

Вперед с опаской вышел стареющий разбойник в потертом вельвете:

— Капитан, если нам нужны народные песни — а я полагаю, они нужны, — то это должны быть правдивые песни о настоящих разбойниках, а не о нашей лживой жизни. Не в обиду будь сказано, Капитан, мы в самом деле не чересчур веселы...

— Я весел двадцать четыре часа в сутки, Дик Фантазер, — холодно перебил Калли. — Это — факт.

— ...И мы не отбираем у богатых и не отдаем бедным, — заторопился Дик Фантазер. — Мы берем у бедных, потому что они не могут от нас отбиться, а богатые берут у нас, потому что в любую минуту могут стереть нас в порошок. Мы не грабим на дороге жадного мэра, мы каждый месяц откупаемся от него, чтобы он оставил нас в покое. И мы никогда не похищаем гордых епископов и не держим их пленниками в лесу, развлекая пирами и праздниками, потому что Молли неважно готовит, и к тому же едва ли мы составим интересную компанию для епископа. Когда переодетыми мы отправляемся на ярмарку, то никогда не выигрываем ни в состязаниях стрелков, ни в бою на дубинах. Разве только горожане похвалят — скажут: тебя и не узнать.

— Однажды я послала на конкурс гобелен, — припомнила Молли. — Он оказался четвертым, нет — пятым: «Рыцарь на страже»... В том году все вышивали рыцарей на страже. — Тут она принялась тереть глаза костяшками пальцев. — Черт бы тебя побрал, Калли.

— Что, что? — возмущенно завопил тот. — Это я виноват, что твоя работа оказалась никудышной? Да как только ты заполучила меня, ты сразу забросила все занятия. Ты больше не вышиваешь и не поешь, за все эти годы ты не разрисовала ни одной рукописи. А что сталось с виолой да гамба, которую я добыл для тебя? — Он повернулся к Шмендрику. — Она просто морально опустилась, прямо как законная жена.

Волшебник едва заметно кивнул и отвел глаза.

— Конечно, было бы неплохо бороться за справедливость и за гражданские права, — продолжал Дик Фантазер, — скажу прямо, по характеру я не рыцарь, у одного — один характер, у другого — другой, но тогда нам надо петь песни о тех, кто носит линкольнширское зеленое сукно и помогает угнетенным. Вместо этого, Калли, мы их грабим, и эти песни просто ставят нас в двусмысленное положение, только и всего, в этом-то и суть.

Капитан Калли сложил руки на груди, игнорируя одобрительное ворчание разбойников:

— Пой, Вилли!

— Не буду, — тот даже не поднес руки к лютне. — И ты никогда не дрался с моими братьями из-за камня, Калли. Ты написал им письмо, но даже не подписал его...

Калли потянулся к поясу, и, как будто кто-то дунул на раскаленные угли, в руках у людей засверкали лезвия ножей. Тут, принужденно улыбаясь, вперед опять выступил Шмендрик:

— Я могу предложить всем другое занятие, — начал он. — Почему бы вам не разрешить своему гостю развеселить вас и тем заплатить за ночлег? Я не умею петь или играть на музыкальных инструментах, однако у меня есть кое-какие достоинства, подобных которым вы могли и не видеть.

Джек Трезвон мгновенно согласился:

— Послушай, Калли, волшебник для ребят — это такая редкость.

Молли Отрава отпустила что-то свирепое по адресу волшебников вообще, но разбойники восторженно вопили. Единственным, кто колебался, оказался сам Калли, все еще пытавшийся печально протестовать:

— Да, но песни... Мистер Чайльд должен услышать песни...

— Непременно, — заверил его Шмендрик, — но попозже.

Калли просветлел и скомандовал своим людям расступиться и освободить место. Развалившись или присев на корточки в тени, с ухмылкой наблюдали они за ерундой, которой Шмендрик развлекал публику в «Полночном карнавале». Это была пустяковая магия, и он думал, что для такой публики, как шайка Калли, этого достаточно.

Но он недооценил их. Разбойники аплодировали кольцам и шарадам, золотым рыбкам и тузам, которых он вынимал из ушей, вежливо, но без удивления. Не показывая им истинных чудес, но ничего не получал и от них, и потому заклинания не всегда удавались, и когда, пообещав из пучка вики сотворить виконта, которого можно будет ограбить, он получал только горсть ежевики, ему хлопали так же доброжелательно и безразлично, словно все вышло удачно. Это была идеальная аудитория.

Калли нетерпеливо улыбался, Джек Трезвон дремал, но Шмендрика задело разочарование в беспокойных глазах Молли. От внезапного гнева он рассмеялся, уронив семь вращающихся шаров, которые, пока он жонглировал ими, становились все ярче и ярче (в хороший вечер он мог даже заставить их загореться), и, забыв все свое несчастное ремесло, закрыл глаза. «Делай, что хочешь, — прошептал он магии, — делай, что хочешь».

Как вздох прошла она сквозь него, возникнув из какого-то секретного места, из лопатки, а может быть, из мозга берцовой кости. Сердце его наполнилось подобно парусу, и нечто увереннее, чем когда-либо, шевельнулось в нем. Оно говорило его голосом, командовало. Под тяжестью наполнившей его силы он опустился на колени, ожидая, когда вновь станет Шмендриком.

«Интересно, что я сделал. Я что-то сделал», — он открыл глаза. Разбойники посмеивались, кое-кто крутил пальцем у виска, поддразнивая его. Капитан Калли поднялся, чтобы объявить, что представление окончено, как вдруг Молли Отрава тихо вскрикнула, и все обернулись. На прогалину вышел мужчина.

На нем все, кроме коричневой куртки и надетой набекрень шапки с пером кулика, было зеленым. Он был очень высок, слишком высок для человека. Перекинутый через плечо громадный лук казался с Джека Трезвона, а каждая

стрела могла послужить копьем или посохом Капитану Калли. Не замечая присмиревших у костра потрепанных разбойников, он безмолвно прошествовал мимо и исчез в ночи.

За ним поодиночке, а то и по двое, шли другие: кто-то беседовал, кто-то смеялся, но до зрителей не доносилось ни звука. У всех были длинные луки, и все были в зеленом, кроме одного, с ног до головы облаченного в алый, и другого, в коричневой монашеской рясе и сандалиях, с чудовищным животом, поддерживаемым веревкой. Еще один играл на ходу на лютне и безмолвно пел.

— Аллан-э-Дейл, — раздался кровоточащий голос Вилли Джентля. — Посмотрите на эти аккорды. Его голос был чист, как у птенца.

Непритворно гордые, изящные, как старинные мушкеты (даже самый высокий, колосс с добрыми глазами), шествовали лучники через поляну. Последними рука об руку вышли мужчина и женщина. Лица их были так прекрасны, словно они никогда не знали страха. Тяжелые волосы женщины светились скрытым светом, как облако, затмившее луну.

— О, — проговорила Молли, — Мэриэн.

— Робин Гуд — это миф, — нервно заявил Капитан Калли, — классический пример созданного необходимостью народного героя. Другим примером является Джон Генри. Народу необходимо иметь героев, но люди обычно не соответствуют предъявляемым требованиям, и легенда растет вокруг зерна правды, как жемчужина. Конечно, я вовсе не хочу сказать, что это неудивительный фокус.

Первым с места сорвался опустившийся денди Дик Фантазер. Когда все фигуры, кроме двух последних, исчезли в темноте, он бросился за ними, хрипло крича:

— Робин, Робин, мистер Гуд, сэр, подождите меня.

Ни женщина, ни мужчина не обернулись, а все члены шайки Калли, кроме Джека Трезвона и самого Капитана, спотыкаясь и толкаясь, прямо по костру рванулись к краю прогалины в ночную тень.

— Робин! — кричали они. — Мэриэн, Алый Уилл, Маленький Джон, вернитесь! Вернитесь!

Шмендрик засмеялся, нежно и беспомощно.

Громче всех визжал Капитан Калли:

— Дураки, дураки и дети! Это такая же ложь, как и вся магия! Нет такого человека — Робина Гуда! — Но, обезумев

от потери, разбойники бросились в лес за светящимися в темноте лучниками, спотыкаясь о бревна, продираясь сквозь терновые кусты, крича на бегу изголодавшимися голосами.

Только Молли остановилась и поглядела назад. Ее лицо белело в темноте.

— Нет, Калли, наоборот! — крикнула она ему. — Нет тебя, меня, любого из нас. Робин и Мэриэн живут, а мы — легенда! — И, оставив Капитана Калли и Джека Трезвона у затоптанного костра рядом с хихикающим волшебником, она припустилась вместе со всеми, крича на бегу: «Подождите, подождите!»

Шмендрик и не заметил, как они набросились на него и схватили за руки, он не вздрогнул, когда Калли щекотал ему ребра кинжалом, шипя:

— Это была опасная и грубая диверсия, мистер Чайльд. Вы могли просто сказать, что не хотите слушать песни.

Кинжал вдавливался глубже. Где-то вдалеке, он услышал, прорычал Джек Трезвон:

— Он не Чайльд, Калли, но он и не странствующий волшебник. Теперь я его узнал. Это сын Короля Хаггарда, Принц Лир, он так же порочен, как и его отец, и, конечно, знаком с черной магией. Придержи руку, Капитан, мертвый он нам ни к чему.

Голос Калли осекся:

— Джек, ты уверен, а? Он казался таким славным малым.

— Славным дураком, ты хочешь сказать. Да, я слыхал, у Лира есть такая привычка. Он любит прикинуться дурачком, но он дьявольски коварен. Как он прикинулся этим Чайльдом, и все для того, чтобы заставить тебя потерять контроль над собой.

— Я вовсе не терял его, Джек, — запротестовал Калли. — Ни на секунду. Может, казалось, что я его потерял, но я и сам очень коварен.

— А как он вызвал Робина Гуда, чтобы ребята от тоски взбунтовались против тебя? Ну, слава богу, он выдал себя, и теперь-то он побудет здесь, хотя бы отец выслал ему на помощь Красного Быка. — При этих словах Калли задержал дыхание, но гигант не заметил этого, схватил Шмендрика в охапку, поставил лицом к стволу большого дерева и привязал. Шмендрик при этом тихо посмеивался и даже помогал разбойнику, обнимая дерево нежно, как невесту.

— Ну, — наконец сказал Трезвон, — охраняй его, Калли, всю ночь, пока я буду спать, а утром я отправлюсь к старому Хаггарду, чтобы узнать, во что он ценит этого малого. Может статься, через месяц мы все будем богатыми бездельниками.

— А что люди? — озабоченно спросил Калли. — Они вернутся, как ты думаешь?

Гигант зевнул и отвернулся:

— К утру, печальные и чихающие, они будут на месте, а тебе придется какое-то время обходиться с ними полегче. Они вернутся назад, ведь они, как и я, не из тех, чтобы менять что-то на ничто. Будь мы другими, Робин Гуд, может, и остался бы с нами. Спокойной ночи, Капитан.

Он ушел, и у костра слышалось лишь стрекотание кузнечиков и тихий смех привязанного к дереву Шмендрика. Огонь угасал, и Калли долго кружил у костра, раздувая уголья. В конце концов он уселся на чурбак и обратился к пленному волшебнику.

— Может. ты и сын Хаггарда, — размышлял он, — а не собиратель песен Чайльд, которым прикидываешься. Но, кто бы ты ни был, ты прекрасно знаешь, что Робин Гуд — это сказка, а я — реальность. И обо мне не сложат баллады, если я не напишу их сам, дети не прочитают о моих подвигах в учебниках и не будут играть в меня после школы. И когда профессора будут копаться в старых сказках, а ученые будут просеивать старые песни, чтобы узнать, жил ли на самом деле Робин Гуд, они никогда не найдут моего имени, обыщи они хоть весь мир. Ты знаешь это, и потому я спою тебе о Капитане Калли. Он был хорошим веселым негодяем и отдавал бедным отобранное у богатых. В благодарность люди сложили о нем эти простые песни.

И он спел их все, в том числе и ту, которую уже исполнял Вилли Джентль. Он часто останавливался, чтобы прокомментировать меняющийся ритм, ассонантные рифмы и лад мелодии.

Глава 6

Капитан Калли заснул после тридцатого куплета девятнадцатой песни, и Шмендрик, переставший смеяться несколько раньше, сразу же попытался освободиться. Изо всех

сил он старался растянуть свои путы, но они не поддавались. Джек Трезвон обмотал его канатом такой длины, что его хватило бы на оснастку небольшой шхуны, канат был завязан узлами величиной с человеческую голову.

«Тихо, тихо, — успокаивал он себя. — Человека, способного вызвать Робина Гуда — нет, сотворить его, — нельзя связать надолго. Одно слово, желание — и это дерево семечком повиснет на ветке, а веревка будет гнить в болоте». Но даже не рискнув попробовать, он уже знал: то, что посетило его на секунду, исчезло, оставив вместо себя лишь боль. Он был как куколка, из которой вылупилась бабочка.

«Делай, как хочешь», — тихо сказал он. От звука его голоса Капитан Калли пошевелился и запел четырнадцатый куплет:

Что-то мне страшно, Калли, прикончат нас нынче, ей-ей,
Справа отряд и слева, в каждом полсотни мечей.
«Вздор, — сказал тогда Калли, — бояться у нас нет причин,
Их, быть может, и сотня, но сотня мечей,
нас же — семеро смелых мужчин».

«Чтоб тебя повесили», — пробормотал волшебник, но Калли снова уснул. Чтобы освободиться, Шмендрик попробовал произнести несколько простых заклинаний, однако он не мог пользоваться руками, а на длинные заговоры у него не хватало дыхания. В результате всех его усилий дерево воспылало любовью к нему и принялось нежно нашептывать о счастье в вечных объятиях липы. «Вечно, вечно, — вздыхала она, — верность, которой не заслужил ни один человек. Я буду помнить цвет твоих глаз, когда весь мир забудет имя. Нет ничего бессмертнее любви дерева».

«Я помолвлен, — оправдывался Шмендрик, — с лиственницей, далеко отсюда. С детства. Конечно, по воле родителей, против желания. Безнадежно. Наша песня остается неспетой».

Дерево содрогнулось от ярости, будто его потрясла буря. «Чтоб ее поразила молния и покрыли галлы! — свирепо прошипело оно. — Чертова деревяшка, проклятое хвойное, лживое вечнозеленое, она тебя не получит, а через века все деревья станут вспоминать нашу трагедию».

Всем своим телом Шмендрик чувствовал, что дерево вздымается и опадает, как грудь, и он начал бояться, что от

ярости оно расколется надвое. Веревки натягивались все туже, а ночь в его глазах уже становилась красно-желтой. Он попытался объяснить липе, что любовь прекрасна именно потому, что никогда не может быть бессмертной, потом он попытался разбудить Капитана Калли, но смог лишь слабо пискнуть. «Она желает мне добра», — подумал он и отдался возлюбленной.

Потом, когда он попытался вздохнуть, веревки ослабли, и он упал спиной на землю, хватая ртом воздух. Над ним стояла Она, кроваво-красная в его помутившемся взоре. Она прикоснулась к нему рогом.

Когда он смог подняться, Она повернулась, и волшебник осторожно последовал за ней, хотя липа была теперь так же спокойна, как любое дерево, никогда не знавшее любви. Небо было еще черным, но сквозь прозрачную темноту Шмендрик видел, как на него вплывал фиолетовый рассвет. Твердые серебряные облака таяли в теплеющем небе, тени тускнели, звуки теряли форму, а формы еще не решили, какими они собираются быть сегодня. Даже ветер размышлял о себе.

— Вы видели? — спросил он единорога. — Вы видели, что я сделал?

— Да, — ответила Она. — Это была истинная магия.

Чувство потери вернулось, холодное и острое, как меч.

— Теперь она ушла, — сказал он. — Она была у меня... я был у нее... теперь она ушла. Я не могу удержать ее.

Единорог молча, словно перышком, плыл в предрассветном воздухе впереди него. Совсем рядом знакомый голос произнес:

— Рановато покидаешь нас, волшебник. Люди расстроятся, не застав тебя.

Он повернулся и увидел прислонившуюся к дереву Молли Отраву. Одежда ее и волосы были растрепаны, покрытые грязью ноги кровоточили, она по-жабьи улыбалась.

— Удивительно, — сказала она. — Это была Дева Мэриэн.

И тут она увидела единорога. Она не шевельнусь, не произнесла ни слова, лишь ее светло-коричневые глаза внезапно наполнились слезами. Какое-то время она стояла неподвижно, затем, уцепившись за края своей юбки, присела на дрожащих ногах. Лодыжки ее были скрещены, глаза смотрели

вниз, но все же Шмендрику потребовалось еще мгновение, чтобы понять, что Молли делает реверанс.

Он расхохотался, и Молли выпрямилась, покраснев до корней волос.

— Где ты была? — простонала она. — Черт побери, где ты была? — Она сделала несколько шагов к Шмендрику, но глаза ее смотрели за его спину, на единорога.

Когда она попыталась пройти мимо, волшебник преградил ей дорогу.

— Тебе не следует так говорить, — сказал он, еще не уверенный в том, что Молли узнала единорога. — Разве ты, женщина, не знаешь, как себя вести? Приседать тоже не надо.

Но Молли отшвырнула его с дороги и подошла к ней, ругая единорога, как заблудившуюся корову.

— *Где ты была*? — Перед этой белизной и сияющим рогом Молли казалась пронзительно кричащим жучком, но на этот раз к земле были опущены старые темные глаза единорога.

— Я здесь сейчас, — наконец сказала Она.

Молли рассмеялась, не разжимая губ:

— Ну и что мне с того, что ты здесь?.. А где ты была двадцать лет назад, десять лет назад? Как ты смела, как ты смела прийти ко мне сейчас, когда я такая? — Взмахом руки она показала на отцветшее лицо, пустынные глаза, желтеющее, как осенний лист, сердце. — Лучше бы ты не приходила вовсе. Ну почему ты пришла сейчас? — И слезы вновь потекли по обе стороны ее носа.

Но Она молчала, и Шмендрик ответил:

— Она — последняя. Она — последний единорог на свете.

— Конечно, — фыркнула Молли. — Только самый последний на свете единорог может прийти к Молли Отраве. — Она протянула руку, чтобы погладить единорога по щеке, но обе они дрогнули, и рука прикоснулась к шее. Молли сказала: — Ничего. Я тебя прощаю.

— Единорогов не прощают. — Голова волшебника шла кругом от ревности и от зависти не к прикосновению, а к тому секретному, что происходило между Молли и единорогом. — Единороги созданы для нового, — сказал он, — для

чистоты и невинности, для начинающих. Они для юных девушек.

Молли гладила шею единорога застенчиво и неуверенно, как слепая. Она осушала свои серые слезы белой гривой.

— Ты многого не знаешь о единорогах, — ответила Она.

Небо было теперь нефритово-серым, и деревья, еще мгновение назад казавшиеся нарисованными на пологе тьмы, вновь стали настоящими деревьями, шелестящими листвой на ветру. Глядя на единорога, Шмендрик холодно произнес:

— Пора идти.

Молли сразу же согласилась.

— Конечно, прежде чем эти бедняги наткнутся на нас и в отместку перережут тебе горло. — Она обернулась. — У меня были кое-какие вещи, которые я хотела бы взять, но теперь это ничего не значит. Я готова.

Шагнув вперед, Шмендрик преградил ей дорогу.

— Ты не можешь идти с нами. Мы странствуем.

Его голос и глаза были так суровы, как он только мог это сделать, однако он чувствовал, что кончик его носа несколько возбужден. Он никогда не мог справиться с собственным носом.

Лицо Молли моментально стало готовым к обороне замком с выкаченными пушками, запасами камней и котлами кипящей смолы на стенах:

— А кто ты такой, чтобы говорить «мы»?

— Я ее проводник, — важно сказал волшебник.

От неожиданности Она мягко мяукнула, словно кошка, зовущая своих котят. Молли громко расхохоталась и парировала:

— Ты многого не знаешь о единорогах. Она позволяет тебе путешествовать с нею, хотя я и не могу понять почему, и Она в тебе не нуждается. Не нуждается Она и во мне, ей-богу, но Она возьмет с собой и меня. — Она вновь словно мяукнула, и грозный замок на лице Молли опустил подъемный мост и настежь открыл ворота. — Спроси ее, — сказала она.

С упавшим сердцем Шмендрик чувствовал ответ единорога. Он хотел быть мудрым, но зависть и пустота сжигали его, и он услышал свой печальный голос:

— Нет, никогда! Я, Шмендрик Маг, запрещаю это! — Голос его сгустился, и даже нос, казалось, угрожал. — Бойся

разбудить гнев волшебника. Если я решу превратить тебя в лягушку...

— Я умру со смеху, — любезно отвечала Молли Отрава. — Ты набил руку на фокусах, но не сможешь превратить сливки в масло. — Ее глаза светились внезапным пониманием. — Подумай, — сказала она, — ну что ты собираешься делать с последним единорогом на свете — посадить в клетку?

Волшебник отвернулся, чтобы Молли не увидела его лица. Не прямо, а лишь украдкой бросал он косые взгляды на единорога, словно опасаясь, что кто-то может потребовать от него вернуть этот взгляд обратно. Белая и таинственная, с сияющим, как утро, рогом, Она смотрела на него с пронзительной мягкостью, и он не мог прикоснуться к ней. Он сказал худой женщине:

— Ты даже не знаешь, куда мы идем.

— Ты думаешь, для меня это что-нибудь значит? — спросила Молли.

И Она снова мяукнула.

— Мы направляемся к Королю Хаггарду, чтобы найти Красного Быка, — признался Шмендрик.

Что бы ни знали ее кости и во что бы ни верило ее сердце, но кожа Молли на мгновение испугалась, но Она мягко дохнула в ее сложенную лодочкой ладонь, и Молли улыбнулась, охватив тепло пальцами.

— Вы идете не той дорогой, — ответила она.

Солнце уже поднималось, когда Молли повела их назад, дорогой, которой они пришли, мимо Калли, спавшего на своем чурбаке, мимо поляны и дальше. Люди возвращались: рядом хрустели сухие ветки, трещали кусты. Однажды им пришлось прятаться в терновнике, пока мимо не проковыляли двое усталых разбойников Капитана Калли, с горечью размышлявших о реальности вызванного волшебником Робина Гуда.

— Я чувствовал их запах, — говорил первый. — Глаза легко обмануть, они лжецы по природе, но ни у одной тени не может быть запаха!

— Верно, глаза врут, — ворчливо соглашался другой, который, казалось, нацепил на себя кусок болота. — Но неужели ты в самом деле веришь своим ушам, носу, языку? Нет, мой друг. Мир лжет нашим чувствам, они лгут нам, так кем

же, как не лжецами, мы сами можем быть? Что касается меня, я не верю ни вести, ни вестнику, ни тому, что мне сказали, ни тому, что я увидел. Возможно, правда и существует где-то, но до меня она никогда не опускалась.

— Да, — мрачно усмехнувшись, ответил первый. — Однако за Робином Гудом ты бежал вместе со всеми и проискал его всю ночь, крича и плача, как и все мы. Если ты все знал, почему же ты не избавил себя от хлопот?

— Разве можно быть уверенным, — отплевываясь грязью, неразборчиво отвечал другой. — Ошибиться так легко.

В лесистой долине у ручья сидели принц и принцесса. Семеро слуг устроили в тени деревьев алый навес, и юные королевские отпрыски вкушали принесенный слугами в корзинах завтрак под аккомпанемент теорб и лютней. За едой они не обменялись почти ни единым словом, а когда трапеза окончилась, принцесса, вздохнув, сказала:

— Ну, по-моему, пора наконец покончить с этим глупым занятием. — Принц открыл журнал. — Полагаю, ты, по меньшей мере... — продолжала принцесса, но принц все читал. Принцесса сделала знак двоим из слуг, и они заиграли на лютнях что-то старинное. Сделав несколько шагов по траве, она подняла масляно блестящую уздечку и принялась звать: — Ко мне, единорог, ко мне! Ко мне, единорог, ко мне! Ко мне, ко мне! Приди-приди-приди-приди!

Принц фыркнул.

— Ты же не цыплят своих зовешь, — заявил он, не поднимая глаз. — Чем так квохтать, спела бы лучше что-нибудь.

— Я делаю все, что могу! — воскликнула принцесса. — Но я никогда не звала их прежде. — Однако после некоторого молчания она запела:

Я дочь короля, я принцесса,
И, если б я лишь захотела,
Луна с небосвода поспешно
Брошью на грудь мне слетела.

Никто хвалить не посмеет
То, что не нравится мне.
Все, что хочу, я имею,
Не знаю я слова «нет».

Я дочь короля, я принцесса,
Но старше я день ото дня,

В тюрьме молодого тела
Я устаю от себя.

И я бы ушла скитаться
Нищенкой вдоль дорог,
Чтобы хоть раз издалека
Увидеть твой светлый рог.

Она пела, потом вновь принялась звать:

— Ну, единорог, ну иди сюда, ну мой хороший, — а затем сердито сказала: — Все, что я собиралась сделать, я сделала. Я отправляюсь домой.

Принц зевнул и сложил свой журнал.

— Ну что же, мы отдали должное обычаям, большего никто и не ожидал, — сказал он. — Это просто формальность. Теперь мы можем пожениться.

— Да, — согласилась принцесса, — теперь мы можем пожениться. — Слуги стали укладываться, двое заиграли на лютнях веселую свадебную мелодию. Опечаленно и с вызовом она сказала: — Если бы на свете действительно были единороги, кто-нибудь из них пришел бы ко мне. Едва ли возможно звать нежнее, к тому же у меня была золотая уздечка. И уж, конечно, я чиста и непорочна.

— Всецело согласен, — равнодушно отвечал принц. — Как я уже говорил, ты подходишь мне с точки зрения обычаев, но не с точки зрения моего отца, однако ему я не подхожу тоже. Ему подошел бы единорог. — Принц был высок, а лицо его — мягко и приятно, как цветок алтея.

Когда они вместе со свитой удалились, единорог, Молли и волшебник вышли из леса и продолжили свое путешествие. Много позже, когда они странствовали по землям, где не было ни зелени, ни ручьев, Молли спросила ее, почему Она не откликнулась на песню принцессы. Чтобы услышать ответ, Шмендрик приблизился к единорогу со своей стороны. Он никогда не шел с той стороны, где шла Молли.

— Эта дочь короля никогда бы не убежала, чтобы увидеть свет моего рога, — ответила Она. — Если бы я показалась и она узнала бы меня, она напугалась бы больше, чем при виде дракона, — ведь никто не дает обещаний дракону. Помню, когда-то мне было все равно — поют ли принцессы то, что думают, или нет. Я выходила к ним и клала им голову на колени, и некоторые ездили верхом на моей спине, хотя обыч-

но они боялись. Но сейчас у меня нет времени ни на принцесс, ни на служанок. Я тороплюсь.

Тогда Молли сказала нечто странное для женщины, поминутно просыпавшейся по ночам, проверяя, здесь ли единорог, и чьи мысли были полны золотых уздечек и благородных молодых разбойников.

— Это у принцесс нет времени, — сказала она. — Небо вращается и несет с собой всех: принцесс, волшебников, бедного Калли, всех-всех, лишь ты неподвижна. Ты ничего не видишь лишь однажды. Я бы хотела, чтобы ты немного побыла принцессой, или цветком, или уткой. Чем-нибудь, что не может ждать.

Тем, кто бы мог, нет нужды выбирать,
Нам выбирать! — Из чего ж?
Нам суждено все, что любим, терять,
Прошлого — не вернешь.

Через спину единорога Шмендрик посмотрел на Молли.

— Где ты слыхала эту песню? — спросил он. Он впервые заговорил с ней с того самого рассвета, когда она примкнула к ним.

Молли тряхнула головой:

— Не помню. Я знаю ее очень давно.

Они шли, и день ото дня земля вокруг становилась все беднее и беднее, трава бурее, а лица жестче. Но рядом с единорогом Молли расцветала, как страна, полная прудов и пещер, в которых, пламенея, из земли вырываются старые цветы. Теперь, казалось, ей нет и сорока, она выглядела не старше Шмендрика, несмотря на его не имеющее возраста лицо. Ее грубые волосы распушились, кожа стала мягче, и со встречными она говорила столь же мягко, как и с единорогом. Веселыми ее глаза могли стать не более, чем зелеными или голубыми, но и они проснулись в этой стране. Босые избитые ноги весело несли ее в край Короля Хаггарда, она часто пела.

Вдали по другую сторону от единорога в молчании вышагивал Шмендрик Маг. Его черный плащ зиял расползающимися дырами, а он сам походил на свой плащ. Дождь, обновивший Молли, не коснулся его, и он казался таким же иссохшим и опустошенным, как и земля вокруг. Даже Она не могла исцелить его. Прикосновение рога подняло бы его со

смертного ложа, но над отчаянием и над магией, что пришла и ушла, даже Она была не властна.

Так шли они вслед за убегающей тьмой, навстречу колючему ветру. Шкура страны лопалась, и плоть ее стекала в долины и ущелья или вздымалась буграми. Небо было так высоко и бесцветно, что днем оно исчезало, и единорогу подчас думалось, что они должны казаться беспомощными, как слизняки на солнце, сброшенные со своего бревна или мокрого камня. Но Она была единорогом, а единороги в недобрые времена и в плохих местах становятся еще прекраснее. Даже у жаб, ворчавших среди канав и мертвых деревьев, при взгляде на нее перехватывало дыхание.

Жабы оказались бы более гостеприимными, чем угрюмые люди страны Хаггарда. Как обглоданные кости меж острыми, похожими на ножи горами, на которых ничего не росло, лежали их деревни, и сердца их, безусловно, были жестоки, как меч. Их дети камнями встречали путников при входе в города, а собаки провожали за городские ворота. Несколько собак не вернулось, вследствие ловкости рук Шмендрика и появившейся у него склонности к собачатине. Это возмущало горожан более, чем простая кража. Они не отдавали ничего своего сами, и тот, кто у них брал, — был врагом.

Она устала от людей. По ночам наблюдая за тенями снов, скользивших по лицам Молли и Шмендрика, она чувствовала, как тяжело ей со смертными, как гнетет ее даже знание их имен. Чтобы облегчить боль, Она убегала. Быстрее ветра, скорая, как потеря, носилась она, пытаясь догнать то время, когда не знала ничего, кроме радости быть собой. Часто между двумя вздохами ей начинало казаться, что Шмендрик и Молли давно мертвы, так же как и Король Хаггард, а Красный Бык давно побежден, так давно, что погасли и внуки звезд, видевших это, а Она все еще последний единорог на свете.

Однажды осенним вечером, когда даже совы не летали, они перевалили через хребет и увидели замок. Он вползал на небо с противоположной стороны долины, тонкий, изогнутый, ощетинившийся рогатыми башнями, темный и зазубренный, как оскал великана. Молли открыто рассмеялась, а Она вздрогнула, ей показалось, что туры-башни издалека разглядывают ее. За замком сталью блестело море.

— Твердыня Хаггарда, — пробормотал Шмендрик, качая от удивления головой. — Зловещий замок Хаггарда. Говорят, его построила ведьма, но Хаггард не заплатил ей за работу, и она прокляла замок. Она сказала, что однажды море вздуется от жадности Короля Хаггарда и поглотит замок вместе с ним. Потом она, как положено, ужасающе взвизгнула и исчезла в сером дыму. Хаггард реагировал должным образом. Он сказал, что без проклятья ни один замок тирана нельзя считать завершенным.

— Ну, за такой замок можно и не платить, — презрительно сказала Молли. — Если б я могла, я бы раскидала его, как кучу листьев. Однако я надеюсь, что у ведьмы есть чем заняться до того, как проклятье свершится. Море больше любой жадности.

С трудом летящие по небу костлявые птицы кричали: «Помоги, помоги, помоги!» В темных окнах замка Хаггарда что-то копошилось. Она почуяла сырой, тягучий запах.

— Где Бык? — спросила Она. — Где Хаггард держит Быка?

— Никто не держит Красного Быка, — спокойно сказал волшебник. — Я слыхал, он бродит по ночам, а днем отдыхает в громадной пещере под замком. Скоро мы узнаем это, а сейчас... Сейчас опасность — там. — И он показал вниз, в долину, где дрожали огоньки. — Это Хагсгейт, — сказал он.

Молли не ответила, но прикоснулась к единорогу рукой, холодной, как облако. Когда Молли уставала, или боялась, или ей становилось грустно, она прикасалась к единорогу.

— Это город Короля Хаггарда, — продолжал Шмендрик, — первый город, который он взял, придя из-за моря, город, который дольше всех находится в его власти. У него дурная слава, хотя все, кого я встречал, не могли объяснить почему. Никто не приходит в Хагсгейт и не выходит из него, разве только из сказок, которыми пугают детей, — чудовища, оборотни, беснующиеся ведьмы, демоны средь бела дня. Но что-то злое, думаю, в Хагсгейте есть. Мамаша Фортуна никогда не заезжала сюда, а однажды она сказала, что даже сам Король Хаггард не может чувствовать себя в безопасности, пока стоит Хагсгейт. Тут что-то есть.

Говоря это, Шмендрик не отрывал глаз от Молли — единственной его горькой радостью в эти дни было видеть ее

испуганной даже в присутствии единорога. Но она отвечала, спокойно опустив руки:

— Я слыхала, что Хагсгейт зовут городом, которого не знает ни один мужчина. Может быть, его тайна ожидает женщину... женщину и единорога. Но вот что тогда делать с тобой?

Шмендрик улыбнулся:

— Я не мужчина, — ответил он. — Я маг без магии, а это значит никто.

Гнилушечные огоньки Хагсгейта становились все ярче, но в окнах замка не блеснуло ни искорки. Темнота не позволяла рассмотреть людей на стенах, но через долину слышалось тихое позвякивание брони и глухие удары пик о камень. Часовые встречались и вновь расходились. Запах Красного Быка объял ее, когда Она вступила на мокрую каменную тропку, ведущую в Хагсгейт.

Глава 7

Хагсгейт имел форму следа: широкой лапы с длинными пальцами и темными когтями суслика на конце. И действительно, если другие города Хаггарда казались воробьиными следами, Хагсгейт был глубоко и четко отпечатан на земле. Его улицы были гладко вымощены, сады сверкали, а гордые дома казались выросшими из земли. В каждом окне светились огни, и трое путников могли слышать голоса, лай собак и скрип досуха вытираемых тарелок. В недоумении они остановились у высокой живой изгороди.

— А не свернули ли мы где-нибудь не туда, и это вовсе не Хагсгейт? — прошептала Молли. И, что выглядело довольно нелепо, она принялась отряхивать свои невероятные лохмотья. — Если бы я знала, захватила бы с собой что-нибудь понаряднее. — Она вздохнула.

Шмендрик устало почесал затылок.

— Это Хагсгейт, — ответил он. — Это должен быть Хагсгейт, но тут не пахнет ни волшебством, ни черной магией. А как же тогда легенды и сказки? Это смущает, особенно когда на обед нет и половины репки.

Молли не отозвалась. За городом мрачнее самого мрака,

словно лунатик на ходулях, раскачивался замок Хаггарда, а за ним скользило море. В ночи, отдавая холодом, сочился среди запахов кухни и жилья запах Красного Быка.

— Все добрые люди в это время должны подсчитывать дома свои доходы. Надо приветствовать их. — Шмендрик шагнул вперед и откинул плащ, но не успел он даже раскрыть рот, как твердый голос произнес:

— Побереги свое горло, незнакомец, пока оно еще цело. — Четверо мужчин выпрыгнули из-за живой изгороди. Двое из них приставили мечи к горлу Шмендрика, третий направил пистолет на Молли. Четвертый хотел схватить единорога за гриву, но, неистово сверкая, Она взвилась на дыбы, и он отшатнулся.

— Твое имя, — потребовал тот же мужчина у Шмендрика. Как и остальные, он был средних лет или чуть старше, как и все — в добротной, но безрадостной одежде.

— Дрик, — ответил волшебник, которому несколько мешали мечи.

— Дрик? — удивился человек с пистолетом. — Чужеземное имя.

— Естественно, — сказал первый. — В Хагсгейте все имена чужеземные. Ну, мистер Дрик, — он переместил меч туда, где сходились ключицы Шмендрика, — мы будем рады, если вы и миссис Дрик будете любезны сообщить нам, что заставляет вас бродяжничать в наших краях...

Шмендрик наконец обрел голос.

— Я почти не знаю эту женщину! — закричал он. — Мое имя Шмендрик Маг, я устал, я голоден, и я не в духе. Уберите-ка эти штучки, пока не получили по скорпиону в штаны.

Все четверо переглянулись.

— Волшебник, — сказал первый. — Теперь понятно.

Двое других закивали, а тот, что пытался поймать единорога, проворчал:

— В наше время всякий может объявить себя волшебником. Старые мерки отвергнуты, старые оценки забыты. Кстати, у настоящего волшебника должна быть борода.

— Ну, если он не волшебник, — не задумываясь, сказал первый, — то скоро об этом пожалеет. — Он вложил меч в ножны и поклонился Шмендрику и Молли. — Меня зовут Дринн, — представился он. — Позвольте пригласить вас в

Хагсгейт. Кажется, вы говорили, что голодны. Это легко поправить, а потом вы, может быть, продемонстрируете нам свое искусство. Пойдемте со мной.

Внезапно став вежливым и извиняющимся, он вел их к освещенной гостинице, остальные трое следовали вплотную за ними. Из домов, оставив недоеденный обед и дымящийся чай, выбегали горожане, и к тому времени, когда Молли и Шмендрика усадили за стол, длинные скамьи в гостинице были забиты народом, горожане толпились в дверях, заслонили окна. Она, как обычно, осталась неузнанной — белая кобыла со странными глазами.

Человек по имени Дринн сидел за одним столом со Шмендриком и Молли, он развлекал их во время еды беседой и подливал им черное бархатистое вино. Молли Отрава пила немного. Она спокойно рассматривала окружающих: моложе Дринна не было никого, некоторые казались много старше. Все жители Хагсгейта чем-то походили друг на друга, но чем, она понять не могла.

— А теперь, — сказал Дринн, когда с едой было покончено, — теперь позвольте объяснить вам, почему мы так невежливо вас встретили.

— Чепуха, — хихикнул Шмендрик. Вино сделало его смешливым и легкомысленным, а глаза из зеленых стали золотыми. — Мне хочется знать, почему, по слухам, Хагсгейт полон упырей и оборотней. Это самая большая нелепица из всех, что я слышал.

Коренастый Дринн улыбнулся, обнажив крепкие челюсти черепахи.

— Вот именно, — ответил он. — Дело в том, что город Хагсгейт проклят.

Все в комнате сразу притихли, и в пивных отблесках очага лица горожан стали бледными и твердыми, как сыр. Шмендрик опять рассмеялся.

— Благословен, ты хочешь сказать. В костлявом королевстве Хаггарда вы словно другая страна, словно родник, оазис. Я согласен, здесь не без колдовства, но я пью за такое колдовство.

Когда он поднял стакан, Дринн остановил его:

— Не надо пить за это, мой друг. Не надо пить за горе, которому пятьдесят лет. Да, столько времени назад обруши-

лась на нас печаль, когда Король Хаггард построил свой замок у моря.

— Вернее, когда ведьма построила его, — погрозил пальцем Шмендрик. — Отдадим ей должное.

— А, так ты знаешь эту историю, — сказал Дринн. — Тогда ты должен знать и то, что, когда работа была закончена, Хаггард отказался заплатить ведьме.

Волшебник кивнул.

— Да, и она прокляла его за жадность, то есть прокляла замок, я хотел сказать. Но какое отношение это имеет к Хагсгейту? Город ведь не причинил ведьме зла?

— Нет, — ответил Дринн. — Но он не сделал и ничего хорошего. Она не могла разрушить замок или не хотела, так как считала себя художественной натурой и хвастала, что ее работа на много лет опережает свое время. Так или иначе, она пришла к старейшинам Хагсгейта и потребовала, чтобы они заставили Хаггарда заплатить ей, что причитается. «Посмотрите на меня и представьте себя на моем месте, — скрипела она. — Это же проверка и города, и Короля. Господин, надувающий старую уродливую ведьму, будет надувать и свой народ. Остановите же его, пока вы можете, пока вы еще не привыкли к нему». — Дринн отхлебнул вина и задумчиво наполнил стакан Шмендрика еще раз. — Хаггард не уделил ей денег, — продолжал он, — а Хагсгейт, увы, не уделил ей внимания. Ее вежливо направили к соответствующим должностным лицам, после чего она впала в ярость и завизжала, что, желая совсем не иметь врагов, мы сразу приобрели двух. — Он остановился, прикрыв глаза тонкими веками, такими тонкими, что Молли подумала, что он, должно быть, видит сквозь них, как птица. С закрытыми глазами он произнес: — Вот тогда-то она и прокляла замок Хаггарда, а заодно и наш город. Так его жадность погубила нас всех.

В наступившем молчании голос Молли Отравы ударил, как молот по наковальне, — будто она снова ставила на место бедного Капитана Калли.

— Вина Хаггарда меньше вашей, — дразнила она народ Хагсгейта. — Он воровал один, а вы вместе. Вы нажили беду собственной алчностью, а не жадностью Короля.

Дринн открыл глаза и сердито посмотрел на нее.

— Мы ничего не заработали, — запротестовал он. —

Ведьма просила о помощи наших родителей и дедов, и, уверен, по-своему они, как и Хаггард, были правы. Мы бы решили совсем иначе.

Все, кто был помоложе, недовольно уставились на более старших. Один из них хрипло и мяукающе произнес:

— Вы решили бы все точно так же. Тогда был урожай, который надо было собрать, и хозяйство, за которым надо было следить... Как и сейчас... Был Хаггард, с которым надо было жить, как надо и сейчас. Мы прекрасно знаем, как поступили бы вы, — ведь вы наши дети.

Дринн взглядом заставил его сесть на место, в толпе негодующе заворчали, но волшебник утихомирил всех одним вопросом:

— В чем заключалось проклятие? Имело ли оно какое-нибудь отношение к Красному Быку?

Как только имя Быка холодно прозвенело в освещенной комнате, Молли вдруг захлестнуло чувство одиночества. Не задумываясь, она задала вопрос, не имевший никакого отношения к делу:

— А видел ли кто-нибудь из вас единорога?

Вот тогда-то она поняла две вещи: разницу между молчанием и полным молчанием и то, что она правильно сделала, задав этот вопрос. Хагсгейцы пытались сохранить бесстрастное выражение лица. Дринн осторожно сказал:

— Мы никогда не видим Быка и не говорим о нем. Все, что имеет к нему отношение, нас не касается. А вот единорогов — нет. И никогда не было. — Он опять налил вина. — Я повторю вам слова проклятья, — сказал он и, сложив руки перед собой, начал нараспев:

Разделите вы, Хаггарда рабы,
Взлет и падение его судьбы,
Вы будете богаты, вам на горе,
Покуда башни не обрушит море.
Замок будет сокрушен
Тем, кто в Хагсгейте рожден.

Несколько голосов присоединились к голосу Дринна, повторяя слова старинного проклятья. Они были печальны и доносились откуда-то издалека, словно раздавались не в комнате, а вились где-то над трубой гостиницы, беспомощные, как сухие листья.

«Что это на их лицах? — думала Молли. — Кажется, я

знаю». Волшебник молча сидел возле нее, его длинные пальцы играли бокалом.

— Когда эти слова были произнесены впервые, — продолжал Дринн, — Хаггарда еще не было в стране, и все вокруг было свежим и цвело, все, кроме Хагсгейта. Хагсгейт был тогда таким, какой стала теперь вся страна: нищим, голым городом, в котором люди клали на крышу большие камни, чтобы ветер не сдувал солому. — Он горько улыбнулся, посмотрев на пожилых. — Урожай... хозяйство! Растили капусту, брюкву, мелкую картошку, и во всем Хагсгейте была всего одна усталая корова. Странники считали, что город прокляла какая-то мстительная ведьма.

Молли чувствовала, как Она ходит по улице, то удаляется, то возвращается, беспокойная, как колеблющиеся тени факелов на стене. Молли хотела выбежать к ней, но вместо того спокойно спросила:

— Ну а потом, когда проклятие свершилось?

Дринн ответил:

— С этого момента мы не видели ничего, кроме щедрости. Наша суровая земля стала такой доброй, что сады и огороды вырастали на ней сами по себе — их не надо было ни сажать, ни поливать. Наши стада множились; наши ремесленники однажды проснулись мастерами; воздух, которым мы дышим, и вода, которую мы пьем, сохраняют нас от болезней. Все печали минуют нас — и это в то время, когда все вокруг стало пеплом в руках Хаггарда. Пятьдесят лет процветаем только мы и он. Как будто прокляты все остальные.

— «Взлет и падение его судьбы», — пробормотал Шмендрик. — Так, так. — Он выпил еще стакан черного вина и рассмеялся. — А старый Хаггард все правит и будет править, пока море не хлынет на сушу. Вы и не знаете, что такое настоящее проклятье. Послушайте-ка мою историю. — Его глаза вдруг наполнились слезами. — Начнем с того, что моя мать не любила меня. Она притворялась, а я знал...

Дринн прервал его, и только тогда Молли поняла, что было странным в хагсгейцах. Они были хорошо и тепло одеты, но их лица были лицами бедняков, промерзших до костей и слишком голодных, чтобы есть. Дринн произнес:

— «Замок будет сокрушен тем, кто в Хагсгейте рожден». Как мы можем наслаждаться своим богатством, если знаем,

что оно окончится и причиной тому будет один из нас. С каждым днем мы все богаче и все ближе к гибели. Волшебник, пятьдесят лет мы жили, избегая привязанностей, порвали со всеми привычками... Мы готовились к приходу моря. Ни минуты радости не дало нам ни богатство, ни что-нибудь другое: ведь счастье — это тоже нечто, что можно потерять. Пожалейте Хагсгейт, путники, ведь во всем жалком мире нет города несчастнее.

— Погибли, погибли, погибли, — причитали горожане. — Горе, горе нам.

Молли Отрава молча взирала на них, а Шмендрик почтительно сказал:

— Вот это доброе проклятие, вот это профессиональная работа. Я всегда говорю: если тебе что-нибудь нужно, иди к профессионалу. В конце концов это оправдает себя.

Дринн нахмурился, и Молли толкнула Шмендрика в бок. Тот заморгал:

— Ой! Ну, что вы хотите! Должен предупредить, я не слишком искусный маг, однако если бы я мог, то с радостью снял бы с вас это проклятье.

— Я и не думаю, что ты большой чародей, — отвечал Дринн, — но и такой, как ты есть, ты поможешь не больше, чем самый искусный из вас. Оставим проклятье в покое. Если кто-нибудь его и снимет, может, мы и не станем бедней, но уж богатеть перестанем, а это столь же плохо. Нет, наше настоящее дело — не дать замку Хаггарда обрушиться в море, а раз герой, который разрушит замок, должен быть родом из Хагсгейта, наша задача вполне выполнима. Поэтому-то мы и не позволяем селиться у нас чужеземцам. Мы отгоняем их, если нужно — силой, но чаще — обманом. Мрачные сказки про Хагсгейт, о которых ты говорил... выдумали мы сами и следим за тем, чтобы их знали повсюду и чтобы к нам никто не приходил. — Тут на его впалых щеках появилась гордая улыбка. Шмендрик, опершись подбородком о костяшки пальцев, с вялой улыбкой смотрел на Дринна.

— А как же ваши собственные дети? — спросил он. — Ведь кто-нибудь из них, когда вырастет, может выполнить проклятье? — Он посмотрел вокруг, сонно изучая уставившиеся на него морщинистые лица. — Надо подумать, есть ли в этом городе молодежь. Когда в Хагсгейте кладут детей спать?

Все молчали. Молли слышала, как стучит кровь в ушах хагсгейцев, видела, как она затмевает их глаза, как волнами по коже пробегает дрожь. Потом Дринн сказал:

— У нас нет детей. Нет с того самого дня, когда на нас пало проклятье. — Он покашлял в кулак и добавил: — Наиболее очевидный способ одурачить ведьму.

Шмендрик откинул голову назад и беззвучно рассмеялся, так, что дрогнули огни факелов. Молли поняла — волшебник был совершенно пьян.

Рот Дринна исчез, а глаза стали потрескавшимся фарфором:

— Я не вижу в нашем положении никаких причин для смеха, — тихо сказал он. — Совершенно никаких.

— Никаких, — пробулькал Шмендрик и, расплескивая вино, склонился над столом. — Никаких, простите, никаких, совершенно никаких. — Под злыми взглядами двух сотен глаз он попытался взять себя в руки и серьезно ответил Дринну: — Тогда может показаться, что у вас совсем нет забот. По крайней мере, серьезно тревожащих вас. — Легкий смешок вырвался из его рта, как пар из чайника.

— Да, так может показаться, — Дринн наклонился вперед и двумя пальцами тронул Шмендрика за запястье. — Но я еще не сказал всего. Двадцать один год назад в Хагсгейте родился ребенок. Чей он был, мы так и не узнали. Я сам нашел его как-то ночью на рыночной площади. Он молча лежал на колоде мясника. Шел снег, но его тесно окружили бродячие кошки, и ему было тепло и уютно. Кошки мурлыкали, и голоса их были полны знания. Я долго стоял у колыбели, размышляя, почему идет снег и, мурлыкая, пророчествуют кошки. — Он остановился, и Молли Отрава нетерпеливо сказала:

— Конечно, вы взяли ребенка домой и воспитали как своего собственного?

Дринн положил руки ладонями кверху.

— Я прогнал кошек, — ответил он, — и в одиночестве отправился домой. — Лицо Молли стало белым, как туман. Дринн слегка поежился. — Я понимаю, когда рождается герой... — продолжал он. — Знамения, предзнаменования, змеи в детской... Если бы не кошки, я, наверное, попытался бы позаботиться о ребенке, но они сделали все таким ясным,

как в мифах. Что я должен был делать — все понимая, приютить гибель Хагсгейта? — Губа его дрогнула, будто в нее вонзился крючок. — Как часто бывает, я ошибся, но к лучшему. Когда на рассвете я вернулся, ребенок исчез. — Шмендрик чертил что-то пальцем в луже вина и, возможно, ничего не слышал. Дринн продолжал: — Естественно, ребенка с рыночной площади никто никогда не признал своим. Обыскав все дома от подвалов до голубятни, мы так и не нашли его. Я мог подумать, что ребенка унесли волки или что мне все это приснилось, и кошки тоже, но именно на следующий день в город въехал герольд Короля Хаггарда, приказавший нам возрадоваться. После тридцати лет ожидания Король наконец обрел сына. — Дринн отвернулся, чтобы не видеть лица Молли. — Совершенно случайно наш найденыш оказался мальчишкой.

Шмендрик лизнул кончик пальца и поднял глаза.

— Лир, — сказал он задумчиво. — Принц Лир. Но нельзя ли было как-нибудь иначе объяснить его появление?

— Едва ли, — фыркнул Дринн. — Женщине, согласной выйти замуж за Хаггарда, отказал бы сам Хаггард. Он сочинил сказку, будто мальчишка — его племянник, которого он благородно усыновил после смерти родителей. Но у Хаггарда нет ни родственников, ни семьи. Некоторые говорят, что его породили осенние тучи, ну, как Венеру — море. Никто не отдал бы Хаггарду ребенка на воспитание.

Волшебник спокойно наполнил свой бокал и предложил Дринну — тот отказался.

— Ну, одного он, на свое счастье, достал. Но как он мог наткнуться на вашего кошачьего детеныша?

— По ночам он ходит по Хагсгейту, не часто, но ходит. Многие из нас видели его: высокий, серый, как выброшенный морем ствол, в одиночестве крадется он под железной луной, подбирая потерянные монетки, разбитые тарелки, ложки, камни, носовые платки, кольца, раздавленные яблоки, все, что угодно, без разбора. Это Хаггард подобрал ребенка. Я уверен в этом так же, как я уверен в том, что Принц Лир и есть тот, кто обрушит башни и потопит Хагсгейт вместе с Хаггардом.

— Надеюсь, что это так, — вмешалась Молли. — Надеюсь, что Принц Лир — это тот ребенок, которого вы остави-

ли умирать, надеюсь, что он потопит ваш город, надеюсь, что рыбы обгложут вас, как кукурузные початки.

Слушатели начали шипеть, как угли, кое-кто уже вскочил, и Шмендрик под столом изо всех сил пнул Молли ногой. Он снова спросил:

— Что вы хотите от меня?

— Полагаю, вы направляетесь в замок Хаггарда?

Шмендрик кивнул.

— Ах, — сказал Дринн. — Разумному волшебнику так просто подружиться с полным энергии и любопытства Принцем Лиром. Умный волшебник, конечно, знает все старые рецепты: порошки, настойки, экстракты, лекарства, яды, мази. Умный волшебник, заметь, я говорю «умный», не более, так значит, умный волшебник в соответствующих условиях... — Остальное осталось недосказанным, но тем не менее вполне ясным.

— И это за обед? — Шмендрик вскочил, опрокинув стул. Прерывисто дыша, он обеими руками оперся на стол. — Что же это — нынешняя цена? Обед за жизнь Принца? Тебе это обойдется дороже, дружище Дринн. За такую цену я не стал бы даже чистить трубу.

— Что ты говоришь! — вскрикнула Молли Отрава и схватила его за руку. Волшебник оттолкнул ее и незаметно подмигнул.

Дринн откинулся назад и улыбнулся:

— Я никогда не торгуюсь с профессионалами, — сказал он. — Двадцать пять золотых.

Они торговались около получаса, Шмендрик требовал сотню золотых, Дринн не соглашался более чем за сорок. Наконец они согласились на семидесяти, половина вперед, половина — после успешного завершения дела. Дринн прямо на месте отсчитал деньги из кожаного кошеля, прикрепленного к поясу.

— Вы, конечно, проведете ночь в Хагсгейте, — сказал он. — Я сам был бы рад устроить вас...

Но волшебник покачал головой.

— Не думаю. Мы направимся к замку, раз уж мы так близко. Скорей туда, скорей обратно, а? — и он ухмыльнулся, как опытный заговорщик.

— Замок Хаггарда всегда опасен, — предупредил Дринн. — Но больше всего он опасен ночью.

— То же самое говорят о Хагсгейте, — ответил Шмендрик. — Не следует верить всему, что слышишь, Дринн. — Он направился к дверям гостиницы, Молли последовала за ним. Там он обернулся и одарил улыбкой сгорбившихся в своих нарядах хагсгейцев. — Я бы хотел добавить на прощанье, — сказал он, — что самое профессиональное из когда-либо проскрипевших и прогромыхавших проклятий не властно над тем, кто чист сердцем. Спокойной ночи.

Ночь лежала на улице, холодная, как кобра, усеянная чешуей звезд. Луны не было. Шмендрик храбро вышагивал, тихо посмеиваясь и позванивая золотыми монетами. Не глядя на Молли, он произнес:

— Щенки. Поверить, что волшебник охотно замарается в крови. Ну, если бы они хотели, чтобы я снял проклятье, я мог бы сделать это не более, чем за обед, просто за стакан вина, наконец.

— Я рада, что ты этого не сделал, — свирепо сказала Молли. — Они заслуживают свою судьбу, они заслуживают и большего. Оставить ребенка на снегу...

— Ну, иначе он никогда не стал бы Принцем. Ты когда-нибудь раньше бывала в сказке? — Голос волшебника был пьяным и добрым, и глаза его светились, как только что полученные монеты. — Герой должен выполнять пророчество, а злодей — ему мешать, впрочем, в прозе чаще торжествует последний... И герой должен быть особенным с момента рождения, иначе он не настоящий герой. Очень рад узнать это о Принце Лире. Я как раз ожидал, что в нашей сказке вот-вот обнаружится герой.

Внезапно впереди них, как на небе возникает звезда, как из тумана появляется парус, появился единорог.

— Если герой — Лир, то кто же она? — спросила Молли.

— Тут другое. Хаггард, и Лир, и Дринн, и я, и ты — все мы в сказке, и сказка несет нас. Но она настоящая. Она настоящая. — Шмендрик зевнул, икнул и поежился одновременно. — Поспешим, — сказал он. — Возможно, нам следовало переночевать там, но старый Дринн действует мне на нервы. Похоже, я провел его, но все-таки...

Молли брела, порой засыпая на ходу, и ей казалось, что

Хагсгейт тянется за ними троими, как лапа, обхватывает их, мягко отбрасывает вбок и назад, и они все кружат и кружат по собственным следам. Прошло столетие, прежде чем они достигли последнего дома на городской окраине, еще пятьдесят лет они брели по сырым полям, виноградникам, раскидистым садам. Молли снилось, что с вершин деревьев на них плотоядно взирают овцы и холодные коровы сталкивают их с извилистой тропинки. Но Она огоньком плыла впереди, и Молли, то ли во сне, то ли наяву, брела следом.

Замок Короля Хаггарда бесшумно крался в небе, как сторожащая долину слепая черная птица. Молли, казалось, слышала взмахи ее крыльев. Дыхание единорога пошевелило ее волосы, и она услышала голос Шмендрика:

— Сколько их?

— Трое, — ответила Она, — они шли за нами из Хагсгейта, сейчас быстро догоняют нас. Слушай.

Шаги были чересчур легкими и быстрыми, а голоса слишком тихими, чтобы ждать чего-нибудь хорошего. Волшебник потер глаза.

— Быть может, Дринну стало совестно, что он недоплатил отравителю, — пробормотал он. — Может, его мучит совесть, все возможно. А может, я оброс перьями. — Он схватил Молли за руку и стянул ее в жесткую низину у дороги. Тихая, как лунный свет, рядом лежала Она.

Рыбьими хвостами на глади моря сверкнули кинжалы. Неожиданно раздался громкий и злой голос:

— Говорю тебе, мы потеряли их. Мы разошлись с ними милю назад, там, где я слышал шуршание. Черт меня побери, если я побегу дальше.

— Тихо, — яростно ответил второй голос. — Ты хочешь, чтобы они удрали и выдали нас? Ты боишься волшебника, побойся-ка лучше Красного Быка. Если Хаггард узнает о нашей половине проклятья, он пошлет Быка втоптать всех нас в землю.

Первый ответил мягче:

— Я боюсь не этого. Волшебник без бороды — это не волшебник. Но мы тратим время попусту. Как только они услышали, что мы преследуем их, они сразу же ушли с дороги и пошли напрямик. Мы проищем их всю ночь и не найдем.

Раздался третий голос, более усталый, чем первые два:

— Мы и так происками их всю ночь. Смотрите, уже светает.

Молли поняла, что она уже наполовину забралась под черный плащ Шмендрика и уткнулась лицом в колючий пучок сухой травы. Не осмеливаясь поднять голову, она открыла глаза и увидела, что вокруг как-то странно посветлело. Второй человек проговорил:

— Ты глуп. До рассвета еще два часа, к тому же мы смотрим на запад.

— Во всяком случае, — отозвался третий, — я отправляюсь домой.

По дороге громко застучали каблуки, теперь в обратном направлении. Первый крикнул:

— Стой, подожди! Стой, я пойду с тобой, — и он поспешно прошептал второму: — Я не домой, я хочу поискать немного в стороне. Мне все-таки кажется, что я слышал их, и еще я где-то обронил огниво...

Молли слышала, как удаляется его голос.

— Черт бы побрал вас, трусы! — выругался второй. — Подождите же немного, я попробую то, что посоветовал мне Дринн! — И, когда шаги стали удаляться, он начал нараспев: — Лета теплее, сытнее еды, крови дороже, сильнее воды...

— Скорее! — крикнул третий. — Скорее! Поглядите на небо. Что это за ерунда?

Даже в голосе второго человека зазвучало беспокойство:

— Это не ерунда. Дринн так бережно обращается со своими деньгами, что они не могут расставаться с ним. Одна из самых трогательных привязанностей, которые я видел. Так он их зовет. — И он продолжил слегка дрожащим голосом: — Ласковей милой, надежнее лжи, имя того, кого любишь, скажи.

— Дринн, — зазвенели золотые монеты в кошельке Шмендрика, — дринн-дринн-дринн-дринн. — И тут все случилось.

Оборванный черный плащ хлестнул Молли по щеке, когда Шмендрик, встав на колени, в отчаянии сжал кошелек. Тот погремушкой трещал в его руке. Шмендрик швырнул кошелек далеко в кусты, но все трое с красными, словно окровавленными, кинжалами уже бежали на них. За замком Короля Хаггарда, плечом отодвигая ночь, разливалось пылающее сияние. Выпрямившись, волшебник угрожал атаку-

ющим демонами, превращениями, парализующими мазями и секретными приемами дзюдо. Молли подобрала камень.

Издав странный ликующий и ужасный крик погибели, Она выскочила из укрытия. Копыта единорога разили как мечи, грива неистовствовала, а вокруг головы сверкали молнии. Трое убийц уронили кинжалы и закрыли лица руками, даже Молли и Шмендрик отвернулись. Но Она не видела никого. Белоснежная, обезумевшая, мечущаяся, как в дикой пляске, Она вновь протрубила свой вызов.

Сияние ответило ей мычанием, ревом ломающегося весной льда. Люди Дринна с криком, спотыкаясь, бежали назад по дороге.

Колыхаясь под внезапным холодным ветром, замок Хаггарда полыхал огнем. Молли громко сказала:

— Но ведь это должно быть море, так ведь? — Ей показалось, что там, вдалеке, она видит окно и в нем — серое лицо. Тогда появился Красный Бык.

Глава 8

Он был красен, как кровь, но не та, что бьет из свежей раны, а та, что по капле сочится из-под незаживающего струпа. Как пот, истекал из него ужасающий свет, от рева его оползали холмы. Рога его были бледны, как шрамы. Изогнувшись волной, Она замерла перед ним. Свет ее рога погас, Она повернулась и побежала. Красный Бык заревел вновь и рванулся за нею.

Она никогда ничего не боялась. Она была бессмертна, но ее могли убить гарпия, дракон или химера, пущенная в белку шальная стрела. Но дракон мог лишь убить ее, никогда не смог бы он заставить ее забыть себя или забыть сам, что и мертвая Она останется прекраснее его. Красный Бык не знал ее, но Она чувствовала, что он ищет ее, а не белую кобылу. Страх погасил в ней свет, и она побежала от неистового невежества Быка, наполнявшего небо и истекавшего в долину.

Деревья кидались на нее, и Она дико металась, уклоняясь от них, Она, скользившая сквозь вечность, ни с кем не соприкасаясь. Как стекло, ломались они позади нее под натиском Красного Быка. Он заревел вновь, и тяжелая ветка уда-

рила ее по плечу так, что Она споткнулась и упала. Мгновенно вскочив, Она побежала, но под ногами, стремительно буравя землю и перекрывая ей дорогу, вздымались корни. Удавами кидались на нее виноградные лозы, лианы плели сети между деревьями, вокруг хрустели сухие сучья. Она упала второй раз. Топот Быка отдавался в ее костях, и Она вскрикнула.

Должно быть, Она как-то выбралась из леса и неслась уже по твердой голой равнине, простиравшейся за цветущими пастбищами Хагсгейта. Теперь перед ней был простор, ведь единорог только начинает скачку, когда безнадежно отставший охотник перестает погонять загнанную, изможденную лошадь. Она летела, как жизнь, переходящая из одного тела в другое или несущаяся вдоль меча, быстрее всех, у кого когда-нибудь были ноги или крылья. Но, не оглядываясь назад, Она знала, что Красный Бык нагоняет ее, как луна, раздувшаяся, опухшая луна-охотница. Она чувствовала своими боками прикосновение его серо-фиолетовых рогов, словно он уже ударил ее.

Спелые острые колосья сомкнулись, преграждая ей дорогу, Она растоптала их. От дыхания Быка серебристые пшеничные поля стали холодными, вязкими, рыхлым снегом липли они к ее ногам. Но Она все бежала, кричащая и побежденная, в ее ушах льдинкой звенел голос мотылька: «Давным-давно прошли они по дорогам, и Красный Бык бежал по пятам за ними». Он убил их всех.

Внезапно Бык оказался перед ней; будто шахматная фигура, пронесся он над нею в воздухе и опустился, преградив путь. Он не бросился на нее сразу, и Она не побежала. Когда Она впервые увидела его, он был громаден, но, преследуя, он вырос до таких размеров, что Она не могла даже увидеть его целиком. Подпираемое гигантскими смерчами ног, тело его изгибалось вдоль всего залитого кровью небосвода, северным сиянием пылала голова. Его ноздри зашевелились, он шумно вдохнул, и Она поняла, что Красный Бык слеп.

Если бы тогда он бросился на нее, крохотная и отчаянная, Она бы встретила его погасшим рогом, не боясь, что он растопчет ее. Он был быстрее, и лучше встретить его лицом к лицу, чем на бегу. Но Бык, зловеще смакуя движения, приближался медленно, как бы стараясь не испугать ее, и Она

сдалась. С низким печальным криком Она повернулась и бросилась тем же путем назад по истоптанным полям и равнине к сгорбленному, темному, как и всегда, замку Хаггарда. И позади, за ее страхом, был Красный Бык.

Когда тот пробегал мимо, Шмендрика и Молли разбросало как щепки; Молли ударилась о землю так, что потеряла сознание, а волшебника забросило в кусты, что стоило ему половины плаща и осьмушки собственной кожи. Кое-как поднявшись на ноги, хромая, они пустились в погоню. Оба молчали. Им было легче идти среди деревьев, чем единорогу, — ведь тут уже побывал Красный Бык. Молли и волшебник перелезали через громадные стволы, расколотые и полувтоптанные в землю, на четвереньках ползли мимо бездонных в темноте колодцев. Ни одни копыта на свете не могли бы остановить их, думала потрясенная Молли, сама земля лопалась под тяжестью Красного Быка. Она подумала о единороге, и даже сердце ее побледнело.

Достигнув края равнины, они увидели ее — гонимое ветром белое перышко, почти незаметное в красном сиянии Быка. Потерявшейся от страха и усталости Молли Отраве показалось, что Бык и единорог несутся в пространстве, как звезды: вечно падающие, вечно следующие друг за другом, вечно одинокие. Красный Бык не поймает единорога, как не встретятся никогда Сейчас и Завтра, Прошлое и Настоящее. Молли радостно улыбнулась.

Но вот пылающая тень охватила единорога, и ей показалось, что Бык объял ее со всех сторон. Она попятилась, дернулась, прыгнула в другую сторону — навстречу низко опущенной голове Быка, издававшего глубокое мычание. Она поворачивалась, бросалась то в ту, то в эту сторону, но каждый раз наталкивалась на неподвижного Быка. Он не атаковал, но перекрывал все пути, кроме одного.

— Он гонит ее, — спокойно сказал Шмендрик. — Если бы он хотел ее убить, он мог бы сделать это сейчас. Он гонит ее туда же, куда и остальных, — в замок, к Хаггарду. Интересно, зачем?

— Сделай что-нибудь, — сказала Молли. Ее голос был странно обычен и спокоен, волшебник отвечал так же:

— Я ничего не могу сделать.

Горестная и неутомимая, Она побежала вновь, и Крас-

ный Бык позволил ей бежать не сворачивая. Она столкнулась с ним в третий раз совсем близко, и Молли увидела, что задние ноги единорога дрожат, как у испуганной собаки. Она заставила себя стоять, прижав маленькие изящные уши, и свирепо била ногой землю. Но Она молчала, и рог ее оставался тусклым. Она съежилась, когда от рева Красного Быка затряслось и лопнуло небо, но не попятилась.

— Пожалуйста, — попросила Молли Отрава. — Пожалуйста, сделай что-нибудь.

Шмендрик повернулся к ней, бешеный от бессилия:

— Ну что я могу сделать? Все, что в моих силах, — фокус со шляпой, с монетой или омлет из камней. Как ты думаешь, они развлекут Красного Быка, или лучше попробовать фокус с поющими апельсинами? Я сделаю все, что ты предложишь, ведь мне так хочется быть полезным.

Молли не отвечала. Бык наступал, и Она гнулась к земле; казалось, белая фигура вот-вот переломится. Шмендрик сказал:

— Что делать, я знаю. Если бы я мог, я превратил бы ее в существо, недостойное внимания Быка. Но на это способен только великий маг, такой, как мой учитель Никос. Превратить единорога — сумевший это мог бы жонглировать временами года, а сами годы тасовать, как колоду карт. А что могу я? Не больше, чем ты, нет, меньше — ты можешь прикоснуться к ней, а я — нет. — Вдруг он вскрикнул: — Смотри, все!

Склонив голову, пепельно-серая, стояла Она перед Красным Быком. Она казалась маленькой и хрупкой, и даже любящие глаза Молли не могли не заметить, как нелеп единорог, когда свет покидает его. Хвост льва, ноги оленя, копыта козы и грива, холодная и нежная, как пена в руке, и глаза... эти глаза! Молли изо всех сил впилась ногтями в руку Шмендрика.

— Ты можешь, — сказала она голосом глубоким и звучным, голосом сивиллы. — Возможно, ты не знаешь как, но ты можешь. Ты вызвал Робина Гуда, его нет, но он пришел на твой зов — настоящий Робин Гуд. Это волшебство. Вся сила, которую ты ищешь, — в тебе самом, решись признать ее!

Шмендрик молча разглядывал ее, словно пытаясь своими зелеными глазами отыскать собственную магию в глазах Молли Отравы. Бык сделал шаг к единорогу, не преследуя, а

повелевая одним своим присутствием, и Она двинулась, укрощенная и послушная, к морю и зазубринам замка Хаггарда перед пастушьей собакой — Красным Быком.

— Ну пожалуйста, — молила Молли. — Это же несправедливо, это же невозможно. Он загонит ее к Хаггарду, и никто никогда не увидит ее, никто. Пожалуйста, ведь ты волшебник, не дай ему сделать это. — Ее пальцы еще глубже впились в руку Шмендрика. — Сделай что-нибудь! — зарыдала он. — Не дай ему! Сделай что-нибудь!

Шмендрик тщетно старался разжать ее стиснутые пальцы.

— Я не сделаю ни черта, — сказал он, — пока ты не отпустишь мою руку.

— Ох, — спохватилась Молли, — прости.

— Ты ее совсем отдавила, — рассердился волшебник. Он потер руку и сделал несколько шагов вперед, навстречу Красному Быку. Он встал на пути Быка со скрещенными на груди руками и поднятой головой, поминутно падавшей от усталости на грудь.

— Может быть, сейчас, — слышала Молли его шепот. — Может быть, сейчас. Никос сказал... Что же он сказал? Не помню... нет... Это было так давно. — Никогда прежде не слыхала Молли в его голосе столько странной печали. Вдруг его голос вспыхнул весельем: — Ну, кто знает, кто знает? Если время еще не настало, может, я смогу поторопить его. Есть еще и кое-что утешительное, друг Шмендрик. Ведь хуже быть уже не может. — Он тихо рассмеялся.

По слепоте своей Красный Бык заметил высокую фигуру на своем пути, лишь когда почти наткнулся на нее. Он остановился, понюхал воздух, буря бушевала у него в груди, но в движениях его громадной головы было смятение. Вслед за ним остановилась и Она. От этой ее покорности у Шмендрика перехватило дыхание.

— Беги! — крикнул он. — Беги немедленно!

Но Она не смотрела ни на него, ни на Быка, ее глаза были опущены в землю.

Услыхав голос Шмендрика, Бык громко и угрожающе заворчал. Он торопился выбраться вместе с единорогом из долины, и волшебник знал почему. За сверкающей громадой Красного Быка он мог видеть две-три бледно-желтых звез-

дочки, начинавшие меркнуть в ином, осторожном и теплом, свете. Близился рассвет.

«Он боится дневного света, — заметил про себя Шмендрик. — Это стоит знать». Еще раз он крикнул, чтобы Она бежала, но единственный ответ раскатился над ним громовым мычанием. Она рванулась вперед, и Шмендрик отскочил в сторону, иначе Она растоптала бы его. Совсем близко за ней был Бык, гнавший ее, словно ветер клочки тумана. Исходящая от него мощь подхватила Шмендрика, понесла и равнодушно швырнула на землю с обожженными глазами и пылающей головой. Ему показалось, что он слышал крик Молли.

С трудом встав на одно колено, он увидел, что Красный Бык уже довел единорога до деревьев. Если бы Она еще раз попробовала спастись... Но она уже принадлежала не себе — Быку. Волшебник мельком увидел ее за полумесяцем бледных рогов, тусклую и потерянную, прежде чем вал красной спины скрыл ее из вида. Тогда, качаясь от слабости, разбитый и побежденный, он поднялся и дал волю всей своей безнадежности, пока где-то в нем не проснулось нечто, однажды посетившее его. От страха и счастья он громко крикнул.

Слова, которые магия дала ему во второй раз, он никогда не мог с уверенностью вспомнить, они ринулись из него, как орлы, и он отпустил их. Но когда последнее слово вырвалось на волю громовым ударом, швырнувшим его на землю, поразила его вернувшаяся пустота. Все произошло в один миг. И еще не сумев подняться, он уже знал: сила была и оставила его.

Впереди Красный Бык смиренно обнюхивал что-то лежащее на земле. Шмендрик нигде не видел единорога. Он изо всех припустил вперед, но Молли была ближе, и она первой увидела, над чем склонился Красный Бык. Как дитя, она прикусила пальцы.

У ног Красного Быка крохотным холмиком света и тени лежала молодая девушка. Она была нага, и тело ее светилось, как снег под лучами луны. Спутанные светлые, белые, как водопад, волосы спускались ниже пояса, лицо ее было закрыто руками.

— Ох, — выдохнула Молли. — Что ты наделал? — И, ничего не боясь, она подбежала к девушке и склонилась над ней.

Красный Бык поднял свою громадную слепую голову и медленно повернул ее к Шмендрику. Казалось, он становился бледнее и тусклее по мере того, как светлело серое небо, хотя он все еще пламенел диким светом ползущей лавы. Еще раз Красный Бык дохнул на неподвижную фигурку, обдав ее ветром своего дыхания. Затем, не издав ни звука, он рванулся к деревьям и тремя гигантскими прыжками исчез из вида. На краю долины Шмендрик заметил его последний раз: не силуэт, нет, вихрь тьмы, красной тьмы, которую видишь, закрывая глаза от боли. Рога стали двумя самыми высокими башнями сумасшедшего замка Хаггарда.

Молли Отрава положила голову белой девушки себе на колени и вновь повторяла: «Что ты наделал, что ты наделал». Прекраснее спокойного и почти улыбающегося во сне лица девушки Шмендрик никогда ничего не видел. Оно одновременно и ранило, и согревало его. Молли пригладила странные волосы, и Шмендрик заметил на лбу выше переносицы маленькую выступающую темную отметину. Это не было шрамом или синяком. Скорее, это был цветок.

— Что ты заладила — «наделал», «наделал». Спас ее от Быка с помощью магии — только и всего! С помощью магии, женщина, моей собственной истинной магии! — Бессильный от восторга, он хотел плясать и сидеть тихо, его распирали слова, и ему нечего было сказать. Потом он расхохотался, обхватив ее за плечи, и, наконец, задыхаясь от смеха, распростерся у ног Молли.

— Дай сюда плащ, — сказала Молли. Сияющий волшебник, мигая, уставился на нее. Она протянула руку и грубо стащила рваный плащ с его плеч. Затем, как могла, укрыла им спящую девушку. Тело ее просвечивало сквозь плащ, как солнце сквозь листья.

— Конечно, тебе интересно знать, как я собираюсь вернуть ей истинный облик, — делился мыслями Шмендрик, — не сомневайся, когда потребуется, сила вернется ко мне — теперь я это знаю. Однажды я позову ее, и она придет. Но этот день еще не настал. — Он порывисто сжал голову Молли своими длинными руками. — Но ты была права, — воскликнул он, — ты была права! Она здесь и она — моя!

Молли резко высвободилась, щеки и уши ее покраснели.

Девушка на ее коленях вздохнула, перестала улыбаться и отвернула голову от зарева на востоке. Молли сказала:

— Шмендрик, бедняга, волшебник, разве ты не видишь...

— Что? Что еще надо видеть? — спросил он твердо, но с опаской, и в его зеленых глазах появился испуг. — Красному Быку нужен был единорог, и ей следовало стать кем-нибудь другим. Ты меня сама об этом просила, так что же тебя теперь раздражает?

Нервно, как старуха, Молли затрясла головой:

— Я не знала, что ты собираешься превратить ее в человека, лучше бы ты... — Не закончив фразу, она отвернулась от него, продолжая одной рукой гладить волосы белой девушки.

— Выбирает форму *магия*, не я, — отвечал Шмендрик. — Шут может выбрать тот или другой фокус, но волшебник — это носильщик, осел, везущий хозяина. Волшебник призывает, магия выбирает. — Его лицо лихорадочно пылало, отчего казалось еще моложе. — Я носитель, — пел он. — Я — обиталище. Я — вестник.

— Ты — идиот, — свирепо ответила ему Молли. — Ты меня слышишь? Да, ты волшебник, это так, но ты — глупый волшебник.

Девушка пыталась проснуться, руки ее сжимались и разжимались, а веки трепетали, как грудка пойманной птицы. Молли и Шмендрик, не отрываясь, глядели на нее, и с мягким стоном девушка открыла глаза. Широко, шире и несколько глубже, чем обычно, посаженные глаза были темны, как море, и, как в море, в них искрились странные создания, никогда не поднимающиеся на поверхность. Молли подумала: «Единорога можно превратить в ящерицу, в акулу, в улитку, в гусыню, и все-таки глаза выдадут его. Мне. Я узнаю». Девушка лежала не шевелясь, пытаясь разглядеть свое отражение в глазах Молли и Шмендрика. Вдруг одним движением она вскочила на ноги, черный плащ свалился на колени Молли. На миг изогнувшись дугой, она посмотрела на свои руки, беспомощно прижатые высоко к груди. Она раскачивалась и переваливалась, как дрессированный шимпанзе. На лице ее застыло растерянное выражение, будто она жертва глупой шутки. И все же любое ее движение было прекрас-

ным. Ее ужас был прекраснее любого счастья, виденного когда-то Молли, и это было страшнее всего.

— Осел, — сказала Молли, — тоже мне — кудесник.

— Я могу превратить ее обратно в единорога, — хриплым голосом сказал волшебник, — не беспокойся, я могу превратить ее опять в единорога.

Сверкая на солнце, белая девушка ковыляла туда-сюда на сильных молодых ногах. Внезапно она споткнулась, упала и крепко ушиблась — она не знала, как падать на руки. Молли рванулась к ней, но, скрючившись на земле и глядя на нее, девушка проговорила низким голосом:

— Что вы сделали со мной?

Молли Отрава залилась слезами.

С похолодевшим мокрым лицом Шмендрик шагнул вперед:

— Я превратил вас в человека, чтобы спасти от Красного Быка. Ничего больше сделать я не мог. Как только смогу, я превращу вас обратно.

— Красный Бык, — прошептала девушка. — Ах! — Она страшно задрожала, как будто что-то изнутри сотрясало ее. — Он был слишком силен, — сказала она, — слишком. Его силе нет ни начала, ни конца. Он старше меня.

Ее глаза расширились, и Молли показалось, что в их темной глубине огненной рыбой проплыл и исчез Бык. Неуверенно, с ужасом и отвращением девушка начала ощупывать свое лицо. Когда ее согнутые пальцы коснулись отметины на лбу, она закрыла глаза и тонко и пронзительно застонала от потери, усталости и предельного отчаяния.

— Что вы сделали со мной? — повторила она. — Я умру в этом! — Она рванула свое гладкое тело ногтями, брызнула кровь. — Я умру в этом! Я умру! — И все же на ее лице не было страха, хотя он бился в ее голосе, в ее руках и ногах, в белых волосах, закрывавших до пояса ее тело. Лицо ее оставалось спокойным и безмятежным.

Приблизившись, насколько хватало смелости, Молли засуетилась возле нее, умоляя не ранить себя. Но, как хруст сухой ветки, прозвучал голос Шмендрика:

— Успокойтесь. Магия знала, что делать. Успокойтесь и слушайте.

— Почему ты не дал Быку убить меня? — застонала белая

девушка. — Почему ты не оставил меня гарпии? Это было бы добрее, чем запирать меня в этой клетке.

Волшебник пошатнулся, вспомнив насмешливо-презрительный голос Молли, но продолжал с отчаянным спокойствием:

— Во-первых, это достаточно привлекательное тело, — сказал он. — Сделать его еще красивее и остаться при этом человеком нельзя.

Она посмотрела на себя: вбок — на плечи, вниз — на руки, на исцарапанное, исполосованное тело. Встав на одну ногу, она осмотрела пятку другой, подняв глаза, пыталась рассмотреть серебристые брови, скосив их на нос, пробовала разглядеть румянец на щеках, зеленые вены на запястье, веселые, как молодые выдры. Наконец она повернула лицо к волшебнику, и у того снова перехватило дыхание. «Я сотворил чудо», — подумал он, но печаль рыболовным крючком засела у него в горле.

— Хорошо, — сказал он. — Вам было бы все равно, преврати я вас в носорога, с которого и начался этот глупый миф. Но в таком виде вы можете добраться до Короля Хаггарда и узнать, что случилось с вашим народом. В виде единорога вы только бы испытали судьбу остальных — или вы считаете, что справитесь с Быком, встретив его еще раз?

Белая девушка затрясла головой.

— Нет, — ответила она. — Никогда. В следующий раз я не продержусь так долго. — Ее голос был слишком мягок, словно в нем переломали все кости. Она сказала: — Мой народ ушел, и скоро я последую за ним, в каком бы теле ты ни заточил меня. Но в качестве своей тюрьмы я бы выбрала другое тело: носорог столь же уродлив, как и человек, и тоже смертен, но он, по крайней мере, не считает себя прекрасным.

— Да, так он никогда не думает, — согласился волшебник. — Вот почему он остается носорогом и никогда не будет принят даже при дворе Хаггарда. Но молодая девушка, девушка, которой безразлично, носорог она или что-нибудь еще, такая девушка, пока Король и Принц решают ее загадку, может решить свою. Носорог же в отличие от девушки не получит ответа.

На горячем и прокисшем небе лужей цвета львиной

шкуры висело солнце, над неподвижной равниной Хагсгейта тяжело шевелился затхлый ветер.

Обнаженная девушка с родинкой-цветком на лбу молча смотрела на зеленоглазого мужчину, а женщина смотрела на них обоих. Желтым утром замок Хаггарда не казался ни зловещим, ни проклятым — всего лишь мрачным, запущенным и некрасивым. Тонкие башни его напоминали теперь не рога быка, а рожки на шапке шута. «Или решения дилеммы», — подумал Шмендрик. Наверное, тем, что их больше двух.

Белая девушка простонала:

— Я еще остаюсь собой. Это тело умирает. Я чувствую, как оно разлагается вокруг меня. Как может быть реальным то, что умрет? Как оно может быть истинно прекрасным?

Молли Отрава вновь набросила плащ волшебника на ее плечи, не для приличия или из стыдливости, а со странной жалостью, как бы для того, чтобы скрыть ее от собственного взгляда.

— Я расскажу вам кое-что, — начал Шмендрик. — Мальчиком я учился у величайшего из волшебников — великого Никоса, о котором я уже говорил. Но даже Никос, который мог превратить кота в корову, снежные хлопья в подснежники, единорога в человека, не мог сделать из меня даже ярмарочного шулера. Наконец он сказал мне: «Сын мой, твое неумение столь огромно, а неспособность так велика, что я уверен — в тебе кроется сила более великая, чем что-либо, известное мне. К несчастью, сейчас она действует не в ту сторону, и даже я не могу изменить этого. Это значит, тебе предопределено самому когда-нибудь обрести себя. Но, по совести, тебя для этого нужно столько... Словом, я обещаю, что впредь от сего дня ты не будешь стариться, вечно неумелым и беспомощным странствуя по свету, пока наконец однажды не обретешь себя и не поймешь, кто ты. Не благодари, твоя участь повергает меня в ужас».

Белая девушка смотрела на него ясными амарантовыми глазами единорога, мягкими и пугающими на совершенно новом лице, но ничего не сказала. Спросила Молли Отрава:

— А если ты найдешь свою магию — что тогда?

— Тогда заклятье исчезнет, и я вновь начну умирать, как в тот миг, когда появился на свет. Даже величайшие волшебники старятся, как все люди, и умирают. — Он пошатнулся,

на мгновение задремал, уронив голову на грудь, и вновь открыл глаза: высокий, тощий, оборванный мужчина, от которого пахло вином и дорогой. — Я говорил вам, что я старше, чем кажусь, — сказал он. — Я был рожден смертным и так долго и глупо бессмертен, но когда-нибудь вновь стану смертным, поэтому я знаю кое-что, чего не может знать единорог. То, что может умереть, — прекрасно, прекраснее, чем живущий вечно единорог, самое прекрасное существо на свете. Вы понимаете?

— Нет, — ответила Она.

Волшебник устало улыбнулся.

— Вы поймете. Теперь вы в сказке вместе со всеми нами и должны идти туда, куда она несет нас, хотите вы того или нет. Если вы хотите найти свой народ, если вы хотите вновь стать единорогом, вы должны, повинуясь ей, идти в замок Хаггарда, в любое место, куда она поведет нас. История не может закончиться без принцессы.

Белая девушка сказала:

— Я не пойду. — Напрягшись всем телом и уронив холодные волосы, она отступила назад. — Я не принцесса, я не смертная, и я не пойду. С тех пор как я оставила свой лес, я встречала только зло, и только зло может встретить единорога в этой стране. Верни мне мой истинный вид, и я возвращусь к себе, к своему пруду, своим деревьям. Твоя сказка не властна надо мной. Я единорог. Я — последний единорог.

Не говорила ли она это однажды, давным-давно, в синезеленом молчании деревьев? Шмендрик по-прежнему улыбался, но Молли Отрава сказала:

— Преврати ее обратно в единорога, ты сказал, что можешь это. Отпусти ее домой.

— Я не могу, — отвечал волшебник. — Я уже говорил, что пока еще не властен над магией. И поэтому я тоже должен идти в замок, навстречу ожидающей нас там судьбе. Если бы я попробовал сейчас, то, наверное, смог бы превратить ее в носорога. И это в лучшем случае, а в худшем... — Его передернуло, и он умолк.

Девушка отвернулась от него и посмотрела в сторону сгорбившегося над долиной замка. Нигде, ни в одном окне, ни около колеблющихся башен не было ни малейшего движения, не было видно и Красного Быка. Но она знала, что он

останется там, у корней замка, пока вновь не настанет ночь: сильней всякой силы, непобедимый, как сама ночь. Во второй раз она прикоснулась к месту, на котором прежде был рог.

Когда она обернулась к ним, оба, мужчина и женщина, спали там, где сидели, уронив головы, с открытыми ртами. Придерживая одной рукой черный плащ у горла, она стояла и прислушивалась к их сонному дыханию. В первый раз, еще очень слабо, до нее донесся запах моря.

Глава 9

Часовые заметили их незадолго до заката, когда особенно слепило глаза плоское море. Они расхаживали по высокой скособочившейся башенке. Башни вырастали из замка, словно корни странного дерева, решившего расти наоборот, корнями кверху. Отсюда часовые могли видеть всю долину Хагсгейта, вплоть до города и остроконечных гор за ним, и дорогу, ведущую от края долины к громадным покосившимся главным воротам замка Короля Хаггарта.

— Мужчина и две женщины, — сказал первый стражник. Он поспешил на другую сторону башни. Это могло бы вывернуть наизнанку желудок непривычного человека — ведь башня покосилась настолько, что, огибая ее, часовые смотрели то в небо, то в море. Замок стоял на краю скалы, ножом обрезавшей тонкую желтую полоску пляжа, на которой, словно через прорехи в платье, торчали зеленые и черные скалы. Восседавшие на скалах мешковатые птицы давились от смеха: «Вот как! Вот как!»

К первому стражнику легкой походкой приблизился второй.

— Мужчина и женщина, — сказал первый. — А вот та фигура в плаще — не знаю.

Оба они были в самодельных доспехах из плохо выделанных шкур с нашитыми на них кольцами, крышками от бутылок, звеньями цепей, лица их скрывали проржавевшие забрала, но голос и походка первого выдавали старшего.

— Существо в черном плаще, — повторил он, — не суди заранее о его сути.

4 – 7877

Но второй стражник наклонился в оранжевом сиянии нависшего моря, шаркнул своей жалкой броней о парапет.

— Это женщина, — объявил он. — Или я не мужчина.

— Последнее вполне возможно, — сардонически отозвался первый, — кроме штанов, этого ничто не подтверждает. И все же предупреждаю: не торопись признавать в третьем мужчину или женщину. Подожди и посмотри, что будет.

Не повернув головы, второй стражник ответил:

— Если бы я вырос, не подозревая, что в мире существуют две тайны, если бы я думал, что все встречные женщины ничем не отличаются от меня, я и тогда бы понял, что в жизни не видел подобного существа. Я всегда жалел, что ты никогда не был доволен мной; но теперь, когда я вижу ее, мне жаль, что я никогда не был доволен собой. Ах, как мне жаль.

Он перегнулся через парапет еще больше и, напрягая глаза, пытался разглядеть три фигурки, медленно ползущие по дороге. За забралом прошелестел его смех.

— Вторая женщина стерла ноги, а может, у нее плохой характер, — сообщил он. — Мужчина, похоже, безопасен, хоть он и бродяга. Менестрель как будто или игрок.

Долгое время он молча следил за их медленным приближением.

— Ну а третья? — заинтересованно спросил старший. — Твоя закатная красавица с дивными волосами? Не наскучила тебе она за эту четверть часа, ведь ты увидел ее ближе, чем позволяет любовь? — Его голос скребся маленькими когтистыми лапами в забрало шлема.

— Не знаю, смогу ли я увидеть ее вблизи, — ответил второй стражник, — как близко бы она ни подошла. — В его приглушенном, полном сожаления голосе отдавалось эхо утраченных возможностей. — Она полна новизны, — сказал он. — Все для нее впервые: посмотри, как она двигается, как идет, как поворачивает голову, — все впервые, словно никто не делал этого до нее. Посмотри, как она вдыхает и выдыхает воздух, — будто кроме нее никто на свете не знает, как это хорошо. Все для нее. Если бы я узнал, что она родилась сегодня утром, я удивился бы лишь тому, что она уже так выросла.

Первый стражник, не отрываясь, смотрел с башни на

путников. Сначала его заметил высокий мужчина, потом — угрюмая женщина. Их глаза увидели лишь проржавевшие, пустые и мрачные доспехи. Но девушка в черном плаще подняла голову, и он отшатнулся от парапета, защищаясь рукой от ее взгляда. Через мгновение вместе со своими спутниками она исчезла в тени замка, и он опустил руку.

— Может, она сумасшедшая, — спокойно сказал он. — Ни одна взрослая девушка не выглядит так, если только она нормальна. Жаль, если это так, но все же это лучше, чем...

— Чем что? — заинтересованно прервал его молодой стражник.

— Чем если она действительно родилась сегодня утром. Я бы предпочел, чтобы она оказалась сумасшедшей. Давай спускаться.

Когда мужчина и обе женщины достигли замка, часовые стояли по обеим сторонам ворот, скрестив тупые погнутые алебарды и выставив вперед мечи. Солнце опустилось, и в меркнущем свете моря их нелепые доспехи утратили угрожающий вид. Глядя друг на друга, путники неуверенно остановились — за их спинами не высился мрачный замок и ничто не скрывало их глаз.

— Назовите свои имена, — раздался иссушенный голос первого стражника.

Высокий мужчина выступил вперед.

— Я — Шмендрик Маг, — сказал он. — Это — Молли Отрава, моя помощница, а это — Леди Амальтея, — он запнулся на имени белой девушки, словно ни разу не произносил его. — Мы просим аудиенции у Короля Хаггарда, — продолжал он. — Для этого мы преодолели долгий путь.

Старший стражник ожидал, что его младший напарник что-нибудь скажет, но тот только глядел на Леди Амальтею. Тогда он нетерпеливо произнес:

— Изложите ваше дело к Королю Хаггарду.

— Я изложу его лишь самому Хаггарду, — ответил волшебник. — Разве можно сообщать важное дело привратникам и стражникам? Проведите нас к Королю.

— А как может неразумный бродячий волшебник обсуждать важное дело с Королем Хаггардом? — мрачно вопросил старший стражник. Однако он повернулся, и путники последовали за ним в ворота. Замыкал шествие молодой стражник,

его походка была такой же мягкой, как и у Леди Амальтеи, чьи движения он бессознательно повторял. Перед воротами она обернулась на море, то же сделал и он.

Шедший первым стражник сердито окликнул его, но младший был уже на другой службе, под началом другого капитана. Он вошел в ворота лишь после того, как на это решилась Леди Амальтея. Он шествовал следом, сонно напевая:

Что же со мной происходит?
Что же со мной происходит?
Радоваться ль мне или бояться?
Что же со мной происходит?

Они пересекли булыжником вымощенный двор, где пахло мокрым стираным бельем, и через небольшую дверцу вошли в зал, столь обширный, что в темноте не было видно ни его стен, ни потолка. Громадные каменные колонны выскакивали им навстречу и проскальзывали мимо, не позволяя разглядеть себя. Эхом отдавалось дыхание, и почти так же отчетливо, как и их собственные, звучали мелкие шажки каких-то существ. Молли Отрава жалась поближе к Шмендрику.

Через двери на другом конце громадного зала они попали на узенькую лестницу. Там были окна, но не было света. Поднимаясь, лестница скручивалась все туже и туже, казалось, каждая ступенька закручивается вокруг себя и башня сжимается вокруг них, как потный кулак. Тьма смотрела на них и прикасалась к ним. Она пахла дождем и псиной.

Внизу, почти под ними, что-то прогрохотало. Башня вздрогнула, как попавший на мель корабль, и отозвалась низким каменным стоном. Пытаясь устоять на трясущейся лестнице, трое путников вскрикнули, но провожатые двигались вперед уверенно и без разговоров. Младший бесхитростно шепнул Леди Амальтее:

— Все в порядке, не пугайтесь. Это Бык.

Звук не повторился.

Второй стражник внезапно остановился, достал из тайника ключ и вставил его прямо в стену. Кусок стены повернулся, и небольшая процессия вошла в низкую и узкую палату с одним окном, в ее дальнем конце стояло кресло. Кроме кресла, там не было ничего: ни мебели, ни ковров, ни драпи-

ровок, ни шпалер. В ней были только пятеро вошедших, кресло и мучнистый свет поднимающейся молодой луны.

— Это тронный зал Короля Хаггарда, — сказал страж.

Волшебник схватил его за покрытый латами локоть и поворачивал, пока они не оказались лицом к лицу.

— Это келья, это гробница. Ни один живой король не станет здесь сидеть. Проведи нас к Королю Хаггарду, если он еще жив.

— Ну, в этом ты можешь убедиться сам, — стремительно отозвался голос стражника. Он отстегнул шлем и снял его с седой головы. — Я — Король Хаггард, — сказал он.

Глаза его были того же цвета, что и рога Красного Быка. Он был выше Шмендрика, лицо его прорезали глубокие морщины, и в нем не было ни мягкости, ни глупости. Это было лицо щуки: длинные холодные челюсти, твердые щеки, худая властная шея. Ему могло быть и семьдесят, и восемьдесят лет, и больше.

Второй стражник шагнул вперед, прижимая шлем к груди. Молли Отрава раскрыла рот от удивления, увидев его лицо. Это было дружелюбное помятое лицо того самого принца, который читал журнал, пока его принцесса пыталась вызывать единорога. Король Хаггард сказал:

— Это Лир.

— Приветствую вас, — поклонился Принц Лир. — Рад вас видеть.

Его улыбка, словно веселый щенок, виляла хвостиком у их ног, но глаза его — глубокая тенистая синева за короткими хлыстами ресниц — были устремлены в глаза Леди Амальтеи. Молчаливая, как драгоценный камень, она тоже смотрела на него, понимая его ничуть не лучше, чем люди единорогов. Но Принц чувствовал странную счастливую уверенность в том, что она видит его целиком и насквозь; всюду, вплоть до тайников, о которых он и не подозревал, отдавался эхом и пел ее взгляд. Где-то на юго-восток от его двенадцатого ребра начали пробуждаться чудеса, и сам он, еще отражая свет Леди Амальтеи, начинал светиться.

— Что за дело у вас ко мне?

Шмендрик Маг прочистил глотку и поклонился старику с бледными глазами.

— Мы хотим поступить к вам на службу. Воистину далеко и во всех краях сказочный двор Короля Хаггарда...

— Я не нуждаюсь в слугах. — Король отвернулся, лицо и фигура его выражали безразличие.

Но все же Шмендрик чувствовал, что любопытство шевелится под камнецветной кожей, под корнями волос. Он осторожно произнес:

— Но у вас, несомненно, есть некоторая свита, приближенные. Простота — богатейшее украшение короля, но такой король, как Хаггард...

— Я теряю интерес к тебе, — вновь прервал его шелестящий голос, — а это очень опасно. Через минуту я позабуду тебя совсем и потом не смогу вспомнить, что, собственно, я с тобой сделал. То, что я забываю, не только перестает существовать, но даже становится никогда по-настоящему не бывшим. — Как только он сказал это, его глаза, как и глаза его сына, обратились к взору Леди Амальтеи. — Мой двор, раз ты употребляешь это слово, состоит из четырех воинов. И я обошелся бы и без них, если бы это было возможно, поскольку они, как и все остальное, обходятся дороже, чем стоят. Но они по очереди служат часовыми и поварами и на расстоянии создают впечатление армии. Какие еще помощники могут мне понадобиться?

— Но удовольствия придворной жизни, — воскликнул волшебник, — музыка, беседы, женщины, фонтаны, охота, маски, грандиозные пиры...

— Для меня они — ничто, — отрезал Король Хаггард. — Я испытал все эти удовольствия, и они не сделали меня счастливее. Зачем мне то, что не приносит счастья?

Леди Амальтея спокойно прошла мимо него к окну и вперила взгляд в ночное море.

Шмендрик вновь попытался поймать ветер в паруса и объявил:

— Как я вас понимаю! Какими утомительными, пошлыми, гнилыми и расточительными кажутся вам все удовольствия мира! Вам наскучило блаженство, вы пресыщены чувствами, утомлены бесплодными радостями. Это болезнь королей, и поэтому никто так не нуждается в услугах волшебника, как король. Ведь только для волшебника мир вечно течет, оставаясь бесконечно пластичным и вечно новым. Только

ему известна тайна перемен, только он воистину знает, что все вокруг так и рвется стать чем-нибудь другим, и из этого общего стремления он черпает свою силу. Для волшебника март — это май, снег — трава, а трава — бела, то — это и что вам угодно. Наймите сегодня волшебника! — Он закончил свою речь, упав на колени и протянув обе руки к Королю Хаггарду.

Тот нервно отступил в сторону, бормоча:

— Вставай, вставай, у меня от тебя голова болит. К тому же у меня уже есть придворный волшебник.

С покрасневшим и опустевшим лицом Шмендрик поднялся на ноги:

— Вы мне не сказали. Как его имя?

— Его зовут Мабрак, — ответил Король Хаггард. — Я не часто говорю о нем. Даже мои воины не знают, что он живет в замке. Мабрак таков, каким по твоим словам должен быть волшебник, и еще более того, ведь тебе, я не сомневаюсь, и не снилось, каким должен быть волшебник. В своей среде он известен как чародей чародеев. И я не вижу причины заменять его безымянным шутом и бродягой...

— А я вижу, — в отчаянии прервал его Шмендрик. — Я вижу одну причину, которую вы назвали минуту назад. Этот великолепный Мабрак не делает вас счастливым.

На жестокое лицо Короля упала тень разочарования, оно изменилось. Мгновение он был похож на возбужденного юнца.

— А ведь и верно, — пробормотал Король Хаггард. — Волшебство Мабрака давно не волнует меня. Хотел бы я знать, с каких пор? — Он резко хлопнул в ладони и крикнул: — Мабрак! Мабрак! Явись, Мабрак!

— Я здесь, — отозвался глубокий голос из дальнего угла комнаты. Там стоял старик в темном, усеянном звездами плаще и остроконечной сверкающей искрами шапке, и никто не мог бы поручиться, что он не был там, когда пятеро вошли в тронный зал.

Его борода и брови были белы, лицо выглядело мягким и мудрым, но глаза были тверды как лед.

— Что угодно вашему величеству?

— Мабрак, — сказал Король Хаггард, — этот джентльмен принадлежит к вашему братству. Его зовут Шмендрик.

Льдистые глаза старого волшебника слегка расширились, и он посмотрел на оборванца.

— Ну, в самом деле! — воскликнул он с видимым удовольствием. — Шмендрик, мой милый мальчик, как приятно тебя видеть! Ты не помнишь меня, а ведь я был близким другом твоего учителя, старого доброго Никоса. Он так надеялся на тебя, бедняга. Ну, вот это сюрприз! И ты все еще не оставил наше ремесло? Ну да, ты очень упорный человек! Я всегда говорил — труд составляет девять десятых любого искусства; конечно, быть артистом на девять десятых — не утешение. Но что привело тебя сюда?

— Он явился, чтобы занять твое место, — сказал Хаггард равнодушно и решительно. — Теперь он — мой придворный волшебник.

Шмендрик вздрогнул от изумления, и это не укрылось от взгляда старого волшебника, хотя его самого решение Короля, казалось, не удивило. Одно мгновение он явно решал, стоит ли разгневаться, но предпочел искренне удивиться.

— Конечно, как угодно вашему величеству, — замурлыкал он. — Однако, быть может, ваше величество заинтересуется некоторыми моментами из жизни своего нового волшебника. Я думаю, милый Шмендрик не будет возражать, если я упомяну, что для нас, профессионалов, он нечто вроде ходячего анекдота. В самом деле, среди адептов его лучше всего знают под кличкой Прихоть Никоса. Его очаровательная полная неспособность справиться с простейшей руной, его творческая манера обращения с простейшими теургическими рифмами, не говоря...

Король Хаггард слегка шевельнул рукой, и Мабрак сразу замолк. Лир хихикнул. Король сказал:

— Меня не надо убеждать в том, что он никуда не годный волшебник. Чтобы увидеть это, мне достаточно одного взгляда, так же как и для того, чтобы понять, что ты один из величайших волшебников на свете.

Мабрак надулся, погладил свою великолепную бороду и нахмурил высокое чело.

— Но это для меня тоже ничего не значит, — продолжал Король Хаггард. — В прошлом ты выполнял любые чудеса, какие бы я ни потребовал, и это привело лишь к тому, что у меня пропал к ним вкус. Тебе все по плечу, но удивление бы-

стро проходит. Вероятно, великая сила не может дать того, что мне нужно. Волшебник-мастер не сделал меня счастливым. Теперь я посмотрю, что может недоучка. Ты свободен, Мабрак, — и кивком головы он отпустил старого волшебника.

Вся видимая приветливость исчезла с лица Мабрака, как искра в снегу. Лицо его стало таким же ледяным, как глаза.

— Так легко от меня не избавиться, — проговорил он особенно мягко, — тем более по прихоти, пусть даже это прихоть Короля, и для того, чтобы освободить место для дурака. Берегись, Хаггард! Мой гнев страшен.

В темной палате поднялся ветер. Казалось, он дул отовсюду: из окна, из полуоткрытой двери, но настоящим его источником была сгорбленная фигура волшебника. Холодный, сырой и зловонный ветер с болота кружил по комнате, словно злорадное животное, только что обнаружившее, как хрупки люди. Молли Отрава прижалась к Шмендрику, которому было явно не по себе. Принц Лир то выдвигал, то снова отправлял меч обратно в ножны.

Даже Король Хаггард отступил на шаг перед торжествующей ухмылкой Мабрака. Казалось, стены зала растворяются и исчезают, а звездный плащ волшебника стал чудовищной воющей ночью. Мабрак не произносил ни слова, но ветер начал злобно рычать, набирая силу. Мгновение — и он станет видимым, обретет форму.

Шмендрик открывал рот, но, если он и произносил заклинания, его не было слышно, и попытка его была напрасной.

Молли Отрава увидела, что Леди Амальтея обернулась во тьму и простерла руку, на которой средний и безымянный пальцы были равной длины. Странное пятно на лбу ее сияло, как цветок.

И исчез ветер, будто его никогда не было. Хмурая мгла палаты казалась полднем после наведенной Мабраком ночи. Волшебник согнулся почти до пола и, не отрываясь, глядел на Леди Амальтею. Его мудрое приветливое лицо казалось лицом утопленника, борода стекала с подбородка струйками стоячей воды. Принц Лир взял его за руку.

— Пойдем, старина, — сказал он дружелюбно. — Выход здесь, дедушка. Я напишу тебе рекомендацию.

— Я ухожу, — ответил Мабрак. — Но не из страха перед

тобой, вонючий недоносок, или перед твоим сумасшедшим неблагодарным отцом, или перед вашим новым волшебником... Большого счастья он вам не принесет. — Его глаза встретились с холодными глазами Короля Хаггарда, и он заблеял козлиным смехом. — Ни за что на свете, Хаггард, я не хотел бы оказаться на твоем месте, — объявил он. — Ты впустил свою погибель через главные ворота, но выйдет она другим путем. Я мог бы объяснить поподробнее, но я не служу тебе более. Жаль, ибо придет время, когда спасти тебя сможет лишь мастер, а под рукой будет только Шмендрик! Прощай, бедный Хаггард, прощай!

Смеясь, он исчез, но с тех пор его злорадство, как запах дыма или старой холодной пыли, не покидало этот зал.

— Ну, — в сером свете Луны раздался голос Короля Хаггарда. — Ну... — Неслышными шагами, почти весело качая головой, он медленно подошел к Шмендрику и Молли. — Смирно, — скомандовал он, когда те пошевелились. — Я хочу видеть ваши лица. — Его дыхание скрежетало, как нож о точило, когда он переводил глаза с одного лица на другое. — Ближе, — проворчал он, кося глазом во тьме. — Ближе, ближе! Я хочу видеть вас.

— Тогда зажгите свет, — произнесла Молли Отрава. Спокойствие собственного голоса испугало ее больше, чем буря, учиненная старым волшебником. «Легко быть храброй ради нее, — подумала она, — но если я становлюсь храброй сама по себе, чем же это кончится?»

— Я никогда не зажигаю свет, — ответил Король. — Что хорошего в нем? — Он отвернулся, бормоча себе под нос: — Одно лицо почти безгрешно, почти глупо, но все же тупости в нем нет. Другое — схоже с моим, а это должно быть опасно. И все это я видел еще у ворот, так почему же я впустил их? Мабрак был прав: я постарел и поглупел. Но в их глазах я все же вижу только себя.

Принц Лир нервно дернулся, когда Король направился через тронный зал к Леди Амальтее. Она вновь смотрела в окно, и лишь когда Король Хаггард оказался совсем рядом, ускользнула легким движением, странно наклонив голову.

— Я не прикоснусь к вам, — сказал Король, и она замерла. — Почему вы все время у окна? — спросил он. — На что вы смотрите?

— Я гляжу на море, — ответила Леди Амальтея голосом низким и дрожащим, но не от страха, а от полноты жизни, как дрожит на солнце едва вышедшая из куколки бабочка.

— А, — сказал Король. — Да, море всегда прекрасно. Кроме моря, я ни на что не могу подолгу глядеть. — Он минуту-другую смотрел на Леди Амальтею; в отличие от Принца Лира его лицо не отражало ни капли ее света, но поглощало его и прятало в каких-то тайниках. Его дыхание было таким же затхлым, как и ветер, поднятый волшебником, но Леди Амальтея не шевелилась. Внезапно он выкрикнул: — Что это у вас в глазах? Они полны зеленых листьев, деревьев, ручьев, зверушек. Где я? Почему я не вижу в них себя?!

Леди Амальтея не ответила ему. Хаггард резко повернулся к Шмендрику и Молли. Его улыбка, словно лезвие сабли, легла им обоим на горло.

— Кто она? — потребовал он ответа.

Шмендрик прокашлялся.

— Леди Амальтея — моя племянница, — начал он. — Кроме меня, у нее нет живых родственников, а потому я — ее опекун. Должно быть, вас удивляет состояние ее наряда, но все очень просто. В пути нас ограбили бандиты.

— Что ты несешь? При чем тут наряды? — Король опять повернулся к белой девушке, и Шмендрик вдруг внезапно понял, что ни Король Хаггард, ни его сын так и не заметили ее наготы, едва скрытой рваным плащом. Леди Амальтея держалась так, что ее лохмотья казались нарядом принцессы, к тому же она не знала о своей наготе. Голым перед нею был закованный в броню король.

— Как она одета, что с вами случилось, кем вы приходитесь друг другу, меня, к счастью, не интересует, — сказал Король Хаггард. — И в этих вопросах ты можешь лгать, насколько смеешь. Я хочу знать — кто она. Я хочу знать, почему перед ней, как дым, рассеялась магия Мабрака, хоть она и не произнесла ни слова. Я хочу знать, почему в ее глазах по зеленым листьям скачут лисята. Отвечай скорей и избегай искушения соврать, в особенности о листьях. Говори.

Шмендрик не отвечал. Он произнес несколько нелживых, но абсолютно нечленораздельных звуков. Собрав всю свою храбрость, Молли собралась ответить, хотя и подозревала, что говорить правду Хаггарду невозможно. Холод, ве-

явший от него, губил все слова, путал их смысл, а лучшие намерения сгибал и выкручивал, как башни этого замка. И все же она заговорила бы, но тут в мрачной палате раздался другой голос: легкий, добрый, глупый голос Принца Лира.

— Отец, ну не все ли равно? Теперь она здесь.

Король Хаггард вздохнул. Но это был не тихий вздох согласия, а скорее рычание готового к прыжку тигра.

— Конечно, ты прав, — сказал он. — Она здесь, все они здесь, и впустил ли я с ними свою погибель или нет, я все же немного погляжу на них. Им сопутствует приятная атмосфера несчастья. Возможно, это то, что мне нужно.

Потом он резко обратился к Шмендрику:

— В качестве моего волшебника ты будешь развлекать меня, когда я этого захочу, фокусами или мудрым волшебством. Конечно, ты должен сам знать, когда и в каком виде ты нужен, поскольку я не могу для твоего удобства определять свои намерения и желания. Денег ты получать не будешь, так как сюда пришел не за ними. Что касается твоей шлюхи, помощницы, или как ты там ее называешь, если она хочет остаться в замке, она будет служить мне. С нынешнего вечера она кухарка и горничная, а заодно уборщица и судомойка.

Он остановился, явно ожидая протестов, но Молли лишь кивнула. Луна больше не светила в окно, но Принц Лир видел, что в комнате не стало темнее. Холодное сияние от Леди Амальтеи нарастало медленнее, чем ветер, созданный Мабраком, но Принц вполне понимал, что оно куда опаснее. Он хотел писать стихи в этом свете, и мысль эта пришла ему в голову впервые.

— Вы можете входить и выходить, когда и куда вам заблагорассудится, — сказал Король Хаггард Леди Амальтее. — Быть может, я поступил глупо, впустив вас, но я не столь глуп, чтобы запрещать вам что-либо. Мои секреты охраняют себя сами, а ваши? На что вы смотрите?

— Я гляжу на море, — повторила Леди Амальтея.

— Да, море всегда прекрасно, — ответил Король. — Когда-нибудь мы посмотрим на него вместе. — Он медленно направился к двери. — Будет любопытно, — сказал он, — жить в замке вместе с существом, одно присутствие которого заставило Лира впервые с пятилетнего возраста назвать меня отцом.

— С шести, — поправил Принц Лир, — мне было тогда шесть.

— С пяти или шести — безразлично, — сказал Король, — это перестало доставлять мне удовольствие существенно раньше и нимало не радует сейчас. Ее присутствие еще ничего не переменило в замке. — Он исчез, почти столь же незаметно, как Мабрак, и они услышали звяканье его подкованных ботинок на лестнице.

Молли Отрава тихо подошла к Леди Амальтее и встала рядом с ней у окна.

— Что это? — спросила она. — Что там?

Зеленые глаза Шмендрика, облокотившегося на трон, следили за Принцем Лиром. Далеко, в долине Хагсгейта, вновь раздался холодный рев.

— Я найду для вас жилье, — сказал Принц Лир. — Вы голодны? Я раздобуду что-нибудь поесть. Я знаю, где лежит ткань, хороший сатин. Вы сможете сшить себе платье.

Никто не отвечал. Тяжелая ночь поглотила его слова, и ему казалось, что Леди Амальтея не видит и не слышит его. Она не шевелилась, но ему чудилось, что она плывет мимо него, как луна.

— Разрешите мне помочь вам, — обратился к ней Принц Лир. — Могу я что-нибудь сделать для вас? Чем я могу вам помочь?

Глава 10

— Чем я могу вам помочь? — спросил Принц Лир.

— Да, собственно, ничем, — ответила Молли Отрава. — Кроме воды, мне ничего не надо, если только вы не хотите чистить картошку, против чего я не стала бы возражать.

— Нет, я не это имел в виду. То есть да, если вы хотите, я это сделаю, но я говорил с ней. То есть, когда я говорю с ней, я все время это спрашиваю.

— Садитесь и очистите мне несколько картофелин, это займет ваши руки. — Они находились на кухне — в сырой комнатенке, пропахшей гнилой репой и прокисшей свеклой. В одном углу стояла стопка глиняных тарелок, под треногой подрагивал, пытаясь вскипятить большой котел воды, жал-

кий огонек. Молли сидела за грубым столом, заваленным картошкой, луком-пореем, морковью и другими овощами, по большей части увядшими и подгнившими. Принц Лир стоял перед ней, раскачиваясь и пошевеливая большими мягкими пальцами.

— Сегодня утром я убил еще одного дракона, — наконец сказал он.

— Отлично, — ответила Молли, — отлично. Сколько же их будет всего?

— Пять. Хоть он и был поменьше прочих, но с другими таких хлопот у меня еще не было. Я не мог подобраться к нему пешком, поэтому пришлось доставать его пикой, и мой конь так обжегся. Забавно получилось с ним...

Молли прервала его:

— Садитесь, ваше высочество. Когда я смотрю на вас, меня так и дергает. — Принц Лир уселся напротив нее. Он вытащил кинжал и начал чистить картофелину. Молли смотрела на него, пряча улыбку.

— Я принес ей голову дракона, — сказал он. — Она, как обычно, была в своей палате. Я втащил эту голову на самый верх, чтобы сложить к ее ногам. — Он вздохнул и порезал палец кинжалом. — Черт побери, я же хотел не этого. Пока я тащил ее, это была голова дракона — достойнейший дар для кого угодно и от кого угодно. Но когда она взглянула на нее, голова стала печальной уродливой кучей из чешуи, рогов, налитых кровью глаз и хрящеватого языка. Я чувствовал себя деревенским мясником, принесшим своей девушке в знак любви изрядный кус мяса. Потом она посмотрела на меня, и мне стало стыдно. Стыдно за то, что я убил дракона! — Он рассек дряблую картофелину и снова порезался.

— Режьте картошку от себя, а не к себе, — посоветовала ему Молли. — Вы знаете, по-моему, не стоит убивать драконов для Леди Амальтеи. Если пять драконов не тронули ее сердца, едва ли поможет еще один. Попробуйте что-нибудь другое.

— Но чего же в этом мире я еще не пробовал? — спросил Принц Лир. — Я переплыл четыре реки шириной не менее мили во время разлива. Я взобрался на семь гор, на которые еще никто не всходил. Проспал три ночи на Болоте Висельников, вышел живым из леса, в котором цветы жгут глаза, а

соловьиные песни ядовиты. Я прекратил ухаживать за принцессой, на которой обещал жениться, и если ты думаешь, что это не подвиг, то лишь потому, что не знаешь ее матери. У пятнадцати бродов я победил ровно пятнадцать не дававших никому проезда черных рыцарей — возле их черных шатров. И я уже потерял счет ведьмам в терновых лесах, демонам в виде девиц, стеклянным горам, роковым загадкам, ужасающим деяниям, волшебным яблокам, кольцам, лампам, мазям, мечам, плащам, сапогам, галстукам и ночным колпакам. И это не говоря о крылатых конях, василисках, морских змеях и прочей живности. — Он поднял голову, в его темно-голубых глазах были смятение и печаль. — И все попусту, — заключил он. — Что бы я ни сделал, я не могу прикоснуться к ней. Ради нее я стал героем, я, сонный Лир, позор своего отца и мишень для его насмешек, — но с тем же успехом я мог бы оставаться прежним скучным дураком. Мои великие дела для нее ничто.

Молли взяла нож и принялась нарезать перец:

— Быть может, сердце Леди Амальтеи не завоюешь подвигами.

Удивленно нахмурясь, Принц посмотрел на нее.

— А разве есть иной способ добиться любви девушки? — честно выразил он свое недоумение. — Молли, ты знаешь его? Скажи мне! — Перегнувшись через стол, Принц схватил ее за руку. — Мне нравится быть храбрым, но я вновь стану ленивым трусом, если ты скажешь, что так лучше. Когда я гляжу на нее, мне хочется уничтожить все злое и уродливое на земле, но в то же время хочется и забиться в уголок и плакать. Что мне делать, Молли?

— Не знаю, — внезапно смутившись, ответила она. — Быть добрым, любезным, хорошим и все такое прочее. Иметь чувство юмора. — Громко мурлыча, к ней на колени прыгнул небольшой черно-рыжий кот с рваным ухом и потерся о плечо. Чтобы переменить тему, она спросила: — Что же случилось с лошадью? Что было забавно?

Но Принц Лир смотрел на маленького кота:

— Откуда он? Он твой?

— Нет, — ответила Молли. — Просто я кормлю его и иногда глажу. — Она почесала тощую шею кота, он замурлыкал и зажмурился. — Я думала, он живет здесь.

Принц покачал головой:

— Мой отец ненавидит кошек. Он говорит, что кошек вообще не существует — есть только форма, которую принимают бесенята, гоблины и всякая нечисть, когда ей надо попасть в людское жилье. Если бы он узнал о коте, то, вне сомнения, убил бы его.

— Так что же было с лошадью? — спросила Молли.

Лицо Принца Лира вновь помрачнело:

— Странно, но когда ее совсем не обрадовал мой подарок, я подумал, что, может быть, ей будет интересно узнать, как он был добыт. Поэтому я описал ей внешний вид дракона и бой, ну знаешь — шипение, кожистые крылья, драконий запах, в особенности дождливым утром, струю черной крови из-под наконечника моего копья. Но она не слушала ни слова, пока я не рассказал про язык пламени, что едва не сжег ноги моего коня. Тогда, да, тогда она вернулась оттуда, где бродит, пока я говорю с ней, и сказала, что должна пойти посмотреть моего коня. Я отвел ее в стойло, где бедняга кричал от боли, и она прикоснулась к нему, к его ногам. Он перестал стонать. Когда им по-настоящему больно, кони так ужасно кричат. Он замолчал, и это было как песня.

Кинжал Принца поблескивал среди картофельных очисток. Снаружи дождь мощными порывами барабанил в стены замка; сидя в кухне, об этом можно было только догадываться — в холодной комнатенке не было ни одного окна. Темноту разгонял лишь колеблющийся в очаге огонек. Кучкой осенних листьев дремал в подоле у Молли кот.

— И что же случилось потом, — спросила она, — когда Леди Амальтея прикоснулась к коню?

— Ничего. Совсем ничего. — Принц Лир, казалось, внезапно рассердился. Он хлопнул ладонью по столу, свекла и чечевица раскатились во все стороны. — Ты думаешь, что-нибудь произошло? А она ждала, что ожоги заживут в один миг, обгорелая плоть срастется и покроется нежной кожей! Она ждала этого, клянусь моей надеждой на ее любовь! И когда с ранами ничего не случилось, она убежала, и я до сих пор не знаю, где она.

Его голос ослабел, рука печально уперлась в стол. Он поднялся и подошел к горшку на огне.

— Кипит, — сказал он, — пора класть овощи. Она плака-

ла, когда ноги коня не зажили, я слыхал это, и все же, когда она убегала, в ее глазах не было слез. В них было что угодно, но не слезы.

Молли осторожно спустила кота на пол и начала выбирать для котла овощи получше. Принц Лир смотрел, как она сновала от очага к столу по усеянному каплями воды полу. Она пела:

Если б я только сумела
Наяву, как во сне, осмелеть
И в таинственной пляске
Танцевать, словно в маске
Прекрасная смерть.
Это было бы мило,
Но все же
Захотела бы я стать моложе,
Выйти замуж или стать мудрей?

Принц спросил:

— Кто она, Молли? Что это за женщина, которая верит, нет, которая знает — я видел ее лицо, — что может исцелять раны прикосновением рук и плачет без слез? — Молли продолжала работать, все еще напевая себе под нос.

— Любая женщина может плакать без слез. И почти каждая может исцелять раны прикосновением рук. Все зависит от раны. Она женщина, ваше высочество, а это само по себе загадка.

Но Принц преградил ей путь, и она остановилась с полным подолом нарезанных овощей и трав, волосы лезли ей в глаза. Принц Лир нагнулся к ней, лицо его стало теперь на пять драконов старше, оставаясь по-прежнему симпатичным и глупым. Он сказал:

— Ты поешь. Мой отец заставляет тебя заниматься самой нудной работой на свете, и ты поешь. В этом замке никогда не было ни пения, ни кошек, ни вкусной еды. А причина всему и моим подвигам — Леди Амальтея.

— Ну, я всегда хорошо готовила, — мягко сказала Молли. — Все-таки семнадцать лет в лесу с Калли и его людьми...

Принц Лир продолжал, не слыша ее слов:

— Я хочу служить ей, как ты, помочь ей найти то, зачем она пришла сюда. Я хочу быть тем, в чем она нуждается больше всего. Скажи ей. Скажи, ладно? Скажешь?

Его слова прервал неслышный шаг, шелест сатина затуманил его лицо. В дверях стояла Леди Амальтея.

Даже время, проведенное в леденящей твердыне Хаггарда, не смогло сделать ее менее прекрасной. Скорее наоборот, зима обострила и отточила ее красоту так, что она оставалась в нанесенной ею ране, как зазубренная стрела. Леди Амальтея была в одеянии сиреневого цвета, ее белые волосы перехватила синяя лента. Платье не лучшим образом сидело на ней. Молли Отрава была не слишком умелой портнихой, и сатин раздражал ее. Но в дурно сшитом платье среди холодных камней пропахшей репой кухни Леди Амальтея казалась еще прекраснее. В ее волосах поблескивали капли дождя.

Принц Лир поклонился ей поспешно и неловко, будто кто-то ударил его в живот.

— Миледи, — пробормотал он. — Вам следовало бы прикрывать голову, выходя в такую погоду.

Леди Амальтея присела у стола, и маленький кот цвета осенних листьев тут же прыгнул к ней, часто и мягко мурлыча. Она протянула к нему руку, кот скользнул в сторону, не от страха, нет, — не позволяя ее руке прикоснуться к его ржавой шерсти. Она манила кота, тот вилял всем телом, как собака, но не давал ей прикоснуться к себе.

Внезапно охрипшим голосом Принц Лир сказал:

— Я должен идти. В двух днях пути отсюда какой-то великан крадет и пожирает деревенских девушек. Говорят, его может убить только обладатель Великого Топора Герцога Альбанского. К несчастью, герцог Альбанский был съеден одним из первых — чтобы обмануть чудовище, он переоделся деревенской девушкой, — и в том, кто сейчас владеет этим топором, сомневаться не приходится. Если я не вернусь, вспоминайте обо мне. Прощайте.

— Прощайте, ваше высочество, — сказала Молли. Принц вновь поклонился и с благой целью покинул кухню. И только однажды оглянулся.

— Вы жестоки с ним, — заметила Молли. Леди Амальтея не подняла головы. Она протягивала открытую ладонь коту с рваным ушком, дрожащему от желания подойти к ней и не решающемуся на это.

— Жестока? — спросила она. — Разве я могу быть жестокой? Это — удел смертных. — Тут она подняла голову, и в глазах ее была печаль и еще что-то, очень похожее на усмешку. — Как и доброта, — добавила она.

Молли Отрава суетилась у котла, помешивая суп и подкладывая приправы. Тихим голосом она продолжала:

— По крайней мере вы могли бы сказать ему что-нибудь ласковое. Ведь ради вас он прошел через такие испытания.

— Но что я могу ему сказать? — спросила Леди Амальтея. — Я ничего не говорю ему, и все же каждый день он приносит мне новые головы, новые рога, шкуры, хвосты, новые зачарованные камни и заколдованные мечи. Что же он сделает, если я заговорю?

— Он хочет, чтобы вы думали о нем, — ответила Молли. — Рыцари и принцы знают для этого только один способ. Это не его вина. Думаю, он поступает лучшим образом.

Леди Амальтея вновь поглядела на кота. Ее длинные пальцы теребили складку сатинового плаща.

— Но ему не нужны мои мысли, — тихо сказала она. — Он хочет меня, как хотел Красный Бык, и тоже не понимает меня. Принц пугает меня даже больше, чем Красный Бык, потому что у него доброе сердце. Нет, я никогда не смогу что-нибудь обещать ему.

Во мраке комнаты бледная отметина на ее лбу была незаметна. Она прикоснулась к ней и резко, словно ожегшись, отдернула руку.

— Конь умер, — сказала она коту. — Я не смогла ничего сделать.

Молли быстро повернулась и положила руки на плечи Леди Амальтеи. Плоть под гладкой тканью была холодна и тверда, как любой из камней замка Короля Хаггарда.

— О, миледи, — прошептала она, — это потому, что вы не в своем истинном виде. Когда вы вновь обретете его, все вернется, все — вся сила, вся власть, вся уверенность. Все вернется к вам... — Ей хотелось взять белую девушку на руки и баюкать, как дитя. Раньше такая мысль не могла даже прийти ей в голову.

Но Леди Амальтея ответила:

— Волшебник придал мне только вид человека, — внешность, а не дух. Если бы я умерла тогда, я бы осталась единорогом. Старый волшебник знал это. Назло Хаггарду он не сказал ни слова, но он знал.

Внезапно ее волосы выскользнули из-под синей ленты и рассыпались по плечам. Завороженный их стремительным

падением, кот протянул к ним лапку, но тут же отдернул ее и сел, обвив лапы хвостом и повернув голову так, чтобы не было видно искалеченного уха. В его зеленых глазах поблескивали золотые искры.

— Но это было так давно, — сказала девушка. — Во мне уживаются двое — я и та, которую все зовут «миледи». Она сейчас здесь, как и я, хотя когда-то она была лишь вуалью вокруг меня. Она ходит по замку, спит, одевается, ест и думает свои собственные думы. Хотя она не может исцелять и успокаивать — у нее есть своя магия. Люди обращаются к ней: «Леди Амальтея», и она отвечает им или молчит. Бледные глаза Короля всегда следят за нею, и Король удивляется, не зная, кто она, а сын Короля хочет это узнать и связал себя любовью к ней. Каждый день она ищет на небе и на море, в замке, в его башнях и дворе, на лице Короля нечто такое, что она не всегда может припомнить. Что это, что же такое она ищет в этом странном месте? Ведь только что она знала это, но забыла. — Она повернула лицо к Молли Отраве, и глаза ее не были глазами единорога. Они были все еще прекрасны, но их красота теперь имела имя. Их глубину можно было познать и измерить, темнота их вполне поддавалась описанию. Когда Молли заглянула в них, она увидела страх, и потерю, и возбуждение, и себя — ничего больше.

— Она ищет единорога, — сказала Молли. — Красный Бык загнал их куда-то, всех, кроме вас. Вы — последний единорог. Вы пришли, чтобы найти и освободить других. И так будет.

Постепенно из каких-то тайников море хлынуло в глаза Леди Амальтеи, и они вновь стали столь же старыми, темными, непознаваемыми и неожиданными, как само море. Это было ужасно, но, несмотря на испуг, Молли крепко обняла ее согбенные плечи, словно надеясь своими руками, как громоотводом, отвести молнию несчастья. Вдруг пол кухни дрогнул от еще неслыханного ею звука, напоминавшего скрежет громадных коренных зубов. Красный Бык поворачивался во сне. «Интересно, видит ли он сны», — подумала Молли.

Леди Амальтея сказала:

— Я должна идти к нему. Другого пути нет, и нельзя больше терять время. В этом ли виде или в истинном, я

должна снова встретиться с ним лицом к лицу, даже если весь мой народ погиб и спасти его уже нельзя. Я должна идти к нему, пока я еще не забыла себя навсегда, но я не знаю дороги и мне одиноко. — Котик шевельнул хвостом и издал странный звук — не мяукнул и не замурлыкал.

— Я пойду с вами, — сказала Молли. — Я тоже не знаю дороги вниз, к Быку, но должна же она где-то быть, и Шмендрика тоже возьмем. Он может пригодиться нам, если мы найдем путь.

— От такого волшебника толку мало, — презрительно ответила Леди Амальтея. — Я вижу, как каждый день он валяет дурака при Короле Хаггарде, развлекая его своими неудачами, неумением сделать самый простой трюк. Он говорит, что не сможет ничего другого, пока сила вновь не проснется в нем, но этого никогда не случится. Он сейчас не волшебник, а шут Короля.

Повернувшись к котлу, чтобы скрыть лицо, Молли резко ответила:

— Он делает это ради вас. Пока вы хандрите, лелеете свою печаль и изменяетесь, он кривляется перед Королем Хаггардом, отвлекает его, чтобы вы могли искать свой народ, если его еще можно найти. Но он скоро надоест Королю, как надоело ему все на свете, и Король заточит его в своих темницах или в каком-нибудь еще более ужасном месте. Зря вы смеетесь над ним, — слышался ее печальный и по-детски тонкий голос.

Мгновение они смотрели друг на друга, две женщины: одна прекрасная и чужая в холодной низкой комнатенке, другая — вполне на своем месте — сердитый жучок во всей своей кухонной красе. Но тут с лестницы донеслись скрежет металла, позвякивание брони и полные предвкушения голоса голодных стариков. В кухню вошли четверо солдат Короля Хаггарда.

Им было по меньшей мере лет по семьдесят, но изможденные, прихрамывающие, хрупкие, как наст, старческие фигуры были с головы до пят облачены в нищенскую броню Короля Хаггарда, их руки сжимали его жалкое оружие. Войдя, они оживленно поздоровались с Молли Отравой, осведомились об ужине, но, завидев Леди Амальтею, тут же присмирели и с трудом, задыхаясь, отвесили ей по глубокому поклону.

— Миледи, — сказал старший, — мы к вашим услугам. Хоть мы люди старые, изношенные, но, если вы захотите увидеть чудо, только потребуйте — и мы сделаем невозможное. Мы снова станем молодыми, стоит вам только пожелать. — Трое его товарищей пробормотали что-то в знак согласия.

Но Леди Амальтея прошептала в ответ:

— Нет-нет, вы никогда не станете вновь молодыми. — И, пряча лицо в распущенных волосах и прошелестев сатиновым плащом, она выбежала из комнаты.

— Как она мудра, — объявил старший стражник. — Она понимает, что даже ее красота не может бороться со временем. Сколь печальна эта редкая мудрость в столь молодом существе. Как пахнет суп Молли!

— Он слишком ароматен для этого замка, — проворчал второй стражник, пока все рассаживались у стола. — Хаггард терпеть не может хорошей пищи. Он говорит, что никакое блюдо не стоит усилий и денег, затраченных на его приготовление. Он говорит, что это иллюзия и притом дорогая. Живите, как живет ваш Король, не обольщаясь ею. Брр!.. — Стражник притворно вздрогнул и скорчил гримасу, все остальные рассмеялись.

— Живите, как он... — продолжил третий стражник, пока Молли наливала в его миску дымящийся суп. — Жить, как Хаггард, можно только за грехи в предыдущем воплощении.

— Почему же тогда вы остаетесь у него на службе? — поинтересовалась Молли. Она села рядом с ними, подперев голову руками. — Он не платит вам и кормит так плохо, как только возможно. Когда портится погода, он посылает вас в Хагсгейт красть, потому что скорее умрет, чем расстанется хоть с одним пенни из своей кладовой. Он запрещает все: от света до свирели, от пламени до пляски, от меха до смеха, от чтива до пива, от разговоров о весне до игры в веревочку. Почему вы не уйдете от него? Что держит вас здесь?

Вздыхая и кашляя, старики беспокойно переглянулись. Первый сказал:

— Старость. Куда же мы пойдем? Мы слишком стары, чтобы скитаться по дорогам в поисках работы и крыши над головой.

— Старость, — подхватил второй. — Когда ты стар, удоб-

но все, что не беспокоит. Холод, темнота и скука — они для нас уже привычны, а вот тепло, весна, песни — они будут мешать и тревожить. Есть вещи и похуже, чем жить с Хаггардом.

Третий сказал:

— Хаггард старше нас. Со временем в этой стране будет править Принц Лир, и я хочу дожить до этого дня. Мальчик нравился мне с малых лет.

Молли вдруг поняла, что вовсе не голодна. Она смотрела на стариков, на их морщинистые лица и шеи, прислушивалась к звукам, с которыми они поглощали суп, и вдруг обрадовалась, что Король Хаггард всегда ест в одиночестве. Молли неизбежно начинала заботиться о тех, кого кормила.

Она осторожно спросила их:

— А вы слышали, что Принц Лир вовсе не усыновленный племянник Хаггарда?

Ни один из стражников не выказал ни малейшего удивления.

— Э, — ответил старший, — мы слыхали эту историю. Может, она и верна, ведь Принц Лир совсем непохож на Короля Хаггарда. Но что из того? Пусть лучше страной правит украденный подкидыш, чем истинный сын Хаггарда.

— Но если Принца выкрали из Хагсгейта, — воскликнула Молли, — тогда он может осуществить наложенное на замок проклятие! — И она повторила произнесенные Дринном в хагсгейтской гостинице стихи:

Будет замок сокрушен
Тем, кто в Хагсгейте рожден.

Но старики затрясли головами, обнажили в улыбке зубы, столь же ржавые, как их шлемы и панцири.

— Кто угодно, только не Принц Лир, — сказал третий. — Принц может убить тысячу драконов, но сравнять замок с землей, низвергнуть Короля — нет, это не в его натуре. Он почтительный сын и хочет, увы, лишь быть достойным человека, которого зовет отцом. Только не Принц Лир. В пророчестве имеется в виду кто-то другой.

— Но даже если Принц Лир и есть тот, — добавил второй, — тот, о котором говорится в пророчестве, все равно его ждет неудача — ведь от печальной участи Короля Хаггарда хранит Красный Бык.

С этими словами, накрыв лица своей дикой тенью и остудив своим дыханием добрый горячий суп, в комнату влетело молчание, котик в осенней шубе перестал мурлыкать на коленях у Молли, съежился огонь в очаге. Холодные стены кухни, казалось, сошлись совсем близко.

До сих пор молчавший четвертый стражник проговорил:

— В нем-то и заключается настоящая причина того, что мы остаемся у Хаггарда. Он не хочет, чтобы мы ушли, а желания Короля Хаггарда — закон для Красного Быка. Мы в услужении у Хаггарда и в заточении у Красного Быка.

Молли, все так же продолжая гладить кота, внезапно сдавленным голосом спросила:

— Как связаны Красный Бык и Король Хаггард?

Ответил старший:

— Мы не знаем. Бык был здесь всегда. Он — армия Хаггарда и крепость, его сила и источник ее и, должно быть, его единственный товарищ, ибо, уверен я, Король спускается по тайной лестнице в логово Быка. Но повинуется ли Бык Хаггарду из сочувствия или по желанию и кто хозяин — Король или Бык, этого мы не знаем.

Четвертый стражник, самый молодой из всех, наклонился к Молли, его слезящиеся розовые глаза внезапно ожили. Он сказал:

— Красный Бык — это демон, и когда-нибудь он получит плату за службу Хаггарду — его самого.

Его прервал другой, утверждавший, что наиболее достоверные свидетельства гласят, будто Красный Бык — это заколдованный раб Короля Хаггарда и останется им, пока не разорвет чары и не уничтожит своего повелителя. Они начали спорить, расплескивая суп из тарелок.

Потом Молли спросила негромко, но все застыли:

— А вы знаете, что такое единорог? Вы когда-нибудь видели хоть одного?

Из всего живого в комнате лишь кот и молчание смотрели на нее с каким-то пониманием. Четверо стариков моргали, рыгали, терли глаза. Где-то в глубине беспокойно заворочался спящий Бык.

Когда обед закончился, солдаты отсалютовали Молли Отраве и покинули кухню, двое отправились спать, а двое

под дождь — нести ночной караул. Старший подождал, пока не вышли остальные, и тихо сказал Молли:

— Береги Леди Амальтею. Она так прекрасна, что, когда появилась в замке, даже этот проклятый замок тоже стал прекрасным, как Луна, хотя на самом деле Луна тоже всего лишь камень. Она задержалась здесь слишком долго. И хотя она прекрасна, да, но ее красота уже не в силах преобразить эти залы. — Он вздохнул, и долгий этот вздох, постарев, стал визгом. — Такую красоту я знаю, — сказал он, — но той, прежней, я никогда не встречал. Береги ее. Ей надо уйти отсюда.

Оставшись одна, Молли уткнулась лицом в линялую шубку котика. Огонь в очаге угасал, но она не поднялась, чтобы подкинуть дров. По комнате сновали маленькие быстрые существа, царапая пол, как голос Хаггарда — уши: отзвуком рева Красного Быка дождь бил в стены замка. И тогда, словно в ответ, она услышала Быка. Его рев раздробил каменный пол под ее ногами. Отчаянно цепляясь за стол, она пыталась удержаться и не свалиться вниз к Быку. Она закричала.

Кот сказал:

— Он выходит наружу. Каждый день после захода солнца он ищет спасшееся от него странное белое существо. Ты это прекрасно знаешь. Не будь дурой.

Голодный голос прогремел вновь уже вдали. Молли задержала дыхание и посмотрела на кота. Она удивилась не так сильно, как этого можно было бы ожидать, — в эти дни удивить ее было труднее, чем большинство женщин.

— Ты всегда умел говорить? — спросила она кота. — Или это оттого, что ты увидел Леди Амальтею?

Кот задумчиво лизнул переднюю лапку. Наконец он сказал:

— Когда я увидел ее, мне захотелось говорить, и хватит об этом. Это единорог. Она прекрасна.

— А откуда ты знаешь, что она единорог? — поинтересовалась Молли. — И почему ты боялся прикоснуться к ней? Я видела. Ты боялся ее.

— Послушай, я вовсе не расположен говорить, — беззлобно ответил кот. — И на твоем месте не стал бы тратить время на ерунду. Что же касается твоего первого вопроса — ни одного кота, выросшего из младенческой шерстки, нельзя

обмануть внешностью. В отличие от людей. Что до твоего второго вопроса... — Тут его голос прервался, и он внезапно принялся усердно умываться. Он не произнес ни слова, пока не взъерошил всю свою шерсть и вновь полностью не пригладил ее. Потом так же молча он принялся внимательно рассматривать свои когти. — Если бы она прикоснулась ко мне, — очень мягко сказал он, — я бы навсегда принадлежал ей, а не себе. Я хотел этого и не мог уступить ей. Такого не допустит ни один кот. Мы позволяем вам, людям, гладить нас: это приятно нам и успокаивает вас, но я не могу позволить этого ей. Такую цену не может заплатить ни один кот.

Тогда Молли вновь взяла его на руки, и он мурлыкал ей в ухо так долго, что она начала бояться, что он больше не заговорит. Наконец он сказал:

— У вас очень мало времени. Скоро она не сможет вспомнить, ни кто она, ни зачем пришла сюда, и Красный Бык не будет больше реветь в ночи, разыскивая ее. Может быть, она выйдет замуж за любящего ее доброго Принца Лира. — Кот ткнулся головой во внезапно застывшую ладонь Молли. — Помоги им, — скомандовал он. — Принц достаточно храбр, чтобы любить единорога. Как кот, я способен оценить доблестный абсурд.

— Нет, — сказала Молли Отрава. — Нет, этого не может быть. Она последняя.

— Тогда она должна сделать то, зачем пришла сюда, — ответил кот. — Она должна спуститься по тайному ходу Короля к Быку.

Молли стиснула его так, что в знак протеста он пискнул, словно мышка.

— Ты знаешь дорогу? — спросила она тоном, которым говорил Принц Лир. — Скажи мне, скажи, куда нам идти. — Она спустила кота на пол.

Кот долгое время молчал, но его глаза разгорались все ярче и ярче, золотое сияние затмевало в них зелень. Только шевелился кончик его хвоста и подергивалось разодранное ухо — и больше ничего.

— Когда вино выпьет себя, — проговорил он, — когда череп заговорит, когда часы пробьют точное время, только тогда вы найдете ход к Быку. — Он подобрал лапки под грудь и добавил: — Конечно, здесь есть секрет.

— Держу пари, — мрачно сказала Молли, — где-то высоко на столбе в большом зале висит ужасный полуистлевший череп, которому давно уже нечего сказать. Рядом стоят совершенно свихнувшиеся часы, каждый час они бьют полночь, в час дня — одиннадцать, а может, и вовсе молчат неделями. А вино... Котик, а может, ты просто покажешь мне этот ход? Ты же знаешь, где он?

— Конечно, — согласился кот, ослепительно и сонно зевая, — конечно, было бы проще, если бы я его показал. Это сберегло бы уйму времени и сил.

Кот сонно начал тянуть слова, и Молли поняла, что он, как и Хаггард, быстро теряет интерес. Она торопливо спросила его:

— Скажи мне еще кое-что. Где единороги? Что с ними стало?

Кот опять зевнул:

— Рядом и вдали, вдали и рядом, — пробормотал он. — Наша Леди могла бы их увидеть своими глазами, но она почти забыла о них. Они приближаются и удаляются вновь. — Он закрыл глаза.

Горло Молли сдавило, как веревкой.

— Черт побери, почему ты не хочешь помочь мне? — воскликнула она. — Почему ты всегда говоришь загадками?

Медленно открылся глаз, зеленый и золотой, как солнце в листве. Кот сказал:

— Я есть я. Если бы я мог, я бы сказал тебе все, что ты хочешь знать, ведь ты была добра ко мне. Но я кот, а ни один кот никогда, нигде и никому не дал прямого ответа.

Его последние слова превратились в глубокое сонное мерное мурлыканье, и он уснул с полуоткрытым глазом. Он лежал на коленях Молли, она гладила его, кот мурлыкал во сне, но больше не говорил.

Глава 11

Из похода на губившего девиц великана Принц Лир возвратился через три дня. Великий Топор Герцога Альбанского висел у него за спиной, голова великана билась о луку седла. Он не понес приз Леди Амальтее и не пытался ее отыскать с

руками, перепачканными кровью чудовища. Он решил, как объяснил он Молли на кухне вечером того же дня, не докучать более Леди Амальтее своим вниманием, а просто жить, думая о ней, усердно служить ей в одиночестве до самой смерти, но не искать ни ее общества, ни ее восхищения, ни ее любви.

— Я буду безымянным, как воздух, которым она дышит, и невидимым, как сила, что держит ее на земле. — Подумав немного, он добавил: — Время от времени я могу написать для нее поэму, подсунуть ее под дверь Леди Амальтее или оставить там, где она бывает. Но я даже не подпишу свои стихи.

— Это будет очень благородно, — сказала Молли. Решение принца оставить ухаживание вызвало у нее и облегчение, и удивление, и некоторую печаль. — Девушки больше любят стихи, чем волшебные мечи и мертвых драконов. Во всяком случае, со мной в молодости было именно так. И с Калли я убежала только потому...

Но Принц Лир твердо прервал ее:

— Нет, не вселяй в меня надежду. Я должен научиться жить без нее, как мой отец, и, может быть, мы с ним наконец поймем друг друга. — Он покопался в карманах, и Молли услышала хруст бумаги. — Дело в том, что я уже написал несколько поэм об этом: о ней, о надежде и прочем. Если хочешь, можешь взглянуть.

— Мне будет очень приятно, — сказала Молли. — Но неужели вы никогда больше не вступите в бой с черными рыцарями и не ринетесь сквозь кольцо огня? — Она хотела подразнить принца, но вдруг поняла, что, если это в самом деле случится, ей будет слегка жаль, ведь приключения сделали его красивее, согнали лишний жирок и, кроме того, теперь Принца окружал мускусный аромат смерти, свойственный всем героям. Но Принц медленно покачал головой.

— Нет, наверное, я не заброшу это дело, — пробормотал он. — Но буду делать все не напоказ, а так, чтобы она не узнала. Сперва я старался для нее, но ведь так привыкаешь спасать людей, рассеивать злые чары, вызывать коварных графов на честный бой — трудно перестать быть героем, если ты уже привык к этому. Как тебе первая поэма?

— Что говорить, в ней бездна чувства, — ответила она. —

Но неужели вы в самом деле можете рифмовать «цветущий» и «гибнущий»?

— Необходима некоторая доработка, — согласился Принц Лир. — Особенно меня тревожит «чувство».

— А не пойдет ли «искусство»?

— А сколько в нем «с»? Одно или два?

— По-моему, два, — сказала Молли. — Шмендрик! — обратилась она к появившемуся на пороге волшебнику. — Сколько «с» в «искусстве»?

Тот устало ответил:

— Одно. От слова «кус».

Молли выставила ему миску похлебки, и он уселся за стол. Глаза его были печальны и туманны, как яшма, одно веко подергивалось.

— Я больше не могу, — устало заговорил он. — Дело не в этом ужасном месте и не в том, что приходится все время его слушать, я уже почти привык к этому, дело в той дешевой чепухе, которую он заставляет меня представлять часами, да что там — ночами напролет. И если бы он требовал настоящей магии или хоть простого колдовства, так нет — вечные кольца, и золотые рыбки, и карты, и шарфы, и веревочки, в точности как в «Полночном карнавале». Больше я не могу совсем.

— Но ведь именно поэтому он предпочел тебя, — запротестовала Молли. — Если бы ему нужна была настоящая магия, он оставил бы старого Мабрака. — Шмендрик поднял голову и почти с удивлением посмотрел на нее. — Я не хотела тебя обидеть, — сказала она. — Потерпи немного, пока мы не найдем того хода к Красному Быку, о котором мне рассказывал кот.

На этих словах она понизила голос до шепота, оба они взглянули в сторону Принца Лира, но тот, сидя в углу на стуле, явно сочинял очередную поэму.

— Газель, — бормотал он, уперев кончик пера в нижнюю губу. — Мадемуазель, цитадель, асфодель, филомель, параллель... — Он выбрал «метель» и быстро записал.

— Мы никогда не найдем хода, — рассудительно сказал Шмендрик. — Даже если кот, в чем я сомневаюсь, сказал правду, Хаггард не позволит нам разобраться с черепом и часами. Почему, ты думаешь, он заставляет меня представлять эти карнавальные трюки? Да наконец, почему он сделал меня

своим волшебником? Молли, он все знает, я в этом уверен! Он знает, кто она, хотя еще не вполне верит этому, но когда он поверит, он будет знать, что делать. Он знает. Иногда это видно по его лицу.

— Тоска страданья и удар потери, — бормотал Принц Лир. — И горечь трам-пам-пам-пам-ери. Двери, звери, пери. Черт побери.

Шмендрик перегнулся через стол:

— Мы не можем оставаться здесь и ждать, пока он первым нанесет удар. Наша единственная надежда — бежать ночью, морем, если я где-нибудь отыщу лодку. Стражники будут искать в другой стороне, а ворота...

— А остальные! — тихо воскликнула Молли. — Как можем мы бежать, зная, что она пришла, чтобы отыскать остальных единорогов, и они здесь? — И все же какой-то малой частью своей натуры, слабой и трусливой, она вдруг захотела, чтобы Шмендрик убедил ее в провале их поисков. Она поняла это и рассердилась на него. — Ну а как насчет твоей магии? — спросила она. — Как насчет твоих скромных собственных розысков? Ты собираешься отказаться и от них? И она умрет человеком, а ты будешь жить вечно? В таком случае уж лучше бы ты оставил ее Быку.

Бледный и морщинистый, как пальцы прачки, волшебник покачнулся.

— Так или иначе, это ничего не значит, — прошептал он самому себе. — Сейчас она более не единорог, а смертная женщина, вполне достойная вздохов и стихов этой деревенщины. В конце концов, может быть, Хаггард ни о чем и не догадывается. Она станет его дочерью, и он никогда не узнает правды. Забавно. — Он отставил в сторону свой нетронутый суп и, склонив голову, закрыл лицо руками. — Даже если бы мы сейчас нашли остальных, я не смог бы превратить ее в единорога, — сказал он. — Магия меня оставила.

— Шмендрик... — начала она, но в этот момент он вскочил и выбежал из кухни. Зова Короля она не слышала. Принц Лир, не поднимая взгляда, бубнил свое. Молли повесила над огнем котелок, чтобы вскипятить чай для стражников.

— Ну все, — вздохнул Принц Лир. — Остался только последний куплет. — Как ты хочешь — послушать сейчас или все вместе потом?

— Как вам угодно, — ответила она, и он прочел все. Но

Молли не слыхала ни слова. К счастью, прежде чем он закончил, вошли стражники, спрашивать же о ее мнении при них Лир постеснялся. Когда они ушли, он уже трудился над новым опусом. Принц пожелал ей спокойной ночи, когда было уже довольно поздно. Молли сидела на столе, держа на руках своего крапчатого котика.

Новое стихотворение было задумано как секстина. В голове Лира что-то нестройно звенело, когда он, жонглируя рифмами, подымался по лестнице в свою палату. «Первое я оставлю у ее двери, — думал он, — а остальные приберегу на завтра». Он подумывал о том, чтобы все-таки подписать стихи, и сравнивал достоинства таких псевдонимов, как «Рыцарь теней» или «Шевалье Маль-Эмэ», завернул за угол, встретил Леди Амальтею. Она быстро спускалась в темноте по лестнице; увидев его, девушка издала странный звук, чем-то похожий на блеянье, и замерла тремя ступеньками выше Лира.

На ней было платье, которое стражники короля украли для нее в Хагсгейте. Ее волосы были распущены, ноги босы, и от одного только взгляда на нее, стоящую на темной лестнице, такая печаль скользнула по его костям, что он готов был бежать, бросив и свои стихи, и свои претензии. Но он был героем во всем и, взяв себя в руки, спокойно и галантно приветствовал ее:

— Да будет ваш вечер добрым, миледи.

Леди Амальтея, не отрывая взгляда, протянула к нему из темноты руку и отдернула ее, не коснувшись Лира.

— Кто ты? — прошептала она. — Ты Ракх?

— Я — Лир, — ответил он с внезапным испугом. — Разве вы не знаете меня? — Но она отшатнулась с легкостью дикого зверя, по-оленьи нагнув голову. Он повторил: — Я — Лир.

— Старуха, — сказала Леди Амальтея. — Луна ушла за тучи. Ах! — Она задрожала, и тут глаза ее узнали Принца. Но диким оставалось ее тело, она не хотела подходить к нему.

— Вы спали, миледи, — вновь обретя тон, достойный рыцаря, сказал он. — А не поведаете ли вы мне ваш сон?

— Он снился мне раньше, — медленно ответила она. — Я была в клетке, и вокруг меня в клетках были звери. Но не буду тревожить вас, милорд. Я уже не первый раз вижу этот сон.

Сказав это, она хотела уйти, но Принц обратился к ней

голосом, присущим только героям, — это такой же особый голос, как, скажем, голос матери:

— Сон, что возвращается так часто, — это весть о том, что было, или о том, что будет, или напоминание того, что было преждевременно забыто. Расскажите мне ваш сон, и я попробую разгадать его.

Она остановилась, слегка повернув к нему голову, похожая на выглядывающего из чащи гибкого пушистого зверька. Но в ее глазах была потеря, словно ей не хватало чего-то нужного или словно она вдруг поняла, что этого-то, нужного, у нее никогда не было. Если бы он моргнул, она ушла бы, но он, не моргая, взглядом удерживал ее на месте — так, как он привык сковывать пристальным взором химер и драконов. Ее босые ноги ранили его сильнее, чем все виданные им клыки и когти, но он был истинным героем.

Леди Амальтея сказала:

— Еще во сне были черные фургоны с решетками, и звери, которые есть и которых нет, и крылатое существо, звенящее медью в лунном свете. Высокий зеленоглазый человек с кровавыми руками.

— Должно быть, это ваш дядя волшебник, — размышлял Принц Лир. — Это ясно, и окровавленные руки меня не удивляют. Прошу простить меня, но ему я никогда не доверял. Это все?

— Все рассказать я не могу, — ответила она. — Сон никогда не кончается. — Страх упал в ее глаза, словно камень в воду, возмутив и взбудоражив их спокойную глубину. Она сказала: — Я бегу оттуда, где я была в безопасности, и ночь горит вокруг меня. Но это и день, я иду под буками под приятным теплым дождем, там и бабочки, и медовый звук, и пестрые дороги, и похожие на рыбьи кости города, и крылатое существо, убивающее старуху. И куда бы я ни повернула, я бегу в обжигающий холодом огонь, и мои ноги — ноги зверя...

— Леди, — прервал ее Принц Лир, — миледи, с вашего разрешения — ни слова больше. — Ее сон мрачной тенью лег меж ними, и вдруг ему расхотелось знать его смысл. — Ни слова, — повторил Лир.

— Но я должна продолжать, — сказала Леди Амальтея. — Ведь он никогда не кончается. Даже когда я просыпаюсь, хожу, говорю и ем, я не могу отличить сна от яви. Я помню

то, что не могло произойти, и забываю, что происходит со мной. Люди смотрят на меня, ожидая, что я узнаю их, и мне снится, что я их знаю, и пламя все ближе, хоть я и не сплю.

— Не надо! — в отчаянии воскликнул он. — Этот замок построила ведьма, и, рассказывая здесь о кошмарах, можно вызвать их к жизни. — Не ее сон оледенил сердце Принца, а то, что, рассказывая, она не плакала. Будучи героем, Принц разбирался в женских слезах и знал, как их остановить — ну, скажем, убить кого-нибудь, — но ее тихий ужас потряс его и лишил мужества, а красота ее сокрушала все то отрешенное достоинство, которое он, казалось, обрел. Когда он вновь заговорил, его голос был юн и неуверен.

— Мне хотелось бы ухаживать за вами с большим изяществом, — сказал он, — но я не знаю, как это сделать. Мои драконы и подвиги утомляют вас, однако, кроме них, мне нечего предложить. Я стал героем не так уж давно, а до того был вовсе никем — скучным изнеженным сыном своего отца. Быть может, теперь я всего лишь скучен по-другому, но я здесь, и вы должны располагать мною. Я бы хотел, чтобы вы поручили мне что-нибудь, не обязательно героическое, просто что-нибудь полезное.

И тогда Леди Амальтея улыбнулась ему в первый раз с тех пор, как она появилась в замке Хаггарда. Улыбка была незаметной, словно новорожденная луна — серпик света, окаймляющий невидимое, но Лира потянуло к ней, чтобы согреться. Если бы Лир осмелился, он раздул бы эту улыбку, как уголек, сомкнул возле нее ладони.

— Спойте мне, — сказала она. — Чтобы подать голос в этом мрачном и одиноком месте, нужно большое мужество; кроме того, это будет полезно. Спойте мне, спойте громко — прогоните мои сны, помогите мне забыть то, что не хочет уйти из памяти. Спойте мне, милорд, если это будет угодно вам. Может быть, для героя это пустяк, но мне будет приятно.

И Принц жадно запел на холодной лестнице, и, спасаясь от дневного света его голоса, по лестнице в поисках убежища, шелестя и плюхаясь, разбегались какие-то невидимые мокрые твари. Он запел первое, что пришло в голову:

Когда я был молод, красив и надежды
В сердца всех невест всей округи вселял,
Я многим из них так легко и беспечно
Твердил, что люблю, но я знал, что я врал.
И думал я так: «Ах, ну кто ж из них знает

Секрет, что в душе моей свято храним.
Я жду ее, ту, что поймет меня сразу,
Любовь я пойму по поступкам своим».

Но годы неслись, словно тучи по небу,
И дам хоровод мчал меня и кружил,
И я чаровал, изменял, разлучал и бросал,
И грешил, и грешил, и грешил, и грешил.
Но думал я так: «Ах, ну кто ж из них видит,
Что чист я душою, а вся видимость — дым.
Она запоздала, я жду, я ей верен —
Любовь я пойму по поступкам своим».

Когда же от девушки умной и милой
Услышал я: «Ложь о тебе говорят»,
Я предал ее прямо в ту же минуту —
Она утопилась, приняв прежде яд.
Я думаю так, становясь все распутней,
Притом оставаясь, друзья, холостым:
Любовь пусть могуча, привычка сильнее —
Ведь любовь я узнал по поступкам своим.

Он закончил, и Леди Амальтея рассмеялась, смех ее, казалось, заставил гнездящуюся в замке старую-престарую тьму зашипеть на них обоих.

— Это было полезно, — сказала она. — Спасибо, милорд.

— Я не знаю, почему так получилось, — застенчиво сказал Принц Лир. — Один из людей моего отца часто пел мне эту песню. Я не верю ей. По-моему, любовь сильнее привычек и обстоятельств. Я думаю, что можно ждать кого-то долго и помнить, почему ты ждешь, когда она наконец придет. — Леди Амальтея вновь улыбнулась, но не ответила.

Удивляясь своей храбрости, Принц тихо сказал:

— Если бы я мог, я бы вошел в ваши сны, чтобы охранять вас, чтобы сразить то, что преследует вас, как я сделал бы это наяву. Но я не могу этого сделать — ведь я не снюсь вам.

Но прежде чем она смогла произнести слово, они услышали внизу винтовой лестницы шаги и приглушенный голос Хаггарда:

— Я слыхал, что он пел. Какое имел он право петь?

В ответ прозвучал поспешный и кроткий голос Шмендрика, придворного волшебника:

— Сир, это была некая героическая баллада, так сказать chanson de geste[1], из тех, что он часто поет, выезжая на подвиг или возвращаясь с победой. Уверяю вас, ваше величество.

---

[1] Возвышенно-героическая (эпическая) средневековая песня (*франц.*).

— Он никогда не поет здесь, — отвечал Король. — Убежден, он всегда поет в своих дурацких скитаниях, поскольку именно так поступают герои. Но он пел здесь, и не о битвах и подвигах, а о любви. Где она? Я понял, что он поет о любви, еще не расслышав слов, — сами камни дрожали, как от движений Быка. Где она?

Принц и Леди Амальтея стояли в темноте плечом к плечу. Они посмотрели друг на друга, но не шелохнулись. Потом пришел страх, ведь происшедшее с ними могло быть тем, чего добивался Хаггард. На лестничную площадку чуть выше выходил коридор. Они побежали по нему, обгоняя дыхание. Поступь ее была тиха, как обещание, данное ею Принцу, но его тяжелые сапоги стучали по каменному полу именно так, как должны стучать сапоги. Король Хаггард не преследовал их, но где-то вдали шелестел его голос, переплетаясь со словами волшебника:

— Мыши, милорд, вне сомнения, мыши, я знаю совершенно исключительное заклинание...

— Пусть бегут, — сказал Король. — Меня это вполне устраивает.

Остановившись, беглецы вновь посмотрели друг на друга.

Зима скулила и плелась не к весне, а к короткому губительному лету страны Хаггарда. Жизнь в замке продолжалась в молчании, царящем там, где никто ни на что не надеется. Молли Отрава готовила и стирала, оттирала камни, чинила броню и точила мечи; она колола дрова, молола муку, ходила за лошадьми и чистила их стойла, плавила украденное золото и серебро для сундуков Короля и делала кирпичи без соломы. А вечерами, перед сном, она обычно просматривала новые стихи Принца Лира, посвященные Леди Амальтее; хвалила их и исправляла ошибки.

Шмендрик дурачился, показывал Королю фокусы и трюки, ненавидя это занятие и зная, что Хаггард тоже знает это и от того получает удовольствие. Он никогда больше не предлагал Молли бежать из замка, прежде чем Хаггард узнает правду о Леди Амальтее, но он и не пытался теперь искать тайный ход к Красному Быку, даже когда у него и было время для этого. Казалось, он сдался, но не Королю, а другому,

куда более старому и жестокому врагу, поймавшему его наконец этой зимой в этом замке.

Леди Амальтея с каждым днем становилась все прекрасней, тем более прекрасней, чем мрачнее предыдущего был новый день. Возвращавшиеся после краж или промерзшие и промокшие на карауле старые стражники расцветали, словно бутоны, встречая ее на лестницах и в залах. Она улыбалась и ласково отвечала им, но, когда уходила, замок казался еще темнее, а ветер снаружи трепал набухшее небо, как простыню на веревке. Ведь красота ее была смертной и человечной, и она не давала утешения старикам. Они натягивали плотнее свои промокшие плащи и ковыляли к огоньку на кухню.

Но Леди Амальтея и Принц Лир бродили, разговаривали, пели так блаженно, будто замок Хаггарда стал зеленым лесом, весенним, диким и тенистым. Они взбирались на изогнутые башни, как на горы, устраивали пикники на каменных лужайках под каменным небом и шлепали взад и вперед по текущим, словно ручьи, лестницам. Он рассказал ей все, что знал сам и что он думал об этом, придумал ей жизнь и мнения, а она помогала ему молчанием. Она не обманывала его — ведь она и в самом деле не помнила ничего, что было до замка и до него самого. Ее жизнь начиналась и кончалась на Принце Лире — вся, кроме снов, которые скоро потускнели, как он и обещал ей.

Они редко слышали рев охотящегося Красного Быка, по ночам он больше не выходил. Но когда голодный рев доносился до ее ушей, она пугалась, стены и зима вновь окружали их, как будто вся эта весна была только ее созданием, даром ее радости Принцу. В такие моменты ему хотелось обнять ее, но он уже давно знал, что она боится прикосновения.

Однажды днем Леди Амальтея стояла на самой высокой башне замка, ожидая возвращения Принца Лира из похода против зятя того самого людоеда — время от времени он выбирался в такие поездки, как и обещал Молли. Над долиной Хагсгейта мыльной пеной грудились тучи, но дождя не было. Внизу жесткими серебряными, зелеными и гнедыми лентами, уходящими в туманную даль, змеилось море. Уродливые птицы то и дело взлетали поодиночке, парами и по трое, быстро делали круг над водой и возвращались снова важно расхаживать по песку, фыркая и кивая в сторону замка Короля

Хаггарда: «Вот как. Вот как». Вода стояла низко, начинался прилив.

Леди Амальтея запела, и ее голос птицей парил и взмывал в тихом холодном воздухе:

Я дочь короля, я принцесса,
Но старше я день ото дня,
В тюрьме молодого тела
Я устаю от себя,
И я бы ушла скитаться
Нищенкой вдоль дорог...

Она не помнила, что слыхала когда-то эти слова, но они щипали и толкали ее, как дети, пытающиеся затянуть взрослого в нужное им место. Чтобы отогнать их, она пошевелила плечами.

«Но я не стара, — сказала она себе, — и я не в тюрьме. Я — Леди Амальтея, возлюбленная Лира, который вошел в мои сны, так что я не сомневаюсь в себе даже во сне. Где могла я услышать эту печальную песню? Я — Леди Амальтея, и я знаю только песни, которым меня научил Принц Лир».

Она подняла руку, чтобы прикоснуться к отметине на лбу. Спокойное, как зодиак, море катило мимо, уродливые птицы кричали. Ее немного беспокоило, что пятно на лбу все не сходит.

— Ваше величество, — сказала она, хотя за спиной ее не было слышно ни звука. Услышав в ответ ржавый смешок Короля, она повернулась к нему. Поверх брони на Короле был серый плащ, голова его была не покрыта. Когти времени избороздили жесткую кожу его лица, но он казался сильнее и неукротимее своего сына.

— Для такой, какая вы теперь, вы слишком быстры, — сказал он, — но для той, какой вы были, пожалуй, наоборот. Говорят, что любовь делает мужчин быстрыми, а женщин медлительными. Если вы влюбитесь еще сильнее, я вас поймаю.

Не отвечая, она улыбнулась ему. Она никогда не знала, что говорить этому человеку с бледными глазами, которого она видела так редко, что он казался ей колыханием на краю одиночества, которое она делила с Принцем Лиром. Вдали, предупреждая, звякнула броня, она услышала неровный цокот копыт.

— Ваш сын возвращается домой, — сказала она. — Давайте подождем его вместе.

Король Хаггард, медленно подойдя к парапету, где она стояла, почти не взглянул на поблескивающую вдали фигурку возвращающегося домой Принца.

— Ну в самом деле, что вам или мне до Принца Лира? — спросил он. — Он не мой ни по рождению, ни по духу. Я подобрал его там, где его кто-то бросил, потому что мне казалось, что я несчастен, раз у меня нет сына. Вначале это было довольно приятно, но скоро все прошло. Все умирает в моих руках. Я не знаю, почему так происходит, но так было всегда, все умерло, все стало тусклым и холодным, все, кроме одного, самого дорогого, единственного, что когда-либо было моим. — Его мрачное лицо внезапно напряглось, как голодный настороженный капкан. — И Лир не поможет вам, — сказал он. — Он никогда и не знал, что это такое.

Без предупреждения замок запел натянутой струной, когда спящий у его корней зверь шевельнул своим ужасным телом. Леди Амальтея привычно легко восстановила равновесие и беспечно сказала:

— Красный Бык. Ну почему вы думаете, что я пришла украсть Быка? У меня нет королевства, которое надо охранять, я не хочу ничего завоевывать. Для чего он мне? Сколько он ест?

— Не смейтесь надо мной! — отвечал король. — Красный Бык столь же мой, сколь и мальчишка, он не ест, его нельзя украсть. Он служит любому, у кого нет страха, а страха у меня не больше, чем всего остального. — И все же Леди Амальтея видела, как по длинному серому лицу скользят предчувствия, прячась в тени бровей и выступах черепа. — Не смейтесь надо мной. Не прикидывайтесь, что забыли свою цель. Я ли должен напоминать вам о ней? Я знаю, что вы ищете, а вы знаете, что я обладаю ими. Отнимите их, отнимите их у меня, если сможете, но не смейте сдаваться сейчас! — Морщины черными ножами рассекали его лицо.

Принц Лир пел, но Леди Амальтея еще не разбирала слов. Она спокойно сказала Королю:

— Милорд, во всем вашем замке, во всей вашей стране, во всех королевствах, которые может покорить для вас Красный Бык, мне нужно только одно, и вы только что сказали,

что дать это не в вашей власти. Каково бы ни было ваше сокровище, желаю вам насладиться им. До свидания, ваше величество.

Она повернулась к лестнице, но Король загородил ей дорогу, она остановилась, глядя на него глазами, глубокими, как отпечатки копыт в снегу. Седой Король улыбнулся, и на мгновение ее обдала холодом странная нежность к нему — ей вдруг представилось, что они чем-то похожи! Но он сказал:

— Я знаю, кто вы. Я узнал вас почти сразу тогда на дороге, когда вы в плаще шли со своим шутом к моему порогу. С тех пор вас выдавало каждое движение. Походка, взгляд, поворот головы, подрагивание жилки на шее, даже ваша привычка стоять совсем неподвижно — все выдавало вас. Вы заставили меня какое-то время удивляться, и за это я вам по-своему благодарен. Но ваше время кончилось.

Он глянул через плечо в сторону моря и внезапно шагнул к парапету с бездумной легкостью юноши.

— Начинается прилив, — сказал он. — Посмотрим. Идите сюда. — Он говорил очень мягко, но его голос стал вдруг похож на крики уродливых птиц на берегу. — Идите сюда, — лютым голосом приказал он. — Идите сюда, я не прикоснусь к вам.

Принц Лир пел:

Я буду любить вас, как я лишь могу,
Любить, сколько б лет ни минуло.

Притороченная к седлу страшная голова вторила низким фальцетом. Леди Амальтея подошла к Королю.

Под низким вихрящимся небом вздымались волны, медленно, как деревья, выраставшие по мере приближения к берегу. Вблизи него они изгибались, все круче выгибая спину, и яростно бросались на песок, словно пойманные звери на стенку клетки, откатываясь назад с рыдающим рычанием, чтобы броситься вновь, не щадя разбитых когтей. Уродливые птицы печально кричали. Серо-сизые, как голуби, волны разбивались о берег и возвращались в море потоками того же цвета, что и волосы, скользящие по ее лицу.

— Там, — произнес рядом с ней странный высокий голос, — они там. — Король Хаггард, ухмыляясь, показывал вниз на белую воду. — Они там, — повторил он, смеясь, словно испуганный ребенок. — Они там. Скажите, что это не ваш

народ, что не в поисках его вы пришли сюда. Скажите, что вы оставались всю зиму в моем замке лишь ради любви.

Не ожидая ответа, он нетерпеливо повернулся к волнам. Его лицо удивительно изменилось: восхищение расцветило мрачную кожу, сгладило скулы, ослабило тетиву рта.

— Они мои, — тихо сказал он, — они принадлежат мне. Красный Бык по одному собирал их, а я велел ему загонять их в море. Где еще можно держать единорогов и какая клетка их удержит? Ведь Бык сторожит их — спит ли он или бодрствует. И он сломил их сердца давным-давно. Теперь они живут в море, и каждый прилив приносит их к берегу. Один шаг, но они не осмелятся его сделать, не осмелятся выйти из воды. Они боятся Красного Быка.

Неподалеку Принц Лир пел: «Отдать без сожаления, все отдать, все то, что можешь и умеешь дать...» Леди Амальтея сомкнула руки на парапете, и ей вдруг захотелось, чтобы Лир оказался рядом — ведь теперь она поняла, что Король Хаггард сошел с ума. Внизу были скалы, болезненно желтая полоска песка, надвигающийся прилив и больше ничего.

— Я люблю смотреть на них. Их вид наполняет меня счастьем, — пел рядом детский голос, — я уверен, что это счастье. Когда я почувствовал это впервые, я подумал, что умираю. Их было двое в утреннем тумане. Он пил из ручья, а она положила голову ему на спину. И я сказал Красному Быку: «Они мои, я должен обладать ими всеми — ведь моя нужда велика». И Бык переловил их по одному. Ведь он хотел того же. И он хотел бы того же, будь то жук-щелкун или крокодил. Он различает лишь то, чего я хочу, а чего — нет.

Склонившись над низким парапетом, он на момент позабыл о ней, и она смогла бы убежать. Но она осталась на месте — в свете дня ее вновь обволакивал тот же старый забытый сон. Прибой разбивался о скалы и откатывался, чтобы накатиться вновь. Принц Лир, приближаясь, пел:

Я буду любить вас хоть тысячу лет,
Любви не надеясь добиться в ответ.

— Наверно, я был молод, когда увидел их впервые, — сказал Король Хаггард. — Сейчас я, должно быть, стар — по крайней мере с тех пор я перепробовал многое и многое мне надоело. Но я всегда знал, что сердце не стоит вкладывать ни во что, ведь ничто не вечно, и я был прав, и потому я всегда

был стар. И все-таки каждый раз, когда я гляжу на моих единорогов, во мне просыпается что-то похожее на утро в лесу, и я по-настоящему молод, и все может случиться в мире, полном такой красоты.

«Во сне у меня было четыре белых ноги, я чувствовала податливую землю под раздвоенными копытами. На моем лбу было сияние, и я ощущаю его теперь, — грезила наяву Леди Амальтея. — Но в приливе нет единорогов. Король лишился рассудка, он сказал: «Интересно, что станет с ними, когда я уйду. Я знаю, Красный Бык их немедленно забудет и отправится на поиски нового хозяина. Но я не знаю, решатся ли они вновь обрести свободу. Я надеюсь, что нет, ведь тогда они навечно останутся моими».

Потом он вновь повернулся к ней, и его глаза стали такими же мягкими и жадными, как у Принца Лира.

— Вы последняя, — сказал он. — Бык не увидел вас в теле женщины, но я всегда знал это. Кстати, как получилось это превращение? Ваш волшебник не мог сделать этого. Не думаю, чтобы он сумел превратить и сливки в масло.

Отпустив парапет, она упала бы, но голос ее был спокоен:

— Милорд, я не понимаю. Я ничего не вижу в воде.

Лицо Короля задрожало, словно она смотрела на него сквозь пламя.

— Вы все еще отрицаете? — прошептал он. — Как вы осмеливаетесь отрекаться от себя? Это подло и трусливо, и пристало лишь человеку. Я своими руками сброшу вас вниз к вашему народу, если вы отречетесь от себя. — Он шагнул к ней, она смотрела на него, широко открыв глаза и не имея сил пошевелиться.

Шум моря наполнил ее голову, смешавшись с песней Лира и слезливым предсмертным криком человека по имени Ракх. Серое лицо Хаггарда молотом нависло над ней, бормоча:

— Это должно быть так, я не могу ошибаться. И все же ее глаза теперь столь же глупы, как и глаза юнца, как любые глаза, ни разу не видевшие единорогов, а созерцавшие в зеркале только себя. Откуда в них этот обман, как могло это случиться? Теперь в ее глазах нет зеленых листьев.

Тогда она закрыла глаза, но не для того, чтобы не видеть, а для того, чтобы удержать в себе... Существо с бронзовыми крыльями и лицом ведьмы, смеясь, порхало вокруг, и моты-

лек сложил крылья, чтобы упасть на жертву. Красный Бык молчаливо двигался по лесу, раздвигая сучья бледными рогами. Она почувствовала, когда ушел Король Хаггард, но не открыла глаз.

Через мгновение или через вечность она услышала за собой голос волшебника.

— Успокойтесь, успокойтесь, все кончилось. Они в море, — сказал Шмендрик, — в море. Ну, это, пожалуй, не так плохо. Я тоже не могу видеть их, ни сейчас, ни в другое время. Но он видит, а если Хаггард что-нибудь видит, значит, так оно и есть. — Смех волшебника был похож на стук топора. — Это неплохо. В заколдованном замке трудно увидеть что-нибудь. Чтобы увидеть, недостаточно быть готовым, надо смотреть все время. — Он рассмеялся вновь, но более мягко. — Хорошо, — сказал он. — Теперь мы их найдем. Пойдемте, пойдемте со мной.

Она повернулась к нему, пытаясь промолвить что-то, но рот не повиновался ей. Волшебник внимательно всматривался в ее лицо своими зелеными глазами.

— Ваше лицо влажно, — озабоченно сказал он. — Надеюсь, что это морская пена. Если вы стали человеком настолько, чтобы плакать, то никакая магия в мире... Нет, это, должно быть, пена. Пойдемте со мной. Пусть лучше это будет пена.

Глава 12

В громадном зале замка Короля Хаггарда часы пробили шесть. На самом деле после полуночи прошло только двенадцать минут, но в зале было лишь чуть темнее, чем в шесть часов или в полдень. Жители замка определяли время по степени темноты. Были часы, когда зал был холоден лишь потому, что в нем не хватало тепла, и темен лишь из-за недостатка света, когда воздух был затхл и спокоен, а камни пахли стоячей водой — ведь в зале не было окон, в которые мог бы проникнуть свежий воздух, — это был день.

Но как некоторые деревья днем впитывают свет, чтобы медленно и долго отдавать его после заката, так ночью замок, все его помещения, наполняла темнота. Холод в гро-

мадном зале обретал тогда причину, спавшие днем тихие звуки просыпались и начинали топотать и скрестись по углам. А старинный запах камня, казалось, поднимался откуда-то глубоко из-под пола.

— Зажги свет, — сказала Молли Отрава, — пожалуйста, зажги какой-нибудь свет!

Шмендрик резко и профессионально что-то пробормотал. Через некоторое время по полу стало расползаться странное бледно-желтое сияние, рассыпающееся тысячью снующих и попискивающих угольков. Обитающие в замке ночные твари мерцали, как светлячки. Они сновали туда-сюда, по полу метались тени, отбрасываемые этим бледным светом, делавшим тьму еще холоднее, чем прежде.

— Уж лучше бы ты не делал этого, — сказала Молли. — А ты можешь их погасить? Ну хотя бы пурпурных с... ну тем, что похоже на ноги.

— Нет, не могу, — сердито ответил Шмендрик. — Спокойно. Где череп?

Леди Амальтея видела, как лимонно-желтый в тени, бледный, словно утренняя луна, череп ухмыляется со столба, но промолчала; она молчала с тех пор, как спустилась с башни.

— Там, — сказал волшебник. Он подошел к черепу и долго смотрел в его пустые потрескавшиеся глазницы, медленно покачивая головой и тихо бормоча про себя. Молли тоже внимательно смотрела, но время от времени бросала взгляд на Леди Амальтею. Наконец Шмендрик сказал:

— Ну хорошо. Не стойте так близко.

— Неужели действительно можно заклинаниями заставить череп говорить? — спросила Молли.

Волшебник пошевелил пальцами и уверенно улыбнулся.

— Существуют заклинания, которые могут заставить говорить что угодно. Великие волшебники обладали чарами, с помощью которых заставляли все на свете, и живое и мертвое, разговаривать с собой. Быть волшебником — это в первую очередь уметь видеть и слышать. — Он глубоко вздохнул, посмотрел по сторонам и потер руки. — Остальное — дело техники, — добавил он. — Ну, начнем. — Он резко повернулся к черепу, легко прикоснулся к бледной макушке и глубоким голосом скомандовал. Словно шеренга солдат, мощно

сотрясая темный воздух, промаршировали слова, но... череп безмолвствовал.

— Интересно, — тихо сказал волшебник. Он убрал руку и вновь обратился к черепу. На сей раз его голос доказывал и упрашивал, почти молил. Череп безмолвствовал, но Молли показалось, что в пустых глазницах что-то шевельнулось.

В убегающем свете светляка волосы Леди Амальтеи светились, будто цветок. Не выказывая ни интереса, ни безразличия, спокойно, так, как иногда бывает спокойным поле битвы, она наблюдала за Шмендриком, который все твердил и твердил заклинания перед безмолвной костью. Каждый последующий заговор Шмендрик произносил все более отчаянно, но череп молчал. И все же Молли Отрава была уверена, что он бодрствует, слушает и удивляется. Уж насмешливое-то молчание от молчания смерти она могла отличить.

Часы пробили по крайней мере двадцать девять, дальше Молли сбилась со счета. Ржавые удары еще лязгали по углам, когда Шмендрик завопил, грозя кулаками:

— Ну, ты, зарвавшееся колено! А в глаз не хочешь? — На последних словах его голос сорвался в отчаянное и яростное рычание.

— Вот это дело, — отозвался череп. — Ори. Буди старика Хаггарда. Да что там, кричи, что есть сил, — посоветовал он трещащим, словно сучья на ветру, голосом. — Старикашка, наверное, где-то рядом. Спит-то он мало.

Молли восхищенно вскрикнула, и даже Леди Амальтея подошла чуть ближе. Шмендрик стоял со сжатыми кулаками, без тени радости.

Череп сказал:

— Продолжайте. Спрашивайте меня, как найти Красного Быка. Вы не ошиблись, обратившись ко мне. Я караульщик Короля, поставленный охранять путь к Красному Быку. Даже Принц Лир не знает тайного пути, а я знаю.

— Если вы действительно стражник, то почему же вы не поднимаете тревоги? — не без смущения спросила Молли Отрава. — Почему вы предлагаете нам помощь, а не зовете воинов?

Череп трескуче захихикал:

— Я провел на этом столбе много лет. Когда-то я был главным оруженосцем Хаггарда, пока он без всякой причи-

ны не смахнул мою голову с плеч. Это было в те времена, когда он злодействовал, просто чтобы узнать, не это ли ему надо. Оказалось, что именно это ему нужно не было, но тем не менее он решил, что может извлечь некоторую пользу из моей головы, и посему определил ее на караул. При таких обстоятельствах, как вы понимаете, я не столь лоялен к Хаггарду, как можно было бы ожидать.

Шмендрик приглушенно произнес:

— Объясни-ка загадку. Покажи нам путь к Красному Быку.

— Нет, — ответил череп и расхохотался, как сумасшедший.

— Почему же? — яростно закричала Молли. — Что за игру...

Длинные желтые челюсти черепа так и не шевельнулись, но дикий смех умолк не сразу. Даже снующие ночные твари замерли в мятущемся свете, пока он не стих.

— Я мертв, — сказал череп. — Я мертв, и с этого столба я слежу за собственностью Хаггарда. Единственная моя радость — дразнить и выводить из себя живых, да и она-то выпадает мне нечасто. Это печально, потому что в жизни у меня был весьма вредный характер. Я уверен, что вы простите меня, если я позволю себе слегка развлечься с вами. Приходите завтра. Может быть, завтра.

— Но у нас совсем нет времени! — взмолилась Молли. Шмендрик попытался оттолкнуть ее, но она почти вплотную приблизилась к черепу и обратилась к его пустым глазницам: — У нас нет времени. Быть может, мы уже опоздали.

— Время есть у меня, — задумчиво отвечал череп. — Не так уж хорошо, когда оно есть у людей; рвись, карабкайся, отчаивайся... Этого нет, то забыли, а остальное не влезает в маленький чемодан — такова жизнь. Предполагается, что иногда вы должны опаздывать. Не беспокойтесь.

Молли продолжила бы спор, но волшебник оттащил ее за руку.

— Тихо, — быстро и свирепо сказал он. — Ни слова, ни слова больше. Проклятая костяшка заговорила, ведь так? Быть может, это все, что нам надо.

— Нет, не все, — проинформировал его череп. — Я буду говорить, сколько вам угодно, но я ничего не скажу вам. Мерзавец, не правда ли? А посмотрели бы вы на меня при жизни.

Шмендрик не обращал больше на него внимания.

— Где вино? — спросил он у Молли. — Посмотрим, что можно сделать с вином.

— Я не смогла его найти, — раздраженно сказала она. — Я смотрела всюду, похоже, в замке нет ни капли. — Волшебник молча уставился на нее. — Но я искала, — добавила она.

Шмендрик поднял было обе руки и уронил их вдоль тела.

— Ну, — проговорил он, — ну что же, тогда, если мы не можем найти вина, у меня есть некоторые фокусы, но я не могу сделать вина из воздуха.

Череп захохотал, стуча и лязгая.

— Материю нельзя ни создать, ни уничтожить, — заметил он. — По крайней мере большинство волшебников этого не могут.

Из складок одежды Молли извлекла блеснувшую в темноте фляжку.

— Я подумала, что для начала тебе, быть может, понадобится немного воды, — сказала она.

Шмендрик и череп посмотрели на нее почти одинаково.

— Ну, что сделано, то сделано, — громко сказала она. — Так тебе не придется творить что-то заново. Я бы никогда не потребовала этого от тебя.

Услышав собственные слова, она покосилась на Леди Амальтею, но Шмендрик взял у нее из рук фляжку и принялся внимательно изучать, поворачивая туда-сюда и бормоча себе под нос забавные звонкие слова. Наконец он произнес:

— А почему бы и нет? Как ты говоришь, это избитый фокус. Когда-то, я помню, он был в моде, но сейчас, пожалуй, слегка устарел. — Он медленно провел рукой над фляжкой, свив из воздуха слово.

— Что ты делаешь? — заинтересованно спросил череп. — Эй, давай сюда, поближе, мне не видно.

Волшебник повернулся к нему спиной и согнулся над прижатой к груди фляжкой. Шепот его заклинания напомнил Молли потрескивание угасшего костра после того, как погас последний уголек.

— Понимаете, — сказал он, прервав заклинания, — ничего особенного не будет — просто столовое вино. — Молли торжественно кивала. Шмендрик продолжал: — Обычно оно чересчур сладкое, и как оно выпьет себя, я не имею ни ма-

лейшего представления. — Он вновь приступил к колдовству, в то время как череп горько сетовал, что ничего не видит и не слышит. Спокойно и с надеждой Молли шепнула что-то молчавшей Леди Амальтее.

Неожиданно Шмендрик поднес фляжку к губам, но прежде понюхал, приговаривая:

— Слабовато, слабовато, почти никакого букета. С помощью магии еще никто не творил хорошего вина.

Он приложил фляжку к губам, потом потряс, посмотрел на нее и с горькой улыбкой перевернул. Из фляжки не упало ни капли.

— Ну вот и все, — почти радостно сказал Шмендрик. Он тронул сухим языком сухие губы и повторил: — Ну вот и все, вода кончилась. — По-прежнему улыбаясь, он вновь поднял фляжку, собираясь отшвырнуть ее подальше.

— Подожди, постой, не надо! — череп завопил так дико, что фляжка застыла в руке Шмендрика. Они с Молли повернулись к завертевшемуся на месте от беспокойства черепу, пытавшемуся освободиться, царапая пожелтевшей костью камень столба. — Не надо! — горестно вопил череп. — Только ненормальные люди могут вылить такое вино. Если оно не нужно вам, отдайте его мне, но только не выливайте.

По лицу Шмендрика, как дождевая туча над иссушенной землей, пробежало мечтательное и изумленное выражение. Он медленно спросил:

— А для чего тебе вино, раз ты не можешь ощутить его вкус языком, просмаковать нёбом и пропустить его в глотку? Ты мертв полвека, неужели ты еще хочешь вина, до сих пор помнишь его вкус?

— Что еще остается через пятьдесят лет после смерти? — Череп прекратил нелепо дергаться, от разочарования его голос стал почти человеческим. — Я помню, — отвечал он. — Я помню больше, чем вино. Дайте мне глоток, да что там, дайте мне капельку — и я распробую ее так, как никогда не сможете вы со всею вашей плотью и органами чувств. У меня было время поразмыслить. Я знаю, что такое вино. Да-а-й сюда!

Шмендрик ухмыльнулся и покачал головой:

— Красноречиво, но в последнее время я стал несколько злопамятным. — В третий раз он поднял пустую флягу.

В предчувствии ужасного несчастья череп застонал.

Жалостливая Молли Отрава начала:

— Но ведь его... — однако волшебник наступил ей на ногу.

— Конечно, — размышлял он вслух, — если бы ты помнил путь в пещеру Красного Быка столь же ясно, как и вкус вина, мы могли бы столковаться. — И он поболтал фляжку.

— По рукам! — мгновенно отозвался череп. — По рукам, согласен за один глоток, давай скорее вино. От мысли о нем меня мучит такая жажда, какой не случалось испытывать в жизни, когда у меня было горло, которое могло пересохнуть. Дайте мне тяпнуть, и я расскажу все, что вас интересует. — Бурые челюсти стучали друг о друга, сине-серые зубы била дрожь.

— Дай ему, — шепнула Молли Шмендрику, она боялась, что пустые глазницы начнут наполняться слезами. Но Шмендрик снова покачал головой.

— Я отдам тебе все, — сказал он черепу. — Только скажи нам, как найти Быка.

Череп вздохнул, но не поколебался.

— Путь лежит через часы, — сказал он. — Вы проходите сквозь часы и оказываетесь там. Могу я теперь получить вино?

— Сквозь часы? — Волшебник, повернувшись, уставился в дальний угол зала, где стояли часы. Это был высокий, черный и узкий ящик — тень часов, брошенная заходящим солнцем. Над циферблатом стекло было разбито, часовая стрелка исчезла. За осколками серого от пыли стекла едва был виден механизм, колесики которого крутились и дергались, как рыба на крючке. — Ты имеешь в виду, что, когда часы пробьют нужное время, они повернутся, открыв тайный проход? — спросил Шмендрик. Голос его был полон сомнения, ведь часы были явно слишком узкими.

— Об этом я ничего не знаю, — отвечал череп. — Если ты собираешься ждать, пока они пробьют точное время, то просидишь здесь, пока не облысеешь, как я. Зачем усложнять простой секрет. Ты проходишь сквозь часы, а на другой стороне тебя ждет Бык. Давай.

— А кот говорил... — начал было Шмендрик, но повернулся и направился к часам. В темноте казалось, что, сутулясь и уменьшаясь в размере, он спускается с горы. Дойдя до

часов, Шмендрик не остановился, словно перед ним была тень, но всего лишь ударился носом.

— Глупости, — возвратившись, холодно сказал он черепу. — Так ты думаешь обмануть нас? Путь к Быку вполне может проходить сквозь часы, но есть еще что-то, что нужно знать. Говори, или я вылью вино на пол, чтобы ты всегда мог припомнить его вид или запах. Живо!

Но череп рассмеялся снова, на этот раз задумчиво и почти добродушно.

— Вспомни, что я говорил тебе о времени, — сказал он. — Когда я был жив, я, как и ты, верил, что время по крайней мере столь же реально, как и я сам, если не более. Я говорил «час дня», как будто бы мог его увидеть, и «понедельник», словно его можно было нанести на карту, и я позволял, чтобы меня несло от минуты к минуте, от часа к часу, от года к году, хотя на самом деле я просто переходил из одного места в другое. Как и все, я жил в доме, сложенном из секунд, минут, уик-эндов и новогодних праздников; из этого дома я так и не вышел, пока не умер, — поскольку другого выхода не было. Теперь я знаю, что мог бы проходить сквозь стены.

Молли возбужденно мигала, но Шмендрик качал головой.

— Да, — сказал он, — так это делают настоящие волшебники. Но тогда часы...

— Часы никогда не пробьют точное время, — сказал череп. — Хаггард давным-давно испортил механизм, пытаясь ухватить летящее мимо время. Но важно, чтобы ты понял: безразлично, сколько раз пробьют часы — десять, семь или пятнадцать. Ты можешь сам назначить собственное время и начать отсчитывать его, когда захочешь. Когда ты поймешь это, для тебя все будет вовремя.

В этот момент часы пробили четыре. Еще не замолк последний удар, когда из-под пола гигантского замка раздался ответный звук. Не рев и не страшное ворчание, которое Красный Бык часто издавал во сне, — это был низкий вопрошающий звук, словно Бык проснулся, почувствовав в ночи что-то новое. Плиты пола шипели, как змеи, казалось, дрожит сама темнота, светящиеся ночные твари разбежались по углам. Внезапно Молли отчетливо поняла, что Хаггард близко.

— Теперь давай вино, — сказал череп. — Я выполнил

свою часть сделки. — Шмендрик молча протянул пустую фляжку к пустому рту — череп булькал, вздыхал и смаковал. — Ах, — сказал он наконец. — Ах, это было вино, это было настоящее вино! Ты больший волшебник, чем я думал. Теперь ты понял про время?

— Да, — ответил Шмендрик. — Похоже, что да.

В реве Красного Быка вновь прозвучали вопрос и удивление, и череп загремел на столбе.

— Впрочем, не знаю, — усомнился Шмендрик. — Нет другого пути?

— Ну разве он может быть? — Молли услышала шаги, они затихли, потом донеслись осторожные приливы и отливы дыхания. Она никак не могла понять, где их источник.

Шмендрик повернулся к ней, лицо его казалось испачканным изнутри смятением и страхом, будто стекло фонаря сажей. Там был и свет, но он дрожал и колебался, словно в бурю.

— Думаю, я понял, — проговорил он. — Но, кажется, не совсем. Я попробую.

— Все же, полагаю, это настоящие часы, — сказала Молли. — Это хорошо. Я могу пройти сквозь настоящие часы. — Она говорила это, лишь чтобы утешить его, но в ее теле словно вспыхнул свет, когда она поняла, что сказала правду. — Я знаю, куда нам идти, — сказала она. — Это ничуть не хуже, чем знать, когда идти.

Череп прервал ее:

— Позвольте мне в уплату за столь хорошее вино дать вам дополнительный совет. — Шмендрик виновато глядел на него. Череп продолжал: — Разбей меня, брось меня на пол так, чтобы я разлетелся на куски. Не спрашивай почему, просто сделай. — Он говорил очень быстро, почти шепотом. Шмендрик и Молли дружно переспрашивали: «Что? Почему?» Череп повторил.

— Что ты говоришь? Почему мы должны сделать это? — возмутился Шмендрик.

— Разбей! — настаивал череп. — Так надо! — Порхая вокруг на единственной паре ног, дыхание доносилось со всех сторон.

— Нет, — отвечал Шмендрик. — Ты сошел с ума. — Он повернулся и вновь направился к смутно темневшим часам.

Молли взяла Леди Амальтею за холодную руку, увлекая за собой белую девушку, словно воздушного змея за веревочку.

— Ну смотрите, — печально сказал череп. — Я предупреждал. — И он закричал ужасным голосом, гремевшим, словно град по железному листу: — Хоу, Король, на помощь! Стражи, ко мне! Здесь грабители, бандиты, налетчики, похитители, взломщики, убийцы, театральные злодеи. Хоу, Король Хаггард!

Со всех сторон послышались шаги, раздались свистящие голоса престарелых воинов Короля Хаггарда. Факелов не было — свет без приказа Короля в замке нельзя было зажигать при любых условиях, а Король безмолвствовал. Три вора растерянно и бессильно взирали на череп.

— Извините, — сказал он. — Таков уж я есть. Предатель, но я пытался... — Тут его исчезнувшие глаза внезапно увидели Леди Амальтею и широко и ясно раскрылись, словно могли это сделать.

— О нет, — мягко сказал он. — Нет, не надо... Я нелоялен, но не настолько же.

— Бегите, — повторил Шмендрик слова, что сказал когда-то дикой белоснежной легенде, которой отворил клетку. Они бежали по громадному залу, позади них спотыкались в темноте стражники, а череп визжал:

— Единорог! Единорог! Хаггард, Хаггард, она идет туда, к Красному Быку! К часам, Хаггард, где ты? Единорог! Единорог!

В этом шуме зловеще прошелестел голос Короля:

— Дурак, предатель, теперь она знает это! — Где-то рядом прошелестели его быстрые шаги. Шмендрик было собрался повернуться и приготовиться к драке, но тут послышался удар — старая кость с треском разбилась о старый камень.

Когда они оказались перед часами, времени на сомнения уже не осталось. Стражники были в зале, эхо их шагов металось от одной стены к другой, а Король Хаггард шипел и ругал их. Леди Амальтея не колебалась. Она вошла в часы и исчезла, как луна за облаками, — за ними, но не в них, отделенная от облаков тысячами миль. «Будто она дриада, — теряя разум, подумала Молли, — а время — ее дерево». Сквозь мутное, покрытое пятнами стекло Молли видела

грузы, маятник и потраченные ржавчиной колокольчики. За ними не было двери, сквозь которую могла пройти Леди Амальтея. Ржавыми деревьями по бокам устремленной в дождь дороги расступались механизмы. Плакучими ветвями колыхались грузы.

Король Хаггард кричал:

— Остановите их! Разбейте часы!

Молли повернула голову, собираясь сказать Шмендрику, что она, наверное, поняла слова черепа, но волшебник пропал вместе с замком Хаггарда. Часы тоже исчезли, она стояла рядом с Леди Амальтеей — было холодно.

Голос Короля Хаггарда звучал где-то вдалеке, не столько в ушах, сколько в памяти. Повернув голову дальше, она обнаружила, что глядит прямо на Принца Лира. Серебристой рыбкой подрагивал за ним туман, ничем не напоминая источенные ржавчиной часы. Шмендрика нигде не было. Принц Лир наклонил голову к Молли, но обратился к Леди Амальтее.

— И вы хотели уйти без меня, — сказал он. — Вы совсем не слушали меня.

Тогда она ответила ему, она, молчавшая в присутствии волшебника и Молли. Низким чистым голосом она сказала:

— Мне нужно вернуться. Я не знаю, кто я и почему я здесь. Но я должна вернуться назад.

— Нет, — сказал Принц. — Вы никогда не вернетесь назад.

Прежде чем он успел добавить еще что-нибудь, Молли со слезами в голосе, к собственному удивлению, прервала его:

— Не слушайте все это! Где Шмендрик? — Влюбленные с удивлением посмотрели на нее, словно на незнакомку, недоумевая, как в их мире может разговаривать кто-то еще, и она чувствовала, что дрожит вся, целиком, от ног до головы. — Где он? — спросила она. — Если вы не вернетесь за ним, я пойду одна. — И она отвернулась.

И тут Шмендрик вышел из тумана, сгибаясь, словно шагая против сильного ветра. Он прижимал ладонь к виску, а когда убрал руку, по лицу его потекла кровь.

— Все в порядке, — сказал он, увидев, что кровь капает на руки Молли Отравы. — Все в порядке, это царапина. Пока это не случилось, я не мог пройти. — Он нетвердо поклонился Принцу Лиру. — Я так и думал, что это вы прошли мимо

меня в темноте, — сказал он. — Скажите, как вам удалось так легко пройти сквозь часы? Череп говорил, что вы не знаете пути.

Принц выглядел озадаченным.

— Какого пути? — спросил он. — Что нужно было знать? Я видел, куда она пошла, и просто последовал за ней.

Внезапный смех Шмендрика ободрался об иззубренные стены, наплывавшие на них по мере того, как глаза привыкали в новой темноте.

— Конечно, — отозвался он. — Всему свой срок. — Он вновь рассмеялся, тряхнул головой, и кровь потекла снова.

Молли оторвала кусок от своего платья.

— Бедные старики, — сказал волшебник. — Они не хотели ранить меня, и я, будь у меня оружие, не прикоснулся бы к ним. Извиняясь, мы увертывались друг от друга, и Хаггард вопил, а я бился в часы. Я знал, что это не настоящие часы, но они были похожи на настоящие, и это смущало меня. Потом явился Хаггард с мечом и ударил меня. — Пока Молли перевязывала его голову, он закрыл глаза. — Хаггард, — сказал он, — начинает мне нравиться. Он был так испуган. — Глухие отдаленные голоса Короля и его людей, казалось, зазвучали громче.

— Не понимаю, — сказал Принц Лир, — почему он, мой отец, был испуган? Чего он... — Но в этот момент по ту сторону часов послышались победные крики и сильный грохот. Колышущееся сияние тут же исчезло, и черное молчание поглотило их всех.

— Хаггард сломал часы, — сказал Шмендрик. — Теперь у нас только один путь — через логово Быка.

Подул медлительный густой ветер.

Глава 13

Путь был достаточно широк, чтобы все четверо шли рядом, но они двигались гуськом. Леди Амальтея решила идти впереди. Ее волосы освещали дорогу тем, кто следовал за нею, — Принцу Лиру, Шмендрику, Молли Отраве; и хотя перед ней самой света не было, поступь ее была уверенной, словно она не в первый раз проходила этим путем.

Где пролегал их путь на самом деле, они так и не узнали. Холодный ветер и его холодный запах казались настоящими, и темнота пропускала их куда недоброжелательнее, чем часы. Подземная дорога была достаточно реальна: она ранила ноги и местами ее преграждали завалы камней, сорвавшихся со стен. Но пролегала она как во сне: перекошенная, извилистая, завивающаяся сама на себя, она то становилась почти ровной, то поднималась немного, то устремлялась вперед и вниз, то возвращала их назад под зал, где Король Хаггард, наверно, до сих пор ярился над обломками часов и черепа. «Конечно, это дело рук ведьмы, — подумал Шмендрик, — ведь все, что творят ведьмы, в итоге оказывается нереальным. В итоге... но сейчас и есть итог... для нас. В противном случае все было бы вполне реально».

Пока они ковыляли вперед, он поспешно рассказал Принцу Лиру историю их приключений, начиная со своей странной истории и еще более странной судьбы: гибель «Полночного карнавала» и свое бегство с единорогом; встречу с Молли Отравой, путешествие в Хагсгейт и историю Дринна о двойном проклятии, легшем на город и на замок. Тут он остановился, ведь в глубине ночи их ждал Красный Бык, в ночи, что кончилась, хорошо это или плохо, магией и нагой девушкой, тонущей в своем теле, как корова в сыпучем песке. Он надеялся, что Принц более заинтересуется тайной собственного рождения, чем происхождением Леди Амальтеи.

Не совсем доверяя его словам, Принц Лир тем не менее изображал на лице доброжелательное удивление, что довольно сложно само по себе:

— Я уже давно знаю, что Король — не мой отец, — сказал он, — но поэтому-то я так старался быть его сыном. Я враг любого, кто замышляет против него, и одного только бормотания старухи недостаточно, чтобы я содействовал его падению. Что касается прочего, я не думаю, что единороги еще есть, и знаю, что Король Хаггард никогда не видел ни единого. Как может человек быть столь печален, как Хаггард, если он когда-нибудь видел хоть одного единорога, не говоря уж о тысячах в каждом приливе? Ну если бы я увидел ее только один раз и никогда больше... — Тут в некотором смущении он замолк, также почувствовав, что разговор принимает печальный оборот и повеселеть уже не сможет. И плечи и шея

Молли внимательно слушали, но если Леди Амальтея и внимала разговору, то не подавала вида.

— И все-таки Король в чем-то тайно счастлив, — заметил Шмендрик. — Вы никогда не видели следов счастья, да-да, в самом деле, следов счастья в глазах Хаггарда? Я видел. Подумайте немного, Принц Лир.

Принц молчал, и они продолжали ввинчиваться в зловещую тьму. Они не всегда понимали, спускаются ли они или поднимаются, повороты они угадывали, когда среди двух оскалившихся камнями стен по бокам перед ними вырастала третья. Ни шорох, ни зловещее сияние — ничто не указывало на близость Красного Быка, но Шмендрик прикоснулся к своему влажному лицу, и его пальцы запахли Быком.

Принц Лир сказал:

— Иногда на башне в его лице появляется что-то. Не свет, нет, скорее ясность. Помнится, когда я был мал, он никогда не глядел на меня так. И этот сон. — Он шел теперь очень осторожно, волоча ноги. — Я все время видел сон, один и тот же: я стою в полночь у окна, а там, снаружи, Красный Бык... — Голос Принца прервался.

— ...загоняет единорога в море, — докончил за него Шмендрик. — Это был не сон. Все они теперь, кроме одного, приходят и уходят с приливом, радуя взор Хаггарда. — Волшебник глубоко вздохнул: — Этот последний — Леди Амальтея.

— Да, — отозвался Принц Лир. — Да, я знаю.

Шмендрик уставился на него:

— Что вы хотите сказать? — сердито спросил он. — Ну как могли вы догадаться, что Леди Амальтея — единорог? Она не могла сказать вам, ведь она не помнит этого сама. С тех пор как вы добились ее расположения, она мечтает только о том, как стать смертной женщиной. — Он понимал, что правда оказалась бы тут ложью, но тогда это было ему безразлично. — Как вы узнали это? — переспросил он.

Принц Лир остановился и повернулся к волшебнику. Во тьме Шмендрик видел лишь молочное сияние там, где были глаза Принца.

— Я не знал до сих пор, кто она, — ответил он. — Но, увидев ее впервые, понял, что в ней скрыто больше, чем я могу видеть. Единорог, русалка, ламия, волшебница, горго-

на — как бы ты ее ни назвал, любое имя не удивит меня и не испугает. Я люблю ее, кем бы она ни была.

— Это весьма прекрасное чувство, — согласился Шмендрик. — Но когда я верну ей истинный вид, чтобы она могла сразиться с Красным Быком и освободить свой народ...

— Я люблю ее, кем бы она ни была, — твердо повторил Принц Лир. — И ты не властен над тем, что существует.

Прежде чем волшебник смог ответить, Леди Амальтея стала между ним и Принцем, хотя оба они не видели и не слышали, как она вернулась к ним. В темноте она светилась и дрожала, как бегущая вода. Она сказала:

— Дальше я не пойду. — Она обращалась к Принцу, но ответил Шмендрик:

— Выхода нет. Мы должны идти вперед. — Молли Отрава подошла поближе: беспокойный глаз, дрогнувшая скула. Волшебник повторил: — Мы можем идти только вперед.

Леди Амальтея смотрела мимо него.

— Он не должен превращать меня, — сказала она Принцу Лиру, — не разрешай ему испытывать на мне свою силу. Люди безразличны Быку — мы пройдем мимо и уйдем. Быку нужен единорог. Скажи ему, чтобы он не превращал меня в единорога.

Принц Лир хрустел пальцами. Шмендрик сказал:

— Это верно. Так мы вполне могли бы спастись от Красного Быка даже сейчас. Но тогда другой возможности не будет. Все единороги мира навсегда останутся его пленниками, все, кроме одного, который скоро умрет. Она состарится и умрет.

— Все умирает, — сказала она Принцу Лиру. — Это хорошо, что все смертно. Я хочу умереть, когда умрешь ты. Следи, чтобы он не заколдовал меня, я не хочу стать бессмертной. Я не единорог, во мне нет ничего волшебного. Я — человек, и я люблю тебя.

Он негромко ответил:

— Мне немногое известно о чарах — только как их разрушить. Но я знаю, что величайшие волшебники бессильны, если двое нужны друг другу, — а перед нами, в конце концов, всего лишь Шмендрик. Не бойтесь, не бойтесь ничего. Кем бы вы ни были, теперь вы моя. Мне по силам удержать вас.

Наконец она взглянула на волшебника, и даже во тьме он почувствовал ужас, гнездящийся в ее глазах.

— Нет, — сказала она. — Нет, мы недостаточно сильны. Он превратит меня в единорога, и что бы ни случилось потом, мы с тобой навсегда потеряем друг друга. И я перестану любить тебя, а ты будешь любить меня только потому, что не сможешь справиться с любовью. Я буду прекраснее всего на свете и буду жить вечно.

Шмендрик заговорил, от звука его голоса она дрогнула, как пламя свечи:

— Скорей всего все будет не так.

Она смотрела то на Принца, то на волшебника, как края раны стягивая свой голос.

— Если потом во мне останется хоть капля любви, — сказала она, — ты узнаешь об этом. Я дам Красному Быку загнать меня в море ко всем остальным. По крайней мере, тогда я буду возле тебя.

— В этом нет нужды, — с поддельной легкостью, заставляя себя смеяться, сказал Шмендрик. — Едва ли я смогу вновь превратить вас в единорога, даже если вы захотите этого. Сам Никос так и не смог превратить человека обратно в единорога, а вы сейчас самый настоящий человек. Вы можете любить, бояться, видеть вещи не такими, каковы они на самом деле, и терять чувство меры. И пусть все окончится здесь, пусть наши поиски завершатся. Станет ли мир без единорогов хуже и будет ли он лучше, если они вновь окажутся на свободе? Одной хорошей женщиной на свете больше — ну не стоит ли это любого единорога. Пусть все кончится. Выходите замуж за Принца и живите счастливо.

Проход, казалось, становился светлее, и Шмендрику представился крадущийся к ним Красный Бык, гротескно осторожный, как цапля ставящий ноги. Тонкое сияние щеки Молли Отравы погасло, когда она отвернулась.

— Да, — сказала Леди Амальтея. — Я так хочу.

Но в тот же момент Принц Лир сказал:

— Нет. — В этом внезапно вырвавшемся, словно чих или кашель, слове слышался удивленный визг глупого юнца, ошеломленного драгоценным и ужасным даром. — Нет, — повторил он, на этот раз другим голосом, голосом короля —

не Хаггарда, нет, короля, который горевал не о том, чего не может иметь, а о том, чего не в силах дать.

— Миледи, — сказал он. — Я герой. Это всего лишь профессия, как у портного или у пивовара; и в ней тоже есть свои маленькие тайны, фокусы и секреты. Нужно уметь распознать ведьму, понять, ядовита ли вода в ручье; у всех драконов есть некоторые слабые места... незнакомцы в плащах с капюшонами предлагают вполне определенные загадки. Свинопаса нельзя обвенчать с принцессой, едва он отправится на поиски приключений; мальчик не может постучаться ведьме в дверь, если она уехала отдыхать. Злого дядюшку нельзя вывести на чистую воду, пока он не назлодействует вволю. Словом, все должно происходить вовремя. Поиски нельзя просто прекратить; пророчества не могут гнить на корню; единороги могут оставаться в плену долго, но не вечно. История не может прийти к счастливой развязке в самой середине.

Леди Амальтея не ответила ему. Шмендрик спросил:

— Ну почему же? Разве кто-нибудь против?

— Герои, — печально ответил Принц Лир, — герои знают порядок, знают, когда должен наступить счастливый конец, знают, что лучше, а что хуже. А плотники умеют различать древесину и знают, как обтесать доску. — Протянув руки, он сделал шаг к Леди Амальтее. Она не повернулась к нему и не отодвинулась, только еще выше подняла голову, и Принц отвел глаза.

— Вы научили меня этому, — сказал он. — Я никогда не мог взглянуть на вас, не почувствовав или всей сладости и согласия мира, или всей глубины его греховности. Я стал героем, чтобы служить вам и всему, что похоже на вас. И еще — чтобы заговорить с вами.

Но Леди Амальтея не произнесла ни слова.

По пещере разливалось бледное песочное сияние. Теперь они отчетливо видели друг друга — бледные и странные от страха фигуры. Даже красота Леди Амальтеи поблекла в этом нудном холодном свете. Она казалась самой смертной изо всех четверых.

— Бык близок, — сказал Принц Лир. Он повернулся и широкими смелыми шагами, шагами героя направился вниз по коридору. Леди Амальтея шла за ним легкой и гордой по-

ходкой, которой принцессы лишь пытаются подражать. Молли Отрава жалась к волшебнику, прикасаясь к его руке, как раньше, когда ей было одиноко, к единорогу. С высоты своего роста он удовлетворенно улыбнулся ей.

Молли сказала:

— Пусть она останется такой, как есть. Ну пусть.

— Скажи это Лиру, — приветливо ответил он. — Разве это я сказал, что порядок превыше всего? Разве я сказал, что она должна выйти на бой с Красным Быком, потому что так и правильнее, и достойнее? Спасение героев и счастливый конец — это не мое дело. Это дело Лира.

— Но это же ты заставил его поступить именно так, — ответила она. — Ведь ты знаешь, что он хочет только одного: чтобы она бросила все и осталась с ним. И он не смог бы преодолеть себя, но ты напомнил ему, что он герой, и ему пришлось поступить, как следует герою. Он любит ее, и ты его одурачил.

— Нет, что ты, — возразил Шмендрик. — Тихо, не то он услышит.

У Молли от близости Быка кружилась голова и таял разум; запах Быка и бледный свет слились в вязкое море, и она колыхалась в нем, вечная и лишенная надежды, как единороги. Дорога спускалась вниз, к источнику сияния, далеко впереди, как две свечи, догорали жизни Принца Лира и Леди Амальтеи.

Молли Отрава фыркнула:

— Я понимаю, почему ты сделал это. Ты не станешь смертным, если не вернешь ей прежний облик. Не так ли? И тебе все равно, что случится с нею, со всеми — ведь ты-то наконец станешь истинным магом. Не так ли? Ну, ты никогда не станешь настоящим волшебником, даже если превратишь Быка в жаркóе — ведь тебе и это трудно. Ты не думаешь ни о чем, кроме магии, ну каким же ты можешь быть волшебником? Шмендрик, мне что-то нехорошо. Я хочу сесть.

Должно быть, Шмендрик какое-то время нес ее, она не чувствовала ни земли, ни ног, и взгляд его зеленых глаз звоном отдавался у нее в голове.

— Это правда. Кроме магии, мне ничего не нужно. Если бы это помогло мне, я бы сам загонял единорогов для Хаг-

гарда. Это верно. У меня нет ни симпатий, ни привязанностей, — голос его звучал твердо и устало.

— В самом деле? — сонно покачиваясь в поглотившем ее ужасе, сквозь наплывающее сияние спросила она. — Это ужасно. — Она была потрясена. — Неужели ты действительно такой?

— Нет, — ответил он тогда или чуть позже. — Ну разве могу я быть таким, пережив все это? — Потом добавил: — Молли, теперь тебе придется идти. Он рядом. Он здесь.

Сперва Молли увидела рога. Их свет заставил ее прикрыть лицо руками, но бледные острия рогов пронзили и ладони, и ресницы, и мозг. Перед рогами стояли Принц Лир и Леди Амальтея, и пламя плясало по стенам пещеры, взвиваясь кверху, в бесконечную тьму. Принц Лир обнажил меч, тут же вспыхнувший в его руке. Меч переломился, словно сосулька. Красный Бык топнул ногой, и все упали. Шмендрик думал, что Бык будет ждать в логове или на просторе, где можно биться. Но он вышел им навстречу и стоял теперь впереди, не только закрывая проход между пылающих стен, но и, казалось, продолжаясь в самих скалах и за ними. И все же это был не призрак, а сам Красный Бык, сопящий, дымящийся, потрясающий слепой головой. Тяжкое дыхание терялось в ужасающем скрежете зубов.

Вот оно. Вот оно. Пришло время, или я сотворю великое добро, или все погибнет. Настал конец. Волшебник, не глядя на Быка, поднялся на ноги, прислушиваясь лишь к глубине собственного «Я», словно к морской раковине. Но сила молчала в нем; он слышал лишь тонкое завывание пустоты, какое, наверное, каждодневно, засыпая и просыпаясь, слышал старый Король Хаггард. *Она не придет ко мне. Никос ошибался. Я таков, каким кажусь.*

Леди Амальтея отступила от Быка на шаг, не больше, и спокойно смотрела, как тот бил передними ногами и испускал из огромных ноздрей громовые вздохи. Он казался озадаченным и несколько глуповатым. Он не ревел. В этом леденящем сиянии Леди Амальтея откинула назад голову, чтобы видеть всего Быка. Не оборачиваясь, она потянулась к руке Принца Лира.

Хорошо, хорошо. Я не могу сделать ничего, и рад этому. Бык пропустит ее, и она уйдет с Лиром, этот исход столь же

справедлив, как и любой другой. Жаль только единорогов. Принц еще не заметил протянутой руки, но он вот-вот обернется, увидит и в первый раз прикоснется к ней. Он никогда не узнает, что она отдала ему, впрочем, сама она тоже. Красный Бык нагнул голову и без предупреждения, молча рванулся вперед.

Если бы он захотел, этот молчаливый натиск оказался бы последним для всех четверых. Но он позволил им рассыпаться поодиночке и вжаться в стены; он промчался, не задев их, хотя мог бы легко сорвать их, как стебли вьюнка со стены. Легкий, словно огонь, он повернулся там, где для этого не было места, вновь грозя им рогами, опустив морду к самой земле. Шея его вздымалась чудовищной волной. И тогда он взревел.

Они побежали, Бык следовал за ними, не торопясь настичь, но так, чтобы каждый оставался один в дикой тьме. Земля лопалась у ног беглецов, они кричали, но не слышали собственного крика. От рева Красного Быка со стен и потолка срывались потоки камней и земли; словно полураздавленные насекомые, они карабкались вперед, и он гнал их все дальше. За диким мычанием терялся другой звук: слабое повизгивание сотрясавшегося до самых основ замка, бьющегося в буре бычьего гнева, словно флаг на ветру. В проходе еле слышно запахло морем.

Он знает, он знает! Я обманул его однажды, второй раз это не удастся. Женщина она или единорог, он, как приказано, загонит ее теперь в море, и никакая магия не поможет. Хаггард победил.

Так думал волшебник на бегу, впервые за всю его долгую странную жизнь магия оставила его. Путь внезапно расширился, и они попали в какой-то зал, должно быть, служивший логовом Быка. Застарелая вонь была здесь настолько густой, что становилась даже отвратительно-приятной; пещера в этом месте раздавалась кровавой глоткой, как будто бы исходящий от быка жуткий свет застрял в трещинах и расселинах ее стен. За выходом из логова, почти рядом, тускло блестела вода.

Леди Амальтея упала столь же беспомощно, как переламывается стебель цветка. Шмендрик отпрыгнул в сторону, пытаясь прихватить с собой Молли Отраву. Сжавшись за

расколотым камнем, они пытались скрыться от надвигающегося Быка. Но он остановился, не завершив шага. Внезапная тишина, прерываемая лишь дыханием Быка и отдаленным гулом моря, была бы непонятна, если бы не ее причина.

Она лежала на боку, подогнув ногу, слегка шевелясь, но не издавая ни звука. Безоружный Принц Лир простер руки, словно в них были меч и щит, преграждая путь Быку. И в этой бесконечной ночи Принц еще раз сказал:

— Нет.

Это было очень глупо, еще мгновение — и Бык растоптал бы его, даже не заметив в своей слепоте, что тот преграждает ему путь. Любовь, изумление и великая печаль пронзили тогда Шмендрика Мага и слились в нем, переполняя его чем-то, что не было ни тем, ни другим, ни третьим. Он не поверил, но она все-таки пришла к нему, пришла так, как приходила дважды, оставляя его всякий раз еще более опустошенным. На этот раз ее было больше, чем он мог удержать: она просачивалась сквозь кожу и истекала через пальцы на руках и ногах, сверкала в очах и вздымала волосы. Ее было слишком много, больше, чем можно было удержать, больше, чем можно использовать, но все-таки он понял, что плачет от жадности, от невыносимого желания иметь больше. Он думал, говорил или пел: «Я переполнен, я и не знал, что был так пуст».

Леди Амальтея была там, где упала, хотя теперь она пыталась подняться, и Принц Лир все еще охранял ее, простирая безоружные руки к нависающему над ним колоссу. Принц прикусил кончик языка, что делало его похожим на разбирающего игрушку мальчишку. Много лет спустя, когда имя Шмендрика затмило Никоса и существа пострашнее ифритов сдавались, едва услышав его, он никогда не мог ничего сделать, не представив себе лица Принца Лира с высунутым кончиком языка и зажмуренными от яркого света глазами.

Красный Бык топнул, Принц Лир упал лицом вперед и, весь в крови, поднялся. Бык загрохотал вновь, его слепая, непомерно раздутая голова стала медленно опускаться вниз, как чаша погибели на весах судьбы. Еще немного, и храброе сердце Принца Лира повиснет кровавой каплей между бледными рогами, а сам он будет сломан и растоптан, но пока он

стоял как вкопанный, лишь немного кривя рот. Рев Быка становился все громче, рога его опускались все ниже.

Тогда Шмендрик выступил вперед и произнес несколько слов. Это были короткие слова, и не мелодичные, и не резкие. Сам Шмендрик не слышал их за ужасающим ревом. Но он знал их смысл, знал, как произнести их, знал, что, если захочет, сможет вновь сделать это так или чуть иначе. Он произносил их тогда, переполненный добротой и счастьем, чувствуя, как, словно броня или оболочка, спадает с него бессмертие.

При первых звуках заклинания Леди Амальтея тонко и горько вскрикнула. Она вновь рванулась к Принцу Лиру, но он стоял к ней спиной, защищал от Красного Быка и не слышал. Несчастная Молли схватила Шмендрика за руку, но тот продолжал говорить. И даже когда на том месте, где только что была она, уже расцветало снежно-белое белопенное чудо, столь же безмерно прекрасное, сколь безгранично могуч был Бык, даже тогда Леди Амальтея еще пыталась удержать себя. Ее уже не было, но лицо ее дуновением всколыхнуло холодный дымящийся свет.

Было бы лучше, если бы Принц Лир не оборачивался, пока не закончилось превращение, но он обернулся. Он увидел единорога, и ее свет отразился в нем, словно в зеркале, но звал он не ее — исчезающую Леди Амальтею. Выкрикнув имя, он, словно петух, рассеял то, что еще удерживало ее, и она исчезла.

Все произошло сразу и быстро, и медленно, как во сне, где и то и другое нераздельно. Она стояла очень смирно, глядя на них потерянными глазами. Она была еще более прекрасна, чем в памяти Шмендрика, — ведь никто не может надолго запомнить единорога, и все же ни он, ни она не были прежними. С ласковыми и глупыми словами устремилась к ней Молли Отрава, но Она не захотела узнать ее. Чудесный рог оставался тусклым, как дождь.

С ревом, от которого со звоном полопались стены логова, Красный Бык рванулся вперед. Одним прыжком Она исчезла во тьме. Принц Лир слегка повернулся, чтобы отступить, но, прежде чем он успел это сделать, преследующий единорога Бык отбросил в сторону его оцепеневшее тело.

Молли кинулась было к нему, но Шмендрик схватил ее и

потащил за Быком и единорогом. Их не было видно, но проход еще гремел от их отчаянного бега. Потрясенная и возбужденная, ковыляла Молли рядом с новым неистовым Шмендриком, который не давал ей упасть и не замедлял шага. Над ее головой стонал и потрескивал замок, качавшийся в скале, как выпадающий зуб. Вновь и вновь в ее голове звучало заклятье ведьмы:

Будет замок сокрушен
Тем, кто в Хагсгейте рожден.

Внезапно ее ноги охватил песок, легкие наполнил запах моря — холодный, как запах логова, но такой добрый и чистый, что оба они остановились и громко рассмеялись. На вершине утеса над ними на серо-зеленом утреннем небе кренился замок Короля Хаггарда. Молли была уверена, что сам Король следит за всем с одной из дрожавших башен, но не видела его. В тяжелом синем небе над водой еще трепетали звезды. Был отлив, и на обнаженном берегу серо и влажно поблескивали лужицы медуз, но вдали у края отмели море натягивалось, словно тетива, и Молли поняла, что отлив окончился.

Единорог и Красный Бык стояли лицом к лицу на луке, дугой уходившей в водную гладь. Она стояла спиной к морю. Бык наступал медленно, не угрожая, не притрагиваясь, почти ласково загоняя ее в воду. Она не сопротивлялась. Ее рог был темен, голова опущена вниз, и Бык повелевал ею, как на равнине у Хагсгейта в ту ночь, когда Она стала Леди Амальтеей. Если бы не море, это мог быть все тот же безнадежный рассвет.

И все же Она еще не совсем сдалась. Она пятилась, пока ее задняя нога не ступила в воду. Тогда Она проскочила мимо мрачно горящего Красного Быка и побежала вдоль кромки воды так быстро и легко, что ветер, вздымаемый ею, заметал ее следы на песке. Бык преследовал ее.

— Сделай что-нибудь, — повторил в ушах Шмендрика хриплый голос то, что когда-то сказала Молли. Сзади него с окровавленным лицом и безумными глазами стоял Принц Лир. Он был похож на Короля Хаггарда.

— Сделай что-нибудь, — сказал он. — У тебя есть сила. Ты превратил ее в единорога — спаси ее теперь. Я убью тебя,

если ты откажешься. — И он угрожающе протянул руки к волшебнику.

— Я не могу, — спокойно отвечал Шмендрик. — Вся магия в мире теперь не в силах ей помочь. Если Она не станет с ним биться, Она должна быть в море вместе с остальными. И магия, и смерть здесь бессильны.

Молли слышала, как на песок набегают небольшие волны — вода начала прибывать. Она пригляделась к воде: единорогов нигде не было видно. «Не слишком ли поздно? Что, если последний отлив унес их далеко в открытое море, куда, опасаясь кракенов и морских змей, не заплывают корабли, где царят плавучие джунгли водорослей, опасные даже для этих чудовищ? Она никогда не найдет их. Захочет ли Она остаться со мной?»

— Для чего же тогда магия?! — свирепо выкрикнул Принц Лир. — Для чего же тогда магия, если она не в силах спасти единорога? — Чтобы не упасть, он крепко ухватился за плечо волшебника.

Шмендрик не повернул головы. С печальной усмешкой в голосе он сказал:

— Для этого на свете существуют герои.

Громада Быка скрывала единорога, но внезапно Она повернула обратно и пустилась по берегу к ним. Слепой и терпеливый, как само море, преследовал ее Красный Бык. Копыта его оставляли в мокром песке громадные ямы. Они неслись вместе, не удаляясь и не сближаясь, словно огонь и дым, волна и пена. Принц Лир тихо и понимающе хмыкнул.

— Да, конечно, — согласился он. — Именно для этого и созданы герои. Когда даже волшебники ничего не могут сделать, тогда должны гибнуть герои. — Улыбаясь, он отпустил плечо Шмендрика.

— Ваше рассуждение несправедливо в своей основе... — негодующе начал Шмендрик, но Принц так и не услышал, в чем он был не прав. Она промелькнула мимо них, словно молния, из ноздрей били сине-белые струи, голова ее была слишком высоко поднята, — и Принц Лир преградил дорогу Красному Быку. На мгновение он пропал, словно перышко в огне. Бык пронесся мимо, сбив Принца на землю.

Он упал, не издав ни звука, Шмендрик и Молли застыли столь же безмолвно, но Она обернулась. Красный Бык остановился вслед за ней и вновь попытался оттеснить ее в море.

6 – 7877

На этот раз на приплясывающий тягучий натиск Она обращала не больше внимания, чем на токование тетерева. Не двигаясь, взирала Она на изувеченное тело Принца Лира.

Прибой набирал силу, и полоска пляжа уже чуть сузилась. Набегавшие волны вскидывали в предрассветном свете белые гребни. Молли не видела в них ни одного единорога. Небо над замком было алым, отчетливо и ясно, словно безлистный ствол, чернел на самой высокой башне силуэт Короля Хаггарда. Молли видела прямой шрам рта и потемневшие от напряжения ногти на охвативших парапет пальцах. Но замок теперь не может пасть. Лишь Лир мог повергнуть его.

И тут Она крикнула. Это был не тот вызывающий трубный звук, с которым Она встретила в первый раз Красного Бык; это был уродливый, квакающий стон, полный печали, потери и ненависти, стон, который не может вырваться из бессмертных уст. Замок пошатнулся, закрыв лицо рукой, Король Хаггард отпрянул от парапета. Красный Бык колебался, переминаясь с ноги на ногу и клоня голову.

Она крикнула снова и саблей откинулась назад. Это было так прекрасно, что Молли закрыла глаза. Открыв их снова, она увидела, как Бык увернулся от ее удара. Рог единорога вновь светился, и свет его трепетал, словно крылья бабочки.

Она ударила снова, и Бык опять отступил. Он был тяжел, но движения его были легки, как у рыбы в воде. Его рога напоминали молнии, и малейший поворот его головы заставлял ее уклоняться, но он отступал, отступал вниз к воде, как только что отступала Она. Она бросилась на него, пытаясь убить, но не смогла. С тем же успехом Она могла бы пытаться убить тень или память.

Так без битвы отступал Красный Бык, пока Она не загнала его в воду. Там он встал, прибой бился о его копыта, вымывая из-под них песок. Он не наступал и не спасался бегством, и теперь Она знала, что не может убить его. И все же, пока в горле Быка что-то удивленно клокотало, Она готовилась к новому броску.

В глазах Молли Отравы в этот момент мир застыл неподвижной картиной. Словно бы с башни, более высокой, чем башни замка, она глядела на бледное взморье, где две куклы, мужчина и женщина, как прикованные, не отрывали глаз от глиняного бычка и крошечного единорога из слоновой кости. Брошенные игрушки... А рядом еще одна, полузатоптанная в

песок, вблизи высится песочный замок со щепкой-королем, воткнутой в одну из кривых башен. Сейчас все поглотит прилив, и не останется ничего, кроме вяло кружащих над пляжем птиц.

Тогда Шмендрик рывком прижал ее к себе:

— Смотри, Молли!

Издалека, от горизонта набегали тяжелые волны, вздымая белопенные гребни над зеленым стеклом, вдребезги разбивавшемся о песчаные отмели и покрытые слизью скалы, волны, терзавшие берег со свирепостью огня. Стаями с берега взлетали птицы, и полные внезапной ярости крики их тонули в реве волн.

А в снежной пене из белизны разодранной в клочья воды, из струящегося зеленого с белыми прожилками мрамора — их гривы, хвосты, изящные бородки самцов в лучах солнца... темные и глубокие, как само море, драгоценные камни глаз... и сияние... перламутровое сияние рогов. Рога приближались, словно радужные мачты серебряных кораблей.

Но выбраться на землю, пока там был Бык, они не осмеливались. Они бились на мелководье, будто перепуганные рыбы, когда сеть поднимает их из воды, — еще не оставившие море, но уже теряющие с ним связь. Каждая волна приносила все новые сотни единорогов и бросала их к тем, кто уже боролся с потоками воды, выносящими их на берег. Они толкались, вставали на дыбы, спотыкались, откидывали назад длинные молочно-белые шеи.

В последний раз Она опустила голову и бросилась на Красного Быка. И существо из плоти и крови, и бесплотный дух от этого удара лопнули бы, как перезрелый арбуз. Даже не заметив удара, он повернулся и медленно вошел в море. Давая ему дорогу, единороги заметались в воде, разбивая прибой в мелкие брызги, вставшие у берега стеной тумана, который их рога превращали в радугу; но и песок, и скалы, и все королевство Хаггарда, и вся земля вздохнули, когда Бык ступил в море. Чтобы пуститься вплавь, ему пришлось зайти далеко. Самые большие волны доставали лишь до его колен, прилив застенчиво разбегался в стороны. Наконец Бык погрузился в море, подняв чудовищную черно-зеленую волну, твердую и гладкую, как ветер. Она беззвучно вздымалась, заслоняя горизонт, пока на мгновение не скрыла из вида сгорбленные плечи и покатый круп Красного Быка. Шмендрик

поднял мертвого Принца и побежал вместе с Молли, пока их не остановила крутая стена утеса. Волна разлетелась ливнем разбивающихся цепей.

Тогда единороги вышли из моря.

Молли не различала их — они были несущимися к ней криком и светом, слепившими глаза. Она была достаточно умна, чтобы понимать: ни один смертный не должен видеть всех единорогов на свете, и она попыталась найти только своего единорога и глядеть только на нее. Но их было слишком много, и они были слишком прекрасны. Протянув руки, слепо, как Бык, она двинулась к ним.

Единороги, конечно, растоптали бы ее, как Красный Бык Принца Лира. Они обезумели от свободы. Но Шмендрик заговорил, и они разделились, обтекая Молли, Лира и его самого справа и слева; некоторые даже перепрыгивали через них — так море обтекает скалу и вновь смыкает за ней свои воды. Вокруг Молли, сверкая, тек поток света, столь же невероятного, как горящий снег, тысячи раздвоенных копыт пели, словно цимбалы. Она стояла очень тихо, не плача и не смеясь, такое счастье было непомерным для нее.

— Посмотри наверх, — сказал Шмендрик. — Замок рушится.

Она обернулась и увидела, что в потоке вспрыгивающих на утес и обтекающих замок единорогов тают стены и башни, словно песочная крепость в волнах. Замок рушился громадными холодными глыбами, таявшими и исчезавшими в воздухе. Он исчез без звука, не оставив следа ни на земле, ни в памяти двоих людей, следивших за его падением. Через минуту они не могли вспомнить, ни где он стоял, ни как выглядел.

Вполне реальный Король Хаггард падал, ножом прорезая обломки замка. Молли услышала его отрывистый смех, словно он ожидал и это. Мало что удивляло когда-нибудь Короля Хаггарда.

Глава 14

Когда море поглотило звездчатые, словно бриллианты, отпечатки следов, ничто уже не говорило ни о том, что здесь были единороги, ни о том, что здесь был замок Короля Хаггарда. Только у Молли в глазах все еще тек, сверкал поток.

«Хорошо, что Она ушла не попрощавшись, — подумала Молли. — Было бы глупо хотеть, чтобы все окончилось по-другому, и я побуду глупой с минутку, но все же такой конец несомненно лучше». Словно солнечный луч коснулся вдруг ее шеи своим теплом, скользнул по волосам, она обернулась и обхватила руками шею единорога.

— О, ты осталась! — шептала она. — Ты осталась! — В этот момент Молли потеряла голову настолько, что уже собиралась спросить: «А больше ты не уйдешь?» Но Она мягко выскользнула из ее объятий туда, где лежал Принц Лир, чьи синие глаза уже начинали бледнеть. Она стояла над ним так, как стоял он, охраняя Леди Амальтею.

— Она может оживить его, — тихо сказал Шмендрик. — Против единорога бессильна и сама смерть. — Молли внимательно, как не делала уже давно, взглянула на него и увидела, что он наконец обрел всю свою силу и свое начало. Она не могла сказать, почему поняла это — от него не исходило неистового сияния; никакие другие признаки, по крайней мере в тот момент, не отличали его от прочих смертных. Это был обычный Шмендрик Маг, и все-таки он был впервые.

Она долго стояла рядом с Принцем Лиром, прежде чем прикоснулась к нему рогом. И пусть все кончилось и кончилось счастливо, во всем ее облике была усталость, а в красоте — печаль, которой никогда раньше не видела Молли. Ей внезапно показалось, что единорог тоскует не о Принце Лире, но об исчезнувшей девушке, которую нельзя вернуть назад, о Леди Амальтее, которая могла бы счастливо жить с Принцем. Она склонила голову, и рог ее застенчиво, как первый поцелуй, коснулся подбородка Лира.

Он сел, моргая и улыбаясь чему-то прошедшему.

— Отец, — позвал он торопливо, с удивлением. — Отец, я видел сон. — Но вот он заметил единорога, и кровь вновь прилила к его лицу. Он сказал: — Я был мертв.

Она прикоснулась к нему еще раз, на сей раз к сердцу, и рог задержался там на некоторое время. Оба они дрожали, вместо слов Принц Лир протянул к ней руки. Она сказала:

— Я помню тебя. Я помню.

— Когда я был мертв... — начал Принц Лир, и Она исчезла. Когда Она взлетела на утес, не шелохнулся ни один камень, не дрогнул ни один куст. Она неслась, словно тень

птицы... Когда Она обернулась, подняв переднюю ногу с раздвоенным копытцем, солнечный свет играл на ее боках, голове и шее, нелепо хрупкой для тяжелого рога, и все трое внизу с болью воззвали к ней. Она повернулась и исчезла: но Молли Отрава видела, что зов каждого попал в нее, словно стрела, и пожалела о том, что позвала, еще более, чем хотела, чтобы та вернулась.

Принц Лир сказал:

— Как только я увидел ее, я понял, что был мертв. Так было и в тот день, когда с башни отцовского замка я увидел ее первый раз. — Он взглянул вверх, и у него перехватило дыхание. Таким был единственный вздох скорби о Короле Хаггарде.

— Это сделал я? — прошептал он. — В проклятии говорилось, что это я должен обрушить замок, но я никогда не сделал бы этого. Он не был добр со мною, но лишь потому, что я не был тем, что нужно было ему. Его падение — дело моих рук?

Шмендрик ответил:

— Если бы вы не попытались спасти единорога, Она никогда бы не победила Красного Быка и не загнала бы его в море. Бык вызвал потоп, освободивший единорогов, и они разрушили замок. Хотели бы вы, чтобы все было иначе?

Принц Лир покачал головой, но ничего не сказал. Молли спросила:

— Но почему Бык бежал от нее? Почему он не бился?

Когда они посмотрели в море, Быка не было видно, хотя он был слишком громаден, чтобы успеть пропасть из вида. Но достиг ли он другого берега или вода наконец утянула вниз даже его громадную тушу, долгое время не знал никто из них; но в этом королевстве его больше не видели.

— Красный Бык никогда не принимает боя, — ответил Шмендрик, — он покоряет, но не бьется.

Он обернулся к Принцу Лиру и положил руку ему на плечо.

— Теперь вы — король, — сказал он. Он прикоснулся и к Молли, произнес, или скорее просвистел, какое-то слово, и, будто влекомые ветром пушинки одуванчика, все трое перенеслись на вершину утеса. Молли не боялась. Волшебство подхватило ее так мягко, как голос подхватывает песню. Молли

чувствовала, что сила магии может стать внезапно свирепой и опасной, но ей было жалко, когда та оставила ее на утесе.

От замка не осталось ни камня, ни следа; даже земля на его месте не стала бледнее. Четверо молодых людей в ржавых нищенских доспехах изумленно бродили по исчезнувшим коридорам, кружили в напрасных поисках того, что было большим залом. Увидев Лира, Молли и Шмендрика, они, смеясь, бросились к ним. Перед Лиром они пали на колени и дружно выкрикнули:

— Ваше величество! Да здравствует Король Лир!

Лир покраснел и попытался поднять их на ноги.

— Ну что вы! — бормотал он. — Ну что вы? Кто вы такие? — Он удивленно переводил взгляд с одного лица на другое. — Я знаю вас... Я в самом деле знаю вас... Но как это могло случиться?

— Да, ваше величество, — радостно сказал первый из молодых людей. — Мы действительно воины Короля Хаггарда, прослужившие ему столько холодных и томительных лет. Мы убежали из замка, когда вы пропали в часах, — ведь Красный Бык ревел, и башни дрожали, и нам было страшно. Мы знали, что свершается наконец старое проклятие.

— Громадная волна поглотила замок, — сказал второй стражник, — в точности, как предсказала ведьма. Я видел, что он медленно, как во сне, скользит с утеса, и почему он не увлек нас с собой, я не знаю.

— Обтекая нас, волна разделилась, — сказал третий. — Я никогда не видел, чтобы с волной случалось такое. Это была странная вода, прозрачная, искрящаяся радужным светом, и на мгновение мне показалось... — Он потер глаза, поежился и беспомощно улыбнулся: — Я не знаю. Это было как сон.

— Но что случилось со всеми вами? — допытывался Лир. — Вы были уже стариками, когда я родился, а теперь вы моложе меня. Что за чудо произошло с вами?

Трое уже говоривших, посмеиваясь, с удивлением поглядывали по сторонам, а молчавший до сих пор четвертый произнес:

— Чудо в том, что мы когда-то говорили об этом. Однажды мы сказали Леди Амальтее, что помолодеем, если она этого захочет, и, должно быть, мы сказали правду. Где она?

Мы должны помочь ей, даже если придется встретиться лицом к лицу с Красным Быком.

— Она ушла, — сказал Принц Лир. — Найдите моего коня и оседлайте его. — Его голос был резок, и воины поспешили повиноваться новому господину.

Но стоявший рядом с ним Шмендрик спокойно сказал:

— Ваше величество, этого не может быть. Вы не должны искать ее.

Король обернулся, в этот момент он был похож на Хаггарда.

— Волшебник, она моя! — Он остановился и продолжал уже более мягким, почти молящим тоном: — Она дважды спасала меня от смерти, и, если она не спасет меня в третий раз, я умру. — Он схватил Шмендрика за руки с такой силой, что мог бы раздавить даже кости, но волшебник не шевельнулся. И Лир сказал: — Я не Хаггард. Я не хочу неволить ее, я хочу провести всю жизнь, следуя за нею, отставая на мили, лиги, может быть, годы... возможно, ни разу не встретив ее, но я буду доволен. Это мое право. Сказка про любого героя должна иметь счастливую развязку, когда до этого доходит дело.

Но Шмендрик ответил:

— Нет, это не конец, ни для вас, ни для нее. Теперь вы — Король опустошенной земли, где раньше правил не Король, а страх. Ваше истинное дело лишь началось, а как вы с ним справитесь, вы, быть может, узнаете лишь в конце жизни, и то если потерпите неудачу. Что же касается ее — в ее истории нет конца, ни счастливого, ни печального. Она не может принадлежать никому, кто смертен настолько, чтобы желать ее. — И, совсем странно, Шмендрик обнял и прижал к себе молодого короля. — И все же будьте довольны, ваше величество, — добавил он низким голосом. — Никому из смертных ее красота не принадлежала больше, чем вам, и никто другой не будет благословен и удостоен ее воспоминанием. Вы любили ее и служили ей — будьте довольны и будьте Королем.

— Но это вовсе не то, чего я хочу! — воскликнул Лир.

Волшебник не ответил ни слова, лишь посмотрел на него. Зеленые глаза глядели в синие; лицо, ставшее строгим и царственным, было обращено к лицу, красивому и смелому, но не настолько.

Король заморгал, словно смотрел на солнце, потом отвел взгляд и пробормотал:

— Пусть будет так. Я останусь и в одиночестве буду править несчастным народом в ненавистной мне стране. Уж от такого правления я получу не больше радости, чем бедняга Хаггард.

Маленький котик с разодранным ушком в шубке цвета осенних листьев вдруг появился словно из воздуха и зевнул в лицо Молли. Она подхватила и прижала его к лицу, он запустил лапы ей в волосы. Шмендрик улыбнулся и сказал Королю:

— Теперь мы должны вас оставить. Не проводите ли вы нас по-дружески до границы вашего королевства? Многое на этом пути стоит вашего внимания, и, уверяю вас, по дороге мы услышим кое-что о единорогах.

Тогда Король Лир вновь приказал подать коня, и воины отыскали и оседлали его, для Молли и Шмендрика коней не было. Но когда воины вели коня к Королю, увидев изумление в его глазах, они обернулись и обнаружили позади себя еще двух коней: вороного и гнедого, взнузданных и оседланных. Шмендрик взял себе вороного, а гнедого отдал Молли.

Сперва она испугалась.

— Они твои? — спросила она. — Ты их сделал? Теперь ты можешь и творить? — Ее изумление отзывалось и в шепоте Короля.

— Я нашел их, — отвечал волшебник. — Но под словом «нашел» я понимаю не то, что ты. Не спрашивай меня больше. — Он подсадил ее в седло и взлетел на коня.

Итак, они ехали, а воины шли пешком следом за ними. Никто не оборачивался — ведь позади ничего не было. Через какое-то время Король Лир сказал:

— А странно вырасти, стать мужчиной в замке, которого теперь нет. Вдруг сделаться Королем. Неужели все это на самом деле? Да существую ли я сам? — Шмендрик не отвечал.

Король Лир хотел ехать быстро, но волшебник сдерживал лошадей и выбирал окольные дороги. Когда Король требовал прибавить шагу, Шмендрик напоминал ему о пеших воинах, хотя они чудесным образом не уставали все время пути. Но Молли скоро поняла, что волшебник делает это для того, чтобы Король подольше и повнимательнее посмотрел

на свое королевство. К собственному удивлению, она обнаружила, что на него стоило взглянуть.

Ведь медленно, очень медленно, в страну, которая раньше принадлежала Хаггарду, возвращалась весна. Не зная этих краев, об этом трудно было бы догадаться, но Молли видела, что иссушенная земля покрывается дымкой. Приземистые суковатые деревья, которые никогда еще не цвели, словно армия в разведку, выпускали бутоны, что-то начинало журчать в давно иссохших руслах ручьев, а мелкие зверьки уже звали друг друга. Словно ленты, переплетались запахи: жухлой травы и черной грязи, меда и каштанов, мяты, сена и гниющих яблоневых сучьев, и даже свет полуденного солнца так нежно пощипывал ноздри, что Молли узнала бы этот запах где угодно. Она ехала рядом со Шмендриком, смотрела на тихие шаги весны и думала, что к ней самой тоже, хоть и поздно, надолго пришла весна.

— Здесь прошли единороги, — шепнула она волшебнику. — В этом ли причина, или в падении Хаггарда, или в уходе Красного Быка? Что же, что произошло?

— Все, — отвечал он, — все сразу. Это не одна весна, а пятьдесят, и исчез не один кошмар и не два, а рассеялась тысяча небольших теней. Подождем и посмотрим. — А обратившись к Лиру, он добавил: — И это не первая весна в этой стране. Когда-то, давно, это была хорошая земля, и чтобы вновь стать такой же, ей нужно немного — настоящего Короля. Смотрите, как она расцветает перед вами.

Король Лир молчал... Глядя по пути то направо, то налево, он не мог не заметить, как меняется лицо земли. Цвела даже недоброй памяти долина Хагсгейта: водосбор, колокольчик, лаванда, люпин, наперстянка и тысячелистник. Избороздившие ее следы Красного Быка уже затягивали мальвы.

Но когда к концу дня они добрались до Хагсгейта, взору их предстала странная и дикая картина. Вспаханные поля были потоптаны и изрыты, в садах и виноградниках не осталось ни единого дерева. Такое разорение мог бы причинить Красный Бык, но Молли показалось, что все напасти, от которых заклятие пятьдесят лет остерегало Хагсгейт, сразу обрушилось на город, точно так же, как пятьдесят весен сразу грели остальную землю. Взрытая земля в лучах клонящегося к закату солнца казалась странно серой.

Король Лир спокойно спросил:

— Что это?

— Едем дальше, ваше величество, — отвечал волшебник, — едем дальше.

Солнце уже садилось, когда, перебравшись через опрокинутые городские ворота, они медленно пробирались по улицам, заваленным досками, пожитками, битым стеклом, обломками стен, оконных рам, дымовых труб, кресел, кухонной утвари, крыш, ванн, кроватей, каминов, туалетных столиков. Все дома в Хагсгейте были разрушены, все, что могло изломаться, было сломано. Город выглядел так, словно на него наступили.

Жители Хагсгейта сидели на своих порогах (там, где их можно было найти) и рассматривали руины.

У них всегда, даже во времена изобилия, был вид бедняков, и казалось, что гибель всего состояния едва ли не принесла им облегчение, и уж, во всяком случае, они не казались обедневшими. Они не замечали Лира, пока он не подъехал к ним и не сказал:

— Я — Король. Что у вас произошло?

— Это было землетрясение, — сонно прошептал один из них, но другой тут же опроверг первого:

— Это была буря, норд-ост. Она разметала город в клочья, а ветер грохотал, как копыта. — Третий же настаивал, что над Хагсгейтом пронеслась громадная волна, белая, как цветущий кизил, и тяжелая, как мрамор; волна, поглотившая все богатство хагсгейцев, но не тронувшая ни одного человека. Король Лир слушал их, мрачно улыбаясь.

— Слушайте, — сказал он, когда хагсгейцы замолчали. — Король Хаггард умер, и замок его исчез. Я Лир, сын Хагсгейта, которого подкинули, чтобы не свершилось проклятие ведьмы, чтобы вот этого не произошло. — Он обвел руками разгромленные дома. — Несчастные глупые люди, единороги вернулись, единороги, на которых охотился Красный Бык. Вы это видели, но не хотели замечать. Это они разрушили замок и город, но вас погубили собственная жадность и страх.

Горожане сокрушенно вздохнули, вперед вышла женщина средних лет и с неприкрытым негодованием сказала:

— Прошу вашего прощения, милорд, но все это несколь-

ко нечестно. Что мы могли сделать, чтобы спасти единорогов? Мы боялись Красного Быка. Что могли мы сделать?

— Могло хватить одного слова, — ответил Король Лир. — Теперь поздно говорить. — Он тронул было коня, но услышал слабый вяжущий голос:

— Лир... мой маленький Лир... дитя мое, мой Король! — Молли и Шмендрик узнали человека, ковылявшего с распростертыми руками к Лиру, он шаркал и прихрамывал, словно он был старше, чем на самом деле. Это был Дринн.

— Кто ты? — властно спросил король. — Что тебе надо от меня?

Дринн хватал поводья его коня, мусолил бородой его сапоги.

— Да, ты не знаешь меня, мой мальчик! Конечно, откуда же? Разве я заслужил, чтобы ты меня знал? Я твой отец, твой старый, бедный, слишком счастливый отец. Это я когда-то зимней ночью оставил тебя на рыночной площади, предав в руки назначенной тебе героической судьбы. Как мудро я поступил, как горько мне было потом, и как горд я сейчас! Мой мальчик, мой мальчик! — Выдавить из глаз настоящие слезы он не мог, но из носа у него текло.

Не произнеся ни слова, Король Лир тронул поводья, конь его, пятясь, стал выносить его из толпы. Старый Дринн картинно уронил протянутые руки.

— Так вот что такое — иметь детей, — взвизгнул он. — Неблагодарный сын, неужели ты покинешь в несчастье своего отца, когда одно слово твоего ручного волшебника могло бы все исправить? Если хочешь — презирай меня, но то, что ты стал Королем, дело и моих рук, и ты не можешь этого отрицать. У негодяя тоже есть права.

И все же Король проследовал бы дальше, но Шмендрик, тронув его за руку, наклонился к уху.

— Конечно, это так, — прошептал он. — Но для него, для них всех эта история должна была бы окончиться совсем подругому, и, кто знает, так ли печален такой исход? Вы должны стать их Королем и править ими столь справедливо, как того заслужил бы более храбрый и более верный народ. Ведь они часть вашей судьбы.

Тогда Лир поднял руку, и жители Хагсгейта, расталкивая друг друга, приготовились слушать. Он сказал:

— Я должен проводить моих друзей. Но я оставлю здесь своих воинов, они помогут вам отстроить город. Со временем я вернусь и тоже помогу вам. Я не начну строить себе замок, пока не увижу отстроенным Хагсгейт.

Жители Хагсгейта пытались упросить Шмендрика сделать все в мгновение ока с помощью магии. Но он ответил:

— Я не смог бы сделать этого, даже если бы мне приказали. Искусство магии имеет свои законы, непреложные, как времена года, как приливы и отливы. Магия однажды сделала вас богатыми, когда все кругом бедны. Теперь время вашего процветания закончилось, и вы должны начать все сначала. То, что было пустошью при Хаггарде, должно стать цветущим и плодоносным, но существование Хагсгейта будет столь же скудным, как и живущие здесь сердца. Вы можете вновь возделывать свои поля, засадить сады и виноградники, но они никогда не станут цвести по-прежнему, никогда... пока вы не научитесь радоваться им, какие они есть.

Он глядел на стоящих горожан без гнева, с жалостью.

— На вашем месте я бы завел детей, — сказал он, а потом обратился к Королю Лиру: — Что скажет ваше величество? Не заночевать ли нам здесь? Уедем на рассвете. — Но Король отвернулся от развалин Хагсгейта и помчался вперед так быстро, как только мог. Не скоро смогли догнать его Шмендрик и Молли, и долго скакали они потом, прежде чем остановились на ночлег.

Много дней странствовали они по земле Короля Лира, с каждым днем все меньше и меньше узнавая ее и все больше и больше восхищаясь ею. Впереди них стремительно, как пламя, неслась весна, одевая нагие сучья, деревья и землю, раскрывая так долго закрытые почки, прикасаясь к земле, как единорог к Лиру. Всюду на их пути встречались животные: от черного жука до медведя. Высокое небо, бывшее когда-то сухим и пыльным, как сама земля, теперь, словно земля цветами, было усеяно птицами, которые сбивались в такие густые стаи, что день казался сплошным закатом. В пенящихся ручьях плескались, сверкая чешуей, рыбки, а полевые цветы, словно бежавшие из тюрьмы узники, ликовали на

склонах холмов. Жизнь шумела во всей стране, и по ночам троим путникам мешал спать тихий праздник цветов.

Жители деревень приветствовали их сдержанно и чуть приветливее, чем тогда, когда Шмендрик и Молли в первый раз проходили этим путем. Только самые старые их них еще помнили весну, и многие подозревали, что бушевание зелени вокруг — это какая-то болезнь или вторжение неизвестных сил. Король Лир говорил всем, что Хаггард умер, а Красный Бык исчез навсегда, приглашал посетить его в новом замке, когда тот будет построен, и уезжал. «Потребуется некоторое время, чтобы они привыкли к цветам», — говорил он.

Всюду, где бы они ни останавливалась, Король объявлял амнистию, и Молли надеялась, что эта новость дойдет и до Капитана Калли и его веселой банды. Так и произошло, но, когда это случилось, вся веселая банда, за исключением самого Калли и Джека Трезвона, немедленно оставила зеленый лес. Все без исключения стали странствующими менестрелями и, как говорили, имели достаточный успех в провинции.

Однажды ночью все трое спали в густой траве у самой дальней границы королевства Лира. На следующее утро Король должен был проститься с Молли и Шмендриком и отправиться обратно в Хагсгейт.

— Мне будет одиноко, — сказал он в темноте. — Я бы хотел уйти с вами и не быть Королем.

— О, вам придется полюбить свое дело. Самые лучшие молодые люди из деревень будут стремиться к вашему двору, и вы научите их быть героями и рыцарями. Мудрейшие из министров придут, чтобы стать вашими советниками, искуснейшие музыканты, жонглеры и рассказчики будут искать вашего расположения. И, в свое время, будет принцесса, или спасающаяся от своего непередаваемо жестокого отца и братьев, или ищущая защиты для них. А может быть, вы услышите о ней, заточенной в башне из кремня и адаманта в обществе одной сочувствующей ей паучихи...

— Меня это не волнует, — проговорил Король Лир. Он молчал так долго, что Шмендрик подумал, что Лир уже заснул, но наконец Король сказал: — Мне хотелось бы увидеть ее еще раз, чтобы рассказать все, что у меня на сердце. Она

никогда не узнает, что я в самом деле хотел сказать. Ты обещал мне, что я увижу ее.

Волшебник резко ответил:

— Я лишь обещал, что мы увидим следы единорогов, и так и случилось. А что касается вас и вашего сердца, того, что вы сказали, и того, что не успели сказать, — она будет помнить все, когда про людей можно будет прочесть лишь в книгах сказок, написанных кроликами; подумайте об этом и успокойтесь.

Король умолк, и Шмендрик пожалел о своих словах.

— Она дважды прикоснулась к вам, — сказал он, помолчав две-три минуты. — В первый раз, чтобы вернуть вас к жизни, во второй раз — только для вас. — Лир не ответил, и волшебник так и не узнал, слышал ли его Король.

Шмендрику приснилось, что, когда всходила луна, Она вернулась и встала рядом с ним. Ночной ветерок шевелил ее гриву, в снежной белизне головы отражалась луна. Он знал, что это сон, но был рад, что видит ее.

— Как ты прекрасна, — сказал он. — Я никогда не говорил тебе этого. — Он разбудил бы остальных, но ее глаза тревожно замигали, словно две перепуганные птицы, и он знал, что если попытается позвать Лира и Молли, то проснется сам и Она исчезнет. И он сказал только: — Я думаю, они любят тебя больше, чем я, но я просто не могу любить сильнее.

— Вот потому-то... — сказала Она, и он понимал, на какой вопрос Она отвечает. Он лежал очень тихо, надеясь, что, когда проснется поутру, сможет вспомнить хотя бы, как прекрасны ее уши. Она спросила: — Теперь ты настоящий смертный волшебник. Ты хотел этого, счастлив ты теперь?

— Да, — отвечал он, довольно улыбаясь. — Я не бедняга Хаггард и не потеряю счастья, обретя его. Но волшебники бывают разными, есть белая магия и черная, и бездна оттенков серой между ними, я вижу сейчас, что все это одно и то же. Решу ли я быть тем, кого люди называют мудрым и добрым волшебником — помогать героям, расстраивать козни ведьм, наказывать злых господ и неразумных родителей, вызывать дождь, лечить сибирскую язву и ветрянку, снимать кошек с деревьев, — или я выберу реторты, полные эликси-

ров и эссенций, порошков, трав и ядов, фолианты тайных наук в переплетах из кож, которые лучше не называть, грязноватый туман, сгущающийся в палате, лепечущий в нем сладкий голос, — жизнь коротка, и многим ли смогу я помочь или навредить? Ко мне наконец пришла сила, но мир по-прежнему слишком тяжел для меня, хотя мой друг Лир, возможно, думает иначе. — И он вновь довольно печально рассмеялся во сне.

Она сказала:

— Это верно. Ты человек, а что может сделать человек? — Голос ее был странно скован и тих. Она спросила: — А какой путь ты выберешь?

Волшебник рассмеялся в третий раз:

— Ну конечно, это будет добрая магия, ведь вам она больше понравится. Не думаю, чтобы мне удалось увидеть вас снова, но я попробую делать то, о чем вам было бы приятно узнать. А вы — где будете вы до конца моей жизни? Я думал, что вы уже вернулись в свой лес.

Она отвернулась, от внезапного звездного света ее плеч весь этот разговор о магии встал комом в его горле. Мотыльки, комары и другие ночные насекомые, слишком крохотные, чтобы представлять собой что-нибудь, плясали вокруг ее светящегося рога, и от этого Она не казалась глупей, напротив, поклонение ей делало их мудрыми и красивыми. Котик Молли терся о передние ноги единорога.

— Другие ушли, — сказала Она. — Они поодиночке разбрелись по своим лесам, и увидеть их людям будет так же трудно, как если бы они все еще были в море. Я тоже вернусь в свой лес, но теперь я не знаю, смогу ли я жить спокойно там или где-нибудь еще. Я была смертной, и какая-то часть меня все еще смертна. Меня переполняют слезы, желания и страх смерти, хотя я не могу плакать, ничего не хочу и не могу умереть. Теперь я не такая, как все, ведь не рождался еще единорог, который может жалеть, как я. Я жалею.

Как ребенок, великий маг Шмендрик закрыл лицо руками.

— Мне жаль, мне очень жаль, — пробормотал он в кулак. — Я причинил вам зло, как Никос тому единорогу, пусть из добрых побуждений, и не более, чем он, я могу из-

менить это. Мамаша Фортуна, Король Хаггард и Красный Бык, вместе взятые, были к вам добрее меня.

Но Она мягко ответила ему:

— Мой народ вернулся в этот мир. Никакая печаль не будет жить во мне дольше, чем эта радость, кроме одной, и за нее я тоже благодарю тебя. Прощай, добрый волшебник. Я попытаюсь вернуться домой.

Она беззвучно исчезла, Шмендрик не спал, а котик с изуродованным ушком одиноко мяукал. Повернув голову, он увидел трепет лунного света в открытых глазах Короля Лира и Молли Отравы. Так молча пролежали они до утра.

На рассвете Король Лир поднялся и оседлал коня. Прежде чем вскочить в седло, он сказал Шмендрику и Молли:

— Я бы хотел, чтобы когда-нибудь вы навестили меня.

Они согласились, но Лир медлил, теребя пальцами уздечку.

— Она приснилась мне сегодня! — сказал он.

Молли вскрикнула:

— Да, и мне!

А Шмендрик открыл было рот и закрыл его.

Король Лир хрипло сказал:

— Ради нашей дружбы, пожалуйста, скажите, о чем вы с ней говорили. — Холодными пальцами он крепко схватил их за руки.

Шмендрик слабо улыбнулся в ответ:

— Милорд, я так редко запоминаю сны. Мне кажется, мы говорили только о пустяках, как обычно, — серьезно о ерунде, пустяках и суете... — Король отпустил его руку и обратил свой смятенный взор на Молли.

— Я этого никогда не скажу, — странно покраснев, сказала она с легким испугом. — Я помню, но я никогда и никому не расскажу этого, даже вам, милорд. — Лир отпустил ее руку и взвился в седло так яростно, что его конь, по-оленьи протрубив, прянул на дыбы в лучах рассвета.

Но Лир твердо сидел в седле, глядя вниз на Молли и Шмендрика столь же тяжело, безнадежно и мрачно, как если бы он, а не Хаггард царствовал все ушедшие долгие годы.

— Она ничего не сказала мне, — прошептал он. — Вы понимаете? Совсем ничего не сказала.

Потом его лицо смягчилось, словно лицо Хаггарда на

башне, когда в приливе теснились единороги. В это мгновение он был опять тем же молодым Принцем, любившим сидеть на кухне вместе с Молли. Он сказал:

— Она смотрела на меня. В моем сне Она смотрела на меня и молчала.

И он уехал, не попрощавшись. Они следили за ним, пока Лир не скрылся за холмами: прямой, печальный всадник, возвращающийся домой, чтобы быть Королем. Наконец Молли сказала:

— Бедняга. Бедный Лир.

— Что же, не такой уж он бедный, — ответил волшебник. — У великих героев должны быть и великие печали, или половина их доблести остается незамеченной. Это тоже часть сказки. — Но в голосе его звучало сомнение, и он нежно положил руку на плечи Молли. — Любовь к единорогу не может быть несчастьем, — сказал он. — Должно быть, это самое большое счастье, только самое трудное.

Потихоньку он прижал ее к себе и спросил:

— Ну а теперь ты скажешь мне, что Она тебе говорила? — Но Молли Отрава лишь рассмеялась и качнула головой так, что волосы ее рассыпались по плечам, и она была прекраснее Леди Амальтеи. Волшебник сказал: — Ну хорошо, тогда я снова найду единорога, и, может быть, Она сама мне все скажет. — Он повернулся, чтобы позвать лошадей. Молли молчала, пока он седлал свою лошадь, но как только он подошел к ее коню, она прикоснулась к его руке.

— Ты думаешь... ты действительно надеешься, что мы сможем найти ее? Я кое-что забыла ей сказать.

Шмендрик глянул на нее через плечо. В лучах утреннего солнца его глаза светились веселой зеленью травы, но время от времени, когда он заходил в тень коня, в них появлялась глубокая, прохладная и горькая зелень сосновых иголок. Он ответил:

— Я боюсь этого, потому что мне страшно за нее. Это будет значить, что Она стала скитальцем, это участь людей, а не единорогов. Но я надеюсь, конечно, я надеюсь. — Потом он улыбнулся Молли и взял ее за руку. — Ну раз мы с тобой должны теперь выбрать одну из многих дорог, ведущих в конце-то концов в одно и то же место, может быть, наша до-

рога пересечется с той, по которой пошла Она. Быть может, мы ее никогда не увидим, но где Она была, узнаем всегда. Теперь в путь. Едем.

Так начали они свое новое путешествие, и дорога вела их вперед и вперед, в разные уголки ласкового и злого морщинистого мира, навстречу удивительной и странной судьбе. Но все это было потом, а тогда, едва перейдя границу королевства Лира, они увидели спешившую им навстречу девушку. Ее одежда была испачкана и разодрана, но сшита она была не из простой материи, волосы девушки были растрепаны и взлохмачены, руки исцарапаны, лицо не умыто, но при этом ни у кого не могло возникнуть даже тени сомнения в том, что это принцесса, пусть и не в самый счастливый момент своей судьбы. Шмендрик соскочил на землю, чтобы помочь ей, и она вцепилась в него обеими руками, словно его рука была кожурой грейпфрута.

— На помощь! — кричала она. — На помощь, au secours[1]. Муж добрый и сострадательный да спасет меня! Воистину я высокородная принцесса Алисон Джоселин, дочь доброго короля Жиля, а убил его жестоко единокровный брат его, кровавый герой Вульф, и заточил он братьев моих, принцев Корина, Колина и Кальвина, в темнице твердокаменной, дабы вышла я замуж за его толстого сына, лорда Дадли, но я подкупила часового и кинула кусок собакам...

Но Шмендрик Маг поднял руку, и она замолчала, удивленно глядя на него большими сиреневыми глазами.

— Прекрасная принцесса, — серьезно объяснил он. — Тот, кто вам нужен, минуту назад отправился в ту сторону, — и он указал назад, в сторону страны, которую они только что оставили. — Возьмите моего коня, и вы нагоните его, пока ваша тень еще будет за вашей спиной. — Сложив руки ступенькой, он помог принцессе Алисон Джоселин забраться в седло, что она проделала устало и с некоторым возбуждением. Шмендрик повернул коня и добавил: — Вы, конечно, легко его догоните. Ведь он не будет торопиться. Он хороший человек и герой, которому любой подвиг по плечу. Всех встречных принцесс я отсылаю к нему. — Он хлопнул коня

[1] Помогите (*франц.*).

по крупу, отправив его той же дорогой, по которой отбыл Король Лир, а потом смеялся так долго, что совсем обессилел и не мог взобраться позади Молли на коня, и долго шел с ней рядом. А когда к нему вернулось дыхание, он запел, и она поцеловала его. Уходя вдвоем из этой сказки в другую, они пели:

Я не король, не герцог, не граф
И не солдат, он сказал,
Я просто скрипач, очень бедный скрипач,
Но тебя я своею назвал.

Если ты лорд — ты будешь мой лорд,
Если ты вор — мой вор,
Но раз ты скрипач — будь моим скрипачом,
А прочее — просто вздор.

А вдруг не скрипач я и ради любви
Тебе так ужасно наврал?
Я скрипку люблю и играть научу —
Лишь бы любимою звал.

Соната
единорога

Посвящается Джозефу Х.Мазо

Мне не хватает тебя, Йосселе

Без Дженет Берлинер «Соната единорога» никогда бы не появилась на свет

Без Стивена Роксбурга эта книга не стала бы такой, какова она есть.

Глава 1

Улица казалась бесконечной. Конец весны выдался умопомрачительно жарким. Школьный рюкзак Джой колотил ее по вспотевшей спине, пока девочка устало тащилась мимо автоколонок, стоянок, парикмахерских, пунктов проката, бесконечных кинотеатров и мини-пассажей, заполненных видеосалонами, школами карате и киосками со здоровой пищей. Эта картина повторялась каждые несколько кварталов, столь же неизменная, как незамысловатый мотивчик, который насвистывала Джой. Здесь не было ни деревьев, ни травы. Здесь даже горизонта, и того не было.

На углу одного из кварталов располагался крохотный греческий ресторанчик, втиснувшийся между конторой по продаже недвижимости и обувным магазином. Джой на мгновение заглянула в ресторан, быстро осмотрела столики, потом развернулась и двинулась к другому концу квартала, к витрине, заполненной гитарами, трубами и скрипками. Потускневшая золотая надпись гласила: «Музыкальный магазин Папаса — продажа и ремонт». Джой искоса взглянула на свое отражение, скорчила рожицу угловатой тринадцатилетней девчонке, смотревшей на нее с витрины, пригладила волосы, с трудом отворила тяжелую дверь и вошла.

После залитой солнцем улицы в маленьком магазинчике было прохладно и сумрачно, словно под водой: в летнем лагере Джой занималась подводным плаванием. Пахло свежими опилками, старым войлоком, металлом и лаком для дерева.

Джой тут же чихнула. Седовласый мужчина, прилаживавший новый мундштук к саксофону, не поднимая головы произнес:

— Мисс Джозефина Анджелина Ривера. Аллергия на музыку.

— У меня аллергия на пыль! — громко заявила Джой. Девочка скинула рюкзачок и бросила его на пол. — Вы бы хоть раз в год пылесосили!

Мужчина громко фыркнул.

— Итак, мы сегодня в хорошем настроении или в дурном? — У него был хриплый и очень своеобразный голос — в нем слышался не акцент, а скорее эхо другого, полузабытого языка. — Газетам следовало бы печатать прогноз настроения Риверы вместе с прогнозом погоды.

Джону Папасу было лет шестьдесят — шестьдесят пять. Это был невысокий коренастый человек с треугольными темными глазами, высокими скулами, крупным, мясистым носом и густыми седеющими усами. Он положил саксофон обратно в футляр.

— Твои родители знают, что ты здесь? Только честно.

Джой кивнула. Джон Папас снова фыркнул.

— Да уж, конечно! Когда-нибудь я все-таки позвоню твоей матери выяснить, знает ли она, сколько времени ты проводишь в этом хламовнике. Возможно, ей не нравится, что ты тут столько торчишь. У меня и так достаточно хлопот — зачем мне еще неприятности с твоим семейством? Так что давай-ка ты мне свой телефон, и я им звякну — идет?

— Ну да, только звонить лучше попозже, — буркнула Джой. — А то их почти не бывает дома.

Девочка плюхнулась на стул, откинула голову на спинку и закрыла глаза.

Джон Папас взял в руки треснувший кларнет и прежде, чем заговорить снова, некоторое время внимательно изучал клапаны.

— Ну, и как там твоя контрольная?

Джой, не поднимая головы, пожала плечами.

— Ужасно. Как я и думала.

Джон Папас наиграл гамму, раздраженно что-то проворчал, потом попытался сыграть ее октавой ниже.

— У меня ничего не получается! — сказала Джой. — Совершенно ничего. Я способна завалить что угодно. Контрольные, домашние задания, спортивные соревнования — о гос-

поди, я даже в волейбол толком играть не умею! Этот придурок, мой младший братец, — и тот учится лучше меня!

Джой стукнула кулаком по спинке стула, открыла глаза и добавила:

— И танцует он лучше. И вдобавок он еще и красивее.

— Ты помогаешь мне управляться с магазином, и у тебя хорошо получается, — сказал Джон Папас. Джой отвела взгляд. — Ты сочиняешь музыку. Попробовал бы твой учитель физкультуры или твой красавчик-брат сочинять музыку!

Девочка промолчала. Тогда Джон Папас поинтересовался:

— Ты мне вот что скажи. Мы пришли ради урока, пострадать или помочь старому человеку?

Джой вынырнула из глубокой задумчивости и, не глядя на Папаса, пробормотала:

— Наверное, и за тем, и за другим, и за третьим.

— Вот как... — протянул Папас. — Ну что ж, прекрасно. Я сейчас собираюсь в забегаловку Провотакиса — посмотреть, чем он травит своих клиентов на этой неделе. Может, сыграю с ним партию в шахматы, если Провотакис не слишком занят подчисткой бухгалтерских книг. Ну а ты... Ты можешь подмести или пропылесосить — как захочешь. И попробуй починить бачок в туалете — вдруг опять получится. — Папас улыбнулся девочке мимолетной, но сердечной улыбкой. — Когда вернусь, мы малость поговорим о музыке и повозимся с аккордами. Может, даже попытаемся записать кой-чего из твоих вещей. А о твоем семействе мы побеспокоимся потом. Идет?

Джой кивнула. Джон Папас бодро двинулся к двери, бросив на ходу:

— И пусть чьи-то загребущие лапки в моем хламе не копаются. Если тот парень — как бишь его там? — придет за своим саксофоном, вели ему подождать. Я скоро вернусь и принесу тебе хорошего греческого кофе.

Когда Папас ушел, Джой деловито огляделась по сторонам. Магазинчик состоял из одной большой комнаты, которая делилась на две части — чисто условно. Та часть, где сейчас находилась Джой, работала торговым залом. Ее заполняли инструменты в открытых футлярах, пюпитры и тени висящих на стенах гитар. Дальняя часть — похуже освещенная и несколько менее захламленная — служила Джону Па-

пасу одновременно мастерской и конторой. Там стены были чисто выбелены, и на них ничего не висело, кроме двух концертных афиш на греческом, оправленных в рамочку. На длинном столе были аккуратно разложены несколько струнных и куда больше духовых инструментов, более или менее раскуроченных. К инструментам были прикреплены ярлычки с номерками. В темном углу стоял высокий металлический шкаф с рабочими инструментами Папаса.

Джой еще раз чихнула и принялась за работу. Большую часть времени у нее отнял торговый зал. Девочка расставила по полкам книги и брошюры о музыке, собрала бесчисленные пластиковые стаканчики из-под кофе и вытряхнула две пепельницы, забитые окурками тонких черных сигар вперемешку с обрывками чеков и квитанций. За работой Джой мурлыкала себе под нос. Эта мелодия совсем не походила на тот мотив, который девочка насвистывала на улице. Нахмуренное лицо Джой постепенно смягчалось. Когда девочка пела, ее голос звучал чуть выше и намного звонче, чем при разговоре. Мелодия беспорядочно переходила от минора к мажору, а иногда и произвольно перескакивала в другую тональность. Джой про себя называла этот мотив своей посудомоечной песенкой, когда вообще давала себе труд задуматься о нем.

Она привела в порядок протекающий бачок в уборной, напомнив себе, что надо еще раз напомнить Джону Папасу, чтобы тот сменил древний агрегат. Потом извлекла из чуланчика моющий пылесос. Теперь Джой пела громче, чтобы слышать себя даже через рев и завывание пылесоса. Девочка убирала терпеливо и прилежно — она пропылесосила даже черную лестницу, ведущую к автостоянке. Из-за воя пылесоса она не услышала, как открылась входная дверь. Джой выключила пылесос, обернулась и увидела мальчишку. Она удивленно ойкнула. В наступившей тишине ее возглас прозвучал, словно крик.

Мальчик улыбнулся Джой и поднял руки, успокаивая ее.

— Я ничего тебе не сделаю, — сказал он. — Я — Индиго.

Мальчик был довольно хрупкий, не выше самой Джой, да и выглядел не старше ее, но плавность его движений напомнила девочке виденных по телевизору леопардов и гепардов. Он был одет в синюю ветровку, застегнутую под самое

горло, несмотря на жару, тускло-коричневые спортивные брюки и стоптанные кеды. У мальчишки было овальное лицо, такое белое, что оно казалась прозрачным, и с этого лица смотрели самые синие глаза, какие Джой когда-либо доводилось видеть — и вправду, настоящее индиго! Еще у него был широкий рот и маленькие заостренные ушки — не такие, как у мультяшных эльфиков, но все-таки явственно заостренные. Джой подумала, что она в жизни не видела человека красивее, — и все-таки этот мальчишка внушал ей страх.

— Я Индиго, — снова произнес мальчик. — Я ищу... — он как-то странно замялся, — музыкальный магазин Папаса. Это магазин Папаса?

Говорил он с акцентом, но с другим, чем у Папаса. Речь мальчика звучала более ритмично, как у некоторых одноклассниц Джой, девочек из Вест-Индии.

— Да, это музыкальный магазин Папаса, — откликнулась Джой. — Но мистера Папаса сейчас нет. Он скоро будет. Могу я вам чем-нибудь помочь?

Индиго снова улыбнулся. Джой заметила, что, когда он улыбается, его глаза делаются еще более темными и таинственными. Мальчик ничего не ответил. Вместо этого он сунул руку за пазуху и вытащил оттуда рог длиной со свое предплечье, закрученный винтом, словно морская раковина. Сперва Джой подумала, что он пластмассовый — из-за цвета. Рог был густого серебристо-голубого цвета с перламутровым отливом, как футляр от дешевой косметики. Иногда еще спортивные автомобили бывают такого цвета. Но когда мальчик поднес рог к губам, Джой с первого же звука поняла, что он сделан из неизвестного ей материала. Голос рога был мягким и вместе с тем теплым и сочным. Этот звук не могло издать ни дерево, ни медь. Скорее это походило на отдаленный человеческий голос, поющий без слов о месте, которого Джой не знала. От этой музыки у девочки перехватило горло и защипало глаза, и в то же время Джой, к собственному удивлению, обнаружила, что улыбается.

В роге не было дырочек, только узкая прорезь на тонком конце, куда следовало дуть. Сперва ноты звучали вразнобой, а потом сплелись в медленную и плавную серебристо-голубую мелодию. Но ритм этой мелодии все равно ускользал от Джой, уворачивался, словно игривый котенок. Джой стояла,

позабыв обо всем на свете, и лишь слегка покачивала головой в такт музыке Индиго. Он не шелохнулся, но музыка подплыла поближе — котенок расхрабрился. На мгновение она стала уютно-знакомой, словно колыбельная, потом, в следующую секунду, сделалась холодной и далекой, как лунный свет. Пару раз Джой нерешительно протягивала руку, будто бы желая погладить мелодию, но каждый раз во взгляде мальчика вспыхивало такое яростное предупреждение, что Джой тут же отдергивала руку. Девочке казалось, что, по мере того как Индиго играл, рог сиял все ярче, и что, если она старательно пробежит взглядом по сине-серебряным изгибам, они уведут ее прямиком в музыку. Индиго смотрел на нее, но сейчас его глаза были лишены всякого выражения. Синяя глубина превратилась в бездонную черноту межзвездного пространства — как в «Стар-треке».

Джой не знала, долго ли играл Индиго и сколько простоял в дверях Джон Папас. Она повернулась, лишь услышав негромкий дребезжащий голос:

— Позвольте? И кто это у нас тут?

Индиго мгновенно перестал играть, резко развернулся к Папасу и поклонился, не отрывая рога от губ.

— Он вас искал, — сказала Джой. После отзвучавшей музыки собственный голос показался ей чужим и чересчур громким. — Его зовут Индиго.

— Индиго... — протянул Джон Папас. — Твои родители встретились в Вудстоке? Хиппи, а? — шутка прозвучала странно — как-то безжизненно. Старый грек смотрел на мальчишку, и видно было, что он его узнал. Лицо старика побледнело, а глаза расширились — не сильно, но заметно. Все тем же ровным тоном Джон Папас произнес:

— Что это у тебя? Покажи.

Индиго поклонился и протянул серебристо-голубой рог хозяину магазина. Джон Папас медленно протянул руки и принял рог, не отрывая взгляда от мальчика. Грек явно удивился, не найдя клапанов. Он поднес рог к губам и подул — сперва легонько, потом сильнее и сильнее, — но так и не извлек ни единого звука. В конце концов побагровевший и раздраженный — что и неудивительно — Папас сказал:

— Сыграй еще.

Продолжая улыбаться, Индиго взял рог обратно.

— Думаю, он просто не для всякого.

Мальчик развернул рог так, чтобы он смотрел на переплет старомодного окна над входной дверью, и заиграл мелодию, простенькую, словно птичья песенка. Но ее милая непритязательность напугала Джой — девочка даже представить себе не могла, что можно так сильно испугаться. Волосы на затылке встали дыбом, кожа на скулах и губах натянулась до боли, а желудок скрутило от холодной тяжести. Рог пел, не нуждаясь в отверстиях, чтобы строить свою мелодию, музыка лилась и плясала, непрестанно меняясь: то посвистывала детской жестяной дудочкой, то снова превращалась в отдаленный голос, наполовину слившийся с музыкой, одновременно и манящий, и насмешливый.

Рядом с Джой застыл Джон Папас. Старый грек учащенно дышал. Рот его приоткрылся, а голова покачивалась в такт музыке. Когда мелодия умолкла, Папас спросил, глухо и хрипло:

— Что это за вещь? Где ты ее взял?

— Она моя, — отозвался Индиго. — Я принес ее издалека.

— Должно быть, синтетика, — бросил Джон Папас. — Никакой природный материал не может создать такого звука. Это моя профессия, парень, и я в этом разбираюсь.

Индиго, не отвечая, шевельнул рукой, словно собирался спрятать рог обратно под ветровку. При виде этой картины у Папаса вырвался хриплый полувздох-полустон, как будто его ударили в солнечное сплетение. За полгода, пролетевшие с того момента, как Джой впервые переступила порог этого магазина, девочка ни разу не слышала, чтобы старый грек издал подобный звук или чтобы у него на лице появлялось выражение такой боли.

— Что ты хочешь за него? — тихо спросил Папас. Он снова потянулся за серебристо-голубым рогом и уронил картонный стаканчик — Джой запоздало сообразила, что хозяин магазина выполнил свое обещание и принес ей кофе. Стаканчик упал на пол, и горячие капли брызнули на ногу Джой, но девочка не шелохнулась.

Джон Папас встряхнул головой, явно пытаясь вырваться из плена грез, и тихо произнес:

— Я покупаю. Говори, сколько ты хочешь, — на этот раз его греческий акцент был куда заметнее обычного.

Индиго заколебался, впервые выказав признаки неуверенности.

— Он очень дорого стоит, мистер Папас.

Старый грек облизнул губы и произнес:

— Я жду.

Лицо Индиго по-прежнему сохраняло неуверенное — и даже обеспокоенное — выражение, и тогда Папас повторил, уже погромче:

— Ну, давай, говори — чего ты хочешь? Сколько?

— Золото, — сказал мальчик. — Я хочу золото.

И Джон Папас, и Джой удивленно уставились на него. Индиго слегка попятился и крепче сжал рог.

— В моем... моей стране нет такой штуки, как деньги, — сказал он. — Нельзя что-нибудь купить или продать за кусочки бумаги, как делаете вы. Но я много путешествую, и я знаю, что золото ценят повсюду. Вы должны заплатить мне золотом.

Джой громко рассмеялась.

— У мистера Папаса нет золота! За кого ты его принимаешь — за пирата?

Индиго повернулся к ней, и Джой отступила на шаг.

— Ни у кого больше нет золота, — сказала она. — Господи, про него только в книжках пишут!

Но Джон Папас вскинул руку, приказывая Джой молчать, произнес:

— Подожди, девочка, — а потом обернулся к Индиго. — Ну? И сколько золота?

К Индиго почти мгновенно вернулась его холодная самоуверенная улыбка.

— А сколько у вас есть?

Старый грек открыл рот и тут же закрыл обратно. Индиго же продолжал:

— Если золото и редкость, этот рог — еще большая редкость. Уж поверьте мне.

Джон Папас долго молчал, глядя на подростка, потом кивнул и произнес:

— Подожди здесь.

С этими словами он развернулся и исчез в полумраке мастерской. Джой услышала, как открылась и закрылась дверь крохотной комнатушки, служившей Папасу канцеля-

рией. Джой осталась наедине с Индиго. Девочке сделалось неловко, как будто ей поручили занимать какого-нибудь занудного родственника. Она уставилась в пространство, стараясь не встречаться взглядом с тревожащими глазами Индиго. Через окно витрины Джой открывался вид на скучную, разомлевшую от жары улицу. Мимо со скрежетом проносились машины. Время от времени захваченные уличной толчеей случайные прохожие проскакивали совсем рядом с витриной и тут же удалялись — словно рыбки, кружащие по аквариуму. Но в отсвете мимолетной улыбки Индиго до тошноты привычный заоконный мир начинал казаться таким же нереальным, как тот мир, куда каждый день исчезали родители Джой. Джой искренне обрадовалась, услышав, что Джон Папас возвращается.

— Золото! — произнес старый грек. — Ты хочешь золота, паренек? Ну так Папас покажет тебе золото!

Под мышкой Папас держал деревянную шкатулку, длинную и почти плоскую. Она напоминала этюдник, с какими ходят художники, — даже пятна краски наличествовали. Когда Джон Папас поставил шкатулку на прилавок, Джой услышала, как внутри что-то звякнуло, глухо и тяжело. От этого звука у Джой запершило в горле. Казалось, что никакой замочной скважины в шкатулке нет, но Джон Папас все же воткнул куда-то маленький ключик с двойной бородкой и бесшумно повернул. Потом он откинул крышку, и Джой увидела, что шкатулка наполовину заполнена старинными монетами, размером от десятицентовика до серебряного доллара. На некоторых красовались какие-то изображения и надписи, другие были стерты, как галька на берегу, но все эти монеты имели тускло-желтый оттенок, тот же, что у латунных петелек шкатулки. Монеты были совершенно сухими, но все же от них исходил едва уловимый запах сырости. Они пахли землей.

— Драхмы, — сказал Джон Папас. — Гинеи, кроны, соверены, полуорлы. Тут есть и дукаты, и дублоны — как в пиратских книжках! — Боже милостивый — даже моидоры! Этого хватит за рог, даже с лишним.

Губы Папаса побелели и растянулись, обнажая зубы.

Поймав взгляд Джой, Папас хрипло пояснил:

— Это не мое, Джозефина Ривера. Досталось от отца.

А тому — отчасти — от его отца. Мы — греки. Это значит, что ты никогда не знаешь, когда придется быстро убегать. Покупать паспорт, визу, подкупать капитана, полицейского, пограничника. Никто тебе не поможет, никто и никогда — только золото. Только золото! — Папас яростно встряхнул шкатулку, и монеты снова глухо звякнули.

Индиго взял несколько монет и принялся рассматривать, вертя в руках.

— Мой отец — он отдал это мне перед смертью, — сказал Папас. — До сих пор я не потратил ни одной. Нет, ни одной — хоть иногда очень надо было. А теперь отдаю за рог все. Бери, парень! — и он ткнул шкатулку чуть ли не в лицо Индиго.

Мальчик переводил взгляд с Папаса на Джой и обратно. Время от времени он с любопытством поглядывал и на монеты, но Джой показалось, что в безмерной глубине темно-синих глаз снова заплескалось прежнее беспокойство. Не отрывая взгляда от Джой, Индиго, хмурясь, зачерпнул полную пригоршню монет.

— Бери! — нетерпеливо повторил Джон Папас. — Не сомневайся — тут все настоящие. У любого перекупщика ты получишь за них хорошую цену, а у коллекционера — еще больше. Вот, — Папас всунул шкатулку в руки мальчишке и потянулся к серебристо-голубому рогу.

— Нет! — резко произнес Индиго. — Нет, этого мало!

Неожиданно он развернулся и ткнул рог в руки Джой. На мгновение их пальцы соприкоснулись, и Джой ощутила мягкую жаркую дрожь.

— Играй! Покажи ему, почему этого мало!

От рога пахло далекими цветущими лугами. Как только рог коснулся губ девочки, они с Джой слились воедино. Они вместе чувствовали, вместе творили музыку, и ничто не разделяло их. Джой даже не замечала, что дует в рог, не пыталась сложить звуки в мелодию. Музыка просто зазвучала, и все. Нет, она была всегда и всегда текла через Джой, танцуя, как вода в ручье. И было что-то еще, что-то вокруг, долгожданное и пугающее, нечто такое, что Джой непременно увидела бы, если бы открыла глаза. Но она зажмурилась в тот самый миг, когда начала играть, и продолжала держать глаза

закрытыми, потому что какая-то ее часть все это время боялась, боялась безрассудно и слепо.

Откуда-то издалека донесся голос Индиго:

— Хватит.

Джой долго думала потом: а смогла бы она тогда перестать играть — или это рог играл на ней? — если бы не слова Индиго? А в тот момент она дрожащими руками положила рог на край прилавка и лишь после этого открыла глаза. Джон Папас смотрел на Джой, и в его взгляде смешались ужас и чистейшая радость, а странный мальчишка улыбнулся и забрал рог.

— Меня зовут Индиго, — сказал он. — Запомните меня, Папас. Быть может, я еще вернусь сюда.

И с этими словами он удалился — исчез так же незаметно, как незаметно появился, пока Джой убирала черный ход. Джой очень медленно приоткрыла дверь магазинчика и выглянула в знакомый мир, но Индиго нигде не было видно. Позади Джон Папас мягко произнес:

— Закрой. Закрой дверь, Джозефина.

Джой закрыла дверь и прислонилась к ней. Джон Папас стоял у прилавка и тер лоб. Сейчас он был больше похож на себя, чем за все время с момента появления Индиго. Но при этом, как подумалось Джой, Папас выглядел постаревшим и очень усталым. Потом он запустил руку в шкатулку и принялся, не глядя, перебирать монеты.

— А вы его знаете, да? — спросила Джой.

Джон Папас резко вскинул голову.

— Знаю? Его? Ты что думаешь, я брожу по городу и выискиваю людей по имени Индиго, Кадмий Желтый или что-нибудь вроде этого? Что, по-твоему, я похож на человека, у которого могут быть знакомые вроде этого мальчишки? Забудь. В жизни его не видал.

Старый грек очень рассердился. Ему это было не к лицу.

— Ну, на то было похоже! — заявила Джой. Она испытывала усталость, раздражение и еще какое-то странное чувство. — И еще похоже было, будто вы знаете эту музыку.

Джон Папас долго смотрел на Джой, и в глазах его не было ничего, кроме ее отражения. А Джой смотрела на него, упрямо стараясь не моргать. Потом Папас почесал затылок,

7 – 7877

и на лицо его медленно вернулась улыбка — правда, кривоватая, словно ему растягивали губы крючком.

— Джозефина Ривера! — произнес он, потом добавил что-то на другом языке, потом снова перешел на английский. — Джозефина Ривера, откуда ты взялась? Откуда ты взялась в этом пыльном старом музыкальном магазинчике на голову несчастного старого грека? Почему бы тебе не пойти поиграть в бейсбол или футбол или не сходить на танцы со своим парнем? Почему бы не пойти в кино? — Папас все еще боролся с улыбкой, но она уже успела просочиться в его глаза.

— Я не люблю бейсбол, — отозвалась Джой. — И у меня нет парня, и танцую я плохо — все так говорят. А здесь мне нравится. Нравится помогать и вообще. Просто я хочу, чтобы вы мне объяснили, что происходит. Почему я не могу об этом спросить?

Джон Папас вздохнул.

— Можешь, конечно, только я отвык вести разговоры, которые не касаются музыки или починки инструментов. Если бы ты жила одна, как я, ты бы вообще разучилась разговаривать.

Тут старый грек принялся теребить собственные усы. Папас сперва подергал их за кончики, потом пригладил и в конце концов произнес:

— Джозефина Ривера, у тебя бывало когда-нибудь чувство, что рядом с тобой что-то находится — совсем рядом, стоит лишь голову повернуть? А как повернешь голову — ничего нет. Бывало?

Джой кивнула.

— Вроде того, как ты чувствуешь, что на тебя кто-то смотрит, но не можешь понять кто?

— Да, вроде того, — согласился Джон Папас. — Или, может, вроде того, будто ты смотришь на что-то, что совсем рядом — ну, может, через улицу, — и чувствуешь, что видишь лишь часть вещи, а целой тебе никогда не увидать. Такое с тобой бывало?

— Кажется, да, — медленно отозвалась Джой. — Моя Абуэлита — моя бабуля, — когда я была совсем маленькой, говорила мне, что если я достаточно быстро поверну голову, то смогу увидеть собственное ухо. Вот что-то вроде этого.

Неожиданно у Джона Папаса снова сделался усталый и какой-то отсутствующий вид.

— Ага, — сказал он. — Ну что ж, значит, смотри в оба, вот и все.

Старый грек еще раз подергал себя за усы, потом сунул шкатулку с монетами под мышку и двинулся к мастерской.

— Этот мальчик... Индиго... — произнесла Джой.

Джон Папас остановился, но не обернулся.

— Не о чем говорить. Иди домой. Я, должно быть, сегодня закрою пораньше. До свиданья.

— О'кей, — отозвалась Джой. — До свиданья.

Это прозвучало обиженно и жалко, и Джой разозлилась на себя. Она шагнула следом за Папасом и спросила:

— Завтра приходить?..

То есть она собиралась это спросить, но запнулась на полуслове, потому что музыка зазвучала снова...

«Но теперь она звучит где-то вдали — в далеком мире, в далеком времени. У этого звука есть запах, зеленый и темный. Яблоки и огромные перья, согретые солнцем. Мелодия парит в поднебесье и зовет, потом обрушивается вниз, словно коршун. Она то совсем рядом, как мое собственное дыхание, то так далека, что я слышу ее не ушами, а кожей. Где же она, где? Я пойду туда...»

Джой поняла, что прошептала последние слова вслух лишь после того, как услышала голос Папаса:

— Что «где»? О чем это ты?

— О музыке, — отозвалась Джой. — Та же самая музыка — откуда она доносится?

Папас пристально посмотрел на Джой. Джой продолжала:

— Вот, прямо сейчас! — Девочка в исступлении огляделась и с криком бросилась к двери. — Откуда, откуда она звучит?! Она же повсюду — разве вы не слышите?

Дверь, как всегда, была закрыта на защелку, и Джой потянула запястье и сломала ноготь, пока рвала ручку, пытаясь добраться до музыки.

Потом рядом с ней оказался Джон Папас и ласково взял девочку за плечо. Музыка стихла, хотя Джой все еще чувствовала ее дрожь в волосках на предплечьях и ее вкус на пересохших губах.

— Иди домой, Джозефина Ривера, — негромко произнес

Джон Папас. — Иди домой. Никуда не сворачивай, нигде не останавливайся, ничего не слушай. Включи свой плейер и слушай его. Мы поговорим попозже. Может быть, завтра. Вот, держи свои книжки. Теперь иди домой.

— Этот мальчик, Индиго... — произнесла Джой. — Музыка пришла вместе с ним. Мистер Папас, мне надо знать...

— Завтра, — оборвал ее старый грек. — Может быть. Сейчас домой.

Он толчком отворил дверь и мягко выпроводил девочку. К тому моменту, как Джой закинула рюкзак на плечи, Папас уже опустил узкую шторку и вывесил на двери табличку «ЗАКРЫТО».

Глава 2

Сегодня было первое число месяца, и, как обычно в этот день, у них гостила Абуэлита. За стол они сели позже, чем обычно, потому что мистеру Ривере пришлось после работы сделать большой крюк и заехать в «Серебряные сосны», пансион для лиц преклонного возраста, чтобы забрать Абуэлиту. Теперь она сидела напротив Джой — маленькая, кругленькая и смуглая. Прямые черные волосы поредели, но сохранили прежний блеск. Каждый раз, когда они с Джой встречались взглядами, на лице Абуэлиты появлялась улыбка — такая же неспешная и всеобъемлющая, как восход солнца.

Джой никогда толком не знала, сколько же на самом деле лет ее бабушке — отец говорил, что та и сама этого не знает, — но девочке с самого детства трудно было представить, что Абуэлита действительно мать ее отца. Дело было не в недостатке сходства — у мистера Риверы были точно такие же черные волосы, такие же короткие и толстые пальцы и такие же маленькие, аккуратные уши, как у Абуэлиты. Но в его глазах никогда не проскальзывало ничего капризного или неизвестного, никаких мимолетных следов тайных проделок, известных лишь самой Абуэлите. В раннем детстве Джой иногда боялась, что на самом деле Абуэлита ей вовсе не бабушка, а просто усыновила их семью по каким-то загадочным собственным причинам и теперь в любой момент может исчезнуть, вернуться к своим настоящим детям и внукам. Эта мысль до сих пор время от времени посещала Джой.

Абуэлита обратилась к Скотту, десятилетнему брату Джой, и громко спросила по-испански, как у него идут дела в школе. Скотт беспокойно заерзал на стуле, копаясь в тарелке и поглядывая на отца. Мистер Ривера ответил вместо сына — по-английски:

— Скотт очень хорошо занимается, мама. Он учится в классе для особо одаренных детей и еще играет в футбол. У его команды есть шанс выйти в финал первенства штата.

— Но он не знает испанского, — промолвила Абуэлита. — Мой внук не может поговорить со мной на нашем языке.

В ее голосе не звучало ни гнева, ни обвинения, ни даже печали — лишь несвойственное ей полнейшее отсутствие юмора. Но мистер Ривера тут же покраснел.

В разговор вмешалась мать Джой.

— Мама, мальчику некогда. Он очень занят: школа, тренировки, друзья и все прочее. И он — ну, вы же понимаете, — он просто-напросто очень мало слышит испанскую речь.

— В своем окружении — да, конечно, — любезно согласилась Абуэлита. — Но Фина говорит по-испански не хуже меня.

Никто, кроме Абуэлиты, никогда не называл Джой этим детским именем.

— Ну, ведь тогда вы жили вместе с нами, — возразила миссис Ривера. — До того, как мы переехали. Тогда обстоятельства были иными.

Абуэлита кивнула.

— Muy diferente, las circunstancias[1].

Она снова повернулась к Скотту, похлопала его по руке и сказала по-английски, выговаривая слова так тщательно, словно обращалась к иностранцу:

— Знаешь, что я думаю? Я думаю, что нам с тобой нужно поехать этим летом в Лас-Перлас. Когда у тебя закончатся занятия в школе. Вдвоем, только мы с тобой. Пара месяцев в Лас-Перлас, и ты заговоришь по-испански, как настоящий coahuileno[2]. Может, тебе даже понравится menudo[3] — кто знает? — и она подмигнула Джой.

---

[1] Да, обстоятельства были совсем иные *(исп.)*.

[2] Житель мексиканского штата Коауила. Лас-Перлас — или Ла-Перла — городок в этом штате.

[3] Блюдо из потрохов (*исп.*).

Скотт тут же проглотил наживку — поддеть его всегда ничего не стоило.

— Menudo — это дрянь! Коровьи кишки — тьфу! тьфу! Меня щас стошнит!

Он согнулся над своей тарелкой, и на секунду Джой показалось, что его и вправду сейчас вырвет. Скотт умел тошнить нарочно. Иногда он даже делал это на спор. Но Абуэлита искоса взглянула на него, и мальчик выпрямился.

— Гилберто! — обратилась Абуэлита к мистеру Ривере. — А ты как думаешь? Возможно, нам стоило бы всем вместе съездить в Лас-Перлас. Дети могли бы увидеть свои истоки, узнать, откуда пошел наш род. Мне бы хотелось, чтобы мы туда съездили.

Мистер Ривера быстро взглянул на жену, как бы говоря: «Молчи, я сам разберусь!» Этот взгляд отца был так же знаком Джой, как перемена, происходившая с его голосом, когда оказывалось, что ему звонят с работы.

— Мама, я не уверен, что Лас-Перлас вообще существует, — сказал мистер Ривера. — Возможно, этот городишко просто-напросто снесли. Ведь уже сколько лет прошло!

— Лас-Перлас стоит на месте, — спокойно отозвалась Абуэлита. — Лас-Перлас существует.

— Я туда не хочу! — заявил Скотт. — Тренер обещал, что, если мы выйдем в финал, он отвезет всю нашу команду в Диснейленд.

Когда мистер Ривера повез Абуэлиту обратно в «Серебряные сосны», Джой поехала проводить бабушку. Она уселась вместе с ней на заднее сиденье, и они взялись за руки. Джой сказала:

— Знаешь, у меня нет никаких особенных планов на это лето. Если хочешь, я поеду с тобой в Лас-Перлас.

Абуэлита покачала головой.

— Я слишком много думаю сейчас о Лас-Перлас, Фина. Это нехорошо для старой женщины. Забудем об этом.

Джой покрепче стиснула руку бабушки.

— Ну ладно, тогда мы можем воспользоваться тем же способом, которым путешествовали в Китай — помнишь? Ну там, в старом доме, когда я была еще маленькая. Сядем на заднем дворе и примемся копать подземный ход. Ведь это мы всегда можем сделать?

Абуэлита улыбнулась той особенной улыбкой, которая вновь заставила Джой увидеть в своей бабушке ту маленькую проказливую черноглазую девчонку, что когда-то босиком носилась по грязной улице, гоняя козу.

— О, тот волшебный дворик! Мы тогда путешествовали в Оаксаку, верно? И в Индию. Да, Фина, я помню.

— Дворик вовсе не был волшебным, — возразила Джой. — Это ты была волшебная. Ты и сейчас такая.

Когда машина остановилась на щебеночной дорожке у въезда в «Серебряные сосны», Джой обняла Абуэлиту на прощанье и сказала:

— Я приду к тебе в воскресенье, в то же время, что всегда. Тебе что-нибудь принести?

— Принеси мне песню, — сказала Абуэлита. — Одну из твоих песен, которые ты сочиняешь, — они мне нравятся. Ты можешь спеть ее мне, когда мы пойдем гулять.

— Договорились! — согласилась Джой и быстро нырнула обратно в машину — она терпеть не могла смотреть, как Абуэлита медленно, с трудом идет через двор и как постепенно ее фигура скрывается из виду, тает за сверканием подсвеченного фонтана.

— Каждый раз, когда мы оставляем ее здесь, — произнесла Джой, обращаясь к отцу, — я думаю: «А вдруг этот раз был последним? Ну а вдруг?» Я ничего не могу поделать с этой мыслью. Она всегда ко мне приходит.

— Мама крепка, словно гвоздь, — отозвался мистер Ривера. — Она еще всех нас переживет, уж поверь мне.

Всю дорогу до дома он надиктовывал какие-то замечания на маленький диктофон, а Джой свернулась клубком и вспоминала, как они с Абуэлитой путешествовали в Индию и в Китай.

В ту ночь Джой никак не могла уснуть. В конце концов она кое-как ухитрилась задремать, а несколько часов спустя проснулась снова. В доме было темно и тихо, лишь урчала посудомоечная машина. Джой потихоньку пробралась на кухню за стаканом шоколадного молока, потом взяла один из дамских романов, которые любила читать ее мать, вернулась в кровать и принялась терпеливо ожидать, когда же ей захочется спать.

Уже давно миновала полночь, а Джой все не спалось. Де-

вочка уже начала размышлять, не удастся ли ей посмотреть ночные программы, если она ляжет на пол перед телевизором и включит его очень-очень тихо. И тут она услышала музыку. На этот раз музыка звучала так близко, что Джой подумала, что, наверное, Скотт снова заснул, не выключив свой дурацкий радиоприемник. Но нет, музыка доносилась откуда-то снаружи и звала ее на улицу. Джой успела управиться с двумя замками и засовом, прежде чем поняла, что музыка умолкла. У Джой вырвалось горестное восклицание, но никто из домашних не проснулся.

Джой вышла на крыльцо и остановилась, прислушиваясь. Ни звука — лишь икающее шипение поливалок на газоне да шум отдаленной автострады. Потом музыка послышалась снова: тихая и не совсем отчетливая. Но она явно звучала где-то рядом — если бы только Джой удалось определить, откуда она исходит! Откуда-то из-за искусственного озера, из-за начальной школы Скотта, из-за дома добровольной пожарной дружины — да, откуда-то оттуда, это точно. Джой скользнула обратно в дом, сменила пижаму на джинсы и великоватую для нее футболку с надписью «СЕВЕРНАЯ ВЫСТАВКА», прихватила свои туристские ботинки — обулась она, лишь снова оказавшись на улице, — выскочила на улицу и помчалась следом за музыкой.

Музыка вела девочку и в то же время поддразнивала, как сама Джой дразнила кота тети Изабеллы, когда помахивала у него перед носом веревочкой, но не позволяла ее схватить. Трепещущие переливы рога Индиго — «Конечно, это он, что еще это может быть?» — вели Джой через безветренную калифорнийскую ночь. Иногда Джой казалось, будто она слышит голос второго рога. Второй голос скакал и резвился вокруг основной мелодии, как кот тети Изабеллы. А потом наступил момент, когда Джой могла бы поклясться, что играет десяток рогов, и от этих созвучий у Джой сжалось сердце и перехватило дыхание. «Это та самая музыка, которую я слышала внутри себя, слышала всегда, всю жизнь, та самая музыка, которой я никогда не могла дать имя...»

Улицы под оранжевой половинкой луны были пусты, если не считать редких машин. Джой слышала их еще за несколько кварталов — глухой шум их стереосистем эхом разносился меж домами. Как ни странно, но они не могли за-

глушить музыку, даже если проезжали достаточно близко. Водители выкрикивали что-то оскорбительное в адрес Джой, прежде чем унестись прочь. Джой не обращала на них ни малейшего внимания. Девочка спешила вперед, время от времени сворачивая влево или вправо, когда ей казалось, что на соседней улице музыка слышнее. Она больше не умолкала полностью, но усиливалась и ослабевала с такой капризной прихотливостью, что Джой приходилось сосредоточиваться до предела, лишь бы не упустить мелодию. Потому-то Джой так и не заметила, в каком именно месте она впервые пересекла Границу.

Там, на другой стороне, был рассвет. Вот так вот, в промежутке между двумя шагами, наступил рассвет.

Едва перешагнув Границу, Джой застыла на полушаге. Потом она очень медленно опустила ногу — под ней оказался не асфальт, а пышные заросли папоротника-орляка. Джой довольно долго созерцала свои ноги, утонувшие в траве, а потом подняла голову и взглянула в небо, подобного которому никогда прежде не видела. Это небо вполне могло принадлежать другой планете — на эту мысль наводил не его цвет и не причудливая рябь абрикосовых облаков, а невероятная чистота воздуха. Воздух был настолько прозрачен, что все вокруг выглядело ярче и ближе, чем на самом деле. Казалось, стоит протянуть руку — и можно выжать солнце, как апельсин, и выпить стакан солнечного сока на завтрак.

Привычные ей городские улицы исчезли без следа. Джой стояла на пологом склоне холма, с трех сторон окруженного высокими синими деревьями. Деревья, насколько могла разобрать Джой, походили на дубы, но их листья были синее неба — цвета внезапно вспомнившихся девочке глаз Индиго. За деревьями зеленели другие холмы, повыше. В противоположной стороне поблескивала под солнцем водная гладь, а с третьей стороны раскинулись луга, покрытые ковром диких цветов. «Какая же здесь глушь! Ни домов, ни дорог, ни людей. Наверно, здесь все совершенно дикое».

От страха девочку уберегла музыка. Эта музыка теперь звучала повсюду — она явно сделалась ближе, хотя определить, откуда именно она исходит, по-прежнему было невозможно. Даже здесь эта музыка, радостная и беспечная, то

вздымалась, то ослабевала. Казалось, она сочится из камней, словно голос самой весны, звенит над травами и землей вместе с песней кузнечиков и дождем льется на Джой. Джой решила пока что не думать ни о чем, кроме музыки, — со всем прочим можно будет разобраться попозже. Девочка быстро огляделась, дернулась туда-сюда и в конце концов решила двинуться в луга, прочь от деревьев. «Там мне будет лучше слышно, это точно. Я найду ее. Она хочет, чтобы я ее нашла».

Джой шла следом за музыкой через зеленое море трав высотой по колено. Время от времени она останавливалась, рассматривая цветы — длинные оранжевые язычки или угольно-черные глянцевитые бутоны. Джой уже довольно далеко отошла от склона, когда музыка внезапно смолкла. Девочка испытала почти что физическое потрясение и принялась испуганно озираться по сторонам. И тут ее спины коснулась тень, тяжелая и холодная, словно змея.

Казалось, что и без того широкий луг сделался еще шире. Но при этом, куда бы ни взглянула Джой, травы темнели и никли, оставляя ее без малейшего укрытия перед лицом какой-то непонятной угрозы. Тень же двигалась слишком быстро и слишком высоко, так что Джой была уверена лишь в одном — ее отбрасывает огромное скопление маленьких летающих существ — «Но это не птицы, нет-нет, не птицы!» — и что они щебечут на лету, переговариваясь друг с другом, — точнее, клекочут, издают холодное пощелкивание. Джой развернулась и бросилась к деревьям.

Тень тоже повернула — почти в ту же секунду. Джой, даже не оглядываясь, чувствовала темный след у себя на коже. «О господи, мне же нельзя двигаться, они меня заметят!» Теперь мягкая трава опутывала тяжелые туристские ботинки Джой, а оранжево-черные цветы норовили вцепиться в ноги. Холодное пощелкивание тем временем приближалось, а синие деревья казались все такими же далекими. Этот ужасный звук заполонил голову Джой. Девочка спотыкалась на каждом шагу и лишь чудом ухитрялась не упасть. Воздух жег легкие. Джой чувствовала, как тень наискось проходит через ее сердце.

Шатаясь, девочка последним отчаянным рывком нырнула в другую тень — душистую, сулящую убежище — и рухнула ничком. Джой тут же подхватилась, нетвердым шагом

преодолела еще несколько ярдов и снова упала. Но даже лежа, Джой вцепилась в древесные корни и постаралась подтянуться вперед. И тут она услышала у себя над ухом чей-то незнакомый голос. Незнакомец сказал:

— Не шевелись, дочка. Замри.

Вот уж чего она не ожидала здесь услышать! На мгновение Джой померещилось, что преследовавший ее звук каким-то образом преобразовался в эти слова. Но незнакомец продолжал:

— Думаю, деревья их остановят, — и Джой поняла, что в этом голосе нет ни алчного пощелкиванья, ни холодящего кровь нетерпеливого рвения. Это был совершенно обычный, слегка грубоватый голос, который произнес: — Они не любят деревьев, — а потом, когда Джой начала приподнимать голову, незнакомец прикрикнул: — Тихо! Замри!

Джой послушно застыла, хотя глаза щипало от пыли, а какой-то корень больно впился ей в бок. Тень медленно удалялась — девочка по-прежнему могла чувствовать ее, точно так же, как слышала гневный клекот, потрескивавший у нее над головой подобно сухой грозе. Потом Джой слегка шевельнула неловко подвернутой рукой, и незнакомец ее не одернул. Тогда Джой, приободрившись, повернула голову в ту сторону, откуда доносился голос. Сперва девочка ничего не увидела, хотя на нее пахнуло теплым острым запахом, до странности знакомым. «Похоже пахнет в школьной душевой, когда ее только что вымоют». Потом Джой увидела его.

Незнакомец был на голову, если не больше, ниже девочки, и его облик настолько точно совпадал с иллюстрациями в книжках по мифологии, что Джой одолел приступ смеха, такой же внезапный и неудержимый, как чихание. Незнакомец лукаво усмехнулся, показав крепкие зубы, испачканные соком ягод. Губы обрамляли борода и усы. Смуглое треугольное лицо было почти человеческим, если не считать заостренных ушей — вправду заостренных, куда более острых, чем у Индиго, — и желтоватых козьих глаз с узкими горизонтальными зрачками. Ноги его — опять же как в книжках — заканчивались раздвоенными козьими копытами, и в том месте, где у человека находились бы колени, сгибались назад, как у козы. Незнакомец был совершенно нагим, но его грудь, живот и ноги покрывала грубая темная шерсть,

прямая, спутанная и пыльная. А волосы у него на голове вились такими буйными упругими кудрями, что оттуда едва-едва проглядывала пара маленьких рожек. Джой глазела на него разинув рот, и незнакомец все шире расплывался в улыбке.

— Меня зовут Ко, — сообщил незнакомец. — Я тебе нравлюсь? Не стесняйся, можешь любоваться мной, сколько угодно.

Он разгладил бороду — пальцы у него были корявые, с обломанными ногтями — и добавил:

— В молодости я был красивее, но тогда мне недоставало жизненного опыта зрелости, которым я обладаю теперь.

К Джой наконец-то вернулся дар речи, хотя вместо слов пока что получалось лишь хриплое карканье.

— Я знаю, кто вы такой! Я видела на картинке! Вы — фавн, или — ой, как же там? — а, сатир! Вы — настоящий сатир!

На лице Ко появилось легкое удивление.

— Это так меня называли бы в вашем мире? — Он пару раз попробовал произнести новое слово, потом пожал плечами: — Ну что ж, довольно неплохо для чужаков из Внешнего мира. Во всяком случае, вам так привычнее.

— Эти существа... — прошептала Джой. Ко мгновенно понял, кого она имеет в виду.

— Перитоны — называем мы их, а себя наш народ зовет тируджайи. Тебе очень повезло, что ты ускользнула от них, дочка. Немногим это удавалось. Так что давай немного посидим здесь, и говорить лучше потише. Они очень терпеливые, эти перитоны.

Джой повиновалась — только устроилась поудобнее, подтянув локти под себя.

— Вы сказали: «В вашем мире», — обратилась она к сатиру. — Если я... если я на самом деле не в своем собственном мире... где же тогда я нахожусь? — и девочка затаила дыхание. Она совсем не была уверена, что ей хочется услышать ответ.

— Ты в Шей-рахе, — отозвался Ко. Когда он произнес это слово, Джой показалось, что ее щеки коснулся легкий ветерок. Она прижала ладонь к щеке и переспросила:

— Где-где?

— Это место называется Шей-рах, — повторил сатир. — Скажу тебе прямо: ты далеко не первый чужак, отыскавший

дорогу сюда. Но таких уже очень давно не бывало, и я очень рад, что встретил тебя. Мне всегда нравились чужаки из Внешнего мира.

Пощелкивание перитонов понемногу удалялось — теперь Джой приходилось напрягать слух, чтобы его услышать. Девочка уселась и попыталась протереть глаза и вытряхнуть землю из волос. Она осторожно произнесла:

— Меня зовут Джозефина Анджелина Ривера. Чаще меня называют просто Джой. Я живу на улице Аломар, в городе Вудмонте, только это не настоящий город, а скорее большой бестолковый пригород к востоку от Лос-Анджелеса. Моя мама занимается продажей недвижимого имущества, а папа — компьютерами и всякой электроникой. Еще у меня есть брат — совершенно чокнутый, — и бабушка. Она живет в одном из этих заведений для престарелых, хотя мне это очень не нравится. Я учусь в школе «Риджкрест». Послезавтра мне нужно идти к зубному. Что я делаю в месте, которое называется Шей-рах?

Она обвела взглядом любопытную рожицу сатира, стоящие вокруг синие деревья, землю — из травы на нее уставилась малиновая улитка размером с мячик для софтбола.

— Ну, в смысле... мне же полагается сейчас лежать в своей постели... — тихо произнесла Джой.

Тут опять зазвучала музыка, хотя Джой по-прежнему не могла сказать, откуда она исходит. Джой припомнила, что сатиры играли на таких прикольных дудочках — из бамбука или из чего-то вроде этого, — но у Ко в руках ничего не было. Он почесывался, и, кажется, сейчас это занятие полностью поглощало его внимание. Кроме того, на этот раз музыка снова доносилась откуда-то издалека. Ко потянулся — от него и вправду воняло, как от козла, честное слово! — еще раз со вкусом почесал себе седалище, — да так, что забавный хвостик сатира заходил ходуном, словно пропеллер, — и в конце концов сказал:

— Ну что ж, думаю, теперь мы в безопасности. Идем, дочка?

Нелепость ситуации — фавн называет ее дочкой! — невольно заставила Джой хихикнуть.

— Идем? — переспросила она. — Куда?

Ко приподнял кустистую бровь, идущую чуть наискось.

— Повидаться со Старейшими — куда ж еще? Старейшие знают, что нужно делать.

— Старейшие? — Джой подхватилась на ноги. — Что за Старейшие?

Ко улыбнулся, но промолчал. Джой не унималась.

— Я не могу никуда идти — мне завтра в школу! О господи, у меня завтра контрольная! А мои папа с мамой? Что, если они проснутся и обнаружат, что я исчезла, как... Послушайте, я не знаю, как я здесь очутилась, но должен же существовать какой-то способ отсюда выбраться! Просто укажите мне, откуда я пришла, а там я уж сама доберусь. Я ужасно сожалею, но мне и вправду нужно домой!

В улыбке сатира появилось сочувствие.

— Дочка, ты не сможешь сейчас пересечь Границу. Луна уже зашла.

— Границу... — повторила Джой. — Какую границу? При чем здесь луна? О чем вы?

Но Ко уже шагал среди деревьев. Джой заковыляла следом за ним, отчаянно стараясь не отставать.

— Мне нужно домой! — крикнула она, догнав сатира. — Мне в школу нужно! Сколько надо идти до ваших Старейших, кем бы они ни были?

Ко повернулся, взял девочку за руку и погладил Джой по руке — ладонь у него была грубая и шершавая, как собачья лапа.

— Мы поговорим по дороге, — сказал он. — Все будет хорошо, дочка. Я в этом почти что уверен. В Шей-рахе чаще всего все заканчивается хорошо.

Глава 3

Путешествие заняло весь день. Ко избегал лугов — «Здесь, рядом с Границей, любое открытое пространство для перитонов все равно что накрытый стол» — и постоянно держался под прикрытием деревьев. Сатир шагал, не разбирая дороги. Он вел Джой через лес, потом через колючие заросли ежевики, потом снова через глухую лесную чащу, потом через подлесок, где время от времени попадались испещренные солнцем прогалины. На этих прогалинах порхали не-

правдоподобно яркие птицы — такие яркие, как будто их нарисовал младший брат Джой, — и голоса их были, как шелест ветра над водой и журчанье воды по камням. Пара маленьких черно-золотых птичек некоторое время следовала за путниками. Они вились и порхали вокруг курчавой головы сатира и что-то щебетали прямо в его волосатые уши. Ко не отвечал — и это немного успокоило Джой, — но слушал очень внимательно.

Несколько раз у Джой возникала твердая уверенность, что за ними внимательно следят. Когда это случилось впервые, девочка резко затормозила и принялась осматриваться, но вокруг никого не было видно. Это происшествие напомнило Джой, как Абуэлита поддразнивала ее и подбивала попытаться увидеть собственное ухо. Мысль об Абуэлите наполнила Джой печалью, и девочка перестала озираться. Но она по-прежнему чувствовала, что кто-то следит за ней и внимательно изучает ее — не то синие деревья, не то ветер.

Через одну из прогалин бежал прозрачный ручей, и Джой присела рядом с ним, крикнув Ко, чтобы тот ее подождал. Вода была холодной и вкусной. От этого вкуса по телу Джой пробежал легкий трепет. Наклонившись к ручью, чтобы попить еще, девочка увидела в воде свое лицо — смуглое, худощавое, совершенно обыкновенное — и по привычке показала ему язык. Но на этот раз из-под ее лица, через него, проступило другое лицо, разбило отражение Джой россыпью хихикающих пузырьков, показало девочке остренький зеленый язычок и рассмеялось с бесстыдной радостью. В этом смехе таилась своя нескончаемая музыка. Джой завизжала, подхватилась и, не разбирая дороги, ринулась следом за сатиром. Она налетела на Ко, чуть не сбив его с ног, и уткнулась ему в плечо. Сатир принялся поглаживать ее по голове грубой, поразительно сильной рукой и приговаривать:

— Ну, успокойся, дочка, старый Ко тут. Что тебя так напугало?

Джой рассказала о происшествии и была взбешена — сатир и сам расхохотался. Он то складывался пополам, то принимался хлопать себя по бокам.

— Дитя, — выдохнул Ко, когда к нему вернулся дар речи, — дочка, это всего лишь ручейная джалла, и ничего больше. Они безвреднее мелкой рыбешки, и на них обычно

никто не обращает внимания. У них просто дурацкое чувство юмора, только и всего.

Потом сатир резко посерьезнел и добавил:

— А вот те, которые в реках, — те совсем другое дело. Взрослая речная джалла утащила бы тебя в глубину и сейчас обгладывала бы твои косточки. Никогда — слышишь, никогда! — не подходи к реке, если только с тобой не будет меня или кого-нибудь из Старейших. Ты меня поняла, дочка?

— Да, — прошептала Джой, потом спросила: — Почему вы постоянно называете меня дочкой? Я хочу сказать: если я в чем-то сейчас и уверена, так это в том, что я не ваша дочь.

Испугавшись, что ее слова обидят сатира, Джой поспешно добавила:

— То есть все нормально, я не против — но просто я же все-таки не ваша дочка...

Ко улыбнулся. На мгновение его желтые глаза наполнились теплым золотом и крохотными черными искорками.

— Детка, мне ведь уже стукнуло сто восемьдесят семь! — сказал он. — Когда доживешь до моих лет, имеешь право кого угодно называть так, как тебе заблагорассудится. Я называю тебя дочкой потому, что мне это нравится — вот и вся причина. Ладно, пора двигаться. До Старейших еще далеко. Иди за мной.

Теперь Джой старалась держаться поближе к сатиру. Некоторое время они двигались под сенью синих деревьев, потом снова вышли на относительно открытое пространство, покрытое рощами других деревьев — ниже и стройнее синих. Эти рощицы были рассыпаны по цветущим склонам холмов, словно узор витража. Вид здешних цветов был непривычен Джой, но в их запахе чудилось нечто щемяще знакомое. Этот запах снова заставил Джой подумать об Абуэлите. Об Абуэлите, которая всегда разговаривала слишком громко, потому что постепенно глохла, и которая нарочно говорила по-испански тем больше, чем меньше говорили на этом языке родители Джой. Об Абуэлите, которая любила всякую музыку, но больше всего — песни своей внучки, и которая пахла лучше всех на свете.

Джой даже остановилась, поглощенная собственными мыслями.

«Целая страна пахнет, как Абуэлита! Ох, как же домой

хочется — до сих пор я и сама этого не понимала! Абуэлита, это ты меня в это втянула! Не знаю как, но это все ты! Пусть только с тобой ничего не случится до того времени, как я вернусь! Ладно, Абуэлита?»

Джой бросилась вдогонку за Ко. Сатир перехватил ее на бегу и молча указал на скальный выступ, лежащий у них на пути. Тропу неспешно пересекала белая змея. Она была толще ноги Джой и при этом не длиннее той же самой ноги. Цвет змеи напоминал городской снег. И еще у нее было две головы. Одна — та, которая на хвосте, — кажется, спала. Во всяком случае, глаза у нее были закрыты, и эта голова просто волочилась в пыли вслед за телом. Но блестящие черные глаза передней головы были широко открыты. Продвигаясь вперед, змея не переставала искоса наблюдать за девочкой и сатиром, и во взгляде ее смешивалось предостережение и презрение. Ко сделал один лишь шаг в сторону змеи, и глаза рептилии мгновенно вспыхнули пламенем. Змея тут же вскинула голову на жирной шее и обнажила длинные клыки, сочащиеся прозрачной серой слизью. Ко отступил, и змея уползла в кусты по другую сторону дорожки. Даже когда она уже скрылась из вида, Джой слышала, как потрескивают сучки под грузным телом змеи.

— Джакхао, — сказал Ко. — Их никто не любит.

Сатир бодро двинулся дальше, но Джой не тронулась с места — ноги отказывались ее нести.

— У этой зверюги было две головы! — крикнула она вслед сатиру. — Две головы!

— Я же тебе сказал — это джакхао, — отозвался на ходу Ко. — Идем, дочка.

— Я не ваша дочка! — возмущенно крикнула Джой. — Я нездешняя! Мне сейчас полагается спать в своей постели, в моей собственной комнате! Мне нечего делать в местах, где водятся сатиры, и двухголовые змеи, и какая-то летучая дрянь, которая гоняется за тобой и норовит тебя убить, а я даже не знаю, что это такое!

Джой понимала, что у нее истерика, но это понимание было таким же далеким, как и ее дом.

— Что это за место? Кто играет эту музыку? Я просто хотела найти эту музыку — вот и все! Я ничего не сделала!

Ко повернулся и несколько мгновений с бесстрастным

видом рассматривал девочку. Потом подошел к Джой и молча обнял ее. Рогатая голова сатира неуклюже ткнулась в грудь девочки, грубая шерсть на руках раздражала ее кожу, и воняло от него хуже, чем от Кенни Роулза, ее соседа по парте. Но его объятия были очень нежными, и Джой сама обняла Ко и плакала, пока не успокоилась.

Когда она выплакалась, Ко немного отстранил ее и сказал:

— Я же сказал тебе — это Шей-рах. Это мир — такой же, как и твой, как и множество других, что летят меж звезд, — он погладил Джой по плечу. — А большего я и сам не знаю. Но я веду тебя туда, где ты сможешь узнать больше.

Джой всхлипнула.

— Мои родители проснутся и подумают, что я умерла! Они будут думать, что меня украли, — такое часто случается!

Девочка чуть не расплакалась снова, но кое-как удержалась.

— Ладно, — сказала она. — Ладно. Раз мы идем повидаться со Старейшими, так пошли. Все в порядке.

Дорога вилась по холмам, но даже со всеми этими подъемами и спусками идти по ней было легче, чем через лес. Небо было такого насыщенного синего цвета, что Джой не решалась поднять голову. Ей казалось, что если она сделает это, то упадет вверх и будет вечно падать в это бездонное синее небо. Она принялась расспрашивать Ко о перитонах.

— Я просто увидела что-то вроде тучи. Эта туча надвигалась на меня и издавала этот ужасный звук. Я даже не могу сказать, как на самом деле выглядит хоть один из них.

— Мы никогда не видели перитонов поодиночке, — задумчиво произнес сатир. — Мы даже представить себе не можем такое — один перитон. Они всегда летают огромными стаями — тучами, как ты говоришь, — и охотятся на все, что движется, и все, что поймают, сжирают на месте. После них не остается ничего, вообще ничего — говорят, что перитоны сожрут даже твою тень.

Джой припомнила ощущение леденящей тяжести, охватившее ее, когда она почувствовала тень — лишь тень! — перитонов у себя на плечах, — и девочку пробрала дрожь.

— Ладно, ну их, этих перитонов, — сказала она. — Но эта штука, которая в воде, эта джалла, и эта змея с двумя голова-

ми — как ты там ее назвал? И... — На головокружительно чистом небе промелькнула ало-золотая молния, заставив Джой задохнуться на полуслове. Потом девочка поняла, что это была птица. Но птица эта летела так быстро, что скрылась из вида прежде, чем Джой осознала: птица ослепила ее не сиянием, а единственно лишь своей красотою. — И вот это, вот это! — Джой махнула рукой в ту сторону, где скрылась птица. — Вот это! Что здесь за место? На что ни глянешь — все либо грозит тебе смертью, либо разбивает тебе сердце. Что здесь за место?

— Это была мири, — невозмутимо отозвался Ко. — Тебе здорово повезло, что ты увидела мири в первый же день, как попала сюда. На свете есть лишь одна-единственная мири, а когда она стареет, то поджигает свое гнездо и сгорает в нем дотла. А когда огонь гаснет, из пепла встает юная мири. Что ты на это скажешь, дочка?

Джой задрожала.

— Феникс... — прошептала она. — Это феникс. Мы читали о нем в школе. Но его же придумали, он бывает только в сказках. Точно так же, как сатиры — или как там вы себя называете.

Ко пожал плечами и снова почесался.

— Старейшие все тебе объяснят.

— Ага, — мрачно сказала Джой. — Старейшины. Ты бы лучше рассказал мне о старейшинах, пока мы к ним премся.

— К Старейшим, а не к старейшинам, дочка! — Ко расхохотался с искренним удовольствием и взял Джой за руку. — Я не могу тебе рассказать, что такое Старейшие, — промолвил он. — Они — это они сами, они всегда были такими, как есть, все три вида. Я не знаю, как еще можно о них сказать. Они — Старейшие.

— Тебе сто восемьдесят, или сколько там, лет, — сказала Джой. — И что, они старше тебя?

Ко радостно кивнул.

— И их — три разных вида? — Джой представила себе что-то вроде киношных инопланетян с огромными морщинистыми лысыми черепами.

— Одни из них подобны небу, — отозвался Ко. — Другие — огню, а третьи — земле. Но все они — Старейшие.

Джой вздохнула.

— Великолепно, — сказала она. — Но скажи-ка ты мне вот что: эти Старейшие — это они играют музыку? Ту музыку, которая здесь звучит.

Едва Джой произнесла эти слова, как внезапно где-то совсем рядом раздался звук одинокого рога. Мелодия была изящной и печальной, словно падение осеннего листа. Рог подхватил падающий лист, на мгновение взметнул его в небо, а потом отпустил лететь своим путем. В наступившей тишине Ко произнес:

— Нет, дочка, Старейшие не играют музыку. Старейшие и есть эта музыка.

Джой ничего не сказала.

Теперь дорога принялась взбираться вверх, потом нырнула в узкую долину, поросшую колючими деревьями. Их треугольные листья серебрились в солнечном свете. Музыка взмывала и исчезала, когда ей было угодно. Раздвоенные копытца Ко негромко цокали по дороге — и музыка оплеталась вокруг этого цокота цветущей лозой. Иногда казалось, что играет всего один или два рога, а иногда — будто их там десяток или того больше, целый оркестр. Джой пыталась распутать это многоголосие, разложить на отдельные голоса, как учил Джон Папас, — но у нее ничего не получалось.

Стайка небольших зверюшек, дремавших на прогретом солнцем валуне, проснулись и подняли головы — поглядеть, кто это там идет мимо. Джой уже почти без волнения отметила про себя, что зверюшки выглядят точнехонько как драконы с картинок, не считая того, что в этих драконах не больше шести дюймов роста и что они того же песочного цвета, как и камень, на котором они угнездились. Когда Джой взглянула в полуприкрытые глаза самого крупного дракончика, тот мгновенно принял вызов и зашипел, распахнув рыжевато-коричневые крылышки в твердом намерении защищать остальных драконят.

— Это шенди, — бросил Ко. — Раненько они в этом году.

Сатир произнес это таким тоном, каким говорят о приятной неожиданности вроде выглянувшего из-под снега цветка.

По пути Ко собирал фрукты — сладкие темно-пурпурные фиги и еще какие-то плоды, которые он называл джавадурами. Они выглядели как помесь манго с авокадо, пахли мокрой псиной, а на вкус напоминали ириски и заварной крем.

Джой, у которой крошки во рту не было после той самой полуночной чашки шоколадного молока, выпитого еще в другом мире, истребила все собранные Ко джавадуры и попросила еще. Сатир польщенно просиял и сказал:

— Тогда посиди здесь и отдохни, дочка. Лучшие джавадуры растут в чаще леса. Здешние им и в подметки не годятся, вот увидишь. Подожди меня здесь.

Джой радостно плюхнулась под дерево с забавной пупырчатой корой — оно напоминало большущий золотой ананас. Девочка мгновенно уснула, и ей приснилась Би-Би Хуанг, ее лучшая школьная подружка. Во сне они почему-то вместе купали младшего брата Джой, Скотта, и Би-Би говорила, что им нужно быть очень осторожными, потому что в мыльной пене иногда прячутся всякие странные штуки, а если они попадут Скотту в нос, он не сможет дышать. Худшего предположения Джой не слыхала за всю свою жизнь. Она принялась было что-то говорить, и вдруг поняла, что ей самой становится все труднее и труднее дышать. Ее душил запах, похожий на вонь горящего мусора, а шею терзала боль. Скотт и Би-Би исчезли, а вместо этого откуда-то появился смутно знакомый голос, и этот голос что-то кричал. Джой открыла глаза.

Холодная колючая рука плотно зажимала ей рот, а другие руки больно схватили ее под мышки. Лишь стукнувшись головой о ветку, Джой сообразила, что ее оторвали от земли и с неумолимой силой тащат наверх. Разгневанный голос продолжал что-то кричать, а окружавшие Джой золотые листья шипели и потрескивали. «Или это были другие голоса?» В какую-то секунду Джой осознала, что рука, зажимающая ей рот, покрыта чешуей, а потом и эта рука, и все прочее исчезло, и Джой грохнулась через сплетение коротких и толстых ветвей прямиком на землю. На мгновение девочка увидела склонившиеся над ней лица — золотые, с темно-зелеными глазами. Они смахивали на морды рептилий, только не вытянутые, а довольно плоские, и уши их до нелепости напоминали уши плюшевых медвежат. Потом ветви сомкнулись, и лица исчезли.

Когда Джой снова смогла нормально дышать — поначалу ей показалось, что она уже никогда не отдышится, — девочка села и набрала в грудь побольше воздуха, чтобы завопить,

призывая Ко. Но вместо крика у нее получился лишь судорожный выдох, потому что оказалось, что она смотрит прямо в разъяренные синие глаза Индиго. Он нависал над Джой — такой же невыразимо прекрасный, как всегда. Но теперь этот гнев, обращенный на Джой, придавал Индиго почти человеческий вид.

— Что это с тобой, дитя из другого мира? У тебя что, совсем мозгов нет?

Джой очумело потрясла головой и принялась растирать шею и плечи. У нее болело все тело, и еще ее начала бить крупная дрожь.

— Нужно совсем не иметь мозгов, чтобы улечься спать под деревом крийяк! — сказал Индиго. — Тебе незаслуженно повезло, что я оказался рядом!

— Что ты здесь делаешь? — прошептала Джой. — Где Ко? Я хочу к Ко...

Индиго фыркнул — на удивление похоже на Джона Папаса — и начал было что-то говорить, но сатир уже оказался рядом и крепко обнял Джой. Руки у него были измазаны липким соком.

— Я здесь, дочка, старый Ко здесь! Ничего страшного с тобой не случилось, ты просто отдохнула маленько.

Но голос сатира при этом дрожал не хуже самой Джой.

— «Отдохнула маленько»! — грубо передразнил его Индиго. — Отдохнула под крийяком — как обед, поданный на свежих зеленых листьях! Что это на тебя нашло, тируджа, что ты позволил ей спать здесь?

Ко уронил голову, и его голос сделался еле слышен.

— Я думал... говорили, что они ушли отсюда. Ты же знаешь, эти крийякви бродят с места на место, и в этом лесу их не видели уже сезона три-четыре... — последние слова он пробормотал, уткнувшись в волосы Джой.

— Они вернулись! — отрезал Индиго. — И тируджайи должны были бы узнать об этом раньше всех прочих!

Джой переводила взгляд то на Индиго, то на Ко. Когда сатир заговорил снова, его голос звучал уже более твердо.

— Дочка, я не прошу тебя простить меня. Только... только я вправду думал, что эти деревья безопасны. Я действительно так думал.

— Но что они такое? — дрожащим голосом спросила Джой. — Почему они... В смысле — а чего они хотели-то?

Ей до сих пор мерещились застывшие, жадные змеиные глаза на золотых лицах. Они стояли у Джой перед глазами, даже если она зажмуривалась.

— Никто этого не знает, — отозвался Ко. — Никто из тех, кого схватили крийякви, так и не вернулся. Они живут на этих деревьях и ловят моих соплеменников, когда им это удается, — сверху, с веток, как они почти что поймали тебя. Мы никогда не находили костей или... вообще ничего не находили, и мы не знаем... — Он так крепко сжал Джой в объятиях, что у нее заболело еще в нескольких местах.

— Я не верю в это, — сказала Джой. — Вот это, это все, так просто. Я просто не верю ни во что! И в тебя тоже не верю, — заявила она сатиру, но потом все равно уткнулась лицом в его не слишком-то ароматную шерсть.

Она слышала, как Индиго спросил у сатира:

— Куда ты ее ведешь?

— К Старейшим, конечно, — отозвался Ко. — Куда же еще я могу повести чужака?

Когда Индиго снова заговорил, его голос звучал до странности подавленно.

— Они не... — мальчик запнулся, а после паузы заговорил еще тише: — Ты знаешь, что с ними произошло, со Старейшими?

— Они по-прежнему остаются теми, кто они есть! — неожиданно страстно произнес Ко над головой Джой. — Тебе лучше моего известно, что в Шей-рахе может измениться все, но не Старейшие. Я не вижу в них никаких перемен, и мое доверие к ним нисколько не уменьшилось.

Некоторое время Индиго молчал. В конце концов он с несвойственной ему усталостью произнес:

— Ну да, конечно. Какой смысл говорить с тируджей о Старейших? Ладно, веди ее куда хочешь. Но только смотри, не оставляй ее больше под деревом крийяк. Там, по ту сторону Границы, есть один старик, который будет тебе очень признателен.

Джой так и не услышала, как Индиго ушел.

— Мне ужасно стыдно, дочка, — несчастным голосом

произнес Ко, когда Джой принялась вертеть головой — проверять, работает ли у нее шея. — Если бы не Индиго...

— Кстати, а он откуда здесь взялся? — тут же поинтересовалась Джой. — Он что, прошел через Границу следом за мной, или как?

Несмотря на глубокое сознание собственного ничтожества, Ко не сумел удержаться от улыбки.

— Разве я тебе не говорил, что через Границу можно путешествовать в обе стороны? Некоторые жители Шей-раха знают твой мир не хуже тебя.

— Так Индиго здешний... — медленно протянула Джой. — Из Шей-раха... — Она снова покачала головой, потом постучала по уху ладонью, словно стараясь вытряхнуть из него воду. — И как я раньше не догадалась? Человек, который так выглядит... Ладненько, — Джой выпрямилась и потерла рот, чтобы избавиться от кислого вкуса, оставшегося после ледяных рук крийякви. — Ладно. Идем.

К вечеру долгая дорога наконец-то пошла под уклон, и Джой разглядела на горизонте очертания леса. Несмотря на расстояние, девочка смогла разобрать, что деревья в нем не синие и не золотые, а красные — не такие, как осенние клены, а густо-рубиновые. В сумерках и стволы, и листья этих деревьев казались почти что черными. «Как будто у них внутри кровь, как у людей, а не всякий там хлороформ». Когда они подошли поближе, Джой поняла, что этот лес намного больше всех тех лесов, которые они прошли за сегодняшний день, и что Ко ведет ее прямиком в пламенеющую чащу.

— Вот здесь и живут Старейшие, — сообщил сатир. — Мы можем найти их, а можем и не найти, но дом их здесь.

— Можем не найти? — переспросила Джой. — Просто замечательно! Родители наверняка уже подняли на ноги полицию и ФБР, мистер Папас не знает, что со мной случилось, я пропускаю важнейшую контрольную — четвертную, между прочим! — а Скотт небось уже перетащил свое барахло в мою комнату. И ты мне говоришь, что мы можем даже не найти их — тех людей, которые могут отправить меня домой?

— Я сказал, что Старейшие непременно найдут выход, — отозвался сатир. — Поверь мне, дочка: найдем мы их или

нет — это не имеет значения. Они все равно знают, что лучше для Шей-раха.

— Для Шей-раха?! — возмутилась Джой. — А как насчет того, что лучше для меня?

— Это одно и то же, — произнес Ко. К нему снова вернулась былая уверенность, утраченная было после встречи Джой с крийякви. Но потом он умолк, а когда заговорил снова, его голос звучал куда менее уверенно: — Старейшие... ну, Индиго говорил... Ты должна запомнить: возможно, они не совсем те, какими были. Но это лишь предположение, имей в виду.

Джой раздраженно хлопнула себя по бедрам.

— Да я даже не знаю, что они из себя представляют!

Но в этот момент из глубины красного леса вынырнула музыка, мощная и непривычная, и породила в душе Джой некое ощущение, подобного которому девочка никогда не испытывала.

— Ну ладно. Ладно, Ко. Как-нибудь разберемся, — сказала Джой. Она впервые обратилась к сатиру по имени.

С того самого момента, как Джой вступила в красный лес — Ко называл его Закатным, — он казался ей живым существом. Даже самые нижние сучья деревьев находились высоко над головой. Тени деревьев дышали теплом. А когда Джой ступала по земле, ей казалось, что она чувствует под ногами биение жизни. Казалось, музыка Шей-раха пульсирует повсюду — не только во всем, что попадалось на глаза девочке, но и в самой Джой — и что она проникает в тот самый потаенный уголок души Джой, где зарождалась ее собственная музыка. В какой-то момент у Джой возникло ощущение, что кто-то огромный заботливо держит ее в рубиновых ладонях, и девочка облегченно перевела дыхание.

В Закатном лесу так и не стемнело по-настоящему, хотя Джой с Ко уже забрались в самую чащу. На самом деле солнце уже село, но лес продолжал светиться, и холоднее в нем не становилось. В этом сияющем спокойствии Джой слышала и торопливое шуршание маленьких лапок, и беззвучный взмах крыльев над головой, и чей-то уверенный, тяжелый топот где-то неподалеку, который в любом другом месте на-

пугал бы ее до полусмерти. Но сатир тянул ее за руку, приговаривая:

— Нам сюда, дочка, — и музыка вторила: «Сюда, сюда, сюда!»

И Джой шла за ними.

А потом красные деревья расступились, подобно высокой траве под ветром, и неожиданно Джой и Ко очутились на поляне. В небе кружил водоворот звезд — такой густой, что казалось, будто над Закатным лесом идет снег. Посреди поляны застыли в ожидании Старейшие.

Один из них был величественным и древним, как сами деревья, и таким черным, что ночь блекла по сравнению с ним. Вторая, свинцово-серая, как грозовая туча, невозмутимо наблюдала за приближением девочки. У третьей, более стройной, была изящная бородка. Эта бородка выглядела так, словно ее сделали из морской пены и расшили зеленоватыми светящимися нитями. Они стояли рядом, высоко вскинув головы. Их прекрасные хвосты реяли в алом ночном воздухе, подобно призракам, а длинные витые рога мерцали в свете звезд. А вокруг цвела музыка.

Когда Джой увидела их глаза, сердце у нее дрогнуло и перевернулось от жалости. Распухшие глаза всех трех Старейших были закрыты, затянуты плотной сине-зеленой коркой и блестели, как изумруды. Джой поняла, что Старейшие слепы.

Глава 4

Проснувшись, Джой обнаружила, что уже светит солнце. Девочка лежала под красным деревом, свернувшись клубком. От склонившихся над Джой ветвей тянуло теплом. И еще на нее смотрели два единорога. Один из них куда меньше прочих походил на существо из плоти и крови — скорее уж из морской воды и ветра. Второй, цвета звездного сияния, сильно уступал первому в размерах. Казалось, он ни мгновения не может постоять спокойно — слишком юный, чтобы бродить самостоятельно, и слишком непоседливый, чтобы иметь царственный вид. Именно легкий нетерпеливый топоток копыт маленького единорога и разбудил Джой.

Потом Джой присмотрелась, и у нее перехватило дыхание — глаза малыша уже затягивало пленкой той коросты, что лишила зрения трех великих Старейших.

Младший единорог нетерпеливо воскликнул:

— Мама, смотри — она проснулась!

Джой уселась и вытряхнула листья из волос.

— Здравствуйте, — сказала она. Голос у Джой был хриплым и словно надтреснутым, как обычно по утрам. — А где Ко?

Второй единорог шагнул вперед с неспешной текучестью ртути. Казалось, слепота не отягчила шагов кобылы и не мешала ей смотреть прямо на Джой.

— Я — Фириз, — представилась она. — А это — Турик, мой сын. Хорошо ли тебе спалось? — в негромком голосе Фириз под спокойной поверхностью плескались волны смеха.

— Пожалуй, да, — отозвалась Джой. — Мне снились потрясающие сны. Только я не уверена, сны ли это.

Девочка умолкла, потом медленно произнесла:

— Вы — Старейшие. Ко мне сказал.

— Мы — старейшие из Старейших, — откликнулась Фириз. — Кроме него, — она кивком указала на своего сына, который тем временем изучал туристские ботинки Джой. Когда Турик коснулся их своим рогом, грязь и пыль осыпались, и ботинки заблестели не хуже самого рога.

— Там был черный единорог... — промолвила Джой.

Фириз слегка понизила голос:

— Это был лорд Синти.

— Ты уснула, а он принес тебя на спине! — возбужденно перебил мать Турик. — Синти никогда такого не делал! Он всегда живет на отшибе. Его даже видели не все — далеко не все. Я до прошлой ночи тоже его ни разу не видел. Должно быть, ты — очень важная персона там, в своем мире...

— Турик! — одернула его мать. Она ничего больше не добавила, но жеребенок мгновенно притих. Фириз же пояснила: — Лорд Синти — самый старший из нас. Он... у нас нет слов, чтобы сказать, что он такое.

После этих слов кобыла рассмеялась — ее смех, неожиданный, невероятный и чудесный, напоминал журчание ручья — и добавила:

— Прошу прощения за бестактность, но я тоже не в силах

совладать с любопытством: что же такого произошло между вами, что лорд Синти лично принес тебя сюда? Он о чем-нибудь разговаривал с тобой?

Джой неуклюже потянулась.

— Не помню. Может, и разговаривал, — она улыбнулась было, но тут же согнала с лица улыбку. — Нет, это было во сне, в этом я твердо уверена. Кажется, он что-то спрашивал об Абуэлите, моей бабушке. Должно быть, это был сон, потому что откуда бы... Ну, в смысле, откуда лорд Синти мог узнать о моей бабушке, если он живет здесь, в Шей-рахе, а она — там?

— Лорд Синти знает все! — выпалил Турик. Фириз поддержала его — правда, более спокойным тоном:

— Я полагаю, что при мудрости и жизненном опыте лорда Синти мелочи вроде Границы значат мало.

Она легонько ткнула мордой Турика, который снова принялся пританцовывать на месте и явно порывался вмешаться в разговор.

— Этот мой сын еще глупенький и невоспитанный — ему ведь и двух веков нет...

— Подождите! — перебила ее Джой. — Подождите, подождите. Прошу прощения, что вы сказали? Веков?!

Она изумленно уставилась на единорогов: пылкий, опрометчивый, шустрый, как воробей, сын и неторопливо-грациозная мать — белизна морской пены, отливающая синевой и зеленью морских вод. Наползающая на глаза Фириз короста казалась злой насмешкой над ее природной мастью.

— Мы не умираем, — спокойно пояснила Фириз. — Нас можно убить, но мы не умираем естественной смертью, как умирают все прочие, даже тируджайи. Мы даже не болеем — то есть до сих пор не болели.

— Это вы о ваших глазах? — спросила Джой. — Вы и вправду ослепли? Вы все? — девочка указала на Турика. Жеребенок таки подцепил один из ее ботинков за связанные шнурки и теперь гордо выступал с этим украшением, свисающим с кончика рога. — То есть я хочу сказать — вот он вроде бы видит нормально...

— Я вижу лучше всех! — хвастливо заявил Турик.

Фириз снова одернула его и пояснила:

— Большинство молодых единорогов сохранили зрение,

но не все. Это случилось с нами совсем недавно — незадолго до рождения Турика, — и даже лорд Синти пока что не выяснил причину бедствия. Он расскажет тебе об этом куда больше, чем могла бы поведать я.

Джой глубоко вздохнула, еще раз потрясенно пробормотала: «Века!..» — и принялась сражаться со своими ботинками. Единороги тем временем ждали, со степенным любопытством наблюдая за всеми ее действиями. В конце концов Джой посмотрела на них, вздохнула и произнесла:

— А может, я тогда вышла из дома, попала под машину и теперь лежу в больнице, в реанимации?

Турик удивленно посмотрел на мать. Джой снова вздохнула.

— Нет, не думаю. О'кей, все, что я вижу, на самом деле всамделишное, и я действительно нахожусь здесь, а вы — настоящие единороги, и вы живете вечно. Только если вы не можете видеть меня, откуда же вы знаете, что я здесь?

Турик снова удивленно посмотрел на мать. Фириз мягко произнесла:

— Мы чувствуем твое присутствие. Ты отбрасываешь тень — как и деревья, и птицы, и вода, — а наше сознание ее улавливает. Мы научились двигаться, руководствуясь этим чувством, — двигаться между тенями. Точно так же мы не говорим вслух, при помощи рта, как это делаешь ты или Ко и прочие тируджайи. Мы разговариваем мысленно. Ты слышишь нас не ушами, но сознанием.

Тут появился Ко. Он нес в волосатых руках целую груду ярких ароматных фруктов. Джой узнала только джавадуры. Кроме них, она выбрала еще пару крупных красных плодов, с виду немного похожих на апельсины (правда, по вкусу они были ближе к бананам), и нечто темно-фиолетовое, как слива, но с запахом арбуза. Ко с чопорной вежливостью приветствовал двух единорогов и сообщил Джой:

— Когда ты позавтракаешь, тебя будет ждать лорд Синти.

— Ох! То есть да, конечно.

Джой поспешно проглотила фрукты, вытерла губы и уставилась на Ко, ожидая, пока он скажет, куда нужно идти. Но сатир покачал головой и пояснил:

— Иди, куда ноги несут. Там он и будет.

Турик подергал пенную гриву матери:

— А можно, я пойду с ней? Я тоже хочу взглянуть на лорда Синти. Можно?

— Когда лорд Синти пожелает тебя видеть, тебе об этом сообщат, — отрезала Фириз.

Джой посмотрела на единорогов, на сатира, снова на единорогов и наконец тихонько произнесла:

— Два века. Ни фига ж себе!

Потом она повернулась, выбрала тропинку и пошла по ней.

Закатный лес грелся в лучах утреннего солнышка и что-то благодушно бормотал. Джой казалось, что воздух пахнет свежевыстиранным бельем, развешанным для просушки, а от деревьев и светло-коричневой земли исходил легкий аромат корицы. Когда девочка остановилась и прислонилась к огромному красному стволу, она ощутила, как под замшелой корой струится жизнь. Прямо перед ней на ветку уселась птичка, золотая, как подарок в праздничной упаковке, и запела с такой простотой и страстностью, что перед этой песенкой блекла даже волшебная музыка, приведшая Джой в Шей-рах. Какое-то сиренево-синее существо, напоминающее помесь тритона с богомолом, уселось Джой на правую ногу и уставилось на девочку. В глазах существа читалось глубокое чувство собственного достоинства.

— Привет, — сказала Джой. — Ты тоже разговариваешь мысленно?

Но едва она открыла рот, неведомая зверушка стрелой метнулась прочь. А Джой пошла дальше.

Она заметила черного единорога лишь тогда, когда он вынырнул невесть откуда и зашагал рядом с ней. Остальные три единорога были ростом с оленей, но Синти был так высок, что Джой пришлось запрокинуть голову, чтобы посмотреть ему в глаза, так же жестоко изукрашенные, как и глаза леди Фириз. Но, слепые или нет, глаза единорога были столь глубоки, что у девочки закружилась голова. Джой споткнулась, и ей, чтобы не упасть, пришлось ухватиться за бок лорда Синти. Кроме потрясающего ощущения тепла под рукой — «единороги кажутся прохладными, но на самом деле они теплые, как печка», — Джой ощутила еще и неслышный

смех — наподобие беззвучного урчания кошки. От лорда Синти пахло апельсинами.

— Мне нужно домой, — сказала Джой. — Это главное. То есть я хочу сказать — мне здесь нравится, здесь вправду здорово, и я бы совсем не прочь побыть здесь еще немного, но мне надо возвращаться.

Голос Синти омыл Джой с головы до ног, подобно водам Шей-раха.

— Я могу указать тебе путь.

Джой остановилась как вкопанная.

— Можете? Но Ко сказал, что я не могу попасть домой, потому что Граница переместилась, или что-то в этом духе. Я не совсем поняла. Как Граница может перемещаться?

Черный единорог взглянул на девочку с высоты своего роста. Его рог был как щель в полночь среди красных утренних деревьев.

— Она перемещается, потому что Шей-рах движется.

Синти немного помолчал, потом продолжил, роняя тщательно подобранные слова в ошеломленное молчание Джой:

— Существует множество миров, но наш Шей-рах неким способом, который мне и поныне не до конца ясен, соприкасается именно с вашим миром. Мы проплываем через него, скользим через него, подобно тени облака. Мы можем задержаться на одном месте на день или на тысячу лет — если Шей-рах так пожелает. Но Граница существует всегда, и те, кто действительно чувствует нашу музыку, способны пересекать ее в любом направлении в любую ночь, пока в небе стоит луна. Чтобы попасть в Шей-рах или выйти из него, нужны лишь три вещи: сильное желание, музыка и немного луны.

— С ума сойти... — прошептала Джой. — Просто с ума сойти!

Внезапно она умолкла и схватилась за голову.

— О господи, сколько же я здесь пробыла? Я почему-то потеряла счет времени. Мои родители там с ума сойдут. Мне нужно немедленно вернуться!

И снова тихий смех Синти эхом отдался в теле Джой, хотя на этот раз девочка не прикасалась к единорогу.

— В Шей-рахе время течет иначе. Когда ты вернешься, никто даже не заметит твоего отсутствия. Это я тебе обещаю.

— Подождите! — воскликнула Джой. — Подождите-по-

дождите-подождите! Вы хотите сказать, что я могу пробыть здесь сколько угодно, а когда я вернусь домой, там будет все та же самая ночь? Ух ты! Прошу прощения — я вовсе не хочу показаться невежливой, но для меня это все чересчур необычно. У меня внутри делается как-то странно от одной мысли об этом.

Синти не ответил. Джой шла рядом с ним, стараясь сосредоточиться исключительно на музыке. Сейчас, в присутствии единорога, она была чище и сильнее, но оставалась все такой же неуловимой и дерзко плясала среди ручьев, камней и красных деревьев, где ей только вздумается. Девочка нерешительно спросила:

— А почему вы все ходите слепыми? Я имею в виду, что за эти века вы наверняка уже могли что-нибудь придумать...

— Это как-то связано с вашим миром, — отозвался черный единорог. — Со связью между нашими мирами. Это все, что мне известно, а этого недостаточно, — голос, звучавший в сознании Джой, был исполнен горечи. — Я — Синти. Я — старейший среди Старейших. Предполагается, что я должен быть и мудрейшим среди мудрых. Я никогда прежде не подводил мой народ, никогда не подводил Шей-рах. С каждым днем множество единорогов видят все хуже и хуже, но живут в полнейшей уверенности, что я в конце концов отыщу лекарство. А я не могу помочь ни им, ни себе. Я не могу им помочь!

— Мне очень жалко... — сказала Джой. — Правда жалко. У меня в мире придумали много всяких лекарств для глаз, но мне почему-то кажется, что здесь, в Шей-рахе, они вряд ли подействуют.

Синти снова ничего не ответил, и они продолжали в молчании шагать рядом. Джой видела, как Закатный лес согревается и расцветает навстречу черному единорогу. Неизвестные ей цветы спешили распуститься у его ног, неведомые звери и полузвери выбирались из подлеска — посмотреть на проходящего лорда Синти и поклониться ему. А на пределе слышимости звучал голос самого леса.

Внезапно Синти остановился, и Джой вновь ощутила то сладкое и пугающее головокружение, что возникает, если долго смотреть в глаза Старейших, хотя сами они могут при этом на тебя и не смотреть.

— Слушай меня, — сказал единорог. — Есть вещь, которую некоторым смертным следует знать. Слушай хорошенько, Джозефина Анджелина Ривера.

Произнесенное этим безмолвным голосом, ее имя струилось, как ручей, и звенело, как колокола. Джой даже не представляла себе, что такое возможно. Она послушно кивнула, и Синти произнес:

— Мы можем изменять облик. Мы можем выглядеть подобно вам.

Джой снова кивнула. Синти продолжил:

— Нечасто, совсем нечасто. Я не менял облик уже очень долго, а большая часть нашего народа вообще забыла, как это делается. Но это так: мы можем принимать человеческий облик и проходить через Границу в ваш мир. Иногда мы так и делаем. Ты встречалась со Старейшими и прежде, Джозефина Ривера.

Джой краем глаза уловила на дереве, высоко над холкой единорога, мимолетное движение — какое-то зеленое пятно — и услышала, как вверху резвится музыка Шей-раха. Синти тем временем продолжал:

— В течение всей нашей истории всегда находилось несколько представителей нашего народа, которые странствовали по вашему миру. Большинство появлялись там лишь ненадолго, на краткие отрезки вашего времени — чтобы стать лишь мимолетным проблеском чуда, в которое не верят, но позабыть не могут. Но были и другие — немногие, очень немногие... Приходилось ли тебе слышать легенды о бессмертных странниках, которых знали в разных местах под разными именами и которые странствовали дольше, чем может прожить человек? Это были Старейшие, что изучали ваш мир и составляли его карты. Но все же в свое время всем им приходилось возвращаться в Шей-рах. Ваш мир убивает нас — кого раньше, а кого позже — но вторых немного. Мы об этом никогда не забываем.

Джой вспомнился тот мальчишка, Индиго. Индиго, который сверкал в полумраке музыкального магазинчика Джона Папаса, подобно лезвию ножа. Индиго, который наиграл первые, ошеломительно радостные ноты той музыки, что в конце концов увела ее из одного мира в другой. Джой попыталась набраться мужества и спросить лорда Синти об

Индиго, но она так и не нашла нужных слов и вместо этого выпалила:

— А когда вы... когда Старейшие принимают наш облик, что случается с рогом?

— Когда мы изменяемся, наш рог отделяется от тела, — ответил Синти. — Мы всегда носим его при себе. Мы вынуждены это делать — иначе мы не сможем вернуться домой. А Старейший, который не может вернуться в Шей-рах, обречен на гибель.

Неожиданно Джой стало холодно, и девочку пробрал озноб, несмотря на ласковое утреннее солнце Шей-раха.

— А если кто-нибудь потеряет свой рог или, скажем, продаст его...

Черный единорог уже успел шагнуть вперед. При этих словах он обернулся и взглянул на Джой сверху вниз. И внезапно Джой испугалась — так она не пугалась даже тогда, когда за ней гнались перитоны. Она попятилась и снова услышала в своем сознании голос лорда Синти:

— Я не знаю, что означает слово «продаст», Джозефина Ривера.

А потом он ушел — так же беззвучно, как и появился, и так быстро, что Джой не могла бы сказать, в каком же направлении он скрылся. Девочка попыталась было позвать его, но ей тут же показалось, что это слишком дерзко с ее стороны. Джой на миг заколебалась, потом повернула и быстро пошла вперед, куда глаза глядят, и шла так, пока не добралась до опушки Закатного леса.

И там, на залитой солнцем равнине, где не было деревьев, а одни лишь полевые цветы, рассыпавшиеся по склонам синевато-зеленых и зеленовато-синих, более дальних холмов, Джой увидела Старейших. Их были десятки, если не сотни, и все они были разноцветные — отнюдь не только белые, как на тех картинках, что доводилось видеть Джой, но и коричневые, и серые, как грозовая туча, и черные, как лорд Синти, и темно-красные, как деревья Закатного леса. Было даже несколько золотисто-розовых, цвета зари. Некоторые из них паслись, другие же восторженно носились по лугу, состязаясь в скорости. Жеребята энергично и весело фехтовали своими маленькими рожками. Некоторые сбивались в небольшие группки и клали головы друг другу на спины, а не-

которые держались на отшибе, застыв изваяниями. Единорогов было так много, что Джой не могла охватить взглядом их всех, а музыка их присутствия переполняла душу девочки. Ошеломленная и очарованная, Джой пошла к единорогам, не сознавая, что делает.

Единороги не обращали на девочку внимания, пока она не подошла поближе. Потом они принялись один за другим поднимать головы, и среди них начал шириться легкий журчащий шум — не пронзительное тревожное ржание лошадей, а негромкий звук, состоящий из двух нот и напоминающий пение птиц. Некоторые единороги предпочли тут же убраться подальше, но большинство остались стоять на прежних местах либо слегка отодвигались, давая Джой пройти. И только два единорога двинулись прямо к девочке. Таких, как они, Джой еще не попадалось: оба единорога были красными, ростом с лорда Синти, но более массивными. Их шеи бугрились от мускулов, поддерживающих рог. А рога у обоих были знатные — в добрых три фута длиной. Копыта у них были крупнее, а хвосты и гривы — гуще и грубее, чем у всех прочих. Приблизившись к Джой, единороги издали негромкий предупреждающий звук.

— Я — Джой, — громко произнесла девочка. — Я друг Синти, то есть его знакомая.

На всякий случай она решила не шевелиться.

Красные единороги остановились на расстоянии длины рога от нее. В отличие от прочих единорогов, которых доводилось видеть Джой, от этих вблизи исходил сильный и едкий запах, как от львиных клеток в зоопарке. Они ничего не говорили, лишь смотрели то друг на друга, то на Джой, и в горле у них клокотал яростный гул, похожий на рычание.

— Я не делаю ничего плохого, — сказала Джой.

Она так и не выяснила, что могли бы предпринять эти огромные создания, потому что между ней и красными единорогами вклинилась маленькая фигурка, и в сознании у нее зазвучал гордый вопль Турика, сына Фириз:

— А, вот и ты! Пошли!

Расходившегося Турика было так же невозможно остановить, как и Скотта, младшего братца Джой. Жеребенок принялся подталкивать Джой с рвением буксирного пароходика и тащить ее прочь от красных единорогов. Те не предприни-

мали ни малейших попыток вмешаться, но, оборачиваясь, Джой видела, что единороги не спускают с нее подозрительных взглядов.

— Не обращай на них внимания! — сказал Турик. — Они ничего дурного не хотели. Просто каркаданны — они такие.

— Уф-ф! Они просто жуткие! — выдохнула Джой. — Вовремя ты появился. Как ты их назвал?

— Кар-ка-дан-ны, — старательно повторил Турик. Потом жеребенок выгнул шею дугой и взглянул на Джой через плечо. — А теперь мы можем поиграть. Забирайся ко мне на спину.

— Куда-куда?!

Холка Турика находилась на одном уровне с плечами Джой.

— Я слишком большая, — сказала девочка. — И ноги у меня чересчур длинные. Тебе будет тяжело...

— Забирайся! — нетерпеливо повторил Турик. — Стисни ногами мои бока, держись покрепче и не беспокойся. Пошли — я хочу тебя показать своим друзьям!

Джой сглотнула и, набравшись духу, неуклюже вскарабкалась на спину маленького единорога. Спина оказалась шире и куда сильнее, чем могла бы предположить Джой. Девочка прижалась к шее Турика, жеребенок напружинился и со всех своих тонких ножек ринулся вперед. Со второго шага он перешел в галоп, и перепуганной Джой все время казалось, что Турик вот-вот налетит на кого-нибудь из пасущихся единорогов, имевших несчастье оказаться у него на дороге. Но большинство их них, не глядя, изящным движением отодвигались в сторону. Правда, несколько жеребят встали на дыбы, пронзительно заржали, принимая вызов Турика, и помчались за ним следом. Солнечный луг звенел и дрожал от топота их копыт.

Джой выпрямилась, очень медленно и осторожно. Турик мчался так быстро, что глаза девочки заслезились от встречного потока воздуха. Все вокруг превратилось в стремительное мелькание размытых пятен. Вся прочая музыка потонула в барабанном бое ударяющихся о землю копыт. Джой чувствовала ногами, что шаг Турика легок и размерен и что дыхание жеребенка нисколько не участилось, — и понимала, что

Турик даже не особенно напрягается. «Он играет. Он просто играет».

Слева от Турика мчался серебристо-серый единорог, а справа — черный, но никому не удавалось его обогнать. Джой наконец-то осмелилась повернуть голову и теперь, обернувшись назад, изумленно разглядывала друзей и приятелей Турика — водоворот красок затопил луга Шей-раха, подобно буйству весенних цветов. Жеребята перекликались на скаку, и Джой поняла, что ей знакомы эти звонкие, пронзительные возгласы — они были частью музыки, которую играл Индиго в магазине мистера Папаса, той самой музыки, которая привела Джой из собственной спальни сюда, в Шей-рах. Джой запрокинула голову, забарабанила пятками по бокам Турика и радостно завизжала, стараясь перекричать ветер.

Единороги домчались до подножия окружающих холмов и только там замедлили бег. Их чистое, ничем не замутненное веселье, переполнявшая их радость жизни отзывалась и в Джой. Девочка чувствовала, как в ней теснятся голоса, радостный смех и образы, для которых у нее не находилось подходящих слов. Но больше всего было музыки — великолепной, озорной, пугающей и безгранично умиротворяющей музыки Шей-раха. «Ко был прав — это их музыка. Они и есть эта музыка».

Когда Турик наконец-то остановился, Джой соскользнула со спины жеребенка и прижалась к его боку, хватая ртом воздух и заливаясь смехом.

— Это было здорово! — ухитрилась наконец выговорить она. — Просто здорово!

— Я могу бежать намного быстрее! — похвастался Турик. — Однажды, когда я был маленький, я перегнал целую стаю перитонов.

Джой встревоженно взглянула в небо. Турик поймал ее взгляд и пояснил:

— Они никогда не нападают на табун — только на одиночек, да и то маленьких. В общем, я их не боюсь!

— Ну а я боюсь, — сказала Джой. — Я боюсь здесь почти всего, кроме Ко и вас. Боюсь этих двухголовых как-их-там, и тех тварей на деревьях, которые чуть меня не утащили, и каких-то там джалл, которые сидят в воде...

Турик расхохотался.

— Ручейных джалл? Да как же можно бояться глупых мелких ручейных джалл?

Он быстро огляделся по сторонам, подтолкнул девочку плечом и сказал:

— Пошли, сама увидишь.

Остальные молодые единороги остались на лугу и принялись пастись или игриво бодаться, как прежде. Некоторые разлеглись на солнышке, не закрывая глаз — у большинства жеребят, как и у Турика, уже появились первые признаки подступающей слепоты, — и застыли в полнейшей неподвижности, и даже музыка их словно бы поутихла. Джой повернулась, чтобы последовать за Туриком, и вдруг заметила, что один из единорогов смотрит на нее.

Он был белым, как лилия, и его рог пламенел огнем в лучах солнца, но в глазах его было нечто такое, что заставило Джой замереть на месте. Глаза этого единорога были чистыми и незамутненными. И это были глаза Индиго. Джой шагнула к нему, но он отступил и исчез среди соплеменников, исчез так бесследно, что девочка даже не была теперь уверена — а вправду ли она его видела?

Турик завел Джой высоко в холмы. Они шли по тенистой тропинке, а где-то впереди журчала вода. Ручей тоже прятался в тени деревьев. Когда девочка и единорожек приблизились к ручью, по воде плыли красные листья и одно синее перо. Турик подошел к кромке воды и трижды издал негромкую призывную трель. Ничего не произошло. Турик повторил призыв.

Неожиданно вода у его ног взвихрилась, всплеснула, и оттуда вынырнула ручейная джалла. Она наполовину высунулась на берег и засмеялась, показывая мелкие острые зубки.

— Вот так-так! — воскликнула она. — Один из Старейших и чужачка. Поразительно!

Джалла была меньше Джой — ростом примерно с десятилетнего ребенка. Она была совершенно нагой, а ее кожа, испещренная пятнышками солнечного света, отливала иссиня-зеленым. С круглого детского лица смотрели миндалевидные глаза — «того же цвета, что и ее кожа», — но в них светилось

совершенно взрослое озорство. Джой предположила, что у джаллы должен быть хвост, как у русалки, но пока что не могла твердо сказать, действительно ли это так. На руках ручейной джаллы блестело что-то вроде мыльных пузырей, и Джой поняла, что между пальцами у нее натянуты тонкие перепонки.

— Поразительно! — повторила ручейная джалла. — Я никогда не видела чужаков. Подойди поближе, дитя.

Джой вопросительно взглянула на Турика, потом подошла к кромке воды и присела на корточки, чтобы ее глаза оказались на одном уровне с миндалевидными глазами джаллы.

— Меня зовут Джой, — представилась она.

Ручейная джалла издала звук, напоминавший шорох золотых монет в шкатулке Джона Папаса.

— А это — мое имя, — пояснила она и рассмеялась, когда Джой попыталась воспроизвести этот звук. — Пойдем, поплаваем вместе! Я научу тебя ловить рыбу.

Джой быстро помотала головой и с удивлением увидела, как ручейная джалла отвела свои странные глаза.

— Я не причиню тебе вреда, — сказала джалла. — Нам, джаллам, очень нужна компания, а я здесь одна во всем ручье. Я выросла в одиночестве.

— Мне очень жалко, — сочувственно произнесла Джой. — Это и вправду очень печально. А ты не можешь просто перебраться в другой ручей?

— Мы живем и умираем там, где родились, — отозвалась джалла. — Я нахожу себе приятелей как могу — птиц, водяных змей, иногда даже кого-нибудь из Старейших, — но никто из них не плавает со мной, а я не могу войти в их лес.

Джалла встала, и оказалось, что у нее не хвост, а ноги. Только ноги эти были трехпалыми, с очень маленькими ступнями и совсем не годились для ходьбы по земле.

— Мы созданы для плавания, — сказала джалла и прикоснулась своей перепончатой рукой к руке Джой. Прикосновение было легким, словно мимолетное касание мыльного пузыря.

Джой снова посмотрела на Турика. Но жеребенок не дал ей никакой подсказки. «Ко говорил, что они безвредные. Съесть могут какие-то другие, а не эти. Кажется, так». Джой принялась раздеваться.

Вода действительно оказалась очень холодной. Почти у самого берега начиналась глубина. Джой ушла под воду с головой, но тут же выскочила на поверхность, хватая ртом воздух и оглядываясь — где же ручейная джалла? Вокруг не было ни малейших признаков присутствия джаллы — до того самого момента, пока перепончатая рука не ухватила Джой за лодыжку и не потянула в глубину. На миг девочка запаниковала и принялась брыкаться, колотя руками по воде — «О господи, какая она сильная!» — но хватка немедленно разжалась, и ручейная джалла оказалась рядом с Джой. Миндалевидные глаза сверкали от радости.

— Вот! — крикнула джалла. — Вот так мы играем! А теперь твоя очередь!

Джой попыталась было спросить, какая такая очередь, но джалла снова исчезла. Тут у девочки в сознании зазвучал возбужденный голос Турика, наблюдавшего за ними с берега:

— Лови ее! Ну, давай же!

Джой осмотрела водную гладь, отыскала цепочку поднимающихся из-под воды веселых серебристых пузырьков и нырнула.

Джалла тут же метнулась ей навстречу, мускулистая, жилистая, с лоснящейся, едва ли не чешуйчатой кожей. Она не предпринимала ни малейшей попытки убежать — напротив, джалла с радостным бульканьем и урчанием вилась вокруг Джой, выскальзывая у нее из рук. Иногда джалла быстрым, неотвратимым броском сама хватала Джой и утаскивала ее на дно. Она могла оставаться под водой намного дольше Джой, но всегда отпускала девочку, стоило той лишь подать знак, и старательно соразмеряла свою силу и быстроту с возможностями Джой. Они плескались, хохотали и радостно визжали, умолкая лишь тогда, когда начинали искать друг друга под водой. А Турик наблюдал за ними с берега, время от времени пощипывая густой желтый мох, что рос между камнями.

Джой понятия не имела, сколько времени она плавала в компании джаллы. Она остановилась лишь тогда, когда устала до изнеможения и не могла больше играть. Джой плюхнулась на мелководье, чтобы немного отдохнуть. Речная джалла улеглась рядом — правда, она-то даже не запыхалась.

Джалла прикоснулась к груди Джой, потом к своей груди и с улыбкой произнесла:

— Теперь мы сестры.

Джой удивленно моргнула.

— Сестры? Это здорово! Я всегда хотела сестру, но у меня есть только чокнутый младший братец. Его зовут Скотт...

— Ты и я — сестры, — повторила ручейная джалла. — Если я тебе понадоблюсь, приди сюда и позови.

— Хорошо, я приду, — согласилась Джой. — А если я тебе понадоблюсь... — она запнулась, вспомнив ступни джаллы. — Ну что ж, мы сестры, — сказала она. — Я буду знать это.

— Да, — кивнула речная джалла. — До свидания.

Она еще раз притронулась сперва к Джой, потом к себе и без малейшего всплеска ушла в глубину. А Джой долго сидела и смотрела в воду.

Потом Джой оделась и, выжимая на ходу волосы, вместе с Туриком спустилась с холмов. Они уже почти добрались до луга, где паслись единороги, когда Джой увидела прямо перед собой белого единорога. Он стоял в тени огромного валуна. Даже с этого расстояния Джой узнала его глаза.

— Индиго! — крикнула она. — Индиго, подожди!

Белый единорог заколебался и даже шагнул было в их сторону, но потом развернулся и в два прыжка скрылся из виду. Джой попыталась еще раз окликнуть его, но тут же умолкла. Она обняла Турика за шею и произнесла:

— Знаешь, приятель, что я тебе скажу об этом месте, Шей-рахе? Здешние жители так и норовят пропасть!

— Я не стану пропадать, — серьезно ответил Турик. И Джой прижалась лицом к морде жеребенка.

Глава 5

Джой действительно собиралась отправиться домой в тот же самый день. Даже когда Турик ровной рысью вез ее обратно к Закатному лесу, Джой придумывала разные истории, которые можно будет рассказать родственникам, учителям, Би-Би Хуанг и Абуэлите — «Ох, а может, Абуэлите я смогу рассказать, как все было на самом деле?» — на тот случай, если ее все-таки хватятся. Но время здесь было на диво хит-

рым и ленивым — такое с ней бывало, когда Джой просыпалась до рассвета и, взглянув на часы, с радостью обнаруживала, что идти в школу еще рано и можно поспать часик-другой. В эти предутренние часы к ней приходили самые лучшие, самые удивительные сны. Но в такое утро будильник звенел особенно злобно, и потом Джой до конца дня бывала слегка не в себе. Пребывание в Шей-рахе напоминало эти предрассветные сны, но какая-то часть сознания Джой постоянно пребывала в напряжении, ожидая звонка будильника.

— Я знаю, что должна скучать по дому, — сказала она Ко, — но ведь и вправду трудно скучать по дому, когда не уверен, спишь ты или бодрствуешь.

Как и в снах, проведенные в Шей-рахе дни не делились на часы, минуты и секунды. Джой часто бродила по лесам с Ко и другими тируджайи. Сатир продолжал называть ее дочкой и считал своим прямым долгом опекать Джой и наставлять ее во всем, что касалось Шей-раха. Его многочисленные двоюродные братья и сестры — насколько поняла Джой, все тируджайи были родственниками в том или ином колене, но их родственные связи были настолько запутанными, что даже Ко в конце концов отказался от попыток объяснить их Джой, — так вот, все родственники Ко без малейших колебаний переняли его отношение к девочке. Джой с удовольствием ела фрукты, ягоды и клубни — обычную пищу тируджайи — и осторожно пробовала слегка забродивший черный сок неизвестного ей плода. Самые младшие тируджайи могли впадать в буйство, если выпивали слишком много этого сока, но вообще-то Джой быстро привыкла чувствовать себя в присутствии любого сатира в такой же безопасности, как и в присутствии единорогов. Ко однажды гордо заявил:

— Мы, тируджайи, в чем-то подобны Старейшим. Мы тоже смотрим во все стороны сразу, и вперед, и назад, только не так далеко.

Сатир помолчал и добавил:

— Только мы не живем вечно. Я думаю, это хорошо. То есть это я так думаю.

Часто Джой проводила чуть ли не целый день в обществе ручейной джаллы. Они вместе плавали, играли под водой в прятки, дремали на мелководье, пригревшись на солнышке. Водяница, как и обещала, научила Джой ловить рыбу голы-

ми руками. Джалла находила чрезвычайно забавным, что Джой не съедает пойманную рыбешку тут же на месте, как это делала она сама, а вместо этого отпускает ее и с восторгом принимается ловить снова. Если не считать плаванья, джалла больше всего любила рассказывать длинные, убаюкивающе запутанные истории о великих бурях, охотах, сражениях и пирах — эти истории ее миролюбивый народ узнавал от речных джалл — и слушать рассказы о странном и поразительном мире, лежащем за Границей. Джалла даже представить себе не могла, что такое компьютер, для чего нужны супермаркеты и что такое продажа недвижимого имущества, но ей все равно нравилось слушать об этом снова и снова. Впрочем, зато она разбиралась в братьях и дала Джой несколько кровожадных, но интригующих советов насчет Скотта.

Но самым лучшим было время, которое Джой проводила с единорогами. Обычно девочка спала, свернувшись между Туриком и Фириз. Джой уже успела узнать, что Фириз принадлежит к племени морских единорогов — их называли килины.

— Лорд Синти из небесного народа, ланау, — объясняла девочке Фириз. — Каркаданны — они и есть каркаданны, сплошь земля и камень. Разные творцы создали нас, но Шей-рах дан всем нам, чтобы жить здесь единым народом. И так мы и поступаем.

Третьим единорогом, которого Джой встретила тогда вместе с Синти и Фириз, — иссиня-серым, стройным, элегантно спокойным — была принцесса Лайшэ, дочь Синти. Она разговаривала с девочкой куда реже всех прочих, реже даже самого лорда Синти, но Джой сразу же обнаружила, что в присутствии Лайшэ она чувствует себя уютнее всего, хотя и не может объяснить почему. Они часто гуляли по Закатному лесу перед рассветом или по ночам, когда все вокруг было заполнено такими дивными ароматами, что спать в такую ночь казалось преступлением. Музыка Шей-раха всегда слышнее при звездном свете — особенно если гуляешь в компании с единорогом.

Однажды в сумерках Джой сказала:

— Чего-то я все-таки не понимаю... Я, собственно, о том, что кто-нибудь из вас постоянно пересекает Границу. Будь я

единорогом, я бы и носа не высовывала из Шей-раха. Я что хочу сказать: у нас там, в нашем мире, только и есть, что смог да кинофильмы. А по телевизору все время говорят, как в других странах люди умирают от голода. А здесь все так красиво! Конечно, у вас тут есть эти двухголовые змеи и всякое такое, но я все равно не понимаю, чего вы вообще с нами возитесь.

Принцесса Лайшэ тихонько рассмеялась. Когда кто-нибудь из Старейших смеялся, у Джой всегда возникало одно и то же ощущение — будто ее сознание овевает теплый ветерок.

— Из-за снов, — сказала она. — Среди единорогов бытует легенда, что мы увидели ваш мир во сне и сделали его явью. Мне в это не верится, но мы, Старейшие, думаем о людях и дивимся им куда больше, чем ты могла бы себе представить. Возможно, Шей-рах так неразрывно связан с вашим миром именно потому, что ваш мир внушает нам бесконечное очарование. Я не могу этого объяснить, но, должно быть, так оно и есть. А иначе почему же мы можем принимать только человеческий облик, а не какой-нибудь иной? Мы такие, какие есть — вечные и неизменные, — а в вас одновременно бушуют прошлое, настоящее и будущее. Мне ужасно жаль вас, я бы не выдержала такой жизни, но я не устаю поражаться вам.

Джой открыла было рот, успела трижды передумать и в конце концов пробормотала:

— Для вас ведь слепота не так уж ужасна, правда? Я имею в виду — вы ведь свободно ходите повсюду, и никто ничего и не заметил бы, если бы не эти штуки у вас на глазах.

— Ходить, не натыкаясь на деревья, — это еще не все, — тихо отозвалась Лайшэ. — Постоянная жизнь среди теней принижает нас. Мы в каком-то смысле проще людей. Мы созданы для того, чтобы видеть этот мир, смотреть на него внимательно и пристально, а не воображать его, не улавливать на слух, не прослеживать в сознании. Насколько я понимаю, среди вашего народа было много таких, кто научился жить в слепоте и все же остался собой. А нам, Старейшим, куда хуже.

Лайшэ на некоторое время умолкла, потом продолжила:

— Но лорд Синти — наш целитель, и он наверняка найдет способ вернуть нам зрение. Мы подождем.

Небо, как всегда перед рассветом, ненадолго сделалось прозрачно-зеленым. Джой сказала:

— Я встречала одного парня... То есть одного Старейшего... Ну, в общем, его зовут Индиго. Вы... вы его знаете?

— Я знаю Индиго, — принцесса Лайшэ обратила на Джой непроницаемый взгляд слепых сверкающих глаз.

— Да нет, ничего особенного, — торопливо произнесла Джой. — Я знаю, что он Старейший, только я встречала его, ну, в человеческом облике, потому что он часто пересекает Границу, — он и вправду очарован моим миром. А больше я о нем ничего и не знаю, кроме того еще, что он спас меня от этих, как их там, крийякви. Я в него вовсе не влюбилась, и ничего такого, — просто я хотела поблагодарить его, и все.

— Индиго не нравится, когда его благодарят, — медленно произнесла Лайшэ. — Как и многое другое.

— Расскажите мне об этом, — попросила Джой. — Насколько мне известно, единственное, что ему нравится, — это город Вудмонт в штате Калифорния. Чокнуться можно!

Девочка замялась, потом спросила:

— А у вас такое бывало когда-нибудь? То есть я хотела спросить: а Старейшие могут сходить с ума?

Принцесса Лайшэ снова рассмеялась.

— У нас нет таких слов, но я поняла, о чем ты говоришь. Нет, ничего такого с Индиго не случалось. Но он всегда был непохож на большую часть прочих наших соплеменников. Он лишен способности жить в довольстве — в нем нет покоя, нет внутреннего мира. Я не знаю, хорошо ли это, или плохо, или, может, неважно, но из-за этого ему очень трудно жить в Шей-рахе.

— И все-таки я не понимаю... — промолвила Джой. — Я бы хоть сейчас поменялась с ним местами. Правда-правда.

За этой беседой они не заметили, как прошли насквозь Закатный лес и вышли на равнину, где резвились молодые единороги. Джой начала было говорить: «Я хочу сказать, если бы не Абуэлита, моя бабушка...» — но тут рассветное небо померкло и послышалось леденящее щелканье.

Джой обеими руками вцепилась в гриву принцессы Лайшэ, изо всех сил борясь с паникой. Со стороны восхода показались перитоны, и заря окрасила края этой роящейся массы в золотисто-красный цвет, когда хищники ринулись вниз.

Лайшэ невозмутимо повернула голову и взглянула в сторону Закатного леса. Джой услышала в сознании голос Лайшэ:

— Мы не успеем вовремя добраться до укрытия. Мне придется остаться и принять бой. Отпусти меня, малышка, но старайся держаться поближе. Они, должно быть, очень голодны.

Перитоны оказались похожи на оленей. Размером они не превосходили домашнюю кошку, а их темные крылья сужались к концу, как крылья морских птиц. Но тела у них были в точности как у обычных оленей, вплоть до изящных раздвоенных копытец и ветвистых рогов. Единственным, что отличало их от оленей — не считая размера, естественно, — был запах. От перитонов несло тухлым мясом. А из-за нежных мягких губ торчали несоразмерно крупные клыки. Спрятавшаяся за принцессой Лайшэ Джой сообразила, что это ужасное щелканье, возвещавшее о приближении перитонов, было не чем иным, как клацаньем их зубов — так перитоны точили клыки.

Лайшэ метнулась навстречу атакующей стае. Ее дерзкий вопль ошеломил и напугал Джой — девочка никогда прежде не слышала боевого клича разгневанного Старейшего. Рог Лайшэ мелькал среди авангарда перитонов, подобно разящей молнии, и расшвыривал нападающих. Три перитона уже корчились на земле, скрежеща зубами. На мгновение хищников охватило замешательство, но перитоны быстро опомнились. Возникшие в их рядах бреши тут же заполнились. Перитоны поджали свои стройные ножки, накренились, и стая единым слитным движением устремилась в новую атаку.

Следующие несколько секунд — а может, минут или часов — навсегда запомнились Джой как оживший ночной кошмар: хлопанье чаячьих крыльев прямо у нее над головой, желтые клыки, щелкающие в нескольких сантиметрах от лица, и ужасные пронзительные предсмертные вопли, следующие за каждым боевым кличем принцессы Лайшэ. Невзирая на слепоту, Лайшэ яростно сражалась с перитонами, нанося удар за ударом, и очерченный ее рогом смертоносный круг служил убежищем для Джой. После каждого выпада Лайшэ — зачастую они были настолько стремительны, что Джой просто не успевала их отследить, — на землю валились новые изломанные тушки крылатых оленей, но на их месте

тут же появлялись новые. Лайшэ казалась неутомимой, но Джой видела, что шея, плечи и круп кобылицы покрываются крохотными рваными ранками и из этих ранок сочится кровь. В сознании у Джой прозвучал спокойный голос:

— Возможно, малышка, тебе лучше все-таки попытаться добраться до леса. Такого я еще не видела.

— Я не пойду! — всхлипнула Джой. — Я вас не оставлю!

Какой-то перитон прорвался через линию защиты и метнулся прямо в лицо Джой. На мгновение Джой увидела прямо перед собой коричневые, налитые кровью глаза хищника, горящие ненасытной алчностью. Но секунду спустя рог Лайшэ рассек его надвое и отшвырнул в сторону.

— Если ты уйдешь сейчас, я смогу отвлечь большую их часть от тебя, — сказала кобылица. — Внимательно смотри под ноги и не оглядывайся, а то непременно споткнешься.

Позднее Джой не раз думала, как бы она в конце концов поступила: может, все-таки подчинилась бы и оставила принцессу Лайшэ? Во всяком случае, Джой чувствовала себя гораздо увереннее благодаря тому факту, что не предприняла ни малейшей попытки к бегству до того самого момента, как сзади донесся громоподобный боевой клич. Из-под деревьев Закатного леса выскочил огромный каркаданн и ринулся в битву, да так, что земля задрожала от топота копыт. Его красные бока пламенели в лучах утреннего солнца, на губах выступила пена. В своем неистовом ослеплении каркаданн походил скорее на взбесившийся паровоз, чем на единорога.

Перитоны заметили его приближение. Непонятно, обладала ли их стая общим сознанием, но в рядах хищников возникло смятение. Кажется, половина из них сочла за лучшее отступить, но остальные были слишком голодны, чтобы прислушиваться к чему бы то ни было, кроме голоса желудка. Пока перитоны метались, сталкиваясь друг с другом и с принцессой Лайшэ, каркаданн подоспел к месту боя и принялся безжалостно разить хищников — а у него рог был вдвое длиннее, чем у Лайшэ. Еще несколько мгновений стая пребывала в нерешительности, потом наконец сдалась и обратилась в бегство. Два единорога еще некоторое время преследовали хищников, но вскоре остановились и повернули обратно. Рысцой подбежав к Джой, единороги остановились и принялись нежно касаться друг друга. Когда каркаданн

переставал обнюхивать и вылизывать раны Лайшэ, то принимался неуклюже вытанцовывать вокруг кобылицы и взбрыкивать, точно козленок.

— Это Тамирао, — почти застенчиво произнесла Лайшэ. Каркаданн поклонился Джой и легонько коснулся ее плеча огромным рогом. Глаза у него были сиреневые.

Наручные часы Джой остановились, когда девочка пересекла Границу, и хотя Джой быстро научилась довольно точно определять время по солнцу, или луне, или по вкусу воздуха, это умение столь же быстро потеряло для нее значение. Она ела фрукты и ягоды, когда была голодна, спала на мягкой траве, когда уставала, играла с Туриком и его друзьями, когда ей хотелось, пряталась в пещерах сатиров, когда шел дождь, и учила ручейную джаллу петь «Желтую подводную лодку». Иногда она целый день или целую ночь сидела под деревом, застыв, словно одна из Старейших, и слушала музыку Шей-раха. Джой больше не пыталась подобраться поближе к ней или понять, какое же все-таки отношение она имеет к единорогам, которые каким-то образом являлись источником этой музыки. Она просто сидела и днями напролет слушала, тихонько напевая себе под нос.

Но больше всего, пожалуй, ей нравилось смотреть на принцессу Лайшэ и Тамирао. Могучий каркаданн был молчалив и несколько неуклюж, как и все ему подобные, но его привязанность к Лайшэ придавала Тамирао, на взгляд Джой, спокойное изящество, сравнимое с изяществом самой принцессы. Когда девочка видела, как они прогуливаются вечерами по Закатному лесу или смотрят на розовеющий зарею водопад, падающий с утеса и разбивающийся почти что у их ног, их радость согревала и Джой. Лайшэ часто приглашала девочку погулять с ними, но Джой слишком стеснялась, чтобы принять это приглашение.

С лордом Синти Джой вечно встречалась именно в те моменты, когда менее всего этого ожидала. Ей никогда не удавалось завидеть или заслышать черного единорога прежде, чем он оказывался рядом с ней. Иногда лорд Синти бывал дружелюбен и весьма разговорчив — разговорчив для него, конечно. А иногда он казался таким далеким, таким обособленным и застывшим, что Джой чувствовала себя дурочкой и

даже слегка пугалась: она никак не могла понять, что же заставляет черного единорога искать ее общества. Бывали моменты, когда в сознании у Джой неожиданно слышался его голос, хотя самого лорда Синти не было видно, и Старейший предупреждал девочку о приближении перитонов или о том, что в Закатный лес заползла джакхао. Однажды, когда Джой валялась на берегу маленького озерка — ей нравилось лежать здесь, жевать стебельки клевера, пить чистую холодную воду и ни о чем не думать, — она увидела рядом со своим лицом подернутое рябью отражение лорда Синти и совершенно отчетливо услышала его слова: «Помоги мне, Джозефина Ривера». Но когда Джой вскочила и обернулась, черный единорог уже исчез — осталась лишь музыка.

Несколько раз она издали видела Индиго, каждый раз в облике единорога, но лишь однажды девочке представился случай заговорить с ним. Вскоре после ее появления в Шей-рахе Ко как-то раз привел Джой в одну горную долину. Долина была суровой и почти бесплодной, но девочка мгновенно влюбилась в нее. Невзирая на крутой подъем, Джой часто приходила сюда, чтобы посидеть среди нагромождения огромных камней, образующих в одном месте поразительно удобное сиденье, и полюбоваться сверху на дымчатых птичек, обладающих, подобно крылатым рыбам, способностью надолго зависать на одном месте. Девочке доставляло глубокое удовольствие, что здесь, среди несказанных богатств Шей-раха, существует это место, где нет ничего, кроме неба, скал да реки, сверкающей далеко внизу. Ко не раз предупреждал Джой, чтобы та держалась подальше от реки, потому что там живут речные джаллы. И девочка послушно следовала совету сатира — до того самого дня, когда она увидела у кромки воды белого единорога.

Джой тут же принялась карабкаться вниз по камням, обдирая руки и колени, но не обращая на это ни малейшего внимания. До реки было слишком далеко, чтобы Джой могла с такого расстояния отличить одного белого единорога от другого, но девочка ехидно сказала себе: «Ну что ж, я быстро узнаю, он это или нет. Если он исчезнет сразу же, как только заметит меня, — значит, и вправду Индиго».

Это действительно был Индиго, но он не убежал. Он стоял, глядя на стремительный поток. Здесь, в горах, река была

очень узкой, но глубокой и странно темной, даже сейчас, в солнечном свете. Джой уже принялась потихоньку подбираться к единорогу, но вдруг остановилась как вкопанная: у самого берега из воды показалась лоснящаяся золотистая голова и плечи. Речная джалла была поразительно красива: огромные глаза, бархатисто-нежная кожа, чувственный, превосходно очерченный рот. Джой в благоговейном трепете прижала ладони к лицу. Она услышала, как Индиго что-то произнес, а речная джалла ответила. Ее негромкий голос разнесся над водой — журчащий, радостный, мелодичный и в то же время хищный. Потом речная джалла повернула голову и взглянула на Джой.

На мгновение их взгляды встретились, и Джой тут же зажмурилась, чтобы никогда больше не видеть того, что она увидела в глазах речной джаллы. Снова послышался очаровательный смех, потом — голос Индиго, в котором звучал приказ. Джой открыла глаза как раз вовремя, чтобы увидеть последнюю насмешливую улыбку речной джаллы, обнажившую рыбьи зубы, после чего хищная водяница бесследно канула в воду. Девочка стояла на месте и дрожала, пока Индиго, не глядя на нее, не произнес:

— Она сегодня не вернется. Иди сюда.

При ближайшем рассмотрении стройная длинноногая фигура и сравнительно грубая шерсть выдавали в Индиго ланау, небесного единорога, — к этому же племени принадлежали лорд Синти и принцесса Лайшэ. Джой медленно приблизилась, следя, чтобы Индиго все время оставался между ней и речным берегом — так, на всякий случай.

— Это была самая красивая женщина, которую я видела за всю свою жизнь, — сказала девочка. — И никогда в жизни мне не было так страшно.

Индиго ничего не ответил. Джой продолжала:

— Да, кстати. Спасибо, что спас меня.

— Только что я сделал это еще раз, — отозвался Индиго. — Речная джалла передвигается по суше куда проворнее твоей подружки, ручейной джаллы. Скажи, пожалуйста, Ко понимает, насколько ты глупа?

Джой вспыхнула от гнева.

— Я знаю, что к реке подходить нельзя! Я спустилась

сюда только потому, что хотела поговорить с тобой! Чем я тебе так не нравлюсь?

— Ты здесь чужая, — голос Индиго по-прежнему был лишен малейшего выражения. — Тебе вообще нечего делать в Шей-рахе.

— А ты в моем мире не чужой?! — крикнула разозленная Джой, как кричала иногда на своего брата. — Так какого черта ты бродишь по Вудмонту и пытаешься продать свой рог за золото?

Едва произнеся последние слова, Джой запнулась.

— Ох, а ведь так и есть! — прошептала она. — Ты действительно показывал мистеру Папасу свой рог...

Индиго резко развернулся и двинулся к каменистому склону, но Джой не отставала.

— Он был твой, да? Единороги не умирают, значит, это должен был быть твой собственный рог. Правда? Я знаю, что это правда!

Белый единорог поднимался по склону, а девочка шла за ним по пятам, пока буквально не приперла его к здоровенному валуну вдвое выше самой Джой. Индиго легко бы мог перепрыгнуть через этот валун, оставив Джой позади. Но вместо этого он повернулся к девочке. В темно-синих глазах Индиго горел откровенный вызов.

— А даже если и правда, что с того?

Джой изумленно уставилась на единорога.

— Но тебе нельзя этого делать! Без рога ты не пересечешь Границу, а если ты не сможешь возвратиться в Шей-рах, то умрешь! Синти мне все рассказал!

— А, ну конечно... — ехидно протянул Индиго. — Высокоученый лорд Синти, наш повелитель, наставник и советник чужаков из другого мира. Синти Благородный, Великомудрый, Таинственный. Синти Лжец.

— Что ты несешь?! — Джой хотела, чтобы ее слова прозвучали насмешливо и презрительно, но в тоне Индиго было что-то такое, отчего девочка внезапно охрипла и начала заикаться. — Синти не лжец!

— Синти и иже с ним, — все так же ровно произнес Индиго. — Фириз, Лайшэ, все эти великие Старейшие. Все они лжецы.

— Отлично! — заявила Джой. — Отлично! — Она решила

во что бы то ни стало держать себя в руках. — Давай тогда поговорим о лжи. Например, о том, как ты рассказывал мистеру Папасу, что много путешествуешь и потому тебе нужно золото. Ты — единорог, ты живешь в Шей-рахе — так зачем тебе нужно золото и куда ты собрался идти? Господи боже мой, ведь ты и так уже *здесь*!

Индиго уставился на Джой долгим пристальным взглядом. У девочки появилось нелепое ощущение, будто от Индиго пахнет пеной для ванн, которая продается во флаконах в форме рыбки, — в детстве Джой ее очень любила. Потом он развернулся — так стремительно, что Джой отпрянула в испуге, — и на этот раз перепрыгнул валун. Его копыта зацепились за верхушку камня, и послышался тихий звук, напоминающий потрескивание наэлектризованных волос. Джой даже не попыталась следовать за Индиго. Она медленно взобралась на свое каменное кресло и долго сидела там, глядя на реку, ожидая, не покажется ли речная джалла еще раз, и страшась и желая этого.

Маленькие зверушки, смахивающие на драконов — они назывались шенди, — неизменно очаровывали ее. Джой проводила довольно много времени, лежа в высокой траве и наблюдая за семейством шенди, обитавшим в неглубокой пещерке неподалеку от того места, где она видела двухголовую джакхао. Шенди-родители либо не обращали на девочку внимания, либо набрасывались на нее с разгневанными воплями: такие мог бы издавать забытый на плите чайник со свистком. Но малыши шенди были так же любопытны, как и она сама, и однажды ранним утром Джой, едва дыша, подманила одного из них достаточно близко, чтобы рассмотреть, что узкие ороговелые губы драконеныша зелены, как трава, а зрачки у него бело-золотистые. Но тут за спиной у Джой послышался какой-то шорох, и испуганный шенди поспешно ретировался к маме под крылышко.

Джой повернулась, скорее разозленная, чем испуганная, и увидела Ко.

— Пора, — сказал сатир. Джой непонимающе уставилась на него. Ко объяснил: — Если ты еще задержишься в этом мире, твое собственное время двинется дальше. Лорд Синти приказал мне провести тебя к Границе.

— А, верно... Ох... — Джой зачем-то огляделась по сторо-

нам. Внезапно она почувствовала себя такой же растерянной, как в первые секунды пребывания в Шей-рахе.

— Мне надо попрощаться с целой кучей народа. С ручейной джаллой, с Фириз, с Лайшэ, с Туриком, со всеми Старейшими...

Ко покачал головой.

— Уже нет времени. Вспомни, какой долгий путь нам предстоит.

Увидев, что глаза Джой налились слезами, сатир мягко добавил:

— Дочка, Старейшие будут сопровождать нас всю дорогу до Границы, точно так же, как они наблюдали за тобой и сопровождали тебя, когда ты впервые ее пересекла. Но они не понимают прощаний. Здесь никто и никогда не прощается, кроме разве что моего народа.

Ко взял девочку за руку и улыбнулся беззаботной, чуть кривоватой улыбкой тируджайи.

— Такое уж место этот Шей-рах, — сказал он. — Ну, пошли.

На этот раз дорога показалась Джой куда короче, но все же к тому времени, как они спустились в узкую тенистую долину и Джой впервые увидела Границу, уже догорал закат. В последних лучах солнца Граница выглядела как яркая и неуловимая рябь, повисшая в воздухе. Она, как зеркало фокусника, превращала лежавшие за ней земли в метельный круговорот злобных теней.

— Но она не там, где была раньше! — сказала Джой. — А вдруг я попаду в Нью-Йорк или еще куда-нибудь?

Ко успокаивающе похлопал девочку по плечу.

— Ничего такого не случится.

— Откуда вы знаете? Вы же никогда не пересекали ее! Вы даже не знаете, где я в нее вошла!

Внезапно Джой почувствовала, что ее вот-вот охватит паника.

Ко все с тем же несокрушимым спокойствием произнес:

— Граница есть Граница. Ты выйдешь из нее в том же самом месте, дочка, в каком вошла. Так говорит лорд Синти.

— Ну, — вздохнула Джой, — если так сказал Синти...

Она особо выделила имя черного единорога, но тут же заметила, что по лицу Ко скользнуло выражение боли — прав-

да, сатир тут же справился с собой. Джой осеклась и бросилась обнимать Ко.

— Простите, пожалуйста, — пробормотала она. — Просто я... Не знаю, как сказать... Я неважно себя чувствую, и это ужасно противно...

Немытые волосы сатира пахли, как шерсть дикого животного, но все равно это был замечательный запах.

— Ну так возвращайся, — сказал Ко. — Граница всегда будет здесь. И Шей-рах тоже. Возвращайся к нам, как только сможешь.

— Но она движется! — всхлипнула Джой. — Синти говорил, что Шей-рах все время движется! Может, я никогда больше ее не найду!

Ко слегка отстранил девочку и подмигнул ей с заговорщицким видом.

— Я думаю, дочка, — заметь, я говорю «думаю», — что Шей-рах тебя подождет. Мы скоро встретимся.

Потом он указал на сонную полную луну, как раз поднявшуюся над деревьями:

— А вот она ждать не будет. Так что давай, иди.

Сатир еще раз обнял Джой, потом развернул ее и слегка подтолкнул в сторону туманной сияющей дымки, отделяющей мир единорогов, сатиров и драконов-малюток от ее собственного мира. Джой вытерла глаза и на мгновение оглянулась назад в надежде хоть на миг услышать прекрасную и дерзкую музыку, от которой перехватывает дыхание. Но музыка смолкла, когда они с Ко подошли к Границе. А потом Джой устало, но решительно шагнула вниз по склону — теперь привычные туристские ботинки казались ей кандалами, — прямо в звенящую мерцающую завесу...

...И чуть не врезалась в почтовый ящик, стоящий на углу улиц Аломар и Валенсии, в двух кварталах от дома Джой. У Джой голова пошла кругом. Она вцепилась в ящик и принялась ошалело осматриваться. Ночь была такой же темной, как и тогда, когда Джой бежала по этой улице вслед за музыкой, и все тот же месяц, а не полная луна Шей-раха, висел у восточного края неба. Джой несколько раз встряхнула головой, судорожно сглотнула, прислушалась к своим ощущениям — не тошнит ли? — и постаралась спрятаться в тени почтового ящика: а вдруг какой-нибудь случайный прохожий

видел, как она появилась тут прямо из воздуха? В конце концов Джой перевела дыхание, выпрямилась и отправилась домой.

Джой на цыпочках прокралась по лестнице. Никто из домашних не проснулся. Девочка рухнула на кровать, даже не сняв футболки с надписью «Северная выставка», и всю ночь ей снились крохотные дракончики и миндалевидные глаза ручейной джаллы.

Глава 6

Единственным человеком, с которым Джой заговорила об этом, был Джон Папас. На следующий день Джой сидела в магазинчике и тщательно, как учил Папас, сортировала упаковки с новыми скрипичными струнами. В какой-то момент она подняла голову и увидела, что старый грек, ссутулившись, стоит у окна и смотрит на улицу.

— Глупец, — пробормотал он, обращаясь скорее к себе, чем к Джой. — Ты упустил случай, старый дурень.

У Джой чуть не вырвалось: «Он вернется!» — но девочка вовремя прикусила язык. Потом, повинуясь внезапному порыву, Джой положила коробку со струнами и подошла к синтезатору — Папас на всякий случай держал в запасе несколько штук.

— Мистер Папас, послушайте минутку, — обратилась она к старому греку и начала медленно, по памяти подбирать одну из мелодий, часто звучавших в Закатном лесу после наступления ночи.

Левой рукой Джой неуклюже пыталась изобразить сопровождающую тему. Импровизированная аранжировка получалась какой-то рваной — Джой могла пока что лишь предполагать, какие из созвучий Вудмонта в состоянии передать мелодии и ритмы Шей-раха. Импровизация длилась долго, но по мере того, как музыка все отчетливее звучала в душе у девочки, руки слушались все хуже. «Нет, неправильно, не так! Чушь какая выходит! Тебе должно быть стыдно!» Но даже это неуклюжее подражание настолько захватило Джой, что она потеряла ощущение времени. Девочка пре-

кратила играть лишь после того, как открыла глаза и увидела, что Джон Папас беззвучно плачет.

Слезы взрослых всегда ввергали Джой в смущение и замешательство. Девочка поспешно вернулась на прежнее место и взялась за прерванную работу.

— Оставь струны, — хрипло произнес Папас. — Оставь. Пора начать записывать твои штуки, малышка. Не знаю, где ты их берешь, но пора их записать. Сегодня что, пятница? Приходи завтра. Я не стану ничего чинить...

— Это не мое, мистер Папас, — перебила его Джой. — То есть отчасти, может, и мое. В некотором смысле. Но это похоже на музыку, которую играл тот мальчишка, Индиго, когда хотел продать вам рог.

Лицо Джона Папаса сделалось бесстрастным и каким-то осторожным. Джой добавила:

— Она из другого места, эта музыка, — точнее, даже из другого мира. Он называется Шей-рах.

Джон Папас выслушал ее рассказ с каменным лицом, не перебивая девочку. Когда Джой закончила, грек издал невнятное ворчание, отвернулся и принялся изучать древний тромбон, принесенный сегодня утром в починку. Потом он бросил через плечо:

— Дорогостоящие у тебя сны, Джозефина Анджелина Ривера. Многотысячные — со всеми-то этими спецэффектами. А кто твой режиссер? Скажешь мне, когда фильм выйдет на экраны, лады?

Джой, конечно, не рассчитывала, что Джон Папас сразу и безоговорочно поверит в ее рассказ о единорогах, сатирах и плотоядных летающих оленях, но такой насмешливой и небрежной отповеди она тоже не ожидала.

— Это не сон! — возмутилась Джой. — Что, по-вашему, я уже не в состоянии отличить, когда я сплю, а когда нет? Я пробыла там дни, недели — я была там!

Джон Папас пробормотал что-то неразборчивое и, так и не обернувшись, склонился над тромбоном. Волна гнева захлестнула Джой с головой, и девочка крикнула:

— И вы знаете, что это правда! Вы знаете, откуда приходит эта музыка, — потому что вы знакомы с Индиго! Я совершенно уверена, что вы его знаете!

Джон Папас медленно обернулся. Лицо его было белым

как мел, и от этого черные глаза казались больше обычного. Левое веко заметно подергивалось. Папас тихо произнес:

— Я встретил его на Границе.

Это внезапное признание едва не лишило Джой дара речи.

— На Границе... — запинаясь, произнесла она. — Так вы пересекали Границу? Вы были там, в Шей-рахе?

Джон Папас покачал головой и едва заметно улыбнулся.

— Нет. Это вышло случайно. Я нашел твою Границу — хочешь знать где? В конце квартала, как раз напротив забегаловки Провотакиса. Прямо через дорогу. Как-то ночью, примерно с год назад. Граница...

— Она движется с места на место, — сказала Джой. — Я ее даже не заметила. Я просто гналась за музыкой.

— Гналась за музыкой... — Улыбка Папаса сделалась шире, хотя, казалось, это причиняло старому греку боль. — А я вот не слышу никакой музыки. Ты играешь ее, он играет — тогда я слышу хорошо. А так — не могу, ни с другой стороны улицы, ни из-за Границы.

Папас резко фыркнул и подергал себя за усы.

— Так вот. Я выпил узо[1] с Провотакисом — ну, выпиваем мы иногда. Выпили, поговорили о жизни. Потом он закрыл свою забегаловку — в час ночи, может, в два. Выхожу на улицу, полный под завязку, а тут оно... Оно... Прямо перед моим лицом, прямо перед носом появилось такое... вроде дождя. Что-то вроде электрического дождя.

— Но вы ее не перешли? — спросила Джой.

— Я не ребенок, — отозвался Папас. — Просто пьяный старик. Я стоял и смотрел — да и все. Пытался понять, что это я вижу. Только я не мог видеть, что за ней. А потом... Потом — белый единорог.

— Индиго! — выдохнула Джой. Джон Папас словно не услышал ее. Он продолжал:

— Белый, как соль. Как кость. Стоит себе прямо на Границе. Передние копыта постукивают по вудмонтской улице, а задние... А кто их знает, где они, эти задние копыта? Стоит и смотрит на меня. Ты знаешь, на что это похоже, когда они на тебя смотрят.

---

[1] Греческая водка.

— Знаю, — подтвердила Джой. — Знаю...

— Он увидел меня, — сказал Папас. — Я лично до сих пор не уверен, что вправду видел его, но он меня видел. И мы говорили, — неожиданно Папас искренне рассмеялся. — Я, старый Папас, перебрал узо и болтаю среди ночи с белым единорогом! Как тебе такое, Джозефина Анджелина Ривера?

— О чем вы говорили? — настойчиво спросила Джой. — Что он вам сказал, этот единорог?

Джон Папас развел руками.

— Он больше спрашивал. Всю ночь расспрашивал об этом мире — люди, страны, языки, история, деньги... Да, о деньгах в особенности, — Папас потер лоб и нахмурился, припоминая. — На следующее утро у меня голова чуть не развалилась. Я решил — это сон. Единорог в Лос-Анджелесе! После узо и не такое примерещится. А потом он пришел в магазин. Пришел на двух ногах, но я узнал его.

Неожиданно на глаза Папасу вновь навернулись слезы, но в то же время старый грек покачал головой и усмехнулся, невольно дивясь комичности ситуации.

— Он хочет жить здесь — можешь себе такое представить? Хочет переехать сюда, смотреть на людей, жить, как человек, продать рог и послать единорожью жизнь к чертям. Можешь себе такое представить?

— Он не сможет! — сказала Джой. — Не сможет, это просто не выйдет! Он умрет!

Джон Папас посмотрел на девочку. Джой пояснила:

— Старейший — ну, единорог, — который потеряет рог, не сможет вернуться в Шей-рах. А здесь он умрет. Индиго это знает.

— Ну, лучше будет, если ты ему об этом напомнишь, — негромко произнес Джон Папас и кивком указал куда-то за спину Джой. Девочка обернулась и увидела, как в магазинчик, небрежно сжимая в руке серебристо-голубой рог, вошел Индиго. Даже зная, кто он такой, Джой продолжала поражаться нечеловеческой грации его движений — «Нет, не нечеловеческой. Скорее похоже, что он так гордится способностью принимать этот облик, что стремится довести его до совершенства. Скорее уж это мы выглядим не по-человечески рядом с ним».

— Я подумал, что вам, может, захочется еще раз взгля-

нуть на рог, — сказал Индиго и протянул рог хозяину магазинчика. Джон Папас потянулся навстречу, но тут же лицо его искривила горькая гримаса, и он уронил руки.

— А зачем? — спросил он. — Золота у меня не прибавилось.

Индиго ничего не ответил и поднес рог к губам. По магазинчику пронесся стремительний и краткий водоворот нот. «Этакий привет из Шей-раха». Потом Индиго резко оборвал мелодию и ткнул рог в руки Джону Папасу.

Папас держал рог, как держат ребенка. Индиго наблюдал за ним, и на губах его играла легкая усмешка. Никто из них не произнес ни слова. Джон Папас некоторое время смотрел на Индиго, потом развернулся и направился в мастерскую.

— Ты умрешь без него! — не выдержала Джой. — Синти мне сказал!

— А что я тебе сказал о лорде Синти? Какое слово я использовал? — Усмешка Индиго сделалась чуть шире. — Прямо сейчас в вашем городе живут трое Старейших. Ты каждый день видишь их на улицах, но ни о чем не подозреваешь.

— Ты свихнулся... — прошептала Джой. — Старейшие — в Вудмонте? Ты точно свихнулся!

Индиго расхохотался, и смех этот был почти так же увертлив и шаловлив, как и его музыка.

— И в Вудмонте, и повсюду, где Граница соприкасается с вашим миром! Я же тебе говорил — они лгут, и Синти, и все прочие. Мы можем жить здесь, и ничего нам от этого не будет. Мы прекрасно можем здесь жить!

Джой чуть было не крикнула: «Я тебе не верю!», но неожиданно ей вспомнился задумчивый голос принцессы Лайшэ: «Возможно, Шей-рах так неразрывно связан с вашим миром именно потому, что ваш мир внушает нам бесконечное очарование...»

Джой услышала, что Папас возвращается, и потому просто спросила у Индиго, понизив голос:

— Но как? Как кто-то из вас может захотеть жить здесь? Захотеть выглядеть, как мы? Зачем вам это, если вы можете быть Старейшими в Шей-рахе?

Индиго взглянул на девочку. В это мгновение в его лице не было ни присущей ему насмешливости, ни иномирной красоты — лишь нечто, напоминающее человеческую боль. Так же тихо он ответил:

— А ты считаешь, что это так уж здорово? Вечно пребывать волшебным, чистым, ангелоподобным и не иметь никакого выбора? Когда из-за того, кто ты есть, ты никогда не узнаешь, какой ты? Ты — глупая, невежественная, ничтожная смертная, и все же я предпочел бы быть тобой, чем самим лордом Синти! Никто из Старейших никогда не говорил такого никому из смертных.

— Ну так флаг тебе в руки! — огрызнулась Джой. Слова Индиго разозлили ее, но прозвучавшая в них страстность так поразила Джой, что девочка просто не придумала ничего лучшего.

Джон Папас вернулся в торговый зал, и в глазах его плескалась усталость.

— Может, я смогу найти еще немного золота, — сказал он. — Возвращайся через несколько дней, через неделю — там посмотрим.

— Посмотрим, — отозвался Индиго. Он забрал из рук Папаса серебристо-голубой рог и, ничего больше не сказав, двинулся к выходу.

— Эй, подожди! — крикнула ему вслед Джой. — Нам нужно поговорить!

Хлопнула дверь. Джой и Джон Папас с дурацким видом уставились друг на друга. А в пыльных углах магазина все еще смеялась музыка Шей-раха.

— Я должен получить его, — ровным голосом произнес Папас. — Никогда в жизни мне ничего так сильно не хотелось, как эту вещь, этот рог. Правду тебе говорю — мне стыдно, что я так его хочу.

— Я понимаю, — сказала Джой. — Правда понимаю. Но он тронулся умом! Ему нельзя этого делать, нельзя продавать рог! Неважно, что он там несет. Если они, Старейшие, теряют здесь свой рог, они не могут вернуться в Шей-рах. Он умрет здесь, мистер Папас, он знает, что умрет здесь!

— Его дело, — отозвался Джон Папас. — Его выбор. Я никогда не пересекал Границу, и единственное, что я знаю, — при этих словах он вдруг протянул руку и потрепал Джой по волосам, — что рядом со мной постоянно болтается тощая маленькая девчонка. И что она вдруг оказалась набита музыкой, которой я в жизни не слыхал и никто не слыхал.

Но еще услышат. Господь наш и все святые, об этом все услышат!

Джой попыталась перебить старого грека, но остановить его было невозможно. Он грезил наяву. Джой никогда не видела его таким.

— А самое главное — это чтобы ты побыстрее научилась записывать музыку. Надо научить тебя, как сплетать голоса вместе, как рисовать ими — понимаешь? Тебе надо добиться, чтобы люди видели это место, где ты побывала, этот Шейрах, чтобы они чувствовали его, а не просто слышали. Впереди много работы, Джозефина Анджелина Ривера! — и с этими словами Папас мягко подтолкнул ее обратно к синтезатору.

— Я не могу! — возразила Джой. Во рту у нее пересохло, а горло сдавило. — Мне надо идти. Я приду завтра.

И Джой вылетела на улицу. На мгновение яркое солнце ослепило ее, но Джой тут же пустилась бежать, не разбирая дороги и то и дело врезаясь в прохожих. И на каждом лице ей мерещились древние глаза жителя Шей-раха.

К изумлению Джой, через два квартала она нагнала Индиго. На этот раз он шел медленно. Индиго двигался с обычной своей плавностью, но казалось, что плечи его слегка поникли, а голова утратила прежнюю горделивую посадку. Серебристо-голубой рог он нес под мышкой.

Догнав Индиго, запыхавшаяся Джой перешла на шаг. Едва восстановив дыхание, девочка потребовала:

— Ну, покажи мне их!

Индиго взглянул на нее и отвернулся.

— Ты говорил о Старейших! — не унималась Джой. — Где они? Покажи мне хоть одного!

Индиго прибавил шагу.

— Почему я должен что-то тебе показывать? У меня своих дел хватает.

Джой рассмеялась.

— Знаешь, что моя бабушка, Абуэлита, говорит о людях вроде тебя? Она называет таких, как ты, кучей перьев.

Индиго резко остановился и развернулся к Джой. Джой нахально улыбнулась.

— Куча перьев, а птицы-то и нет!

На мгновение ей показалось, что Индиго сделался странно усталым и почти печальным. Трое девчонок прошли мимо, не глядя на них в медленно сгущающихся сумерках. Мимо проехал фургончик с мороженым. Из кабины водителя доносилась мелодия «Забавника». Синие глаза Индиго снова наполнились насмешкой — видимо, он черпал ее из какого-то бездонного источника.

— А почему бы и нет? — сказал он. — В конце концов, почему бы и нет? Пойдем.

Джой пришлось здорово попотеть, чтобы поспеть за Индиго, но он не старался оторваться от нее. На самом деле, когда они пробирались через большую автостоянку или пробивались через толпу, Индиго даже брал девочку за руку, чтобы она не потерялась. Они направились в деловой район, где Вудмонт незаметно перетекал в другой пригород — собственно, граница проходила по автостраде. Здесь магазины работали до девяти-десяти часов вечера. Индиго заходил с ней в каждый магазинчик с неоновой витриной, в каждый пассаж, откуда гремели популярные мелодии — одна другой громче и отвратнее. Индиго взглядом обшаривал толпу, а Джой, наблюдая за его быстрыми, настороженными движениями, думала: «Он любит все это! Он готов любить все, что угодно, лишь бы это был не Шей-рах! Нет, этого мне никогда не понять!»

— Когда она бывает здесь, то сидит вот тут, — неожиданно произнес Индиго, кивком указав на вход мексиканского ресторанчика «Большая лепешка». — Но, я думаю, она уже вернулась туда, где ночует. Пошли.

Автострада шла по эстакаде — выше ее поднимались лишь самые высокие вудмонтские здания, — но съезд с автострады вел прямо в городок. Индиго больно ухватил Джой за запястье и потащил ее за собой в душную полутьму между опорами эстакады. Как ни странно, здесь было менее шумно, чем представлялось Джой, — как будто темнота заглушала грохот несущихся поверху машин.

— Сюда, — сказал Индиго.

Джой почти бежала следом за Индиго по растрескавшемуся асфальту. Она старалась обходить лужи с затхлой водой и кучи мусора, но все-таки вляпалась где-то в масляную краску. Какие-то неясные фигуры мелькали в полумраке

мимо них либо бросались прочь, сшибая по дороге пустые ящики. Многие из них тащили под мышкой здоровенные пласты картона либо воевали с битком набитыми зелеными полиэтиленовыми сумками, словно какие-то жалкие Санта-Клаусы. К Индиго и Джой никто не обращался, даже затем, чтобы попросить мелкую монетку. Кое-кто из женщин поглядывал на них, но мужчины всегда отводили взгляд.

И внезапно Джой ощутила музыку Шей-раха — ощутила за несколько мгновений до того, как на самом деле ее услышала. Музыка была такой же болезненной и ущербной, как глаза людей, сновавших под эстакадой. На мгновение откуда-то сбоку послышался одинокий голос рога, взметнулся и тут же поник. Но все же это и в самом деле был голос Шей-раха. Джой застыла как вкопанная.

Индиго нетерпеливо дернул ее за руку.

— Идем! Ты же хотела видеть Старейшего, который сейчас, в твое время живет в твоем городе? Ну, так она здесь. Пошли!

И он, не оглядываясь, зашагал вперед. Мгновение спустя Джой последовала за ним.

Женщина сидела на кипе газет, привалившись спиной к колонне, и играла на алом роге длиной почти в половину ее роста. Одеждой ей служили какие-то тусклые лохмотья. У женщины были густые немытые рыжие волосы, худощавое лицо с выступающим подбородком и светлые глаза. Внешние уголки глаз были чуть опущены книзу. Но когда женщина узнала Индиго, на лице ее появилась теплая улыбка, в которой сиял свет Границы — его ни с чем не спутаешь. А когда она, словно королевский герольд, вскинула рог, музыка Шей-раха пронзила сердце Джой с вечной своей внезапностью — к этому невозможно было привыкнуть. Но музыка почти сразу же оборвалась, обтрепавшись и спутавшись, и унеслась прочь, как уносится вода, если слишком сухая земля не в состоянии ее впитать. Женщина равнодушно пожала плечами.

— О господи! — вырвалось у Джой. Она оттолкнула Индиго и встала перед женщиной. — Что вы здесь делаете?! — воскликнула девочка. — Вы же не отсюда! Вам нужно вернуться в Шей-рах!

Светлые глаза женщины — отекшие и покрасневшие, но

все равно до боли ясные, как небо над Шей-рахом, — с леденящим спокойствием взглянули на Джой.

— Мне здесь нравится, — отозвалась она, потом подняла с земли грязную пластиковую посудину и встряхнула — точно так же, как Джон Папас встряхивал свою деревянную шкатулку, чтобы заставить монеты звенеть.

Джой едва удержалась, чтобы не схватить женщину за худощавые плечи и не потрясти хорошенько.

— Да что вы такое говорите?! Вам не может нравиться побираться на улице и играть эту музыку за подаяние! Ведь вы же помните Шей-рах — я знаю, знаю, что помните! Там, в вашем мире, вы — как принцесса! Так что же вы делаете здесь?!

Женщина, не обращая особого внимания на Джой, сонно кивнула Индиго, который обошел девочку и склонился в поклоне. Он явно не видел сейчас ничего, кроме глаз женщины.

— Мне тоже здесь нравится, — очень тихо произнес он. — Здравствуй, Валадья.

— Индиго... — пробормотала женщина. Она положила рог и ответила мальчику таким же пристальным взглядом. Джой попятилась. Сейчас она чувствовала себя не то невидимой, не то лишней. Одна нога попала в какую-то дрянь, и Джой принялась яростно шаркать по асфальту, казавшемуся столь же далеким, как и Шей-рах. Индиго что-то произнес. Джой не разобрала слов, но голос его звучал поразительно нежно. Женщина рассмеялась в ответ и отчетливо произнесла:

— Нет, здесь все в порядке. Все хорошо.

Что-то толкнуло Джой сзади и едва не сшибло ее с ног. Коренастый лысеющий негр с клочковатой седой бородкой протащил тележку с надписью «Самые дешевые лекарства» между Джой и Индиго — только Индиго успел быстро отступить в сторону.

— Вот, достал тебе кой-чего, — хриплым, одышливым голосом произнес негр, обращаясь к женщине. Он порылся в груде хлама, заполнявшего тележку, и вытащил промасленный бумажный пакет. — Кусок пиццы и диетическая «Фреска». Вот, бери.

Женщина улыбнулась и приняла пакет. Она предложила было кусочек остывшей пиццы негру, но тот лишь засопел и покачал головой.

— Нет, детка, это тебе. Ты давай, ешь.

Он расстелил газету, осторожно уселся рядом с женщиной, положил тяжелую руку ей на плечи и лишь после этого позволил себе обратить внимание на Индиго и Джой.

— Это моя дама, — решительно заявил он. — Мы с ней вместе.

— Да, я вижу, — очень мягко отозвался Индиго. Он поднял руку в прощальном жесте и прикоснулся ко лбу, где полагалось бы находиться рогу. Женщина небрежно вскинула рог и ответила несколькими быстрыми мягкими нотами фанфар Шей-раха. Индиго повернулся и пошел обратно.

Джой двинулась прочь раньше его. Она шла наклонив голову, как будто против сильного ветра. Индиго пришлось догонять ее. Джой молчала до тех пор, пока они не вышли из-под эстакады и не отошли от автострады. Лишь после этого она произнесла:

— Это ужасно! Жить здесь, среди этой дряни, питаться пиццей — и это Старейшая! Это было самое отвратительное зрелище за всю мою жизнь!

— Как интересно... — сухо протянул Индиго. Но насмешки в его голосе не было. — А я, Старейший, существо намного старше тебя, утверждаю, что это самое прекрасное зрелище, которое я видел за всю свою жизнь. Но тебе этого никогда не понять.

— Нет! — отрезала Джой. — Никогда!

Она двинулась прочь, не оглядываясь, и потому даже не заметила, в какой момент Индиго отстал.

Глава 7

В первое же воскресенье после возвращения из Шей-раха Джой отправилась в «Серебряные сосны», в гости к Абуэлите. Добираться туда приходилось двумя автобусами. Джой ездила к Абуэлите каждое воскресенье, вне зависимости от того, присоединялись ли к ней прочие родственники или нет. Абуэлита встретила ее на первом этаже. Она сидела в холле, на маленькой скамеечке. Местным обитателям полагалось принимать посетителей именно здесь. Абуэлита была одета в поношенное цветастое платье — Джой помнила его еще с раннего детства и очень любила, — древние соло-

9 – 7877

менные сандалии и черную шерстяную шаль, которую она набрасывала на плечи в любую погоду. Когда бабушка с внучкой обнялись, широкий индейский нос Абуэлиты уткнулся в подбородок Джой.

Пышная белокурая администраторша — Абуэлита звала ее la bizcocha rubia[1] — закудахтала:

— Ах, как мило! А теперь мы пойдем гулять, как каждое воскресенье? Просто чудненько!

Она всегда кудахтала, увидев Джой и Абуэлиту вместе.

Абуэлита отозвалась на безукоризненном английском (она прекрасно говорила по-английски, когда ей того хотелось):

— Нет. Это *я* иду гулять с моей внучкой Джозефиной. А вы останетесь здесь и будете молиться, чтобы никто из жильцов не умер до перерыва на ленч. Пойдем, Фина, — Абуэлита развернулась и подмигнула, но движение ее было неумолимым, как звук захлопнувшейся двери.

— Я пропустила тихий час, — продолжила она уже по-испански, беря Джой под руку. — Они не любят, когда кто-нибудь из нас пропускает тихий час. Думаю, они используют это время, чтобы крутить шашни между собой.

За спиной у них la bizcocha rubia, постепенно повышая голос, раз за разом повторяла старику со слезящимися глазами, одетому в махровый халат:

— Мистер Гербер, вы не сможете ее найти, потому что она уже две недели находится в больнице! Она в больнице, мистер Гербер!

Абуэлита спокойно пояснила Джой:

— Его жена умерла. А женщина, которая обязана сообщать нам такие вещи, сейчас в отпуске. На следующей неделе она выйдет на работу и все ему скажет.

— Ненавижу это место! — не выдержала Джой. — Ненавижу здешнюю еду, здешний запах — здесь пахнет, как в больнице, только тут никто даже не пытается сделать так, чтобы людям стало лучше. Мне хочется, чтобы ты ушла отсюда и снова стала жить с нами.

Абуэлита обняла Джой за плечи.

— Ничего не выйдет, Фина. Я уже слишком старая и уп-

---

[1] Здесь приблизительно: фарфоровая блондиночка (*исп.*).

рямая, чтобы жить в одном доме с кем бы то ни было, — наверное, я даже с твоим дедом не ужилась бы, даже если бы он мог вернуться. Но и жить одна я тоже не могу — из-за артрита и еще потому, что иногда я падаю в обморок. А этот пансион не хуже и не лучше любого другого. Ну а теперь пойдем гулять.

«Серебряные сосны» располагались на невысоком холме. С двух сторон от холма проходили автострады, а с третьей находилось кладбище. Абуэлита находила это весьма забавным. Впрочем, чувство юмора Абуэлиты всегда казалось странным ее родственникам — всем, кроме Джой. Весело болтая по-испански, они с Джой обошли бассейн и направились в сторону поля для гольфа, служившего в пансионе центром общественной жизни. Сразу за этим полем лежал небольшой, тщательно ухоженный парк — сюда обитателям пансиона полагалось ходить на прогулки. Кроме того, здесь же каждую неделю проходили выступления местных талантов, а иногда — занятия кружка тай-цзи-цюань. Абуэлита и Джой могли, неспешно прогуливаясь, обойти весь парк за одиннадцать минут. Обычно они делали три круга.

Лишь когда они вышли на второй круг, Джой набралась смелости и нерешительно спросила:

— Абуэлита, а ты веришь в другие миры? Нет, не другие планеты. А просто... просто другие места, которые рядом, но которые так просто не увидишь.

Почтенная пожилая дама взглянула на внучку с легким удивлением.

— Само собой разумеется, Фина. Конечно, я верю в то место, где сейчас находится Рикардо, твой дед, и откуда он за всеми нами наблюдает. Как я могу в это не верить?

— Да нет, я думала не о небесах или чем-то таком, — поправилась Джой. — Не совсем об этом.

Абуэлита рассмеялась, мягко и печально.

— Да и я не о них. Я слишком хорошо знаю твоего дедушку, — она взглянула в лицо Джой. — Фина, в моем возрасте я могу позволить себе верить во что угодно до тех пор, пока мне угодно. Так что, может, и да, может, я могу поверить в какой-то другой мир. Может быть, их и вправду много — кто знает? А почему ты меня об этом спрашиваешь?

Джой набрала побольше воздуха и шумно засопела.

— Потому что я... потому что... да нет, просто так. Пустяки, в общем.

Абуэлита остановилась.

— В чем дело, Фина?

Она схватила внучку за запястье. Короткие толстенькие пальцы бабушки оказались на удивление сильными.

— Gatita, pajarita[1], что такое? Рассказывай!

— Ну, потому... — Джой еще раз набрала побольше воздуха и разразилась сумбурной тирадой по-английски. — Потому что вправду существует другой мир, другое место, и я там была! Там есть сатиры, и фениксы, и двухголовые змеи, и еще там есть единороги, Абуэлита, только они называют себя Старейшими, и они создают музыку, она исходит от них, и это ни на что не похоже, так что я даже не знаю, как тебе это объяснить! И там есть люди, которые живут в воде, и можно пробыть в том мире долго, как я, а здесь никто даже не заметит, что ты уходил. Мне это не приснилось, Абуэлита, и я ничего не выдумываю — честное слово! Это место называется Шей-рах, и я была там!

Абуэлита насмешливо вскинула руки, показывая, что она сдается.

— Socorro, despacio[2], помедленнее, помедленнее, Фина! Я — старая женщина и не поспеваю за тобой, когда ты так тарахтишь, — Абуэлита рассмеялась, но глаза ее остались совершенно серьезны. — Расскажи мне об этом, Фина. Только медленно. И по-испански.

В тот день они обошли маленький парк не три раза, а куда больше, но даже не заметили этого. Последний круг они проделали в молчании. Внезапно тишину нарушил чей-то вопль:

— Миссис Ривера! Миссис Ривера!

Джой подняла голову и увидела, что со стороны площадки для гольфа к ним спешит одна из служащих «Серебряных сосен».

— Mierda[3]! — выругалась Абуэлита. — Совсем забыла про эту дурацкую проверку! Вечно им надо знать, когда мне будет угодно подняться с постели!

---

[1] Проказница, плутовка (*исп.*).

[2] Караул! Потише! (*исп.*)

[3] Дерьмо! (*исп.*)

Она помахала рьяной служащей, потом повернулась и нежно приложила ладони к щекам Джой.

— Слушай меня, Фина. Мне надо подумать над твоим рассказом. Мне просто нужно немного подумать. Понимаешь?

Джой кивнула. Абуэлита продолжила:

— Это место, этот Шей-рах, — ты там случайно не видела где-нибудь твоего Abuelo[1] Рикардо? Нет? Ну ладно, неважно.

Абуэлита еще раз помахала рукой и крикнула:

— Мы уже идем, senorita Эшли! Не бегите так! А то доведете себя до сердечного приступа и вас положат в одну палату со мной!

Шли дни. Джой исправно посещала школу, довольно прилично ладила с родителями, когда те бывали дома, периодически ссорилась со Скоттом, иногда уходила ночевать к Би-Би Хуанг, несколько раз в неделю работала в магазинчике Папаса и завела привычку внимательно смотреть в глаза уличным музыкантам, бездомным мужчинам и женщинам и полубезумным, нетвердо держащимся на ногах нищим — которых, если верить постановлениям муниципалитета, в Вудмонте не было. Никого из Старейших она больше не встретила, но и отделаться от этой привычки тоже не могла.

Индиго не возвращался. Джон Папас сновал по магазину. Он сделался непривычно раздражителен, вел с кем-то длинные телефонные разговоры по-гречески и часто исчезал после этих звонков. Еще он часто отрывал Джой от хозяйственных работ, чтобы устроить ей импровизированный урок музыки, и постоянно повторял:

— Пиши, пиши, тебе надо записать все эти штуки, которые ты слышала там, в том месте. Что толку слышать, если не можешь это записать?

Джой старалась, как могла, запоминая трезвучия, септаккорды, переходные тона и диатоническую шкалу, но ей казалось, что все эти слова, числа и даже клавиши пианино имеют так мало отношения к той музыке, которой она дышала в Шей-рахе, что девочка часто роняла руки и пулей вылетала из магазина, так хлопнув дверью, что старые оконные

[1] Дедушка (*исп.*).

стекла принимались дребезжать. Но на следующий день она неизменно возвращалась. Кроме этого магазинчика, существовало лишь одно место, куда Джой хотелось бы пойти.

Но она боялась попытаться попасть туда еще раз. По мере того как дни шли, а Индиго все не показывался, Джон Папас все чаще спрашивал у Джой:

— Тебе не приходило в голову посмотреть — может, ты сможешь снова найти это место, эту Границу? Ну, понимаешь — просто посмотреть.

Джой кивнула, оторвавшись от нотной тетради.

— Приходило. Я постоянно об этом думаю.

Джон Папас, поправлявший анкерный стержень в грифе гитары, отвел глаза и пробормотал:

— Ну, может, тогда тебе стоило бы попытаться... Хуже от этого никому не станет.

— Мне, — сказала Джой. — От этого может стать хуже мне. Я прохожу мимо того угла каждый божий день — дважды в день, — и каждый раз я думаю: «Ну ладно, вот сегодня, на этот раз я сверну, пройду квартал или полквартала и окажусь в Шей-рахе. Вот сейчас, сейчас вокруг появится Шей-рах, и музыка, и Старейшие, и все остальное». Но я так и не сворачиваю туда. А вдруг я пройду по этой улице, но так ничего и не случится? Не появится ни Границы, ни Шей-раха — просто ничего? Я этого не выдержу, мистер Папас. Я предпочитаю не знать — понимаете?

Джой не плакала, но ей казалось, что в глазницах у нее сейчас не глаза, а холодные тяжелые камни.

— Да, — отозвался Джон Папас. Голос его звучал глухо и невыразительно, но он положил руку на плечо Джой. — Да, я понимаю, Джозефина Анджелина Ривера. Но жизнь для того и дана человеку, чтобы узнавать. Так лучше, поверь мне. Я-то знаю.

Мгновение спустя старый грек нерешительно добавил:

— Этот парнишка, Индиго, — может, ты там его встретишь...

Джой взглянула на него. Папас продолжал:

— Можешь сказать ему: Папас собирает деньги. Немного времени — вот все, что мне нужно. Запомнишь?

— Запомню, — ответила Джой и стряхнула с плеча руку Папаса. — Я помню, что вы хотите его рог и ничего больше

вас не интересует. Ни он, ни музыка. И я тоже вас не интересую. Да, мистер Папас, вам должно быть стыдно!

В этот день Джой закончила работу, не разговаривая с хозяином магазинчика, а Джон Папас не высовывал носа из мастерской, пока девочка не ушла.

Но на следующую же ночь, когда в небе снова повисла половинка луны, Джой испугалась, что Граница передвинется слишком далеко и она никогда больше ее не найдет. Но бледно-серебристая рябь висела точнехонько на том месте, где Джой когда-то вышла из Шей-раха, — прямо за почтовым ящиком на углу улиц Аломар и Валенсии. Девочка долго стояла на углу. Мимо проезжали машины и автобусы. Пронеслась компания подростков — ровесников Джой — на ярких роликовых досках. Подростки взглянули на Джой с легким презрением. Потом Джой сделала два шага вперед и упала, смеясь и плача, в объятия Ко. Над ними сияло солнце Шей-раха, желтое, как горчица.

— Но откуда ты узнал?! — воскликнула Джой, когда к ней снова вернулся дар речи. — Как ты мог знать, что я пересеку Границу именно здесь и именно в эту минуту? Ай, Турик, щекотно!

По щеке девочки мягко скользнул рог, а теплое дыхание взъерошило ей волосы на затылке. Сатир просиял и разгладил бороду грязными руками.

— Я просто почувствовал, дочка, — горделиво объяснил он. — Мы, тируджайи, чувствуем такие вещи бородой. Если нас вдруг начинают мучать сомнения, то кто-нибудь непременно в такой момент скажет: «Да ладно, слушайся своей бороды». Мы так и делаем, и она всегда ведет нас нужным путем.

Ко еще раз обнял Джой и отступил в сторону, чтобы девочка могла взобраться на спину нетерпеливо пританцовывавшего жеребенка. Турик испустил трубный вопль, подражая боевому кличу принцессы Лайшэ, и взвился на дыбы с такой неистовой радостью, что Джой едва не грохнулась на землю. Ко подхватил ее и напустился на Турика:

— Поосторожнее с моей дочкой, Старейший! Так-то ты приветствуешь гостью самого лорда Синти и чужеземную се-

стру ручейной джаллы? Да я лучше сам ее отнесу, если ты будешь так с ней обращаться!

Турик покорно склонил голову, подождал, пока Джой усядется поудобнее, и двинулся вперед с такой нарочитой изящной осторожностью, что Ко — сатир бежал рядом с ними, временами подпрыгивая и щелкая раздвоенными копытами, — разразился хохотом. Вот так Джой вернулась в Шей-рах. Она прижималась щекой к гордо изогнутой шее гарцующего единорога, а уши ее заполнял низкий, грубоватый и сердечный хохот мчащегося рядом получеловека-полукозла, то и дело восклицавшего:

— Добро пожаловать домой, дочка! Добро пожаловать домой!

И музыка Шей-раха скакала и ликовала вместе с ним.

Джой так и не узнала, сколько же дней, месяцев или даже лет прошло в Шей-рахе за время ее отсутствия — ни в этот раз, ни в другие. Самое большее, что сказал ей лорд Синти, было:

— Хотя Шей-рах соприкасается с вашим миром, из этого еще не следует, что они движутся через вселенную с одинаковой скоростью. Представь себе, что ты едешь верхом на твоем друге, Турике, и что я — не Старейший, а кадруш (так назывались огромные четвероногие слизни, живущие в холмах Шей-раха). Ты можешь тридцать раз объехать весь мир, пока я проползу расстояние, которое разделяет нас сейчас. А если ты потом перепрыгнешь со спины Турика ко мне на спину, как ты почувствуешь, преодолела ли ты вообще какое-то расстояние? Точно так же обстоят дела с Шей-рахом и твоим Вудмонтом.

Пришлось Джой удовлетвориться этим туманным объяснением.

Когда Джой во второй раз попала в Шей-рах, синие листья опали — красная листва Закатного леса не опадала никогда, — а по ночам бывало довольно холодно, так что Джой, подражая тируджайи, обычно устраивала себе на ночь гнездышко из мха. Получалось, что в Шей-рахе тоже существует смена времен года. На взгляд Джой, Турик и его друзья не изменились — ну разве что сделались чуть-чуть выше, а их мягкие гривы стали гуще. А вот шенди, миниатюрные дракончики, как-то странно съежились. Джой не сразу сообра-

зила, что это был новый выводок, примерно с месяц как вылупившийся. Зато перитоны зловеще прибавили в размерах. Это было заметно даже с безопасного расстояния. А все дело было в том, что перитоны, как и прочие олени, имели привычку обрастать зимними шубками. Кошмарные двухголовые джакхао исчезли. Ко объяснил, что на время похолодания они уползают в те древние пещеры, где когда-то появились на свет, и впадают в спячку. Джой заметила, что среди сальных завитков шерсти на груди у Ко появилось седое пятно — она могла бы поспорить, что раньше ничего подобного там не было. Но сатир стоял на своем: это добрая шейрахская грязь и ничего больше! В конечном итоге они предпочли замять эту тему.

Что же касалось ручейной джаллы, она оставалась столь же неизменной, как и воды ее ручья. Точнее говоря, она была даже более неизменна, потому что воды ручья сделались еще холоднее, чем помнилось Джой, а джалла оставалась теплой, как ребенок, только-только выбравшийся из кроватки. Когда стало ясно, что на этот раз Джой не намерена лезть в воду, ее шей-рахская сестра выбралась на берег и бросилась ей в объятия. Они шлепнулись на землю, и мокрая смеющаяся джалла осыпала Джой поцелуями.

— Как долго тебя не было! Я уж думала, что ты за это время сделалась старухой!

Джой, такая мокрая, будто она и вправду искупалась, принялась объяснять подруге про разницу во времени, но ручейной джалле это быстро наскучило, и она потребовала еще раз рассказать ей об автострадах и рыбных палочках. Насчет палочек она успела выработать собственную, совершенно оригинальную концепцию.

Второй визит пролетел ужасно быстро. А ведь Джой даже не знала, сумеет ли она снова найти дорогу сюда. Девочка, как могла, делила свое время между друзьями. Она участвовала в прогулках и неистовых скачках Турика и других молодых единорогов, слушала истории и древние-древние тайны тируджайи, училась у них целительству и терпела обжигающий холод вод горного ручья ради неистового смеха и такой же неистовой нежности ручейной джаллы. Джалла всегда предлагала Джой помочь постирать одежду. Завладев футболкой и джинсами Джой, джалла принималась носиться с

этой одеждой вверх-вниз по течению, размахивать ею, как трофейными знаменами, и в высшей степени художественно колотить ею о камни. Джалла до тех пор не подозревала о существовании грязи и одежды, а потому и то и другое одинаково ее зачаровывало.

Великих Старейших Джой вообще не видала. Турик — жеребенок впервые зимовал самостоятельно, без матери, и чрезвычайно тем гордился — объяснил, что в это время года самые старшие единороги во главе с лордом Синти удаляются в какую-то часть Закатного леса, которой не знают даже тируджайи. Джой тут же загорелась страстным желанием отыскать это место и часами напролет бродила в одиночестве по Закатному лесу, слушая негромкий шепот красных листьев и ворчание каких-то странных существ, ворочающихся в своих зимних логовах. Именно в такие моменты она отчетливее всего слышала музыку Шей-раха, то близкую, то бесконечно далекую.

Однажды в сумерках Джой обогнула куст и столкнулась нос к носу с парой птиц, расцветкой напоминавших соек, только эти были покрупнее. У птиц были длинные ноги болотных жителей и изящные хохолки, как у калифорнийских перепелов. Казалось, что их оперение светится само по себе — от него исходило звездно-синее сияние. Птицы важно и неспешно прошествовали мимо Джой. Ко позже объяснил девочке, что эти птицы называются эркинесы и что если она когда-нибудь заблудится, то, следуя по их светящемуся следу, всегда сможет добраться до безопасного места. Но Джой никогда не боялась заблудиться — в Закатном лесу это было просто невозможно.

В это время года шенди показывались редко, а крийякви не показывались вообще. А перитоны, кажется, охотились где-то в других местах. Но как-то Джой полдня играла в гляделки со странным существом: морда у него напоминала кошачью, а ноги казались лишенными костей и гибкими, как садовый шланг, но при этом умудрялись носить грузное чешуйчатое тело. Общение между ними свелось к минимуму, поскольку животное находилось на земле, а движимая благоразумием Джой взобралась на дерево и там и сидела, невзирая на явные и настойчивые предложения спуститься и познакомиться поближе. Джой упорно отклоняла все предло-

жения, и к вечеру животное удалилось. Но Джой на всякий случай осталась на дереве до утра.

— Это существо было не из Шей-раха, — сказал Ко, когда Джой описала ему зверюгу. — Старейшие говорят, дочка, что помимо моего и твоего существует еще множество миров. А если это так, почему бы не быть и другим Границам?

— Ох, что-то это мне не нравится, — отозвалась Джой. Эта мысль вызвала у нее скорее негодование, чем испуг. — Совершенно не нравится! Слишком уж это жутко, да и вообще — слишком!

Ко пожал плечами, вздохнул, поскреб не знающую расчески голову и улыбнулся своей обычной лукавой улыбкой.

— Ну, мы, тируджайи, о таких вещах много не думаем. От них у нас голова болит.

Джой долго смотрела на сатира, не произнося ни слова, а потом, поддавшись внезапному порыву, спросила:

— Ко, а для вашего народа сто восемьдесят семь лет — это много? Я имею в виду — на самом деле.

Сатир занервничал, заерзал и отвел глаза. Джой повторила вопрос. Когда Ко все-таки ответил, голос его звучал еле-еле слышно:

— Для тируджайи я примерно твой ровесник. Ну почти.

— Ах ты мошенник! — возмутилась Джой. — Ты все это время звал меня дочкой, а сам — всего лишь чокнутый мальчишка вроде меня или Турика. Трепло ты, Ко!

— Я старше Турика... — пробормотал Ко. Он выглядел таким несчастным, что Джой обняла сатира и принялась уверять, что он выглядит намного старше своих лет, — и утешала его, пока Ко не успокоился.

Лишь раз Джой удалось увидеть старших Старейших — точнее, заметить на миг две тени. Возможно, это были принцесса Лайшэ и ее возлюбленный, каркаданн Тамирао, неспешно гулявшие в сумерках. Но однажды во время своих поисков Джой сделала открытие, к которому не стремилась и которого предпочла бы не совершать. Она наткнулась на скелет единорога.

Это произошло в высокогорной пустынной части Шей-раха — в совершенно необитаемой местности, где постоянно дули ветра. Джой редко забиралась сюда — из-за джакхао и

еще из-за того, что здесь она принималась слишком сильно беспокоиться об Абуэлите и чувствовать себя виноватой из-за того, что почти не скучает по остальным родственникам. Но в это время года огромные змеи попрятались под землю, и Джой начала серьезно подумывать: может, ей удастся нарисовать карту Шей-раха? Вот Би-Би Хуанг первым делом за это бы и взялась... Джой сидела на окаменевшем стволе дерева и задумчиво ковырялась палочкой в песке. Потом палочка наткнулась на что-то твердое, и девочка принялась разгребать песок руками. Джой потребовалось куда больше времени, чем можно было бы предположить, чтобы осознать наконец, что именно она нашла.

Определить, кто из Старейших упокоился здесь, под песками, было совершенно невозможно. Некоторое время Джой сидела, держа в руках череп и длинные, все еще изящные кости; потом девочка осторожно уложила их на место, прочитала коротенькую молитву, которой ее научила бабушка, и ушла.

Она ничего не сказала ни Ко, ни Турику. Она даже себе не позволяла задумываться о том, что стоит за этой ее находкой. На этот раз она проводила большую часть времени в обществе ручейной джаллы или тируджайи и не имела ни малейшего намерения лезть в тайны Старейших. И с джаллой, и с сатирами было уютно, и никто из них не задавал лишних вопросов. И Джой с головой ушла в их жизнь, хотя не раз рисковала подхватить простуду от слишком длительного пребывания в ручье — она теперь училась плавать, извиваясь всем телом. Джой все еще чувствовала себя неважно, когда однажды утром в сознании у нее прозвучал голос лорда Синти: «Пора» — и Турик проводил ее к Границе.

Джой очень надеялась встретиться по пути с самим лордом Синти. Ей хотелось задать ему несколько вопросов. Девочке казалось, будто черный единорог находится где-то поблизости. Но он так и не появился. Они уже почти добрались до Границы, когда Джой обернулась, чтобы что-то сказать Турику, почувствовала запах пены для ванн и обнаружила, что рядом с ней идет Индиго.

— Твой приятель умчался по каким-то своим дурацким делам. Он скоро вернется, — сказал Индиго.

Несмотря на слова, в голосе Индиго не слышно было его обычной дерзости.

Джой остановилась и сказала:

— Вы можете умереть.

— Мы не бессмертны, — отозвался Индиго. — Мы только очень-очень долго живем. И не все мы уходим вместе с лордом Синти, чтобы провести зимние месяцы в глубокой медитации. Только старшие. А когда придет весна, вполне может случиться так, что кто-то из нее не выйдет. Тогда Старейшие говорят, что он просто покинул нас, удалился в Великое Одиночество, куда раньше или позже уйдет каждый из нас. Это — первая ложь. Остальные тебе известны.

— Но почему? — прошептала Джой. — Почему они просто не скажут об этом младшим? Ведь все умирают...

— Если ложь проживет достаточно долго, она становится правдой. А это — очень старая ложь, старше самого лорда Синти. Когда кто-то становится достаточно взрослым, он присоединяется ко лжи. Разве по вашу сторону Границы дела обстоят не так?

Джой не ответила. Тогда Индиго продолжил:

— Я не знаю, как все это началось. Но знаю, что я не хочу участвовать в этом.

Джой хмыкнула.

— Ага. И потому ты стремишься на нашу сторону Границы, чтобы жить честно. Чушь какая.

— Ты встречала другую Старейшую, которая думает так же, как я, — сказал Индиго. Он говорил так, будто оправдывался. — На самом деле их намного больше.

— Ну, если все они живут так же, как та женщина, то я бы сказала, что ты меняешь шило на мыло.

Собственный голос показался Джой таким же презрительным, каким когда-то был голос Индиго, и девочка попыталась смягчить его, но безуспешно.

— Я просто думаю, что это ужасно глупо, и мне не хочется, чтобы ты сделал глупость, вот и все.

— Это глупо, — тихо откликнулся Индиго. — Конечно, это глупо, и тех, кто делает этот выбор, всегда будет мало. Но это наш выбор — первый выбор, который доводилось делать любому из нас. И не пытайся представить, что этот глупый

выбор значит для единорога. Ты просто не поймешь этого, чужачка.

Повинуясь какому-то неясному побуждению, Джой взяла лицо Индиго в ладони, как когда-то Абуэлита брала ее лицо, и произнесла:

— Индиго, та женщина, под эстакадой, — она до сих пор держит свой рог при себе. Могу поспорить, что и остальные делают точно так же. Могу поспорить, что никто из Старейших никогда не продавал свой рог!

Индиго резко отступил назад и вскинул голову. Джой добавила:

— Ты хочешь продать свой рог, чтобы получить деньги, чтобы жить лучше, чем они. Но они будут жить, а ты умрешь. Тут лорд Синти говорит чистую правду. Ты умрешь, Индиго!

Джой едва расслышала ответ белого единорога:

— Но я хочу жить! Я буду жить!

И с этими словами он исчез, а мгновение спустя вернулся Турик. Он тащил в зубах гроздь каких-то водянистых луковиц.

— Вот, это тебе! Мы их называем мормареки. Они уже малость переспевшие, но когда ты их будешь есть, они напомнят тебе обо мне, и о моей маме, и о Ко, и о всем Шей-рахе.

Когда Джой, прощаясь, обняла Турика за шею, жеребенок прошептал:

— Возвращайся скорее. Я по тебе скучаю...

Никто и никогда, кроме Абуэлиты, не говорил Джой таких слов, и потому девочка пересекла Границу в слезах. Не может быть, чтобы она была здесь в последний раз!

Глава 8

Учебный год закончился. Скотт, брат Джой, уехал в спортивный лагерь, а ее родители — в район бухты Сан-Франциско, с ежегодным двухнедельным визитом к родственникам миссис Риверы. Джой же после долгих просьб и уговоров позволили остаться у Би-Би Хуанг. Но девочка проводила каждую свободную минуту в магазинчике Папаса, пытаясь научиться перекладывать музыку Шей-раха для пианино. Страстное нетерпение Джой лишь затрудняло дело: девочка

довольно быстро усваивала нотную грамоту, но превращение синих деревьев и крохотных дракончиков Шей-раха в черные закорючки, расползшиеся по грязному листу нотной бумаги, то повергало Джой в уныние, то вызывало приступы неистовства.

— Но почему бы это не сделать вам? — канючила она. — Я сыграю, а вы просто запишете музыку на магнитофон, а потом, когда выдастся свободное время, перенесете на бумагу. Почему именно я должна возиться с этим записыванием?

— Потому, что именно ты слышишь эту музыку, — неумолимо и спокойно отвечал старый грек. Когда дело доходило до музыки, Папас делался неколебим. — Потому, что это твое. Я эту музыку не слышу, как ты, — может, когда-то я ее и слышал, но теперь больше не слышу. Потому я и не могу ее играть. Потому, что это сущий грех — чтобы ты позволяла кому-то другому записывать то, что ты чувствуешь, что ты слышишь. Это грешно. Ты можешь утратить свою особость и закончишь тем, что будешь торговать подержанными банджо, как я. Ладно, не отвлекайся. Это ты называешь нотным станом? Что же он у тебя шатается, как я, когда выхожу от Провотакиса? И сколько раз тебе повторять: эти маленькие флажки всегда смотрят вправо — половина, четверть, одна шестнадцатая — без разницы. Давай дальше.

Так Папас уговаривал Джой, дразнил ее, льстил ей и в конце концов добился-таки своего: Джой начала видеть Фириз, глядящую на нее из-за грязной тюремной решетки нотного стана, а записывая россыпь фиоритур, чувствовать под пальцами смех ручейной джаллы. «Получается! Слышишь, Шей-рах? Абуэлита, наверно, я и вправду смогу передать это точно!»

Когда Джой отважилась сказать об этом Джону Папасу, старый грек долго смотрел на нее. А когда он все-таки заговорил, голос его звучал на удивление мягко:

— Нет, точно — никогда, Джозефина Анджелина Ривера. Этот мир, тот мир — неважно. Ты никогда не добьешься, чтобы люди видели то, что ты видишь, слышали, чувствовали то, что ты чувствуешь. Ноты не могут этого сделать, слова не могут. Краски, бронза, мрамор — ничего не может. Все, что ты можешь сделать, — может быть, передать это чуть-чуть поточнее, чуть-чуть. Но чтобы точно? Нет, никогда.

Джой ходила в Шей-рах, когда ей заблагорассудится, и три-четыре дня подряд пересекала Границу чуть ли не ежедневно. А потом, осознав, что все сильнее привязывается к миру Старейших, и испугавшись этого, она могла заставить себя целую неделю просидеть дома. Граница явно прочно поселилась на углу Аломар и Валенсии, мрачной узкой улочки — или даже, скорее, переулка. Но каждый раз, перешагнув Границу и попав в Шей-рах, Джой оказывалась в новом месте — в лесу или на лугу, на берегу реки или на каменистом горном пастбище, где она никогда прежде не бывала. Но Ко всегда встречал ее — а зачастую к нему присоединялся и Турик — и всегда повторял:

— Моя борода все чувствует, дочка. А я только слушаюсь своей бороды.

Присутствие сатира было единственным, на что Джой твердо могла рассчитывать, пересекая Границу: Вудмонт по мере течения дней неуклонно двигался через лето к осени, но Джой с равной легкостью могла шагнуть с теплого калифорнийского побережья под пронзительно холодный дождь, а из-под жарких ветров, дующих с юга, — в безмятежную синюю тишину весенней ночи Шей-раха. В этом не было ни логики, ни схемы. И Джой радостно принимала таинственную непредсказуемость Границы.

Теперь Джой каждый раз, пересекая Границу, прихватывала с собой карандаши и блокнот для рисования. Ей хотелось составить как можно более подробную карту Шей-раха. Ко и Турик провожали Джой повсюду, куда ей хотелось. Странное занятие Джой их несколько удивляло, но они неизменно были терпеливы и доброжелательны. А еще оказалось, что ручейная джалла, никогда не покидавшая своего ручья, знает каждую водную артерию этой земли от истока до устья, и с такими подробностями, словно каждая река, каждый ручей были ей родным домом.

— Мы просто знаем, — отозвалась джалла, когда Джой выразила свое удивление. — Ваш народ знает все эти штуки, про которые ты рассказываешь, — как бишь их там? — выборы, ролики? А мы, джаллы, знаем воду. Все очень просто.

Но Шей-рах сопротивлялся изучению, сопротивлялся с почти сознательным упрямством. Холмы, казалось, изменяли свои очертания, не успевала Джой нанести их на карту.

Долины и ущелья, промытые реками, не только извивались, как червяки, пытаясь увернуться от ее карандаша, но еще и становились совершенно неузнаваемыми, когда Джой пыталась снова отыскать их. Девочка так и не узнала пределов этой земли: здесь не было границ — лишь Граница. Постепенно Джой начала осознавать, что лишь изменчивая музыка здешних властителей, единорогов, создает истинный облик Шей-раха. «А я — единственный человек, который может придать облик этой музыке, так чтобы она стала реальной в нашем мире. Так, чтобы люди узнали о ней». Уразумев это, Джой поспешила домой, как только встала луна. Когда Папас заявил, что Джой полностью запорола этюд, который он поручил ей переложить для голоса и фортепьяно, Джой не возразила ни слова. Она просто села за стол и переделала упражнение, быстро и безукоризненно. Джон Папас потрогал лоб Джой — лишь наполовину в шутку.

— Ну вот, это уже на что-то похоже, — сказал однажды Папас, наигрывая на старом кларнете то, что Джой успела записать. — Не могу сказать, на что именно, но на что-то наверняка похоже. Может, назовем это «Сонатой единорога» — как думаешь?

Джой сказала, что ее это устраивает.

Постепенно в магазинчике начали появляться друзья Джона Папаса — тихие мужчины и женщины. Они говорили мало, но слушали игру Джой с таким вниманием, что девочка начинала чувствовать себя неуютно и сама становилась неразговорчивой, невзирая на расширенные глаза и восхищенные лица гостей. Джон Папас позже говорил Джой, что никто из них никогда прежде не слышал подобной музыки и они просто не могли найти слов, чтобы выразить свои чувства.

— Они робеют перед тобой — понимаешь ты это? Слушай, эти люди играют на своих Страдивари, «Стейнвеях» и «Безендорферах» по всему миру, играют для королей, королев, кинозвезд, и они боятся — боятся! — заговорить с Джозефиной Анджелиной Риверой, ученицей средней школы «Риджкрест». Как тебе это, а, девочка? Все кверху ногами! Может, теперь ты начнешь чуть усерднее работать ради этого?

Усы старого грека были взъерошены, а волосы растрепаны, так что казалось, будто Папас буквально распушился от гордости.

За лето Индиго появлялся в магазинчике дважды. Каждый раз он приносил с собой серебристо-голубой рог. Каждый раз он изящно прислонялся к прилавку, подносил рог к губам, и пыльный маленький магазин заполняли ночи и дни Шей-раха. Индиго играл обо всем, от Старейших до крийякви. Он играл даже о паутинках, искрящихся в лунном свете, — Джой никогда не удавалось этого добиться, и девочка в отчаянии колотила по клавишам пианино. Каждый раз Джон Папас как-то ухитрялся собрать побольше золота, чтобы предложить его за рог, — теперь в шкатулке были не только монеты, но и украшения, и даже слитки — и каждый раз Индиго надменно объявлял, что этого слишком мало, хотя Джой даже на расстоянии чувствовала его нерешительность, точно так же, как чувствовала смех ручейной джаллы.

Однажды, когда Джон Папас ненадолго отошел и не мог ее слышать, Джой настойчиво спросила:

— Ведь ты не хочешь его продавать — разве не так? Ты просто играешься с этой мыслью. Ты знаешь, что однажды захочешь вернуться домой! Так зачем же ты продолжаешь валять дурака?

— Что тебе до этого, чужачка? — с некоторым удивлением поинтересовался Индиго. — Шей-рах — не твой дом, а его народ — не твой народ, что бы ты из себя ни строила. Почему это тебя беспокоит?

— Потому, что там у меня намного больше друзей, чем здесь, — парировала Джой. — Потому, что по Шей-раху я скучаю больше, чем по этому месту. И это делает Шей-рах моим домом — в некотором смысле.

Индиго горько усмехнулся и покачал головой.

— Тогда твой мир должен бы стать моим домом, но он мне не дом и никогда им не будет. А Шей-рах останется моим домом, даже когда я в конце концов покину его навсегда. Но я все равно решил остаться здесь. Когда получу приемлемую плату за то, от чего отказываюсь.

Ночь с воскресенья на понедельник — день начала учебного года — была также последней ночью перед новолунием. У Джой даже промелькнула мысль — может, навестить Абуэлиту в другой раз? — но устоявшиеся привычки теперь очень много значили для ее бабушки.

— В моем возрасте, когда ninos[1] ушли, друзья ушли, тело уходит, — что остается, кроме привычного образа жизни? Если бы не мои дурацкие давние привычки, кто знает, помнила бы я, кто я такая?

Джой очень тщательно продумала расписание дня. Луна встанет, как только стемнеет. Если поймать нужный автобус, вполне можно успеть домой к ужину. Несмотря на то что родители Джой ни разу ее не хватились и даже не догадывались, как далеко от них она уходит временами, Джой, к собственному удивлению, обнаружила, что именно в те дни, когда она собиралась пересечь Границу, от них ужасно трудно отцепиться.

Джой приготовила все заранее — теперь она точно знала, что нужно класть в рюкзачок, когда собираешься в Шей-рах. Она даже вовремя вспомнила, что нужно взять книжку с картинками для ручейной джаллы — та никак не могла себе представить, что такое книги. Собравшись, Джой отправилась в «Серебряные сосны». Абуэлита уже ждала ее в холле, на маленькой скамеечке.

— Какие у тебя забавные волосы, — сказала Джой. — С чего это вдруг они побелели? Они же у тебя не белые.

Абуэлита принялась смеяться, и хлопать себя по бокам, и смеялась, пока ее смуглая кожа не сделалась почти что розовой.

— Я просто перестала краситься, Фина. Я красила волосы... ох, много лет. Рикардо очень нравились черные волосы. Но теперь это сделалось чересчур уж хлопотно. Придется Рикардо принять меня такой, как я есть. — Абуэлита обняла Джой, потом уронила руки. Она никак не могла унять смех. — Неужто ты и вправду об этом не знала? Ох, Фина, как я тебя люблю!

Они заканчивали первый круг по парку, когда Абуэлита сняла с запястья золотой браслет со вставками из слоновой кости и прежде, чем Джой сообразила, что происходит, ловко надела его на руку внучке.

— Подвинь его повыше, дитя. У тебя слишком тощие руки.

Джой остановилась как вкопанная.

---

[1] Дети *(исп.)*.

— Это невозможно! — выпалила она, от потрясения перейдя на английский. — Забери его, Абуэлита, он слишком дорогой. Ты не можешь взять и отдать такую вещь девчонке.

И Джой принялась возиться с изящной старинной застежкой, пытаясь снять браслет.

Абуэлита удержала ее руку.

— Фина, он всегда был твоим, с самого твоего рождения. Я хочу сейчас видеть, как ты его носишь, а не смотреть потом с небес. Это слишком уж далеко — небеса, — а глаза у меня уже не те, что раньше.

Глаза Джой наполнились слезами, и старуха тут же напустилась на внучку:

— Вот только не вздумай вести себя как твой братец! Это просто браслет, это просто бабушка, это просто жизнь. Не больше и не меньше. Как я тебе и говорила — просто жизнь, которая достаточно хороша для всякого.

— Но мне же нечего подарить тебе! — всхлипнула Джой.

Абуэлита одарила ее нежным и насмешливым взглядом.

— Ну, это чересчур глупо даже для такой маленькой девочки, как ты. Так что мы не будем тратить время на то, чтобы это обсуждать. Дорог не подарок, дорого внимание. Все дело в причине. Драгоценные безделушки может дарить кто угодно, но никто не сможет подарить мне Фину. С того дня, как ты родилась, о чем еще я могу просить?

Внезапно Абуэлита умолкла и застыла неподвижно, поднеся руку к уху.

— Что это? Что я слышу?

Джой затаила дыхание, не смея вымолвить ни слова. Над двумя автострадами плыла музыка, отдаленная и тихая, но столь же отчетливая, как биение сердца Джой, насмешливая, полная любви и радостно противоречащая себе в каждой каденции — вечное и нелепое очарование. И Абуэлита слышала эту музыку. Даже если бы Джой вдруг сделалась глухой, как камень, она все равно узнала бы отсвет музыки Шейраха на лице своей бабушки.

Абуэлита невольно прижала руку к груди. Глаза ее сделались молодыми и страстными.

— Вот... — прошептала она. — Музыка из снов... Ты можешь подарить мне ее.

— Музыка из снов... — собственный голос показался Джой чужим и каким-то отдаленным. — Ты ее слышишь?

— Каждую ночь, — отозвалась Абуэлита. — Каждую — не знаю даже, с каких пор. Мне снятся такие странные места, Фина, — не поверишь, насколько странные. Люди, животные, всякие разности — и всегда эта музыка. Однажды я сказала об этом Бретани — это моя сиделка, ну и имена же у них! — а она сделала мне укол. Потому теперь я ни с кем не говорю об этой музыке. Даже с тобой.

Потом, когда пришлось объясняться, — и Джой знала, что правде никто не поверит, — она ни на миг не усомнилась в том, что поступила в тот момент правильно.

— Ладно, — сказала она. — Ладно, Абуэлита. Зайди к себе и возьми пальто, — ну, может, еще чего-нибудь прихвати. Я отведу тебя в музыку из снов.

В конечном итоге они ушли из «Серебряных сосен» без разрешения. Во-первых, у Абуэлиты на вторую половину дня был запланирован сеанс массажа. Кроме того, здешним жителям не полагалось покидать территорию пансиона без сопровождения, а дети таковым не считались. И еще сегодня вечером должны были показывать «Гарольд и Мод», и тот факт, что старая женщина готова пропустить этот фильм, наверняка показался бы подозрительным. Они пропустили два автобуса, прежде чем Абуэлита взяла дело в свои руки и отвела Джой к задним воротам. Приставленный к этим воротам служащий держал в кармане формы запретный плейер, и отвлечь от музыки, гремящей в наушниках, его мог только автомобильный гудок. Абуэлита и Джой проскользнули мимо, а служащий даже пальцем не пошевелил.

Насколько могла припомнить Джой, Абуэлита всегда была главным авантюристом в их семействе. Она была способна прорыть подземный ход в Китай, забраться в заброшенный дачный домик или предложить отправиться в кругосветное плавание на прогулочной лодке. Но та Абуэлита, с которой Джой так часто прочесывала полгорода в поисках любимой цыганки-гадалки, некой Марии Фелиции, или малоизвестного фильма, или какой-то подружки детства из Лас-Перлас, казалась почти такой же неутомимой, как ее собственная внучка. А эта, нынешняя Абуэлита, хотя и не жаловалась, и не просила объяснений, но явно устала уже от долгой поездки в автобусе. Музыка Шей-раха все еще прико-

вывала к себе ее внимание, все еще цвела в ее глазах, но, пройдя несколько кварталов, Абуэлита начала прихрамывать, и Джой видела, как сквозь смуглую индейскую кожу проступает пугающая бледность.

«Следующий квартал. Луна уже встала. Хорошо. Еще один квартал по Аломар, и мы окажемся в Шей-рахе, и все будет хорошо. Как только мы попадем в Шей-рах, с ней все будет в порядке».

Но Граница исчезла.

Оставив Абуэлиту отдохнуть у почтового ящика, Джой принялась неистово рыскать во всех направлениях. В возрастающем отчаянии девочка обшарила весь переулок, забираясь даже на проезжую часть, — но тщетно. Музыка по-прежнему была слышна, даже сквозь шум машин, долетающих с улицы Валенсии, — но в сумерках не видно было привычного метельного танца, да и вообще ни малейшего намека на то, что рядом, в одном-единственном шаге отсюда, дышит серебряное утро иного мира. Граница исчезла.

Абуэлита терпеливо ожидала у почтового ящика. Джой повернулась и медленно побрела к бабушке.

— Абуэлита, я не могу отвести тебя туда, откуда приходит эта музыка, — пробормотала она. — Это то место, о котором я тебе рассказывала, и я знала, как попасть туда, но я больше не могу его найти. Мне жалко. Мне ужасно жалко!

Бабушка улыбнулась и потрепала Джой по волосам.

— Ну ничего, Фина. Ты можешь рассказать мне об этом месте на обратном пути, и это будет почти то же самое. Все в порядке, Фина, не плачь.

— Нет, не в порядке! — возразила Джой. — Я вправду, вправду хотела отвести тебя в Шей-рах! Он ни на что не похож, и его нельзя описать! В целом мире нельзя найти ничего подобного! А теперь он исчез, я потеряла его и теперь никогда уже не найду, и ты так никогда его и не увидишь...

Последние слова Джой произнесла так тихо, что их могла расслышать лишь ее бабушка.

Абуэлита обняла ее и тихонько, проникновенно заговорила:

— Ах, малышка Фина, ты по-прежнему плачешь беззвучно, да, mi corazon[1]? Ну не надо, не надо. Абуэлита поверит

[1] Мое сердце *(исп.)*.

всему, что ты ей расскажешь, ведь я же тебе всегда верю, правда?

Неожиданно Джой почувствовала, что бабушка подняла голову. Абуэлита гневно напряглась и резко произнесла по-английски:

— Прошу прощения, но у нас личная беседа. Уйдите.

В ответ раздался ехидно-вежливый голос Индиго:

— Я бы с удовольствием последовал вашему совету. Но, возможно, сперва вы спросите у нее?

Джой развернулась, не разрывая объятий Абуэлиты, и увидела Индиго. Даже здешний наряд — джинсы, испещренная надписями футболка и синяя ветровка — не умалял его холодной красоты. В руках у Индиго был серебристо-голубой рог. В слабом лунном свете глаза подростка казались почти черными. Индиго негромко произнес:

— Граница переместилась. Скоро, очень скоро она может сместиться еще сильнее, но пока что вы еще можете добраться до Границы. Это недалеко.

Джой удивленно воззрилась на него.

— И ты пришел, чтобы показать нам дорогу? Но почему? Зачем тебе с нами возиться?

Индиго усмехнулся — криво и смущенно, почти по-человечески.

— Не знаю. Правда не знаю. Пошли.

Абуэлита обратилась к Джой по-испански:

— Ты его знаешь? Я бы не слишком ему доверяла. Чересчур уж он смазлив.

Джой беспомощно рассмеялась и обняла бабушку.

— Абуэлита, это Индиго. Это длинная история. Индиго, это сеньора Алисия Ифигения Сандоваль-и-Ривера, моя бабушка.

К изумлению Джой, Индиго с безукоризненной учтивостью взял руку Абуэлиты, склонился над нею и поцеловал, словно приветствовал королеву. Абуэлита затаила дыхание, но потом улыбнулась и кивнула: королева приняла положенные почести. Индиго произнес:

— Если вы желаете видеть Шей-рах снова — пойдемте.

Джой посмотрела на Абуэлиту. Та сказала:

— Мне нужно возвращаться домой, Фина. Далеко этот ваш Шей-рах?

— Совсем недалеко, — ответила Джой. — Я тебе твердо обещаю: ты вернешься в «Серебряные сосны» прежде, чем кто-нибудь заметит твое отсутствие. Обещаю, Абуэлита.

— Ну хорошо, — сказала бабушка. — Тогда ладно. Vamonos, chicos[1]!

Индиго повел их прочь с улицы Аломар. Как ни странно, он направился прямиком в деловой район. Абуэлита храбро двинулась следом за ним. Но теперь она хромала еще сильнее, и вскоре они с Джой уже не могли поспевать за стремительной, летящей походкой Индиго.

— Тебе придется отвезти ее, — сказала Джой. — Придется тебе превращаться.

Индиго расхохотался — смех его звучал необычайно хрипло и нагло.

— Я тебе не Турик! Я на себе никого не вожу!

Абуэлита недоуменно смотрела то на Джой, то на Индиго.

— Слушай меня, — раздельно произнесла Джой. — Это — моя бабушка. Меня не волнует, сколько ты живешь. Даже если ты будешь жить вечно, ты можешь за всю свою жизнь не встретить второй такой, как она. Она попадет в Шейрах, даже если это будет последним, что я сделаю в жизни, — а я начинаю думать, что, возможно, так оно и будет. Ты отнесешь ее туда — хоть на двух ногах, хоть на четырех, как тебе угодно. И не вздумай мне противоречить, Индиго!

Лишь договорив, Джой поняла, что постепенно перешла на крик. Теперь у нее саднило горло, Старейший изумленно таращился на нее, а откуда-то доносился голос Абуэлиты, гордо говорившей по-английски:

— Вот она, моя Фина! Не знаю, о чем это она говорит, но она настоящее чудо!

А откуда-то издалека — из-за автостоянки, из-за холодного сияния витрины мебельного магазина — «Ох нет, намного дальше!» — звала их музыка Шей-раха.

Индиго долго смотрел на Джой, ничего не отвечая. Было еще довольно рано, но улица была практически пуста, если не считать автомобилей, уносящих своих хозяев в пригороды. Проехали двое мальчишек на велосипедах, за ними — патрульная полицейская машина. Водитель машины посмотрел на Джой, Индиго и Абуэлиту с легким любопытством.

---

[1] Идем, ребятки! *(исп.)*

Джой услышала свисток поезда и скрежет опускающихся металлических жалюзи в какой-то витрине.

— Вот! — в конце концов сказал Индиго. — Вот оно! Сам лорд Синти никогда не разговаривал со мной таким тоном. А теперь это говорит мне смертное дитя, нетерпеливая девчонка, которая не умеет себя вести и ничего не понимает в жизни. И ты еще спрашиваешь, почему я хочу жить по эту сторону Границы? — Индиго усмехнулся. — Ладно. Я сменю облик, как ты и хотела.

Джой быстро обернулась к Абуэлите, мягко взяла ее за плечи и произнесла по-испански:

— Абуэлита, послушай, пожалуйста. Что бы ни происходило, что бы Индиго ни делал — пожалуйста, не пугайся. Это просто его умение, вот и все, и он делает это только для того, чтобы помочь нам. Пообещай мне, что ты не испугаешься.

Бабушка мудро и устало взглянула на Джой из-под морщинистых черепашьих век.

— Я уже сказала, что не понимаю, о чем ты говоришь, — отозвалась она по-английски. — Пусть он делает, что хочет, а ты перестань беспокоиться обо мне. Я уже слишком стара, Фина, чтобы пугаться чего бы то ни было, — и она сняла руки Джой со своих плеч.

Индиго шагнул в сторону. Он яростно встряхнул головой и плечами и открыл рот в беззвучном крике. Казалось, будто нечто невидимое схватило его, сжало в зубах и принялось трясти, пока Индиго не начал истаивать, терять всякую определенность и расплываться во всех направлениях. Абуэлита судорожно вздохнула и вцепилась в руку Джой, но не издала больше ни звука.

Вокруг лежал обычнейший южнокалифорнийский городок. Где-то в отдалении шумела автострада, ведущая в Сан-Диего. А Индиго растворился и мгновенно собрался обратно, но уже в новом облике: раздвоенные копыта, изящная бородка, белая шерсть — даже более белая, чем в его мире. Джой заметила, что рог его не полностью белый — у основания и у кончика лежали синеватые тени, как на снегу. Он склонил голову перед Абуэлитой, и та восхищенно вздохнула, словно влюбленная девушка.

— Он понесет тебя на спине, — сказала Джой. — Все будет в порядке, он будет очень осторожен.

Индиго опустился на колени у края тротуара.

Абуэлита долго смотрела на него, потом на Джой, потом — в темное небо, а потом негромко произнесла на испанском — столь торжественном, что Джой едва разобрала смысл:

— О Рикардо, быть может, именно таким путем мне предназначено попасть к тебе. Да будет так!

А потом Абуэлита с уверенностью и проворством юной девушки взобралась на спину Индиго. Когда единорог медленно пошел вперед, Абуэлита крепко вцепилась в его гриву.

— А я? — возмутилась Джой. — Я ужасно устала, мне не угнаться за тобой! Можно, я тоже поеду верхом?

Взгляд яркого, веселого глаза скользнул по Джой, и Индиго прибавил шаг. Джой начала задыхаться, и ей пришлось для поддержки уцепиться за лодыжку Абуэлиты.

— Когда Граница переместится снова, — сказал Индиго, — она не вернется на это место. Тебе нужно будет вовремя покинуть Шей-рах.

— Когда — вовремя? О чем ты? Как мы узнаем, что уже пора?

Индиго не соизволил откликнуться. Он выбрался из жилого района, и Джой с возрастающим беспокойством осознала, что единорог направляется прямиком к автостраде на Сан-Диего. Она посмотрела на Абуэлиту. Пожилая женщина сидела на спине белого единорога, ничуть не сутулясь. Лицо ее сделалось поразительно молодым, губы беззвучно шевелились, а черные с проседью волосы волной ниспадали на плечи. «Она не боится, дедушка. Она ни капельки не боится!»

Позади раздался настойчивый автомобильный гудок. Джой на мгновение обернулась и успела краем глаза заметить изумленные молодые лица за ветровым стеклом. Но тут Индиго ухватил ее зубами за рубашку и без малейших усилий закинул девочку себе на спину. Абуэлита подхватила внучку и помогла ей удержать равновесие. А потом Индиго перескочил через дорожное ограждение и вломился прямо в гущу машин. Теперь со всех сторон доносилось бешеное гудение автомобилей и визг тормозов. Беспорядочно метался свет фар. Водители пытались затормозить, прибавить скорость, сменить ряд и вообще хоть как-нибудь избежать столкновения с невозможным. Джой впала в такое оцепенение, что даже не испугалась. Она зажмурилась и вцепилась в гриву Индиго. Абуэлита крепко держала Джой за талию, и это помогало девочке успокоиться.

— Все в порядке, Фина, — сказала внучке на ухо Абуэлита. — Ничего плохого с нами не случится!

Джой показалось, что бабушка смеется.

Индиго забирал влево, лавируя между легковыми машинами, фургонами и огромными грузовиками с ловкостью опытного калифорнийского водителя. Слева возник травянистый островок. Индиго плавным прыжком перемахнул на островок и застыл в этом ненадежном прибежище, не обращая внимания на темные силуэты, мечущиеся со всех сторон, и скрежет железа — водители оглядывались на чудо, и их машины то и дело сталкивались боками. И среди этого сумасшедшего дома прозвучал отчетливый голос Индиго:

— Без меня вы бы никогда ее не нашли. Помните об этом.

Он неспешно шагнул вперед, и вокруг них беззвучно расцвел полдень Шей-раха. За спиной у Джой тихо ахнула Абуэлита.

Глава 9

Джой боялась, что Абуэлита испугается или впадет в замешательство, и старательно придумывала, как бы успокоить бабушку, но ничего такого не произошло. У Абуэлиты лишь вырвался негромкий возглас удивления, и она соскользнула со спины Индиго на луг — это было то самое место, где очутилась Джой, впервые попав в Шей-рах.

— Ах! — прошептала Абуэлита, окунувшись в заросли пламенеющих оранжевых цветов. — Ау, que milagro[1]...

Когда Абуэлита взглянула на Джой, лицо у нее было, словно у ребенка-именинника. Джой никогда прежде не видела свою бабушку такой.

— Ах, Фина, получилось! Ты подарила мне музыку!

Джой обняла ее, но при этом взгляд девочки невольно устремился в сияющее небо.

— Пойдем лучше под деревья, а то здесь постоянно летают перитоны.

Индиго исчез, не сказав на прощание ни слова.

— Перитоны, — повторила Абуэлита, поглаживая Джой по голове. — Перитоны. Звучит очень мило.

---

[1] Ах, диво-то какое! *(исп.)*

Абуэлита взглянула куда-то поверх плеча Джой, и рука ее внезапно застыла. Джой быстро обернулась. К ним приближался лорд Синти.

Джой не могла припомнить, случалось ли ей видеть черного единорога при свете дня. В ее памяти он остался как существо из сумерек и рассвета, полумрака и теней, которое постоянно присутствует рядом, но рассмотреть его невозможно. Теперь же, неспешно подходя к ним, Синти казался даже темнее, чем раньше. Он был настолько черным, что от этой черноты у Джой заболели глаза. Лорд Синти высоко вскинул голову, и наросты, закрывающие глаза, в солнечном свете отливали бирюзой, а музыка Шей-раха — Джой никогда еще не слышала ее так близко — резвилась вокруг единорога, как дельфины вокруг корабля. «Выделывается перед Абуэлитой», — промелькнула у Джой нелепая мысль. Девочка чувствовала, как в ней теснятся, пытаясь вырваться, слезы и смех.

Синти прошел мимо Джой, не обращая внимания на девочку, остановился перед Абуэлитой и поклонился так низко, что черный рог коснулся подола ее платья. Абуэлита медленно, изумленно протянула руки, прикоснулась к основанию рога и промолвила:

— Мне это снилось. Мне снился ты.

— Мы снились друг другу, — откликнулся лорд Синти. Его голос был островком спокойствия во взбудораженном сознании Джой. — Добро пожаловать, Алисия Ифигения Сандоваль-и-Ривера.

— Алисия Ифигения Хосефина, — поправила его Абуэлита. Она сжала руку Джой, но продолжала неотрывно смотреть на Синти.

Черный единорог произнес:

— Иногда бывает так, что чей-то сон из вашего мира соприкасается с чьим-то сном из Шей-раха. Это случается очень редко, но все же случается.

Джой удивленно, но как-то отстраненно отметила про себя, что ей кажется, будто Синти говорит по-английски, а вот Абуэлита живо ответила по-испански:

— Говоришь, редко? Загляни как-нибудь в «Серебряные сосны», пансион для лиц преклонного возраста. Там полно старых леди вроде меня, и всем им снятся места, подобные этому. А что еще нам остается — кто мне скажет? Если я с тех

пор, как попала туда, каждую ночь видела во сне тебя, кто знает, что снится остальным viejas[1]?

Она погладила Синти по шее, и Джой увидела, как старейший среди Старейших выгнулся под этим прикосновением, словно ластящийся кот.

— Но и ты снилась мне, — сказал черный единорог, — а я — не бабушка из «Серебряных сосен».

Он повернул слепую голову к Джой.

— Когда она впервые пришла сюда, я подумал, что это ты. Я подумал, что, может, перепутал во сне время.

Абуэлита свободной рукой обняла Джой за плечи.

— Моя Фина и есть я, только лучше. Новая усовершенствованная модель, — Абуэлита осторожно коснулась глаз черного единорога, и лицо ее помрачнело. — Я не видела во сне, чтобы ты был слепым, pobrecito[2]. Что это такое?

— Это случилось с ними со всеми, — пояснила Джой. — Сперва с самыми старшими, потом... потом с теми, кто помладше.

Девочка подумала о Турике, и ей захотелось, чтобы жеребенок был здесь.

Абуэлита снова прикоснулась к глазам единорога.

— Я вспомню, что мы делали с этим в Лас-Перлас. Мы были слишком бедны, чтобы вызывать врачей, но было что-то... Я вспомню.

Потом Абуэлита оглядела луг и удовлетворенно вздохнула.

— Ну, так кто же покажет мне это чудное местечко? — поинтересовалась она.

У ручейной джаллы появление Абуэлиты поначалу вызвало приступ ревности. У нее самой никакой семьи не было. Правда, джаллы очень отчетливо ощущают существование друг друга, хоть и ведут уединенный образ жизни. Но, увидев, сколь тесные узы связывают Абуэлиту и Джой, джалла решила, что она больше не нужна своей «сестре». Как ни странно, джалла смирилась с тем, что ее, как она думала, отвергли. Водяница не знала, что такое старость, и морщинистая смуглая кожа и седые волосы Абуэлиты внушали джалле неодолимую зависть.

— Когда ты можешь проводить все время с кем-то таким красивым, — рассудительно сказала она Джой, — зачем тебе

---

[1] Старухам (*исп.*).

[2] Бедняжка (*исп.*).

возиться с обычной, ничем не примечательной ручейной джаллой?

Но когда Абуэлита безмятежно уселась на берегу, опустила изуродованные артритом ноги в воду и принялась читать вслух книжку, которую Джой принесла в рюкзачке, водяница подплыла поближе. Джой благоразумно удалилась вместе с Туриком, а когда они вернулись несколько часов спустя, то застали Абуэлиту и джаллу спящими. Джалла положила голову на колени Абуэлите и даже во сне не выпускала из мокрых перепончатых рук книжку с картинками.

Пребывание в Шей-рахе вместе с Абуэлитой было просто-таки счастливейшим временем в жизни Джой. Но коечего Джой не ожидала: ее бабушка исполнилась такого воодушевления и любопытства, что и думать позабыла про свои семьдесят лет. И теперь она желала повсюду побывать, все изучить и все узнать. Джой как-то пожаловалась Ко:

— Это все равно что нянчить трехлетнего ребенка! Только отвернись, а она уже пытается поближе посмотреть на джакхао или преспокойно выходит на открытое место собрать цветов, и именно туда, где перитоны вполне могут собрать ее саму! И довольная, как улитка! — Джой рассмеялась и пожала плечами. — Вчера я на минутку упустила ее из вида и потом до заката не могла отыскать. Я здорово тогда перепугалась. Знаешь, где она была? Ну, попробуй угадай.

— Удрала с кем-то из моих младших родичей, — сказал Ко, уставившись в землю. — Не сердись, дочка...

— О, можешь не сомневаться, заводилой была она! — отозвалась Джой. — Она просто счастлива, когда отправляется бродить по лесам. Мне прямо не верится. Это все равно, что обнаружить на месте своей бабушки совсем другого человека. Я ее прямо не узнаю. — Джой вздохнула. — Мне ужасно неприятно думать, что придется уводить ее обратно домой. Ну, когда настанет время.

Но пока что ни Ко, ни Старейшие не могли сказать ей, когда же настанет это время. Больше всего она узнала из объяснений Фириз, матери Турика: оказалось, ожидается истинное Смещение Границы — а не случайные колебания, переместившие Границу всего лишь на середину автострады

Сан-Диего, — и все правила перехода между мирами изменятся.

— Для этого не понадобится луна — Смещение может произойти в любое время дня или ночи. Но промежутки времени, в которые возможен будет переход, станут очень короткими, намного короче, чем обычно. И, как тебе известно, сместятся места перехода.

Фириз отвлеклась, дабы поставить Турику на вид, что с младенцем-сатиром нужно играть поосторожнее, потом повернулась обратно к Джой.

— Вот что я тебе скажу: следи за шенди.

— За шенди, — повторила Джой. — За маленькими дракончиками?

Фириз кивнула.

— Именно. Где они, там и Граница. Постоянно следи за ними. И бабушке своей скажи.

Фириз из племени морских единорогов подняла на девочку взгляд своих ясных, бездонных глаз — когда Джой слишком долго смотрела в них, у нее всегда начинала кружиться голова.

— Это будет прощанием, Джозефина.

Старейшие — все, кроме Синти, — редко называли девочку по имени. Джой почувствовала, как что-то сжало ей горло.

— Может, и нет. Я имею в виду: может, Граница просто переместится в Сан-Франциско или еще куда-нибудь. Ну пусть даже в Юба-сити, это тоже ничего. У меня в Юба-сити дядя живет.

Турик прижался к Джой, уткнулся головой ей в грудь и наступил девочке на ногу. Фириз сказала:

— Это Смещение унесет Шей-рах очень далеко. Я чувствую это.

Кобылица заколебалась, быстро погладила Джой рогом по щеке, потом добавила:

— Те из нас, кто живет сейчас в вашем мире... Думаю, они никогда больше не отыщут Границу. Но, возможно, тебе это удастся. Если ты и вправду ее найдешь, скажи им об этом. Найди их, Джозефина, и скажи им, где мы.

— Конечно, — прошептала Джой. — Конечно, я скажу...

Джой продолжала рисовать карты и наброски Шей-раха, с новым рвением запечатлевая его жизнь. Благодаря урокам Джона Папаса девочка могла теперь нацарапать на импровизированной нотной бумаге обрывки музыки, той музыки, которой Джой ежедневно дышала здесь наравне с ароматом цветов — Джой так и не узнала их названий. Ручейная джалла зачарованно следила за ее работой, храня непривычное молчание, но в конце концов спросила:

— Что ты будешь делать с этим, сестра? Ну, когда поймаешь все песни Шей-раха в ловушку из этих черных черточек?

— Ну, я отдам их людям, — призналась Джой, чувствуя некоторую неловкость. — Там, откуда я пришла, есть много людей, которым нравится играть музыку Шей-раха. Они смогут выучить ее по этим вот моим записям и будут тогда играть ее по всему миру. В моем мире, по ту сторону Границы.

— Ага, — сказала ручейная джалла. — А что потом?

— Откуда я знаю? — сердито ответила Джой. — Они же взрослые люди, а я всего лишь девчонка, — так откуда мне знать? Просто они будут играть ее повсюду, вот и все, а я, может быть, стану знаменитой и попаду на телевидение. И не вздумай ни о чем расспрашивать — о телевизоре я тебе уже рассказывала!

Ручейная джалла вяло опустила руку в ручей и, не глядя, выхватила из воды рыбу. Задумчиво откусывая от рыбины маленькие кусочки, словно зерна от початка кукурузы — Джой в таких случаях всегда отворачивалась, — джалла заметила:

— Но меня-то с тобой не будет.

Джой не ответила.

— Я уже понимаю насчет письменности, насчет книг и картинок и даже насчет телевизора, — тихо продолжала джалла. — Но все это — не я. Ты можешь нарисовать меня на картинке, можешь записать каждое мое слово, но даже если сделать все это, ты так и не сможешь поплавать со мной в ручье или услышать, как я называю тебя сестрой. Так что глупости это все. Пойдем лучше рыбку половим.

Выслеживать шенди оказалось даже труднее, чем пасти Абуэлиту. Шенди образуют прочные семейные пары, а несколько семейств обычно объединяются в кланы. Но сейчас Джой не могла найти в теплых сухих местах, где шенди обычно сидели на яйцах и растили своих детенышей, ни одного известного ей выводка. Однажды, когда день уже клонился к

вечеру, Джой все-таки отыскала стайку дракончиков в одной из лощинок Закатного леса. Стайка обосновалась в полом сыром бревне — столь необычный выбор шенди невольно внушал беспокойство. Неподалеку от бревна стояла Абуэлита и любовалась на детенышей. Малыши учились летать, а взрослые дракончики наблюдали за ними. Рядом с Абуэлитой возвышался лорд Синти.

Джой подбежала к Абуэлите и крепко обняла ее, а потом, стараясь говорить как можно лучше, произнесла по-испански:

— Бабушка, теперь ты должна постоянно держаться рядом со мной. Возможно, нам придется уходить отсюда в большой спешке.

Абуэлита улыбнулась.

— Единственное преимущество моего возраста, Фина, заключается в том, что тебе не нужно больше спешить, — она подмигнула и кивком указала на черного единорога. — Он-то знает.

— Ты разумно поступила, отыскав это место, — сказал Синти, обращаясь к Джой. — Думаю, когда произойдет Смещение, именно здесь окажется одна из точек перехода.

— Вы думаете, — сказала Джой. — Вы не уверены.

Синти промолчал. Джой глубоко вздохнула и произнесла:

— Индиго сказал, что Старейшие могут жить по ту сторону Границы. Это правда. Я видела их.

Черный единорог стоял недвижно и ожидал продолжения.

— И... и он сказал, что Старейшие не живут вечно. Он сказал, что это ложь... — на последних словах голос Джой сорвался.

— Дитя, никто не живет вечно, — вмешалась Абуэлита. — Это не дозволено. Я давно могла бы тебе сказать, что это так.

Казалось, Синти ушел в себя. Он стал еще больше и темнее и в то же время словно сделался менее материальным: огромная сумеречная тень, отягченная собственной, лишь теням доступной мудростью.

— Возможно, именно это и связывает нас, — произнес он, — ваш народ с моим, наш мир с вашим. Мы живем настолько дольше вас — даже намного дольше, чем тируджайи, — что и вправду иногда забываем, что мы не бессмертны. И все же мы боимся смерти точно так же, как и вы, — или даже сильнее, потому что Шей-рах намного добрее к нам, чем ваш мир — к вам, насколько я понимаю. Мы сты-

димся сознания собственной смертности, и, ограждая от этого нашу молодежь, мы, как можем, сами защищаемся от этого чувства. Полагаю, когда-то мы были иными, но это было еще до меня. А сейчас все обстоит именно так.

— Ай, тебе точно нужно побывать в пансионе «Серебряные сосны», — мягко произнесла Абуэлита. — Если хочешь знать, что бывает, когда лжешь своим детям.

Синти продолжал смотреть на Джой.

— Я уже говорил тебе однажды: с давних пор и при жизни каждого вашего поколения — всегда находились Старейшие, которые пересекали Границу в человеческом облике. Я не сказал другого: некоторые из них так никогда и не вернулись, навсегда затерявшись среди вас. Таков был их выбор, и мы уважаем его, но не поощряем, — единорог резко отвернулся, но его печальный голос по-прежнему звучал в сознании Джой. — Возможно, слепота поразила нас потому, что мы отказывались видеть. Может, и так.

И с этими словами черный единорог растворился среди синих деревьев. Глядя ему вслед, Абуэлита сказала:

— Он так красиво говорит! Твой дедушка начинал почти так же говорить после второго стакана pulque[1].

Ее длинное свободное платье, прихваченное из пансиона по настоянию Джой, уже обтрепалось по подолу и было измазано землей и травами Шей-раха. Но зато смуглые щеки Абуэлиты приобрели такой теплый оттенок, какого Джой никогда еще не видела, а глаза искрились, словно воды ручья их подружки джаллы под вечерним солнцем. Абуэлита сказала:

— Спасибо, Фина, что ты привела меня сюда. Где бы это ни было.

— Я даже не знаю... — протянула Джой. — То есть я хочу сказать, что мне здесь хорошо, но когда осмотришься как следует, здесь вроде бы особо делать и нечего. Вдруг тебе здесь скучно...

Абуэлита улыбнулась.

— Фина, там, в «Серебряных соснах», пожилые люди могут делать что угодно. Там есть гольф, пинг-понг, костюмированные вечеринки, любительский театр... Там можно даже, если хочешь, заниматься карате или учиться делать массаж. Но здесь я впервые за долгое-долгое время получила

[1] Пульке, алкогольный напиток из сока молодой агавы.

возможность просто жить. Целый день сидеть и ни о чем не думать. Нюхать цветы, которых я никогда в жизни не видела. Рассказывать всякие истории той девчушке, которая живет в воде, или петь и танцевать с лохматым народом — от них так забавно пахнет! Никому и ничего не объяснять. Когда ты поживешь с мое, Фина, то поймешь, как это здорово, когда никому ничего не нужно объяснять.

Один из детенышей шенди ускользнул ненадолго из-под опеки родителей, подкрался к Абуэлите, поставил свои чешуйчатые когтистые лапки ей на туфлю и зашипел на старушку. Абуэлита тут же присела на корточки, протянула руку и заворковала:

— Ven aqui[1], мое сокровище, маленькая злюка, ven aqui!

Драконеныш отскочил назад, споткнулся, плюхнулся, подхватился обратно и, наконец, снова приблизился к заманчивым смуглым пальцам. Абуэлита взглянула на сидящих чуть дальше самца и самку — те распахнули бирюзовые крылья с черной каймой и встревоженно выгнули шеи — и отчетливо произнесла:

— Я — никто. Я дерево, камень, солнечный луч — и ничего больше.

Крылья медленно опустились.

— Возмутительно! — не выдержала Джой. — Я несколько месяцев пыталась подобраться к ним поближе — и все впустую!

Детеныш наконец решился и забрался на подставленную ладонь Абуэлиты. Абуэлита, не вставая, поднесла руку поближе к лицу, и они с дракончиком уставились друг другу в глаза.

— Что поделаешь, это еще одно из свойств старости, — сказала Абуэлита. — Когда стареешь, тебя меньше боятся.

Она посадила детеныша на землю, и тот гордо пошлепал обратно к родителям, раздувшись вдвое против обычного размера. Самка тут же сбила его с ног и подгребла под крылышко.

Абуэлита сказала:

— Фина, я думаю, что мы непременно должны сделать что-то с их слепотой. Я не забываю об этом ни на минуту.

— Абуэлита, ты что, не слушаешь, что я тебе говорю? —

---

[1] Иди сюда *(исп.)*.

поинтересовалась Джой. — Может случиться так, что нам придется уходить отсюда внезапно, совершенно неожиданно, или нас выбросит где-нибудь в Китае.

— Гмм... — протянула Абуэлита. Она все еще сидела на корточках, прикрыв глаза. — Пожалуй, что-то в этом есть — оказаться в Китае. А?

Джой сдалась, плюхнулась на живот рядом с Абуэлитой и принялась наблюдать за маленькими дракончиками.

Глава 10

В конце концов Абуэлита все же вспомнила. Произошло это глухой безлунной ночью, настолько теплой, что они с Джой спали под открытым небом, свернувшись клубком на склоне холма неподалеку от Закатного леса. Абуэлита уселась, словно и не спала только что, хлопнула Джой по боку и громко провозгласила:

— Ого! Это ого[1]!

— Чуть погромче, — пробормотала Джой. Сейчас она слишком туго соображала, чтобы говорить по-испански. — Может, где-нибудь еще остался перитон, который тебя не расслышал.

Но Абуэлита уже была на ногах. Она хлопала в ладоши и восторженно кружилась.

— Золото, Фина! Золото для глаз, да! Так мы делали в Лас-Перлас!

Джой медленно села, с трудом поворачивая негнущуюся шею.

— Абуэлита, у вас в Лас-Перлас не было никакого золота. У вас даже водопровода не было.

— Водопровода — да, не было. И денег, конечно, не было. Но золото!

Бабушка опустилась на корточки рядом с Джой. Говорила она очень серьезно, но при этом чуть ли не через каждое слово заливалась смехом.

— Немножко золота есть всегда, даже в таком маленьком бедном городке, как Лас-Перлас. Браслет, вроде того, что я тебе отдала, сережки, часы, может, какая-нибудь старая ме-

[1] Золото *(исп.)*.

даль, даже пряжка с туфли. Ты просто не поверишь, в каком виде может быть золото и кто может хранить его. Просто на всякий случай, tu sabes[1]?

— Как мистер Папас, — Джой потерла глаза, пытаясь добиться, чтобы они перестали слипаться. — Мистер Папас держит в маленькой шкатулке золотые монеты — на всякий случай. И его друзья тоже... — последние слова девочки потонули в сладком зевке. — Ну ладно, так что там насчет золота? И при чем тут глаза?

— Pues[2] единственное, чего в Лас-Перлас было полно, так это слепых и людей с больными глазами. Особенно детей.

Абуэлита оперлась локтями о колени, сцепила руки и слегка подалась вперед.

— Вот так. У кого-нибудь обязательно окажется колечко или браслетик. И его нужно расплавить и добавить еще кое-что. Надо растолочь его в metate[3], сделать... как же это... embrocacion[4]? — такую мазь — и втереть ее прямо в глаза. Она была горячей, я помню. Не знаю, от золота или от чего еще, но я помню, какая она была на ощупь.

Абуэлита вздохнула, мечтательно и многозначительно.

— Ай, Фина, ты кое-что потеряла из-за того, что выросла не в Лас-Перлас.

— Да уж, наверно, — согласилась Джой. Теперь она окончательно пробудилась и пыталась припомнить многочисленные истории о Лас-Перлас, которые рассказывала Абуэлита. — И что, помогало? Вернулось к кому-нибудь зрение?

— La verdad[5]! Люди, которые были полностью слепы, вскоре начинали видеть. Это чистая правда, Фина!

Даже в темноте видно было, как сверкают от восторга глаза Абуэлиты.

— Ну, в Шей-рахе нет ни одних золотых часов, это я точно...

Джой запнулась, медленно поднялась и спросила так тихо, что Абуэлита лишь с трудом расслышала ее слова:

— А что еще нужно туда добавлять? Что еще ты клала в мазь?

---

[1] Знаешь? (*исп.*)

[2] Вот так (*исп.*).

[3] Ступка (*исп.*).

[4] Мазь (*исп.*).

[5] Правда-правда! (*исп.*)

— А, вот об этом-то я и думаю, — Абуэлита вздохнула, нахмурилась и почесала в затылке. — Что же это может быть? Что у нас было? Листья. Там росли какие-то особенные листья. Ты пойди найди немного золота, Фина, а я пока повспоминаю. Старой женщине трудно припоминать такие вещи. Иди, иди, я побуду тут.

Абуэлита присела на корточки, сцепила руки и безмятежно улыбнулась. Она выглядела сейчас спокойной и неизменной, как дерево. А Джой — она одновременно и смеялась, и сердилась, и была совершенно сбита с толку — побрела в темноту на поиски золота.

Судя по опыту общения Джой со Старейшими, не было никакого смысла пытаться разыскивать кого-то из них — неважно, кого именно. Либо они сами придут и найдут тебя, либо не придут. Погрузившись в эти раздумья, Джой брела вдоль опушки Закатного леса, пока не добралась до края равнины, где когда-то впервые увидела резвящихся юных единорогов. Тогда девочка остановилась, расставила ноги пошире, заложила руки за спину и мысленно обратилась к Индиго:

«Слушай, я знаю, что я тебе не нравлюсь. Я вообще не знаю, нравится ли тебе хоть кто-нибудь — если не считать того, что ты и вправду очень хорошо отнесся к Абуэлите. Так вот, это касается Абуэлиты и еще слепоты, которая поразила Старейших. А это значит, что я жду тебя здесь, и что нам нужно поговорить. Идет? — А потом, поскольку ею все еще владело смешливое настроение, Джой добавила: — С вами говорило радио «Свободный Вудмонд». Передача окончена».

К тому времени, как Джой увидела его, солнце стояло уже высоко, а музыка Шей-раха — она чаще всего набирала мощность вместе с рассветом и постепенно ослабевала в течение дня — уже истаяла до сладостного шепота. К немалому изумлению Джой, он пришел в человеческом облике. Девочка встала и двинулась навстречу маленькой фигурке, шагающей через луг.

На лугу в это время Старейших было немного, и они не обратили ни малейшего внимания на Джой с Индиго. Джой подумала, что мальчик выглядит усталым и почти что некрасивым.

— Спасибо, что пришел, — сказала девочка. Индиго одарил ее холодным взглядом, и Джой впервые заметила синевато-зеленые тени в уголках его глаз.

— Ну? — сказал Индиго, заметив ее взгляд. — Ну, и что с того? Что ты мне хотела сказать?

И Джой заговорила — очень быстро, стараясь не думать:

— Нам нужно золото. Мне и Абуэлите.

Лицо Индиго осталось все таким же бесстрастным, но он моргнул, и Джой сочла это своей личной победой.

— Оно нужно, чтобы вылечить ваши глаза, всем вам. Его надо расплавить и сделать из него что-то вроде мази. Абуэлита знает, как ее делать. Только нам нужно спешить, потому что Граница в любую минуту может сместиться.

Джой думала, что Индиго разразится насмешливым хохотом — она ждала этого все утро, зная, что главное будет потом. Но Индиго снова удивил ее. Он только заметил после недолгого молчания:

— У меня нет золота. Если хочешь золота, проси его у своего мистера Папаса.

— Он не даст его мне, — сказала Джой. — А тебе он отдаст все, что у него есть. А у него уже стало намного больше золота, чем тогда, когда ты приходил в первый раз. Наверное, он собрал его у всех своих друзей.

— Понятно. Значит, теперь я должен продать ему мой рог и отдать золото тебе.

Странная безмятежность Индиго встревожила Джой сильнее, чем могли бы встревожить его насмешки. Мимо них протанцевали два вставших на дыбы совсем маленьких жеребенка. Они лихо фехтовали своими коротенькими рожками и пыхтели, как паровозики. Неожиданно подул легкий ветерок и принес с собой аромат желтых цветов шайя, что росли лишь в глубине Закатного леса.

— Да, — сказала Джой. — Да, именно об этом я и прошу.

Индиго встряхнул головой. На лице его отразилась не то насмешка, не то удивление, не то оба этих чувства.

— Давай-ка я уточню твою просьбу. Итак, ты хочешь, чтобы я остался с голыми руками — и без золота, и без рога — в твоем мире, где золото решает все, где без денег я буду пустым местом и не будет иметь никакого значения, что я — Старейший из Шей-раха. И если я сделаю это, твоя бабушка сварит волшебное зелье, которое вернет зрение моему народу. Я правильно тебя понял?

Тут Джой заметила, что Индиго бьет дрожь; а на последних словах голос его сделался хриплым и каким-то надтреснутым.

— Я же уже сказала тебе — да! — упрямо повторила Джой. — А когда ты окажешься по ту сторону Границы, в моем мире, я обещаю сделать все, что смогу, чтобы помочь тебе. И мистер Папас тоже сделает все, что сможет. У тебя будут друзья. Ты не будешь таким, как те, другие, которые живут на улице. Это я твердо обещаю.

После секундной заминки Джой добавила:

— А может, сколько-то золота и останется. Абуэлита сказала, что его нужно не так уж много.

Индиго улыбнулся девочке — но не той кривой, сардонической усмешкой, которую так хорошо знала Джой. Эта улыбка медленно проступила на его лице, словно придя из дальней дали, и на самом деле предназначалась не Джой.

— Нет, — сказал он. — Я не буду таким, как другие, покинувшие Шей-рах, — ведь у меня не будет рога и я даже не смогу стать уличным музыкантом. Я буду зависеть от своего ума и своих, как ты выражаешься, друзей. Может, этого хватит, чтобы выжить, а может, и нет. И мне не будет уже дороги назад.

Джой попыталась что-то сказать, но у нее слишком пересохло горло.

— Почему я должен это сделать? — очень тихо спросил Индиго.

Джой не знала, долго ли она смотрела на Индиго. Голова у нее была гулкой и пустой — ни единой мысли. В конце концов Джой нашла подходящие слова и подумала: «Вот оно, Абуэлита. Мне нужно сейчас немедленно сказать что-то умное и значительное, а ты знаешь, что я — всего лишь твоя сумасшедшая внучка. Если я должна помочь Старейшим, то лучше бы ты побыстрее помогла мне, а то нам останется только забыть обо всей этой истории и на пару поселиться в «Серебряных соснах».

Девочка откашлялась и подавила зевок — когда Джой чего-то боялась, ее неизменно одолевала зевота.

— Потому, что ты этого и хотел, — сказала она. — Потому, что ты знаешь мой мир куда лучше, чем я когда-либо узнаю твой. Ты знаешь, что он из себя представляет, и все равно хочешь жить там — потому что тебе это нравится. То есть ты, наверное, все-таки побаиваешься — иначе почему бы ты уже несколько раз собирался продать рог мистеру Папасу, да так и не продал? Да ты и должен бояться, потому что

мир, в котором я живу, и вправду очень-очень страшный. Но именно потому ты и стремишься туда, потому что там — не Шей-рах. И я не думаю, что на самом деле золото так уж много значит для тебя. Это просто предлог, который позволяет тебе задержаться. Я и сама постоянно так делаю.

Но голос ее звучал сухо и неуверенно, как зимний стрекот кузнечика на газоне, а все ее доводы казались такими же жалкими, как отмазки Скотта, объясняющего, почему он не вынес мусор. Джой почувствовала себя маленькой и ничтожной под странно терпеливым взглядом Индиго. Девочка порывисто произнесла:

— Нет! Нет, забудь об этом, не слушай меня, не слушай, не надо, все это неправильно! Извини...

Выпалив все это, Джой развернулась, чтобы убежать, но тут ей на плечо легла рука Индиго.

— Подожди, — сказал он. — Как это понимать? Столько болтовни, столько суматохи, а потом вдруг оказывается, что мне не стоит тебя слушать?

Индиго не повысил голоса, но его хватка напомнила Джой цепкие руки крийякви, едва не утащивших ее к себе на дерево.

Джой повернулась к Индиго. В темно-синих глазах снова плескалось высокомерное любопытство, как в тот день, когда Джой впервые заглянула в них, и он так же насмешливо склонил голову набок. Но тем не менее все его внимание было сейчас приковано к Джой — девочка и не думала, что такое возможно. Джой пожала плечами и ответила:

— Ты прав, только и всего. Я бы на это не пошла, хоть засыпь меня деньгами, так чего же я прошу об этом тебя? Забудь об этом, ладно? Моя Абуэлита — умница, она непременно придумает что-нибудь еще. Не беспокойся.

Она снова повернулась, чтобы уйти, и снова Индиго удержал ее. Он холодно произнес:

— Я в любую секунду могу пересечь Границу, голым и с пустыми руками, и самостоятельно устроиться в твоем Вудмонте или любом другом месте. Чтоб ты знала — я не нуждаюсь в вашей дурацкой помощи, ни твоей, ни твоего мистера Папаса.

— О господи! Я совсем забыла, какой ты упрямец... — устало отозвалась Джой. — Теперь ты собираешься послушаться меня только потому, что я тебе сказала этого не делать.

Знаешь что, Индиго? Иди ты к черту. Делай, что тебе угодно, а я пошла обратно к Абуэлите. При случае пришли мне открытку, лады?

Джой уже довольно сильно углубилась в Закатный лес, обдумывая на ходу, как же она будет извиняться перед Абуэлитой — «Я все провалила, совершенно все! Это я виновата. Но он меня просто бесит!» — когда Индиго все-таки нагнал ее. Джой остановилась и выжидающе уставилась на Индиго; а тот смотрел на девочку так, словно впервые ее видит. Она ответила ему сердитым взглядом, поняв каким-то дальним уголком сознания, что давно уже не боится этого мальчишки, и почему-то ощутила смутное сожаление.

Индиго вздохнул.

— Столько музыкальных магазинчиков... — протянул он. — В вашем великолепном и ужасном мире столько музыкальных магазинчиков, а меня угораздило зайти в тот, где сидела Джозефина Ривера. Ах, Джозефина Ривера, тебе следовало бы родиться в Шей-рахе! Это бы избавило нас обоих от кучи хлопот.

Джон Папас принял рог почти что неохотно и спросил у Индиго:

— Ты уверен? Понимаешь, — тут он метнул взгляд на Джой, — она рассказала мне, что это за вещь и что она значит, так что я немного в курсе. Ты уверен, что ты этого хочешь?

— О, я всегда этого хотел, — тихо ответил Индиго. — Уверен ли? Нет — и, возможно, никогда не буду. Но действовать я должен так, словно не испытываю сомнений. Это — первая заповедь выживания в вашем мире, не так ли? — Он почти насильно ткнул серебристо-голубой рог в руки Джону Папасу. — Но он дорого вам обойдется, как я и предупреждал.

Джон Папас приподнял рог медленно, словно некую тяжесть, хотя Джой знала, что рог вовсе не тяжел.

— Но дешевле, чем тебе. Это я тоже знаю.

Старый грек некоторое время смотрел то на Индиго, то на Джой, потом вздохнул.

— Ну ладно. Ладно. Я найду коробку — тебе она понадобится.

Теперь им нужно было дождаться луны. Джой и Индиго

сидели в маленькой уличной кофейне неподалеку от автострады. Индиго несколько раз заказал себе кофе мокко.

— Пока что это мое величайшее открытие в вашем мире! Кто знает, какие еще чудеса меня ожидают?

А Джой лихорадочно вспоминала все, о чем нужно предупредить Индиго: о грабителях, о холестерине, противостолбнячных прививках, службе иммиграции и натурализации («Абуэлита называет их la migra. Индиго, запомни: тебе совершенно необходимо любым способом раздобыть грин-карту!») и дырах в озоновом слое. В конце концов, после того как Джой объяснила насчет уличных бандитских разборок, Индиго раздраженно сказал:

— Расскажи мне лучше что-нибудь хорошее о вашем мире, о чем-нибудь таком, что тебе самой нравится и чего нет у нас в Шей-рахе. А все остальное я выясню и сам.

Джой надолго задумалась, прежде чем ответить.

— Ну, вот кошки — это здорово. Мы не можем держать их дома, потому что у меня аллергия на шерсть, но кошки и вправду классные.

Ей почудилось, словно из глаз Индиго на нее смотрит Шей-рах, с нетерпением ожидающий правдивого ответа.

— Тот человек, — сказала Джой. — Ну, под эстакадой. Помнишь, тот, который заботится о твоей подруге и приносит ей пиццу?

Индиго кивнул.

— Ты был прав. Это и вправду прекрасно. Это самое лучшее, что у нас есть.

Небо над Вудмонтом было мрачным и густым от смога, и Джой даже не знала, взошла ли уже луна. Но Индиго такие вещи чувствовал. Он допил очередную чашечку мокко, вытер губы, улыбнулся, как удравший с уроков школяр, и протянул Джой руку. Джой застыла, не в силах заставить себя подняться из-за стола.

— Пойдем, — сказал Индиго. — Я провожу тебя домой.

Они расстались на маленьком пятачке между полосами автострады. Груз золотых монет, украшений и маленьких статуэток оттягивал Джой руки, а слезы застилали глаза, так что Индиго пришлось грубовато развернуть ее, подтолкнуть в сторону Границы и сказать:

— Иди. Верни зрение моим соплеменникам или залепи

им глаза клейкой бесполезной мазью. Все это, в сущности, неважно. Мы просто делаем то, что должны делать.

— Мистер Папас поможет тебе, — пробормотала сквозь слезы Джой. — И я тоже, когда вернусь. Все будет хорошо.

— Все уже хорошо, — тихо произнес Индиго. — Как ты думаешь, в чем главная причина слепоты Старейших?

— Что? — Джой попыталась вывернуться из его хватки. — О чем ты?

— Спроси у своей бабушки, — на мгновение прикосновение рук Индиго к ее плечам сделалось дружеским. — Она наверняка это знает, твоя Абуэлита. Прекрати вертеться, Фина Ривера, и приготовься — сейчас этот грузовик проедет... Пошла!

И Индиго мощным шлепком проводил девочку через Границу, под безмятежное небо Шей-раха.

Раздобыть золото для целебной мази оказалось куда легче, чем отыскать нужные травы. Некоторые из тех травок, которые припомнила Абуэлита, здесь не росли, и неясно было, можно ли их чем-то заменить. Другие же росли, но встречались до безобразия редко. Но у Абуэлиты и Джой были бесценные помощники: вездесущие тируджайи, знающие о растениях все, что только можно знать, и все ручейные джаллы Шей-раха, выказавшие поразительные познания о всякой прибрежной растительности. Названная сестра Джой даже обратилась за советом к речной джалле, знакомой Индиго. Она как-то ухитрилась выпросить у речной джаллы необходимый компонент мази — животный жир. Откуда взялся этот жир, Джой не знала и знать не желала. Абуэлита же отнеслась к этому так же просто, как и ко всему остальному, и сказала лишь:

— Как, по-твоему, мы делали это в Лас-Перлас? Не будь такой разборчивой, Фина.

Она непрерывно, прямо голыми руками размешивала смесь.

Абуэлиту тревожила еще одна проблема: как получить достаточно жаркий огонь, чтобы на нем можно было расплавить золото. Она вышла из затруднения, вырыв у реки во влажном песке яму, заполнив ее монетами Индиго и уговорив некоторое количество взрослых шенди одновременно дохнуть туда огнем — язычки пламени были небольшими, но раскаленными добела. Джой отчаянно хотелось узнать, как

Абуэлита нашла общий язык с дракончиками. На ее вопрос бабушка ответила:

— Querida[1], я находила общий язык с сиделками в «Серебряных соснах». Я могу договориться даже с твоими родителями. Скажи мне, что по сравнению с этим какие-то там дракончики?

Ко втихомолку отправился высоко в горы — там почти никто не бывал — и вернулся с алой тыквой размером почти с себя самого. Джой ни разу не видела в здешних местах ничего подобного, но Ко сказал, что их здесь полно, нужно только знать, где искать. Им понадобился целый день, чтобы проковырять упругую кожуру и выдолбить тыкву. Но зато из нее получился превосходный котел. Абуэлита смешала в нем золото, жир, мелко покрошенные листья и траву, кору, соки разных растений и мякоть самой тыквы. Она готовила мазь в полном одиночестве, не подпуская к себе даже Джой, и насвистывала сквозь зубы старинную песню погонщиков мулов. Потом Абуэлита дважды плюнула в тыкву, произнесла два-три слова, которые не были ни английскими, ни испанскими, и подозвала внучку.

— Вот, — сказала она. — Теперь станет ясно, знали мы у себя в Лас-Перлас что-нибудь или нет. Может, да, а может, и нет.

Джой встревоженно уставилась на бабушку.

— Как — нет? Ты же говорила, что это снадобье всегда помогало!

— Я сказала «всегда»? — Абуэлита поджала губы и слегка пожала плечами. — Ну, я уже стара, могу что-то и забыть. Маленький ничтожный городишко, населенный лишь нищими крестьянами. Там мы привыкли использовать для лечения даже самые безумные зелья. Но, так или иначе, это было в Лас-Перлас. А здесь — совсем другое место.

— Индиго сказал, что эта мазь не поможет, — несчастным голосом произнесла Джой. — Но он все равно продал свой рог...

Абуэлита стремительно развернулась, обняла внучку и тут же задала ей нагоняй:

— Фина, прекрати так переживать по любому поводу! Мы сделали все, что смогли. Ни от кого нельзя требовать

[1] Милочка *(исп.)*.

большего. Поможет мазь или не поможет, но Индиго знает, что мы сделали все, что было в наших силах. И Бог это знает. А теперь ступай и приведи всех сюда. Пора.

Джой сейчас постоянно боялась, что Граница сместится и они с Абуэлитой застрянут в тысячах миль от дома. Но зрелище Старейших Шей-раха, идущих за исцелением, вышибло у нее из головы все прочие мысли. Абуэлита развела костерок и подвесила над ним свою тыкву-котел. Она устроилась на краю степи, окаймленной с двух сторон отдаленными безлесными холмами, а с третьей — Летними Болотами (это место облюбовали сатиры и во множестве собирались там в теплое время). И отсюда Джой было видно, как с трех сторон к костерку тянутся длинные, насколько хватает глаз, процессии единорогов, а хвосты этих процессий теряются в тумане или солнечном мареве. Джой никогда еще, даже на лугу, не видела столько Старейших одновременно. Девочка попыталась сосчитать их, но почти сразу же сбилась. Здесь можно было увидеть единорогов всех цветов, от красных каркаданнов, отливающих золотом ярче монет Индиго, до килинов, исчерна-синих. Взрослые Старейшие стояли спокойно и величаво, а между ними сновали жеребята, ровесники Турика. И надо всем этим царила отчетливая, как никогда, музыка Шей-раха, вобравшая в себя все великолепие и разнообразие Старейших. Казалось, будто земля и воздух переполнены этой музыкой и теперь она ключом бьет через край. «Как люди в очереди за прививкой от гриппа», — подумала Джой, глупо хихикнула, потом отвернулась и расплакалась.

Абуэлита сидела у котла, скрестив ноги, и по очереди смазывала вздувшиеся, покрытые коркой глаза каждого Старейшего — и тех, кто, как Турик, только начинал терять зрение, и тех, кто уже полностью ослеп. Она здоровалась с теми, кого знала по имени (Джой была поражена, увидев, с каким количеством Старейших ее бабушка ухитрилась перезнакомиться за столь короткое время), и каждому говорила:

— Подожди три-четыре дня. Если ничего не изменится, возвращайся. Попробуем еще раз.

Она просидела так весь день, потом несколько часов подремала — Старейшие тем временем ждали, сохраняя тишину, — а когда луна еще была на небе, снова принялась за работу. Когда Джой в двадцатый или тридцатый раз предложила подменить ее, Абуэлита, как обычно, отозвалась:

— Нет, Фина, gracias[1]. Не знаю почему, но лучше это буду делать я. Со мной все в порядке, не беспокойся. Йаради, не тряси так головой. Я знаю, что сначала мазь немного жжется, но все равно, оставь ее в покое.

Процессия страждущих тянулась два дня и ночь. Последним явился лорд Синти, и когда он склонил черную голову к усталым, заляпанным мазью рукам старой женщины, Абуэлита уснула, но даже во сне умудрилась намазать снадобьем глаза единорога. После этого она спала двое суток, почти не просыпаясь, и потому не увидела первого Старейшего, вернувшегося благодарить ее. Окружающий мир пока что оставался для единорогов смутным, неясным и расплывчатым, но все же это был настоящий мир, а не те тени, которыми им так долго приходилось довольствоваться. Даже самые величественные Старейшие смотрели на все вокруг, словно жеребята, впервые вставшие на ножки. Точно так же, как Джой в свое первое утро в Шей-рахе, Абуэлита проснулась в окружении единорогов. Они смотрели на нее, не произнося ни слова, но Абуэлита тут же села и воскликнула:

— Ага, получилось все-таки! Знай наших!

А потом она снова заснула. А Старейшие стояли, не шевелясь, и терпеливо ждали, когда она проснется.

Глава 11

Ночью, когда Граница сместилась, именно Ко пришел к ним с этим известием. Ну, в общем, этого и следовало ожидать. Джой разбудил запах сатира, такой же забористый и успокаивающий, как всегда. Девочка быстро села и повернулась, чтобы поднять Абуэлиту с ее лиственного ложа. Но Абуэлита уже была на ногах — она присматривалась сквозь темноту к бревну, где в последнее время ночевали шенди. Воздух казался горячим и потрескивал, прикасаясь к коже Джой. В нем чувствовался горьковатый привкус, напоминающий о буре.

— Пора идти, дочка, — сказал Ко. — Бородой чувствую.

Джой обняла Ко.

— Я никогда больше не увижу тебя! Никогда!

---

[1] Спасибо *(исп.)*.

— Я перестал говорить «никогда», когда мне сравнялась первая сотня лет, — заметил сатир. — Ни Шей-рах, ни луна никуда не исчезнут, а Граница всегда откроется перед тобой и перед твоей бабушкой. Ты снова отыщешь ее в своем мире, и возможно, даже раньше, чем ты думаешь. А мы будем ждать тебя.

И он нежно прижал девочку к своей груди, от которой исходил козлиный запах.

Абуэлита наконец-то подала голос:

— Фина, они исчезли. Эти дракончики исчезли.

Джой и Ко дружно развернулись и кинулись к бревну. Но шенди и след простыл. Даже их странный медный запах, кажется, уже развеялся. Страх схватил Джой за горло, мешая дышать.

— Граница! Я не знаю, где Граница! Ко, что мне делать, что же мне теперь делать?!

Среди ветвей проглянул месяц.

— Спокойствие, — отозвался Ко, беспомощно оглядываясь по сторонам. — Успокойся, дочка.

Абуэлита уселась под дерево и начала неспешно расчесывать волосы.

Джой в ужасе схватила Ко за плечи и принялась трясти.

— Ко, мы оказались в ловушке! Как же я теперь верну Абуэлиту домой? Ко, пожалуйста, мне очень нужно отвести ее обратно!

— Нет, Фина, не нужно, — негромко промолвила Абуэлита.

Джой и сатир изумленно уставились на нее. Даже в темноте видно было, что Абуэлита улыбается.

— Фина, я приняла решение, — сказала она. — Я не стану возвращаться.

— Что? — ошарашенно спросила Джой. Узкие глаза Ко от изумления сделались круглыми. — Абуэлита, что ты такое говоришь? — прошептала Джой. — Нам нужно домой!

— Тебе нужно, да, — безмятежно согласилась бабушка. — Тебя там ждет семья, незаконченное образование — да вся жизнь! И Индиго. Ты должна найти Индиго. А меня там ждут лишь «Серебряные сосны» да смерть. Нет, спасибо, здесь мне больше нравится.

Пока Джой, потеряв дар речи, смотрела на бабушку, в кустах раздался зловещий треск, и сразу вслед за ним — победный вопль Турика:

— Вот они где!

Жеребенок галопом влетел в лощинку, ринулся прямиком к Джой и с разгона ткнулся носом ей под мышку, в свое излюбленное место.

— Вы чего тут сидите? — выпалил он. — Все шенди сейчас спят у заводи Трех Лун, там, где каркаданны купаются. А вы чего тут?

То, что происходило дальше, Джой запомнила смутно. Помнится, она ворошила листья, разыскивая свой рюкзачок и нехитрые пожитки Абуэлиты, а Ко яростно бранил свою бороду — как она могла пропустить перелет шенди?!

— Я должен был знать, что они могут этой ночью куда-то перелететь! Чем ближе Перемещение, тем они беспокойнее, тем чаще меняют место!

Потом, безо всякого перехода, всплывала другая картинка: они с Абуэлитой сидят у Турика на спине. Жеребенок мчится вверх по склону, продираясь через колючий кустарник, а рядом огромными скачками несется Ко. Все это время Джой пыталась докричаться до Абуэлиты, но бабушка лишь пожимала плечами и показывала на уши, мило улыбаясь.

До сих пор Джой видела заводь Трех Лун лишь издалека, поскольку и поныне чувствовала себя неуютно в присутствии каркаданнов. Это расположенное в холмах озерцо с каменистыми берегами казалось слишком маленьким для таких крупных созданий, но в его зеленоватой чаше всегда плескалось не менее трех-четырех каркаданнов. Впрочем, этой ночью воды озера были пусты и лишь слегка серебрились под последними лучами заходящей луны. Шенди нигде не было видно.

— Они здесь, дочка, — подал голос Ко. — Во второй раз моя борода нас не подведет.

Джой соскользнула со спины Турика и помогла спуститься бабушке. Они застыли, держась за руки.

— Абуэлита, это безумие! — сказала Джой. — О господи, родителям-то я что скажу?

Абуэлита беззаботно махнула рукой.

— Скажи им, что я вернулась в Лас-Перлас. Я уже много лет грозилась это сделать.

Внезапно лицо Абуэлиты, озаренное мягкой улыбкой, сделалось таким юным и озорным, что у Джой чуть сердце не выскочило из груди. Абуэлита добавила по-английски:

— И знаешь, что я тебе скажу, Фина? Это почти что правда!

— Вон Граница! — объявил Турик. — Я же вам говорил!

Посреди озера над водой мерцала переливающаяся завеса, превращая заводь в калейдоскоп драгоценных лун. Джой пыталась не смотреть на нее. Она с отчаянием вцепилась в Абуэлиту.

— Я не хочу оставлять тебя здесь! Я буду скучать по тебе! А ты обо мне? Обо мне — и обо всех?

— Я буду скучать по тебе, девочка, — отозвалась Абуэлита. — Я буду скучать по тебе, как скучаю по твоему дедушке. Только ты еще можешь навестить меня здесь, как навещала по воскресеньям в «Серебряных соснах», а он не может... А по остальным... — Абуэлита сделала неопределенный жест. — По остальным — меньше.

Она порывисто обняла Джой, потом отступила назад и подтолкнула девочку к заводи.

— Иди, иди, ты опоздаешь на свой автобус. И, — неожиданно она крепко сжала ладони Джой, — и скажи Индиго... Ну, просто передай, что я люблю его.

— Индиго! — Джой снова потянулась к Абуэлите. — Индиго велел мне спросить у тебя, почему Старейшие ослепли, а я забыла. Он сказал, что ты знаешь.

— Ай, этот мальчишка... — Абуэлита покачала головой и улыбнулась. — Именно из-за этого он так долго не решался продать свой рог за деньги. Им нельзя так поступать — не из-за них самих, а из-за этого места. Если сделать это, порядок вещей нарушится и все пойдет наперекосяк — comprendes[1], Фина?

— Но он продал его! — воскликнула Джой. — Ведь он — единственный Старейший, который продал свой рог...

— Но не ради себя.

В сиянии Границы казалось, что лицо Абуэлиты ежесекундно меняет выражение.

— Я же тебе говорила — все дело в причине. А теперь поспеши. Я люблю тебя, Фина.

Граница плясала и кружилась над заводью Трех Лун. Джой посмотрела на воду, потом на Турика. Жеребенок кивнул и гордо произнес:

— Садись мне на спину!

---

[1] Понимаешь? *(исп.)*

Ко молча помог девочке усесться верхом. Джой наклонилась, чтобы обнять его. Она и сама сейчас не могла вымолвить ни слова. Сатир прошептал:

— Я был прав, что называл тебя дочкой, да?

Джой смогла лишь кивнуть.

Турик вошел в озерцо, высоко вскидывая ноги, как выезженная лошадь на параде, и шагал так, пока вода не дошла ему до брюха, а Джой — до туфель. Пока они шли к Границе, Джой прижималась к шее жеребенка и сбивчиво говорила:

— Я не прощаюсь, Турик, нет — честное слово! Я разыщу вас, куда бы эта чертова Граница ни переместилась! Я отыщу Шей-рах, обязательно отыщу!

— Я знаю, — беспечно отозвался жеребенок. — Если бы я думал, что ты и вправду покидаешь нас, меня бы тут и близко не было.

В сиянии Границы его рог переливался алым, зеленым и фиолетовым.

Край неба уже окрасился багрянцем, и темнота помалу начала рассеиваться, уступая место нетерпеливой заре. Куда бы Джой ни посмотрела, ей казалось, что повсюду на берегах заводи стоят единороги, полускрытые деревьями, и наблюдают за ней — «Смотрят на меня!» Тень принцессы Лайшэ опустила рог в прощальном поклоне, и рослый спутник принцессы повторил ее движение. Сознания Джой мягко коснулся голос леди Фириз:

— Ты позаботилась о моем сыне, а я позабочусь о твоей бабушке. Ступай с миром, смертное дитя.

Джой не смогла разглядеть лорда Синти, слившегося с ночью, но его голос был все так же отчетлив:

— Передай Индиго, что мы понимаем, что он сделал. Даже если и вправду его страстное стремление всецело принадлежать вашему миру ввергло нас в слепоту, то его самопожертвование освободило нас — а возможно, и его самого. Мы будем помнить об этом. Передай ему это, Джозефина Анджелина Ривера.

К тому моменту, как они подобрались вплотную к Границе, Турику пришлось плыть, а Джой, сидевшая у него на спине, промокла до пояса и теперь дрожала от предрассветной свежести. Граница висела у них над головами, куда более дикая и величественная, чем то мягкое мерцающее сияние, к

которому успела привыкнуть Джой. От нее исходил низкий, глухой звук, напоминающий шипение сала на сковородке.

— Ну... — вздохнула Джой. Она погладила Турика по шее и мрачно вознамерилась скользнуть в воду, чтобы преодолеть последние несколько метров. Но жеребенок резко повернул голову и рогом удержал Джой. Одновременно с этим Джой в последний раз услышала голос лорда Синти:

— Не пытайся плыть — одежда потянет тебя на дно. Забирайся Турику на спину и прыгай через Границу. Делай, как я сказал.

Джой заколебалась, потом сбросила туфли, взобралась на спину жеребенку и осторожно выпрямилась, раскинув руки, чтобы сохранить равновесие. Неожиданно Турик произнес:

— Может, я приду к тебе в твой мир, когда подрасту. Представляешь — поднимаешь ты голову, а перед тобой я стою!

— Нет! — воскликнула Джой с такой силой, что чуть не упала. — Нет, Турик, не смей! Обещай мне, что останешься здесь! Сейчас же обещай!

Турик пробормотал нечто неразборчивое, и непонятно было, согласен ли он дать такое обещание.

— Ну ладно, давай. Становись на цыпочки и прыгай как можно выше. Я тебе помогу. — Он медленно опустил голову. — Давай считать вместе: раз, два...

На счет «три» его спина вздыбилась под ногами у Джой, словно гребень волны. Одновременно с этим Джой пригнулась и швырнула свое тело вперед, прямо в пылающий и шипящий водоворот ярких красок, — и, сделав это, Джой ощутила, что Смещение началось. Граница мгновенно превратилась в дымный, серый круговорот на фоне тающих предрассветных сумерек, и Джой влетела в этот круговорот и понеслась через него наугад, как детская игрушка в ванне. Девочка потеряла всякое ощущение времени. Джой не знала даже, падает она через бескрайний дым или поднимается вверх. Она поджала ноги и крепко обхватила их руками, превратившись в маленький мячик. В голове у нее сейчас вертелась лишь одна связная мысль: «А что будет, если я вывалюсь прямиком на автостраду?» Джой зажмурилась, отчаянно припоминая мощный козлиный запах своего дорогого Ко...

...и обнаружила, что катится среди ржавых насосов на какой-то заброшенной бензоколонке. Несколько окрестных кварталов занимали разрушенные дома и новые строящиеся

здания. Джой заметила, что повсюду стоит разнообразная строительная техника, но людей видно не было. Вечернее солнце клонилось к горизонту, а в воздухе висел прохладный отдаленный аромат. И этот запах оказался последней каплей — Джой так остро ощутила свое одиночество, что уселась на островке самообслуживания и заплакала, уткнувшись головой в мокрые коленки. Потом она встала, кое-как отжала джинсы, все еще пропитанные водой заводи Трех Лун, и медленно огляделась, определяя, куда ей идти.

«Ладно. Ладно. Если все получилось как всегда, значит, я возвращаюсь из «Серебряных сосен», от Абуэлиты, и мне нужно сейчас же идти домой. Ладно. Идем домой».

Но все же она еще некоторое время постояла неподвижно, глядя на пустые полуразрушенные улицы и не замечая их. Вокруг не видно было ни следа Границы, и, как Джой ни вслушивалась, она не смогла расслышать ни единой ноты дерзкой музыки Шей-раха.

«Может быть, я никогда больше ее не услышу. Может быть, я просто буду чувствовать ее внутри себя, как голоса Старейших. Теперь я даже не знаю...»

Девочка резко повернулась и зашагала прочь.

Но она не сразу пошла домой. Вечер застал ее в магазинчике Папаса, за письменным столом хозяина. Джой была облачена в старый махровый халат мистера Провотакиса, а ее джинсы тем временем сохли над небольшим обогревателем. Джон Папас то сыпал вопросами, то подливал Джой хорошего греческого кофе, то напоминал, что нужно позвонить родителям, — но это Джой уже сделала.

— Домой уже сообщили насчет Абуэлиты. Я сказала, что она много говорила о Лас-Перлас, так что, может быть, она просто наконец отправилась туда. На самом деле так оно и есть.

Голос Джой дрогнул, и девочка поспешила отхлебнуть еще кофе.

— Думаешь, они на это купятся? — поинтересовался Джон Папас. Джой устало пожала плечами.

— Даже если еще не поверили, то непременно поверят. Они постоянно говорили, что держать бабушку в пансионе

ужасно дорого. Не думаю, чтобы они стали так уж старательно ее разыскивать.

Некоторое время они молчали. Наконец Джон Папас произнес:

— Говоришь, она их все расплавила, а? И он ей позволил? Ну и парень этот Индиго! — Папас кивком указал на серебристо-голубой рог, уложенный в старый футляр от тромбона. — У меня такое странное ощущение, что я вроде как должен вернуть эту штуку ему. Что скажешь?

— Он не возьмет, — отозвалась Джой.

Старый грек кивнул.

— Ну что ж, я уже прикинул, чем смогу возместить ему эту потерю. Надо все-таки по-честному. Значит, он где-то здесь?

— Он оставался здесь, когда Шей-рах... когда Шей-рах переместился.

«Привыкай говорить и думать об этом. И Индиго тоже придется к этому привыкнуть».

— Ну и парень! — повторил Джон Папас, потом снова указал на рог: — Теперь играй. Сыграй этот самый Шей-рах для старика, который никогда его не видел. Пожалуйста, играй.

Джой покачала головой.

— Я не могу. Это принадлежит Индиго. Вы купили его, храните его, можете сделать с ним все, что захотите, но он по-прежнему принадлежит Индиго.

Девочка встала, поколебалась, чуть было не уселась обратно, но потом все-таки подошла к пианино и коснулась клавиш. Музыка застыла на листах, исписанных корявым почерком Джой, но девочка даже не взглянула на них.

Прошло несколько ужасных и томительных секунд, но в Джой так ничто и не шевельнулось и не запело.

«Она ушла. Все ушло с Шей-рахом — и музыка, и Абуэлита, и все остальные — все просто-напросто ушло. Ничего не было. Ничего».

А потом правая рука Джой неожиданно, словно сама по себе, извлекла три стремительных ноты, а левая подхватила их и превратила в неспешное, медленно разгорающееся великолепие луны, восходящей над Шей-рахом. Откуда-то донесся возглас Джона Папаса:

— Ха, вот оно! — и дальше что-то по-гречески. Джой подвернула рукава халата мистера Провотакиса.

И музыка Шей-раха взмыла из-под рук Джой, приветст-

вуя ее возвращение домой. В маленьком магазинчике пианино звучало, как целый оркестр, ликующе приукрашая мелодии, рожденные по обе стороны Границы, что струились сейчас через Джой — так радостно, что девочка не могла ни задуматься над ними, ни сдержать их. Джой закрыла глаза. В эти мгновения она не просто видела Ко, но и чувствовала его запах, и благоухание принесенных им джавадуров, и аромат синих листьев, покрывающих землю. Она снова гуляла в обществе принцессы Лайшэ и цеплялась за гриву Турика, резвящегося вместе с другими юными единорогами. Джой слышала смех ручейной джаллы, журчащий, как воды ее ручья, и щелканье зубов перитонов, ринувшихся на добычу. Это было уже чересчур для нее, и девочка едва не заставила себя остановиться. Но ее руки вспомнили молчание лорда Синти, неподвижность дня, потраченного на наблюдение за маленькими дракончиками, хриплые голоса компании тируджайи, распевающих какую-то скабрезную песенку, и пестрое одиночество прогулок по Закатному лесу. Если эта мелодия и не была музыкой Старейших, то все же была настолько близка к ней, насколько это вообще возможно. И когда Джой перестала играть, она спрятала лицо в ладонях, едва не смеясь от изумления.

— О, получилось, все-таки получилось! Может быть, неточно, не совсем точно, но хотя бы так! Я показала Шей-рах!

Джон Папас кивал, и лицо его все шире и шире расплывалось в глуповатой улыбке.

— О да, ты вправду что-то ухватила, да, нечто ни на что не похожее. Не знаю, что из этого получится. Мы покажем это кое-кому, может, кто-то это сыграет, кто-то запишет — может, да, может, нет, — но ты навсегда заполучила свою «Сонату единорога», дитя. Она не покинет тебя. Она останется.

И, помедлив секунду, старый грек добавил:

— Спасибо.

Они сидели в темном торговом зале музыкального магазинчика и улыбались друг другу. В конце концов Джон Папас встал и тяжело побрел к витрине.

— Я, пожалуй, закрываюсь. Хочешь съесть какой-нибудь бурды у Провотакиса?

Джой натянула влажные джинсы.

— Нет, спасибо. Я лучше пойду домой.

Она подобрала битком набитый рюкзачок и следом за Папасом подошла к витрине.

— Уже стало так рано темнеть... Ненавижу это время года. — Джой немного помолчала и добавила: — Особенно теперь, когда не осталось другого места, куда можно пойти.

Джон Папас обнял девочку за плечи.

— Ничего, Джозефина Анджелина Ривера. Все не так плохо. То место, оно ведь все равно осталось, верно? Не похоже, чтобы оно перестало существовать, — оно по-прежнему где-то есть, ведь так? Ну да, оно передвинулось — и что с того? Ты тоже можешь двигаться. Ты можешь искать это место повсюду, куда бы ты ни пошла, — прямо с этой минуты. Эти единороги — они везде, даже в Вудмонте. Ты об этом знаешь, я знаю — а может, никто больше и не знает. Ты ищи их, слушай эту музыку, слушай Шей-рах. Раз он где-то есть, ты найдешь его, если достаточно сильно захочешь. Времени довольно.

Джой даже умудрилась улыбнуться.

— Да, наверное. Абуэлита сказала, что я найду его снова. И я обещала Турику. Я пойду. До понедельника!

Она открыла дверь магазинчика и чуть было не вышла наружу. Но тут ее настиг оклик Джона Папаса. Старый грек указывал на босые ноги Джой.

— Ты уверена, что нормально доберешься? Давай я дам тебе на такси.

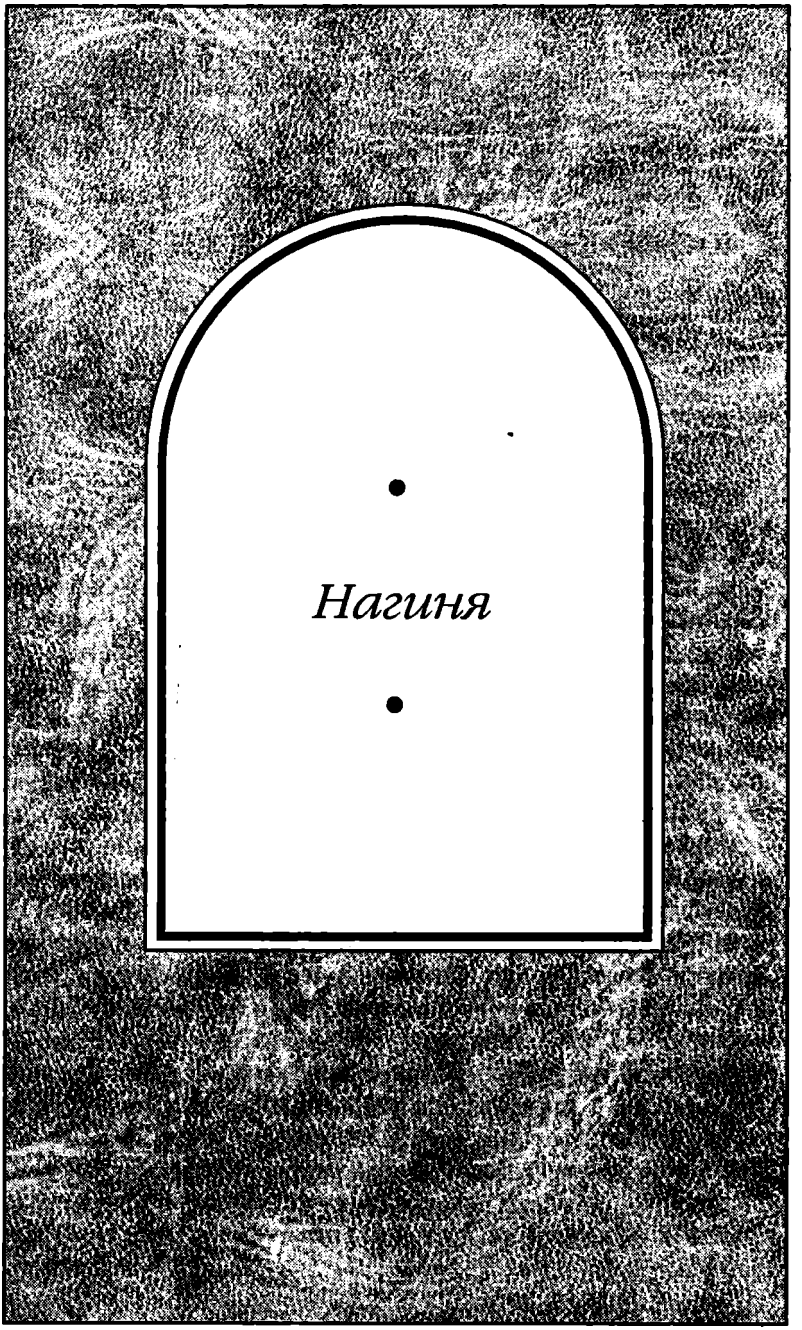
Джой рассмеялась.

— Нет, мне хочется пройтись пешком. Я доберусь.

— Они заметят, — сказал Джон Папас. — Родители, может, и нет, а твой брат наверняка заметит. И что ты им скажешь, когда они спросят, куда делись туфли?

— Не знаю, — отозвалась Джой. — Я подумаю об этом позже. А сейчас я буду высматривать одного тощего парня с очень красивыми глазами. Он где-то здесь, поблизости.

Она осторожно прикрыла за собой дверь и отправилась домой.


Нагиня

От автора. Последующее повествование представляет собой отрывок из недавно обнаруженного римского манускрипта, относящегося к первому веку нашей эры; авторство приписано Гаю Плинию Секунду, известному нам как Плиний Старший. Манускрипт имеет отдаленное сходство с приложением к его великому энциклопедическому труду – «Естественной истории», и, очевидно, написан ученым незадолго до смерти, последовавшей в 79 г. от Р.Х. при извержении Везувия. Но как этот фрагмент попал в руки современного исследователя, история абсолютно другая, и читателям до нее совершенно нет дела.

Начнем с создания, вести о котором пришли к нам лишь из полумифических земель за Индом, где обитает множество драконов и единорогов. Торговцы, путешествовавшие из Индии в Месопотамию, описывают нага как огромного змея с семью головами, подобного твари, известной нам под именем гидры. Если не упоминать о победе Геркулеса над Лернейской гидрой, надежные источники повествуют нам о многочисленных встречах с этими животными вдали от побережий Греции и Британии.

У гидры бывает от семи до десяти голов, похожих на собачьи; обычно описания изображают их растущими на концах длинных и мускулистых шей или щупальцев; пасти эти не пожирают добычу, но подтаскивают ее к средней голове, самой крупной, которая и раздирает жертву на части клювом, словно какой-то чудовищный африканский попугай. Далее говорят, что отсеченные головы и перерубленные шеи срастаются; греческие авторы утверждают, что это происходит мгновенно, однако склонность их ко лжи и не меньшая доверчивость превышают пределы разумного.

Тем не менее в существовании гидры не может быть сомнений: я сам разговаривал с моряками, чьи товарищи пали жертвой прожорливости этих тварей. Когда мореходам удается поймать гидру отмщения ради, они варят ее живьем и пожирают.

Рассказывают, что вкусом гидра напоминает тот суп, который варят из сапог в пустыне оголодавшие солдаты. Аромат его трудно забыть.

Тем не менее, невзирая на поверхностное сходство с гидрой, наги явно отличаются от нее. Судя по имеющимся у меня сведениям, народы Индии и земель, что лежат за нею, почитают это создание, вознося его почти до богов и одновременно ставя ниже самого человека. Противоречия на этом не кончаются: например, утверждают, что укус нага смертельно опасен для всего живого, и в то же время отмечают, что физически опасными для человека являются лишь некоторые экземпляры. (И в самом деле, источники моих знаний не согласуются даже в определении обычной добычи нага: некоторые исследователи предполагают, что тварь сия вовсе не ест, но поддерживает свою жизнь молоком диких слоних, которых пасет и охраняет, как мы свой скот.) Стихия нагов — вода, поэтому считается, что они могут вызвать дождь или прекратить его, а значит, их надлежит ублажать жертвами и прочими приношениями и обращаться с непременным почтением. Как драконы в наших краях, наги хранят великие сокровища в своих глубоких логовах; но говорят, что, в отличие от драконов, наги сооружают себе подземные дворцы, немыслимо прекрасные и полные роскоши, и обитают в них, словно цари и царицы нашего мира. И все же наги часто теряют покой, тоскуя о том, чего у них нет, и тогда оставляют свои чертоги ради рек и ручьев Индии. Тамошние философы считают, что наги ищут таким образом просветления, однако в Риме есть секты, уверяющие нас в том, что они отправляются на охоту за человеческими душами.

Тем, кто служит Императору в Британии, будет достаточно интересно узнать, что, по слухам, подобные нагу создания обретаются в болотах далеко на севере этого острова, где им поклоняются как подателям плодородия, быть может, потому, что зимние месяцы они проводят под землей, в спячке, и выходят наверх с первым весенним днем. Но копят или нет эти змеи сокровища под землей, как делают наги, и сколько голов у них, я не знаю.

Говорят, что каждый наг владеет бесценным самоцветом, являющимся источником его великой силы. Подобно слонам, они религиозны и даже благочестивы, а потому посещают святилища индийских богов, вознося им приношения того же самого рода, что получают сами. Кроме того, известно: цари нагов предоставляли богам свое тело в качестве ложа, капюшоном прикрывая их от дождя и солнца. Верны ли подобные истории или нет, однако сам факт существования их, безусловно, свидетельствует об уважении, с которым относятся к нагам в этих краях.

Общеизвестно еще одно озадачивающее противоречие в природе нагов: считают, что женские особи этих существ (нагини) способны принимать человеческий облик, и этой способности лишена противоположная половина их породы. В таком ложном обличье нагини нередко приобретают редкостную красоту, а посему некоторые царские семейства ведут свое происхождение от брака смертного царевича с нагиней. Об этом говорится в истории, которую поведал мне самому некий купец, торговец шелками и красителями, много странствовавший по Индии и соседствующий с этой страной областью на Востоке, которую жители ее именуют Камбуджей. Я перескажу вам эту повесть, поелику возможно сохраняя манеру рассказчика.

В Камбудже, чуть в стороне от царского дворца, до сего дня сохранилась башня, полностью покрытая золотом, что было принято среди тамошних царей. В давние времена построил ее юный царь; едва приняв власть, он поторопился устроить покои себе и своей будущей царице. Но юношеская надменность и нетерпение не давали никому угодить ему: эта девушка казалась слишком простой, другая чересчур скучной, третья была достаточно красивой, но излишне бойкой на язык, четвертая не подходила по семейным соображениям, да и к тому же от нее пахло вяленой рыбой. И в результате цвет его молодости миновал в величественном одиночестве, которое — как часто указывают, — безусловно, не может заменить общества преданной жены и ее мудрости и любви, царица она или простая служанка.

Одиночество царя все углублялось — хотя он в этом не признавался даже себе — и портило его нрав. Не то чтобы он

становился жесток или капризен, однако правил вялой рукой, не творя ни зла, ни добра и не имея склонности ни к тому, ни к другому. А золотая башня все пустовала, если не считать пауков и сычей, выводивших собственное потомство на маковке шпиля.

Постепенно царь приобрел привычку бродить переодетым среди собственного народа, заполнявшего улицы и базар теплыми вечерами. Ему представлялось, что подобным образом он узнает кое-что о повседневной жизни своих подданных, однако это было вовсе не так: во-первых, любой рыночный плут узнавал царя в самом хитроумном обличье, ну а во-вторых, потому что правитель по-настоящему и не хотел понимать людей.

Тем не менее камбуджийский владыка старательно придерживался своего обычая, и однажды вечером некая нищенка, грязная и невежественная, приблизилась к государю на его извилистом пути по городским улицам и спросила на вульгарном языке простонародья:

— Прости меня, господин горшечник (так был одет царь)... не скажешь ли ты мне, зачем нужна та блестящая штуковина? — И указала на золотую башню, которую царь некогда возвел, рассчитывая на скорое счастье.

Царь все же сохранил еще чувство юмора, хотя несколько мрачного и безутешного.

— Это музей, воздвигнутый в память той, которой никогда не было на свете, и я не горшечник, а хранитель его. Не хочешь ли удовлетворить свое любопытство? Мы любим гостей — башня и я.

Нищенка с готовностью согласилась, и царь, взяв ее за руку, повел через сады, насаженные его собственными руками, а потом — через высокую сверкающую дверь, ключ от которой всегда носил в кармане, хотя до того дня им ни разу не пользовался.

Царь вел нищенку из комнаты в комнату, от шпиля к шпилю, повествуя с суровой иронией о своих былых мечтах.

— А вот здесь проходили бы обеды, а вот в этой комнате властитель с женой и друзьями слушали бы музыкантов. А здесь находились бы служанки жены; а тут спали бы их дети... Впрочем, откуда могут быть дети у нерожденного? —

А когда они добрались до опочивальни, царь остановился перед дверью, не желая входить, и хриплым голосом молвил: — Пойдем отсюда, там змеи и всякая хворь.

Но нищенка смело шагнула вперед и вошла в спальню с видом хозяйки, давно не бывавшей здесь, но прекрасно знающей эти покои. Царь гневно крикнул, чтобы она возвращалась, но когда гостья его обернулась (так сказал мне торговец), то увидел, что перед ним не жалкая побирушка, но великая царица, а одежда ее и самоцветы богатством много превосходят те, которыми он владел. И она сказала ему:

— Перед тобой — нагиня. Я оставила свои владения и дворец под землей из жалости и любви к тебе. Отныне — начиная с этой же ночи — ни тебе, ни мне не спать за пределами золотой башни. — И царь обнял свою гостью, ибо ее царственная краса не могла достигнуть иного; к тому же он столько лет прожил в одиночестве.

Потом, чтобы привести их радость к некоторому порядку, царь начал поговаривать о венчании, о празднествах, что продлятся не один месяц, и о том, как они вместе будут править и наслаждаться жизнью.

Но нагиня отвечала ему:

— Возлюбленный, мы уже дважды сочетались браком: в первый раз, когда я увидела тебя, и во второй — оказавшись в объятиях друг друга. Советники же, войско и всякие указы принадлежат твоему дневному миру, а не моему. Меня, моей заботы и правления требует мой собственный край, так же, как и тебя твой собственный. Однако ночью в своем уединенном мире мы будем заботиться друг о друге, и сколь радостными сделаются наши дневные труды в предвкушении ночного блаженства!..

Царь не был доволен ее словами потому, что мечтал представить своему народу долгожданную царицу и хотел, чтобы она каждый миг каждого дня находилась возле него, а потому сказал:

— Я вижу, что ничем хорошим это не кончится. Тебе надоест постоянно путешествовать между двумя мирами, и ты забудешь меня ради какого-нибудь владетельного нага, рядом с которым я покажусь метельщиком или продавцом фиников. А я пойду искать утешения от скорби у простой кур-

тизанки, уличной певички или — хуже того — у придворной дамы и сделаюсь еще более странным и одиноким, потому что любил тебя. Неужели ты прошла весь долгий путь, чтобы наделить меня подобным даром?

Тут длинные и прекрасные глаза нагини вспыхнули, и она схватила царя за руки со словами:

— Никогда не говори мне о ревности и измене — даже в шутку. В обычае нагов хранить верность супругу всю жизнь... Можешь ли ты сказать то же самое о людях? Но, господин мой единственный, знай: если однажды настанет ночь в этой башне и ты не явишься вместе с сумерками, уже наутро ужасное бедствие поразит твое царство. Даже если ты хотя бы один раз не встретишь меня здесь, ничто не спасет Камбуджу от моего гнева. Такова природа нагов.

— Ну а если не придешь ты, если пропустишь хотя бы одну ночь, — отвечал бесхитростно царь, — я просто умру.

Тут глаза нагини наполнились слезами, и она обняла его со словами:

— Зачем терзать друг друга речами о том, что никогда не случится? Наконец-то мы вместе и дома, мой друг... муж мой.

Незачем дальше рассказывать об их счастье в золотой башне, только добавлю, что пауки, змеи и совы исчезли из нее еще до утра.

Так царь Камбуджи взял в жены нагиню, пусть она и приходила к нему лишь во тьме и только в золотую башню. Она запретила рассказывать об этом, и он молчал; но поскольку с закатом царь, забывая о всем внешнем блеске и церемониях, обо всех государственных делах, каждый вечер торопился в свою башню, слух о том, что он проводит там ночи с женщиной, распространился по всей стране.

Со временем, конечно, слухи и любопытство уступили место удивлению перед переменой, происшедшей в характере царя, потому что теперь он правил с пылкой привязанностью к своему народу; словно бы пробудившись ото сна, в первый раз осознал всю меру человеческой невинности, испорченности и страдания.

Прежде замечавший лишь собственное горькое одиночество, теперь он начал исправлять участь подданных, вклады-

вая в это дело те же усилия, с которыми они старались просто выжить. Не было человека в его стране, который не сумел бы принести слово царю, будь то осужденный преступник, разоренный налогами купец или побитый слуга. Все могли припасть к его стопам, зная, что жалобу услышат. Столь ревностная забота о народе обеспокоила многих, привыкших к правлению иного рода, и в стране стали не без ехидцы поговаривать: «У него ночью одна царица, а у нас днем — пять царей».

Но народ неспешно, не понимая причин подобного пыла, начал отвечать любовью царю, и поговаривать стали уже о том, что если бы вселенная не ведала правосудия, то его непременно придумали бы в Камбудже.

Причин для подобного изменения, как прекрасно знал сам царь, было две: во-первых, он был счастлив — впервые за всю свою жизнь — и хотел, чтобы все остальные разделяли его радость; во-вторых, ему казалось, что, чем усерднее он трудился, тем быстрее проходил день, приближая его к вечеру и встрече с царицей. В свой черед, как она и обещала ему, счастье, которое он черпал в их любви, делало радостным даже часы разлуки... Так освещает нашу ночь давно закатившееся солнце, прибегнув к доброй помощи луны. Так научается человек ценить день, ночь и сумерки вместе со всем, что умещается в них.

Быстро летели годы. Царь не провел ни одной ночи вне золотой башни, а это означало — помимо всего прочего, — что в Камбудже во время его правления прекратились войны, и нагиня всегда встречала любимого, называя его тайным именем, которое дали ему при рождении жрецы и которого никто более не знал. В ответ она открыла ему то имя, которым зовется среди нагов, однако отказалась явиться в том истинном обличье, которое принимала среди своего народа.

— Здесь с тобой я такая, какова моя истинная природа, — говорила она. — Мы, наги, вечно переходим из воды в землю, из земли в воздух, из одного облика в другой и скитаемся между мирами, между желаниями и мечтами. В нашей башне я такова, какой ты знаешь меня, не более и не менее, и мне не нужно знать, в каком обличье ты сам восседаешь в

11 – 7877

суде, решая, жить или нет человеку. Здесь мы оба свободны, словно и ты не царь, и я не нагиня. И пусть все останется так, как есть, дорогой мой.

Царь отвечал:

— Пусть будет так, как ты говоришь, только знай: многие нашептывают ныне, что ночная царица нашей страны — на самом деле нагиня. Земля сделалась необычайно изобильной, дождя выпадает именно столько, сколько нужно... кто, кроме нага, может послать людям такую удачу! Многие в нашей стране уже не первый год полагают, что именно ты и правишь Камбуджей. И, по чести говоря, мне трудно спорить с ними.

— Я никогда не советовала тебе, как надо править страной, — отвечала она. — Как правитель ты не нуждаешься в моих наставлениях.

— Неужели? — отвечал он. — Но я не был настоящим царем, пока не встретил тебя, и мой народ понимает это не хуже меня.

Иногда он говорил ей:

— Когда-то давно я сказал тебе, что умру, если однажды ты не встретишь меня здесь; лицо твое при этом вдруг изменилось, и я понял, что в словах моих было больше правды, чем мне казалось. Теперь я знаю — столь мудрым сделала меня любовь, — что однажды вечером ты действительно не придешь, и я умру. Но я спокоен: пусть приходит смерть, ведь я знал тебя. А значит — жил.

Но нагиня никогда не позволяла царю продолжать подобные речи, со слезами обещая ему, что такая ночь никогда не настанет, а потом уже царь до рассвета утешал ее. Так жили они вместе, а годы шли.

Но среди двора начали поговаривать — все громче и громче, — что царь не дал наследника трону и после его смерти раздоры двоюродных братьев раздерут на части страну. Они жаловались на то, что царь попал в полное рабство к своей нагине и более не интересуется ни славой, ни величием своего царства. И хотя ничего справедливого в их словах не было, тем не менее отлично известно, что долгая бездеятельность лишает людей покоя, наделяя желанием последо-

вать за всяким, кто посулит бурные изменения ради них самих. Так бывало даже в Риме.

Кое-кто пытался предостеречь царя относительно положения дел при дворе, но он предпочел не обращать внимания, полагая, что все вокруг находятся в столь же безмятежном настроении, как и он сам. А потом сонное безмолвие полдневного часа разлетелось кровавыми брызгами — под крики и лязг мечей; и даже припав спиной к двери тронного зала, защищая собственную жизнь, царь обнаружил, что не готов к подобному повороту событий. И если бы лучшая треть его войска, составленная из ветеранов славных битв, не сохранила верности своему владыке, схватка закончилась бы в первые же несколько минут.

Но верные царю воины отчаянно сопротивлялись и к началу вечера перешли в наступление, так что перед заходом солнца от восставших осталось несколько разрозненных групп, дравшихся, как безумные, знающих, что их не оставят в живых. И в битве с одним из обреченных царь Камбуджи получил смертельную рану.

Он еще не знал, что рана погубит его, и думал лишь о том, что близится ночь, а от золотой башни его отделяют вооруженные люди, все утро вопившие, что они убьют его, а потом — эту змею, это чудовище, которое столь долго подтачивало основы царства. И он разил их из последних сил, а потом повернулся, полунагой и забрызганный кровью, и похромал с поля боя к башне. Тех, кто преграждал ему путь, царь убивал; но теперь он часто падал и каждый раз поднимался со все большим трудом, что еще больше гневило его. Башня как будто бы не становилась ближе, а он знал, что сейчас должен быть со своей нагиней.

Царь так и не добрался бы до башни, если бы не доблесть молодого офицера — в Риме столь юных мальчиков просто не берут на императорскую службу.

Начальник этого юноши, лично отвечавший за безопасность царя, погиб в самом начале мятежа, и мальчик сам назначил себя царским щитом: следуя за своим владыкой сквозь кровавые водовороты битвы, он защищал его своим оружием. И теперь он бросился вперед, чтобы поднять царя, поддержать... даже принести к той далекой двери, в которую вла-

дыка некогда шутки ради впустил жалкую нищенку. И никто с обеих сторон не посмел преградить им путь к башне в уже сгустившихся сумерках.

Но когда они добрались до двери, юноша понял, что царь умирает; у него уже не осталось сил, чтобы повернуть ключ в замке; царь смог приказать это лишь глазами. Но, оказавшись внутри, он встал на ноги и бросился вверх по лестнице с пылом юноши, стремящимся на свидание с возлюбленной.

Мальчик держался сзади, опасаясь места, которым его пугали с детства, этой густой тьмы. И все же забота о царе помогла ему одолеть ужас, и он стоял рядом со стариком, остановившимся на пороге опочивальни перед распахнутой дверью.

Нагини там не было. Мальчик торопливо зажег факелы на стене и увидел, что в покоях нет ничего, кроме теней, и сумрак припахивал жасмином и сандаловым деревом. Позади него царь отчетливо проговорил:

— Она не пришла.

Юноша не успел подхватить своего владыку, и, когда приподнял упавшего с пола, глаза его были открыты... Царь указал в сторону постели. Когда мальчик уложил его и как умел перевязал многочисленные раны, царь поманил его к себе и прошептал:

— Следи за ночью. Следи вместе со мной. — Это была не просьба, а приказ.

Мальчик просидел всю ночь на огромной постели, где царь и царица Камбуджи проводили свои счастливые часы, и так и не заметил, когда его властелин скончался. Юноша с трудом отгонял сон: после дневных сражений с царскими врагами он не просто устал, но и сам страдал от раны, а потому засыпал, просыпался и задремывал снова. В последний раз он пробудился, когда факелы разом погасли, гулко хлопнув, словно парус корабля, разорвавшийся на ветру, и до него донесся иной звук, тяжелый и неторопливый, словно бы какая-то грубая холодная стопа шагнула на равнодушную мраморную плиту. И в последних лучах луны он увидел нагиню: огромное тело черно-зеленым дымком наполнило комнату. Семь голов кобры единым движением покачивались наверху, окруженные легким мерцанием, словно бы она ко-

лебалась между двумя мирами с изяществом, которое он не мог постичь. Она оказалась возле постели, тут юноша заметил и на ее теле свежие кровоточащие раны (позже он уверял, что кровь нагини сверкала ярче солнца и на нее было больно смотреть). Он бросился в сторону и забился в угол, однако нагиня даже не взглянула на него. Она склонила все семь голов над лежащим царем, и капли ее пылающей крови, падая, смешивались с его кровью.

— Мой народ пытался остановить меня, — проговорила она. Мальчик не понял, все ли головы говорили, или только одна, но голос ее был многозвучен, словно музыкальный аккорд. — Они поведали мне, что сегодня настал день твоей смерти, предначертанный в начале времен, и я знала это, знала всегда, как и ты сам. Но я не могла позволить свершиться пусть и предопределенной судьбе. Я билась с ними и пришла к тебе. А этот юноша, прячущийся в тенях, споет о том, что мы не предали друг друга ни в жизни, ни в смерти.

И она назвала царя именем, которого не знал мальчик, и подняла его на кольца своего тела — так, как, по местным поверьям, наг Мугалинда поддерживает и этот мир, и грядущие миры.

А потом нагиня медленно растворилась во тьме, оставив после себя лишь запах жасмина, сандала и музыкальные отголоски всех своих голосов. И что сталось с нею и останками царя Камбуджи, мне неведомо.

Эта история позволяет усомниться не в существовании нагов, подтвержденном многими свидетельствами (тем более что положительные доказательства их небытия отсутствуют), но в их отношении к людям, открытом для всяких сомнений. Но пусть все останется так — в память о мальчике, дожидавшемся рассвета в безмолвной золотой башне, прежде чем он осмелился выйти к воплям коршунов и плачу скорбящих, чтобы сообщить людям Камбуджи о том, что царь их скончался и исчез. Один из потомков мальчика, торговец, и рассказал мне сию повесть.

И если в ней можно отыскать смысл, поддающийся толкованию, я вижу его, быть может, в том, что скорбь и голод, любовь и жалость глубже пронизывают наш мир, чем мы

считаем. Они текут подземными реками, которых не переплыть даже нагам; они несут дождь, что обновляет нас, кто выказал должное почтение нагам или кому-то другому. И если вообразить, что не существует богов, что не существует ни просветления, ни души, все равно останутся эти четыре реки — скорбь и голод, любовь и жалость. И мы, люди, можем долго влачить свою жизнь — без еды, лекарств или одежды, — но смерть будет скорой... когда не приходит такой дождь.

Песня трактирщика

Падме Хеймади отныне и навеки.
Даже если бы мы были просто друзьями, коллегами,
увлеченными общим делом, общим языком,
страной, нарисованной на ресторанных салфетках,
мне было бы довольно и этого, дайену.
Но теперь, когда мы поженились, — я воистину счастлив.

Три дамы однажды явились ко мне:
Одна была смуглой, как хлеб на столе,
Другая, с моряцкой ухваткой, черна,
А третья бледна, как дневная луна.

Белянка с колечком на пальце была,
Смуглянка лису на цепочке вела,
А черная в розовой трости резной —
Сам видел! — скрывала клинок дорогой.

В спальне моей затворились втроем,
Песни горланили бог весть о чем,
Всю снедь истребили, распили вино,
И конюха кликнули заодно.

Поплакали дважды, поссорились раз,
Их смех над округой звенел и не гас,
Дрожал потолок, штукатурка летела,
А рыжая тварь голубей моих съела.

С рассветом три дамы уехали прочь,
Монахиней — та, что чернее, чем ночь,
Царицею — бледная, третья — ликуя,
А конюху нынче замену ищу я[1]*!*

Пролог

В одной южной стране была некогда деревня на берегу реки. Люди, что жили в деревне, сеяли зерно, сажали картошку и капусту — особенную, сине-зеленую, — и лозу, приносившую желтовато-коричневые плоды, не слишком аппетитные на вид, но очень вкусные. В дождливый сезон все крыши в деревне протекали — одни меньше, другие сильнее. Коровы и свиньи там были жирные, а вот детишки — тощие, но никто особо не голодал. В деревне был свой пекарь и свой мельник, что очень удобно, и две церкви разных толков, а это говорит о том, что у селян оставалось достаточно свободного времени, чтобы задумываться о вере. А еще в тех краях росло особое дерево, которое нигде больше не встречается.

[1] Перевод при участии С.Лихачевой.

Кора этого дерева, заваренная с чаем, унимает лихорадку, а если растереть ее в порошок, получается краска, зеленая, как сумрак лесной чащи.

Жили в деревне двое детей, мальчик и девочка. Они родились в один день, с разницей в несколько часов, выросли вместе и с детства любили друг друга. И вот весной того года, когда им должно было исполниться восемнадцать лет, собрались они пожениться. Но в тот год сезон дождей выдался долгий, весна припозднилась, и река даже покрылась льдом, а уж подобного не видывал никто, кроме самых ветхих старцев. Так что когда наконец потеплело, двое влюбленных вышли погулять и поднялись на маленький мостик у мельницы, где они не бывали больше полугода. Они жмурились под лучами яркого полуденного солнца и говорили о ткачестве — юноша был ткачом — и о том, кого не приглашать на свадьбу.

И случилось так, что девушка упала в реку. Она прислонилась к перилам моста, а перила прогнили за время зимних дождей и проломились, и девушка рухнула в воду. Она успела только набрать воздуху в грудь, а вскрикнуть уже не успела.

Немногие в деревне умели плавать, но юноша умел. Он прыгнул в реку прежде, чем голова девушки вновь показалась над водой, и на какое-то мгновение рука девушки обвила его шею, и их лица соприкоснулись в последний раз. Но тут упавшее сверху бревно разделило их, и когда юноша выбрался на берег, девушки нигде видно не было. Река поглотила ее так же легко, как мелкие камешки, которые они вместе швыряли с моста — тысячу лет тому назад.

Все жители деревни кинулись разыскивать утопленницу. Мужчины спустили на воду долбленки и челноки и весь день шарили по дну шестами, скользя над рекой, точно огромные печальные стрекозы. Женщины бродили вдоль берега с рыбачьими неводами, а дети, кроме самых маленьких, шлепали по мелководью и напевали всем известные стишки, которые должны заставить мертвое тело всплыть. Но девушку так и не нашли. Когда спустилась ночь, люди разошлись по домам.

Юноша остался у реки. Он окаменел от горя — и потому не чувствовал холода, ослеп от слез — и потому не замечал, что уже темно. Он плакал, плакал, плакал — и наконец рыдания перешли в судорожные, жалобные всхлипывания.

В конце концов юноша заснул в жестких объятиях древесных корней — но и во сне продолжал всхлипывать. Юноша хотел умереть. И, быть может, к утру его желание исполнилось бы — ведь он лежал на холодном ветру, мокрый и беспомощный, как новорожденный младенец. Но взошла луна, и зазвучала песня.

И по сей день в этой деревне старики и старухи, чьи прадеды и прабабки в ту ночь еще лежали в колыбелях, рассказывают об этом так, словно слышали песню своими ушами. Не было в деревне ни одного человека, который не проснулся бы от этого пения, и каждый вышел на порог и застыл в изумлении — хотя немногие осмелились выйти за ворота. Но говорят, что всем, кто слышал ту песню, чудилось что-то свое. Как известно, первым пробудился сын сапожника. Ему со сна померещилось, что две шкуры болотных коз, которые отец накануне растянул и очистил от жира, поют скорбные и прекрасные колыбельные у себя в кожевенном сарае. Парень растолкал своего старика, который вскочил, клянясь, что слышит голоса покойной жены и брата — они стоят под окном и бранятся, как солдаты. На холме за околицей пробудился пастух — сперва ему почудился рев нападающего шекната, но потом он понял, что это овцы разбегаются, оглашая воздух насмешливым блеяньем. А пекаря разбудил вовсе не звук, а запах — нежный аромат, исходящий отнюдь не из его глинобитных печей. Кузнецу, который в ту ночь спать не ложился, померещилось, что ужасная Лунная Охота гонится за ним на своих конях со свиными рылами и зовет его голосами голодных младенцев. Ткачихе же, что обучала ремеслу несчастного молодого человека, приснился дивный узор, какого она прежде и представить себе не могла. Ткачиха встала во сне, села к станку и трудилась до рассвета, улыбаясь с закрытыми глазами. Рассказывают также, что дети, которые были еще слишком малы и не умели говорить, уселись в своих колыбельках и заплакали в тоске, восклицая что-то на неведомых языках; что юные доярки и девчонки, которые пасли гусей, побежали среди ночи в виноградник, откуда им послышались голоса их возлюбленных, каждой — свой; и что пустынная рыночная площадь наполнилась толпами неуклюжих седых барсуков, которые всю ночь водили хороводы, танцуя на задних лапах. В ту ночь на небе появились звезды,

каких потом никто больше не видывал, как известно всякому, кого там не было.

А юноша? А как же юноша, который плакал во сне на берегу холодной реки? А юношу разбудил смех его погибшей возлюбленной. Смех звучал так близко, что, когда юноша очнулся, щека его была еще теплой от дыхания девушки. И то, что он увидел, увидел он один, ибо никому другому не хватило глупости выйти к реке. А увидел он черную женщину верхом на коне. Конь стоял в реке, по бабки в бешеной талой воде, и коню это, как видно, не нравилось, но женщина удерживала его на месте без особых усилий. Юноша сидел достаточно близко, чтобы разглядеть, что одета женщина так, как одеваются свирепые люди с юго-западных гор: в рубаху и штаны из жесткой кожи, которую не всякий меч возьмет. Но оружия при ней не было — только тяжелая трость висела у луки седла. У женщины было широкое лицо с высокими скулами, сужающееся к подбородку, и глаза, золотые, как лунная дорожка на воде. Женщина пела. Это все, что о ней рассказывают. Но что именно пела та женщина и как звучал ее голос на самом деле, никто из жителей деревни сказать не решался. По крайней мере, из взрослых. Ребятишки же в тех краях во время игры и по сей день напевают стишки, которые зовутся «Песней черной женщины»; но родители дают им по шее, если услышат. Стишки эти звучат так:

Тьма ночная — стань днем,
Мертвый камень — стань огнем,
Гусеница — мотыльком,
Семя спящее — цветком,
Под землею иль во сне —
Встань, проснись, иди ко мне...

Чушь, конечно, но, быть может, не такая уж чушь: ведь юноша увидел, как вода, бурлящая возле копыт коня, сделалась вдруг спокойной и гладкой, словно сонный пруд в летнюю полночь, и посреди водной глади гигантской кувшинкой распустилась луна. И из этого лунного отражения поднялась его любимая, мертвая, утонувшая, и с волос девушки потоками стекала вода, и она смотрела на черную женщину огромными слепыми глазами, темными, как речное дно. И черная женщина, не переставая петь, наклонилась с седла, сняла с пальца кольцо и надела его на руку утопленнице. И тотчас глаза девушки ожили и наполнились изумлением.

Юноша узнал ее, окликнул — но она не отозвалась. Она протянула руки к черной женщине, и та подняла девушку и посадила на лошадь позади себя. Юноша звал, звал — в тех краях водится маленькая буро-зеленая пташка, которой дали его имя, потому что по ночам она жалобно кричит: «Лукасса! Лукасса!» — но девушка так и не обернулась. Только черная женщина внимательно посмотрела на него своими золотыми глазами, прежде чем повернуть коня и направить его к дальнему берегу. Юноша попытался броситься следом, но силы оставили его, и он упал, не добежав до воды. А когда он снова поднялся, то увидел лишь зеленую искорку — кольцо, блеснувшее на пальце его возлюбленной, — и услышал лишь удаляющиеся голоса двух женщин — теперь они пели вместе. Тут он снова рухнул наземь и пролежал так до рассвета.

Но он не спал и больше не плакал. А когда встало солнце и отогрело его застывшие руки и ноги, он сел, вытер грязь с лица и задумался. Он был еще дитя, и умел горевать безнадежно и неутолимо, как умеют лишь дети, — но в то же время обладал и упрямой находчивостью мальчишки, не желающего мириться с неизбежным. А потому вскоре он встал и медленно побрел в деревню, к той хижине, где он жил с дядей и тетей с тех пор, как его родители и младший брат умерли семь лет назад во время морового поветрия. Все еще спали. Юноша собрал все свое имущество — одеяло, лучшую рубашку, запасную пару башмаков и ножик, каким режут хлеб и сыр. Это было все, что он позволил себе взять. Юноша был честен, и горд к тому же, и никогда в жизни не взял бы у кого-то ничего сверх самого необходимого. Его девушка часто упрекала его за это, звала его упрямым, твердолобым, даже бессердечным — последнего юноша не понимал, — но таким уж он уродился, и таким он был в свои восемнадцать лет.

Тем тяжелее ему было украсть гнедую кобылку кузнеца — лучшую лошадь в деревне. Юноша оставил в ее стойле все деньги, что копил на свадьбу, и записку, и осторожно вывел лошадь на дорогу, ведущую к реке. Один раз он оглянулся и увидел дым, идущий из трубы домика, в котором жили два деревенских священника. Священники были неразлучными врагами и всегда вставали рано и первыми в деревне растапливали очаг, чтобы пораньше начать грызться. Так юноша на ворованной кобыле навсегда простился со своей родиной. Кстати, юношу звали Тикатом.

КОНЮХ

Я увидел их первым — быть может, самым первым из всех, кто живет в наших краях. Конечно, первой могла бы быть Маринеша, но она убежала в лес прежде, чем я успел извиниться. Я никогда не знал, как правильно вести себя с Маринешей. А может, с ней вообще невозможно вести себя правильно. Интересно, смог бы я когда-нибудь этому научиться?

Конечно, мне совершенно незачем было находиться на дороге в этот час. Время позднее, солнце село, и пора устраивать лошадей на ночь. Надо отдать должное старому Каршу: никто не скажет, что он жестоко обращался с животными. Я спокойно доверил бы ему самую лучшую, самую пугливую лошадь или старую, слепую, бесполезную, но преданную собаку. Но ребенка — никогда. Меня, насколько мне известно, зовут Россет. На нашем языке это значит «довесок» — нечто не совсем бесполезное, мелочь, полученная в придачу к основному товару — чаще гнилому. Это Карш меня так назвал.

Опять же, Маринеша... «Маринеша» значит «утренний аромат», и меня целый день тянуло к этому аромату, несмотря на то что у нас обоих работы было по горло. Надо признаться, что я непрерывно дразнил и изводил ее, но в конце концов она почти что согласилась встретиться со мной после вечерней дойки под пчелиным деревом. Никаких пчел там сейчас нет — они давно отроились и улетели, — но Маринеша по-прежнему зовет то дерево «пчелиным». Это ужасно трогательно — так же, как волосы Маринеши, зачесанные со лба назад.

Ну так вот. Я только погладил эти волосы — честное слово! Я не успел даже произнести первую неуклюжую ложь (по правде говоря, я просто не думал, что она придет: прежде она тоже не раз обещала прийти и не приходила), как вдруг

Маринеша снова убежала, порхая меж деревьев, точно мотылек, и лишь ее слезы остались у меня на ладонях. Сперва я рассердился, потом испугался: пробраться в трактир прежде, чем Карш заметит, что меня нету, нечего было и надеяться. Конечно, большая часть его тумаков попадает мимо, но зато те, которые попадают, — ох увесисты! Вот так и вышло, что я стоял на дороге и мучительно пытался сочинить какую-нибудь байку, которой Карш, может быть, поверит, если будет в подходящем настроении, — и вдруг услышал топот трех лошадей.

Они выехали из-за поворота у ручейка, из которого никто никогда не пьет. Три женщины, едущие бок о бок. Одна черная, другая смуглая, как Маринеша, — хотя далеко не такая хорошенькая, — а третья такая бледная, что назвать ее «белой» значит ничего не сказать. Лилии, трупы, привидения — если их можно назвать белыми, значит, для кожи той женщины придется подобрать другое слово. Я стоял на дороге, разинув рот, смотрел на нее, и мне казалось, что она светится изнутри, что в ней бьется какая-то иная жизнь, яростная и яркая, и этой жизни нет никакого дела до плоти, в которую она заключена. Ее лошадь боялась своей всадницы.

Черная женщина ехала чуть впереди. Поравнявшись со мной, она натянула повод и остановилась, пристально глядя на меня большими, удлиненными глазами. Можете представить себе золотой дым? Вот такие глаза были у той женщины. Ну, а я — я стоял, как дурак, не в силах даже подобрать упавшую челюсть. Теперь-то я знаю, что в других краях — другие обычаи, но там, где я родился и вырос, женщины никогда не ездят одни, сколько бы их ни было. К тому же Лал — потом я узнал ее полное имя, но так и не научился выговаривать его как следует, — Лал была первой черной женщиной, которую я увидел. Черных мужчин я видел не раз — странствующих торговцев и иногда бродячих поэтов, слагающих стихи на рынке за кусок хлеба, — но женщин ни разу. До тех пор я, как и многие, думал, что черных женщин вообще не бывает.

— Да озарит солнце твой путь! — наконец выдавил я. Голос у меня переломался еще несколько лет назад, но в тот момент я говорил писклявым мальчишеским фальцетом.

— И твой также, — ответила женщина. До сих пор стыдно, но надо честно признаться, что у меня снова отвалилась

челюсть: я не ожидал, что она заговорит на моем языке. Если бы она залаяла, захлопала в ладоши или закричала коршуном, я и то удивился бы меньше. А она продолжала: — Мальчик, не найдется ли в здешних краях чего-нибудь вроде трактира или гостиницы?

Ее голос был низким и хрипловатым, но при этом вздымался и опадал, точно волны, набегающие на берег.

— Трактира? — пробормотал я. — А... э-э... А, в смысле, трактира?

Лал потом говорила, она поначалу решила, что их капризная удача подсунула им дурачка с кочерыжкой вместо головы.

— Ага, — сказал я, — у нас есть... в смысле, трактир тут есть неподалеку. В смысле, я там работаю. Я конюх, Россет. Это меня так зовут.

Язык у меня во рту сделался толстым и неповоротливым, точно попона, и я дважды прикусил его, пока все это выговаривал.

— А комната там найдется? Для нас?

Женщина по очереди указала на своих спутниц и на себя, стараясь говорить медленно и внятно, как и положено говорить с дурачком.

— Да, — сказал я. — О да, конечно. Комнат у нас полно — дела идут не блестяще, — Карш меня убил бы, если бы услышал такое, — и свободных стойл полно, и теплой сечки...

Тут я увидел, как сумка смуглой женщины зашевелилась, задергалась и приоткрылась, в точности как мой рот, — и я еще несколько раз повторил «теплой сечки...»

Сперва наружу высунулся черный нос, принюхивающийся к ветру, а потом и вся ухмыляющаяся мордочка с буровато-рыжей маской и ушами, острыми, как наконечник стрелы. Горло и грудка — светло-золотистые, а плечи — дальше он вылезать пока не стал — чуть темнее морды. Играющие под кожей мышцы заставляли мех переливаться, как бархат. Мне не раз случалось видеть лис — по большей части в ловушках, мертвыми, — но я еще ни разу не видел, чтобы лиса ездила в седельной сумке, точно бойцовый петух или охотничий шукри. И уж точно никогда не встречал я лисы, которая смотрела бы на меня так, словно знает мое имя — мое истинное имя, которого я и сам не знаю.

— Карш... — сказал я. — Хозяин. Карш не разрешит...

— Мы поедем и посмотрим, насколько плохи у вас дела, — сказала черная женщина. Она махнула мне рукой, чтобы я сел на лошадь позади кого-нибудь из ее спутниц, и улыбнулась, видя, что я по-прежнему стою как вкопанный. Мне впервые сделалось страшно — и жарко от стыда за свой глупый страх. Но я не собирался ехать на одной лошади с лисой, а подойти к той белой, пылающей женщине я бы просто не решился. Лал улыбнулась еще шире, отчего уголки ее глаз приподнялись кверху.

— Ну, тогда поезжай со мной, — сказала она. И я вскарабкался на лошадь позади нее, цепляясь так отчаянно, точно отродясь не ездил верхом. От ее кожаной одежды пахло морем и конским потом, но за этими запахами чувствовался собственный аромат Лал.

— Три мили до перекрестка, и еще миля на запад, — сказал я и до конца этого дня забыл о Маринеше.

ТРАКТИРЩИК

Меня зовут Карш. Я человек не злой.

Особенно добрым меня тоже не назовешь, но зато я довольно честен в том, что касается до моего ремесла. Не назовешь меня и храбрым — был бы я храбрым, сделался бы солдатом каким-нибудь или моряком. А если бы я мог писать песни вроде той чепухи про трех дам, в которую кто-то догадался вставить и меня, — ну, тогда бы я сделался песенником, бардом, потому как ни к чему другому пригоден бы не был. Но я пригоден именно для того, чем я живу. Вот такой я и есть. Карш-трактирщик. Толстый Карш.

Теперь, после того как тут побывали эти женщины, про меня рассказывают всякие небылицы. Все из-за этой песни. Теперь я сделался таинственным человеком ниоткуда. Про меня говорят, будто я и в самом деле был солдатом, много бродил по свету, навидался всяких ужасов и сам творил всякие ужасы, а потом изменил имя и всю свою жизнь, чтобы спрятаться от прошлого. Чушь собачья. Я — Карш-трактирщик, и отец мой был трактирщиком, и отец моего отца тоже, и единственный край, где я бывал, кроме здешних мест, —

это пахотные земли вокруг Шаран-Зека, где я и родился. Но теперь я живу тут, уже больше сорока лет, и тридцать из них владею «Серпом и тесаком». И ведь все они это прекрасно знают! Чушь собачья.

Парень притащил сюда этих женщин, разумеется, из чистой вредности. Или просто понадеялся, что я из-за них не обращу внимания на то, что он удрал к Маринеше, у которой мозгов, как у мотылька. Он ведь умеет чуять неладное — хоть это-то он от меня перенял, — и наверняка сразу понял, что эти три женщины — не те, кем кажутся. И знает ведь, что я не желаю связываться с таким народом, пусть даже они заплатят вдвое! Мало мне возни с крестьянами, которые напиваются у нас по дороге на ярмарку в Лимсатти? Ну что ему стоило отправить их в монастырь в семи милях к востоку отсюда? Тамошние монахини зовутся «Сумеречными сестрицами». Так нет же, надо было притащить их сюда, в мой трактир, с лисой и со всем прочим. Лиса, опять же. Тоже в песню попала, подлая тварь!

Когда они въехали во двор, я как раз мыл стаканы и тарелки — больше это дело доверить было некому. Вышел во двор, разглядел их как следует и сразу сказал:

— Извините, у нас все забито — и конюшни, и комнаты.

Как я уже сказал, я человек не храбрый и не слишком жадный. Я просто всю свою жизнь держал дом для путников.

Черная улыбнулась мне и говорит:

— А нам сказали, что места есть!

Мне уже приходилось слышать такой выговор, много лет тому назад. Два океана лежат между страной, где люди говорят так, и моим порогом. Парень соскользнул с седла, стараясь спрятаться от меня за лошадью — еще бы! А черная женщина добавила:

— Нам нужна всего одна комната. Деньги у нас есть.

В этом-то я не сомневался, хотя все три женщины выглядели порядком помятыми и запыленными с дороги. Хороший трактирщик видит такое с первого взгляда — так же, как он видит неприятности, когда те являются к нему в трактир и просят разрешения ночевать под его кровом и есть его баранину. К тому же парень выставил меня лжецом, а я человек упрямый. Поэтому я сказал:

— Да, свободные комнаты у нас есть, но они вам не по-

дойдут — у них стены отсырели во время зимних дождей. Попробуйте попроситься в монастырь — а не то поезжайте в город, там целый десяток трактиров, выбирай любой.

Неважно, что вы обо мне подумаете, слыша такое, — я правильно делал, что врал, и теперь я снова поступил бы так же.

Только теперь я был бы настойчивее. Черная женщина по-прежнему улыбалась, но при этом как бы нечаянно поигрывала тростью, привязанной поперек седла. Трость была розового дерева, очень красивая — у нас, в наших краях, таких не делают. Резная рукоять повернулась на четверть оборота, и мне весело подмигнула четверть дюйма холодной стали. Женщина, не отводя глаз, сказала только:

— Нам сойдет любая комната.

Ну скажите, разве не прав я был? Но клинок, спрятанный в трости, решил дело. Конечно, я уступил не сразу — надо же было сохранить лицо! Впрочем, вам этого не понять.

— Наша конюшня и для шекната не годится, — сказал я. — Кровля течет, солома сырая. Мне неудобно будет держать таких славных лошадок, как ваши, в этакой развалине.

Что она ответила, я не помню — впрочем, это и неважно, — во-первых, потому что я пристально глядел на парня, как бы говоря: «Только попробуй возразить!», а во-вторых, потому что в это время из сумки смуглой женщины выбралась лиса, спрыгнула наземь и помчалась куда глаза глядят, ухватив по дороге курицу-наседку. Я заорал, бестолковые собаки и слуги бросились в погоню, и конюх — впереди всех, словно это не он привез сюда эту подлую тварь, чтобы она душила моих кур. Подняли тучи пыли, устроили переполох — и все без толку. Помнится, лошадь бледной женщины едва не сбросила свою хозяйку.

Ну, надо признать, у парня хватило духу вернуться. Смуглая сказала:

— Извините за курицу. Я вам заплачу.

Голос у нее был более высокий, чем у черной, более ровный, плавный и как бы виляющий из стороны в сторону. С юга. Но родилась не там.

— Еще бы вы мне не заплатили! — сказал я. — Курица была молодая, хорошая, на любом рынке за нее дали бы не меньше двадцати медяков.

На треть прибавил, конечно, но без этого никак — иначе

не заставишь людей уважать твое имущество. К тому же я надеялся таким способом покончить с этим делом.

— Еще раз увижу эту лису — убью! — сказал я смуглой. — Мне все равно, ручная она или нет. Курица тоже была ручная.

Ну, по крайней мере, Маринеша ее очень любила, эту курицу. И мозгов у обеих было поровну.

Смуглая женщина возмутилась и рассердилась, и я уже надеялся, что сейчас они швырнут эти медяки мне в лицо и уедут вместе со всеми опасностями, которые привезли с собой. Но черная сказала, по-прежнему поигрывая тростью, на которую так ни разу и не взглянула:

— Вы ее больше не увидите, обещаю. Показывайте вашу комнату.

Ну что ж, делать нечего. Конюх увел лошадей, мой привратник Гатти-Джинни — Гатти Молочный Глаз, как кличут его ребятишки, — взял вещи, какие у них были, и я повел их на второй этаж, в комнату, где у меня обычно живут кожевенники и меховщики. Впрочем, я уже понял, что этот номер не пройдет — и, как только черная вскинула брови, я отвел их прямиком в комнату, где эта, как ее, из Тазинары, целых полгода занималась своим ремеслом. Тут главное контраст, понимаете? Большинству людей, после того, как им покажешь первую, вторая кажется роскошной. Поклянитесь вашими богами, что вы в своем ремесле не употребляете подобных уловок, и я угощу вас бесплатным обедом, идет?

Ну так вот, черная и смуглая оглядели комнату и обернулись ко мне. Но что они собирались сказать, я так и не узнал, потому как тут на меня набросилась бледная — в самом деле набросилась, понимаете? Как лиса на ту курицу. С тех пор, как они приехали, бледная не сказала ни слова — только когда успокаивала свою пугливую лошадь. И до тех пор я не мог бы сказать о ней ничего, кроме того, что на ней было кольцо с изумрудом, и на лошади она сидела так, словно ей привычнее ездить без седла на деревенской кляче. Но тут она очутилась в одном шаге от меня — быстрее, чем лиса, лису я хоть успел заметить, как она прыгнула, — и шепот ее звучал, словно треск пламени:

— В этой комнате — смерть, смерть, и безумие, и снова смерть. Как смеешь ты заставлять нас ночевать здесь?

Глаза у нее были карие, цвета глины, простые крестьянские глаза, такие же, как у моей матери, и как множество других глаз, которые мне пришлось повидать на своем веку. Но на этом бледном, светящемся лице они выглядели странно и жутко.

Безумная. Безумная, как дюрли в брачный сезон. Не могу сказать, что я ее испугался по-настоящему — но я испугался того, что эта девчонка знает. Откуда ей знать такое? Когда я купил «Серп и тесак», трактир пользовался дурной славой из-за убийства, которое произошло в этой комнате, — и еще одного убийства в винном погребе, кстати. И еще одно дурное дело приключилось, когда в этой комнате жила та женщина из Тазинары. Один из ее клиентов, молодой солдатик, сошел с ума — а по мне, так он уже был сумасшедшим, когда приехал сюда, — и попытался пристрелить ее из самострела. Промахнулся, хотя стрелял в упор, выскочил в окно и сломал свою дурацкую шею. Ну да, конечно, вы эту историю тоже знаете — ее знают в трех соседних округах, а то с чего бы толстый Карш купил этот трактир так дешево? — но ведь эта-то бледная девица приехала с юга, может, из Граннаха, а может, и еще откуда, и уж, во всяком случае, с чего ей было знать, в какой именно комнате это приключилось? Комнату-то она знать никак не могла...

— Это давно было, — сказал я ей. — С тех пор весь трактир освятили, очистили и еще раз освятили.

Сказал я это без особого почтения к святости. Сколько денег с меня содрали эти визгливые, завывающие священники! Мне понадобилось добрых два года, чтобы избавиться от вони их назойливых божков, которой пропитались все занавески и покрывала. Будь у меня ума побольше, чем у клопа, я мог бы тут же спровадить этих женщин, разыграв обиду и негодование — но нет. Я же говорю, я человек упрямый. Временами это мне дорого обходится. Я им сказал:

— Ну, если вам угодно, можете поселиться в моей собственной комнате. Я вижу, вы дамы тонкие, привыкли требовать лучшее, что есть в гостинице, и высокая плата вас не пугает. А я и здесь поживу — мне не впервой.

Это я, конечно, перегнул — эту комнату я и сам не люблю, и предпочел бы спать на картошке или на дровах. Но

сказанного не воротишь. Бледная хотела было сказать что-то еще, но смуглая мягко коснулась ее руки, а черная сказала:

— Да, это нас устроит.

Когда я посмотрел ей за спину, я увидел в дверях конюха. Он стоял, разинув рот, точно птенец. Я запустил в него свечным огарком — попал, кстати, — и прогнал вниз.

ТИКАТ

На девятый день я начал страдать от голода.

Я взял с собой слишком мало еды. А как же иначе? Я ведь думал, что догоню их в первый же день на закате и заставлю черную женщину вернуть мне мою Лукассу. До сих пор удивляюсь, что догадался захватить с собой одеяло. Но это я собирался укрывать Лукассу от холода, когда мы вместе поедем домой. «Она так долго пролежала на дне, должно быть, промерзла до костей, бедняжка!» Это все, о чем я мог думать в течение девяти дней.

Конечно, теперь-то я знаю, что даже если бы я украл дюжину лошадей — хотя столько у нас в деревне и не было, — и всех их нагрузил едой, водой и одеждой, разницы не было бы никакой. Ведь я так и не догнал их. Я все время отставал от них не меньше чем на полдня, хотя моя отважная кобылка надорвалась, пытаясь наверстать разницу. Я лишь изредка видел их на горизонте — крошечных, с палец величиной, расплывчатых, как дым из труб тех деревень, которые они проезжали, не останавливаясь. Время от времени мне попадались угли костра — тщательно затоптанные, — так что, видимо, иногда они все же останавливались на ночлег, но отдыхал я или скакал всю ночь напролет, на рассвете их нигде не было видно. Лишь к полудню я временами замечал мимолетное движение на вершине дальнего холма, легкую тень меж скал, такую далекую, что она казалась ручьем, текущим через дорогу. Никогда еще я не чувствовал себя таким одиноким.

Однако голод хорош тем, что заставляет забыть об одиночестве и печали. Поначалу очень больно, но через некоторое время начинаются сны. И сны эти были хорошие — быть может, самые приятные, какие я когда-либо видел. И вовсе

не все они были о пище и питье, как вы могли бы подумать. По большей части мне снилось, что я уже старый и живу в своем доме, со своей возлюбленной и с детьми, и что когда перила проломились под ней, я так крепко обхватил ее за талию, что след от моей руки остался до сих пор, хотя прошло уже много-много лет. Еще мне снился отец, и учитель, который учил и моего отца тоже. Мне снилось, что я еще маленький, сижу на куче стружек и опилок и играю с дохлой мышью. Это были приятные сны, один лучше другого, и чем дальше, тем меньше мне хотелось просыпаться.

Не помню, когда я впервые заметил следы второй лошади. Земля была жесткая и каменистая, и чем дальше, тем хуже. Иногда мне за целый день не попадалось никаких следов, кроме пары царапин от подков на сдвинутых с места камешках. Но, должно быть, это было уже после того, как начались сны, потому что я рассмеялся и радостно вскрикнул: наконец-то у Лукассы есть своя лошадь! Когда мы были еще маленькие, Лукасса заставила меня пообещать, что когда-нибудь я куплю ей настоящую дамскую лошадь — не деревенскую клячу, которая ничем не лучше вола, а изящное, грациозное создание. Конечно, такая лошадь мне тогда и во сне не снилась, и к тому же для нашей совместной жизни она была бы бесполезна, как ожерелье на свинье. Но я дал Лукассе слово, что куплю ей такую лошадь. Эта просьба казалась мне такой пустяковой — ведь я готов был вырвать себе глаза, если бы она попросила. Нам тогда было лет по семь или по восемь — и мы уже любили друг друга.

Будь я в здравом уме, я бы прежде всего задумался, откуда в этом пустынном краю взялась вторая лошадь, и кто на ней едет — Лукасса или кто другой. Наверное, той, которая песней подняла мою девушку со дна речного, ничего не стоило создать лошадь из воздуха, но зачем делать это именно теперь, когда до сих пор они ехали на одной лошади, и эта лошадь, по всей видимости, не ведала усталости? Но к тому времени я чаще шел пешком, чем ехал верхом, цепляясь за поникшую голову своей кобылы и умоляя ее не умирать, пожить еще чуть-чуть — хотя бы полдня, хотя бы полмили... Неизвестно, кто из нас кого тащил. Я, во всяком случае, не помню. Я плыл по воздуху и смеялся над шуточками, услышанными от придорожных камней. Временами кругом бро-

дили звери: огромные белесые змеи, дети с птичьими лицами, — временами они исчезали. Иногда, когда черная женщина не видела, Лукасса ехала у меня на плечах.

На одиннадцатый день — а может, на двенадцатый или на пятнадцатый, — моя кобыла пала подо мной. Я почувствовал, что она умирает, и успел спрыгнуть в сторону, чтобы меня не придавило. Я похоронил бы ее, если бы хватило сил, но сил у меня не было. Я попытался съесть ее, но так ослабел, что не сумел даже прорезать шкуру. Тогда я поблагодарил кобылу и попросил у нее прощения. Первую птицу, которая прилетела ее клевать, я поймал и придушил. У птицы был вкус кровавой пыли, но я сидел рядом с лошадью и грыз птицу, жадно урча, на виду у других стервятников. Поэтому стервятники на время оставили лошадь в покое, и даже после того, как я пошел дальше, не сразу решились спуститься к ней.

Птицы мне хватило, чтобы продержаться еще два дня. Поев, я пришел в себя достаточно, чтобы понять, где я нахожусь. Это были Северные пустоши. Не совсем пустыня, но ненамного лучше. Во все стороны, насколько хватает глаз, земля разбита на куски, изломанные, растрескавшиеся, стоящие дыбом. Тут путь преграждает россыпь валунов, самый маленький из которых выше всадника на лошади, там — речное русло, пересохшее так давно, что дно успело порасти чахлыми корявыми деревцами, а дальше возвышается нечто вроде горы, разрытой и разметанной чьими-то гигантскими когтями. Дорог там нет — даже самой обыкновенной тележной колеи не сыщешь. Человек в своем уме пробирается через эти места, моля всех богов, чтобы не сломать ногу или не сгинуть в какой-нибудь яме. А я обезумел от голода, и потому бесстрашно шагал напрямик, распевая песенки. Мне снилась моя смерть, и она хранила меня.

Однажды мне приснился старик. У старика были блестящие серые глаза и белые усы, загибающиеся книзу у уголков рта. Одет он был в вылинявшую красную куртку вроде солдатской. Во сне он скакал на вороном коне, пригнувшись к самой гриве, и я расслышал, как он что-то шепчет коню на ухо. Когда они проносились мимо, старик оглянулся и посмотрел прямо мне в лицо. В глазах старика играл смех, какого я никогда не видел и, наверно, никогда больше не увижу. Этот смех пробудил меня, заставил вновь ощутить

боль и ужас, понять, что я должен умереть здесь, на Пустошах, один, без Лукассы. И я упал и закричал, зовя старика, и кричал до тех пор, пока не заснул, прямо на четвереньках, как младенец. Мне приснилось, что мимо промчались другие лошади, на которых ехали огромные псы.

Когда я снова очнулся, солнце уже садилось. По небу ползли пухлые мягкие облака. Поднялся легкий ветер. Я почуял приближающийся дождь, и это придало мне сил. Я встал и пошел дальше. Вскоре я вышел к месту, где земля уходила вниз. Не то чтобы долина — просто огромная яма, на дне которой виднелась лужа стоялой воды. В яме я увидел тех псов. Они настигли свою добычу.

Их было четверо. Милдаси, судя по кинжалам и коротко подстриженным волосам. До того мне только дважды случалось видеть милдаси. Они редко появляются на юге, и это хорошо. Они окружили старика в красной куртке и жестоко избивали его, перекидывая друг другу, до тех пор, пока глаза у него не закатились и он не упал. Старик сжался в комок, и они принялись пинать его ногами, точно какой-то растрепанный мяч, ругаясь и крича, что дальше будет хуже, потому что безумца, который осмелился украсть лошадь у милдаси, ждут самые страшные муки. Не то чтобы я понимал их язык, но жесты их были достаточно красноречивы. Лошадь, о которой шла речь, стояла неподалеку с болтающимися поводьями и щипала чертополох, растущий среди камней. Это был лохматый вороной конек, невысокий, почти пони, из той породы, которую милдаси, по их словам, разводят уже тысячу лет. Эти лошади едят все, что растет, и при этом скачут, как ветер.

Меня милдаси не видели. Я спрятался за скалой и прислонился к ней, пытаясь что-нибудь придумать. Мне было жаль старика, но жалость моя была такой же спокойной и отстраненной, как и все прочие чувства — даже голод, даже сознание того, что я умираю. Но моя лошадь пала, а поблизости были еще четыре лошади милдаси. Они стояли неспутанными, как и та. И я знал, что мне нужна одна из этих лошадей, потому что мне надо куда-то добраться. Куда именно и зачем — я не помнил, но это было очень важно, гораздо важнее голода и смерти. И потому я тщательно обдумывал то, что надо сделать, глядя на милдаси, старика и заходящее солнце.

Я знаю о милдаси немногим больше того, что известно всем. Эти кочевники живут на Пустошах и время от времени совершают набеги на соседние земли. Они никогда не сдаются и дорожат своими конями больше, чем собственной головой. Сверх этого мне известно только то, что рассказывал дядя Виан. Дядя в молодости путешествовал с караванами. Он говорил, что милдаси по-своему очень религиозный народ. Они считают солнце богом и думают, что утром оно не вернется, если не улестить его кровавой жертвой. Обычно они приносят в жертву одно из животных, которых разводят нарочно для этой цели, но богу куда больше нравится кровь человеческая, и они стараются по возможности угощать его ею. Если дядя говорил правду, они должны убить старика, как только солнце коснется дальних гор. Я скользнул вдоль скалы — медленно, точно тень, растущая на закате.

Кони смотрели на меня, но не издали ни звука, даже когда я подошел вплотную. Я с лошадьми не очень умею обращаться. Должно быть, это мое безумие заставило их признать меня за своего — почти за родича. Дядя Виан говорил, что лошади милдаси — как собаки: преданные и временами свирепые, и напугать их не так-то просто. Мне хотелось помолиться, чтобы в этом дядя ошибся, но молиться было некогда. Милдаси стояли ко мне спиной и готовились к жертвоприношению. Они уже не били старика и даже не издевались над ним — они были серьезны, как священники в нашей деревне, когда благословляют младенца или молятся о дожде. Сперва они намазали ему щеки чем-то желтым, а потом пальцами начертили какие-то знаки, очень бережно. Губы ему вычернили каким-то другим снадобьем. Старик стоял совершенно неподвижно, молчал и не сопротивлялся. Один из милдаси запел пронзительную, жалобную песнь, и голос его дрожал, словно это его собирались убить. Напев был заунывный и однообразный, повторяющийся снова и снова. Когда кочевник умолк, наступила тишина — лишь ветер, прилетевший от заката, с дальних вершин, чуть слышно шелестел над камнями.

Затем тот милдаси, что пел, взял у другого длинный нож. Он показал нож старику и заставил внимательно разглядеть его, указывая поочередно на лезвие, на рукоятку, и снова на лезвие, как моя наставница, когда она пыталась объяснить

мне душу узора. Я узнал бы этот нож, если бы увидел его снова.

Конь, которого я выбрал много часов, много дней назад, был серый, как кролик. Он позволил мне прикоснуться к себе. Милдаси снова запел, а я вскочил на коня и принялся кричать и махать руками, чтобы напугать остальных. Кони, похоже, удивились и были несколько разочарованы мною. Они переминались с ноги на ногу и вопросительно посматривали на своих хозяев, которые лишь теперь обернулись и уставились на меня, изумленные не меньше своих лошадей. Однако двое уже вытащили свои метательные топоры. Дядя Виан говорит, что они таким топором могут сбить на лету ночную птицу.

Вороной внезапно все же решил испугаться. Он вздыбился, заржал и метнулся в сторону, сбив с ног поющего милдаси и затоптав человека с ножом, который бросился ему на помощь. Двое других попытались поймать его за повод, но вороной промчался мимо них, ища защиты у своих товарищей. Но теперь и прочие кони заразились паникой, точно к вороному был привязан факел, подпаливший им хвосты. Мой серый — с того дня я звал его Кроликом — взлетел в воздух, оттолкнувшись всеми четырьмя ногами, и, как я ни старался его удержать, помчался прямо на двоих милдаси, которые размахивали топорами, обагренными лучами заходящего солнца. Я распластался на шее Кролика, вцепившись в него, как цеплялся за Лукассу в воде. Старика нигде не было видно.

Один топор просвистел у меня перед носом, но вреда не причинил — только срезал клок серой гривы. Второго я так и не увидел, но бедный Кролик душераздирающе взвизгнул, свернул и понесся в другую сторону, как делают настоящие кролики. Кончик его правого уха исчез, и кровь струилась мне на руку.

Один раз я оглянулся и увидел, как все четверо милдаси — один из которых хромал — ловят своих лошадей. А лошади не спешили успокаиваться. Но тут одна рука вцепилась в мое седло, другая ухватила меня за пояс, кто-то крякнул, я едва не вылетел из седла — и позади меня на лошади оказался старик. Старик хохотал, точно ветер.

— Гони, парень! — тявкнул он мне в самое ухо. — Гони во весь дух!

Я почувствовал, как он обернулся.

— Дураки! — крикнул он милдаси. — Глупые мальчишки! Неужто вы думали, что сможете убить меня? Да я просто играл с вами! А вы уж решили...

Тут Кролик перемахнул узкий овражек, и старик охнул и вцепился в меня, так и не закончив своей похвальбы. Оно и к лучшему. Может, если он будет молчать, мне удастся сделать вид, что его тут нет.

Но старик не желал молчать дольше пяти минут кряду. Он то распространялся о глупости милдаси и о том, как ловко он от них удрал, то требовал ехать быстрее, чтобы оторваться от погони. Разговаривать с ним мне не хотелось. Я пробормотал, что уже темно, и надо быть осторожнее. Старик только презрительно фыркнул.

— Да у них глаза на копытах, у этих милдасийских тварей! Он будет скакать всю ночь напролет и ни разу не споткнется. И те тоже.

От его пронзительного голоса у меня заболела голова. К тому же, что бы он ни говорил, пахло от него страхом.

Милдаси так и не поймали нас. Я даже не знаю, гнались ли они за нами вообще. Я не обращал внимания ни на признаки погони, ни на тявканье старика — я думал лишь о том, чтобы удержаться в седле, и судорожно пытался вспомнить, зачем это все. Быть может, мы по-прежнему ехали следом за Лукассой и черной женщиной — а может быть, сделали круг и скакали в обратную сторону. Я ничего не видел, ничего не чувствовал — я мог лишь держаться в седле. И не думал ни о чем другом.

Старик меня спас, это бесспорно. Это он поддерживал меня, когда я уснул и начал сползать вбок, это он всю ночь направлял Кролика в нужную сторону, и наверняка всю ночь болтал у меня над ухом, не заботясь о том, слушаю я или нет. Той ночи я не помню совсем — ни снов, ничего. Помню только, что проснулся я на склоне холма, закутанный в красную куртку старика. Солнце стояло высоко и било мне в глаза, а Кролик тыкался мордой в мою руку, выковыривая из-под нее какой-то колючий кустик. Старик исчез.

На шее Кролика висел мех с водой. Я попил воды — не

очень много. Я был ужасно слаб, но безумие, похоже, оставило меня. Утреннее небо было бледным, почти белым, и с дальних вершин долетал запах снега. Я прислонился к Кролику, глядя на простиравшиеся внизу Пустоши, над которыми кружили птицы вроде той, что я съел. И сказал своему серому коньку:

— Я не умру. В этих краях есть вода, и я ее найду. Тут есть дичь, на которую можно охотиться, и съедобные коренья — иначе милдаси не смогли бы здесь жить. Я не умру. Я последую за Лукассой через горы и дальше, как бы далеко ни пришлось мне идти. Я не остановлюсь, пока не коснусь ее и не поговорю с ней. А если она не согласится вернуться со мной домой — что ж, тогда я умру. Но не раньше.

Кролик принялся теребить губами мой драный рукав.

Он почуял лиса прежде меня. Когда конь заржал и поставил уши торчком, я тоже увидел его. Лис отважно бежал прямо к нам вверх по склону, и в зубах у него болталась птица в половину его собственного роста. Лис был небольшой, но сильный и красивый, с блестящими-блестящими глазами. Он нарочно дал мне хорошенько себя рассмотреть, прежде чем обернулся.

Всего лишь легкое движение воздуха, что колеблет иногда пламя в очаге, — и передо мной очутился старик. Он поднял птицу и подошел ко мне. Кролик топнул ногой, всхрапнул и отбежал в сторону, но я слишком устал, чтобы пугаться. Я просто спросил:

— Человек, который умеет оборачиваться лисом. Лис, который умеет оборачиваться человеком. Кто ты?

Густые белые усы смягчили острую лисью усмешку.

— Птица может обернуться нами. Остальное неважно.

Беспечно и самодовольно, словно это не он недавно побывал в руках милдаси, был избит до полусмерти и слышал свою песню смерти, старик опустился на землю рядом со мной и принялся деловито ощипывать птицу. Желтая краска уже стерлась, и синяки на розовых щеках проходили. Старик улыбался мне, а я не отрываясь смотрел на него.

— Если ты думаешь, что я сейчас высуну язык и примусь пыхтеть, — довольно мягко заметил он, — то не жди. Не буду. Кроме того, я не собираюсь слопать эту птицу сырой, с

костями и перьями. В этом облике я человек, такой же, как и ты.

Я расхохотался, хотя при этом едва не упал — так я был слаб. И сказал:

— Не беспокойся, мне не реже тебя приходилось терзать добычу зубами.

Это была неправда, но тогда мне казалось, что это действительно так.

— Что ж, тогда, наверно, тебе будет приятно развести костер, — ответил старик. — Ведь люди все-таки предпочитают есть мясо жареным.

Он достал кремень и огниво из кожаного мешочка, висевшего у него на поясе, и протянул мне.

Вокруг нашлось немного хвороста — не больше охапки, зато далеко ходить не пришлось. А то бы я и охапки не собрал. Я даже ветки на растопку ломал так долго, что к тому времени, когда я наконец развел костер, старик успел ощипать и выпотрошить птицу. Костерок получился маленький, но мы все же сумели кое-как зажарить птицу и поели, как люди, хотя остаток сил у меня ушел на то, чтобы не слопать свою половину полусырой, да и порцию старика тоже. А старик все это время весело болтал. Он ухитрился выведать мое имя, хотя своего мне так и не сказал, и сообщил, что он путешествует со знатной дамой с дальнего побережья. Я спросил, не черная ли она. Старик покачал головой:

— Смуглая, это да, но никак не черная. Ее зовут Ньятенери. Она очень мудрая.

— И ты украл для нее лошадь милдаси? Клянусь душой, хотел бы я иметь такого верного и отважного слугу!

Это его задело. Я на то и рассчитывал.

— Мы путешествуем вместе. Мы равны! Заруби это себе на носу. Эта дама не распоряжается мной. Я хожу по своим делам, как мне заблагорассудится! — Он, похоже, разозлился по-настоящему. Серые глаза аж пожелтели от злости. — Я никому не служу!

— Зачем же лошадь тому, кто может бегать на своих четырех лапах, если ему заблагорассудится?

Я рассчитывал, что гнев сделает его неосторожным, но старик уже взял себя в руки. Он расхохотался и нарочно облизнулся, как лиса.

— Мне просто захотелось поиграть с глупыми милдаси. Тебя удивляет, что у меня несколько иное представление об игре, чем у тебя?

— Они ведь избили тебя до полусмерти, — напомнил я. — И перерезали бы тебе глотку, кабы не я. Какая же тут игра?

— Мне ничто не угрожало, — возразил старик настолько надменно, насколько может выглядеть надменным человек с набитым ртом и сальными руками. — Твоя выходка была неплохо задумана, но совершенно бесполезна. Я просто играл.

— Они бы тебя убили, — сказал я. — Я спас тебе жизнь.

На этот раз старик ничего не сказал, только чуть повернул голову, глядя на меня краем глаза.

— Человек ты или лис, ты у меня в долгу, — продолжал я. — И сам это прекрасно знаешь.

Его усы ощетинились, и он снова облизал их.

— Ну, парень, так ведь и ты мне обязан! Ты пил мою воду и ел мою добычу. Даже если ты и впрямь меня спас, ты сделал это случайно — и сам это прекрасно знаешь, — в то время как я помог тебе по доброй воле. А ведь мог бы отправиться дальше и дать тебе спокойно умереть. Я не охочусь для других, а для тебя я охотился. Так что мы в расчете в твоем мире, и в моем тоже.

И больше он ничего не сказал, пока мы не управились с птицей и не зарыли объедки, чтобы не оставлять следов для милдаси.

— Если желаешь умыть лицо и лапы, я могу отвернуться, — сказал я, зевая. От еды меня сразу стало клонить в сон. Старик долго сидел неподвижно, обняв колени, и внимательно разглядывал меня. Он выглядел добрым и уютным, как дедушка, но я чувствовал себя как та птица, что заметила его слишком поздно.

— Знаешь, парень, тебе их не догнать. Ни на милдасийской лошади, ни на какой другой. А если догонишь, то не раз пожалеешь об этом.

Я не стал спрашивать, кого он имеет в виду и откуда он знает. Я сказал:

— Да, черная женщина, должно быть, могущественная волшебница, потому что моя Лукасса утонула, а она вернула ее к жизни. Я не знаю, что она может сделать со мной, но ей

придется убить меня, и притом убить дважды, чтобы избавиться от меня наверняка. Потому что я найду ее и увезу Лукассу домой.

— Мальчишеская болтовня! — презрительно заметил старик. — Эта женщина — такая же волшебница, как и ты, но того, чего она не знает о бегстве и преследовании, о выслеживании и запутывании и о том, как сбить собак со следа, того не знаю даже я. А теперь к ней присоединилась госпожа Ньятенери — впрочем, об этом ты и сам догадался. А когда они вместе, бедный лис может только кусать себе лапы и молиться, чтобы эти хитрые проныры не слишком испортили его нравственность. Брось это дело, мальчик. Ступай домой.

— Лисья болтовня! — ответил я, моля богов, чтобы не поверить ему. — Передай своей хозяйке — передай им обеим, что мужчина Лукассы следует за ней.

Я вскочил на спину Кролика и посмотрел на старика сверху вниз так свирепо, как только мог, хотя на самом деле я его и не видел: у меня внезапно закружилась голова.

— Передай им, — повторил я.

Старик не шелохнулся. Он все облизывал и облизывал усы, и его усмешка расползалась все шире.

— Что ты мне дашь, если я оставлю для тебя след? — спросил он.

Желтовато-серые глаза и лающий голос были такими насмешливыми, что я сперва не поверил своим ушам.

— Что ты мне дашь? Ты все еще слишком близок к смерти, чтобы задирать нос — ты ведь и сам знаешь, что потерял след и никогда не найдешь его, если я не помогу. Отдай мне тот медальон, что ты носишь на шее. Он дешевый, и потеря для тебя будет небольшая, но я никому не помогаю бесплатно. Медальон меня устроит.

— Его подарила мне Лукасса, — сказал я. — На именины, когда мне исполнилось тринадцать.

Зубы старика блеснули, точно лед.

— Слышь, Лукасса? Твой дружок-свинопас дорожит твоей безделушкой больше, чем тобой. Ну что ж, мой мальчик, оставайся при своей игрушке. Желаю удачи.

И он встал и повернулся, чтобы уйти.

Тогда я швырнул ему медальон. Старик поймал его на лету, не оборачиваясь.

— Слезай с коня, — сказал он. — Ты сейчас еще слишком слаб, чтобы куда-то ехать. Отоспись денек вон там, — он, по-прежнему не оборачиваясь, указал на каменный карниз, под которым можно было укрыться от солнца, — а когда взойдет луна, поезжай на север, так, чтобы горы были по правую руку. Дороги тут нет. След будет.

— Но куда ведет этот след? — спросил я. — Куда они направляются, и зачем они везут с собой Лукассу?

Но старик уже спускался вниз по склону, оставив меня в бессильной ярости. Я соскользнул с седла и бросился за ним. Я уже протянул руку, чтобы схватить его за плечо, но он резко развернулся прежде, чем я успел коснуться его.

— А ты сам? — спросил я. — Объясни хотя бы это! Ты ведь идешь не на север!

Розовые щеки, белые усы, волосы, яростно-белоснежные, точно вода, которая унесла мою девушку... Он ухмыльнулся так, что даже зажмурился — он видел, что я его боюсь. Даже шепот его сделался хриплым.

— Я иду за тем вороным, неужто неясно?

И он снова обернулся лисом и убежал, не оглядываясь. Хвост он нес высоко, точно кот, — до тех пор, пока не решил, что я его уже не вижу. Но я долго смотрел ему вслед и потому увидел, что вскоре хвост опустился.

ЛАЛ

Как только я отдала кольцо девушке, сны тут же вернулись. Я так и знала. Но это было неважно, потому что Мой Друг послал мне другой сон. Белая утопленница кричала изо всех нерастраченных сил своей непрожитой жизни, звала на помощь со дна реки так отчаянно, что у меня все тело с головы до пят ныло от этого зова, несмотря на то что нас разделяло много миль. Тогда девушка еще была жива. Это было за три ночи до того, как я приехала в ту деревню.

Но этот сон вовсе не был кошмаром. Просто это Мой Друг со мной так разговаривает. Он всегда так делал с тех пор, как я впервые с ним встретилась. Мои кошмары куда более давнишние, и они совсем про другое. Кошмары для меня вроде кровопускания. Я — Лал, Лалхамсин-хамсолал,

худая, проворная, бесстрашная, Лал-Морячка, Лал с Мечом в Трости, Лал-Одиночка, скитающаяся по морям и закоулкам мира единственно ради собственного удовольствия. Лал, которая рыдала и кричала во сне каждую ночь с тех пор, как ей исполнилось двенадцать, пока Мой Друг не подарил ей кольцо с изумрудом, что дала ему мертвая королева.

— Хватит с тебя кошмаров, — сказал он, пряча в своей заплетенной бороде улыбку, точно дикого зверька. — Ты больше не будешь видеть кошмаров. Ты вообще больше не будешь видеть снов, кроме тех, которые пошлю тебе я. Я обещаю. Береги кольцо до тех пор, пока не встретишь того, кому оно будет нужнее, чем тебе. Кого? Ты его узнаешь, когда придет время. А тогда тебе это кольцо больше не понадобится. Обещаю, чамата.

Это он так меня звал — с самого начала. До сих пор понятия не имею, что значит это слово.

Ну что ж, Мой Друг ошибся, при всей своей мудрости. Ошибся насчет меня, а не насчет кольца. Все старые ужасы таились в засаде, поджидая, пока я отдам кольцо. И когда мне наконец пришлось заснуть, все они набросились на меня, шипя и ухмыляясь, все до последнего, стоило мне закрыть глаза. Джаэджан, у которого изо рта разило, как из горячей помойки, Джаэджан и его безымянный дружок, и я — не прошло и трех часов, как меня похитили из дома... Шавак. Дарадара, которая убила Шавака, — и то, что она сделала со мной в луже его крови. Лоум, тот мальчик, — я не могла его спасти, просто не могла, я ведь сама была еще девчонкой! Унававия, с его полосатыми ночными рубашками и ножами. Эдкилос, который притворялся добреньким.

Бисмайя, которая меня продала.

Я вовсе не королева и никогда не выдавала себя за королеву, хотя про меня рассказывают и такое. Меня с рождения готовили к тому, чтобы стать чем-то меньшим, чем королева, и в то же время чем-то куда большим. Сказительница. Историк. Помнящая. У нас это называется инбарати, и в нашей семье старшая дочь всегда становилась инбарати Хайдуна, с тех пор как появился сам город и само это слово. К девяти годам я могла пропеть наизусть историю каждого семейства Хайдуна — и на высоком наречии, которому меня обучали, и на рыночном говоре, за который наставники меня пороли.

Я и до сих пор все это помню — хотя вряд ли мне когда-нибудь еще придется говорить на одном из этих языков. Я помню также все боевые песни, все сказки о животных, все истории об основании нашего города, обо всех потопах, и засухах, и моровых поветриях, которые мы пережили. Не говоря уже обо всех, какие только есть, легендах о великой любви и ужасных и могущественных любовниках, которые вечно проверяют верность друг друга. Мой народ вообще ужасно любит романтику.

Бисмайя. Двоюродная сестра, с которой мы играли в детстве. Лучшая подруга. Она умерла родами, и я не успела ее убить — нет, не за то, что по ее вине меня похитили и продали в рабство, а за то, что она устроила это из пустой ребяческой скуки. Если бы мы влюбились в одного и того же парня, если бы мы поссорились из-за того, что я ее изводила и дразнила (а Бисмайю нельзя было не дразнить — просто невозможно!), если бы она желала сама сделаться Инбарати вместо меня — нет, конечно, вряд ли бы я ее простила, но, по крайней мере, было бы что прощать. А она предала меня просто так, для развлечения, и получила за это не больше денег, чем нужно, чтобы купить ручную птичку. Бисмайя снится мне чаще остальных.

Но я умею управляться с кошмарами. Я научилась этому задолго до того, как встретилась с Моим Другом. Я очень хотела умереть, но сходить с ума я не собиралась. По ночам я рассказываю сама себе историю — старую хайдунскую сказку с побережья о лодочнице, которая знала рыбий язык и могла призвать рыб, когда захочет, или, наоборот, выгнать из залива всю живность, кроме детей, ныряющих за монетками. За это ее не любили, но уважали и обхаживали. Ее многочисленных приключений мне обычно хватает на то, чтобы провести время от восхода до захода луны относительно спокойно. А если я не засну к тому времени, у меня есть в запасе еще бесконечная хвалебная песня в честь короля. В этой песне столько героев, побед и пиров, что уж этого-то точно хватит до рассвета. Кольцо, конечно, было лучше — оно позволяло мне высыпаться по-настоящему, — но и этот способ тоже неплох.

В те первые ночи девушка спала, как мертвая — да она, собственно, и была мертвой. А я лежала, смотрела на здеш-

ние низкие, ползучие звезды и изо всех сил прислушивалась, ожидая, когда же Мой Друг обратится ко мне в третий раз. Первый сон выдернул меня из постели любовника — по правде говоря, оно и к лучшему, — но после второго я долго корчилась в судорогах, меня тошнило от чужой боли и трясло от чужого страха. В этом сне чувствовалась такая ярость отчаяния, что даже я не ведала ничего подобного — а я-то думала, что постигла все глубины беспомощности и отчаяния. Но могла ли я представить себе, что маг, достаточно могущественный, чтобы крушить большие военные корабли посреди моря, точно сухарики в бульоне (и достаточно добрый, чтобы послать дельфинов на помощь потерпевшим кораблекрушение), окажется в таком отчаянном положении, чтобы позвать на помощь беглую не-скажу-кого, которую он нашел прячущейся нагишом под корзиной из-под рыбы на пристани в Ламеддине? Но он позвал меня — и через полчаса я, застигнутая врасплох, была уже в седле и спешила в чужую страну. Есть немало людей, которым я обязана жизнью — как есть немало и таких, кто обязан жизнью мне, — но этот человек спас мне душу.

Третий сон пришел ко мне на Пустошах, в ту ночь, когда дорога кончилась и мы поехали напрямик. Лукасса — я знала ее имя от этого мальчика, который кричал ей вслед, — Лукасса к тому времени пришла в себя, насколько это вообще было возможно. Хорошенькая, тихая, невежественная деревенская девчонка, с которой за всю жизнь не случалось ничего интересного, кроме того, что ей случилось умереть. Но об этом она не помнила. Она вообще почти ничего не помнила — ни своего имени, ни семьи, ни друзей, ни этого юного идиота, который до сих пор тащился за нами, безмозглый, как камень, что катится с горы. Для нее все началось с моего голоса и луны.

В тот вечер она снова принялась упрашивать меня, чтобы я еще раз спела ей ту песню, которая подняла ее из реки, — точно ребенок, который опять и опять требует, чтобы ему рассказали любимую сказку, причем слово в слово. Я устала и потому раздраженно ответила:

— Лукасса, это самая обыкновенная песня, которой давным-давно научил меня один старик. Он обычно пользовался ею в огороде.

— Я хочу ее выучить! — настаивала Лукасса. — Теперь это моя песня, я имею право ее знать.

Она робко, по-деревенски, улыбнулась и добавила, искоса глядя на меня:

— Конечно, я никогда не стану такой великой волшебницей, как ты, но, быть может, я тоже смогу кое-чему научиться.

— Я и сама знаю только кое-что, — ответила я. — Всего несколько незамысловатых уловок. И мне потребовалась целая жизнь, чтобы научиться этому. Сиди тихо, я расскажу тебе еще одну историю про Зивинаки, короля лжецов.

Я хотела, чтобы она побыстрее заснула. Мне надо было поразмыслить о том, что делать, если третьего сна не будет. Но Лукасса далеко не сразу успокоилась и перестала просить, чтобы я научила ее той песне. По-своему она не менее упряма, чем тот парнишка. Любопытная, должно быть, у них деревня...

В ту ночь мне так и не удалось уснуть, но Мой Друг все равно пришел. Он явился мне в пламени костра, когда я встала на колени, чтобы подбросить хворосту. Измученный страхом старик, нагой и дрожащий, как я в тот день, когда мы впервые встретились. Самоцветы, что он всегда носил в ушах — четыре в левом ухе, три в правом, видишь, я все помню, — исчезли, глаза потускнели и выцвели, дурацкие ленточки, которыми он переплетал свою бороду, тоже куда-то подевались. Ни колец, ни одеяния, ни посоха. И, что самое ужасное, — он не отбрасывал тени ни от луны, ни в свете костра. В моей стране — в стране, которая когда-то была моей, — люди верят, что увидеть человека без тени — это верный знак, что скоро ты умрешь, в одиночестве, в дурном месте. Я и сама в это верю, хотя, конечно, это чепуха.

Но все равно я бросилась к нему с радостью и попыталась накинуть плащ ему на плечи. Конечно, плащ упал на землю, и мои руки прошли через дрожащее тело насквозь. Он страдал от холода, но это было не здесь. Я заговорила с ним и попросила:

— Скажи мне, что делать!

Он видел меня, но ответить не смог. Вместо этого он указал в ту сторону, где звезды уже начали бледнеть над плоскими, изломанными холмами Северных пустошей. Из его пальца вылетела лента зеленого света — когда-то его глаза были та-

кими же зелеными. Лента пересекла Пустоши и ушла куда-то за горы — слишком далеко, чтобы можно было увидеть, куда, даже если бы это было днем. Когда он опустил руку и снова взглянул на меня, я отвернулась, не в силах смотреть в его бледное от ужаса лицо. Не годится мне видеть его таким, даже если это всего лишь призрак. Я сказала:

— Я найду тебя. Лал придет и найдет тебя.

Даже если он и услышал меня, это его не утешило. Когда я это сказала, он исчез, но запах его тоски и боли жег мне горло еще долго после того, как встало солнце. Зеленый след светился на склонах холмов даже тогда, когда мы с Лукассой снова двинулись в путь. Я показала этот след ей, но она ничего не увидела. Я подумала, что у Моего Друга, видимо, хватило сил только на то, чтобы послать зов мне, и никому другому.

Помнится, в тот день я немного рассказала Лукассе о себе, и чуть побольше — о том, что нас связало и почему. Несмотря на все свое упрямство, Лукасса пока что не задавала настоящих вопросов, кроме одного: «Я жива? Я правда жива?» А так ее вполне устраивало, что мы едем на одном коне, день за днем, по стране, такой пустынной и страшной, что я бы на ее месте предпочла бы снова утонуть и спокойно лежать на дне родной и милой реки. Я сказала ей, что один мой друг попал в беду и я еду ему на помощь. Тут она впервые улыбнулась — и я увидела, за чем гонится тот деревенский парнишка. И сказала:

— Это твой любовник.

— Да ты что! — Эта мысль задела меня всерьез. — Это мой учитель. Он помог мне, когда никто во всем мире не хотел мне помочь. Я сейчас была бы куда мертвее тебя, если бы не он.

— Старик, который пел песни овощам в огороде, — сказала она. Я кивнула. Лукасса помолчала. Потом спросила: — Почему я еду с тобой? Что, я теперь принадлежу тебе, все равно как та песня принадлежит мне?

— Мертвые не принадлежат никому. Я просто не могла тебя оставить и не могла остаться, чтобы позаботиться о тебе. Что еще я могла сделать?

Я говорила хрипло и резко, потому что от слов Лукассы мне стало не по себе.

— Кстати, о любовниках: твой гонится за нами с той самой ночи, как я забрала тебя с собой. Может, остановишься и подождешь его? Ты ему явно очень дорога, а я к попутчикам не привыкла.

Я не знала, что за сила терзает Моего Друга, но Лукасса мне тут явно не помощница. Мне совершенно незачем было везти ее с собой дальше. Это не нужно ни ей, ни мне, ни тому парню.

— Возвращайся с ним домой, — продолжала я. — Жизнь там, позади, а вовсе не там, куда мы едем.

Но девушка воскликнула, что оба пути ей одинаково незнакомы, что мир для нее чужой и во всем этом мире она знает только смерть и меня. Так что мы поехали дальше вместе. А ее парень продолжал гнаться за нами. С каждым днем он все больше отставал, но не прекращал погоню. Я очень торопилась, и, однако, вскоре мы начали по очереди идти пешком, чтобы поберечь коня. А временами дорога была такая плохая, что идти пешком приходилось обеим. Что же касается еды, то я могу почти не есть, когда это необходимо, — не все время, но подолгу. Это было очень кстати, потому что Лукасса лопала за двоих — не просто как здоровый ребенок, а так, словно хотела убедиться, что действительно жива. Я сама когда-то была такая.

Вода. Мне еще не встречалось места, где я не смогла бы найти воду: в наших краях любой двухлетка чует ее так же хорошо, как запах обеда. Искать воду совсем не так трудно, как думает большинство людей — просто большинство людей принимаются за поиски, когда они уже в панике и вообще не могут как следует думать. Но на этих Пустошах воду отыскать оказалось труднее, чем где бы то ни было, даже мне. Если бы зеленый след, тускневший с каждой ночью, не пересекал временами русло подземных ручьев, нам с Лукассой пришлось бы туго. Но нам все же хватало воды на то, чтобы напоить коня и не дать собственной глотке совсем уж пересохнуть в этом горячем воздухе. Как обходился тот парнишка, что за нами гнался, — понятия не имею.

Когда начался подъем, местность сделалась получше, но ненамного. Там чаще попадалась вода и водились кролики и птицы, которых можно было ловить силком. К тому же поднялся легкий ветерок. Но зеленый след совсем растаял, и по

ночам, когда Лукасса спала, я ревела от злости: я ведь знала, что след тут, никуда не делся, что он по-прежнему указывает путь к Моему Другу, просто сделался настолько слаб, что даже мои глаза его не различают. А дорога — если это можно назвать дорогой — постоянно раздваивалась, вилась, ветвилась, разбегаясь в разные стороны — в ущелья, заканчивающиеся тупиком и постоянно грозящие обвалом, в лощины, густо заросшие лесом, вдоль бесконечных подножий гор, половина из которых были разворочены лавинами. И которая из множества тропинок была той, что нужно, я знать не знала. Я положилась на удачу и на то, что желания волшебников обретают плоть в этом мире. То, о чем волшебник говорит «Да будет!», действительно возникает, будь то камень или яблоко. Даже если у волшебника не хватает сил, чтобы заставить тебя видеть это яблоко как следует. Я могла лишь надеяться, что дорога Моего Друга достаточно материальна, чтобы указать мне путь днем, как его искаженный болью облик был достаточно материален, чтобы явиться мне ночью.

Ньятенери появилась в сумерках, на четвертый день после того, как мы начали подниматься в горы. Она не таилась — я услышала топот подков еще до того, как мы развели костер, а когда она подъехала, Лукасса уже закапывала угли. И все-таки эта женщина застала меня врасплох: вот только что ее не было — и вдруг появилась, как звезда на небе. А я не люблю, чтобы меня заставали врасплох. Поэтому я разозлилась на себя, но тут почувствовала легкое покалывание магии и, взглянув на женщину, увидела, что воздух между нами чуть заметно дрожит. Когда достаточно долго живешь вместе с магом, такие вещи чувствуешь непроизвольно — все равно, как если долго живешь с сапожником, начинаешь невольно обращать внимание на людей, которым жмут сапоги. Магия была не ее — женщина была кем угодно, только не волшебницей, но какое-то заклятие на ней лежало. Какое именно — я сказать не могла. Я ведь тоже не волшебница.

Она была смуглая, цвета крепкого чая, а ее узкие, чуть раскосые глаза были цвета сумерек. Выше меня, кость тонкая и длинная, левша. Плечи широкие, развернутые — должно быть, стреляет далеко (при ней был лук), хотя необязательно метко. Когда ведешь такую жизнь, как я, на эти вещи обращаешь внимание в первую очередь. Что до остального —

на ней была обычная одежда всадника, ничем особенным не отличающаяся, кроме разве что нарочитой неброскости: сапоги, клетчатые штаны, верхняя туника, плащ-сидрин, какие носят в Кейп-Дайли, — обычная западная одежда, довольно разномастная. Ее волосы были спрятаны под капюшоном сидрина, и снимать капюшон она не спешила. Она ехала на чалом коне, таком же длинноногом и крепком, как она сама, и вела в поводу лохматую черную лошадку, немногим крупнее пони, с хищными желтыми глазами. Таких лошадей я еще никогда не видела.

Поначалу она ничего не сказала — только сидела в седле и смотрела на нас. В ее поведении не чувствовалось ни дружелюбия, ни угрозы — ничего особенного, кроме чуть заметного присутствия магии и опасного переутомления. Лукасса поспешила подойти поближе ко мне.

— Что видишь, то твое, — сказала я. Так принято здороваться у нас дома. Я все никак не могу отвыкнуть от этого приветствия — возможно, потому, что оно многое говорит о тех людях, среди которых я родилась. Они щедры в том, что касается вещей — и славятся этим, — но невидимое берегут ревностно. Надо будет когда-нибудь бросить эту привычку.

— Сири те мистанье, — ответила женщина. По спине у меня поползли мурашки. Дело не в том, что я ее не поняла. Просто все культурные люди отвечают на приветствие на языке приветствующего. Тон ее был довольно любезным, и она вежливо склонила голову, но то, что она сделала, она явно сделала нарочно. Я имела полное право вызвать ее на поединок или велеть ехать своей дорогой. Но мне, несмотря на мурашки, сделалось любопытно, и потому я просто спросила, как ее зовут, и добавила, что, если она плохо знает всеобщий язык, мы можем говорить на банли. Банли — это примитивный язык торговцев, которые бродят по дальним странам. Женщина улыбнулась и проглотила оскорбление.

— Я — Ньятенери, — сказала она. — Дочь Ломадис, дочери Тиррин.

Тут я решила, что она, должно быть, с Южных островов, потому что только там женщины ведут свой род по материнской линии. Да и по голосу похоже: голос у нее был звонче моего, и говорила она медленнее, и при этом интонация ви-

ляла из стороны в сторону, в то время как у меня голос поднимается и опускается.

— А ты — Лал-Морячка, Лал-Полуночница, — продолжала она. — А вот другую женщину я не знаю.

— Ты и меня не знаешь, — возразила я. В путешествии я пользуюсь двумя другими именами — их я ей и назвала. — А с чего ты приняла меня за ту Лал?

— Какая же другая женщина решится ехать через эту безжалостную землю? Тем более черная женщина, у которой к седлу привязана трость с мечом? И почему она бродит здесь, среди этих слепых холмов, без дороги — если не считать зеленого ночного следа, по которому она спешит на выручку к великому магу?

Я разинула рот. Она расхохоталась и махнула рукой, давая понять, что бояться мне нечего.

— И не тебе одной известно, что некая Лалхамсин-хамсолал, — она произнесла мое имя почти правильно, — была когда-то спутницей и ученицей волшебника...

— Волшебника, чье имя не произносится, — перебила я, и на этот раз женщина умолкла. Я сказала: — Одни называют его Учителем, другие Сокрытым, третьи — просто Стариком. Я называю его... так, как я его называю.

Я осеклась, разозлившись: сгоряча я едва не выболтала имя, которым я его зову, хотя что в этом могло быть плохого, понятия не имею. Она дернула уголком рта.

— А я всегда звала его Человек, Который Смеется. Тот, кто знает его так хорошо, как ты, поймет.

У меня снова поползли мурашки по спине, и ответила я не сразу. Он смеется не так уж часто, этот маг, но я никогда не могла удержаться от того, чтобы засмеяться вместе с ним. Это детский смех, звонкий, совсем не подобающий такому великому магу, могучий и не ведающий собственной силы. Это сама суть этого человека. Именно этот смех удерживал меня и хранил надежнее мечей и драконов, когда они узнали, где я, и пришли за мной. Любой, кто это знает, знает его. Ньятенери перебросила ногу через луку седла и остановилась, выжидательно вскинув брови.

— Слезай, — сказала я. — Я рада тебя видеть.

Когда она спрыгнула на землю, ее капюшон откинулся, и Лукасса тихонько ахнула при виде густых, седеющих темно-

каштановых волос, подстриженных причудливыми завитками, валиками и стрелочками. Голова Ньятенери была похожа на дорогу, по которой промаршировало целое войско. При Лукассе я ничего говорить не стала — это подождет, — но я могу признать монастырский постриг, когда увижу его. Я даже знаю несколько стрижек, которые носят в разных монастырях. Но эта стрижка была мне незнакома. Совсем незнакома.

Мы помогали ей чистить и кормить обеих лошадей, когда из седельной сумки высунулась мордочка лиса. Ньятенери тут же нацепила ему на шею тонкую серебряную цепочку и представила его нам как своего близкого друга и многолетнего спутника. Лукасса тут же вцепилась в лиса и принялась таскать его на руках, кормить объедками и напевать ему тихие заунывные песенки. Лис висел у нее на руках и ухмылялся во всю пасть. А я разглядывала зловещую прическу его хозяйки и размышляла о том, в каком это монастыре сестрам разрешают держать у себя в келье ручных лис. Ньятенери наблюдала за мной, а Лукасса упрашивала ее позволить взять лиса к себе хотя бы на эту ночь. Ньятенери позволила, и девочка торжествующе отнесла лиса к себе на одеяло. Лис подмигнул нам через плечо Лукассы. Ньятенери что-то резко бросила ему на своем языке — это звучало как предупреждение. Лис зевнул, продемонстрировав все свои белоснежные зубы и красный, как рана, язык, и закрыл глаза.

— Он ей ничего плохого не сделает, — сказала Ньятенери. Она стояла и смотрела на меня своими странными глазами. Только что они были туманно-серыми, а теперь, когда стало темнее, сделались почти лиловыми.

— Ну, и что теперь? — спросила она.

— Откуда ты его знаешь? И давно ли?

На этот раз она улыбнулась по-настоящему. Зубы у нее чуть смахивали на лисьи.

— Пожалуй, так же давно, как и ты. Вся разница в том, что я знаю, где он.

Она прислонилась к валуну, ожидая, когда я с радостью предложу объединиться. Я сказала:

— Разница не только в этом. Разница по меньшей мере еще и в том, что я не скрываюсь от каких-то фанатиков, и за меня не объявлено награды тому, кто вернет меня в лоно

родного монастыря. Может статься, что помех от тебя будет больше, чем помощи.

Я сказала это наудачу, но попала в цель: на миг ее надменная маска слетела, и я увидела перед собой просто измученную женщину, которой остался всего шаг до безумия. Я знаю этот взгляд. Впервые я увидела его в мутной луже.

Ее лицо сразу же сделалось прежним, но голос еще дрожал, когда она сказала:

— Никакой награды за меня не назначено, честное слово. Никто никуда меня возвращать не собирается, никто в целом мире.

Ее высокое и сильное тело, созданное для битв и суровых зим, даже не шелохнулось. Она добавила:

— Девушка может ехать на моей вьючной лошади. Так будет гораздо быстрее. И я скажу тебе, куда ехать, прямо сейчас, так что я тебе буду больше не нужна. А дальше решай сама.

Некоторое время мы стояли так тихо, что я слышала ее дыхание, а она мое, и смотрели друг на друга. Лукасса сонно напевала что-то на ухо лису. Наконец я сказала:

— Я никогда не называла его иначе, как Мой Друг.

ЛИС

Да-да-да-да-да, и я могу украсть всех, всех их лошадей, если захочу, прямо из-под их глупых, грязных, волосатых задниц! Этот мальчишка просто представить не может — никто не может себе представить, на что я способен, если только захочу! Когда захочу. Они не знают, кто я, чего мне хочется, когда и почему. Милдаси, этот мальчишка, черная женщина, белая женщина, толстый трактирщик — все они одинаковы. Кроме Ньятенери.

Хо-хо, а что я знаю про Ньятенери! Этого никто не знает, кроме меня. Ньятенери знает, почему я смеюсь про себя, а я знаю, чего боится Ньятенери. Почему Ньятенери спит на полу, а не на кровати, и никогда, никогда не засыпает надолго. А вот я сплю на кровати — тихо, как мышка, но стоит мне дернуть ухом, которое зацепила рука Лукассы, стоит мне вильнуть хвостом, лежащим на груди Лал, — и Ньятенери тут же вскакивает, проворней меня, прижимается спиной к

стене, выхватывает кинжал, блестящий в лучах луны, и ждет. Временами я делаю это нарочно, для смеха: всю ночь то чешусь, то потягиваюсь, то тихонько фыркаю — и каждый раз Ньятенери вскакивает, готовая, готовая... К чему, а?

Готовая встретить тех двоих, что преследуют нас так долго? Да нет, не мальчишку — кому он нужен, тот мальчишка! Двое мужчин, маленьких, легконогих, бесшумно бегущих по следу, миля за милей. У них нет ни копий, ни длинных мечей — ничего, кроме зубов, совсем как у меня. Ньятенери знает, что они идут за ней, но никогда не видит их. А я вижу, я чую, я знаю, что они едят, когда они отдыхают, что они думают, что собираются делать. Я знаю все, что хочу знать!

Как за нами охотятся, как за нами гонятся, просто смешно! Ну, догонит этот мальчишка свою девчонку, и что дальше? Я его знаю, а она его совсем не знает. Ну, догонят эти двое Ньятенери — и что дальше, а? Все трое — отменные убийцы, двое так или иначе умрут. Лучше, если Ньятенери их убьет — иначе не придется мне больше ездить в седельной сумке, не будет больше огня холодной ночью. С Ньятенери лучше.

Здесь, в трактире, слишком много народу, все шумят, топают, лис никто не любит. Наверху, на крыше, вкусные голуби, и цыплята вкусные, нежные цыплята, так и вертятся под ногами. Ньятенери мне говорит: «Ешь мою еду, сиди с нами, не трогай птиц толстого трактирщика и вообще носа за дверь не высовывай». Я прячусь, сплю, жду, позволяю Лукассе кормить меня дыней и сладким картофелем. И временами сижу тихо, тихо-тихо, а внутри убегаю далеко-далеко, туда, где ветер, кровь и тишина, днем туда, ночью сюда, прислушиваюсь к тому, кто идет по следу, принюхиваюсь к тому, что будет. Валяюсь в пыли на дальних холмах, в диких землях, смеюсь, сижу тихо-тихо...

«След будет», — говорит человечий облик тому мальчишке — и след есть, но оставляю его я, а не человечий облик. Хо-хо, видите, как я выпрыгиваю из сумки Ньятенери и присаживаюсь на горячие камни, задираю лапу, чешусь, подпрыгиваю, снова присаживаюсь, оставляю след, ведущий через горы и скалы, прямиком к двери толстого трактирщика. Так я держу слово человечьего облика, и этот парень до сих пор вынюхивает мой след на камнях, и впереди у него еще долгий путь, потому что все время приходится смотреть в землю. Но он скоро придет. Он тоже держит слово, да!

Вот уже второй раз я принимаю человечий облик, когда Ньятенери не видит. Славный старик, усы такие пышные, сидит в большой комнате внизу, болтает со всеми — славный, славный старик, приехал в город погостить к внуку. Маринеша приносит хороший эль, когда толстый трактирщик уходит. Толстому трактирщику не нравится человечий облик. А Маринеше нравится. И мальчишке Россету, и привратнику Гатти — всем нравятся красные щеки, блестящие глаза старика. Сидят, приносят эль человечьему облику, расспрашивают, рассказывают. Рассказывают про актеров, что живут в конюшне, про барышника, приехавшего покупать и продавать лошадей, про корабела, что едет в Кейп-Дайли. Оба раза Россет говорит, говорит о женщинах, что поселились в собственной комнате толстого трактирщика. Такие красивые, все трое, просто чудо, почему они здесь, зачем? Оба раза Маринеша встает и уходит.

Мальчишка Россет ничего не замечает. Говорит: «Лал лучше всех. Движется, как волна, пахнет морем и пряностями». Смеюсь. Пью. Ничего не говорю.

Привратник Гатти — маленький человечек со злым личиком, один глаз совсем белый, — Гатти говорит: «Ньятенери! Ньятенери! Вот это настоящая женщина: не ходит враскачку, не носит меча в трости, сплошное изящество и скромность. Она мне ночами снится».

Не смеюсь. Продолжаю пить. Человечий облик говорит: «Не зевай, не зевай, Молочный Глаз! Тебе повезет. Женщины в той стране любят невысоких, сильных мужчин вроде тебя. Не зевай. Однажды ночью она утащит тебя в лес, как ты таскаешь наверх сундуки приезжих». Гатти смотрит на меня, теперь все смотрит на Ньятенери. Ждет.

Ньятенери нервничает. Спрашивает толстого трактирщика, откуда взялся Гатти Молочный Глаз, давно ли он здесь? Трактирщик отвечает, что кому какое дело? Ньятенери смотрит на него. Трактирщик говорит: «Девятнадцать лет», и уходит. Ньятенери выходит на улицу, пинает кадку для дождевой воды.

Прошло двенадцать дней. Каждый день Лал и Ньятенери уезжают. Совсем не думают о бедном лисе, не думают о Лукассе, которая остается одна. Она сидит, ждет, выходит на улицу, разговаривает с актерами, разговаривает с Маринешей, разговаривает со мной. Один раз плачет. На двенадца-

тую ночь эти две возвращаются так поздно, что Россет уже спит, и они сами ставят лошадей в конюшню. Наверху, в комнате, я сплю на подушке, свернувшись, как котенок, очень красиво. Лукасса лежит рядом со мной, не спит.

Они входят, шагают устало, пахнут злостью. Лал говорит:

— Ты сказала, что знаешь.

Ньятенери говорит:

— Он здесь.

Лал тяжело плюхается на кровать, стягивает сапоги.

— Его нет в городе. Это мы знаем. Где же это — «здесь»?

Ньятенери отвечает только:

— Завтра. Обыщем каждую ферму. Каждую хижину. Каждую пещеру, каждую рощу, заглянем под каждую тряпку, валяющуюся в канаве. Он здесь.

Лал говорит:

— Если бы он только мог поговорить с нами! Если бы он мог явиться в еще одном сне — всего в одном!

Швыряет сапоги в угол.

— Он слишком слаб, — говорит Ньятенери. — Слишком много боли, слишком много борьбы — где ему взять сил на еще одно послание?

Открываю один глаз, смотрю сквозь пальцы Лукассы. Вижу, как Ньятенери обрывает перья на стреле. Перестала. Закрываю глаз. Голос Ньятенери, совсем другой:

— Маги тоже умирают.

Кровать подпрыгивает. Лал встала, ходит взад-вперед, от двери к окну, за которым поскрипывают на ветру ветки дерева.

— Да. Но не этот. Не так. Маги иногда умирают оттого, что поддались алчности или страху, но этот — он ничего не хочет, ничего не боится, смеется над всем. Никакая сила не имеет власти над ним.

Ньятенери, резко:

— Откуда тебе это знать? Ты ничего о нем не знаешь. Я тоже. Скажи мне, сколько ему лет, откуда он родом, расскажи мне о его семье, о его собственном учителе, о его настоящем доме!

Стрела ломается, летит следом за сапогами Лал. Ньятенери говорит:

— Скажи мне, кого он любит...

Лал набирает в грудь воздуху, с шумом выпускает его. Лукасса садится, смотрит, гладит меня. Ньятенери:

— Нет. Не нас. Он был добр, он защитил нас — спас нас, да, — он многому научил нас, и мы любим его, мы обе. Мы здесь, как и должно быть, потому что мы его любим. Но он нас — нет.

Улыбается. Сверкают белые зубы, губы плотно натянуты.

— Ты это знаешь.

Ни звука. Только я дышу — такой сонный, такой славный... Лал подходит к окну, смотрит на вкусных цыплят, которые устроились на ночлег в кустах. Лал говорит:

— Но кого-то он любит. Кто-то знает его истинное имя.

Ньятенери берется за вторую стрелу. Лал говорит тихо-тихо:

— Ты его видела. Никто не мог сделать с ним такое на расстоянии. Кто бы ни разрушил его магию, это был человек, которому он доверял, которого он очень любил. Иначе быть не может.

Они перечисляют имена. Мужчины, женщины, кто-то, кто не то и не другое, живет не то в огне, не то в земле — впрочем, какая разница? Но Лал каждый раз качает головой, и Ньятенери говорит: «Нет, наверное». Один раз они даже смеются, и Лукасса смотрит на них, забывая чесать меня за ухом. Но наконец имена кончаются. Лал говорит:

— Это кто-то, кого я не знаю.

Стук в дверь. Ньятенери разворачивается, взметается вверх, точно дым, беззвучно, с луком на изготовку. Голос:

— Это я, Россет! Можно?

Лук опускается, Лал подходит к двери. Мальчишка стоит на пороге, весь встрепанный, с деревянным блюдом. Я чую холодное мясо, вкусный сыр, дрянное вино. Он говорит:

— Я проснулся, услышал, как вы разговариваете... Вы вернулись поздно, я подумал, может, вы не ужинали...

Глаза круглые, как виноградины, большие, как смоквы.

Лал издает неопределенный звук, нечто среднее между смехом и вздохом. Лал говорит:

— Спасибо, Россет. Ты очень заботливый.

Сует блюдо ей в руки. Говорит:

— Вино кисловато малость. Хорошее Карш держит под замком. Но мясо свежее, вчерашнее, честное слово!

Подходит Ньятенери. Говорит:

— Спасибо, Россет. А теперь иди спать.

Улыбается ему. Парень почти не дышит. Ноги делают

шаг назад, остальное на два шага продвигается в комнату. Видит меня на подушке Лукассы. Нос прикрыт хвостом, я сладко посапываю. Глаза делаются здоровые, как сливы.

— Карш... — говорит он, словно чихает.

Лукасса поспешно подхватывает меня на руки, смотрит испуганно. Ньятенери:

— Карш сказал, чтобы лиса не было видно. Он его и не видит.

Лал:

— Ты его тоже не видел.

Она прикасается к щеке мальчишки, выталкивает его из комнаты кончиками пальцев, закрывает дверь. Он остается стоять за дверью, я его чую, стоит долго. Лал подходит к столу, ставит блюдо.

— Хороший мальчик. Смотрит на мир с удивлением, и работает, как вол.

Тут она останавливается, хохочет, трясет головой. Говорит:

— Наверно, мой... наверно, наш друг не раз говорил то же самое о нас. Тому, кого он любил...

Ньятенери снова берется за стрелы.

Все это время Лукасса молчит. Смотрит, гладит меня, не говоря ни слова, но что-то течет изнутри нее, по рукам, в мое тело — шерсть встает дыбом, и кости тоже. Теперь она говорит:

— Сегодня.

Они смотрят на нее. Ньятенери:

— Что — сегодня?

Лукасса:

— Не завтра. Вы нашли его сегодня.

Встает, смотрит им в глаза, упрямая, *уверенная*. Я изгибаюсь у нее на руках, зеваю, потягиваюсь. Лал, мягко и осторожно:

— Нет, Лукасса, мы его не нашли. След, что он оставил для нас, привел нас в эти земли, но за эти двенадцать дней мы побывали всюду. Мы с Ньятенери хорошие следопыты. Но никто не может вспомнить, чтобы видел его. Ни знака, ни малейшего следа...

— Значит, вы побывали там, где был он, — перебивает ее Лукасса. — Вы были там, где случилось что-то... что-то плохое.

Теперь они переглядываются. Ньятенери чуть заметно приподнимает бровь. Лал — нет. Лукасса замечает это, говорит громче:

— Оно пристало к вам, я это чую. Вы были сегодня в каком-то месте — это место смерти, вы там были, вы все испачкались в этом с головы до ног.

Дрожит сильнее, так что вот-вот выронит меня. Повторяет:

— Смерть...

Ньятенери поворачивается к Лал.

— В той комнате, в тот день, когда мы приехали. И теперь снова. Какие еще трюки она знает?

Лал:

— Это не трюк.

Мягкие золотистые глаза темнеют, становятся бронзовыми. Лал сердится. Говорит:

— Она знает смерть лучше нас обеих. Она чувствует, где проходила смерть. Тебе придется поверить мне на слово.

Ньятенери, медленно:

— Поверю.

Становится тихо. Все молчат. Лал пробует вино, кривится, но все равно пьет. Лукасса режет холодное мясо: ломтик мне, ломтик себе, ломтик мне. Ньятенери говорит:

— Башня.

Лал моргает.

— Башня? Ах, та башня! Куча красного кирпича? Мы не нашли там ничего, кроме пауков, сов и вековой пыли. Почему именно там?

Ньятенери:

— Почему вековой? В этих местах нет ничего столь древнего, чтобы лежать в руинах. Почему тут только одна башня, а все остальное — все! — плоское, как навозная куча?

Пожимает плечами.

— Надо ж с чего-то начать!

Смотрит на Лукассу.

— Она поедет с нами. Наша собственная маленькая провидица...

Лукасса швыряет меня на кровать — вот так, словно подушку. Подходит вплотную к Ньятенери, привстает на цыпочках, чтобы смотреть ей глаза в глаза. И говорит:

— Я — ничья! Лал мне говорила. Я — не шляпа, не ручная лиса и не фокусница. Либо я ваша спутница — твоя и Лал, — либо нет. А если я ваша спутница, тогда с завтрашнего дня я езжу с вами повсюду, и все!

Все только рот открыли, даже я. А Лукасса добавила:

— Ибо мой путь был длиннее вашего.

Лал улыбается, отворачивается. Ньятенери... Много-много лет, не друзья, не недруги, посвященные в тайны друг друга, приходим, уходим, молчим, знаем то, что знаем... Хо-хо, Ньятенери! Лишь раз видел я ее такой неподвижной, такой ошеломленной — и оба мы тогда едва не погибли. Медленно качает головой. Садится, берет свой длинный лук. Говорит:

— Ну что ж, спутницы... Лично я собираюсь поставить на свой лук новую тетиву. Если лук меня не укусит — а теперь я бы этому не удивилась, — это займет минут пять. Потом я собираюсь лечь спать — чего и вам желаю. День завтра будет нелегкий.

В постели Лукасса, как всегда, шепчет мне на ухо:

— Лисичка, лисичка, как тебя зовут?

Я лижу ей ладонь, она вздыхает тихо и устало. Шепот:

— А меня зовут Лукасса, но я не знаю...

И так каждый вечер!

Спит. Лал тоже спит. Ньятенери склоняется над кроватью, говорит на другом языке, на нашем языке. Говорит:

— Слушай меня. Старик больше не будет пить эль в общем зале.

Я лежу, крепко зажмурившись. Ньятенери:

— Ты понял.

Они уезжают рано-рано утром, все втроем. Лукасса целует в нос, говорит:

— Не шали!

Ньятенери смотрит на меня. Шаги на лестнице. Утихли. Я доедаю мясо и сыр. Когда Маринеша приходит подметать, прячусь под кровать. Самое надежное место. Маринеша приоткрывает окно, уходит. За окном поскрипывают ветки.

Люди не знают, что лисы умеют лазить по деревьям, если очень сильно захотят. Вот белки — те знают.

МАРИНЕША

В общем, я погналась за лисой, которая сидела на дереве. В смысле, она уже не сидела — она уже спрыгнула на землю, глянула на меня и исчезла между конюшней и моим огородом. У меня в руках была корзинка со свежевыстиранным

бельем, я ее несла, чтобы развесить белье на солнышке, но я просто бросила ее, где была, и погналась за этой тварью. Она придушила мою курочку! Конечно, на самом деле она была не моя, но ведь это я дала ей имя — я звала ее Сона, и она ходила за мной по пятам, все время, даже когда мне нечем было ее угостить. А эта лиса ее придушила! Я бы тоже ее придушила, если бы поймала. Честное слово, придушила бы!

Но когда я обогнула конюшню, лиса уже исчезла — просто как сквозь землю провалилась! Должно быть, она сдвоила след, нырнула под баню и скрылась в кустах дикой ежевики. Ну сколько раз повторять этому Россету, чтобы заделал ту дыру под баней! Лягушки залезают в баню и пугают гостей, а пару раз там даже таракки видели! Россет по-своему славный малый, но такой безответственный!

Ну вот, я немножко постояла там — я опять ужасно разозлилась из-за Соны, такая славная была курочка! А потом вспомнила про белье и побежала обратно. Я очень надеялась, что оно не вывалилось из корзины. И оно не вывалилось, слава богам — ну, то есть кое-что вывалилось, но это все были такие вещи, которые не станут хуже от пары травяных пятен. И вот только я повернулась, чтобы пойти к дереву нарил — в это время года я всегда сушу белье на нем, чтобы вещи пахли цветами, — и тут они и явились. Двое мужиков вышли из сада, как будто пришли прямиком через поля, а не по дороге. Они мне сразу не понравились. Не люблю людей, которые не ходят по дороге.

Оба они были невысокие, тощие, смуглые, одеты оба в коричневое, и показались мне совершенно одинаковыми, только у одного что-то со ртом было не в порядке: когда он говорил, то двигалась только половина верхней губы. А у второго глаза были голубые. Эти глаза меня ужасно напугали. Почему — не знаю.

Я стояла тихо-тихо, делала вид, что я их не замечаю. Сона, моя курочка, тоже так делала, когда в небе появлялся коршун. Другие куры разбегались во все стороны, пищали, кудахтали, а Сона, бывало, застынет на месте, и на коршуна вовсе даже и не смотрит, и даже на его тень не обращает внимания. Это ее спасало, бедняжку, — вот она и решила, что это действует всегда. А с лисой не подействовало.

Вот и мне это не помогло. Они подошли прямиком ко

мне — они действительно были маленькие, не выше меня ростом, и не производили ни звука. В смысле, когда шли. Тот, что с голубыми глазами, остановился передо мной, глядя мне прямо в глаза, а тот, что со странной губой, встал у меня за плечом — я не могла увидеть его, не повернув головы, но чувствовала, что он там.

Ну, разговаривали они очень вежливо, ничего не скажешь. Голубоглазый спросил:

— Простите, милая барышня, мы ищем свою знакомую? Высокую женщину? С луком и ручной лисой? Зовут ее Ньятенери?

Это он так разговаривал — каждая фраза звучала как вопрос. Голос у него был негромкий и такой, скользящий. А мне от чужеземного говора вообще не по себе делается. Странно, конечно, я ведь всю жизнь по трактирам, но мне делается не по себе.

Как раз такие дружки и должны быть у этой неуклюжей бабы, подумала я. Расхаживает тут в своих сапожищах, позволяет своей лисе душить наших кур... С чего бы это я ей должна услуги оказывать?

— Нету тут таких, — говорю я им. — Единственные женщины, какие у нас сейчас живут — это те, что приехали с актерами и ночуют в конюшне. Но у них нет никаких луков.

А про себя подумала, что если она не получит какого-нибудь дурацкого послания — так тем лучше. Может, хоть это ее научит здороваться по-людски.

— Может быть, она останавливалась тут только на пару ночей, а потом поехала дальше? — спросил голубоглазый. — Она должна была проезжать тут недавно, совсем недавно?

Я только покачала головой. И говорю:

— В прошлом месяце тут останавливались несколько танцовщиц, и еще коновалка — она вылечила Россетова осла от колера, — но она была маленькая и худенькая. Других тут не было, честное слово!

Стоит только начать врать — и откуда что берется, сама потом удивляешься! Про коновалку я вообще все сочинила.

Другой спросил из-за плеча:

— Быть может, нам стоит поговорить с хозяином? Вы отведете нас к нему?

Он положил руку мне на плечо, и я вскрикнула в голос —

такая она была горячая. Неделю потом жглось, представляете? До сих пор чувствую, когда вспоминаю. Голубоглазый сказал.

— Отведите нас к нему? Будьте так любезны?

Ну, я и пошла назад в трактир, прямо с охапкой белья, а эти двое шли за мной. Они больше меня не трогали и не пытались меня запугать — они вообще молчали, и это было страшнее всего, потому что я их не видела, понимаете ли, а шли они так тихо, что я вообще не знала, тут ли они. И когда мы подошли к двери, я отскочила в сторону и говорю:

— Подождите там, Карш скоро будет.

А потом побежала обратно к дереву нарил, прямо-таки бегом побежала, и принялась развешивать белье на ветках, так усердно, словно от этого зависела моя жизнь. Я даже ни разу не оглянулась, чтобы посмотреть, вошли ли они в трактир. Я развешивала, развешивала, развешивала это белье и даже не замечала, что плачу, пока все не развесила.

РОССЕТ

Спал я плохо — из-за актеров. Через два дня они собирались давать представление в городе, в Торговой Гильдии, и уже целую неделю репетировали по ночам, почти всю ночь напролет. Не то чтобы они плохо знали свою пьесу — в наших краях нет ни одной бродячей труппы, которая не играла бы «Свадьбу злого лорда Хассилдании» раз двадцать-тридцать в год, — но, наверное, наши купцы были самой важной и взыскательной публикой, перед которой им когда-либо приходилось выступать, и актерам попросту не спалось от волнения. И вот они твердили, твердили, твердили свои роли, то по двое, а то и все вместе, снова и снова проигрывая всю пьесу с начала до конца, сидя на соломе под фонарем, а лошади выглядывали из своих денников и торжественно кивали в особо удачных местах. В конце концов я спустился с чердака, пожелал им всем провалиться и вышел погулять и подумать, пока не взошло солнце. Я часто так делаю.

Женщины отправились в путь перед самым восходом. Они впервые выехали все втроем. Меня они не заметили. Обычно я махал им вслед, когда они уезжали — и, по край-

ней мере, Лал всегда махала мне в ответ, — но на этот раз я отступил в сторонку, спрятался в стволе выжженного молнией дерева и молча смотрел, как они проехали мимо. На этот раз они выглядели иначе, чем всегда, — от них пахло по-иному, пахло решимостью и целеустремленностью. Я это заметил, потому что привык улавливать их запах, как ничей иной. Если не считать Карша. Это потому, что за Каршем водится привычка подкрадываться незаметно и заставать тебя врасплох, когда ты бездельничаешь. А может, это просто почудилось в ало-серебристом свете утра: я внезапно увидел их как совершенно чужих людей, таких чуждых, какими они мне никогда раньше не казались, хотя должны были бы. Я тогда был слишком молод, чтобы видеть дальше собственного носа, а сам я был влюблен в них — во всех трех сразу. И все же по-настоящему я разглядел их только в то утро.

Они тревожили мой сон. Временами они тревожат его и теперь, несмотря на то что с тех пор я узнал многое, чего не знал тогда. Не думайте, что я был совершенно невинным — я уже успел познать женщину в некотором роде. Нет, не Маринешу — с Маринешей я не был ни разу. Но Лал, Ньятенери и Лукасса были видениями из будущего, хотя тогда я этого не понимал. И то, чего я боялся, обожал и жаждал в них, — это, можно сказать, был я сам, каким я должен был стать в будущем. Но и этого я, разумеется, тоже не знал. Я знал только, что еще никогда в жизни женский смех в маленькой комнатке наверху не ранил меня так больно.

Что? Да, простите. Так вот, у меня было много дел, и я отправился заниматься ими, как обычно: вычищать денники, засыпать корм, стелить свежую солому, вычесывать колтуны из грив и хвостов и даже подрезать копыта — смотря по тому, чего требовали от меня хозяева лошадей. Карш приставил меня к работе на конюшне в «Серпе и тесаке», когда мне было всего пять лет, так что в лошадях я разбираюсь. До сих пор не могу сказать, люблю я их или нет. Но разбираюсь.

Карш уехал в город, на рынок, вскоре после женщин. В его отсутствие трактиром обычно заправляет Гатти-Джинни, но Гатти-Джинни раз в месяц напивается, причем когда это случится — заранее неизвестно, но раз в месяц — непременно. И вот накануне это и случилось. Я это знаю, потому что мне пришлось тащить его в его комнату, утирать ему

слезы и слюни и укладывать спать. Так что, работая, я одновременно приглядывал за хозяйством, и потому заметил, как эти двое шли к дверям следом за Маринешей. Ничего особенного тут не было, но когда я увидел, что они вошли в трактир одни, а Маринеша кинулась к своей корзинке с бельем, дрожа так сильно, что мне было заметно издалека, я бросил лопату и подошел к ней. Сделав несколько шагов, я вернулся и подобрал лопату. В конце концов, даже воитель с навозной кучи нуждается в оружии.

Маринеша не могла говорить. Она со мной уже два дня не разговаривала — обиделась, что я сказал что-то восторженное насчет Лукассы, — но здесь дело было не в этом. Когда я тронул ее за плечо, она вцепилась в меня и разревелась. Вот тут и я испугался. Маринеша сирота, как и я. Мы, бывает, изображаем угодливость, чтобы выжить, но позволить себе пугаться мы не можем, так же как не можем позволить себе быть чересчур храбрыми. Так что я погладил Маринешу по спине, пробормотал: «Все в порядке, оставайся здесь», взял наперевес свою лопату и пошел в трактир.

Я застал их на втором этаже. Они выходили из комнатки, которую Карш отвел двоим старым паломникам из Дарафшияна. Не знаю, успели они побывать в комнате женщин или нет. Невысокие, худощавые, движения грациозные, почти небрежные, и простая коричневая одежда облегала их, точно собственная шкура. Мне они показались похожими на шукри, яростных, гибких зверьков, которые чуют запах горячей крови и в норах, и на деревьях, везде и всюду. Я спросил:

— Чем могу служить, господа? Меня зовут Россет.

Временами даже хорошо не знать своего истинного имени — по крайней мере, нечего бояться случайно открыть его чужим. Те двое посмотрели на меня, не говоря ни слова. Мне показалось, что смотрели они очень долго. Я почувствовал, что дрожу, совсем как Маринеша, — с той разницей, что меня страх разозлил.

— Хозяина тут нет, — сказал я. — Если вам нужна комната, вам придется подождать, пока он вернется. Внизу.

Я старался говорить как можно наглее, потому что голос у меня слегка дрожал.

Голубоглазый улыбнулся — и я обмочился. Так оно и было, честное слово: его губы растянулись, и внезапно на

меня дохнуло нестерпимым ужасом, точно жаром из печки. Я привалился к стене. Хорошо, что при мне была лопата и я смог опереться на нее, а не то бы там и упал. Но я не упал. А во мне достаточно дурацкого упрямства Карша, чтобы по-дурацки стоять на своем, даже когда душа ушла в пятки. Я повторил:

— Вам придется подождать внизу.

Кажется, я задыхался.

Они переглянулись, но не засмеялись. Наверно, это было очень любезно с их стороны. Тот, у которого верхняя губа была чуть приподнята с одной стороны, сказал:

— Нам не нужна комната. Мы ищем одну женщину.

Позднее мне казалось, что этот выговор был мне знаком. Но в тот миг я думал только о том, что, если бы огонь мог заговорить, он говорил бы именно так.

Голубоглазый — а надо вам сказать, что в тех краях голубой считается цветом смерти, — в два шага подошел ко мне вплотную, взял за горло и приподнял. Он сделал это так ловко и небрежно, что я сообразил, что сейчас задохнусь, только когда начал задыхаться. Он прошипел мне на ухо:

— Высокую сероглазую женщину? Мы выследили ее до этого трактира? Будьте так любезны?

Я услышал откуда-то издалека назойливый звук и кто-то другой во мне понял, что это я вишу в воздухе и колочу пятками по стенке.

Я бы им все рассказал. Ньятенери потом говорила, что с моей стороны было очень отважным поступком промолчать, но на самом-то деле я бы им все рассказал, если бы они мне только дали. Я увидел, как шевелятся губы другого человека, но что он сказал, я не слышал — я больше вообще ничего не слышал, кроме шума крови в ушах и тихого, ласкового голоса, повторявшего: «Будьте так любезны? Да?» А потом пришел Карш. То есть я думаю, что дело было именно так.

ТРАКТИРЩИК

Надо было жениться, когда была возможность — по крайней мере, тогда было бы кому вместо меня ходить на рынок. Время от времени я нанимаю кого-нибудь нарочно

для этого — и каждый раз потом жалею. Не так уж много людей способны управиться со старыми ворюгами на рынке в Коркоруа. Для этого надо иметь врожденный талант. А если у кого его нет, он вернется с рынка с телегой гнилых овощей, червивого мяса и соленой рыбы, которая воняет так, что эту вонь слышно раньше стука колес на дороге. Я-то с этим неплохо управляюсь, хотя и не люблю торговаться. Никогда не любил, даже в те времена, когда отец нарочно брал меня с собой на рынок, чтобы приучать к торговле. Он-то получал от всего этого не меньше удовольствия, чем сами торговцы — все эти мясники, рыбники и прочие. Торговаться для него было не меньшим удовольствием, чем найти самые первые свежие дыни, привезенные кораблем из Стимежта. И если бы люди перестали пытаться обманом стянуть с него все до последней рубашки, он бы помер от презрения раньше, чем от пьянства. Ну, а я не такой.

Ну так вот, в тот день я вернулся домой усталый и злой, как всегда, когда возвращаюсь с рынка, с кислой отрыжкой от завтрака. Бывали времена, когда я ничего не имел бы против того, чтобы, войдя в трактир, посмотреть наверх и увидеть этого придурка полузадушенным, прижатым к стенке, но сейчас все, чего мне хотелось — это выпить пинту моего красного эля. Так что это показалось мне уже чересчур. Да еще от чужаков!

Я заорал: «А ну, отпусти его!», так, что зазвенела посуда на полках. Мне сорок лет приходилось орать так, чтобы меня было слышно через весь переполненный зал, а вы как думали? И тот, что держал мальчишку, сказал: «А? Конечно?», и разжал руку. Они оба обернулись ко мне и улыбнулись так, словно совершенно ничего такого не происходит. Улыбочки у них были — мороз по коже.

— А вот наконец и хозяин? Это вы трактирщик?

— Меня зовут Карш, — сказал я, — и трогать моих подручных никому, кроме меня, не дозволено. Если вам нужна комната, спускайтесь сюда, поговорим.

Они остались, где были, так что я сам поднялся к ним. Я человек не гордый. Вблизи они выглядели старше, чем я сперва подумал, хотя надо было приглядеться, чтобы это заметить. Длинные шеи, треугольные лица, светло-коричневая кожа обтягивает скулы так плотно, что морщин почти не за-

метно. Я подумал, что если до них дотронуться, их кожа загремит, как пересушенный пергамент. Тот, что душил парня — кстати, парень уже поднялся на ноги, закашлялся, правда, но ничего плохого ему не сделали, — сказал мне, что они ищут женщину, свою знакомую.

— Старую, добрую знакомую? По срочному делу?

Выговор был южный, как и у нее, но чуточку другой, с такой странной интонацией, вовсе не южной. Я, разумеется, сразу понял, о ком идет речь. Я не видел причин скрывать, что она живет здесь. Нет, конечно, они мне не сильно понравились — что это за манера распоряжаться в трактире, как у себя дома, не заплатив даже за бутылку вина! Но мне не раз приходилось иметь дело и с кем похуже, и к тому же дела госпожи Ньятенери меня не касаются. Она этих двоих с потрохами слопает, а зубов у нее хватит — она всегда при луке, при кинжале... Я спросил у парня:

— Она тут?

Временами я могу читать его мысли — чаще, чем ему нравится, — но по его лицу я ничего разобрать не могу вот уже много лет. По тому, как он посмотрел на меня, я не мог понять — то ли он благодарен мне за то, что я явился вовремя, то ли злится, что я не уделил достаточно внимания его пострадавшей шее, то ли встревожен — а может, и ревнует, — из-за того, что эти сомнительные гости говорят о своем близком знакомстве с госпожой Ньятенери. Он покачал головой.

— Они уехали утром. Когда вернутся — не знаю.

Голос у него звучал хрипловато, но в общем, нормально — видно, дышал он как полагается. Со мной в его годы случались вещи и похуже — и ничего, живой, как видите.

Криворотый сказал:

— Мы подождем? В комнате?

Не подумайте, что он спрашивал дозволения — к тому времени, как он договорил, эта парочка миновала уже полкоридора. Я сказал:

— Нет. Не в комнате.

На этот раз я кричать не стал, но они таки услышали и обернулись. Это отец меня научил — как привлечь внимание постояльца, не распрощавшись ни с постояльцем, ни с собственным языком.

— В комнаты посторонних не пускают, — сказал я. — В вашу тоже никого не пустят, если вы здесь остановитесь. Можете подождать внизу, в зале. Я поставлю вам по кружке эля.

Это я добавил из-за того, как они на меня глядели. Как я уже говорил, я человек не храбрый, но жизнь меня научила, что хорошая шутка и добрая выпивка могут загладить почти любое недоразумение. В придорожный трактир вроде моего люди редко являются за неприятностями — до города всего пять миль, а уж там-то неприятностей пруд пруди. Правда, за стойкой хранится дубинка из дикового дерева, которая пару раз мне здорово пригодилась, но в те дни мне пришлось бы выкапывать ее из-под посудных полотенец, фартуков и скатерти, которую я держу для званых обедов. В последний раз мне было настолько не по себе, когда у меня набился полный зал чумовых бурлаков из Арамешти и им вздумалось поохотиться за служанкой, которая работала у меня до Маринеши. Криворотый покачал головой и слегка улыбнулся. И сказал:

— Нет, спасибо! Мы бы лучше...

Тут я покачал головой. Те двое повели плечами. Парень шагнул ко мне и встал рядом — как будто бы от него тут было больше проку, чем от крюка для одежды. Но тут явился Гатти-Джинни с парочкой актеров. Он пытался уговорить их сыграть в баст. Я никогда не пускаю тех, кто живет в конюшне, в трактир раньше заката, но этих я приветствовал, точно особ королевской крови, крикнув вниз, что их комнаты готовы и обед поспевает. Актеры уставились на меня, а я снова обернулся к этим ненаглядным южанам и поманил их за собой. Нет, шевельнул пальцем — это разные вещи.

Ну вот, они, значит, переглянулись, поглядели вниз, на Гатти-Джинни вместе с его новыми клиентами — я по меньшей мере раз в месяц устраиваю ему за это выволочку, но он по-прежнему считает своим священным, неотъемлемым правом обирать моих постояльцев за картами, — потом обернулись, смерили взглядом меня и мальчишку. Оружия я ни на ком из них не заметил, но в глубине души не сомневался, что они и голыми руками нас всех передушат, не вспотев. Но, видно, они решили, что дело того не стоит — шума много будет. Они направились в нашу сторону. Я отодвинул парня с дороги — размахался своей лопатой, весь коридор запакос-

тил навозом! Те двое прошли мимо, не взглянув на нас и не сказав ни слова. Спустились по лестнице, пересекли зал и были таковы. Даже дверь за ними не скрипнула. Когда я сам спустился вниз и выглянул наружу, чтобы проверить, не пристают ли они к Маринеше, их уже и след простыл.

— Я пойду за ней, — сказал парень. Он то краснел, то бледнел, весь вспотел и дрожал, как бывает, когда ты готов либо наложить в штаны, либо убить кого-нибудь. Он сказал: — Я предупрежу ее, скажу ей, что они ее подстерегают...

Я едва успел поймать его у самой двери. А он ведь даже еще помоев не вынес!

НЬЯТЕНЕРИ

Утром, когда мы уезжали, мальчик исподтишка следил за нами из укрытия. Мне еще подумалось, что это странно. По отношению к нам Россет никогда не держался скрытно — он выставлял свое преклонение напоказ, как птица выставляет перья, — и оно окрыляло и украшало его, как перья окрыляют и украшают птицу. Мои спутницы его не заметили. Может, и стоило бы им сказать, но Лал ехала впереди и напевала себе под нос одну из своих нескончаемо длинных и на диво немелодичных песен, а что до Лукассы, я даже не смогу вам передать, насколько ее присутствие изменяло даже мой запах. У меня мурашки бегали по спине. Теперь-то я, конечно, знаю, отчего это было, но тогда мне казалось, что это у меня просто с непривычки к обычному человеческому обществу.

Для той дикой северной страны Коркоруа может сойти за настоящий город. Людям, привычным к большим городам, он показался бы не более чем базаром-переростком, яркой россыпью круглых деревянных домиков, стоящих вдоль пересохших оврагов, которые здесь называются улицами и дорогами. Домов там больше, чем кажется на первый взгляд; лошадей больше, чем волов, садов и виноградников больше, чем распаханных полей, а трактиров больше, чем чего бы то ни было. Вино, которое там подают, говорит о том, насколько истощенная почва в этих краях, но зато из здешних мелких, зеленых яблок они делают нечто вроде бренди. Наверно, со временем к нему можно привыкнуть и даже полюбить его.

Жители города по большей части народ невысокий, придавленный к земле безумным величием своих гор и неба, но есть в них что-то от прямолинейной дикости здешней природы, и это временами примиряет меня с ними. Моя родная страна похожа на эту, хотя меня еще ребенком увезли на юг, и потому я знаю, что большинство северян держит двери своих душ на запоре, заложенными кирпичом и оштукатуренными, храня весь свой природный жар внутри перед лицом вечной зимы. Эти люди достойны доверия не больше всех прочих — и меньше, чем некоторые другие, — но, поживи я там подольше, они могли бы мне понравиться, как и их бренди.

Тамошний рынок кажется больше всего города, вместе взятого, — и все-таки это город, торговый центр провинции. Россет говорил, что торговля там идет круглый год, а такое нечасто встретишь даже в более мягком климате. Вы когда-нибудь видели, чтобы ткань с медной нитью, какую делают в западном Гакари, продавалась рядом с ящиками лимбри, жутко приторного и вязкого засахаренного фрукта из Шаран-Зека? Там были даже лучшие камланнские мечи и кольчуги. Такого хорошего оружия зачастую и в самом Камланне не достать — настолько велик спрос. Там и для меня нашелся подходящий кинжал — содрали втридорога, но, в общем, он того стоил.

Мы поехали напрямик через город. Если обогнуть его по дороге, можно выиграть часа два, но предупредить об этом нас никто не потрудился. Лал ехала рядом со мной.

— Северяне лимбри не переваривают, — говорю я ей. — В первый раз встречаю его севернее Сиританганы.

Пока мы не познакомились с Лал поближе, ее смех чаще всего казался мне удивленным аханьем или вздохом. Она сказала:

— А он всегда просто обожал лимбри. И вообще ему нравятся такие края, как этот: поля, сады, фермы, пыль и грязь... На твоей памяти он когда-нибудь задерживался подолгу в настоящем городе?

— Когда он только подобрал меня, мы некоторое время жили в задней половине хижины рыбника в Торк-на'Отче.

Лал поморщилась: Торк-на'Отч славится своей копченой рыбой, и более ничем не примечателен. Я говорю:

— Быть может, сейчас его здесь нет, но он здесь был, и

довольно долго — все говорит об этом. Тебе он посылал сны, потому что так проще всего было разыскать тебя в твоих скитаниях, но я много лет жила на одном месте, и мне он писал письма. Они до сих пор со мной. Он писал отсюда, из Коркоруа: он описывал и рынок, и людей, и даже свой дом. На этот счет я ошибаться не могу. Не могу!

Должно быть, я невольно повысила голос, потому что Лукасса обернулась и посмотрела на меня своими светлыми глазами, которые все время были расширенными и все время, казалось, видели не меня, как я есть теперь, а меня тогда: запуганное существо, привыкшее постоянно оглядываться через плечо. Лал сказала:

— Я тебе верю. Но ты так и не смогла найти тот дом, а ведь мы дважды объехали все, от рынка до летних пастбищ. Теперь я по слову Лукассы еду в старую красную башню, как ты предложила, потому что не знаю, что еще можно сделать. Если мы не найдем его следов в той башне, я немедленно вернусь в трактир и напьюсь. Мне нужно много времени, чтобы напиться, так что лучше начать пораньше.

На это мне возразить было нечего. Молодой торговец вцепился в мое стремя, протягивая мне клетку со щебечущими птицами. Лошадь Лукассы ухватила под уздцы торговка, предлагая шелковые юбки. «Две штуки почти в ту же цену, как одна, моя красавица! Сплошные рюшики да оборочки — будет где милому поиграться!» Лукасса на нее даже не взглянула. Мы ехали следом за Лал вдоль лотков с овощами, пробирались, растянувшись цепочкой, между виноторговцами и палатками, заваленными по самую крышу овечьими шкурами и чесаной шерстью. Временами наши лошади вовсе останавливались, застряв в толпе или боясь наступить на когонибудь из базарных ребятишек, вопивших и шнырявших прямо под ногами. Но наконец слева открылся узкий мощеный переулок, ведущий к садам и на белую дорогу, уходящую к желтым холмам. Выехав на дорогу, мы ненадолго пустили лошадей в галоп. День был славный. Мне даже захотелось петь.

Когда Лал натянула повод, мы были почти у самых холмов, и впереди показались дома, которые мы уже обшаривали по два раза, более или менее с согласия их обитателей. Дома были побольше, чем в городе, но все равно в основном

деревянные — только изредка попадались кирпичные или каменные усадьбы. И все они были круглыми, с цветными, сводчатыми крышами, которые делали их чуточку похожими на булки, поднявшиеся в печи. И такими же унылыми, как булки — по крайней мере, на мой вкус: стоит провести хотя бы один день, не говоря уж неделю — среди этих кругленьких, уютненьких домиков — и начинаешь тосковать по карнизам, островерхим кровлям, шпицам, шпилям — короче, по углам. Хотя, конечно, в соседних горах этих углов сколько угодно, хоть завались. Они съедают слишком много неба, даже на расстоянии, и снег, лежащий на вершинах, их не смягчает: это лед, сверкающий, точно слюна, на их тощих боках. Они похожи на огромных диких вепрей.

Лал коснулась плеча Лукассы и сказала:

— Сегодня ты не просто наша спутница — ты наш предводитель. Веди, а мы пойдем за тобой.

Она нарочно произнесла это довольно небрежным тоном, но в глазах Лукассы вспыхнул такой ужас, что мы с Лал поспешно обернулись, думая, что нам грозит какая-то опасность. Когда мы снова повернулись к Лукассе, она была уже далеко, и мы догнали ее только в холмах, миновав первые дома.

Накануне вечером я была усталой и раздраженной, и предложение вернуться в красную башню было скорее злой шуткой. Лал не говорила Лукассе, куда ехать, но Лукасса уверенно свернула на нужную тропу, словно уже не раз там бывала. Ближе к башне она перешла на медленный шаг, как на рынке в Коркоруа. Глаза у нее сделались пустые, рот приоткрылся — я видела такие лица у прорицателей в тех краях, где искусство прорицания пользуется почетом, когда они отыскивают воду в местах, где воды нет и быть не может. Позади меня слышалось частое дыхание Лал.

Красная башня стояла полуразрушенной и держалась на честном слове, но даже если бы она была целой и невредимой, она все равно выглядела бы странно и неуместно среди этих суровых серых гор. В тех краях все льнет к земле и старается казаться как можно неприметнее: дома похожи на свежие караваи, а крепости — на караваи, зачерствевшие до каменной твердости. А эта башня — башня с наружной лестницей, окнами на каждом повороте и чем-то вроде обсерва-

тории наверху — словно явилась из южных волшебных сказок, из тех краев, где ночами можно достаточно долго смотреть на звезды, чтобы сочинять о них истории. Именно такой дом он и должен был построить для себя, этот дерзкий, невозможный старик. Мне следовало догадаться об этом еще вчера, раньше Лукассы, раньше кого бы то ни было.

Лукасса спешилась в тени башни, и мы прокрались во двор следом за ней. По крайней мере, кругом было так тихо и Лукасса так медленно вошла в полуобрушившиеся высокие ворота, что казалось, будто мы крадемся. Ворота выглядели ветхими, их оплетал дикий виноград, но мы уже знали, что ходить там достаточно безопасно, — иначе бы не пустили Лукассу вперед. На внешнюю лестницу она внимания не обратила, а направилась прямиком к стене, открыла почти незаметную дверь, о которой мы ей даже не говорили, и уверенно принялась подниматься по ступенькам, не говоря ни слова и не оглядываясь.

Мы молча следовали за ней. Лал смахивала с дороги паутину, а я прикрывала лицо от совиного и мышиного помета, который Лукасса стряхивала, поднимаясь по ступенькам. Ступеньки были скользкими от помета. Лестница оказалась такой же длинной, утомительной и вонючей, как и в первый раз. Мне не раз вспоминался взгляд темно-карих глаз мальчика Россета, каким он проводил нас на рассвете. Он, верно, воображал, что мы направляемся навстречу удивительным приключениям, — ему ведь казалось, что вся наша жизнь состоит из одних приключений. Мальчик слишком много думает — и совсем не замечает своей собственной обыденной красоты. Это делает его вдвойне привлекательнее. Будто мало мне других неприятностей...

В темноте мы с Лал снова, как и в первый раз, стукнулись головами о низкую балку, которая была в конце лестницы. А Лукасса не стукнулась. Легко, хотя ей пришлось согнуться почти вдвое, она скользнула влево, так быстро, что на несколько секунд мы потеряли ее из виду. Переведя дух, я шепнула Лал:

— Найдем мы нашего друга или нет, все равно ты мне когда-нибудь расскажешь, откуда она это знала. Уж в этом-то ты не имеешь права мне отказать.

Конечно, башня была с секретом: в полуразвалившихся

13 – 7877

стенах скрывалась тайная сердцевина. По внешней лестнице нельзя было выйти на площадку, где мы сейчас стояли, — а только отсюда и можно было попасть в комнатку, куда ушла Лукасса. Мы с Лал вчера полдня шарили, простукивали стены, рассуждали, спорили — а под конец только ругались и терялись в догадках, — прежде чем нашли ту комнату. А это невинное, несведущее дитя прошло прямиком туда, точно к себе домой! Лал тихо ответила:

— Это не моя тайна, и не мне о ней рассказывать. Спроси у нее самой.

Но сейчас я не решилась бы даже попросить Лукассу передать мне сыр или помочь подтянуть подпругу. И Лал это знала.

В комнате было очень холодно. У магии нет запаха, как думают многие, но она оставляет после себя холод, про который мой смеющийся старый друг часто говаривал, что это дыхание той стороны, того места, откуда приходит к нам магия — «как соседский кот, которого приманивают из-за забора кусочком курятины, чтобы он ловил наших мышей». На соломенной циновке валялась опрокинутая тренога с котелком, на дальней стене болтался полуоборванный шелковый гобелен в темно-синих тонах. Несколько колб на длинном столе, высокий деревянный табурет, разбитый стакан. Пол разрисован узорами, начерченными мелом и углем. Что они означают, мы с Лал так и не догадались. Узоры были затоптаны и полустерты.

Лукасса стояла в середине красно-черного рисунка — словно ребенок накалякал цветными чернилами. Она взглянула на нас. Лицо ее было ужасно: лицо пророчицы, которая готовится изречь жуткое предсказание. Оно морщилось и менялось, как вода, под ветром нечеловеческих ритмов и велений. Она закричала на нас — она, наша бледная спутница, ни разу не повысившая голоса, даже тогда, когда бросала вызов мне в лицо.

— Почему вы ничего не видите, ничего не чувствуете? Это было! Это было здесь!

Могу поклясться, что каменные стены содрогнулись от этого крика, точно добрая лютня, которая вздыхает у тебя в руках, отзываясь чужому голосу.

— Лукасса, — мягко сказала Лал, — мы действительно ничего не видим. Что здесь произошло, Лукасса?

Тут я должна высказаться в защиту себя и Лал — хотя бы из чистого тщеславия. Если бы мы всегда были так нечутки к недавним событиям, происходившим в других местах, мы никогда бы не оказались на пороге той холодной комнатки. Но тут — то ли какие-то остатки магии притупили нашу бдительность, когда мы в первый раз побывали там без Лукассы, то ли — и я предпочла бы верить второму, — именно ее присутствие заставило проступить на столе буро-красное запекшееся пятнышко, на полу — царапины от когтей, на шелковом гобелене — сокрытый зелено-золотой рисунок, изображающий человека с драконьими крыльями, сцепившегося с чем-то вроде мерцающей тени. Видимо, та же тварь, что наполовину сорвала гобелен со стены, разодрала его надвое, сверху донизу, и казалось, что кровь сражающихся вот-вот польется нам на руки. Мы растерянно стояли у стены. Я произнесла короткую молитву — для собственного успокоения, не рассчитывая быть услышанной, — но Лал выдохнула нечто, что, по-видимому, означало «аминь», хотя на каком языке — я не знаю.

Ярость Лукассы, похоже, немного улеглась. Когда она снова заговорила, сказав: «Вот тут и тут», она была больше похожа на ребенка, доведенного до отчаяния медлительностью и тупостью взрослых.

— Вот тут стоял ваш друг, а вот тут — его друг, а вон там, — она небрежно кивнула в ближний угол, — то место, откуда явились Другие.

Для нее это было так очевидно!

В том углу, сложенном из камня, шифера и цемента, как и все прочие углы, воздуха нет вообще. Только холод. Быть может, сейчас башня уже обрушилась, но тот угол цел и поныне. Мы с Лал переглянулись, и я поняла, что мы подумали одно и то же: «Это не угол и не стена — это дверь. Открытая дверь». Позади нас Лукасса нетерпеливо сказала:

— Вон там, где вы стоите, — смотрите, смотрите!

Она подошла к нам и указала в пустоту, такую свирепую пустоту, что я едва не схватила Лукассу за руку, боясь, что это древнее, грозное ничто откусит ее. Но вместо этого я повернулась к ней и сказала так мягко, как только могла:

— Что это был за другой, Лукасса? Как он выглядел?

Девушка сердито топнула ногой.

— Не «он», не «другой» — Другие, Другие! Двое людей сражались, они были очень злы, а потом пришли Другие!

Она по очереди смотрела на нас, только теперь начиная пугаться — ребенок, впервые заметивший страх на лицах взрослых. Она прошептала:

— Нет.., Нет...

— Из такой тьмы ничто не является без зова, — сказала я Лал поверх головы Лукассы. — Кто-то должен был их призвать.

Лал кивнула. Я спросила у девушки:

— Кто призвал этих, Других? Который из двоих людей?

Но Лукасса ухватилась за руку Лал и не смотрела на меня.

Я повторила вопрос, а потом его задала Лал — но Лукасса молчала, несмотря на все уговоры Лал. Наконец Лал махнула рукой и спросила Лукассу:

— Ты говоришь, тут сражались двое людей. Почему они сражались, и как? И кто из них победил?

Лукасса по-прежнему молчала. Я пожалела, что не взяла с собой лиса. Она вечно бормочет что-то ему на ухо. Теперь он наверняка знает о ней куда больше нас обеих. И так будет и дальше — настолько-то я его знаю.

— Магия, — сказала Лал. — Это был магический поединок.

Лукасса вырвала у нее свою руку — не столько нарочно, сколько потому, что ее всю трясло. Голос Лал сделался резче.

— Лукасса, один из этих двоих — человек, которого мы искали так долго, тот самый старик, который пел овощам в огороде. Если бы не он...

Она покосилась на меня, поколебалась, потом развернула Лукассу лицом к себе и сжала ладони девушки своими. И сказала медленно и отчетливо:

— Никто, кроме тебя, не поможет нам отыскать его. Если бы не он, ты сейчас лежала бы мертвой на дне реки. Все, что будет дальше, зависит только от тебя.

Ее слова звенели, как удары подков по холодным камням.

В стенах, настолько пропитанных магией, не стоит задерживаться дольше необходимого — если, конечно, ты сам

не опытный волшебник. А в иных случаях и тогда не стоит. Это порождает лживые видения у тебя в сердце — не знаю, как сказать лучше. В тот миг мне показалось — да нет, так оно и было, — что Лал держит Лукассу в горсти, точно воду, и что, если Лукасса прольется или просочится сквозь сжатые пальцы, она растечется по всем темным углам и останется там навеки. Но Лукасса не пролилась. Она опустила голову, потом снова подняла ее и твердо посмотрела нам в глаза своим странным, видящим прошлое взглядом. Я не решусь утверждать, что это была прежняя Лукасса, потому что к тому времени я уже кое-что начала понимать. Кем бы ни была эта девушка, она перестала быть той, кем она родилась.

— Он сражался очень отважно, — произнесла она, ни к кому не обращаясь. — Он был очень умен и ловок. Его друг тоже был умен и ловок, но он был не настолько уверен в себе и к тому же боялся. Они стояли тут, лицом к лицу, и превращали эту комнату то в недра солнца, то в океанское дно, то в ледяные уста демона. Стены вокруг кипели, воздух рассыпался на ножи — много-много крошечных ножичков, и дышать было нечем, кроме этих ножичков. И целую тысячу лет тут царила тишина, не было слышно ни звука, потому что воздух весь превратился в ножи. И старик устал и исполнился печали, и воскликнул: «Аршадин! Аршадин!»

Этот крик, даже повторенный ее чистым, тихим голосом, заставил меня зажмуриться.

Лукасса продолжала:

— Но его друг не обратил на это внимания и продолжал теснить его — тьмой, и пламенем, и такими видениями, от которых душа его сгнила и вытекла, отравляя бледных тварей, которые пожирали ее у него на глазах. И тогда старик сделался ужасен от страха, горя и одиночества, и метнул в ответ такую молнию, что его друг на миг утратил власть над ним и испугался еще больше него, и призвал на помощь Других. Это все тут, в камнях, это написано повсюду.

Я смотрела на следы от когтей, выжидая, когда Лал задаст следующий вопрос. Но она молчала. И когда я посмотрела ей в лицо, то увидела надежду, что этот вопрос задам я. И еще я увидела, что она страшно устала. Для Лал очень важно всегда казаться неутомимой, и никогда прежде она не позволяла мне заглянуть под эту маску. Она ведь не может

быть намного старше меня. А между тем я была еще юной, когда впервые услышала о Лал-Одиночке. Интересно, когда она в последний раз кого-то о чем-то просила?

— Вчера вечером ты говорила о смерти, — сказала я. — Так кто же все-таки умер здесь, старик или тот, кого ты зовешь его другом?

Лукасса посмотрела на меня и чуть заметно покачала головой, словно моя слепота исчерпала ее запасы недоверия, гнева и жалости, оставив лишь тупое терпение. Тот человек, которого мы искали, часто смотрел на меня так.

— Умер-то друг, — сказала она равнодушно и устало. — Но он снова встал.

Надо признаться, что ахнула только я. Лал не издала ни звука, только на миг оперлась на стол. Лукасса сказала:

— Друг призвал на помощь Других, и они убили его, но он не умер. Старик... старик бежал. Его друг погнался за ним. Куда — я не знаю.

Внезапно она опустилась на пол, уткнулась лицом в колени и расплакалась.

ЛИСОНЬЕ

А-а, милый мой, если бы вы сразу помянули про ноги, я бы вам тут же все и рассказала! Имен-то ведь я не запоминаю, только свои реплики. И выдающиеся исторические события, вроде ног того парнишки — славные были ноги, длинные, чуть по земле не волочились, когда он въехал в мою жизнь на своем забавном сером коньке. Это было одно из тех событий, про которые ты сразу понимаешь, что они останутся с тобой навсегда. Я смывала вчерашний грим со своей старой физиономии — да-да, спасибо, вы очень любезны, — так вот, я смывала вчерашний грим у кадки с дождевой водой, что стоит рядом с навесом для дров, и тут увидела из-под нижнего края своего полотенца эти ноги. Я полотенце-то поднимаю — вот так вот, медленно, — и смотрю, когда же эти ноги кончатся, а они все тянутся и тянутся, до самых плеч. А сам-то — кожа да кости, бедный малыш, лохматый, как его конек, и ни кусочка мяса на костях. Мне часто кажется, что я всю свою жизнь только и делала, что скиталась,

скиталась, скиталась, сколько себя помню — а помню я себя давно, чуть ли не с сотворения мира, — но когда я хорошенько разглядела этого мальчика, то подумала, что все мои дурацкие скитания не составят и сотой доли того, что пришлось пройти ему. Я ведь не только в актерском ремесле смыслю, но и кое в чем еще, что бы вам про меня ни рассказывали.

Ну так вот, смотрим мы друг на друга и смотрим, смотрим и смотрим, и так бы мы там и стояли по сей день, если бы я не заговорила. Я так думаю, что они просто приехали и встали посреди двора, потому что ни он, ни его конек не могли сделать больше ни шага, и не осталось у них ни единой мысли, ни капельки надежды — кураж у них иссяк, понимаете? А когда кураж иссяк — тут уж дело совсем плохо, можете мне поверить. Глаза-то у него были живые, но они не знали, зачем живут — только одна жизнь в них и была, а больше ничего. Такие глаза я только у животных видела, а у людей — ни разу. Безмятежная жизнь, ничего не скажешь.

Что я сказала-то? А, чепуху какую-то — сейчас и вспомнить стыдно. Что-то вроде: «Ну что, в следующий раз ты меня признаешь?» или «В наших краях, когда смотришь на женщину так долго, принято жениться». Что-то вроде этого или даже еще глупее — да это и неважно, потому что не успела я договорить, как он взял и свалился с лошади. Просто начал вот этак съезжать, съезжать, съезжать набок и съезжал до тех пор, пока не рухнул наземь. Я успела его подхватить, усадила, прислонив к кадке, и плеснула водой ему в лицо. Ну, в этом-то ничего удивительного нету — все то время, что я не была в дороге или не разучивала новые пьесы, я утирала рот какому-нибудь очередному мужику. Пустая трата времени, если так подумать.

Хотя у этого паренька ротик был довольно славный, да и мордашка ничего. Простая деревенская мордашка — точнее, была когда-то. Я ведь и сама родилась на ферме, где-то неподалеку от Кейп-Дайли — по крайней мере, так мне рассказывали. Правда, на следующий день мы оттуда уехали, так что наверняка не скажешь. Вскоре мальчик открыл свои темные деревенские глаза, посмотрел прямо мне в лицо и произнес: «Лукасса». Спокойно так, словно это и не он только что упал

в обморок от голода и изнеможения. Нет, настоящие живые люди — это для меня иногда слишком.

Ну, по крайней мере, это имя я знала не хуже своего собственного — и, заметьте себе, куда лучше, чем хотелось бы. Я достаточно стара, чтобы не стыдиться признаться, что мне пришлось провести немало ночей, слушая, как очередной дурак рядом со мной ворочается и шепчет чужое имя до самого рассвета. Но то, по крайней мере, бывало по моему собственному выбору, пусть даже это и глупо. И совсем другое дело, чем каждую ночь — каждую ночь! — просыпаться оттого, что этот парнишка Россет мечется в соседнем деннике и вскрикивает: «Ньятенери!.. Лукасса, милая Лукасса... о Лал... О Лал!» Говорить с ним об этом было так же бесполезно, как будить его. По утрам он вскакивал свеженький, как огурчик, а вот мы чем дальше, тем больше выглядели так, словно всю ночь занимались тем, что ему снится. Мужчины начали поговаривать об убийстве. Я возражала, но чем дальше, тем слабее.

— Лукасса уехала с подругами, — сказала я. — Они могут вернуться вечером или завтра утром — в общем, я не знаю, когда. Посиди тут, я тебе поесть принесу. Ты меня слышишь?

Потому что, понимаете ли, я не была уверена на этот счет. Я подозревала, что эти невыносимые темные глаза попросту не видят меня.

— Оставайся тут! — твердо сказала я и побежала искать Россета.

Россет был неплохой парнишка, если не считать этой его одержимости — которую он, надо думать, теперь уже перерос, если, конечно, до сих пор жив. Он тут же бросился собрать каких-нибудь объедков от вчерашнего ужина (тех самых, которые должны были подать нам на ужин сегодня — так здесь кормят тех, кто живет в конюшне) и даже ухитрился раздобыть кружку довольно жидкого красного эля. А я тем временем позаимствовала немного овса для лошади и тунику из нашего сундука — ту самую, которую я ношу в «Двух дочерях леди Вигги», где я на протяжении половины пьесы переодета мужчиной. Эту пьесу мы играем редко — разве что кто-нибудь нарочно закажет, — так что перед у туники был почти чистый, как ни странно.

Когда я вернулась, Россет уже кормил наше долгоногое привидение супом с ложечки, а кое-кто из наших подобрался поближе и начал задавать вопросы. Парень не обращал на них внимания, а едва увидев меня, сразу спросил:

— Подруги. Сколько?

— Сколько надо, — отрезала я чуточку резковато. Старею, должно быть, раз обычное «спасибо» начало значить для меня больше, чем эпическая погоня за похищенной принцессой, даже если у героя — такие красивые ноги, каких я лет двадцать не видела и еще столько же не увижу.

— Черная женщина, — парень нетерпеливо кивнул. — ...И еще одна, высокая, смуглая, нечто вроде воительницы.

Конечно, плохо быть такой мелочной, но мне уже хватало Россета, у которого при одной мысли о них глаза сразу делались щенячьи, а тут еще и этот приехал. Я вдруг почувствовала, что меня это все ужасно раздражает. Слишком похоже на пьесу, которую приходится играть по нескольку раз подряд. Я сказала:

— Мое имя Лисонье, а того парня, что тебя кормит, зовут Россет. Ты можешь назвать свое имя?

— Тикат, — ответил он и тут же заснул.

Тригвалин, наш первый любовник, попытался влить в него немного бренди, но я не позволила. Он это бренди сам делает, и теперь мы не можем позволить себе появляться в некоторых городах и даже целых провинциях исключительно из-за щедрости Тригвалина. Я сказала Россету:

— Пусть поживет пока у тебя на чердаке. Хозяин и не узнает.

Россет только взглянул на меня и сказал:

— Карш всегда все знает.

Тут Тикат снова проснулся и объявил:

— Я из... — и назвал место, которого я не вспомню, хоть убей. — Я приехал за Лукассой.

Да, вот так просто. Все то время, пока мы затаскивали его в конюшню, сдирали с него одежду — он, бедняжка, весь был в царапинах и открытых ранах, так что местами его тряпки попросту присохли к телу, — и отмывали его, он не переставая твердил:

— Скажите Лукассе, что я приехал за ней.

Долго же ему пришлось ехать, этому деревенскому мальчику!

— Придется сказать Каршу, — вздохнул Россет.

— У парня нет денег, — заметила я. — У него вообще ничего нет, кроме лошади и собственной шкуры. Как ты думаешь, твоему хозяину этого хватит?

Мы играли в Коркоруа с незапамятных времен и всегда останавливались в этой конюшне. До сих пор недолюбливаю этого медлительного толстяка. Он не вороват — это, собственно, единственная причина, почему мы останавливаемся именно у него, — но на этом его добродетели и заканчиваются, насколько мне известно. Нет в нем ни воображения, ни щедрости и уж точно ни капли милосердия. Он лучше сдаст свою лучшую комнату семейству скорпионов — разумеется, если скорпионы заплатят, — чем позволит безденежному бродяге переночевать под самым дырявым навесом во дворе. Карш — он такой, его все знают.

— Сейчас ему лишние руки как раз не помешают, — сказал Россет. — Тут на рынок приехали три компании одновременно и пробудут у нас с неделю, если не целых две. Маринеше одной с ними не управиться, а я сам буду слишком занят, чтобы ей помогать. Если он сможет работать хотя бы чуть-чуть, я, пожалуй, поговорю с Каршем.

— Я могу работать, — сказал Тикат. Он попытался встать, и ему это даже почти удалось. — Но это только до тех пор, пока не вернется Лукасса. Потому что тогда мы вместе поедем домой.

Да, вот так вот, прямо и просто.

Тут ко мне подошел Дардис и пробубнил:

— Через пять минут репетиция.

И смылся прежде, чем я успела ткнуть его под ребра и сказать все, что я об этом думаю. Нет, вы скажите: человек двадцать лет играл «Злого лорда Хассилданию» на всех перекрестках от Граннаха до холмов Дюрли — и до сих пор боится выдохнуться к последнему акту, как случилось всего-то один раз в Лимсатти. А что это значит? А это значит, что нам — именно нам! — приходится повторять и повторять эту проклятую старую пьесу каждую свободную минуту — и, видимо, нам придется повторять ее до могилы. Но зато это дало мне удобный повод перестать спать с ним. Право же, лучше

сны Россета, лучше лошади, пускающие ветры, лучше все, что угодно, чем эти строки, которые бормочут тебе на ухо посреди ночи. И, кстати, после этого мы только крепче сдружились. Странно, как иногда выходит с такими вещами.

Россет натянул на Тиката тунику и кивнул мне, чтобы я шла по своим делам, сказав:

— Ступайте, все в порядке. Я дам ему немного отдохнуть, а потом мы вместе пойдем к Каршу. Все в порядке.

Когда я оглянулась назад от дверей конюшни, мальчик сел и снова попытался встать, да только запутался в своих замечательных ногах, точно новорожденный козленок, который уже знает, что ему надо бежать прямо сейчас, а иначе смерть. Насколько я знаю, в мире нет ни единой души — ни мужчины, ни женщины, — которая стоила бы подобной преданности. Но, с другой стороны, что я знаю-то, кроме своих реплик?

ТИКАТ

Когда я очнулся, то спросил про Кролика. Парнишка-конюх сказал, что Кролик уже успел укусить двух лошадей и одного актера, так что я заснул снова.

Когда я проснулся во второй раз, вокруг были сумерки и тишина, если не считать того, что временами внизу фыркали и переминались с ноги на ногу лошади. Актеры, или кто они там, все куда-то подевались, а парнишка, Россет, насвистывал где-то на улице. Я медленно спустился с чердака, отстраненно отметив, что на мне — слишком тесная для меня туника, задубевшая от чужого пота. Помнится, там еще была собака: каждый раз, как она гавкала, моя голова раздувалась, становясь огромной, точно целый дом, а потом снова сжималась. В деннике недалеко от двери я увидел Кролика. Он заржал, увидев меня, но до него было слишком далеко, и я не мог его погладить. Я прислонился к двери и сказал:

— Хороший Кролик, хороший...

Отсюда, от дверей конюшни, трактир выглядел больше любого здания, какое я когда-либо видел. Две трубы, свет во всех окнах. Ночной ветер донес до меня смех и запах дыма, погладил мое лицо и добавил немного сил моим ногам. Я на-

правился к трактиру, потому что думал, что Лукасса может быть там.

Россет нашел меня под деревом рядом со свиным загоном. Меня, кажется, стошнило, но сознания я больше не терял — точно помню! Я прекрасно сознавал, кто я такой и где я, но при этом понимал, что лучше будет еще некоторое время постоять на четвереньках. Россет присел на корточки рядом со мной.

— Тикат! Я ведь два раза пробегал мимо этого места, тебя искал. Что ж ты меня не окликнул?

Я не ответил. Он просунул руки мне под мышки и попытался поставить меня на ноги. Я оттолкнул его — должно быть, сильнее, чем рассчитывал: он сел на пятки и некоторое время сидел, глядя на меня и не говоря ни слова. Он был на пару лет моложе меня и сложением очень похож на Кролика: коротконогий и широкогрудый, с шапкой лохматых золотисто-рыжих волос, широким ртом и быстрыми темными глазами. Доброе, любопытное и раздражающее лицо — таким оно показалось мне тогда. Я сказал:

— Мне помощь не нужна.

Россет беззлобно усмехнулся. Он не обиделся.

— Ну, тогда вы с Каршем прекрасно сойдетесь. Он как раз никому не помогает. Идем, — и он протянул мне руку.

— Не нужен мне твой Карш, — сказал я. — Мне нужна Лукасса и моя лошадь, и больше ничего.

Тут я встал на колени и мы посмотрели друг другу в лицо. А свиньи хрюкали в сгущающемся мраке и просовывали рыла сквозь корявые столбы загородки, пытаясь дотянуться до места, где меня стошнило.

— Лукасса еще не вернулась, и ее подруги тоже, — возразил Россет. — А что до того, что тебе нужно, а что нет, то, поверь мне, единственное, что сейчас важно — это чтобы Карш разрешил тебе кормиться и ночевать здесь, пока ты не поправишься. Ну же, Тикат!

Внезапно он сделался совсем мальчишкой, и к тому же мальчишкой встревоженным.

Я встал — без его помощи, но на третьем шаге у меня подломились ноги. Россет меня подхватил, но мне уже надоело, что меня все время поднимают, гладят по головке и

сажают на другое место, точно младенца. Я снова отпихнул его.

— Я могу и на четвереньках, — сказал я. — Я уже полз на четвереньках.

Россет шумно выдохнул — в точности как Кролик, когда он мной недоволен. Потом взял меня под мышки и поставил прямо, не обращая внимания на мое сопротивление. Эти мальчишеские руки с обломанными ногтями были куда сильнее, чем казались на первый взгляд. Он сказал мне на ухо:

— Я это все делаю не ради тебя, а ради Лукассы. Ты ее друг, и потому я должен помогать тебе, пока она не вернется. А потом можешь делать со своей дурацкой гордостью все, что твоей душе угодно. Пошли. Либо ты обопрешься на меня, либо мне придется все время тебя поднимать. Пошли.

Россет подпер меня плечом, и я почувствовал, как он беззвучно хихикнул.

— Вы с Каршем вдвоем будете смотреться просто замечательно! — сказал он. — Жду не дождусь!

Изнутри трактир оказался меньше, чем выглядел снаружи. Мы вошли через кухню. Кухня была полна густого, жирного дыма. Мимо протолкнулась женщина, потом мужчина, но я их не разглядел как следует — глаза очень слезились. Кто-то яростно рубил мясо и что-то кричал, но стук ножа заглушал его голос. Россет провел меня в зал под руку, точно слепого. В зале дым развеялся достаточно, чтобы я смог увидеть человек десять, а то и больше, сидящих за ужином. Столы и стулья были грубые, неструганые, ножки разной длины — это мне особенно бросилось в глаза, я тогда еще подумал: «А у нас в деревне куда лучше делают!» После кухни в зале мне показалось холодно, хотя в очаге пылал огонь. Потолок был низкий, из горбылей, почерневших от сажи, поддерживаемых толстыми неошкуренными столбами. С балок свисали три лампы. Они медленно покачивались на сквозняке, отбрасывая на оштукатуренные стены длинные шевелящиеся тени. Под ногами шуршал тростник.

На нас никто внимания не обратил. Гости мало чем отличались от тех, кто останавливался ночевать у бабушки Тайвари — единственной в нашей деревне, кто сдавал комнаты путникам. Несколько торговцев, за длинным столом — толпа пьяных гуртовщиков, моряк, святые люди, мужчина и жен-

щина, совершающие паломничество в горы. А из дальнего угла наблюдал за всем происходящим толстый бледный человек в грязном фартуке. Россет повел меня к нему, заискивающе улыбаясь и в то же время говоря уголком рта:

— Запомни одно. Он терпеть не может, когда ему перечат, но тех, кто ему не перечит, презирает. Не забывай про это.

Толстый человек внимательно следил за нами.

Когда мы подошли вплотную, толстяк оказался выше, чем я подумал сначала, — точно так же, как его трактир оказался меньше. Сырое тесто. Сплошное сырое тесто. Не человек, а пряник, которому чудом удалось уберечься от печки. Лицо его было похоже на мучной пудинг, с бородавками и родимыми пятнами вместо изюминок. Но глаза, воткнутые в него, были круглые, голубые и удивленные — глаза маленького мальчика под морщинистыми, тяжелыми веками ворчливого старика. Не знаю, может быть, на другом, более добром лице они выглядели бы вполне обычными. Не знаю. Я знаю только, что никогда в жизни не видел таких глаз, как у толстого Карша-трактирщика.

— Хозяин, это Тикат! — поспешно выпалил Россет. — Он пришел с юга, ищет работу.

Детские голубые глаза еще раз окинули меня взглядом, тонкие губы едва разомкнулись, но хриплый голос толстяка легко перекрыл шум в зале:

— Что, еще один бродяга с навозной кучи? Да ему и ночного горшка не вынести!

И голубые глаза забыли обо мне.

Россет похлопал меня по руке, подмигнул и передвинулся так, чтобы Карш его видел.

— Он просто устал, хозяин! Он измучился в дороге, это да. Но стоит его накормить и дать как следует отоспаться, и он сгодится для любой работы, что в доме, что во дворе. Честное слово!

— Честное слово, честное слово! — недовольно пробурчал трактирщик, но все же посмотрел на меня, на этот раз повнимательнее. Наконец он пожал плечами. — Ну что ж, пусть отсыпается и добывает себе еду, где хочет, а завтра поглядим. Может, для него и найдется какая-нибудь работа, не знаю.

— Он может переночевать со мной на чердаке... — начал Россет, но Карш перевел взгляд на него, и Россет умолк.

Карш сказал:

— Пусть сперва отработает день, потом ночует. Пусть приходит завтра, я же сказал.

И детские глаза почти скрылись за набрякшими, морщинистыми веками.

Россет начал было что-то говорить, но я отодвинул его в сторону. Голова у меня по-прежнему кружилась, то распухая до размеров звенящего колокола, то сжимаясь, как засохший каштан.

— Толстяк, — сказал я, — слушай меня внимательно. Я проделал долгий и тяжкий путь в одиночестве и явился сюда не затем, чтобы спать и есть в твоем хлеву. Я буду работать на тебя, я буду хорошо работать, лучше, чем кто-либо из твоих слуг, но только до тех пор, пока не вернется моя Лукасса. А тогда мы вместе уедем домой. И пока я работаю на тебя, начиная с этой ночи, я буду спать у тебя в конюшне и есть наравне со всеми, кого ты кормишь.

Россет отчаянно закашлялся и прикрыл лицо рукавом, чтобы не было видно, что он смеется.

— Если ты не согласен, — продолжал я, — то так и скажи — и пропади ты пропадом. Я и без денег сумею найти место получше твоей навозной кучи. Но завтра я вернусь за Луккассой, и послезавтра, и на следующий день. Так не лучше ли тебе извлечь из этого хоть какую-то пользу?

Я говорил и еще что-то, но в голове у меня так гудело, что я сам не слышал, что говорю. Потом Россет снова подхватил меня под мышки и осторожно опустил на стул.

Когда я наконец разлепил веки, трактирщик по-прежнему изучал меня. Его пухлое белое лицо выражало не больше чувств, чем мешок с мукой. Я услышал, как Россет убеждает его:

— Хозяин, нам ведь сейчас нужны помощники — эти две компании собираются остаться надолго...

Ответ прозвучал, как скрежет лодки по камням:

— Без тебя знаю. Помолчи, дай подумать.

Быть может, это просто от усталости — но мне показалось, что при этих словах шум в зале несколько поутих. Трактирщик Карш не понравился мне с первого взгляда — и с тех

пор я своего мнения не переменил, но все же он был не просто пудингом.

— Забирай его с собой, — сказал он наконец Россету. — Пусть поест на кухне и ложится спать, где хочет. А с утра пусть приберется в бане и забьет те дыры, через которые в баню лезут лягушки — у тебя-то до них руки так и не дошли. Ну, а потом пусть отправляется на кухню, к Шадри.

На миг он широко открыл глаза. В его глазах светилось нечто вроде удивления — впрочем, я слишком устал, чтобы думать о том, чем оно вызвано. Он открыл было рот, словно собирался сказать что-то еще — что-то важное, имеющее отношение к Лукассе и ко мне. Но вместо этого снова посмотрел на Россета и буркнул:

— А насчет тех двоих ничего не слышно? Ты их больше не видел?

Россет покачал головой, и Карш без единого слова развернулся и ушел в подсобку. Двигался он мягко и плавно, словно волна, которая ходит от берега к берегу, не разбиваясь и не останавливаясь. Моя мать, которая тоже была толстушкой, ходила точно так же.

— Ух ты! — тихонько выдохнул Россет и засмеялся. — Я знал, что говорю, и все-таки...

И снова умолк.

— Пошли, — сказал он. — Ты заслужил, чтобы тебя накормили до отвала! Эй, Тикат, в чем дело?

Гуртовщики за своим столом затянули непристойную песенку, которую у нас в деревне знает любой малыш. Я подумал о Лукассе — и мне стало стыдно.

— Ладно, Тикат, пошли ужинать! — сказал Россет.

РОССЕТ

Они вернулись, как раз когда мы с Тикатом заканчивали ужинать. Мы выбрались со своими мисками на улицу и сидели под тем деревом, где Маринеша любит развешивать белье. Я услышал их первым — топот копыт трех лошадей и характерное поскрипывание седла Лал — уж как я его ни смазывал, ничего не помогает! Тикат тоже его узнал: он выронил миску, развернулся и увидел, как они въезжают во двор. Нья-

тенери наклонилась, чтобы что-то сказать Лал, и ее глаза и скулы блеснули в луче света. Лукасса ехала чуть позади, бросив повод и глядя в землю. Они проехали мимо, не заметив нас.

Честно говоря, я ненадолго забыл про Тиката. Его заботы насчет Лукассы — это его дело, а мне надо было предупредить Ньятенери про двух улыбающихся человечков, которые приходили ее искать. Я вскочил, окликнул их и бросился следом. Лал и Ньятенери остановились, чтобы подождать меня. За спиной у меня Тикат воскликнул: «Лукасса!» И столько горя, и радости, и облегчения прозвучало в этом единственном слове, что я до сих пор не могу забыть этого возгласа. Хотя тогда я на него почти не обратил внимания. И не оглянулся.

Я вцепился в стремя Ньятенери и единым духом выложил все: что эти люди делали и говорили, как они выглядели, какой у них был говор, каково было дышать одним воздухом с ними — а это было почти так же мучительно, как задыхаться у них в руках. Когда я дошел до этого места, Лал тихо ахнула, а Ньятенери на миг стиснула мое плечо. Очень было приятно. Я заметил, что Ньятенери не удивилась и не испугалась. Когда Лал спросила: «Кто они?», Ньятенери ничего не ответила, только чуть заметно пожала плечами. Лал ничего не сказала, но с этого момента все время, пока я говорил, смотрела не на меня, а на Ньятенери.

Я рассказывал им, как Карш заставил этих двоих убраться из трактира, когда позади нас внезапно вскрикнул Тикат, раздался топот копыт, и Лукасса налетела на нас, едва не выбив из седла Лал. Лукасса даже не извинилась. Пока мы с Ньятенери успокаивали всех трех лошадей, Лукасса не переставая твердила:

— Скажите ему, пусть замолчит! Пусть он замолчит! Он не должен говорить мне такого, пусть он перестанет!

Глаза у нее были совершенно дикие от ужаса, казалось, они вот-вот выскочат из орбит.

Тикат подошел к ней, очень медленно, осторожно, словно подбираясь к дикому животному. Его лицо, вся его длинная фигура выражали крайнее недоумение. Он повторял — осторожно-осторожно, мягко-мягко:

— Лукасса, это я. Я. Это Тикат. Тикат, понимаешь?

Но каждый раз, как он произносил ее имя, она только все больше съеживалась и отодвигалась подальше, прячась за лошадью Лал.

Ньятенери приподняла бровь, но ничего не сказала.

— Этот парень — ее жених, — объяснила Лал. — Он следовал за нами — очень долго. Это был настоящий подвиг.

Она приветствовала Тиката странным, плавным жестом, прижав обе руки к груди — я не раз потом пытался его воспроизвести, но у меня так ничего и не получилось. Никогда больше не видел такого жеста.

— Ты герой, — сказала она ему. — Я раз десять думала, что мы тебя потеряли. Ты умеешь идти по следу почти так же хорошо, как ты умеешь любить.

Тикат обернулся к ней. Глаза у него были такие же безумные, как у Лукассы, но не от страха, а от отчаяния.

— Что же ты натворила? Она ведь знает меня всю жизнь! Ведьма, колдунья, где моя Лукасса? Кто эта девушка, которую ты воскресила из мертвых? Где моя Лукасса?

Я всего три часа как познакомился с этим гордым и сумасшедшим упрямцем — и все же мое сердце готово было разорваться от жалости к нему.

— Так-так-так-так-та-ак... — сказала Ньятенери очень тихо, ни к кому не обращаясь. Лал взяла Лукассу за руки.

— Детка, послушай, это же твой мужчина! Как же ты его не помнишь?

Но Лукасса вырвалась, спрыгнула с лошади и без оглядки помчалась к трактиру. На пороге она столкнулась с Гатти-Джинни. Гатти опрокинулся на спину, точно жук. Лукасса упала на одно колено — Тикат снова болезненно вскрикнул, но с места не тронулся, — вскочила и ввалилась в трактир. Пение гуртовщиков поглотило ее.

В наступившей тишине Ньятенери пробормотала:

— Всюду тайны...

— Да, — ответила Лал. — Именно что всюду.

Она спешилась. Ньятенери, чуть помедлив, последовала ее примеру. Лал вручила мне поводья всех трех лошадей, сказав только: «Спасибо, Россет», и бросилась к трактиру. Ньятенери подмигнула мне и неторопливо зашагала следом. Гатти-Джинни корчился и вопил на пороге.

Я сделал все, что мог. В одну руку взял поводья, другой

обнял за плечи Тиката и повел всех в конюшню. Лошади теснили меня, торопясь в стойло. Тикат же шел так покорно, словно его тоже вели на веревке, если не на цепи: голова опущена, руки безвольно болтаются, ноги спотыкаются о кочки. Он больше не сказал ни слова, даже когда я затащил его по лестнице на чердак, нагреб ему соломы, дал свою вторую попону и пожелал доброй ночи. Пока я чистил лошадей, мне казалось, что он ворочается и бормочет там наверху, но когда я снова залез наверх, чтобы принести ему воды, он уже крепко спал. Я порадовался за него.

Позаботившись о лошадях, я решил, что надо бы сходить в трактир, помочь Маринеше прибрать со столов. Я был на полпути к дому, когда внезапно передо мной, точно из-под земли, выросла темная фигура. Я чуть не упал: те двое охотников были где-то рядом, я это нутром чуял, — но фигура окликнула меня, и я сразу признал этот странный пронзительный голос. Это был старик, у которого внук живет в Коркоруа. Старик временами забредал к нам в трактир и подолгу просиживал за кружкой эля, болтая о том о сем. Старик был красивый: цветущие румянцем щеки, белые усы и удивительно длинные, изящные руки. Каждый раз, глядя, как он вертит этими своими руками одну из наших глиняных кружек, рассказывая о заморских зверях и давних войнах, я думал: «Хотелось бы мне, чтобы у меня были такие руки — и такая жизнь, о которой они говорят». Я никогда не видел его вместе с Лал, Ньятенери и Лукассой, и все же он казался мне чем-то похожим на них: юго-западный ветер, ворвавшийся в мою серую, обыденную жизнь, пахнущий такими историями, такими тайнами, что я о подобном даже и помыслить не мог, не то, чтобы понять. Голос старика начинал раздражать меня, если слушать его слишком долго, но тогда мне и это казалось правильным.

— Ах вот ты где! — воскликнул он. — Ну где же тебя и искать, как не на пути от одной работы к другой?

Он похлопал меня по руке и улыбнулся глазами, такими же голубыми, как у Карша, но при этом совсем другими: точно снег в тени, и почти такими же пронзительными и раздражающими, как его голос. Он продолжал:

— Неутомимый отрок, меня послали, чтобы поручить тебе еще одно дело. Госпожа Ньятенери с четверть часа тому

назад отправилась в баню и просит, чтобы ты ей помог. Я вызвался передать тебе это, если встречу тебя по дороге домой. Вот я тебе и передал. Ну, а мне пора. Доброй ночи, доброй ночи, юный Россет!

И с этими словами он миновал меня и растворился в темноте.

Ничего необычного в этой просьбе для меня не было. Баня в «Серпе и тесаке» была довольно большая и благоустроенная для тех времен и тех мест, с двумя помещениями: в одном стояла ванна, а другое было разделено надвое длинной ямой, в которой лежали большие камни. К этому времени Ньятенери, должно быть, уже разожгла огонь под камнями, и они раскалились докрасна. В других северных землях парилки довольно популярны, но в окрестностях Коркоруа — не особенно: Ньятенери была одной из немногих гостей, которым приходило в голову воспользоваться странной — и единственной — причудой Карша. Карш не переставал громко сокрушаться о том, что устроил эту парилку. Я и не подумал оглянуться вслед старику, а сразу побежал к гостинице.

Я набрал два ведра воды у кухонного насоса и отправился в баню. В темноте тропа была довольно опасна — там повсюду торчали старые древесные корни, — и, несмотря на то, что я знал ее как свои пять пальцев, я вполне свободно мог вывихнуть лодыжку, а уж воду разлить и подавно. Поэтому шел я медленно — но и не только поэтому, хотя теперь мне и стыдно в этом признаться. Чтобы поддать пару в бане, заходить внутрь не надо: надо было просто подливать холодную воду на раскаленные камни через сток, устроенный между бревнами. Но в стене было и еще одно отверстие, чуть пониже уровня глаз, щель длиной в ладонь и шириной в палец, и я надеялся сквозь эту щель увидеть Ньятенери обнаженной, прежде чем пар скроет ее наготу. Конечно, мое поведение было непростительно, и оправданий мне нет — если не считать того, что из этого вышло.

Ночь была так тиха, что я отчетливо слышал мягкие шаги босых ног Ньятенери, близко-близко. Я пожалел, что восходящий месяц находится прямо у меня за спиной — Ньятенери может заметить, что золотой луч исчезнет, когда моя голова закроет отверстие. И вот я поставил одно ведро, взял

второе и принялся потихоньку наклонять его, одновременно нагнувшись к узкой щели в стене бани.

Сперва я видел только кору на бревнах и собственные ресницы. Потом в щели мелькнуло что-то блестящее, сперва в одну, потом в другую сторону — раз-два! — сопровождаясь быстрым топотом двух пар ног, словно один танцор повторил движения другого. Я прижался лицом к бревнам, сощурился что было сил, и тут же увидел то, что так давно мечтал увидеть: левую грудь Ньятенери. Всего на миг мелькнула она у меня перед глазами: золотисто-смуглая, как летние холмы, круглая, как тыквы-пиниаки, что появятся на рынке ближе к лету, точно так же приподнятая на конце... Я услышал ее голос — она говорила на языке, которого я никогда не слышал. И ей ответили на том же языке. Голос был мужской, и я узнал его с первого же слова.

Ньятенери отошла от стены, давая мне лучше разглядеть парилку. Теперь она стояла ко мне спиной, широко расставив длинные ноги и слегка согнув их в коленях. В левой руке у нее был кинжал, на правую намотано банное полотенце. За ней виднелась огненная яма, оттуда пахло раскаленными темными камнями. Ньятенери заговорила снова. Голос ее звучал насмешливо и вызывающе. Она взмахнула кинжалом. Ей ответил другой мужчина — и мгновение спустя я увидел на той стороне ямы Криворотого. Он усмехался змеиной усмешкой и медленно приближался к Ньятенери. Он едва отрывал ноги от пола, и все же казалось, будто он танцует.

Когда он подошел так близко, что я мог слышать его легкое, ровное дыхание, Ньятенери внезапно бросила полотенце ему в лицо и легко перемахнула на ту сторону ямы. Там ее уже поджидал Голубоглазый. Он скользнул к ней, рассчитывая застать ее врасплох, пока она не обрела равновесия. Но Ньятенери его и не теряла: кинжал блеснул так молниеносно, что я не мог уследить за ним через свою щель, и, когда противник отшатнулся, Ньятенери проскочила мимо него, прорываясь к двери. У нее за спиной Голубоглазый лизнул левое запястье и тихо хохотнул, не потрудившись обернуться.

Двери я видеть не мог, и Криворотого тоже — я только слышал топот ног, его и Ньятенери, и по спокойствию Голубоглазого я догадался, что ускользнуть ей не удалось. Еще мгновение — и она снова появилась в поле моего зрения, на

той стороне ямы, буквально волчком развернувшись в сторону Голубоглазого, двигаясь так быстро, что казалось, будто у нее в руке не один кинжал, а целая дюжина. Голубоглазому удалось увернуться, только подпрыгнув высоко в воздух и перекувырнувшись над кинжалом, который прошел в паре дюймов от его живота. Встав на ноги, он ударил сам — всего тремя пальцами, и я не видел, куда пришелся удар. Но Ньятенери отшатнулась в сторону, к стене, и эти двое набросились на нее, хохоча своим ужасным смехом. Я услышал свой собственный голос — я невольно вскрикнул от ужаса. А вот Ньятенери так ни разу и не вскрикнула. Наверно, те двое меня тоже слышали.

Приятно было бы думать, что мой бесполезный возглас отвлек их хоть немного, но я в этом очень сомневаюсь. Но главное — Ньятенери сложилась пополам, ударила ногами в обе стороны, как-то хитро перекувырнулась и вновь оказалась по эту сторону ямы, пока Криворотый и Голубоглазый только поднимались на ноги. Теперь Криворотый дышал иначе, и в том, что он крикнул Ньятенери, не было и следа смеха. Ньятенери торжествующе подпрыгнула, взмахнула кинжалом и хлопнула себя по заднице, демонстрируя свое пренебрежение. Да простится мне, что даже в тот миг я думал о том, как она красива. Я хотел ее, как самый блудливый кобель, несмотря на то что ужасно боялся за нее.

Так она началась и продолжалась, эта пляска охотников и добычи. Я и по сей день помню ее во всех подробностях. Ньятенери явно не хотелось связываться с Голубоглазым и Криворотым, несмотря на то что эти двое были безоружны. Она хотела одного: прорваться к двери и скрыться в ночи. А те, в свою очередь, хотели только прорваться мимо кинжала и дотянуться до нее своими длинными, тонкими руками. Они теснили ее, пытаясь загнать в угол, рассчитывая на то, что в конце концов они ее измотают. Так что до поры до времени они позволяли ей вертеться, насмешничать, выскальзывать из их хватки, зная, что рано или поздно она должна споткнуться, сделать неверный шаг, остановиться перевести дыхание... Они буквально поставили Ньятенери в безвыходное положение: убить их она не могла, и, как бы она ни уворачивалась, выбежать из бани она не могла тоже. Исход был ясен — я понимал это так же отчетливо, как и они.

Да, но Ньятенери! Она не желала признавать своего поражения. В парилке, кроме них троих, была еще и огненная яма, и Ньятенери все свои выпады, все свои маневры строила вокруг этой ямы, перепрыгивая на противоположную сторону, только когда одна из двух пар рук готова была уже вот-вот схватить ее, постоянно пытаясь заманить своих преследователей в огонь, прямо на раскаленные камни. Дважды ей это почти удалось: один раз Криворотый был уже в воздухе, размахивая руками и ногами в безмолвном ужасе, когда Голубоглазый одной рукой оттащил его в безопасное место, другой насмешливо отдав честь Ньятенери. А ее кинжал, казалось, жил своей собственной жизнью, танцуя в воздухе, точно порхающая бабочка, даже когда она подпрыгивала или кувыркалась. Она успела-таки пометить этих двоих, так быстро, что проходило несколько минут, прежде чем они замечали, что у них идет кровь. Ньятенери была первым настоящим воином, которого я когда-либо видел.

Но до двери она добраться не могла. В конце концов, главным было то, что она не могла добраться до двери. Несмотря на царапины от кинжала, Голубоглазый и Криворотый были куда выносливее Ньятенери, и к тому же один из них мог дать другому отдохнуть, а она себе этого позволить не могла. Она до сих пор уходила от большинства их ударов, но стоило кому-то из них коснуться ее локтем, краем ладони или хотя бы кончиком пальца — и все ее тело заметно содрогалось, и каждый раз ей требовалось все больше времени, чтобы прийти в себя, чтобы перескочить в ненадежное убежище, на другую сторону ямы. По большей части я только по звукам мог догадываться, что происходит, но один момент я вижу как сейчас: она вся подобралась, собрала все свое хакаи... ах, вы не знаете, что такое хакаи? Ну... скажем так, внутренние силы, лучшего слова подобрать не могу, — и буквально перелетает через яму, из того угла, куда загнал ее Голубоглазый, целясь в глотку Криворотому. Отважный маневр, но бесполезный: Криворотый отступает на два шага назад и на шаг влево и бьет двумя руками, так что кинжал вылетает у нее из руки, падает на пол и скользит к яме. Она пошатывается, ныряет вниз, ловя кинжал, и сама оказывается на краю ямы, исчезая из моего поля зрения. Кинжал крутится на полу, вспыхивая алыми отблесками.

И все-таки она по-прежнему молчит. Все, что я слышу, — это тихое, радостное хихиканье Голубоглазого и Кривоторотого, все, что я вижу, — это болезненное, безумное веселье на их лицах, когда они кидаются мимо моей щели, спеша схватить Ньятенери. А потом тишина. Как долго? Секунд пять? Десять? Полминуты? Я отвернулся от щели, зажмурился, слишком ошеломленный, чтобы испытывать боль — наверное, Тикат чувствовал примерно то же, — смутно сознавая, что надо бежать, бежать в трактир, в конюшню, куда угодно, прежде чем эти двое выйдут и увидят меня. Но я не могу двинуться с места, ни затем, чтобы помочь Ньятенери, ни затем, чтобы спасти себя — «и ведь так уже было, было когда-то! Кровь, пламя, хохочущие люди, и я — я все вижу, но ничего не могу: одинокий, растерянный, напуганный так, что не могу думать, даже дышать не могу. Там был огромный мужчина, пахнущий хлебом и молоком...»

Вы не понимаете, к чему все это? Ну да, конечно... Я открыл глаза, только когда услышал, как Кривоторотый взвыл от ярости и разочарования — точь-в-точь как шукри, который внезапно обнаружил, что мыши умеют летать. Как ей удалось не свалиться на раскаленные камни — до сих пор понятия не имею, но когда я снова наклонился к щели, Ньятенери скользнула мимо нее и на миг застыла. Кинжал она теперь держала в правой руке, а левая была как-то странно скрючена. О, я и теперь помню ее — хотя не должен был бы, по многим причинам: на губах играет торжествующая, насмешливая улыбка, седеющие волосы растрепаны, торчат во все стороны, и тело одето кровавым потом, точно королевским пурпуром. Хотел ли я ее? Хотел ли я ее даже тогда? Нет, я хотел *быть ею*, хотел всей душой, понимаете? Нет, вы понимаете?

Но, видите ли, это был конец. Даже я это знал. Когда она снова бросила им вызов на своем непонятном языке, заметно было, что она слегка задыхается; когда она наклонилась, расставив руки, точно призывая их в свои объятия, одно колено у нее дрогнуло — совсем чуть-чуть, но если даже я это заметил, можете себе представить, что заметили Голубоглазый с Кривоторотым! Левая рука у нее явно вышла из строя, и она то и дело легонько встряхивала головой, словно затем, чтобы прогнать сомнения или туман в голове. Страха в ней

не было, и покорности судьбе тоже. Потом в поле моего зрения показался Голубоглазый. Он улыбнулся и коснулся лба пальцем — на сей раз это было уже не приветствие, а прощание. Ньятенери рассмеялась ему в лицо.

И внезапно я пришел в себя. Нет, это не значит, что я вдруг совершил какой-то героический поступок: вряд ли у меня хватило бы духу еще раз встретиться взглядом с этими двоими ради кого бы то ни было. Я просто внезапно осознал, что я — Россет, а это все-таки нечто большее, чем просто пара глаз, пялящихся сквозь щель в стене. Я снова обрел способность думать, и двигаться, и чувствовать гнев — так же, как ужас и глухую боль утраты. И что мне оставалось делать, как не то, для чего, собственно, я сюда и явился? Я поднял ведро, которое почему-то так и не выпустил из рук, наклонился, и аккуратно вылил всю воду в сток.

Воду подливать нужно медленно — на то, чтобы заполнить паром всю баню, требуется куда меньше воды, чем кажется. Я услышал, как один из них заорал, потом другой, а потом Ньятенери дико расхохоталась, и могу поклясться, что от этого смеха бревенчатая стена запульсировала у меня под щекой, точно теплая, живая плоть. Я опустошил ведро, выпрямился и снова прильнул к щели — как раз вовремя, чтобы увидеть, как Криворотый отступает спиной ко мне, очевидно, пытаясь растерзать на куски вставшую перед ним слепую пустоту. Сбоку скрытно блеснул кинжал Ньятенери, мягко прорезав пар и кожу пониже ребер. Криворотый молча согнулся и исчез в клубах пара.

Я выронил ведро и подкрался к двери. Надо остановить Голубоглазого, если он попытается сбежать, как-то задержать его, прежде чем Ньятенери его поймает. Никакого плана у меня не было: что бы я ни сделал, это вполне могло грозить мне смертью, и я это знал, и мне было страшно, но страх больше не сковывал меня. С той ночи прошло немало лет, и я успел наделать немало глупостей, но никогда, никогда больше мне не приходилось упрекать себя за бездействие — и впредь не придется, пока я жив. Это Ньятенери меня научила.

Я притаился у двери и обругал себя за то, что бросил ведро: я мог бы ударить им Голубоглазого или бросить ведро ему под ноги, когда он выскочит из бани. Мне и на миг не пришло в голову, что он может и не выскочить, что он и в

одиночку вполне способен управиться с измученной Ньятенери. Из-за двери не доносилось ни звука. Я представил себе, как Голубоглазый и Ньятенери беззвучно кружат в клубах пара, ориентируясь только на ощущение врага, который может быть всего в нескольких дюймах, нащупывая друг друга кожей и волосами. Что-то ударилось о бревна внутри бани — что-то твердое, возможно, и голова, — и я успешно начал совершение своих глупостей с того, что отворил дверь.

То, что произошло потом, произошло так быстро, что я даже не успел понять, что случилось. Конечно, наружу вырвался пар, мгновенно ослепивший меня, потом на меня налетело чье-то тело, такое твердое, будто я наткнулся на стенку. Я упал на спину. Тело упало вместе со мной, потому что наши ноги переплелись. В меня молча вцепилось что-то горячее, и я в панике принялся отчаянно отбиваться, пытаясь освободить ноги. Одна моя нога ткнулась во что-то мягкое. Послышалось свистящее шипение, и тут сверху рухнуло что-то еще, окончательно меня придавив. Голубоглазый с Ньятенери дрались поверх меня, боролись, точно грозовые ветра, притиснув меня к земле и колотя меня так, что я принялся отбиваться, яростно, но беспомощно. Сейчас мне хотелось убить их обоих, потому что было очень больно. Кто-то из них так врезал локтем мне по носу, что я испугался, не сломан ли он.

А потом все прекратилось. Я услышал — точнее, почувствовал, — негромкий сухой кашель, словно кто-то ненавязчиво прочищает горло. Я толкнул лежавшее на мне тело, и оно медленно сползло в сторону. Голова упала в грязь рядом с моей. И негромкий, усталый голос Ньятенери произнес:

— Спасибо, Россет.

Поначалу я не мог встать. Ей пришлось помочь мне, и она сделала это мягко и осторожно, несмотря на то что одна ее рука висела так же безвольно, как голова Голубоглазого. Он лежал на боку, тихо-тихо, свернувшись клубком, и выглядел очень маленьким и очень удивленным. Я его всего закапал кровью, что шла у меня из носа. Я спросил Ньятенери:

— Он мертв?

— Если бы он был жив, мертвы были бы мы, — ответила Ньятенери. — С такими людьми, как этот, тебе дается только один шанс. — Потом тихо рассмеялась и добавила: — Как правило.

Она протянула руку за дверь и достала оттуда свой кинжал, немного неловко вертя его в правой руке.

— У меня никогда не получалось как следует метать ножи, — сказала она, словно бы самой себе. — Никогда не попадаю в цель. Не понимаю, с чего это мне взбрело в голову попытаться на этот раз! Если бы ты не отворил дверь, мне пришел бы конец. Спасибо.

Нос болел так, что голова шла кругом, и кровь все никак не останавливалась. Ньятенери уложила меня на спину, положила мою голову к себе на колени, и довольно бесцеремонно зажала мне нос мокрой тряпкой.

— Кто были эти люди? — прогундосил я.

Она сделала вид, что не расслышала, и ответила:

— Да, Каршу сказать придется — другого выхода я не вижу. Мне сейчас не под силу кого-то хоронить — я прямо на ногах не держусь.

Она рассеянно погладила меня по голове. Я отдался аромату ее усталого, разгоряченного тела, и впервые осознал, что ничто никогда не происходит так, как ты себе представлял. Я наконец-то лежал, прижавшись щекой к влажной коже Ньятенери, и груди, на которые я мечтал взглянуть хоть одним глазком, вздымались надо мной в такт ее дыханию — и все, чего мне хотелось, это чтобы у меня поскорее перестала идти кровь из носа. Смейтесь, смейтесь, ничего. Мне и самому было смешно.

Через некоторое время я наконец сумел сесть, и Ньятенери ушла в баню за своей одеждой. Я сказал в дверь:

— Они искали тебя, они хотели тебя убить. Почему? Что ты им сделала?

Она ответила не сразу. Я сидел в спокойной темноте, у моих ног лежал мертвец, и лирилит — птица, которая у вас зовется ночной плакальщицей, — уже оплакивала его где-то в саду. Не понимаю, как им удается сразу узнавать о том, что кто-то умер, но они всегда это знают — по крайней мере, так считается в тех краях, где я вырос. Ньятенери вышла на порог и прислонилась к косяку, неуклюже ощупывая левую руку правой. Она спросила меня, резко, но не сердито:

— Как вышло, что воду принес ты, а не Маринеша? Я просила ее.

— Я ее не видел, — ответил я. — Я встретился с тем ста-

риком — знаешь его? Такой, с белыми усами? — и он сказал, что ты поручила это мне. Может, он просто перепутал? Он действительно очень старый.

— А-а! — сказала Ньятенери и молчала до тех пор, пока я в третий раз не спросил про Голубоглазого и Криворотого. Тогда она подошла, присела на корточки напротив меня, заглянула мне в глаза и мягко положила раненую руку мне на затылок.

— Россет, — сказала она, — чего я терпеть не могу, так это врать человеку, который только что спас мне жизнь. Пожалуйста, не заставляй меня это делать.

Ее изменчивые глаза казались серебристыми полумесяцами в свете луны.

— Всюду тайны! — проворчал я, осмелев настолько, что решился передразнить ее. Но почувствовал себя польщенным, как ребенок, которому доверили взрослую тайну, которому дали понять, что мир не ограничивается его детской.

— Ладно, не буду, — сказал я, — но только ты когда-нибудь должна мне рассказать о них.

Она кивнула, очень серьезно сказав:

— Обещаю.

Ее рука была горячей, горячей, как руки Голубоглазого, когда он держал меня за горло. Казалось, это было так давно... Я спросил ее, сильно ли болит рука.

— Болит, конечно, но могло бы быть и хуже, — ответила она. — Как и твой нос.

И она поцеловала меня в нос, а потом еще раз, очень быстро, в губы.

— Идем, — сказала она, — нам придется помочь друг другу дойти до трактира. У меня такое ощущение, словно мне сто лет.

Я обошел баню, подобрал ведра. Когда я вернулся, Ньятенери стояла, задумчиво подбрасывая кинжал в воздух и ловя его за кончик клинка. Кинжал медленно взлетал, падал, и она снова подхватывала его.

— И к тому же он очень плохо уравновешен, — тихо сказала она, обращаясь не ко мне. — Он вообще не рассчитан на то, чтобы его метали.

Она обернулась ко мне и улыбнулась. Я думал, она меня еще раз поцелует — но нет, не поцеловала.

ТРАКТИРЩИК

В этой стране до сих пор имеется королева. Она живет в своем черном замке в Форс-на'Шачиме. А может, теперь у нас король, или снова правят военные — кто их знает. Сборщики налогов-то все время одни и те же, кто бы ни правил. Но кто бы ни сидел на троне, король, королева или какой-нибудь выскочка-военачальник, в один прекрасный день я поеду к нему и попрошу аудиенции. Конечно, путь будет долгий и трудный, а разбойники только и ждут, чтобы отобрать у тебя то, что оставят тебе возницы и владельцы гостиниц, а потом еще придется доставать последние монеты, запрятанные под стельками башмаков, чтобы подкупить тех, кто должен принять мою жалобу. Но я добьюсь, чтобы меня выслушали. Даже если придется заплатить головой, все равно добьюсь!

— Ваше величество, — скажу я, — где во всех ваших королевских свитках и пергаментах с законами записано, что Каршу-трактирщику не положено знать ни минуты покоя? Покажите, где ваши досточтимые советники записали, что, когда мне ненадолго удастся избавиться от обычных забот и хлопот, которых в моем бедном заведении и так хватает, на меня тут же должна свалиться целая вереница шутов, мошенников, дураков и маньяков? И еще, сир, скажите, пожалуйста, удовлетворите любопытство пожилого человека — где вы их столько берете? Откуда даже такой великий монарх, как вы, ухитрился добыть трех сумасшедших баб — ни одна из которых не является тем, за что себя выдает, — невыносимого деревенского олуха, который утверждает, что помолвлен с одной из них, самой сумасшедшей из всех трех, целую конюшню безденежных актеришек, которые своей возней не дают спать лошадям порядочных постояльцев, и конюха, который с самого начала никуда не годился, а в последнее время и вовсе спятил, и все это одновременно? И в качестве последнего гениального аккорда — двух хихикающих убийц, которые в конце концов обнаружились мертвыми у меня в бане? Ваше величество, я простой деревенский мужлан и не в силах оценить таких тонкостей искусства. Для меня это все едино — все это одни сплошные неприятности. Ну для чего тратить такие перлы на толстого, усталого

Карша? Нет, вы мне только покажите, где это написано, — и я пешком пойду обратно в свой «Серп и тесак» и никогда больше вас не потревожу.

Нет, перед смертью я непременно выскажу это тому, кто сидит на троне, — кто бы это ни был.

Не то чтобы это что-то изменило — иллюзий на этот счет я не питаю. Такая уж моя подлая судьба, кто бы и где бы ее ни написал. А если мне вдруг придет в голову усомниться в этом, достаточно вспомнить тот вечерок, когда я стоял и тупо пялился на два трупа, освещенных светом фонаря. А у этой монашенки-солдата Ньятенери еще хватило наглости спросить, неужели я посылаю таких помощников ко всем, кому взбрело в голову помыться в моей бане. Парень лип к ней чуть ли не вплотную и нахально глазел на меня, как бы говоря: вот только попробуй отослать меня заниматься своим делом! А я бы его отослал, непременно отослал, если бы не... а, впрочем, это неважно, это никого не касается. И к тому же мне было о чем призадуматься. Тридцать лет назад я заполучил «Серп и тесак» именно благодаря покойникам и теперь знал, что еще два покойника легко могут лишить меня этого трактира. А я уже слишком стар, чтобы заново начинать с должности Гатти-Джинни у какого-нибудь другого трактирщика.

Госпожа Ньятенери еще некоторое время распространялась насчет убийц, безответственности и законности, но это все было для виду. Опять же я слишком стар, чтобы не знать, когда человек всерьез говорит, а когда для виду. И все-таки я ей подивился: рядом застывали две кучки грязного тряпья, и, должно быть, ее мышцы, нервы и сердце точно так же стыли на ветру, который всегда поднимается после таких дел, и все же у нее достало сил делать мне выговор с таким небрежным видом, словно ей дали плохо отстиранное белье. Я дал ей выговориться — пусть ее, — а потом сказал:

— У нас в Коркоруа нет ни шерифа, ни королевского наместника, но раз в два месяца сюда приезжает чиновник из округа. На ваше счастье, он как раз должен приехать дней через пять. Мы можем представить это дело на его рассмотрение, если вам угодно.

Ну и, разумеется, тут госпожа Ньятенери быстренько заткнулась. Нечего сказать, приятно было видеть, как она

опустила глазки, прижала локти к бокам и принялась мямлить что-то насчет того, что, мол, она и ее спутницы сейчас очень заняты, и огласка им ни к чему. Не то чтобы мне нравилось загонять людей в угол — в конце концов, мне-то с этого какая польза? — но из трех дам, которые навязались мне на шею целых две недели тому назад, эта доставляла мне особенно много неприятностей, начиная с этой ее лисы, которая стащила мою курицу. Так что я сложил руки на груди и любовался, как она выворачивается. А парень злобно пялился на меня исподлобья, точно я угрожал его милашке, которая была больше чем на голову выше его. Левая рука у нее была вроде как покалечена, и парень все трогал ее, очень робко и очень бережно. Да, эти две недели были очень долгими для всех нас.

Наконец я перебил ее и сказал:

— Ну, в таком случае, все, что нам нужно, это лопата и молчание. Верно?

Она уставилась на меня. Я продолжал:

— Мы, трактирщики, торгуем не только едой и вином, но еще и молчанием. Все, что меня интересует в этих двоих, которых вы ухлопали, это что они были вам не чужие. Они пришли за вами в мой трактир, так же, как тот сумасшедший деревенский парень с юга пришел сюда за вашей подружкой. Подозреваю, что худшее еще впереди — и не пытайтесь лгать мне на этот счет. Я с этим ничего поделать не могу. Вы поселились тут против моей воли, угрожая оружием. Но, по крайней мере, сделайте мне маленькую любезность — не требуйте, чтобы я не замечал того, что творится вокруг. Мы с парнем похороним ваших мертвецов. Никто другой ничего не узнает.

Тут она улыбнулась — мимолетной, лисьей усмешкой, но при этом достаточно искренней. Это она впервые оказала такую честь хозяину «Серпа и тесака».

— Другие постояльцы тоже недооценивают вас, так же как и я? — поинтересовалась она. — Ответьте «да», будьте так добры!

— Откуда мне знать? — спросил я в свою очередь. Парень вытаращился куда-то мне за спину, но я не обратил на это внимания.

— Я торгую молчанием, — сказал я. — Я ни о чем не

спрашиваю, кроме того, нужна ли постояльцу грелка, или второе одеяло, или, быть может, фаршированный гусь на ужин. Шадри замечательно готовит фаршированных гусей, но с ними долго возиться, а потому надо предупреждать за день.

Рядом со мной раздалось хихиканье черной женщины, Лал, и я услышал у себя за спиной шумное дыхание белой.

— Предупреждать надо не только об этом, — заметила Лал. Лицо госпожи Ньятенери буквально захлопнулось, точно дверь, — это было видно даже мне, а уж я-то богатым воображением никогда не отличался.

Лал сказала:

— Отправляйтесь к своим постояльцам, милостивый государь Карш. Мы с подругами сами разберемся с этой дурацкой историей. Россета тоже можете забрать с собой.

Говорила она очень надменно, но на этот раз я был только рад послушаться. Я успел пройти шагов десять прежде, чем сообразил, что парень со мной не идет. Когда я обернулся, он стоял спиной ко мне, лицом к этим трем, и говорил:

— Я принесу вам лопату. Дайте я вам хоть лопату принесу!

Руки в бока, и упрямо мотает головой. Вот так же стоял он, бывало, на сеновале или на картофельной грядке, когда ему было лет пять.

— Россет, ты нам не нужен! — Голос Лал звучал резко, даже грубо — не хуже моего. — Иди с хозяином, Россет.

Он развернулся и направился ко мне. Шел он, не разбирая дороги, и непременно наткнулся бы на меня, если бы я не отступил в сторону. Я оглянулся на женщин. Они на нас и не смотрели — они сдвинулись над мертвыми телами, точно три вороны. Я пошел в трактир следом за парнем. Когда такое было, чтобы я шел за ним следом?

ЛАЛ

К добру оно или к худу, но этого можно было бы избежать, если бы я к тому времени не успела напиться. Напиваюсь я очень редко — это одна из тех приятных привычек, которых я себе при своем образе жизни позволить не могу, — но зато если напиваюсь, то целенаправленно. Вы можете сказать, что мне, наоборот, следовало бы радоваться: в тот

день мы не только напали наконец на след того, кого я звала Моим Другом, а Ньятенери — Человеком, Который Смеется, но и узнали кое-что о его судьбе. Это, конечно, правда. Но эта правда казалась такой бессмысленной и бесполезной в тот далекий вечер, в комнатенке с низким потолком, где воняло жизнью Карша, лисом Ньятенери и голубями, которых Карш держал на чердаке прямо над той комнатой. Ну что толку знать, что наш драгоценный маг жил неподалеку от Коркоруа в смешной пряничной башне, что его предал лучший друг, которого, в свою очередь, убили какие-то демоны, если мы не можем даже догадываться, как давно все это случилось и куда он после этого бежал? Лукасса могла рассказать нам только то, что поведала ей эта ужасная комната. А что до всего прочего — след выглядел еще более остывшим, чем утром, когда мы выезжали на поиски. Теперь Моему Другу самому придется нас разыскивать — мы его найти не сможем.

Ну, а я устала, как собака, и злая была, как собака, и не могла ни думать, ни спать. А потому я заставила Карша прислать наверх три бутылки — он жаловался, что это последние, — «Драконьей дочери», самого южного вина, какое нашлось в его погребе, такого красного, что оно кажется черным. И не успела я управиться со второй бутылкой, как мне сказали, что я требуюсь в бане. Бутылку я прихватила с собой, для компании. Лукасса тоже пошла со мной.

Когда я выпью слишком много — а иначе я не пью, как я уже говорила, — я обычно делаюсь угрюмой и обидчивой. Быть может, такая я и есть на самом деле, а все прочее — только маска, кто знает? Пока мы втроем зарывали два трупа в буйных зарослях клещевины, довольно далеко от бани, я не сказала Ньятенери ни слова. Не спрашивала, не упрекала — просто молчала. Работа эта нам обеим была знакома, и ее всяко лучше делать молча. Там я прикончила вторую бутылку, не поделившись с остальными. Ньятенери произнесла над могилами несколько слов на своем родном языке, и мы пошли обратно в трактир. Ньятенери косилась на меня слева, Лукасса украдкой поглядывала на меня справа. А я так ничего и не сказала, пока мы не поднялись в нашу комнату и я не откупорила последнюю бутылку. Да, я такая. И до сих

пор осталась такой. Вот почему я предпочитаю путешествовать одна.

И тут, наконец, я обрушилась на Ньятенери. Я не особенно горжусь тем, что тогда наговорила, и пересказывать это слово в слово совершенно незачем. В общем, я говорила, что она обманула нас с Лукассой, что из-за нее мы обе оказались в опасности, что при встрече она наврала, что никто ее не преследует, зная при этом, что те двое уже близко. Ньятенери принялась оправдываться. Она, мол, сказала только, что ее никто не собирается возвращать обратно, а про то, не хотят ли ее убить, ее не спрашивали. Тут я совершенно вышла из себя. У меня отнялся язык, и я бросилась на нее. Это, конечно, было глупо — она была сильнее меня, даже раненная и измотанная. Но она поспешно спряталась за кроватью и подняла руки в знак мира. На чердаке проснулись голуби и принялись ворковать и хлопать крыльями. Сквозь щели в потолке посыпалась холодная пыль.

— Какая разница? Они явились, чтобы убить меня, и теперь они убиты — вы их даже не видели, пока они были живы. Разве вы подвергались хоть малейшей опасности? Разве это доставило вам хоть какие-то неудобства? Разве это стоило вам хоть одной бессонной ночи? Это было мое дело, разбираться с ними пришлось мне, и теперь с этим покончено. Покончено, понимаешь? И никому, кроме меня, они вреда не причинили. Скажи, что это не так, Лал-Полуночница!

— Ах вот как? — взвизгнула я. — Всего две смерти — и все в порядке? Для тебя это всегда кончается так легко, без всяких... — я все еще путалась в словах, — без всяких последствий? Скажи это Россету, которого они чуть не придушили! Скажи это ей!

Лукассе этот день обошелся очень дорого — сперва та страшная башня, потом встреча с Тикатом, а потом еще пришлось помогать закапывать покойничков, — неудивительно, что теперь она съежилась, забилась в угол, тихо поскуливала, обнимая лиса, и теребила прядь волос. Я бы тоже так сделала, если бы не напилась.

Ньятенери обернулась и задумчиво посмотрела на Лукассу. Та на миг подняла глаза и тотчас же отвернулась.

— Хорошо, скажу, — произнесла Ньятенери. — А потом, быть может, она расскажет мне, что такое умереть и вновь

быть разбуженной к жизни, и почему мне никто не сказал, что я путешествую с волшебницей и живым трупом, за которыми гонится сумасшедший крестьянский мальчик. Это ведь тоже должно было всплыть в свой час, не так ли?

Голос ее оставался все таким же спокойным и насмешливым, но когда она посмотрела на меня, он чуточку дрогнул. Я по-прежнему была в ярости, но бросаться на нее я бы уже не стала.

— Это было наше дело! — сказала я. — Это тебе ничем не грозило — в отличие от твоих тайн. Если бы это было опасно, я бы тебя предупредила.

Ньятенери громко, презрительно рассмеялась.

— На свете есть только один волшебник, которому я верю на слово!

Левая рука у нее здорово распухла. Когда мы копали могилы, Ньятенери работала без жалоб, но теперь, похоже, малейшее движение причиняло ей боль. Она громко продолжала:

— И даже он никогда не пытался воскрешать мертвых. Он говорил, что таких вещей делать нельзя, потому что это плохо и что даже самый великий маг не мог бы сделать это правильно. Так что не надо пытаться убедить меня, будто ты научилась этому от него. Я его слишком хорошо знаю.

— Черта с два! — крикнула я и, только увидев, как Ньятенери непонимающе уставилась на меня, сообразила, что невольно перешла на язык моего детства, тайную речь инбарати Хайдуна. Давненько я на нем не говорила! Может, это и не скажет вам, насколько я была зла и насколько пьяна, но мне это говорит многое. Я сама задрожала, услышав звук этих слов. Я перешла на всеобщий язык и тщательно повторила: — Если ты знала его так хорошо, как говоришь, то должна помнить, как он любил огородничать и что огородник из него был никудышный. Дыни у него вырастали с кулачок, огурцы — сморщенные, как пергамент, кукуруза засыхала на корню, а бобы и вовсе не всходили. Без помощи магии ему бы и картошки не вырастить.

Ньятенери уставилась на меня и потрясла головой. Она сама выглядела полупьяной от усталости и удивления.

— Ах, вот в чем дело? — сказала она. — Ты что, сделала это с помощью его старой огородной песенки? Не может быть!

И тем не менее она рассмеялась — на этот раз другим, грудным, раскатистым смехом.

— Не может быть! Не бывает! Ты ее просто вырастила, как кабачок, как...

Но тут она захлебнулась смехом и плюхнулась на кровать рядом с Лукассой, хлопая себя по колену здоровой рукой и беспомощно всхлипывая от хохота. Лис вторил ей своим холодным смехом.

Лукасса поначалу вроде обиделась, но смех Ньятенери был так заразителен, что вскоре мы уже все втроем покатывались и тявкали, как лисы, а развеселившийся лис скакал между нами и больно кусал за носы и подбородки. Я смахнула его с кровати — он тут же ловко вспрыгнул на стол и застыл, насторожив уши, прислушиваясь, как возятся голуби наверху, явно подсчитывая их. Зачем вообще Карш держал этих птиц? Кому он собирался отправлять послания? Этого я так и не узнала.

Смех растопил холодный ком ярости, что рос у меня в груди с утра, а может, и дольше. А Лукасса — та цеплялась за смех, как ребенок за последние минуты праздника. Ну, еще бы: она ведь, пожалуй, и двух раз не смеялась со времени своего возвращения к жизни. Ньятенери все спрашивала ее, посмеиваясь, но без насмешки:

— Ну, и каково оно — быть кабачком или кочаном капусты? Как это было?

И наконец Лукасса ответила. Таким голосом, что я отдала бы многое, чтобы только забыть его. Больше, чем вы можете себе представить.

— Не кочаном, — сказала она тихо-тихо. — Кочан капусты не сознает, что с ним происходит, а я все, все сознавала. Когда я упала в реку, я была умирающей Лукассой, и когда я умерла, я по-прежнему оставалась Лукассой, Лукассой, Лукассой...

И так оно и было, хотя почему — не знаю до сих пор: она оплакивала свою смерть с такой силой, с такой обидой, что эта сила заставила меня свернуть с дороги, а потом изменила мой путь, а в конце концов и всю мою жизнь.

— И когда я пробила речную гладь и встала перед Лал в лунном свете, я все еще была Лукассой, только... — тут она запнулась, — только не такой, как раньше. Другой. Часть

прежней Лукассы осталась на дне реки, и я не могу вернуться, чтобы найти ее. И даже если бы я и могла, она не вернется ко мне, потому что она утратила имя, и никто не может призвать ее обратно.

Она остановилась — и никто, даже лис, не мог смотреть ей в лицо.

Я почувствовала, как слезы наворачиваются на глаза, но не поняла, что со мной. Я так давно не плакала! Сперва я подумала, что меня просто тошнит от выпитого, а потом решила, что это какой-то припадок: мышцы лица, горла и груди перестали меня слушаться, хотя я боролась с ними так, что с трудом могла дышать. Мое собственное тело внезапно предало меня, как Бисмайя, сделалось жестоким, как люди! Я услышала откуда-то издалека странный, звонкий голос, детский голос, голос что-то говорил, а потом слезы наконец прорвались, и я сдалась, сдалась — это я-то, которая никогда не сдавалась, никогда, никому, в глубине души я всегда оставалась непобежденной, и они это знали, все до единого. До того момента никто из живущих не видел, как я плачу, — никто, кроме Моего Друга, если он действительно жив. Я с тех пор плакала еще раз, но только однажды, и это было от радости, но об этом не будет речи в моей истории.

Ох, как они на меня уставились обе, и Ньятенери, и Лукасса! Я согнулась в три погибели, меня почти тошнило от горя — да, конечно, и от вина тоже, но дело не только в вине. Понимаете, все, что у меня было с самого начала, — это мое имя, Лалхамсин-хамсолал, и потерять его, так, чтобы душа твоя больше не отзывалась на свое имя... Понимаете, я только представила себе такое — и от одной мысли об этом мне сделалось так плохо, что это нельзя было ни преодолеть, ни вынести, ни описать. А она, эта деревенская гусыня, пялилась на меня в смутном изумлении, а я плакала, плакала, оплакивая ее утрату, и ее мужество, и себя самое, и Моего Друга, и Хайдун, где я родилась. Это было так долго...

В конце концов Ньятенери обняла меня — и я тут же успокоилась. Ее объятия были неловкими — да и обнимать меня не так-то просто, по крайней мере, для большинства людей. Я немного отстранилась, вытерла лицо и глаза. Тогда Ньятенери отвернулась и налила мне еще вина. Отхлебнула из кружки, ахнула, ее немного передернуло, и она сказала:

— Пожалуй, надо добыть еще этих жутких помоев.

— Больше нет, — ответила я, шмыгнув носом. — Карш сказал...

И при мысли о том, что вина больше нет, я поплакала еще немного.

— Вы с Каршем просто не поняли друг друга, — возразила Ньятенери. Она поднялась с кровати и вышла — все это одним плавным движением. Спускаясь по лестнице, она уже звала трактирщика. Мы с Лукассой остались сидеть молча, стесняясь друг друга больше, чем чужих. Я, как могла, приводила себя в порядок. Когда я снова смогла говорить, я сказала:

— Лукасса! Есть только один человек, который может призвать обратно Лукассу, ту, что осталась на дне реки. Этот человек — Тикат.

Лукасса содрогнулась. Я почувствовала это по дрожи кровати — как будто содрогнулась сама земля. Девушка упорно смотрела в пол. Я сказала:

— Больше некому. Если ты хочешь вновь соединиться с ней, иди к нему.

— Не хочу! Не хочу!

Я едва расслышала ее, так тихо она это прошептала. Девушка стиснула руками кроватную раму и уставилась на свои плотно сжатые колени.

— Не хочу. Оставьте меня в покое.

— Он любит тебя, — сказала я. — Я мало знаю о любви, но это видно сразу.

Но Лукасса так сильно замотала головой, что я услышала, как хрустнули у нее шейные позвонки, и воскликнула:

— Нет, Лал! Оставь меня! Я этого не вынесу...

Она редко называла меня по имени, а Ньятенери и вовсе никогда. Я прикоснулась к ней, чтобы успокоить — так же неуклюже, как Ньятенери обнимала меня, — но девушка оттолкнула мою руку. Так мы и сидели, пока на лестнице снова не послышался топот сапог. Тогда Лукасса повернулась ко мне. Она была еще бледнее обычного, но глаза у нее были сухие, и взгляд твердый.

— Я не знаю, хочу ли я, чтобы она вернулась, — сказала девушка. — Та Лукасса.

А потом Ньятенери распахнула дверь ногой и ввалилась в

комнату. Обе руки у нее были заняты целой гроздью бутылок с «Драконьей дочерью». Она хищно ухмылялась — я даже пригляделась, не торчит ли у нее из зубов клок грязного халата Карша.

— Ну конечно, это было обычное недоразумение! — сказала Ньятенери. — Я так и знала, что стоит как следует объясниться — и все будет!

То ли это было результатом переутомления, следствием схватки не на жизнь, а на смерть, то ли я просто действительно так тщеславна, как мне всегда казалось — но в ту ночь оказалось, что у Ньятенери голова послабее моей. Она больше не подмигивала и не кривилась — она хлестала вино прямо из горла, как какой-нибудь солдафон, и ей хватило всего одной бутылки, чтобы начать рассказывать нам про монастырь, откуда она сбежала. Все-таки я была права на этот счет — впрочем, я почти всегда оказываюсь права.

— Он расположен в сердце западных земель, — говорила она. — Нет, Лал, ты его не знаешь — ты, конечно, много странствовала, но в тех краях тебе не доводилось бывать ни разу. Ближайший к нему город — Сумильдене, и до него совсем не близко, так что без особой необходимости туда не ездят.

Да, это правда — я это знаю, потому что один раз была в этом Сумильдене. Впрочем, об этом упоминать было не обязательно.

— К югу и к западу от Сумильдене начинаются болота, — продолжала Ньятенери, — и земля эта не нужна никому, кроме сборщиков тильгита.

Мы вопросительно уставились на нее. Она улыбнулась.

— Тильгит? Это такие болотные водоросли. Их собирают, сушат, толкут и варят из них премерзкую кашу, которая не дает умереть человеку с голоду до тех пор, пока он не почувствует, что лучше уж умереть с голоду, чем есть эту кашу. О, у нас в монастыре постные дни, когда вообще не едят, были чуть ли не праздником! Оттуда стоило сбежать из-за одного тильгита.

— А как оно называлось, то место? — спросила я. Ньятенери только развела руками и виновато улыбнулась. Тогда я спросила:

— И долго ты там прожила?

— Двадцать один год, — тихо ответила Ньятенери. — С девяти лет.

На мой следующий вопрос она ответила прежде, чем я успела его задать:

— Одиннадцать лет. Я скрываюсь от них уже одиннадцать лет.

Лукасса отхлебнула вина и скривилась, как котенок. И сказала:

— Не понимаю. Что же это за монастырь такой?

Ньятенери не ответила. Я сказала:

— Монастырь, который запрещает своим сестрам отрекаться от данных обетов. Бывают и такие.

Лис выполз из-под стола и свернулся в уголке, сверкая глазами из-под сонно опущенных век. Я продолжала:

— Но мне никогда не приходилось слышать, чтобы какой-то монастырь охотился за беглянкой в течение одиннадцати лет и тем более высылал ей вслед убийц.

Ньятенери открыла вторую бутылку, не глядя на меня, и я из вредности добавила:

— Надо сказать, немногого стоят преследователи, которые целых одиннадцать лет не могли отыскать свою жертву. Я бы нашла тебя самое большее за два года и знаю людей, которые управились бы и за год.

Конечно, это была чистой воды подначка, и Ньятенери, разумеется, сразу это поняла. Во всяком случае, она отхлебнула вина — щедро, по-солдатски, — с размаху опустила бутылку на стол так, что вино выплеснулось из горлышка, и сказала, глядя в стену:

— Первые преследователи нашли меня раньше, чем через год. У нас в монастыре все самое лучшее.

Вот тут, надо признаться, у меня действительно отнялся язык. Ньятенери успела наполовину опорожнить вторую бутылку, прежде чем я наконец сумела спросить:

— Первые? Так что, были и другие?

На этот раз улыбка Ньятенери состарила ее на много лет.

— Перед этой были еще две команды. Они охотятся командой, и скрыться от них невозможно. Их надо убить.

Ее улыбка вцепилась в меня — вот так же, должно быть, улыбалась она толстому Каршу.

— А со временем — куда быстрее, чем ты думаешь, — в

монастырь доходит весть, и тогда они высылают новую команду. До меня еще никому не удавалось пережить три команды. В монастыре будут очень недовольны.

Наступило продолжительное молчание. Я была слишком ошеломлена, чтобы задать следующий вопрос, и в конце концов его задала Лукасса:

— Но почему? Почему они непременно должны убить всякого, кто от них сбежал? Они бы не стали этого делать, если бы знали, что такое быть мертвым.

В ее голосе была мягкость, не имеющая ничего общего с жалостью. Мне и теперь страшно вспоминать об этом. А я до сих пор помню это, как наяву.

Ньятенери коснулась здоровой рукой руки Лукассы. Не пожала, не погладила — просто коснулась.

— Они-то, пожалуй, как раз знают, — сказала она. — Лучше многих. В том месте хранится слишком много знаний, слишком много тайн — и вот их-то они и не хотят выпускать наружу.

Лукасса открыла было рот, чтобы задать очередной вопрос, но Ньятенери опередила ее, рассмеявшись и дружески передразнив ее ребяческий тон:

— «Какие тайны, какие знания?» О, Лукасса, это великие тайны и мерзкие тайны, тайны королей и королев, священников и военачальников, советников и судей: тайны, которые способны сокрушить основания какого-нибудь храма, какой-нибудь империи, развязать одну войну и положить конец другой, заставить кого-то отречься от короны, кого-то покончить жизнь самоубийством, а еще кого-нибудь — уничтожить целый народ лишь затем, чтобы сохранить в тайне еще одну неприятную истину. Дурацкие, дурацкие тайны!

Она стукнула по столу другой рукой — не очень сильно, но достаточно, чтобы заставить ее стиснуть губы и чуточку побледнеть.

— Покажи-ка, — сказала я, но Ньятенери спрятала руку и продолжала говорить еще более ровным, чем прежде, тоном.

— Этот монастырь очень древний. Я даже не знаю, сколько ему веков. Люди там очень разные — и старые, и совсем юные, как я тогда. Единственное, что объединяет их всех, — это то, что каждый из них приносит с собой свои тайны.

Каждый должен принести с собой хотя бы одну тайну, иначе тебя туда не примут.

— Тебе было девять лет, — сказала я. Я поймала ее взгляд и одновременно снова взяла ее руку. Кисть и запястье опухли и горели, но переломов вроде бы не было. Ньятенери прикрыла глаза, пока я ощупывала ее руку.

— У меня было достаточно тайн. Они были рады принять меня к себе, и... и мне тоже было хорошо там. Довольно долго. Набраться сил... многому научиться... Слушай, либо налей вина, либо отпусти руку! Это что, еще одно огородное заклинание?

— Да нет, не заклинание. Так делают на Южных островах, чтобы обмануть боль. Иногда у меня получается. Тебя ведь в монастыре тоже научили многому насчет боли, не так ли?

Ньятенери опорожнила свою кружку в два глотка.

— Еще до монастыря, — сказала она. И потом долго молчала — только все пила и пила, пока я занималась ее рукой. Лукасса села на кровати и смотрела на нас, давая отпить из своей кружки лису, когда думала, что я не вижу. Шорох ветвей за окном; снаружи, на лестнице, медленные шаги, грубый голос напевает морскую песню — какой-то моряк пошел спать. В комнате через одну от нашей святые люди, мужчина и женщина, напевают какой-то медленный антифон. Я эту молитву немного знаю.

— А почему ты сбежала?

Ее рука начала отзываться. Понятия не имею, почему эта островитянская штучка действует, и к тому же мне не очень нравится ощущение, как будто через мое тело перекачивают кипяток, хоть я и знаю, что это иллюзия. Но ведь действует же...

Ньятенери пожала плечами.

— Мне предложили немалую власть. В самом монастыре и за его пределами. Меня для этого и воспитывали с детства, и вот теперь пришло мне время занять свое место среди избранных, среди высших. Честно говоря, мне это польстило, внушило даже что-то вроде благодарности — и до сих пор приятно. Если бы они не предложили мне власти, откуда мне было бы знать, что я ее не хочу? А как только предложили, мне это сразу стало ясно. Провести остаток жизни чем-то вроде смотрителя чужих тайн, вечно блуждать в жутких тайниках сильных мира сего, со старыми историями, свисаю-

щими с твоего нёба, точно стаи летучих мышей... Нет, та тощая девчушка-северянка никогда бы на это не согласилась!

Ньятенери снова стукнула по столу, на сей раз винной кружкой. Но потом отвернулась и заговорила тихо-тихо, не с нами, а с лисом — именно с лисом.

— Она соглашалась на многое, против чего не имела возражений, и на кое-что еще сверх того — но не на это.

Лис поглядел ей в лицо и зевнул — явно нарочно, как в тот вечер, когда мы впервые встретились. «Они знают друг друга, как старые любовники, — подумала я. — Они пережили все: и любовь, и ненависть, и неразрешимые вопросы, и доверие, и предательство. И все это у них позади». Интересно, как они познакомились? И давно ли? Сколько вообще живут лисы?

Ньятенери продолжала:

— На такое предложение нельзя ответить «нет». Это не разрешается. И я ответила «да». Я ответила: «Да, спасибо. Я недостойна такой чести».

— И в ту же ночь ты сбежала!

Лукасса подалась вперед. По глазам было видно, что она переживает историю Ньятенери в точности так же, как она переживала каждую легенду, которую я ей рассказывала. Ньятенери резко, коротко усмехнулась.

— Я знала, что в ту ночь мою келью будут стеречь. Я сбежала через час. Вот с тех пор и бегаю.

Мимо двери протопали несколько гуртовщиков, шумя, хохоча, отплевываясь, натыкаясь друг на друга. Эфрани, западные люди, судя по говору. Далеконько их занесло от родины! Голос Карша, приказывавшего им вести себя потише — не рык, а звук, который крупный зверь издает перед тем, как зарычать. Этот толстяк предпочитает многого не знать, но трактиром управлять он умеет. Святые люди продолжали петь. Мы продолжали мрачно пить. «Все это было так давно...»

— Ну, может быть, на этот раз, когда до монастыря дойдет весть о гибели убийц, им, наконец, надоест высылать новых, чтобы их тоже убили, — сказала я. Ньятенери набрала воздуху в грудь, явно собираясь ответить. Но вместо этого встала и подошла к окну, глядя на темную листву и немногочислен-

ные звезды. Я сказала: — Быть может, больше команд не будет.

Сколько времени прошло прежде, чем она обернулась и посмотрела на меня? Мне показалось, что много, но, когда я напиваюсь, время для меня замедляется, так что наверняка сказать не могу. Показалось, что много. А может, она и вовсе не оборачивалась — я помню только, как она шепотом произнесла:

— Я вам еще не все рассказала...

Я тут же взметнулась на ноги, несмотря на то что была уже порядком пьяна.

— Ну конечно! Когда это ты рассказывала все?

Я крикнула это? Да, наверное. Наверное, я уже предвидела, что последует за этим.

— Они всегда ходят втроем, — сказала она. — Всегда.

Это тогда мы услышали тихие шаги на лестнице? Или потом, когда я снова принялась орать на нее?

— Лал, не кричи, — сказала Ньятенери. — Я говорю правду. Третий ходит отдельно от двух остальных. Он следит за ними, но он не с ними. Это всегда самый хитрый и искусный из троих. Он всегда держится поблизости. Лал, не кричи, успокойся!

И тут раздался стук в дверь, очень тихий — надо было прислушаться, чтобы его услышать.

НЬЯТЕНЕРИ

Я молилась, чтобы это оказался кто угодно, только не он. Кто угодно! Пусть бы лучше это был тот третий убийца, прямо сейчас, несмотря на то что моя рука, в которой я держу меч, никуда не годилась и тело мое окоченело, как тела тех двоих, которых мы недавно зарыли. «Только не он! Только не теперь! Боги, боги, окажите мне такую милость! Я без сил, мне страшно, я не знаю, что может случиться тогда! Я боюсь встречаться с ним сейчас».

Лал встала, чтобы открыть дверь. Я сказала: «Не надо!», хотя вовсе не собиралась этого говорить. Лал посмотрела на меня. Тогда я встала сама.

ЛАЛ

Когда я встала, комната вокруг меня то расширялась, то сжималась. Мне пришлось зажмуриться, потому что от расплывчатого пламени свечей голова шла кругом. В тот момент я даже Ньятенери плохо видела. Она подошла к двери. Но разум мой был холоден и ясен, как клинок. Я ухватилась за спинку стула и подумала: «Дура я, дура! Не надо было больше пить после этой бани. Кто бы ни стоял по ту сторону двери, убийца, гуртовщик или поваренок, он запросто может перебить нас всех зараз. Что со мной? Как я могла так распуститься?» Я загородила собой Лукассу. Руки вспотели так сильно, что рукоятка трости скользила в ладони, и меч никак не желал выниматься.

ЛИС

Да-да-да-да-да, я его чую! Я их всех чую. И голубков тоже.

РОССЕТ

Актеры заявились поздно и шумно ссорились между собой, но Тиката они не разбудили. Меня тоже, потому что я даже не пытался заснуть. Я сидел на чердаке, смотрел, как луна клонится к западу и как Тикат пытается разгрести соломенную постель, которую я ему устроил. Лисонье, актриса, которая мне всегда нравилась, забралась по лестнице, просунула свою голову в парике в люк и спросила:

— Ну как там наш поселянин?

— Не столь плохо, сударыня, — ответил я, — по крайней мере, телесно.

Каждый раз, как эта труппа останавливается у нас — а они приезжают на две-три недели каждое лето, — ко времени их отъезда я начинаю говорить в точности как они, и Каршу приходится потратить еще целую неделю ворчания и тумаков, чтобы отучить меня от этого. Я рассказал Лисонье, что произошло, когда вернулась Лукасса, — только это, и ничего больше. Она облокотилась на край люка и долго смотрела на Тиката, не говоря ни слова. Она по-прежнему была в своем

гриме и костюме любовницы злого лорда Хассилдании и была похожа на ребенка, который засиделся допоздна со взрослыми.

— В свое время, и не так уж давно, — сказала она наконец, — я прогнала бы тебя вниз и легла с этим мальчиком, чтобы его утешить. Быть может, я и теперь бы так сделала, если бы на его месте был кто-нибудь другой и если бы этот мальчик потом не возненавидел и меня, и себя как последний дурак.

Она поразмыслила еще немного, потом решительно покачала головой:

— Нет, и тогда бы я этого не сделала. Довольно я утешала страждущих, с меня хватит. Заруби это себе на носу!

Она похлопала меня по руке и принялась спускаться, но потом снова сунула голову в люк и сказала:

— Россет, ты за ним приглядывай! Мне уже случалось видеть такой сон разбитого сердца. На твоем месте я бы время от времени будила его. Ему ведь теперь хочется больше не просыпаться.

Она уснула быстро, как и все прочие. Я не двинулся с места, пока не убедился, что храпят все, во всех стойлах. Я различал их всех — от заливистого, гулкого храпа старого Дардиса до нежных переливов Лисонье. Потом я, как и советовала Лисонье, потряс за плечо Тиката. Когда он уставился на меня заспанными глазами, я прошептал:

— Свиньи чего-то тревожатся. Надо сходить посмотреть. Ты спи, спи.

Тикат выругался, громко и отчетливо, и снова заснул, не успев опустить голову на солому.

У меня не было выбора. Нет, я прекрасно знаю, что большинство людей, которые так говорят, на самом деле имеют в виду, что им просто не хотелось делать выбор, и, возможно, со мной было то же самое. Но я действительно тревожился за Ньятенери — мало ли куда еще ее могли ранить, кроме руки? Крови-то не было? — и подумал, что если я схожу наверх и спрошу, нельзя ли чем помочь, ничего плохого не случится. А что до того, что сказала мне Лал — а где она была, эта Лал, когда мы с Ньятенери сражались с этими хихикающими убийцами в бане? Мы сражались вместе, мы целовались, мы вместе смотрели в лицо смерти — ну, может, и не плечом к плечу, но ведь вместе же! И я имел право — нет, я был просто

обязан — убедиться, что с моей боевой подругой все в порядке. Убедив себя такими рассуждениями, я босиком спустился с чердака, пришел в трактир и поднялся по лестнице, не разбудив ни актеров, ни свиней, ни Карша, который храпел за стойкой, положив голову на сгиб локтя.

Да, конечно, теперь, через столько лет, я и сам вижу, что поднялся я туда по одной-единственной причине, а по какой — вы и сами знаете, иначе не хихикали бы так понимающе себе под нос. «Ну конечно, а с чего бы еще его туда понесло, в его-то годы?» И все же дело было не только в этом, совсем не только в этом, и даже в мои годы — если не в ваши. Пусть так. Пусть я пришел туда только ради ее губ и смуглых, округлых грудей. Сойдет для начала.

НЬЯТЕНЕРИ

Одну вещь я знаю с детства, и по опыту мне известно, что это так и есть: это что боги бывают милостивы только до определенного предела. Победа в бою — самый незначительный из их даров, но душевный покой — это уже твоя забота. Еще не успев отворить дверь, я уже опустила глаза так, чтобы они встретились с его глазами. Быть может, я уже даже назвала его по имени.

— Я беспокоился... — сказал он так тихо, что я едва расслышала. Он спросил: — Твоя рука... ей лучше? Я беспокоился...

В волосах у него застрял клок соломы.

Войти я его не приглашала. В этом я буду клясться до последнего своего вздоха. Что бы я там ни пробормотала — честно говоря, я охрипла, как и он, — это Лал, в стельку пьяная, крикнула у меня из-за спины:

— А, Россет, привет! Заходи и присоединяйся к «Драконьей дочке»!

Это все Лал, зараза. Я бы его отослала, честное слово!

ЛАЛ

А какая разница? Как только мы увидели его на пороге, мы сразу поняли все, что сейчас будет. Ну нет, не совсем все — я, по крайней мере, кое-чего не предвидела. А если бы

и предвидела? Не могу сказать. Как бы то ни было, я или не я его пригласила, а по-настоящему выбор сделала Ньятенери. И Ньятенери это знает.

Да, я была пьяна — хотя еще и не совсем пьяная, по моим меркам. Да, меня кружило между моих старых бед, горестей и ненавистей, чего со мной давно не бывало. Но я люблю не от боли, и вожделею не от страха и не от нужды, как бы далеко я ни зашла. Отчего меня той ночью потянуло к Россету — к коротконогому, коренастому, лохматому конюху Россету — так это из-за того, как он смотрел на Ньятенери. Сквозь туман своих невинных, себялюбивых фантазий он как-то ухитрился разглядеть ее подлинную боль. На меня никто и никогда так не смотрел — и никогда не посмотрит. Да и не хочу я, чтобы меня видели так, по-настоящему. Поздно уже. Но тогда, в тот момент...

Да, я надеюсь, что это была я. Надеюсь, что это именно я сказала: «О, Россет! Заходи, мы тебе рады». Но я не помню. Правда, не помню.

РОССЕТ

Меня никто не приглашал. По крайней мере, вслух. Мы с Ньятенери посмотрели друг другу в глаза, я что-то промямлил — что, уж и не помню, — а потом она отступила в сторону и я вошел в комнату.

Вот как это было. Они все стояли: Лал позади стола, Лукасса — между кроватью и окном. Конечно, в комнате крепко пахло вином, и по полу катались пустые бутылки, — но они не были пьяны, по крайней мере, по моим тогдашним понятиям. Пьяный — это когда мне приходилось раз в месяц волочить Гатти-Джинни в его унылую каморку на чердаке или когда Карш устало смотрел на какого-нибудь ухмыляющегося бурлака с кухонным ножом в одной руке и с «розочкой» в другой и на двух окровавленных и блюющих фермеров на полу. Мне самому в те времена редко доставалось что-то крепче красного эля, да и эля не так много, чтобы хотя бы осоловеть. Кстати, самого Карша я пьяным не видел ни разу. Карш если и напивается, то в одиночку.

Да, конечно, кое-что даже мне было заметно. Ньятенери

осталась такой же бледной и напряженной, какой я видел ее в последний раз, но ее изменчивые глаза сделались темно-серыми, без малейших следов голубизны, и они очень ярко блестели, как иногда бывает от усталости. Лал улыбнулась — не мне, я даже тогда это понял, а чему-то у меня за спиной, и эта улыбка как бы перетекала — с губ на золотистые глаза, а оттуда — на теплые, темные щеки и на лоб. А Лукасса... Лукасса с самого начала смотрела прямо на меня, щеки у нее разгорелись, и лицо было такое, точно она вот-вот расхохочется. Я еще ни разу не видел ее такой, и мысль о Тикате резанула меня осколком льда. Но сдержаться я не мог.

Как я себя чувствовал, оказавшись в этой маленькой комнатке наедине с тремя женщинами, которых я любил, когда тяжелая дверь сама собой медленно затворилась у меня за спиной? А вы как думаете? Меня бросало то в жар, то в холод: вот только что губы и уши горели, а в следующий миг в животе стыл ледяной ком. При виде блуждающей улыбки Лал я задрожал так, что еле мог стоять, а при виде пылающих щек Лукассы — окаменел, точно один из этих зачарованных дурней в пьесах, что играют наши актеры. А Ньятенери? Я взял ее левую руку — бережно-бережно, она, казалось, вскрикнула в моей ладони, точно пойманный зверек, — и поцеловал ее, а потом привстал на цыпочки (совсем чуть-чуть, заметьте себе!) и поцеловал ее в губы, сказав так громко, как только мог: «Я тебя люблю». А этого я еще не говорил никогда в жизни, хотя с женщиной вроде как уже был.

Ньятенери вздохнула — прямо мне в губы. Я до сих пор помню запах ее дыхания — вино и покорность — не столько мне, сколько себе самой, но какая мне была разница? Она сказала что-то мне в губы — я не знаю, что она сказала. Через ее плечо я видел лиса в углу: глаза крепко зажмурены, ушки на макушке, красный язычок облизывает усы — раз-два, раз-два...

Нет, я не подхватил ее на руки и не отнес через всю комнату на кровать — всего несколько шагов, а какой длинный путь! Во-первых, я наверняка сорвал бы себе спину — мне еще никогда не приходилось таскать женщин на руках; во-вторых, едва сделав шаг, я наступил на бутылку, и Ньятенери самой пришлось меня ловить; а в-третьих... ну, в-третьих, там еще были Лал и Лукасса. И что бы вы ни думали обо мне

и о моей истории, можете мне поверить — я был парень скромный. Похотливый — да, конечно; испуганный и неуклюжий — без вопросов; но не тщеславный. Тщеславие пришло чуть позже.

ЛАЛ

Той ночью со мной произошло то, чего со мной никогда больше не бывало.

Раньше — да. Вы заметили мою оговорку — по лицу вижу. Да, мне приходилось спать больше чем с одним человеком за раз. Но тогда у меня просто не бывало выбора, и никакого удовольствия мне это не доставляло. И вообще мне об этом рассказывать не хочется. Я говорю именно о выборе и о чем-то большем, чем выбор, большем, чем откровенное желание, — о чем-то, чего я никогда не знала по-настоящему, несмотря на то что себя я знаю достаточно хорошо. Когда Ньятенери вздохнула и обняла Россета, я поняла, что тоже не могу без него. Меня охватило безумие — простое и неудержимое.

Может быть, я слишком много выпила и слишком много плакала? Вполне возможно. Это явно не имело ничего общего с ревностью, и Ньятенери здесь тоже была ни при чем — я ее почти не видела в тот миг, и почти ничего не слышала, кроме собственного голоса, который произнес: «А как же мы? Без нас не обойдется. Только не сегодня!»

Почему я это сказала? И почему позволила себе говорить за Лукассу? Ведь тогда я уж точно не думала ни о ком, кроме себя самой! Единственное, чем я могу это объяснить, — это тем, что я все же каким-то образом сумела разглядеть настоящую Ньятенери, как-то ухитрилась понять взгляд, который она бросила на меня, — не гневный, а испуганный, молящий, полный отчаяния. Мальчик стоял, разинув рот, — бедное дитя! — но Лукасса... Лукасса расхохоталась во все горло, и смех ее был нежен, как звон обледеневших веточек. Я сказала:

— Россет наш! Он наш рыцарь, наш верный и доблестный любовник, он служил нам всем, не ожидая просьб и наград.

Я дрожала всем телом и никак не могла унять эту дрожь,

но голос мой звучал ровно и спокойно. Это еще один из моих старых трюков. Я дорого заплатила за то, чтобы научиться ему. Это всегда действует.

— Ты заслужил вознаграждение, — сказала я Россету. Я подошла к нему, взяла в ладони его горящие щеки и привлекла его к себе. Сколько шуток ходит, сколько песен сложено о дамах, целующих лопоухих олухов из конюшни, с навозом на башмаках и под ногтями, знающих о любви только по жеребцам и кобылам! Губы Россета были нежными и в то же время сильными, и на вкус — точно первый предрассветный ветерок. И его руки, когда он наконец коснулся меня, были такими нежными, что я почувствовала, что вот-вот вновь расплачусь, или рассмеюсь, или выбегу из комнаты. Если бы он меня не поддержал, я бы упала.

Хорошо все-таки, что у меня почти не было случая узнать, с какой ужасной легкостью нежность находит путь к моему сердцу. Я каждый день не устаю благодарить за это судьбу. О да!

ЛИС

Голуби! Голубочки! Поднимаю нос — между нами ни балок, ни потолка... Закрываю глаза — и вижу воркотливых, мяконьких голубков, темные, сочные взмахи крыльев наполняют тьму, поднимают в воздух пыль и зерно, пушистые, нежные перышки плавно опускаются вниз... Воркуют, воркуют, беспокойно ворочаются в своих гнездышках, боятся меня. Закрывают свои глазки, похожие на капельки крови, и тоже видят меня, как и я их.

А тут, внизу — хо-хо, тут тоже ворочаются, да еще как! В комнате очень тесно, так много людей пытаются одновременно раздеть друг друга. Мальчик пятится к кровати, одной рукой держит за руку Ньятенери, другой пытается расстегнуть рубаху Лал. Лал помогает ему, ломает ноготь, бранится. Ноги мальчика путаются в ножках кровати, он садится. Лукасса встает на коленях на кровати у него за спиной, смеется. Ньятенери оборачивается, смотрит на меня. Мы разговариваем.

«Не делай этого!»

«Иначе нельзя».

«Оно не удержится. Ни за что не удержится».

«Я знаю. Иначе не могу. Помоги мне!»

Окно приоткрыто довольно широко. Дерево поскрипывает, шуршит, одна тонкая ветка достает почти до самой голубиной спаленки. Ньятенери: «Помоги!» Лал протягивает руку, валит ее на кровать.

РОССЕТ

У Лал на плечах ямочки. Ключицы у Лал — гордые и бархатистые, как весенние рожки молодого синту. Лал склоняет передо мной голову — ее затылок вызывает у меня слезы.

Лукасса пахнет свежей-свежей дыней, и перцем, и коричными яблоками, что продают на базаре. Груди у нее мягче и острее, чем груди Ньятенери, а предплечья изнутри прозрачные, в самом деле прозрачные — я прямо вижу маленьких голубых рыбок, плавающих между тонких вен. Она кладет на меня руку — и встречается с рукой Лал. Она поворачивает голову, улыбается — так простодушно!

Ньятенери... Я не вижу Ньятенери... Ее руки блуждают по моему телу, она кусает мои губы до крови, но лица ее я не вижу.

НЬЯТЕНЕРИ

Нет! Нет! Я не могу этого допустить, не могу! Ради нас всех — нет!

Но... Но мне так хорошо... так сладко... все такие добрые... Когда тебя в последний раз целовали так, как этот мальчик, — именно тебя, а не твой лук и не твой кинжал, то, что ты умеешь, то, что ты знаешь? Чьи руки ласкали тебя так умело, как руки Лал, так радостно, как руки Лукассы? А ты устала, тебе так одиноко, и все это тянулось так долго...

Нет, этого нельзя допустить! Оно не удержится — *он* это знает. Я пытаюсь оттолкнуть Россета — но это вовсе не Россет, это Лукасса, она хватает мою больную руку и тянет ее в себя, к себе, к Лал, словно обнимая ее моим прикосновением. На моих губах — живот Лал, точно тугая речная струя, Лукасса с очаровательной неуклюжестью тычет меня коле-

ном куда-то в бок, сломанный ноготь Лал царапает мне бедро. «Нет, нет, не выдержит!» Лукасса... Волосы Лукассы на мне... «Нет!»

ЛАЛ

Чьи-то руки подо мной, чьи-то губы ласкают обе груди. Глаза мои широко открыты, но все, что я вижу, — это чьи-то волосы. Россет выдыхает мое имя, Лукасса вскрикивает: «Ах! Ах! Ах! Ах!», и каждый нежный стон огнем опаляет шрам на внутренней стороне бедра. Я принимаюсь рассказывать ей, откуда у меня этот шрам, но кто-то еще шепчет «Лал!» мне в губы, и старая боль забывается, усмиренная поцелуем. Я обнимаю всех, до кого могу дотянуться, отворяю настежь все свои окна и двери, впускаю в себя дикое наслаждение.

ЛИС

Окно приоткрыто довольно широко — может, все-таки хватит места? Места для маленького-маленького лиса с мягкой шерсткой? Бегу вдоль стены, тороплюсь, ставлю лапы на подоконник — нос, усы, уши — все пролезло... Здравствуйте, голубочки!

Мельком оглядываюсь назад — меня никто не видит. Ньятенери почти не видать — сплошные ноги. Стоны, смех, бедная кровать гремит и скрипит, последняя бутылка падает на пол и разбивается. Протискиваюсь, осторожненько — одна лапка, потом вторая, одно плечо, голова, другое плечо — и вот уже весь лис целиком на славной толстой ветке, смеется, такой ловкий, такой хитрый! Светит луна. На луне тоже виден Лис.

Если бы Ньятенери позвала: «Вернись...» Может, и вернулся бы.

Лунный Лис: «Поздно, поздно! Не удержать. Иди к голубям».

Голос Ньятенери: радость, боль, отчаяние — какая разница? Это не ко мне, меня никто не звал. Я взбегаю по лунному лучу на крышу, к славному пуховому окошечку, к славной теплой крови, что ждет меня там...

РОССЕТ

Должно быть, это Лукасса. Лица я не вижу — свеча у кровати давно упала и потухла в луже сала, — но пахнет Лукассой, и волосы у меня во рту, и острые мелкие зубки, впившиеся мне в запястье — тоже ее. Ах нет, нет, — это, должно быть, Ньятенери: это раненая рука Ньятенери ведет меня... — «ах! невероятно!» — это ее длинные ноги оплетают меня и крепко держат... Но кругом лишь лунный свет и винные бутылки — и *это*, — а Ньятенери ускользнула, хотя я чувствую ее запах, совсем близко, как будто моя голова по-прежнему лежит у нее на коленях, в нескольких шагах от двух покойников, всего несколько минут как убитых. И я слышу смех Лал, тихий и нежный — если протянуть руку влево, вот так, я чувствую этот смех у себя на ладони, между пальцами, и шепот Лал: «Россет, малыш, ты такой сильный — там, во мне, — такой ласковый, такой добрый во мне! Россет, Россет... да, вот так, да, пожалуйста, милый, милый!» Это имя, которое дал мне Карш, имя, которое я всегда ненавидел, — о, как прекрасно оно звучит! Если бы я только мог спрятаться в этом звуке моего имени, как она его произносит, и никогда не выходить наружу...

Но я не в ней, я совсем не в ней, это понятно даже в этой пляшущей тьме. Это Лукасса принимает меня — Лукасса выгибается, тянется к моим губам, целует меня, молчит, отдает мне свое дыхание взамен моего — это ее бедра жгут мои недоверчивые руки... Я слишком бестолков даже для того, чтобы войти в женщину, которую я хочу больше всего, — как же я могу соединиться и наслаждаться с двумя зараз? О таких мужах рассказывают легенды, но я-то всего лишь Россет, я вовсе не рыцарь, всего лишь Россет, конюх, и тот разум, который у меня был, давно растворился в лунном свете, а глупое тело осталось болтаться в этой постели, как игрушечная лодка на волнах бурной бухты Бирнарик, которой я никогда не видел. «Кто-то возьмет меня туда, и я буду целый день играть в маленькой лодке своей на волнах Бирнарик-Бэй-бэй-бэй-бэй... Это Лукасса, Лукасса ведет меня туда. Это была песня. Была песня...»

Чья-то рука гладит меня по затылку, по бедру, ласково, настойчиво, толкает — потом подается в тот же миг, как по-

даюсь я, и мы вместе плывем в Бирнарик-Бэй. Голос Лал, внезапный свистящий шепот — должно быть, так свистит ее меч, вылетая из трости:

— Россет? Россет?!

НЬЯТЕНЕРИ

В конце концов меня выдали волосы. Что ж, этого следовало ожидать. Волосы Россета — сплошные тугие завитки. А мои — такие же жесткие и лохматые, как его, но при этом совершенно прямые, так что ошибиться невозможно. Едва только пальцы Лал вцепились в мои волосы — все было кончено, даже если бы магия каким-то чудом продолжала действовать.

Но магия отказала. Когда тебя оставляет заклятие — даже самое слабое, — ощущение удивительно странное. Вы себе этого просто представить не можете. Нет, я вовсе не хочу вас обидеть — я этого тоже представить не могу, хотя мне случалось испытывать такое целых три раза. Поэты и доморощенные маги что-то там болтают насчет мановения огромных крыл, насчет того, что это все равно, как будто тебя покидает некий бог, который использовал тебя и заставил пережить почти невыносимый взлет... Чушь все это. Это похоже на то, как... Как будто у тебя на руке лопнул мыльный пузырь, оставив после себя холодок, такой мимолетный, что кожа успевает забыть о нем прежде, чем медлительный мозг его заметит, — знаете? Вот вроде этого. И ничего больше.

Ну, тогда вы, быть может, понимаете и то, что человек, находящийся под заклятием, знает об этом только по тому, как оно действует на окружающих? Целых девять лет я был Ньятенери, дочерью Ломадис, дочери Тиррин, и все это время лицо, отражение которого я видел в блестящих шлемах и придорожных лужах, было совсем не женским. Эти груди, что терзали Россета и придавали ему мужества; эта нежная кожа, изящные, нежные губы, мягкая, грациозная походка — все это было лишь уловкой, единственной уловкой, которая могла хотя бы на время сбить со следа тех, кто хотел меня убить. Я носил личину — достаточно надежную, чтобы путешествовать и жить рядом с настоящими женщинами, не воз-

буждая в них ни малейших подозрений. Но сам я не изменился — ни на деле, ни по собственным ощущениям. За все эти годы я ни минуты не верил, что я и в самом деле Ньятенери.

И тем не менее... И тем не менее тогда, на перегруженной кровати, когда Лал обвивалась вокруг меня, и рука Лукассы протискивалась между нами, а моя рука наконец-то нашла Россета, в алчном и возвышенном восторге трех тел, слившихся воедино с моим, — чье имя было настоящим, чей пол был истинным? Это невинное желание Россета заставило мое собственное с рыком пробудиться от многолетней спячки — так кто же жаждал его губ не менее, чем сладких губ Лал, его рук не менее, чем робких ласк некогда мертвой Лукассы? Был ли то я — мужчина — или Ньятенери, женщина, которой никогда не было на свете? Все, что я знаю, — это что я целовал их и возбуждался от их поцелуев — Ньятенери и в то же время мужчина, который не был Россетом, когда Лал застонала и зарылась руками в его волосы. В ту ночь в той постели не было ни стражи, ни границ.

ЛАЛ

На миг — ибо мне потребовалось не больше мгновения, чтобы грубо оттянуть за волосы голову Ньятенери и разглядеть сквозь трепетную тьму странное и знакомое лицо, что склонилось надо мной, — на этот миг я снова превратилась в Лал-Одиночку, холодную, равнодушную, всегда готовую убить. Не потому, что женщина, бывшая со мной в постели, оказалась мужчиной, но потому, что этот мужчина меня обманул, а я не могу, просто не могу позволить себе обманываться — днем или ночью, в постели или в узком проулке. Это единственное, что я считаю за грех. Моя трость с мечом стоит в углу — о голая, глупая Лал! — но пальцы мои уже скрючились, готовясь раздавить гортань Ньятенери. Но тут я слышу тихое восклицание:

— Это он меня научил, Человек, Который Смеется!

И я уронила руки, и Ньятенери рассмеялся... то есть рассмеялась... и поцеловал меня — грубо, точно ударил, — и медленно задвигался во мне. И я застонала.

Наверху, в голубятне, что-то творится: смутное протестующее воркованье, беспокойный шум, как будто птицы спархивают со своих насестов и вновь взлетают на них. Интересно, что гуртовщики, моряк и святая парочка могут думать о том, что здесь происходит? Что подумал бы этот скрытный толстяк, если бы тайком поднялся по лестнице, распахнул дверь и увидел нас сейчас, вот в эту самую минуту, кувыркающихся друг через друга, точно озаренные луной акробаты, нагие канатоходцы, скользкие твари? Что подумала бы я, если бы губы и шея Лукассы не затеняли мой разум нежной завесой, если бы внезапно и сама я не пустилась в пляс? Это я, Лал, пляшу в высоте, под куполом благоуханной ночи, выше голубятни, выше всех, пляшу в высоте безо всякого каната, и ничто не поддерживает меня, кроме любви троих чужих мне людей, которые и не дают мне упасть...

ЛИС

Ну ведь там, на балках, осталось целых три штуки, чего же ему еще? Эти три ловких голубя, которых я так и не смог достать, дадут большое потомство — полный чердак голубей. Так зачем же так орать, зачем всех будить? Люди же устали, спать хотят! Толстый трактирщик орет, ругается, вламывается в комнаты, роется в шкафах, заглядывает под половицы, под кровати — и даже в сами кровати! Псы — во дворе, в конюшне, на лестницах, вынюхивают, гавкают — точь-в-точь как толстый трактирщик. Мальчишка Россет бегает туда-сюда, ухитряется оказаться в трех местах одновременно, морда у него виноватая и счастливая. Мальчишка Тикат помогает — вот это плохо, слишком много он знает. Больно добрый ты, лис! Надо было дать ему сдохнуть с голоду.

Несколько дней подряд — и все из-за каких-то паршивых костлявых голубей. Ньятенери, Лал, Лукасса по-прежнему каждое утро уезжают, вечером возвращаются и совершенно не думают о том, что кому-то приходится целыми днями скрываться в полях — по такой-то жарище! — а ночами дрожать от холода в полом бревне. Человечий облик теперь не примешь, пока тут этот мальчишка Тикат. На Северных пусто-

шах и то лучше, честное слово! В монастыре — и то лучше, только там кормят плохо.

Вот и это утро. Облачно, легкий туман, холодный серый пот. Я бегу в сторону гор легкой рысцой, высматриваю птиц, кроликов. Может быть, удастся поймать кумбия — это такой большой, жирный зверь вроде крота, почти с меня ростом. Но никаких кумбиев нет, ничего вкусного, вообще ничего, кроме запаха надвигающейся грозы и одной-единственной глупой ящерицы, которая падает на спину, едва завидев меня. Плохо есть ящериц: глаза слезятся, зубы выпадают. Съедаю половину.

Мех трещит. С востока идет грозовая туча, зеленовато-черная, вся исхлестанная молниями. В маленьких медлительных ручейках беспокойно квакают лягушки. Может быть, и для меня найдется вкусная, славная лягушка? Может, даже две лягушки? Я мягко подкрадываюсь к ручейку — только взглянуть... Воет собака.

Эту собаку я не знаю. Гавкает снова, уже ближе — большая, бежит быстро. И все равно я ее не чую, усы не чувствуют запаха, сердце не трепещет, говоря: «Собака, собака!» Еще утро, но сделалось слишком пасмурно, чтобы разглядеть что-то дальше деревьев, камней, прутьев почти завалившейся изгороди. Но я слышу, как она сопит.

Ну что ж, наверх и в сторону, сквозь заросли ежевики, клещевины, терновника — собака сюда не полезет. Но эта ломится сквозь кусты. Трещат и ломаются ветки, собака скулит, напоровшись на шип, громко лает на бедного маленького лиса, который не сделал ей ничего плохого. Собака мчится, мчится за мной, а следом за ней мчится гроза и лает на нее. Но я уже в распаханных полях, перемахиваю через тележные колеи, виляю туда-сюда по террасам, засаженным виноградниками, — ого-го, я лечу быстрее любой своей добычи, быстрее птицы. Никто не умеет бегать так, как я!

Снова гром, ближе, чем собака, но еще не слишком громкий. Несмотря на раскаты грома и вой бури, я все еще слышу сопение собаки, словно ветер в глухом затерянном ущелье. А тут еще и дождь. Гром — это все пустяки, но дождь хлещет меня, заставляет путаться в стерне, вязнуть в глине. И все это время — ее серое дыхание, тяжелее и холоднее дождя, у меня в ушах, где-то внутри меня... Я в мгновение ока вскакиваю

на ноги — мне не страшно, я ничего не боюсь! — и бросаюсь в чащу леса справа от меня. Я не оглядываюсь — к чему? Кролики на меня не оглядываются. За лесом — сад, а за садом — трактир, где славный улыбчивый дедуля сможет укрыться от бури под юбками Маринеши. Вот попробуй-ка поймать меня там, злая собака, не имеющая запаха, вот там попробуй поймать!

Тут что-то не то. Ничего не выходит. Я ныряю между деревьями, вдалеке мелькает сад, но к трактиру я подобраться не могу. Как же так? Я же вижу его, даже сквозь ветер, дождь и туман: вижу трубы, двор, баню, конюшню — даже мое славное дерево, ветви которого колотятся в окно женщин. Я бегу, бегу, бегу — я бы уже три раза мог добежать туда, но добежать до трактира так же невозможно, как до луны. Собака лает слева. Я сворачиваю в сторону города, пробегаю немного, закладываю петлю, возвращаюсь по своим следам. Но каждый раз, как я пытаюсь сделать это, трактир оказывается все дальше, собака все ближе, мой мех все мокрее, хвост путается в лапах, мешает бежать... Никто не бегает лучше меня, но ведь никто не может бежать вечно!

Кролики не оглядываются. А люди оглядываются. Останавливаюсь под большим деревом, оборачиваюсь и наконец принимаю человечий облик. Какая собака будет преследовать человечий облик, как бедного лиса? Эта — будет. Из тумана и дождя появляется пес: зияющая пасть, влажные зубы блестят, дурацкие уши болтаются, она мчится сквозь бурю, точно четверолапый огонь. Да-да, вот и говорите, что человек — царь природы! Два прыжка. Здравствуйте, мои родные четыре лапы! Бегу туда, куда гонит собака, — прямиком в город. Ей меня не поймать, но и мне не уйти.

Буря проносится мимо нас, в сторону того страшного края, где живут милдаси. Туман редеет, гром грохочет над городскими кровлями, последняя молния тает в сиянии полуденного солнца. Я вспоминаю каменный водосток — узенький-преузенький, который ведет к рыночной площади. Этой мерзкой собаке в него нипочем не протиснуться! Пусть тогда ищет меня хоть до завтра. Быстрее, быстрее, чтобы она меня не обогнала! Ах, какой я замечательный, как быстро я бегу!

Но водосток превратился в настоящую реку, вода течет вровень с краями... В воде чернеют дохлые твари — крысы,

птицы. Если я туда прыгну, тоже буду дохлый... Но раздумывать и решать некогда — времени хватает только на великолепный прыжок — ах, какой я ловкий, прямо рыба, а не лис, как изящно я проплываю в воздухе! Ныряю вниз. Еще одно гавканье — и неуклюжие лапы собаки топочут по моим следам. Остается рынок — найти какую-нибудь корзину, кучу капустных кочанов, перевернутую тачку — любое место, где может укрыться бедный маленький лис, промокший хвост которого волочится за ним по земле.

Рынок пуст. Все еще прячутся от бури. Тачки укрыты грязной мешковиной, навесы провисли от набравшейся воды. Смотрю налево, направо. Фруктовый лоток. Десять прыжков — и я попадаю в корзину, до половины набитую склизкими зелеными плодами. Я уже почти выбрался из корзины — но тут меня хватают за шкирку. Крепко, очень больно. Никто меня так не хватает, даже Ньятенери. Я извиваюсь, щелкаю зубами — понапрасну. Вторая рука хватает за задние лапы, и меня поднимают вверх, растянув, точно тушку кролика. Но зубы-то у меня живые, и на этот раз они вцепляются в мокрый рукав и костлявое запястье. Славные, крепкие зубы! Голос без слов произносит мое имя — и я застываю, мои крепкие зубы не успевают сомкнуться, не порвав ни единой нитки. Я знаю, я знаю этот голос...

Руки разворачивают меня, одна разжимается. Я вишу в воздухе перед его лицом и не шевелюсь. Ньятенери не узнала бы его. И Лал не узнала бы. Он седой, весь седой, насквозь: кости, кровь, сердце — все седое. Седой как дождь, и тонкий, как дождь, и одежда на нем такая рваная и мокрая, что кажется, будто и одет он тоже в дождь. Они бы его ни за что не узнали. И все же он — тот же самый, еще не все в нем поседело. И потому я жду, когда он скажет мне, что можно двигаться.

Он долго молчит, потом снова произносит мое имя, на этот раз человеческим голосом. Ньятенери знает мое имя, но никогда не произносит его, никогда! Он говорит:

— Ты доставил мне немало хлопот. Как всегда.

Собака... Нет никакой собаки. Не слышно топота лап, не слышно холодного неживого дыхания... Я говорю очень тихо:

— Собака без запаха... Это ты.

Он смеется — пытается засмеяться этим своим смехом, но смех сочится сквозь зубы, точно кровь:

— Нет-нет-нет! Ты всегда был льстецом. Буря — это да. Я еще могу устроить небольшую бурю. Но менять облик больше не получается. Нет, собака была всего лишь частью бури, простой иллюзией, как и призрак трактира. И все это пришлось устроить только затем, чтобы привести тебя сюда. Ужасно хлопотно, как я уже сказал. Пока я занимался тем, что старел, ты успел сделаться сильным и ловким.

Давным-давно, в те времена, которых Ньятенери не помнит, ему не нужно было ни рук, чтобы удержать меня, ни призраков, чтобы заставить меня повиноваться ему.

— Сам ты льстец, — говорю я. — Что тебе от меня надо?

Он мягко опускает меня на землю. Я ощущаю легкую дрожь. Он озирается. На рынке по-прежнему никого. Он садится на корточки передо мной.

— Лал, — говорит он. — Ньятенери. Всего в нескольких милях отсюда, но я слишком болен, слишком устал, чтобы добраться туда. Помоги мне. Отведи меня к ним.

Это не приказ, всего лишь просьба, всего лишь услуга старому — другу? Соратнику? Спутнику? У меня нет ни друзей, ни соратников, ни спутников.

— А с чего это ты обратился ко мне? Ты маг. Ты можешь устроить волшебную бурю и создать волшебную собаку, которая пригонит к тебе бедного лиса. Вызови себе теперь другую, чтобы она отнесла тебя куда тебе надо. Вызови шекната.

От тряпок уже идет пар под горячими лучами солнца, но он по-прежнему обнимает себя за плечи, пытаясь согреться.

— Я израсходовал последние силы на это представление. Ты это прекрасно понимаешь. Прими свой человеческий облик, малыш, хотя бы ненадолго. Мне нужна рука, плечо, на которое можно опереться. Ничего более.

— Иди пешком, — говорю я. — Или лети. Был бы я магом, я бы только и делал, что летал.

Я сижу и ухмыляюсь ему в лицо. Давно мне не было так приятно — с того времени, как я поохотился на голубей.

Через рынок пробегают двое мальчишек, ненадолго задерживаются, чтобы поплескаться в лужах. Он прячется за грудой ящиков, испускает тяжелый седой вздох. Пожалуй, он не сможет встать, если понадобится... Говорит:

— Прошу тебя! Та тварь, что преследует меня, настоящая. Она уже близко. Просто отведи меня к Ньятенери, к моей Лал. Ты ведь знаешь, кто тебя просит.

Чем дальше, тем лучше...

— А кто я такой, чтобы встать на пути твоего врага? Бедный маленький лис, как зерно между жерновами, между двумя могучими волшебниками. Нет, сударь, это не для меня, спасибочки!

Я отворачиваюсь. Лис греется на солнышке, выискивает себе местечко, где можно уютно свернуться клубочком и вылизать грязь из меха...

Никогда, никогда не спускайте глаз с волшебников, пока они дышат! На этот раз то была не рука, а могучая хватка воли мага: хвать! — и моя бедная шея только что не трещит, р-раз! — и меня уже трясут в воздухе, хлоп! — и я шлепаюсь на землю рядом с ним и судорожно хватаю воздух. Он склоняется надо мной, и в голове у меня звучит безмолвный голос:

— Только попробуй вякнуть, скотина несчастная! Ты ведь знаешь, кто тебя просит!

Теперь вокруг звучат голоса, колеса гремят по мостовой, хлопают мокрые навесы — торговцы снова открывают лавки. Он склоняется еще ниже — не человек, а куча серых тряпок.

— Ну, будь умницей, — говорит он. — Смени облик.

А кто думает обо мне? Никто обо мне не думает. Вежливость, порядочность — это все они приберегают для других, для посторонних, а со мной можно обращаться как хочешь... Я отвечаю:

— А говорил, твоя сила иссякла! Лжец. Просил об услуге, а потом едва не убил меня, когда я сказал «нет». Старый, загнанный, одинокий — ничего удивительного.

Снова этот багровый призрак смеха. Шерсть у меня встает дыбом, уши прижимаются.

— Ничего удивительного и в том, что ты по-прежнему лис, после стольких лет. Слишком ты хитер, слишком много ты знаешь и видишь. Ты никогда не задумывался над тем, почему тебе до сих пор приходится бегать лисом?

Шаги. Тяжелые шаги. «Это мой лоток!» Топает, как толстый трактирщик.

— Меняй облик, быстро!

И вот уже из-за разломанных ящиков встает человечий облик, держа на руках седого бродягу. Точно так же, как он держал меня недавно, только я обращаюсь с ним бережнее. Приходится.

Торговец охает, чешет в затылке. Хотел было заорать —

но на что тут орать? Славный голубоглазый старичок помогает славному вонючему оборванцу... Он стоит и смешно охает. Человечий облик проносит свою беспомощную ношу мимо него. Человечий облик улыбается, кивает, как свой своему. Оборванец успевает ухватить горсть кураги из корзины.

Он заставляет человечий облик тащить его на руках через всю рыночную площадь. Глаза закрыты, лицо спрятано в лохмотьях. Все сочувствуют, ахают, хвалят человечий облик, засыпают его вопросами.

— Нет-нет, он оправится, ему нужно только немного терпения и заботы, как и всем нам. Нет-нет, благодарю вас, добрые дела не тяготят. Да-да, вы очень любезны, достойный господин, благодарю вас, спасибо большое, спасибо, спасибо.

Кое-кто из достойных господ даже сует монетки — в руки, в карманы человечьему облику. Монетки мелкие.

Мы выходим на дорогу, ведущую за город, и он говорит:

— Наверно, я смогу идти сам. Хотя бы немного. Помоги мне встать на ноги.

Он обвивает рукой шею человечьего облика, наваливается всем весом ему на плечо. Нет, нести его куда легче.

— Тебе, наверно, интересно, что со мной стряслось. Как я мог докатиться до такого.

Видит, что меня куда больше интересуют следы старка на влажной земле и лягушки в канавах. Вон та самая канава, там сидят две лягушки: одна зеленая, очень вкусная, другая красно-коричневая, мерзкая на вкус. Почему бы это? Он улыбается. Улыбка рваная, как его одежда.

— Что ж, ты мудрый лис, этого у тебя не отнимешь. Я воспользовался тобой против твоей воли, я оскорбил тебя. Прости, если можешь.

Прощать я не собираюсь. Я молчу и не разговариваю с ним на протяжении всех миль, что лежат между городом и трактиром. Впрочем, на полдороге он теряет сознание.

ТИКАТ

Конечно, я его узнал. Эту его красную солдатскую куртку, эту его особенную походочку: два шага вперед, третий чуть в сторону, — не признать трудно. Ничего, что он был далеко и лицо его было полускрыто оборванным человеком,

которого он нес на руках. Я уронил корзинку к ногам Россета — мы собирали падалицу и желуди для свиней — и бросился навстречу.

Мы встретились во дворе. Все собаки яростно гавкали на него, крутясь возле его ног, и Гатти-Джинни орал на них из окна. Когда я приблизился, он поставил оборванного человека на ноги, поддерживая его рукой за пояс. Человек обвис у него на руке и зашелся кашлем. Он был очень стар, куда старше моего приятеля в красной куртке, и по звуку его кашля я понял, что у него совершенно не осталось сил. Я подумал, что он умирает. Старик в красной куртке глянул на меня поверх его головы и сказал памятным мне тявкающим голосом:

— А-а, коллега-конокрад! Рад видеть тебя снова.

— Значит, милдаси тебя все-таки не поймали, — сказал я. Довольно неуклюже, согласен, но что бы вы сказали на моем месте тому, кто в свое время принес тебе завтрак в зубах? Он и теперь показал зубы, такие же белые, как прежде.

— А ты как думал? Если бы они меня поймали, тебе теперь не пришлось бы кормить твоего серого конька. Глянька сюда, парень. Это друг наших дам.

Я медленно подошел к нему, и он уронил старика мне на руки. Старик оказался неожиданно тяжелым — я даже испугался. Казалось бы, кожа да кости, чему там весить-то? И тем не менее колени у меня подкашивались под его тяжестью. Я пошатнулся. Красная Куртка расхохотался. Честно говоря, я бы упал, если бы он не схватил меня за плечи и не поставил на ноги.

— Что, видать, в нем больше весу, чем кажется? Да, друг-конокрад, старики временами застают врасплох. Вот взять хотя бы этого: его кости налиты тьмой, а кровь — густая и холодная от древней мудрости и тайн. Все это весит немало — с таким грузом перебираться с места на место и то непросто.

Он зудел и хихикал у меня над ухом, пока я волок старика к двери трактира. На пороге стоял Гатти-Джинни, разинув рот и растерянно моргая. Тут подоспел Россет и, ни слова не говоря, принялся мне помогать. Я был ему очень признателен.

Тут появился Карш. Он отодвинул в сторону Гатти-Джинни и нахмурясь смотрел, как мы ворочаем бедолагу, точно неуклюжий комод. Красная Куртка у меня за спиной по-прежнему хихикал. От этого смеха у меня покалывало ладо-

ни. Карш смотрел не на меня, а на Россета. На меня он вообще никогда не смотрел прямо.

— Еще один, — буркнул он.

Тогда я целыми днями испытывал жалость к себе — просыпаясь, работая и ложась спать, — и все же в тот момент я от души пожалел Россета. Только подумать: каждый день, всю жизнь слышать этот ворчливый, протяжный голос! Но я тут же осознал, что Россет попросту не слушает Карша. Он слышит голос, слышит приказы, он всегда почтителен и исполнителен, послушно выполняет любую работу — и все же каким-то образом ему удается постоянно избегать хозяина, не даваться ему, точно так же как мне не даются слова, чтобы выразить это как следует. Было заметно, что и Карш все понимает — и что ему это не по нраву. А сам Россет понимал? Не думаю.

Вот и сейчас он только покачал головой и весело ответил:

— На этот раз это не ко мне, хозяин. Это гость госпожи Лал и госпожи Ньятенери. Мы отнесем его в их комнату. Пусть отдыхает, пока они не возвратятся.

Он кивнул мне, и мы потащили полумертвого старика дальше.

Карш заворчал и сплюнул. Он не пытался помешать нам, только пристально смотрел на нас своими бледными глазами, пока мы проходили мимо. Мы уже добрались до порога, когда он сказал негромко, но отчетливо:

— Гость, говоришь? Похоже, скорее, еще один труп для наших кустов клещевины.

Я не понял, что он имел в виду, но шея Россета налилась краской. Он окликнул Гатти-Джинни, прося помочь нам, но Гатти уже скрылся в одном из своих пыльных закоулков. Так что пришлось нам тащить старика наверх вдвоем.

Я думал, что смогу войти. Я знал, что в комнате будет пахнуть ею и что мне тяжело будет смотреть на кровать, где она спит, и думать о том, может ли человеку, который умер, сниться кто-то живой. Но стоило мне поднять задвижку и приотворить дверь на расстояние вытянутой руки, как я увидел бархатный пояс, висящий на спинке стула. Это был тот самый пояс, на который я потратил все деньги, вырученные мной от продажи своего первого куска полотна на ярмарке в

Лимсатти. Этот пояс был на ней, когда она утонула. Я захлопнул дверь и отвернулся.

— Тикат, — сказал Россет, — они уехали, когда луна еще не села. Их целый день не будет дома. Ее... Лукассы... ее здесь нет.

Он очень старался быть деликатным. Помнится, он еще снова покраснел, произнося ее имя. Наверно, это очень утомительно — так стараться щадить чужие чувства...

— Я пришлю наверх Маринешу, — ответил я. — Извини.

И сбежал по лестнице, как будто все звери из моих дневных кошмаров, что мерещились мне на Северных пустошах, гнались за мной следом. Разогнавшись, я споткнулся во дворе и упал на колени. Если бы Карш оказался поблизости, он бы, наверное, лопнул со смеху. По правде говоря, я того стоил. Но там, у той двери, я внезапно понял, что моя погоня окончена. Я следовал за Лукассой через пустыни и леса, через реки и горы, выслеживая любой ее мимолетный след, который она оставила за собой, но в эту комнату я за ней последовать не мог, даже если бы моя возлюбленная сама стояла на пороге, маня меня внутрь. Довольно.

— Пусть сама приходит ко мне, если захочет! — сказал я пыльным курам, кудахчущим и роющимся в пыли. — Она должна прийти сама!

Дурацкий то был обет, как вы сами вскоре увидите — дурацкий, и злой к тому же, ибо я ведь по-прежнему верил, что она находится под заклятием, которое мешает ей признать меня. Но я ужасно устал — хотя, может, это и не оправдание, — и был очень зол и полон отчаяния. Тогда, во дворе, стоя на коленях, я думал, что никого не люблю, и никого никогда не любил.

МАРИНЕША

Если бы не Тикат, мне бы все-таки удалось прожить целую неделю, не разбив ни единой тарелки. Ага, вам смешно — а попробовали бы вы сами пожить, как я, чтобы Карш все время орал на вас, обзывал неуклюжей растяпой, и все из-за разных случайностей, которые стрясаются вовсе не по моей вине! И все-таки, несмотря на все его зудение и дурац-

кую привычку подкрадываться и орать над ухом — а тут уж не захочешь, да уронишь что-нибудь, — мне все-таки удалось за целую неделю не разбить ни единой чашки, ни единого блюдечка, даже когда поднялся весь этот кавардак из-за голубей. А тут вдруг влетает Тикат и зовет меня, когда я этого совсем не ожидала, своим приятным деревенским голосом — он так смешно коверкал мое имя! — ну, и конечно, я выронила суповую тарелку — а кто бы не выронил? Ну и, конечно, я развернулась и влепила ему увесистую пощечину. Тикат понял. Тикат был парень вежливый и воспитанный — и мне все равно, что он деревенский.

— Извини, Маринеша, — сказал он. — Я не хотел тебя пугать. Я просто пришел сказать, что Россет зовет тебя наверх. Ты ему нужна.

— Ах, вот как? — ответила я. Мне вовсе не хотелось, чтобы Тикат подумал, будто я готова плясать под дудку Россета. — Ну, так иди и скажи лорду Россету, что принцесса Маринеша явится, когда сочтет нужным, а если ему это не по вкусу, то внизу, на кухне, его ждет один милый господин, который хочет видеть его немедленно.

Потому что Шадри люто ненавидит Россета — просто страх, как он гоняет бедного парня. Я тут же пожалела, что сказала это. И потому добавила:

— Я поднимусь наверх, как только управлюсь. Мне еще нужно прибрать черепки. Надеюсь, Карш не заметит.

Все равно заметит, конечно.

У Тиката удивительные ресницы. Красивее я ни у кого в жизни не видела. Даже странно, что у простого деревенского парня такие длинные, густые ресницы, цветом — точно пыль во дворе, когда ее освещает заходящее солнце. И он высокий, намного выше Россета, и еще этот голос... А если бы он еще немножко ухаживал за своими волосами, они были бы... ну, я не знаю. Прямо как прекрасная птица или животное какое-нибудь. Я с ним почти не разговаривала — «доброе утро» да «добрый вечер», — но он всегда держался со мной очень любезно, а это о чем-то да говорит, верно?

Но на этот раз он был другой. Не могу сказать, в чем именно, — другой, да и все. Если я скажу, что он был бледен, и вот так вот трясся, вы подумаете, что тут и вся разница, а

дело-то было не в этом. Дело в том, что я просто никогда раньше его таким не видела. Он сказал:

— Маринеша, тебе придется самой ему сказать. Я не могу идти наверх.

— Да что случилось? — говорю. — Что с тобой?

В смысле, я не могу сказать, что совсем не знала, в чем дело. Наверное, все, даже постояльцы, знали, что он проделал это ужасное путешествие, чтобы найти свою девушку, а тут эта тихонькая, бледная... ну, скажу просто — тварь, — просто отвернулась и сделала вид, что знать его не знает. Я лично думаю, что это просто свинство и что это эти две другие бабы ее подговорили. Заносчивые, наглые бабы — и я ничуть не стесняюсь так о них говорить! Правда, один мой знакомый конюх чуть не упал, когда я ему это сказала, но мне-то что? А Тикат был парень вежливый, а если я что ценю в людях, так это именно вежливость.

Но он сказал только:

— Я не могу... я просто трус... не могу...

И с этими словами выбежал на улицу, едва не сбив с ног Шадри. Я расхохоталась — просто не могла удержаться. Так что мне ничего не оставалось, как умаслить Шадри, прибрать осколки тарелки и пойти наверх, к Россету. Он как раз успел уложить старика — самого старого, какого я когда-нибудь видела в своей жизни, — на соломенный тюфяк на полу. Глаза старика были закрыты, и он был весь грязно-белый, как снег по весне. Я одно время работала у знахаря — еще совсем девочкой, — и мне довелось повидать немало покойников. Я было подумала, что и это тоже покойник, но только Россет с ним разговаривал.

— Ну вот, сударь, я вас и устроил — ничем не хуже прочих постояльцев. Ваши знакомые должны вернуться к вечеру. Не могу ли услужить еще чем-нибудь?

Но старик так ничего и не ответил.

— Единственное, что ты можешь для него сделать, — сказала я с порога, — это спросить, где он желает быть похороненным и какие священники должны совершить обряд.

Россет развернулся и сердито уставился на меня, но я только улыбнулась. Россет всегда терпеть не мог, когда я ему так улыбалась. Я добавила:

— А тебе остается только молиться, чтобы Карш не хва-

тился этого запасного тюфяка. Не то он тебя самого выпотрошит, чтобы набить новый.

Россет издал долгий-долгий тяжкий вздох, которого терпеть не могла я, и сказал:

— Этот господин просто приехал повидать своих знакомых. Ночевать он не останется.

— Да, потому что до ночи он не дотянет, — сказала я. Россет прижал палец к губам, но я не обратила на это внимания. — Когда вернутся эти три девки, они обнаружат, что их ждет покойник.

Лично меня это вполне устраивало, и я рассмеялась, подумав об этом.

— Бедняжки! Единственный человек, из которого они не смогут извлечь никакой пользы! По крайней мере, я на это надеюсь.

Ох, как Россет на меня разозлился! Признаюсь, я его нарочно рассердила. Потому что с тех пор как эта троица заявилась к нам в трактир, Россет с каждым днем делался все невозможнее, особенно в последние недели две. Раньше мы так славно болтали вдвоем, когда Карша не было поблизости, ходили гулять в лес или даже хаживали в Коркоруа, а теперь он не желал говорить ни о чем, кроме прекрасных рук Лал и изящной походки Ньятенери, и о том, как мила и приветлива Лукасса, когда познакомишься с ней поближе. Он сделался таким занудой, таким утомительным! Боюсь, его фантазии просто вывели меня из себя.

— Маринеша, — сказал он мне — вот так вот, сквозь зубы, — Маринеша, иди сюда и сядь.

Он сам уселся рядом с тюфяком и махнул мне, чтобы я подошла. Ну уж нет, спасибо! Я осталась стоять, где стояла, пока он не добавил: «Пожалуйста» — на самом деле, довольно вежливо. Тогда я подошла и села напротив, по другую сторону от старика, и сказала: «Ну?» Просто «Ну?», и все, понимаете?

Россет сказал:

— Ты разбираешься в целительстве. Куда лучше меня — по крайней мере, там, где речь идет не о лошадях. Скажи мне, что делать.

— Я же тебе сказала, — отвечаю. — Спроси у него, где он желает быть похороненным. Он, должно быть, не ел уже несколько дней, судя по виду, и вдобавок попал под ливень,

что прошел над городом сегодня утром. И еще он ужасно стар. Это, собственно, все — но с этим ты ничего поделать не сможешь.

Тут Россет сделался таким несчастным, что мне действительно стало его жалко. Некоторые люди становятся красивее, когда они печальны, и Россет был как раз из таких. Я спросила:

— А чего ты, собственно, так тревожишься из-за постороннего человека? Наверно, это славный старик, но ведь он тебе не дядюшка. Или все же дядюшка?

Последнее я добавила потому, что Россет был сирота. В смысле, я-то тоже сирота, и это нас сближало, — но я-то, по крайней мере, знала, как звали моих родителей и откуда они родом, а бедняга Россет не знал даже, где родился он сам. Так что тот старик действительно мог оказаться его родственником, как и любой другой.

Россет сказал:

— Ты погляди на него! Это не просто старик. Это важный человек.

Тут я снова разозлилась и говорю:

— Это почему еще? Потому, что он их знакомый? Потому ты так и суетишься, верно?

Но Россет только покачал головой.

— Погляди на него, Маринеша, — повторил он. — Просто погляди на него!

Ну, я и поглядела — я в первый раз поглядела на старика по-настоящему — в смысле, я заглянула глубже и дальше грязного, беззубого рта, морщин, складок, царапин и въевшейся в них грязи, глубже жуткой седины, глубже всего этого — глубже самого лица, если вы понимаете, о чем я. И тогда я... не знаю, как сказать... просто, понимаете, я смотрела на него, и это каким-то образом сделало меня счастливой. Не знаю, как объяснить это лучше. Я все пялилась и пялилась на старика, и Россет тоже смотрел на него, и мы уже ни о чем не говорили.

Но через некоторое время мы услышали, как Карш орет внизу и зовет Россета. Я сказала:

— Ты иди. Я пока побуду с ним.

И Россет посмотрел на меня, потом улыбнулся, коснулся моего плеча и сказал:

— Спасибо.

И вышел. А я осталась сидеть у тюфяка, глядя на старика. Потом встала и взяла тряпку, чтобы протереть ему лицо. Конечно, он был стар, и болен, и, может, даже умирал, но это же еще не причина, чтобы он лежал грязный, верно? И пока я протирала ему лицо, он открыл глаза.

— А, — сказал он, — Маринеша!

Так, словно мы были знакомы всю жизнь, и он удивился, увидев меня, но и обрадовался тоже. Голос у него был задумчивый, с чуть заметным чужеземным выговором.

— Боги, — сказал он, — я чувствую себя как котенок, которому мать вылизывает мордочку. Приятное пробуждение, ничего не скажешь.

Когда он улыбался, тебе становилось неважно, что у него нет зубов.

Я вдруг застеснялась его. Мне захотелось, чтобы он снова заснул, хотя бы ненадолго. Я поспешно встала и сказала:

— Вам уже лучше, сударь? Не могу ли услужить еще чем-нибудь?

В точности как Россет.

Тут он рассмеялся. Его смех... не знаю, как вам и передать. Дрожащий, негромкий, одышливый, похожий на кашель — но тебе хотелось слышать его еще и еще. Он сказал:

— Ну что ж, ты можешь просто постоять тут на солнышке — большего мне не надо, — но, похоже, мои друзья как раз поднимаются по лестнице. Я знаю, что ты их недолюбливаешь, и мне не хотелось бы ставить тебя в неловкое положение после того, что ты для меня сделала...

И тут они явились, все три, распахнули дверь настежь и ввалились в комнату. Они застыли на пороге, разинув рты, точь-в-точь как рыбы на прилавке, а потом черная растерянно выдавила: «Россет сказал...», а госпожа Ньятенери повела плечами и осведомилась: «Где же ты был?» — у, наглая морда! А та, третья, подошла прямиком к нему и упала на колени возле тюфяка. Она вложила свои руки в его ладони, сверкнув крупным вульгарным изумрудом, который носила не снимая. Он потрогал камень, улыбнулся и сказал что-то вроде: «Ну, вот он и вернулся». Я тогда не поняла, к чему это он. Но тут она расплакалась, и он сказал:

— Ну-ну, тише, тише. Ты там, где тебе и надлежит быть. Успокойся же.

Ну, конечно, на меня они все обращали внимания не больше, чем на миску собачьих объедков. Я тихонько отворила дверь, потом затворила ее за собой, а никто и не заметил. Но я еще немного постояла на площадке — нет, я не подслушивала, просто готовилась к тому, что ждет меня внизу: грязь, дым, запахи кухни, окрики Карша и Шадри, Гатти-Джинни, который только и ждет, чтобы зажать меня в углу, хохочущие крестьяне и солдаты в зале, уже успевшие напиться, постояльцы, которые дают мне сорок разных поручений одновременно, моя собственная работа, которая затянется до полуночи, а то и дольше — это уж как повезет... Мне просто нужно было время, чтобы забыть, как хорошо было сидеть наедине с тем стариком — или, по крайней мере, чтобы снова суметь жить с этим. В смысле, иначе я бы просто не сумела заставить себя спуститься.

ЛАЛ

Конечно, мы исполнились ревности, мы обе — то есть оба. Как тут не ревновать? Мы с Ньятенери с великим риском и великими трудами добрались до этой далекой страны, чтобы помочь нашему дражайшему наставнику, несколько недель подряд, день за днем, разыскивали хоть малейшие признаки его присутствия в этом мире — а теперь должны стоять и любоваться, как он, не обращая внимания на нас, приветствует чужую ему Лукассу, так, словно она — его давно потерянное дитя. Но иначе и быть не могло. Он всегда шел туда, где в нем более всего нуждались, не дожидаясь просьб. Моя жизнь — свидетельство тому, так же как и жизнь Ньятенери.

И все-таки, если бы он, утешая и гладя ее по головке, хоть раз назвал бы ее «чамата», я бы его, наверно, ударила. Это имя — мое, хоть я и не знаю, что оно означает. Кстати, однажды я его действительно ударила — очень давно. Я тогда молотила по всему, что под руку подвернется, потому что обезумела от страха. И была еще так молода, что всерьез думала, что он меня за это убьет.

Но он произнес совсем другое имя. Глядя на нас с Ньяте-

нери поверх головы Лукассы, уткнувшейся ему в плечо, он сказал:

— Его зовут Аршадин.

Ему это нравится — перепрыгивать от одного твоего незаданного вопроса к другому, как обезьяна перепрыгивает с ветки на ветку. Он никогда не врет — никогда! — но чтобы понять, что он имеет в виду, тебе приходится карабкаться за ним следом. Иногда это буквально сводит с ума — он на это и рассчитывает, — и временами ужасно хочется предоставить ему распутывать собственные рассуждения самостоятельно. Я кивнула в сторону Ньятенери и ответила:

— Его имя — Соукьян. Оно мне не очень нравится.

Улыбка осталась прежней, такой же нежной и таинственной, как всегда.

— Что ж, в таком случае мне, видимо, придется продолжать называть его Ньятенери. Разве что он будет очень сильно возражать...

Он торжественно обвел нас взглядом, точно мирил поссорившихся детей.

Мы с Ньятенери посмотрели друг другу в глаза — должно быть, в первый раз с той ночи, которую все мы помнили под разными именами. В течение недели, прошедшей с тех пор, как он, Россет, Лукасса и я выбрались из расшатанной, скрипящей кровати, мы продолжали свои бесконечные поиски, стараясь как можно меньше разговаривать и общаясь в основном с помощью беглых, уклончивых взглядов. Хотя на самом деле ничего особенно не изменилось, если не считать того, что Ньятенери — восстановивший свою женскую личину, в основном ради душевного спокойствия Карша, — занял крохотную комнатушку рядом с нашей, и что бедняга Россет не мог ни держаться в стороне от нас, ни разговаривать с нами. Для Лукассы, насколько я могла судить, все события той ночи остались не более чем приятным сном; ну, а для меня это было неприятным осложнением. Я занимаюсь любовью лишь с очень старыми друзьями, которых у меня немного. Когда нет опасности влюбиться. Чтобы быть уверенной, что непрошеная любовь не сможет отвлечь меня от очередного дела или путешествия, и нет необходимости остерегаться. Я никогда не сплю с новыми знакомыми, дорожными спутниками, товарищами по работе и людьми, которые слишком

похожи на меня. А Ньятенери-Соукьян был и тем, и другим, и третьим, и четвертым. И к тому же самым отъявленным обманщиком, какого я встречала за свою жизнь, проведенную среди лжецов. Что бы ни произошло между нами — а я не такая глупая ханжа, чтобы делать вид, будто ничего не случилось, — доверия между нами быть не могло. Я никогда не стану доверять человеку, который меня так бессовестно надувал, и к тому же подверг такой опасности. Оскорбленная гордость? Да, конечно. Но я испытывала еще и сожаление — а это чувство мне свойственно еще менее, чем доверие.

Ньятенери напряженно произнес:

— Это имя мне привычно. Я буду отзываться на него.

Потом он подошел к тюфяку и опустился на колени, и Мой Друг положил руку ему на голову. Я застыла на месте, едва не падая от радости и облегчения и в то же время злясь на весь свет. И даже когда Мой Друг поманил меня, я осталась на месте.

— Вот она, моя Лал, — сказал он без тени насмешки. — Моя Лал, которой непременно надо все видеть, обо всем подумать заранее, отвечать за все. Чамата, тех, кто приходит ко мне, я учу лишь тому, что в один прекрасный день непременно им пригодится. Я знал, что ты всегда будешь жить бок о бок с Дядюшкой Смертью, и потому научил тебя маленькой уловке, которая позволяет тебе временами залезать к нему в карман. Что же до твоего товарища, он явился ко мне, спасаясь от таких ищеек, которые не снились даже тебе — ищеек, которые будут идти по его следу, пока он жив.

Ньятенери смотрел в никуда. Лицо его ничего не выражало. Мой Друг продолжал. Голос его дрожал от усталости и еще немного — от его прежнего смеха:

— У ищеек превосходный нюх, но видят они плоховато. Можно сказать, что я научил Ньятенери отводить им глаза — хотя бы ненадолго...

Последняя фраза осталась незаконченной и повисла в воздухе в ожидании ответа.

— Ненадолго, — кивнул Ньятенери. — Последние нашли меня по запаху. Третья все еще бегает на свободе.

Мой Друг кивнул, ничуть не удивившись.

— А-а, вот в этом-то и есть главная сложность с уловками: даже лучшие из них срабатывают не всегда. А когда ис-

пользуешь их все, действительно не остается ничего, ничего, кроме тебя самого. Этому научил меня он — Аршадин.

В комнате стало очень тихо. Я почувствовала, что должна сказать хоть что-нибудь. И сказала:

— Аршадин... Парнишка, который пришел вскоре после меня, с горским акцентом и забавными ушами.

И почти одновременно со мной Ньятенери добавил:

— Я его помню. Невысокий южанин, он еще все время носил под рубашкой флейту-чикчи.

Но Мой Друг медленно перекатил голову с боку на бок: он был слишком слаб даже для того, чтобы как следует покачать ею.

— Нет. Вы не знаете Аршадина. Да и я его тоже не знал.

Он прикрыл глаза и ненадолго умолк, пока Лукасса возилась с подушками, а мы с Ньятенери смотрели друг на друга — безмолвно, неохотно идя бок о бок сквозь дни и ночи, не менее близкие оттого, что нас разделяли годы. «Да, его невозможно торопить, из него ничего не вытянешь, пока он сам не пожелает рассказать — и только так, как он сам пожелает. Помнишь, помнишь, как он, бывало, снова и снова — он тебе говорил? — я помню, да, а помнишь, как это всегда сводило тебя с ума?» В углу оконной рамы жужжала муха, на дворе хрипло ревел любимый ослик Россета, выпрашивая прошлогоднее яблочко.

Бледные, усталые глаза, когда-то такие ярко-зеленые, внезапно открылись.

— Когда ты ушла, мне тебя очень не хватало, чамата. — Его голос был ровным и задумчивым. — Я не был готов к этому — не был готов к тому, что вдруг начну по кому-то тосковать, в мои-то годы. Это все равно, как если бы у меня вдруг прорезались новые зубы или я вдруг взялся петь серенады юным девицам. Это было... — он запнулся, — короче, от этого мне стало не по себе.

Я уставилась на него, не в силах выдавить ни слова. Ведь в тот день, когда я в одиночестве снова вышла в широкий мир, потому что он сказал, что пришло время, он не обнял меня на прощание и даже не задержался, чтобы посмотреть мне вслед. Я была еще молода, и, кроме него, у меня не было никого, и я плакала о нем много ночей подряд, кутаясь в свое одеяло под деревьями, с которых падали капли, когда

лишь ветви укрывали меня от неба. Но мне никогда не приходило в голову задуматься, не чувствует ли он себя одиноким и обездоленным без меня. И даже теперь эта мысль казалась мне почти такой же странной и неестественной, какой должна была казаться ему. Ньятенери чуть заметно улыбнулся — беззлобно, но меня это все равно задело.

— Мне стало не по себе, — продолжал Мой Друг. — То ли я более чувствителен, чем мне казалось, то ли моему тщеславию требуется кто-то, кого можно было бы спасать, защищать и учить. Как бы то ни было, Аршадин пришел к моему порогу, когда я был, так сказать, в расстройстве, когда мне чего-то не хватало. На вид — самый обычный парнишка. Не было в нем ни твоего, Лал, яростного обаяния, ни внушительности Ньятенери. Не был он и беглецом. Обыкновенный парень, младший сын фермера, упитанный, слегка образованный и твердо знающий, чего он хочет от жизни.

Он помолчал, рассеянно поглаживая Лукассу по голове и обводя нас взглядом. Я — инбарати Хайдуна, даже если я никогда снова не увижу Хайдуна — а я его никогда не увижу, — меня с детства обучали рассказывать истории, и все же от этого человека я узнала о хитром искусстве рассказчика не меньше, чем от своей матери, бабки и многочисленных тетушек. Ему я об этом никогда не говорила.

Мой Друг сказал:

— У Аршадина была одна цель, очень простая. Он хотел сделаться величайшим магом, когда-либо жившим на свете. Он этого добился.

Тут снова заревел осел Россета, и это заставило нас всех расхохотаться — пожалуй, чересчур громко. Мой Друг ненадолго снова умолк, потом продолжал тихо, словно бы говоря сам с собой:

— Видите ли, ты никогда не можешь отделаться от мысли, не из тех ли ты, кто не способен устоять перед искушением учить и наставлять. «А что будет, когда я встречусь с человеком, чей дар сильнее моего собственного? Легко быть добрым и щедрым с теми, кто не угрожает тебе, — но как поступлю я с тем, кто могущественнее меня и сам еще не сознает этого? Что я стану делать тогда?»

Мы с Ньятенери заговорили одновременно, но Мой Друг

остановил меня движением руки, слабым, но оттого не менее повелительным:

— С вашего разрешения, все заверения в том, что такого никогда не случится, мы пропустим. Всем нам рано или поздно приходится встретиться с теми, кто сильнее нас — а зачем еще, по-вашему, мы живем на свете? — и вот я говорю вам, что мой победитель явился ко мне однажды ненастным днем, и, когда я вышел на порог, рот у меня был еще набит пирогом, который я ел за чаем. Я узнал его сразу — как ты, Лал, в один прекрасный день признаешь лучшего бойца, чем ты, с первого взмаха мечей. И я пригласил его на чай.

Ньятенери смотрел на него, сурово и насмешливо хмурясь.

— Должно быть, это действительно произошло сто лет тому назад! Помнится, ты все настаивал, чтобы я научился как следует заваривать чай, но так ни разу и не согласился выпить то, что у меня получалось. Я едва не спятил, пытаясь заварить чай, который бы тебя, наконец, устроил.

— О, к тому времени я отказался не только от чая, — очень тихо ответил Мой Друг. — К тому времени, как ты пришел, я уже давно был занят тем, что готовился к своей ламисетии.

Мы вопросительно уставились на него. Он улыбнулся.

— Это древнее слово, его употребляют волшебники. Означает оно примерно «последний путь». Если ты волшебник, главное в твоей жизни — это то, как ты умрешь. Вы знаете, почему это так? А, Ньятенери?

Как будто он снова был нашим наставником и снова подзуживал и подначивал нас своими загадками, на которые, казалось, всегда был лишь один ответ, и ответ этот всегда оказывался неверным.

— Ты ведь, помнится, очень интересовался такими вещами, куда больше, чем Лал?

Но Ньятенери молча покачал головой.

Мой Друг сказал:

— Волшебник обязательно должен умереть в мире. Речь идет не о мире с соседями или местным правителем и не о том, что большинство людей называет душевным покоем, имея в виду, что человек успел задобрить всех богов, которым когда-либо поклонялся. Речь идет именно о душе —

нужно уйти в себя, обрести душевное равновесие. Это требует длительной подготовки, и маг может достичь этого, только совершив длительное, монотонное путешествие. Вот это и называется ламисетия. Как я уже сказал, перевести это слово буквально довольно трудно.

Тут постучали, и я пошла отворить. Я ожидала увидеть Карша, но то был всего-навсего Гатти-Джинни, который к тому времени, как я открыла дверь, уже начал пятиться назад. Нас с Лукассой он явно побаивался, зато не упускал случая поухаживать за Ньятенери.

— Карш... — промямлил он. — Если старик останется ночевать, положено платить больше...

— Он останется ночевать, — сказала я. — Он останется здесь надолго. И в лучшей комнате, чем эта. Я договорюсь с Каршем. А тем временем пришлите наверх хлеба, бульону и вина — только, пожалуйста, не «Драконьей дочери».

Но Гатти-Джинни уже заторопился обратно. Когда я вернулась в комнату, Ньятенери говорил:

— И все же ты принял меня. Ничего себе, священный покой! Впрочем, об этом говорить не стоит.

Мой Друг криво усмехнулся:

— Ну да, конечно. Видимо, я легко отвлекаюсь — ты был далеко не первым, кто помешал мне устраивать свои дела. Но тогда я твердо решил, что ты будешь последним и, когда ты наконец отправишься своей дорогой, я больше ни за что не попадусь в эту старую ловушку. Так оно и вышло. Я сдержал данное себе слово. Но мне помешало иное.

— Аршадин, — сказала я. Это имя вырвалось само, точно было некой живой тварью.

— Аршадин, — повторил Мой Друг. В его устах это звучало, точно шорох голых, обломанных ветвей. — Аршадин стал мне сыном. Не по крови, но по знанию, по пути. Боюсь, что и по тщеславию тоже. Мы, волшебники, страшимся смерти меньше, чем прочие люди, — быть может, потому, что этот переход знаком нам лучше, чем всем прочим. И, быть может, именно по этой причине мы так стремимся оставить по себе некое воспоминание. Для некоторых это деяния, изменяющие лицо мира, но для остальных это не более чем передача накопленных знаний кому-то, кто хотя бы способен понять,

каким тяжким трудом они добыты, и не позволит им уйти во тьму вслед за нами. Но Аршадин... Аршадин...

Он умолк. Молчание длилось так долго, что я уже подумала, не заснул ли он, хотя глаза его были открыты. Он это умел при желании — засыпать в середине разговора, когда беседа делалась чересчур напряженной или возникала опасность поведать больше, чем он намеревался в данный момент. А может, он попросту притворялся — я так и не узнала наверное. А теперь он был действительно стар — ужасно старый и ужасно усталый. В ту минуту, глядя на него, я пожалела, что сама не могу уснуть вот так — уснуть, чтобы не видеть его таким. Но он тут же улыбнулся мне, демонстрируя свой изуродованный рот, словно знамя или цветок, и продолжал так, словно и не умолкал вовсе.

— Я заслужил Аршадина, — сказал он. — Заслужил в полном смысле слова. Я был величайшим магом, какого я когда-либо знал — а ведь, заметьте себе, я был воспитанником Никоса и долго учился у Ам-Немила, а потом у самой Кирисиньи. Я требовал от мира куда меньше внимания, чем эти трое, но всегда знал, что достоин истинного наследника, что я имею право породить более мудрого и могущественного мага, чем я сам, столь же отличного от меня, как птенец от разбитой скорлупы. И мне было дано это, и с того-то все и началось. Я получил именно то, чего заслуживала моя гордость и глупость. Жаловаться мне не на что.

— Я не хотел бы показаться непочтительным... — начал Ньятенери.

— О да, конечно! — мирно ответил Мой Друг. — Ты всегда держался почтительно. Лал — существо дикое, но при этом она с детства была приучена чтить бардов, поэтов и старых волшебников, даже самых сумасшедших. А ты всегда был учтив, даже в отчаянии, — и все же истинного уважения в тебе никогда не было. Я это списывал на недостаток образования и на то, что в детстве тебя перекормили тильгитом.

Но, говоря так, он взял Ньятенери за левую руку — ушиб и отек почти прошли, кстати, — и на миг прижал ее к груди.

— Так вот, я не хотел бы показаться непочтительным, — продолжал Ньятенери, — но все эти похвалы, расточаемые Аршадину, меня несколько смущают. Мы с Лал никогда прежде не слышали этого имени, — он взглянул на меня,

ожидая подтверждения, и поправился: — то есть если не считать того раза, когда его назвала Лукасса — она просто вытянула его из воздуха в этой твоей дурацкой пряничной башне. Но и там это был всего лишь волшебник, который призвал... то, что он призвал, — и, однако, был убит, а ты выжил. Почему же тогда ты считаешь Аршадина сильнее, чем ты, могущественнейшим из магов? Мы чего-то не понимаем.

Мой Друг вздохнул. Мы с Ньятенери переглянулись, и на этот раз оба не сумели сдержать улыбку. Этот хриплый, безнадежный вздох был знаком нам не хуже, чем укоризненное биение крови в ушах — «вот и еще одна минута миновала без пользы, еще одно тик-так ушло впустую — сколько, сколько, сколько их еще осталось тебе, как ты думаешь?». Он всегда вздыхал так, чтобы показать своим ученикам, что их ответ на последний вопрос существенно сократил его жизнь и наполнил остаток его дней тихим отчаянием. На меня это всегда действовало, даже когда я разгадала его трюк.

— Лукасса, — спросил он, обращаясь к девушке, — что произошло с тобой, когда ты умерла?

Она посмотрела на него — без страха, но с каким-то прозрачным обожающим недоумением. Нам бы он за такое надрал уши — даже сейчас, когда он был так слаб. Но ее он только погладил по головке и спросил еще мягче, чем прежде:

— Что произошло с тобой, с той Лукассой, которая живет внутри? Разве ты уснула? Уснула, как полагают многие люди?

Он кивнул еще прежде, чем девушка успела покачать головой.

— Конечно, нет. Ты вовсе не спала, ты кричала и плакала, просто не дышала. Ну так вот, представь себе — я говорю это именно тебе, потому что ты хотя бы не воображаешь, что разбираешься в магии, в отличие от некоторых, — представь себе, что происходит с умершим магом. Большинство людей почти всю жизнь проводят во сне, а бодрствуют только время от времени, так сказать, в особых случаях. Но маг — маг бодрствует постоянно, и откликается на все происходящее, почему большинство людей и считают его магом. Тем более — в момент собственной смерти.

Тут этот старый фигляр соизволил взглянуть на нас с Ньятенери.

— И если его смерть не была мирной, если ему не дали

совершить свою ламисетию — о, тогда его бодрствование становится чем-то воистину ужасным! Для этого состояния есть даже специальное слово, и есть слова, которые управляют им.

Не могу сказать, что в комнате воцарилась та мертвая тишина, на какую он рассчитывал. Во дворе орали друг на друга двое возчиков, лаяли собаки, кудахтали куры, где-то ревел шекнатом в течке Карш — он всегда так орет, когда наводит порядок. Но между нами четверыми действительно просочилась мертвая, ледяная тишина. Мой Друг сказал:

— Я не хотел, чтобы Аршадин учил эти слова. Он все равно их выучил. Были вещи, которым я не хотел его обучать. Обучили другие. Он пошел к другим. Нет, он не обиделся — между нами с Аршадином никогда не бывало ни ссор, ни обид. Он даже протянул мне руку на прощание.

И внезапно он молча, беззвучно заплакал. Но про это я рассказывать не буду.

Когда мы с Ньятенери нашли в себе силы взглянуть на него снова — а Лукасса так и не отвернулась, она гладила его по щекам и утирала ему глаза, — мы бы на такое никогда не решились, — он сказал:

— Я любил его, как самого себя. Это была моя ошибка. В Аршадине нечего было любить. Аршадина как такового не существовало: был лишь удивительный дар и великая гордыня. Я думал, что мне удастся вырастить из этого настоящего Аршадина. Это было тщеславие — ужасающее, глупое тщеславие. Спасибо, милая, довольно.

Лукасса пыталась помочь ему высморкаться.

Ньятенери заговорил хриплым голосом. Помнится, меня это удивило. Я впервые услышала, что голос у него мужской.

— Значит, он отправился к тем, кто готов был научить его тому, чему ты учить не соглашался, а ты снова взялся за приготовление к своим похоронам. А со временем явился я, отвлек тебя от твоих приготовлений, и за делами ты совсем забыл про Аршадина, и вспоминал о нем лишь время от времени.

— Лишь время от времени, — тихо согласился Мой Друг. — Пока не начались послания. Те, первые, были вовсе не так уж плохи — всего несколько кошмаров, парочка неприятных воспоминаний, внезапно обретших плоть, время от времени

кто-то довольно робко скребся под дверью по ночам... Все довольно обычные вещи, ничего такого, в чем можно было бы распознать послание. Но я все же распознал и призвал Аршадина к себе. Тогда я еще мог это сделать.

Он вздохнул, состроил забавную гримасу, даже закатил свои усталые глаза.

— И он пришел ко мне в гости, к чаю, прямо как в тот первый день. Он ничуть не изменился. И сказал, как он сожалеет, что ему придется меня уничтожить. Если бы был какой-нибудь другой способ — но увы. Тут нет ничего личного, честное слово. И хуже всего то, что я ему поверил.

Прибыли заказанные еда и вино. Принесла их не Маринеша, как я ожидала, а Россет. Должно быть, Карш приказал. Мальчик явно чувствовал себя не в своей тарелке, прислуживал, потупив глаза, один раз наткнулся на Ньятенери, потом чуть не споткнулся о тюфяк, когда ставил поднос на пол. Мне было жаль его, и в то же время он меня раздражал. Мне хотелось, чтобы он поскорее убрался, этот неуклюжий слуга, этот ласковый мальчик, который поцеловал меня и добрался до моего сердца, Россет... Теперь, когда я про это рассказываю, столько лет спустя, мне все еще хочется попросить у него прощения.

Мой Друг коснулся его руки и поблагодарил его, подождал, пока мальчик выйдет из комнаты, и продолжал:

— То, что хотел знать Аршадин, дается не просто и не дешево. Надо уговорить кое-какие силы, улестить кое-какие власти, внести вперед плату — довольно неприятную. Но он счел, что оно того стоит — и кто я такой, чтобы отрицать это, даже теперь? Я ведь и сам в свое время уплатил положенную цену, я говорил через огонь с лицами, которые предпочел бы никогда не видеть, с голосами, которые я слышу до сих пор. Магия не имеет цвета — она всего лишь орудие.

Сколько раз я слышала это от него? Он говорил так каждый раз, когда я или кто-нибудь еще из его многочисленных детей-учеников задавал вопрос о внутренней сущности волшебства. Я знаю, некоторые из нас уходили от него с твердым убеждением, что у него вовсе нет нравственного чувства. Возможно, они были правы.

— Но, с другой стороны, — продолжал он, — мне никог-

да прежде не приходилось самому бывать платой. В этом вся разница.

На еду он даже не взглянул, но жестом приказал мне налить ему немного вина, и я сделала это по старинному обычаю, которому он нас учил — когда ученик сперва прихлебывает из чаши, а потом уже передает ее наставнику. Вино было лучше «Драконьей дочери», но ненамного. Он взял у меня чашу и передал ее Лукассе, улыбнувшись мне при этом. Он принял ее в ученики прежде, чем она об этом попросила. Со мной было так же. Я улыбнулась в ответ, вся дрожа от воспоминаний.

— Истинная цена обучения Аршадина — моя ламисетия, — сказал он. Голос его звучал ровно и невыразительно. — Аршадин должен устроить так, чтобы, когда я умру, моя смерть была настолько тревожной и неприятной, чтобы я превратился в грига-ата. Ньятенери, что такое грига-ат?

Этот вопрос — нет, это слово настолько потрясло Ньятенери, что он тихо зарычал и отступил назад. Ответил он не сразу, а когда заговорил, голос его был таким же бледным, как его лицо.

— Скитающийся дух, исполненный великой злобы, лишенный дома, лишенный тела, лишенный покоя и смерти.

Я никогда до тех пор не видела его таким, и с тех пор больше не видела, кроме одного раза. Немного придя в себя, он добавил:

— Но ведь существует заклинание против грига-ата! Ты меня ему научил.

— Ах да, конечно! — сказал Мой Друг, внезапно развеселившись. — Только оно не действует. Я просто придумал его для тебя, потому что ты всегда ужасно боялся этих жутких тварей. Хотя никогда в жизни их не видел. Я и не думал, что тебе когда-нибудь придется увидеть грига-ата.

Он помолчал, потом произнес совершенно иным голосом:

— А вот мне приходилось. Возможно, придется и вам.

Ньятенери не мог вымолвить ни слова. Я опустилась на колени рядом с тюфяком. И сказала:

— Этого не будет. Мы не позволим.

Тогда он коснулся меня, легонько провел пальцем по лбу и щеке, впервые с того дня, как он простился со мной и затворил за мной дверь — вечность тому назад.

— Вот она, моя Лал, — повторил он. — Моя чамата, которая доверяет лишь собственной воле, чей истинный меч — ее собственное упрямство. В конце концов, что такое грига-ат, как не еще один вражеский воин, еще одна пустыня, которую надо преодолеть, еще один кошмар, с которым приходится бороться до утра? Еще немножко решимости, еще один отчаянный оскал — «Лал этого не допустит! Лал жива, и она не хочет, чтобы было так!» Какой грига-ат устоит перед этим?

Слова были насмешливыми, но легкое, сухое прикосновение к моей щеке дышало любовью. Я ответила:

— Я видела одного из них много лет тому назад. Он, конечно, был ужасен, но ведь вот я, жива!

Я врала, и Мой Друг это знал, но Ньятенери этого не знал, и ему, похоже, полегчало. Но Мой Друг сказал:

— Бродячий грига-ат — это одно дело. Такая судьба иной раз постигает бедолаг, которые умирают в одиночестве, и никто в целом свете не подумает о них ничего хорошего, а с того света их призвать тоже некому. Но грига-ат, повинующийся могущественному волшебнику — это гораздо хуже. Я однажды видел, как один маг предпринял попытку создать такого грига-ата.

Он умолк, глядя куда-то мимо нас, словно снова увидел то, о чем рассказывал, в дальнем пыльном углу. Или это была очередная уловка рассказчика? Не думаю. Впрочем, не знаю.

— Но страшнее всего будет грига-ат, который при жизни сам был магом. Этот дух будет способен на все — абсолютно на все, и никакой защиты против него не будет, явится ли он на зов какого-нибудь Аршадина, или тех, кого Аршадин использует — точнее, думает, что использует.

Он издал странный, шелестящий смешок, какого мы никогда прежде от него не слышали.

— Бедный мой Аршадин, у него совершенно нет чувства юмора! Это его единственное слабое место. Бедняга!

Что-то слышится из-за двери. Не шаги, не шорох, не звук дыхания, не шелест одежды, но за дверью явно кто-то притаился. Ньятенери смотрит на меня. Я встаю, очень медленно, и поворачиваю ручку своей трости, пока не чувствую, что защелка открылась. Хорошая трость. Защелка произвела не больше шума, чем тот, кто притаился за дверью.

ТИКАТ

Не знаю, почему она меня не увидела. Должно быть, она просто знала, что дверные проемы на этом этаже слишком неглубокие, чтобы в них мог укрыться хотя бы ребенок. Любой, кроме отчаянного ткача, застигнутого врасплох, поспешил бы укрыться в нише под лестницей. Она коротко глянула в обе стороны, потом принялась медленно продвигаться к лестнице, чуть выдвинув меч из трости. Она мне не нравилась и никогда не понравится, и к тому же я до сих пор не могу простить ей той снисходительной доброты, которую она проявляла ко мне при Лукассе. Но никогда я не чувствовал себя более неуклюжим, чем тогда, когда стоял и смотрел, как она крадется по коридору. Мне нечего было делать в мире, где люди ходят так, как она. И моей любимой тоже. Я прижался спиной к чьей-то двери, затаил дыхание и постарался ни о чем не думать. В этом мире мысли отбрасывают тени и издают звуки.

Убедившись, что ни в нише, ни на лестнице никто не прячется, она вернулась к своей двери, беззвучно, осторожно переставляя ноги. Теперь меч был обнажен — тонкий и острый, как игла, чуть изогнутый на конце, точно так же, как ее голова и плечи были чуть наклонены вперед. Последний долгий взгляд — не влево, где, всего в нескольких футах от нее, стоял я, а направо, опять в сторону лестницы. Она явно ждала увидеть кого-то. Кого угодно, только не меня, не сиволапого Тиката с берега реки. Меч-игла дернулся туда-сюда, точно змеиный язык. В больших золотистых глазах виднелся откровенный страх. Потом дверь закрылась.

Я еще немного постоял, потом выбрался из дверного проема, где прятался, и подкрался к их двери, чтобы послушать, о чем они говорят. Я стоял там, когда что-то — должно быть, мое дыхание или стук сердца — встревожило их. Старик говорил:

— Он так хорошо меня знал! И сумел воспользоваться моей гордыней, как никто другой. Я отгонял его дурацкие видения, не отрываясь от обеда, развеивал его кошмары, не давая себе труда проснуться. И к моему собственному старинному чувству утраты прибавилась великая печаль — за него, за моего истинного сына, оттого, что он так и не успел

познать истинных глубин своего дара и вот уже так глупо предал его. Теперь я ничего не мог для него сделать — но я пытался хотя бы не унижать его еще сильнее.

Тут он рассмеялся, и какое-то время я не слышал ничего другого, кроме этого смеха — он был так похож на смех моего младшего братика, который умер во время морового поветрия! Когда я снова заставил себя прислушаться к разговору, то услышал резкий голос высокой, Ньятенери:

— Но постепенно, мало-помалу, эти послания становились все хуже и хуже?

— Мало-помалу... — прошептал старик. — Он был терпелив — очень терпелив. Прошло много лет, и только в ту последнюю ночь, когда я оказался загнан в угол своими кошмарами и не смог проснуться, я понял, как он сумел использовать меня, чтобы расставить сети на меня же. Он знал меня, знал, что больше всего любят мои душа и тело и чего мой дух более всего страшится втайне от себя самого. Никто из вас — и никто другой — никогда не знал обо мне таких вещей. Только Аршадин.

— И он-таки сумел этим воспользоваться! — сказал Ньятенери, фыркнув, точно рассерженная лошадь. — И что же случилось тогда? Он снова явился к тебе?

Чтобы расслышать ответ, мне пришлось изо всех сил прижаться ухом к двери.

— Это я явился к нему. Это отняло львиную долю моих сил, но я явился к нему в его собственный дом. Он меня не ждал. Мы так ни о чем и не договорились, и он попытался помешать мне уйти. Но я все равно ушел.

Лукасса, должно быть, была недалеко от двери — я чуял ее сладкий, хлебный запах. Старик продолжал:

— Я бежал в красную башню и укрепил ее против него всеми способами, какие только мог выдумать. Он последовал за мной — сперва духом, в виде посланий, которые теперь разрывали мои заклятия, как ветер срывает паутину, — а потом и во плоти.

Несколько слов я не разобрал — его внезапно одолел кашель, и мне удалось расслышать лишь:

— Остальное вы знаете. По крайней мере, Лукасса знает.

Должно быть, я слегка заразился напряженной бдительностью черной женщины — так или иначе, я поймал себя на

том, что то и дело оглядываюсь через плечо, высматривая того, кого она думала увидеть на лестнице. Я услышал ее голос — похоже, она была рассержена:

— Ну, по крайней мере, мы знали тебя достаточно хорошо, чтобы идти по следу кошмаров, где ты завывал в объятиях пылающих любовниц, вечно падал сквозь бритвенно-острую пустоту, убегал от ходячих цветов, которые взывали к тебе младенческими голосами. Это такие сны посылал тебе твой сын?

Он ответил сразу же. Теперь он не кашлял и не мямлил — ответ был отчетливый и резкий, как вспышка молнии.

— Это были не сны. Это не сны. Неужели ты до сих пор не поняла? То, что разбудило тебя, то, что привело тебя сюда — это все происходило со мной на самом деле, так, как ты видела. И это были еще цветочки.

Он внезапно хмыкнул.

— Уж не думаешь ли ты, что простые сны, пусть даже и самые жуткие, могли сотворить со мной такое?

Шорох одеял, одежды, чего-то еще. Женский вскрик. Я понял, что то была Лукасса — именно так вскрикнула бы она, если бы река дала ей время выкрикнуть мое имя. Я это знаю. Я дернулся, собираясь постучать в дверь, несмотря на клятву, которую дал себе меньше часа назад. Но тут что-то коснулось моего плеча, совсем легонько, и я обернулся, чтобы посмотреть, что это было.

НЬЯТЕНЕРИ

И, показав нам именно то, что делали с ним в этих наших снах, он решил, что все-таки голоден, и налег на бульон с хлебом. Через некоторое время я услышал свой собственный охрипший голос:

— Лукасса рассказывала нам о Других...

— Ну, значит, мне рассказывать не придется, — ответил он с набитым ртом, невнятно, но презрительно. — Аршадин совершил ошибку, не полагаясь исключительно на собственные силы. Он отвлекся от меня — ровно настолько, насколько потребовалось, чтобы призвать на помощь тех, чья по-

мощь, как он думал, ему потребуется. Это больше не повторится.

Он снова издал свой новый отстраненный смешок, похожий на шуршанье испуганного зверька в сухой траве.

Я сказал:

— Лукасса говорит, что Другие убили Аршадина и что он снова вернулся к жизни. Ты ведь так говорила, да, Лукасса?

Она подняла взгляд на него. Девушка сделалась немой и бесполезной — она, похоже, почти меня не слышала. Он вытер губы и пожал плечами.

— Поскольку я воспользовался его кратким невниманием, чтобы сбежать, мне трудно сказать, что там было и чего не было. Там все было так запутано...

Он простодушно посмотрел мне в глаза, зная, что я не решился бы уличить его во лжи, даже если бы за спиной у меня стояла целая армия.

— Все, что я могу вам сказать, — это то, что с тех самых пор я скрывался от него, не смея нигде остановиться, не решаясь разыскать вас из страха выдать ему мое убежище. Впрочем, я все равно выдал бы его рано или поздно, даже если бы не призвал к себе твоего друга-лиса, Ньятенери. Но я очень устал...

Мне пришлось говорить быстро, чтобы не дать себе задуматься о том, что мы видели под лохмотьями его рубашки.

— Скажи нам, где его замок! Утром мы с Лал отправимся туда.

Даже если бы он действительно был мертв, чего мы так долго боялись, думаю, при этих моих словах он бы встал. Сейчас он сел так резко, что остатки бульона пролились ему на грудь.

— Даже и не вздумайте! Я вам это строго-настрого запрещаю! Поняли? Отвечайте, вы оба — я хочу, чтобы вы дали мне клятву. Отвечайте!

Лал, стоявшая позади меня, разразилась хохотом. Поначалу я просто остолбенел — она ведь обращалась с этим человеком, точно он призрак в лунном свете, а тут сидит и хохочет — ее так скрутило, что ей пришлось сесть на пол. Но тут я и сам почувствовал, что мне ничего не остается, как привалиться к стене и расхохотаться так, что вся комната задрожала. Наверно, это и имелось в виду в той песне о бедном

Карше: «Дрожал потолок, штукатурка летела». Бедный Карш... Раньше я такого ни разу не говорил.

Старик не обратил внимания ни на наше нахальство, ни на Лукассу, пытающуюся стереть с него бульон хлебным мякишем. Он продолжал кричать на нас:

— Это не для вас! Аршадин вам не речной пират и не какой-нибудь барончик с двумя лошадьми, сорока акрами земли и каменным сараем с толпой полудурков, которые готовы делать все, что он прикажет, пока не выветрился хмель! Он живет не в замке, а в доме, таком простом, что вы прошли бы мимо, приняв его за хижину дровосека, и даже пять десятков таких, как вы, не смогут вломиться туда, так же как вы не сможете покинуть эту комнату, если я так захочу, несмотря на то что я бледен и слаб, как огонек свечи. Пойми, Соукьян! — и он схватил меня за руку и сдавил ее отнюдь не слабо. — Это битва волшебников, вам там делать нечего! Вы не можете мне помочь — по крайней мере, таким образом. Оставьте Аршадина мне, слышите?

Лал все еще хихикала. Я сел рядом со стариком, нависая над ним до тех пор, пока он не подвинулся на тюфяке, чтобы дать мне место. Я сказал:

— Это вроде одной из тех рифмованных загадок, которые ты загадывал мне — и Лал, полагаю, тоже — и запрещал возвращаться к тебе без ответа. Все равно, как учиться заваривать чай, который ты все равно пить не станешь. Я думал, что это все такие специальные магические упражнения, такие же важные, как тренировки по стрельбе, предназначенные для того, чтобы в капле воды явить устройство Вселенной. Но со временем я понял, что ты устраивал это не для того, чтобы расширить мои познания о мире, не для того, чтобы чему-то научить, а просто затем, чтобы побыть одному, и ни за чем больше. Так вот, загадки эти научили меня, что слушаться тебя следует далеко не всегда. Очень полезный урок. Я его до сих пор не забыл.

Это был первый и единственный раз за все то время, что я его знал, когда мой Человек, Который Смеется, мог только шипеть и плеваться: на некоторое время он утратил дар речи от негодования. Я похлопал его по ноге.

— Ну-ну, — сказал я. — Мы уже не дети, которых ты знал когда-то, а уж дураками-то мы никогда не были. К тому же

мы немного умеем обращаться с волшебниками. Так где же живет этот Аршадин?

Он надулся. Другого слова не подберешь. Он сложил руки на груди и откинулся на подушки, глядя куда-то сквозь нас. Мы с Лал снова заговорили одновременно. Лал принялась усердно уверять его, что мы Аршадина все равно разыщем, с его помощью или без оной, но хорошо было бы найти его прежде, чем он найдет нас. Мне было что сказать насчет упрямых, надменных, неблагодарных старикашек, и я все это высказал. Наши речи не произвели на него ни малейшего впечатления — как, впрочем, мы и предвидели. Он просто закрыл глаза.

Тут заговорила Лукасса. С тех пор как мы вошли в комнату, она только и делала, что возилась с ним. Все это время она молчала, не издавая ни звука, когда перестала плакать. Я почти забыл, что она тут — а ведь обычно я постоянно ощущал присутствие Лукассы, даже когда она молчала. А теперь она сказала очень отчетливо, этим своим южанским птичьим щебетом:

— Белые зубы — белые-белые. Белые зубы реки.

Судя по выражению лица Лал, я понял, что она, как и я, решила, что Лукасса может иметь в виду ту реку, из которой Лал подняла ее утонувшее тело. Человек, Который Смеется попытался изобразить тихий храп, но никто ему не поверил. Лал сказала:

— Лукасса, это было давно. Тут, где мы теперь, реки нет.

— В горах, — произнесла Лукасса. Голос ее звучал все громче, с той же настойчивой уверенностью, как тогда, в холодной, пустой башне. — Он сидит в горах и дарит реке чудные подарки, чтобы она пела. Дхариссы гнездятся под его окном, и большие шекнаты ловят рыбу на берегах, а река поет: «Есть хочу, есть хочу, дай еще!»

Она шумно и тяжело дышала, как будто пробежала пару миль.

Когда мы снова взглянули на Человека, Который Смеется, глаза его были широко раскрыты, все еще бледные, словно выцветшие, но, несмотря ни на что, блестящие. Я сказал:

— Ей многое ведомо.

— Да, видимо, так, — ответил он, с трудом заставив себя зевнуть. — Так же как мне ведомо, что там, за дверью, один

из мальчиков, которые тащили меня наверх, лежит раненый. Нет, дорогая моя Лал, не тот, что приносил еду, — сказал он, видя, что она уже рванулась к двери. — Другой. Внесите его сюда и позаботьтесь о нем, а потом мы, может быть, поговорим еще об Аршадине. Может быть.

РОССЕТ

Они пришли за своими лошадьми задолго до рассвета, но я был готов и ждал у конюшни, перебирая в уме все разумные доводы, которые должны были убедить их взять меня с собой. Я был уверен, что Ньятенери откажет, сколько бы я ни просил, но, быть может, с Лал что-нибудь получится?

Но вышло иначе. Лал мне и рта раскрыть не дала — только посмотрела на меня, восседающего на теплой спине старого Тунзи, старой рабочей лошади Карша, в обнимку с двухнедельным запасом краденой еды и несколькими садовыми инструментами — действительно довольно острыми, — и сразу сказала:

— Нет, Россет.

Я вечно буду ей признателен за то, что она не стала смеяться и даже не удивилась. Но по ее тону я понял, что отказ был окончательным и бесповоротным, и ответить было нечего — разве что начать брызгаться слюной и размахивать руками. Но Ньятенери вдруг довольно мягко заметил:

— Ну, в конце концов, ты ведь назвала его нашим верным рыцарем! Что, должность была временная?

Лал залилась краской от шеи до корней волос, но не обратила внимания на Ньятенери и сказала мне:

— Россет, расседлывай это бедное животное и отправляйся спать. Я уже сказала, что мы не можем взять тебя с собой. Тебе придется остаться дома.

— Я всего лишь выполняю ваши приказы, — возразил я. — Мой дом там, где вы.

Сказано было дерзко, но чуть слышно, насколько я помню. Лал ни улыбнулась, ни нахмурилась, услышав это. Только сказала:

— Россет, посмотри на меня. Нет, Россет, ты посмотри прямо — на меня и на Ньятенери.

Я посмотрел ей прямо в глаза, что потребовало от меня немало усилий. Но встретиться глазами со спокойным взглядом Ньятенери было свыше моих сил. Мне до сих пор немножко стыдно вспоминать, как я тогда застыдился — не того, что произошло между нами, но своих благоговейных мечтаний о женщине, за которую я его принимал. Мне было всего шестнадцать, а в этом возрасте легче встретиться с хихикающими убийцами, чем с подобной неловкостью.

Лал сказала:

— Я объясню тебе, куда мы едем и почему мы не можем взять тебя с собой. Мы отправляемся в горы искать волшебника по имени Аршадин, который донимает нашего учителя ужасными призраками и видениями. Когда мы объясним ему, что это невежливо, мы вернемся. А пока что...

— Но я могу вам помочь! — перебил я. — Вам ведь понадобится кто-то, кто будет отыскивать воду в горах, тропы, где могут пройти лошади, кто будет тащить мешки, когда надо дать лошадям отдохнуть...

Каждый новый довод казался все менее убедительным, но я упрямо продолжал:

— Кто-нибудь, кто будет ставить лагерь, прибираться, кто-то, кто будет сколько угодно ждать там, где вы прикажете. Я это все очень хорошо умею. Я этим всю жизнь занимаюсь.

— Да, — мягко сказала Лал. — Но нам нужно, чтобы ты занимался этим здесь, в трактире. Послушай меня, Россет! — поскольку я тут же начал возражать. — Сейчас Аршадин охотится за нашим учителем. Он сидит молча, закрыв глаза, и ищет его, понимаешь? Если мы не сумеем его убедить, единственная наша надежда не в том, чтобы сражаться с ним, — ибо его могущество неизмеримо больше нашего, — а в том, чтобы как-то его отвлечь, заставить его немного поохотиться за нами, пока наш учитель снова наберется сил.

Она помолчала, потом добавила, чуть заметно улыбнувшись:

— Как нам это удастся, мы пока не знаем.

— Да, это уж точно! — насмешливо заметил Ньятенери. — Большая часть сил у нас ушла только на то, чтобы уговорить учителя отпустить нас с благословением. На планы нас уже не хватило. Найти гору, найти реку, найти волшебника и сделать что-нибудь.

Он вздохнул и покачал головой, изображая отчаяние.

— Подробности мы пока не обсуждали.

Лал не обратила на него внимания. Она стиснула в руках мои запястья и сказала:

— Ты нам нужен здесь. Стереги его, пока нас не будет. Для нас будет большим подспорьем — знать, что он согрет, обихожен и не один.

Она сказала бы и больше, но я перебил ее, отбросив ее руки.

— Сиделка, — сказал я. — Будьте честны со мной — я имею право требовать хотя бы этого. Сиделка при больном старике — вот что вам нужно!

Именно так я и сказал.

Лошадь Ньятенери придвинулась ко мне, и Ньятенери ухватил меня за плечо — рукой, которая ласкала меня в этом самом месте, после того, как я спас ему жизнь и лежал у него на коленях, обливаясь кровью из носа. Я привстал на стременах, оглядываясь на его руку. Он сказал очень тихо:

— Мальчик. Это мир, которого ты не знаешь. В этом мире есть волшебники и маги, которые могут скушать нас с тобой на завтрак с маслом, не успев продрать глаза, и даже не поймут, что это были мы, а не прошлогоднее варенье из ледяного цветка. И среди этих могущественных существ нет ни единого, кто не оставил бы все дела, всякую гордость, всякие обязательства ради случая посидеть у постели этого больного старика. Подумай об этом хорошенько, Россет, когда будешь менять ему простыни.

Лал заставила его отпустить меня. Наверно, он так рассердился, что забыл о том, что держит меня. Но и я рассердился тоже — никогда бы не поверил, что я могу быть настолько зол. Как я уже говорил, в те дни проявление гнева было величайшей роскошью, какую я мог себе вообразить, а уж позволить никак не мог, и в шестнадцать лет это чувство казалось мне таким же редким и неестественным, как и его проявление. Отвечая Ньятенери, я с трудом сдерживал дрожь. Я сказал:

— Есть еще Лукасса, которая с вашего учителя глаз не спускает. Есть Тикат, который никогда не отходит от Лукассы так далеко, чтобы не услышать, когда она позовет его, если он понадобится. Есть Маринеша, которая знает о болезнях

больше, чем все мы трое, вместе взятые. Что такого могу сделать для старика я, чего не сделают они?

— Я же сказала: нам нужна охрана, — ответила Лал. — Во-первых, тебе придется следить, чтобы его не беспокоил Карш. Мы уплатили вперед за лишнюю комнату и за еду, которую будет носить ему Маринеша. Так что Каршу совершенно незачем вертеться возле него. Можешь ли ты позаботиться об этом, Россет?

Я ответил не сразу — не потому, что выполнение ее просьбы потребовало бы от меня какого-то непривычного умения — в конце концов, я всю жизнь только и делал, что учился обращаться с Каршем, — а потому, что до сих пор чувствовал себя глубоко уязвленным и особенно злился на Ньятенери, который, похоже, не обращал внимания на то, что должен был бы знать. Он сказал:

— Во-вторых, Аршадин наверняка найдет здесь нашего учителя, и скорее рано, чем поздно. Но когда бы это ни случилось, вашему трактиру будет угрожать такая опасность, какой «Серп и тесак» отродясь не ведал. Если бы у нас был выбор, — он сделал выразительную паузу, — если бы у нас был выбор, мы предпочли бы оставить на страже кого-то, в чьих отваге и уме мы могли убедиться на деле. Никто не поможет нам лучше тебя — если ты, конечно, согласишься.

Тогда мне это показалось бесстыдной, откровенной, подлой лестью, унижавшей его не менее, чем меня. Теперь я думаю иначе. Когда я опять ничего не ответил, снова заговорила Лал:

— Россет, тебе следует знать еще одну вещь. Те люди, которых убил Ньятенери, — с ними был еще третий. Мы думаем, это он подстерег Тиката у нашей двери. Несомненно, он последует за нами в горы и трактир больше тревожить не станет, но все равно тебе придется приглядывать, чтобы он не появился, так же как и за посланиями или знаками присутствия Аршадина.

Лал взяла мою руку в свою, но в ее прикосновении и взгляде не было ничего убаюкивающего.

— Ты по-прежнему полагаешь, что мы навязываем тебе работу сиделки? — спросила она. Она не улыбалась.

Громко хлопнула дверь кухни — кого-то явно не заботит, что постояльцы еще спят. Этот звук был мне знаком. Я знал, что Карш вышел в холодный туман и теперь стоит руки в

бока и озирается, разыскивая меня. Еще минута — и он примется громко меня звать. Я обвел их взглядом — прекрасных чужестранцев, которые знали, что могут делать со мной все, что захотят, которые так быстро перевернули вверх дном и разнесли вдребезги мою жизнь в «Серпе и тесаке», что она теперь казалась сном, как та песня про Бирнарик-Бэй, куда меня кто-то собирался когда-нибудь отвезти... В сон вернуться невозможно — дурной был сон или хороший, все равно его не вернуть. Я сказал им, выговаривая слова как можно отчетливее:

— То, что я полагаю, для вас имеет не больше значения, чем для меня то, кто именно держит меня за глотку.

Потом я слез с Тунзи и повел его в денник расседлывать. Я не обернулся и не поднимал глаз, пока не услышал, что они уехали.

ТРАКТИРЩИК

Я смотрел, как он приближается ко мне, точно так же, как смотрел ему в спину в ту ночь, когда по всей бане валялись покойники. В сырое утро голоса и звуки разносятся далеко. Я слышал топот копыт даже после того, как они выбрались на большак.

— Что, не взяли тебя, а? — спросил я.

На это он ничего не ответил, кроме:

— Извините, что задержался. Мне надо было присматривать за Тикатом. Ночь выдалась тяжелая.

— С Тикатом твоим все в порядке, и тебе это известно не хуже моего, — сказал я. — С парнем, который способен из-за крохотного синяка на затылке и перекошенной физиономии два дня жрать мои харчи на дармовщинку, явно все в порядке. А что до этих баб — ничего, не вешай носа. Наверняка скоро в здешних краях появится караван работорговцев или разбойничья шайка, и ты сможешь удрать с ними. Только лошадь тебе лучше спереть помоложе Тунзи — он не доберется дальше сада Хракимакки, и хорошо, если туда-то дойдет.

Но тут я уже принялся колотить его — точнее, пытался: он был полусонный и тем не менее ухитрялся уворачиваться, и удары мои приходились так, что от них было больше вреда мне, чем ему. Сдается мне, что я ни разу не сумел как следует

врезать этому парню с тех пор, как ему исполнилось лет восемь. Честное слово.

Он бормотал:

— Я вовсе не хотел сбежать, правда не хотел!

Но я обращал на это не больше внимания, чем обратили бы вы на моем месте. А кто бы не захотел сбежать от старого толстого Карша и из «Серпа и тесака» и последовать в золотые дали за двумя прекрасными искательницами приключений? Я бил его за то, что он вообразил, будто я поверю его вранью, за то, что у него не хватило ума и вежливости сообразить, что я и сам с удовольствием сделал бы то же самое. А ведь он думал, что знает меня!

— Шадри надо натаскать дров и воды на кухню, — сказал я. — А когда он тебя отпустит, вычисти те стоки под конюшней. Они снова засорились — аж сюда воняет. И пусть Тикат тебе помогает, если он рассчитывает провести еще хоть одну ночь под моей крышей. А что до твоих планов, — и я врезал ему по локтю: рука потом целый день болела, — в следующий раз устраивай так, чтобы они не зависели от чьего-то «да» или «нет». В следующий раз постарайся сбежать как можно дальше, и беги не останавливаясь, потому что если ты вздумаешь приползти обратно, я из тебя всю юшку до капли выжму. Понял, парень?

В тот раз он ничего не понял. Покосился на меня мрачно и озадаченно, а потом прошмыгнул мимо, в сторону дровяного сарая.

— А от того старика держись подальше, слышишь? — крикнул я ему вслед. — И от той девицы тоже! Даже разговаривать не смей с этой сумасшедшей!

Тут я обернулся, потому что почувствовал, как на меня кто-то смотрит. Это была лиса. Сидит и ухмыляется мне из-за прутьев корзины. Она исчезла, просто-таки растворилась, едва я успел кликнуть Гатти-Джинни, но я ее видел! Я ее точно видел!

НЬЯТЕНЕРИ

Лал сказала:

— Извини, если тебе не нравится мое пение. Мне-то все равно, что ты думаешь по этому поводу, но все-таки извини.

К тому времени мы давно ехали шагом, пустив вперед вороного конька милдаси, хотя он у нас шел под вьюками. Конек хорошо понимал эту местность. Он шел по тропе, не сдвигая ни камушка, в то время как наши бедные лошади пробирались вперед, точно люди в буран. Я ответил:

— Против твоего голоса я ничего не имею — мне не нравятся твои песни. Ни мелодии, ни размера, ни начала, ни конца — сплошное унылое завывание, которое звенит в ушах день за днем. Ты только не подумай, что я издеваюсь, но неужели твой народ именно это считает за музыку?

Мой конь запрокинул голову и шарахнулся назад, зачуяв горного тарга. Я унюхал его мгновением позже. Впрочем, к северу от Корун-Бега нет ни единого горного хребта, где не водились бы тарги. Следующие несколько минут я убеждал коня, что никакого тарга тут нет, а воняет из прошлогоднего заброшенного логова. Я от души надеялся, что это так и есть. Лал ждала меня чуть впереди.

— Считает, — ответила она. — А еще — за историю, и за поэзию, и за генеалогию. Поезжай впереди, если тебя это так раздражает. Или спой сам что-нибудь для разнообразия. Даже Лукасса поет время от времени, и я часто слышала, как Россет напевает что-то за работой — боги ведают, с чего. А вот ты никогда не поешь.

— Тут воздух разреженный, — ответил я. — Я берегу дыхание.

Мы уже четыре дня пробирались в горах над Коркоруа, по дороге, которая то и дело виляла взад-вперед — точно лодка, пытающаяся поймать ветер, по выражению Лал. Временами дорога уходила на три, на четыре, на пять миль в сторону, чтобы подняться меньше чем на милю. Несмотря на это, мы успели забраться достаточно высоко, чтобы смотреть сверху на парящих в воздухе снежных ястребов. Подножия гор, среди которых мы поначалу разыскивали нашего учителя, отсюда казались такими же плоскими и туманными, как пашни, над которыми они возвышались. Воздух действительно был разреженный и холодный к тому же, даже сейчас, в разгар лета. И привкус у воздуха был странный, похожий на вкус загнивающего плода. Над нами высились ледяные пики, дышащие сединой.

— Для меня дышать и петь — одно и то же, — сказала Лал

16 – 7877

через плечо, когда мы двинулись дальше. — Я не понимаю людей, которые не поют.

Лал с самого отъезда — а на самом деле, и раньше — пребывала в каком-то сварливом настроении. Она ни разу не призналась, что ей тревожно, но при этом не давала мне ни минуты покоя, даже когда мы молчали. Существует немало людей, которых подобные ситуации вполне устраивают, но Лал была не из них. Никогда не встречал человека, которого сильнее раздражали бы обыкновенные житейские ухищрения. Гневом она наслаждаться могла, но неискренностью — никогда. Я во второй раз остановил лошадь и остался стоять на месте, пока Лал не обернулась, услышав, что за ней никто не едет.

— Так что, мы больше не товарищи? — спросил я. — Из-за того, что произошло между усталыми и одинокими людьми, которые перенесли вместе немало тягот, дружбе конец раз и навсегда?

Жизнь моя сложилась так, что мне нелегко задавать подобные вопросы. Да и Лал нелегко было на них отвечать. Она и не ответила. Только сказала так тихо, что я еле расслышал:

— К закату надо добраться до перевала Симбури.

На этот раз она не стала оглядываться, чтобы посмотреть, следую ли я за ней.

Мы таки добрались до перевала Симбури — громкое имя для козьей тропы вроде тех, что ведут на летние пастбища, немногим шире ручейка, у которого мы заночевали. Пока мы возились с лошадьми, почти не разговаривали. Потом уселись друг напротив друга над неглубокой ямкой, в которой сотня или тысяча поколений козопасов разводила костры. Лал спросила:

— Как ты думаешь, где он напал на наш след?

— В Тродае, — сказал я. — В том местечке, похожем на пятно лишайника на крохотной скале. Мы там слишком многих расспрашивали о том, не знают ли они о горной реке. Он догнал нас в Тродае.

Лал покачала головой.

— Ты несправедлив к себе. По этой заросшей старой тропе из Коркоруа лет сто никто не ездил. Мы оторвались от него на день, а то и на два. Он нашел нас только прошлой ночью или сегодня утром.

— А какая разница? Так или иначе, по крайней мере, мы можем наконец развести огонь. Мне до смерти надоело мерзнуть по ночам и оставаться без чаю из-за этого урода. Пойду наберу хворосту. А ты глянь, нет ли в этом ручейке рыбы.

Я начал подниматься на ноги, но Лал схватила меня за руку и воскликнула:

— Сядь, придурок! Даже Россет, и тот не стал бы стоять так против заката!

Лошадь милдаси встрепенулась в ответ на панику в голосе Лал, и издала странный звук, похожий не столько на ржание, сколько на вопросительное ворчание.

Мой смех явно обидел Лал, но я просто не мог удержаться.

— Послушай, если бы он был на расстоянии полета стрелы — а я уверен, что он ничуть не дальше, — он запросто мог бы пристрелить нас обоих. Но только они никогда не пользуются оружием. Я же тебе рассказывал. Для них это на треть требование религии, на треть — вопрос профессиональной чести. Теперь, когда он остался один, он бы, наверное, мог напасть из засады. Но я сомневаюсь.

Я встал и нарочно повысил голос:

— Когда знаешь о том, что противостоящий тебе вооруженный воин слабее тебя безоружного, это отчасти мешает. Прежде всего тем, что это порождает некоторое тщеславие, некоторую небрежность. Именно поэтому и погибли его приятели. И по той же причине он присоединится к ним в самом скором времени.

Я взял Лал за руки, и она поднялась — одним движением, словно перетекла. Я видел, как она поднималась так, разбуженная от крепкого сна, успев наполовину обнажить свой меч-трость прежде, чем откроет глаза. Теперь глаза у нее были настороженные, внимательные — и подозрительные, но при этом не недоверчивые. Моя жизнь часто зависела от умения определить эту едва приметную разницу. Я сказал:

— Пойду наберу хворосту. Если мы умрем сегодня ночью, то, по крайней мере, перед смертью поедим чего-нибудь получше солонины и черствого хлеба.

В ручье водилась рыба, мелкая, но зато в изобилии и очень вкусная. Лал лежала на животе и выхватывала ее из воды, как делают шекнаты, а я обжаривал ее до хруста в масле, пожертвовав на это немного драгоценной муки. У нас еще оставал-

ся корень дарит, который долго хранится и хорошо чистит зубы, и нашлось даже завалявшееся прошлогоднее яблоко, про которое мы совсем забыли. Лал заварила чай — в точности так, как учил меня мой Человек, Который Смеется. Очевидно, он учил этому всех учеников, какие у него когда-либо были. Чай выходил необычный. Временами я думаю, что оставил за собой через два материка отчетливый след из чайной заварки — прямо мечта убийцы! От этого избавиться куда труднее, чем сменить пол. Ну, теперь уж что поделаешь...

Поскольку кругом возвышались горы, к тому времени как мы поужинали, стало уже совсем темно. Наш костерок грел неплохо, но света давал мало — только глаза лошадей поблескивали во мраке. Горным таргом больше не пахло, и вокруг царила тишина, нарушаемая лишь журчанием ручья.

— Первым караулю я, — сказал я.

— Надо бы разложить стебли бима. Хоть какое-то предупреждение.

— От них не будет толку. Поверь мне.

Лал посмотрела мне в глаза, кивнула, пожала плечами. Я сказал:

— Ты ему не нужна. Он охотится только за мной.

— Да? А вдруг он по ошибке пристукнет меня? Тогда что? Лично мне не дают покоя не какие-то там фанатики-убийцы, а дурацкие случайности. Я действительно боюсь глупой смерти.

Временами трудно бывает сказать, шутит Лал или говорит всерьез.

— Ну, если он убьет тебя, это выйдет совершенно непреднамеренно. Это я тебе могу обещать уверенно.

— Спасибо большое, — ответила Лал. — Ты меня очень утешил. Так вот. Если верить обитателям Тродая, мы должны добраться до реки Сусати послезавтра — если, конечно, вообще доберемся. И, сдается мне, от этого места до жилища Аршадина еще добрых две недели пути. А ты как думаешь?

Теперь пришла моя очередь пожать плечами. Я возился с костром.

— Ну да, никак не больше. Может, даже на день меньше. Они еще разошлись во мнениях, если помнишь.

— Я думаю, мы не успеем, — тихо сказала Лал.

За пределами круга света внезапно раздался шорох и

тихий писк: какой-то мелкий зверек поймал в темноте другого, еще меньше себя. Я сказал:

— Он ускользнул от Аршадина, хотя был болен и слаб, и до сих пор скрывается от него. Стоит ли бояться, что он легче попадется, когда к нему вернутся силы?

Лал уселась, скрестив ноги, и принялась задумчиво загибать указательным пальцем правой руки пальцы на левой.

— Во-первых, я знаю уйму старых историй о колдунах, которые умерли и воскресли, и в этих историях они всегда возвращаются назад еще сильнее, чем были. Во-вторых, истинная сила к Моему Другу — то есть к Нашему Другу — пока что не вернулась, а может быть, и никогда не вернется. Да, он все еще может защищаться лучше, чем мы можем его защитить, да, он все еще способен творить чудеса, ради которых мелкие маги охотно отдали бы все то, что уже отдал Аршадин. И все же он сломался.

Последние слова она произнесла таким хриплым голосом, что я даже не сразу понял. Я сказал, менее уверенно, чем говорю обычно:

— Ну, на этот счет я не уверен. Что он сломался.

Лал улыбнулась — впервые за долгое время. И сказала:

— Есть, по крайней мере, один вопрос, по которому между нами разногласий быть не может. Мы видели одни и те же сны, и каждый из нас знает то, что известно другому. То, что он претерпел в руках Аршадина, перешибло ему становой хребет, лишило его... — Она запнулась, и наконец произнесла непонятное слово — должно быть, из своего родного языка. — То, что осталось, — это искусство, мудрость, хитрость и отчаянная решимость. Стоит Аршадину снова добраться до него — и ни искусство, ни мудрость, ни решимость ему не помогут, так же как не помогли бы ни тебе, ни мне. Так что нам нельзя уступать и дня — не то что двух недель. Ни Аршадину, ни тому, кто нас сейчас слушает.

При последних словах она обернулась в темноту и повысила голос.

Ночная птица тихо чирикнула в своем гнезде. Издалека послышался крик нишору. Хотя, на мой вкус, пожалуй, чересчур близко. Впрочем, нишори должны очень сильно проголодаться, чтобы напасть на сидящих у костра.

— Лал-Морячка, — сказал я, — я вижу, к чему ты клонишь.

Лал самодовольно ухмыльнулась. Я продолжал:

— Мне это не нравится.

Физиономия Лал сделалась еще более самодовольной. Она сказала:

— Это ты еще со мной не плавал!

— Вот именно. Впрочем, мне прежде надо еще увидеть реку, текущую с запада на восток. Я в эту Сусати не поверю, пока не омочу в ней ног. А поскольку мы не знаем точно, в каком месте мы к ней выйдем, откуда мы узнаем, вниз или вверх по течению стоит дом Аршадина?

— Вспомни, что сказала нам Лукасса. Она говорила о белых зубах реки и о том, что река поет «Есть хочу». Помнишь?

— Пороги, — сказал я. — Дом стоит над порогами. Пороги могут быть вверх по течению, а могут и вниз. Чудесно.

Лал спокойно принялась раскладывать свою постель, потом пустилась на ежевечерние поиски идеального прутика для чистки зубов. Иногда эти поиски занимают у нее целый час. Она сказала — нарочито скромно, точно храмовая послушница:

— Не каждого, кто умеет обращаться с лодкой, называют «моряком». Для этого требуется кое-что еще.

И после этого она умолкла — только бубнила что-то себе под нос и перебирала прутики.

Я провел ночь, прислонясь спиной к валуну и держа на коленях лук. Я размышлял о том, какие пакости строит сейчас лис, и о природе Других, которых призвал Аршадин, и еще часто вспоминал о Россете. Обе стражи Лал и моя миновали без происшествий. Но он был очень близко, этот третий, и он знал, что я это знаю. Один раз, когда я собирался будить Лал, в круге света от костра прошуршал таракки и снова исчез. Таракки был двуногий — других так высоко в горах не водится. В эту минуту я мог бы швырнуть камень в темноту и попасть в своего врага. Чтобы выгнать таракки из его норки ночью, надо немало повозиться — они ведь в темноте не видят. Но мой враг, видимо, решил, что ради такой шутки повозиться стоит. Нападать он не собирался, пока рядом Лал. У него будет предостаточно времени, когда мы выйдем к реке. Это он просто поздоровался.

Мы вышли к Сусати через полтора дня. Река мирно стру-

илась на дне глубокой расселины, которая застала нас врасплох. Как я уже говорил, наш путь был не столько опасным, сколько скучным и извилистым. Нам не приходилось висеть над обрывом, цепляясь ногтями за рушащийся карниз, не приходилось заставлять лошадей перепрыгивать через снежные пропасти. Зато очень часто приходилось давать здоровенный крюк, чтобы обогнуть очередную осыпь. Никаких головокружительных спусков — всего пара перевалов, где к тому же дорога была относительно ровная: замочные скважины между отвесными утесами, наполовину заваленные старыми ледниковыми валунами и щебнем, так что пробираться по ним было куда труднее, чем по горным склонам. А тут мы шли, растянувшись цепочкой, огибая огромную скалу, и увидели внизу, не так уж и далеко, реку, прямую, как шрам от меча. Она текла с запада на восток, сверкая под полуденным солнцем.

Мы с Лал стояли, глядя друг на друга, пока лошади тыкались нам в затылки и наступали на ноги — они почуяли внизу воду. Я и сам чуял ее — холодный запах щекотал мне ноздри. Наконец Лал вздохнула и сказала:

— Ну вот. Дальше начинаются сложности.

— Никаких порогов не видать, — сказал я. Ее лицо снова приняло это выражение — сознание собственных тайных познаний, настолько глубокое, что она сама с трудом выносила груз этой мудрости. Я сам часто ощущал нечто подобное. Она очень медленно опустила одно веко, потом подняла его снова, взлетела в седло и направилась вниз по тропке. Я сел на лошадь, поймал поводья конька милдаси и двинулся следом. Один раз я оглянулся — но, разумеется, позади не было ничего, кроме камня и старого-старого льда. Может, зря я так сурово обошелся с Россетом?

ТИКАТ

Чтобы оправиться после прикосновения человека, которого я так и не увидел, мне понадобилось больше времени, чем после перехода через Северные пустоши. Прошло несколько дней, на мне и следов-то никаких не осталось, а я все еще бродил как одурманенный — слабый, с трясущимися

руками. Я больше не мог доверять собственному телу. Россет помимо своей собственной работы без жалоб выполнял половину моей. Он рассказал мне об этих троих, которые преследовали Ньятенери много лет и наконец настигли ее в «Серпе и тесаке». Он говорил, в том, что я свалился без борьбы, словно бык на бойне, нет ничего постыдного, и что мне следует гордиться тем, что я вообще выжил после этой встречи. Пришлось поверить ему на слово.

Россет ни разу не спросил, что я делал там под дверью. Это было очень любезно с его стороны — так же как и то, что он все это время работал за двоих. Несмотря на то что я не люблю рассказывать о себе, а Россет только и делал, что трепал языком, как ветряная мельница, в конце концов он каким-то образом ухитрился разузнать о моей жизни почти столько же, сколько я знал о нем. Нет, не насчет нас с Лукассой — об этом-то знал любой скупщик шкур или торговец зерном, которому случилось переночевать в трактире, — а о нашей деревне с ее двумя священниками и единственной шлюхой, о кузнеце, которого боялись все, кроме Лукассы, о моих тете и дяде и о ткачихе, которая учила меня своему ремеслу. До сих пор не знаю, когда я успел рассказать ему все это — даже историю о том, как я воровал плоды диригари из сада своей наставницы, хотя этого я стыжусь до сих пор. Ведь Россет был всего лишь мальчишка, на два года моложе меня, невинный, как один из поварят Шадри — пожалуй, даже более невинный, — и при этом считающий себя опытным, как старый бурлак. Не знаю, почему я разговаривал с ним так откровенно.

— Расскажи мне еще про твоих родителей! — то и дело просил он. И когда я запинался, забыв любимое блюдо отца или какую-нибудь шутку мамы, взгляд у него делался странный, почти укоризненный, словно говорящий: уж если бы он, Россет, знал своих родителей, он бы точно помнил о них все-все! Может, так оно и было. Его первое отчетливое воспоминание — это как Карш волочет его куда-то за шкирку. Все, что было до того, — лишь обрывки и тени, которые вполне могли оказаться просто снами. Впрочем, временами Россет явно бывал другого мнения. Когда я спросил его, как он попал в «Серп и тесак», Россет сказал, что Карш купил его у бродячего торговца-криши «в обмен на трех бойцовых пету-

хов и мешок лука из Лимсатти. Он до сих пор жалуется, что продешевил — говорит, два из трех петухов были отличными бойцами, а сладкий лук из Лимсатти в тот год удался хорош, как никогда. Гатти-Джинни говорил мне, что один петух был слепой, но я этого ничего не помню».

О Лал и Ньятенери он теперь почти не упоминал. Это мне было очень кстати. Однако он восполнял это нескончаемой болтовней о Лукассе. Он то и дело принимался уверять меня, что она точно не в себе — очевидно, ей пришлось многое пережить, а страдания временами меняют людей до такой степени, что они не узнают даже тех, кто любит их больше жизни. Но мое терпение и настойчивость рано или поздно восторжествуют, он в этом уверен — она с каждым днем относится ко мне все доброжелательнее и постепенно начинает смотреть на меня совсем иначе, это сразу видно. Россет был настолько искренен, что у меня просто не хватало духу сказать ему, как сказал бы я любому другому в первый же раз, как зайдет об этом речь, что об этом говорить не следует. Но и слушать его я не мог тоже. Так что мне ничего не оставалось, как держаться подальше, если мы работали вместе, или находить себе какое-нибудь занятие, которое позволило бы мне в течение нескольких часов не встречаться с Россетом. Так и вышло, что я часто сидел при старике.

Он так и не сказал мне своего имени. Я звал его сперва «господин», а потом — «тафья»: так люди в моей деревне иногда называют человека — мужчину или женщину, старого или не очень, — в котором чувствуется некая сила, достоинство, положение — называйте как хотите. Объяснить это трудно: вот мою наставницу называют «тафья», а кузнеца — нет, и шлюху нашу так не называют, а вот ее мать называли. Так называют одного священника, а второго не называют; а еще — двух или трех фермеров, пивовара, но не старосту, не врача, и не школьного учителя. Лучше объяснить не могу. Короче, я стал называть старика «тафья». Он понял это слово, и ему это, похоже, пришлось по душе.

Поначалу он был очень слаб — не столько телом, хотя и телом, конечно, тоже: он не мог проглотить ничего, кроме бульона с размоченным хлебом, и время от времени немного молока или вина, — но по-настоящему хрупок он был не телом, и объяснить это я не могу, все равно как не могу объ-

яснить, что значит на самом деле слово «тафья». Ну, вот представьте себе, что ваш костер задуло ветром — тогда со временем вы можете разжечь его снова, если будете достаточно терпеливы, и станете подкармливать его и осторожненько раздувать, вот так. Но если огонь залило дождем, вам придется подыскивать новое, сухое место для костра или сидеть без огня. Я думаю, что в эти первые дни старик ждал, пока выяснится, что же прошлось по его сердцу — или по духу, называйте как хотите, — ветер или дождь. Я думаю, что дело было именно в этом.

Женщины заплатили за комнату и уход, и Карш держал свое слово. Ухаживать за стариком полагалось одной только Маринеше — Карш нарочно заваливал Россета работой, чтобы у того не было времени даже зайти в комнату, — но Маринеша вывихнула себе лодыжку, убегая от двух канатчиков в общем зале. Так что до тех пор пока она не смогла снова бегать на второй этаж по двадцать раз на дню, мне часто поручали отнести моему тафье еду, сменить белье или опорожнить его горшок. Меня это не радовало и не раздражало. Тогда мне было все равно.

Хотя нет, неправда. Меня это очень раздражало, и к тому же я этого боялся — и он это, конечно, знал. Не прошло и трех дней, как он сказал мне, когда я переодевал его в ночную рубашку — в ту, которой полагалось лежать в сундуке под кроватью Шадри:

— Жаль, что от меня не воняет сильнее, чем теперь. Тогда тебе труднее было бы слышать запах Лукассы.

Я промолчал. Просто не мог ответить. Я знал, что с тех пор как другие женщины уехали, она проводит большую часть времени в его обществе, но иногда я видел, как она гуляет по дорогам и лугам близ трактира или даже болтает с Маринешей во дворе. Как раз в тот день она наткнулась на меня: в руках у нее была охапка дров, и она не видела, куда идет. Когда я очутился перед ней и снова воскликнул: «Лукасса, Лукасса, это же я, Тикат, как же ты меня не узнаешь?», она вскрикнула и убежала, как и прежде. Я бросился за ней, зовя ее по имени, но дрова покатились мне под ноги, и я упал. Гатти-Джинни и Шадри видели все это и смеялись до вечера, а у меня до вечера болели ноги.

Видя, что я молчу, старик коснулся моей руки и сказал:

— Нет. По крайней мере, я могу тебя заверить, что здесь ты с Лукассой никогда не встретишься и что если ты предпочтешь приходить сюда пореже, я прекрасно обойдусь и так, а на приказы можешь не обращать внимания. Это все, что я могу сделать для тебя в своем нынешнем положении.

Понял ли он, как разозлила меня его доброта? А вы? Понимаете ли вы это, хоть немного? Я всегда терпеть не мог жалости — она бесит меня, как ничто на свете. Должно быть, это со времен смерти моих родителей, когда все, кто пережил моровое поветрие, рыдали надо мной, кормили меня, ласкали... А мне хотелось убить всю эту сочувствующую, понимающую, ахающую толпу. Об этом не знал никто на свете — кроме Лукассы. А может, я был такой с самого рождения.

— Не надо, — сказал я и продолжал поправлять на нем ночную рубашку. Старик понемногу начал набирать вес, но все равно у него все кости торчали под кожей, точно шишки. Он молча следил за мной из-под полуопущенных век, пока я не уложил его в постель. Когда я принялся собирать его чашки и миски, он внезапно сказал:

— Тикат... Она никогда не вспомнит.

Я не осмелился взглянуть на него. Подошел к двери, старательно придерживая миски, чтобы не уронить их, пока буду возиться с засовом. Эти чертовы миски никогда не трескались и не оббивались: если их уронить, они тут же разлетались вдребезги, так, что и не склеишь. Он сказал мне в спину:

— Если ты ее хочешь, тебе придется повсюду следовать за ней. Она к тебе вернуться не сможет.

Я закрыл дверь и понес миски в судомойню.

Но среди ночи я вернулся. Конечно, все окна были закрыты, и двери заперты на засов, а собаки спущены с цепи; но собаки меня уже знали, а Россет показал мне, как можно пробраться в дом через плохо запирающееся окно в нижней кладовке. Все уже спали, кроме странствующего священника-мазарита и его прислужника: этим мазаритам не полагается ничего делать своими руками, даже расчесывать бороду или ловить блох. Мимо их двери я пробрался на цыпочках, хотя там свободно можно было бы провести целый полк.

Он лежал с открытыми глазами — они блестели в лунном свете. Впрочем, мне уже случалось видеть, как он спит с от-

крытыми глазами. Я остановился в дверях, не в силах заговорить с ним и не в силах уйти. Он сказал:

— Входи, Тикат.

И я взял из угла трехногую табуретку и сел возле постели. Говорить мне было тяжело, но я все же сказал:

— Я хочу знать, что ты имел в виду. Насчет Лукассы, насчет того, что мне надо следовать за ней. Я долго следовал за ней — через смерть, через горы и пустыни, в это место, которое... — я не мог подобрать слов, — которое настолько не похоже на нашу деревню, что мне кажется — пока мы здесь, она не сможет узнать меня. Но если бы она вернулась домой, вернулась вместе со мной...

— Ничего бы не изменилось.

Его голос звучал мягко, без тени жалости. Это успокаивало.

— Я сказал, что тебе придется отправиться туда, где она сейчас, а это место не здесь и не там. Это страна, где Лал и Ньятенери всегда были ее старшими сестрами, где я, если угодно, ее дедушка, а тебя там никогда не было. Понимаешь, Тикат? Не было долгих-долгих вечеров у реки, не было грез под ивами; не было высокого, ласкового мальчика, который играл с ней в кораблики, рассказывал ей сказки и не давал другим мальчишкам ее дразнить. Ничего этого не было, Тикат, ничего — она никогда не спасала тебя от диких кабанов, не прикладывала листья к твоей спине после того, как дядя избил тебя за то, что ты выпил его вино из перьевника. Нельзя вернуться в тот мир, к той жизни, которой никогда не было.

Откуда мог он знать то, что знал? А я почем знаю? Он был мой тафья. Я не заплакал — никто, кроме Лукассы, ни разу не видел, чтобы я плакал, — но прошло немало времени, прежде чем я снова смог говорить как следует. Наконец я спросил:

— Что я должен сделать, чтобы быть с нею?

Он закатил глаза, грубо передразнивая меня:

— «Что я должен сделать, о Учитель? Посоветуй мне, направь меня, подумай за меня, о мудрейший, о величайший из магов!» Чья же мудрость завела тебя так далеко, твоя или моя? Кто больше любит это дитя, ты или я?

Он хлопнул руками по одеялу так резко, что его подкинуло вверх, и уставился на меня с крайней неприязнью.

— Чем старше я становлюсь, тем больше жалею, что не

сумел прослыть полным, непроходимым идиотом! Быть может, тогда ко мне являлось бы меньше идиотов, выпрашивающих у меня волшебного совета. Убирайся прочь с глаз моих! Есть особый сорт умной дури, которую я не выношу, и она воплощена в тебе. Убирайся!

Настоящий то был гнев или притворный, я не знаю. Но я не обратил на него внимания. Возможно, я не слишком умен и не слишком глуп, но зато слишком упрям. Видя, что я не собираюсь вставать со своей табуретки, он успокоился так же внезапно, как и вскипел.

— Тикат, никогда не спрашивай меня, что тебе делать. Скажи мне, что ты собираешься сделать — тогда, по крайней мере, мы сможем разумно поспорить. Говори.

Я медленно произнес:

— Если мне придется начинать, как незнакомцу, — начинать сначала, так, словно между нами с Лукассой ничего не было, не было общего детства, не было любви, вспыхнувшей едва ли не с того дня, как мы научились ползать, — что ж, да будет так. Да будет так. Завтра я пойду к ней и стану говорить мягко и учтиво, так, как говорил бы с любой незнакомкой, ничего не предполагая заранее, ни на что не надеясь. Для начала мне следует убедить ее хотя бы в том, что я — друг, а не безумец. Вот что я сделаю завтра, а там — кто знает? Да будет так.

Говоря, я смотрел не на него, а на свои руки, сложенные на коленях. Под конец я с трудом удержался от того, чтобы спросить: «Это правильно? Хороший ли это путь для того, чтобы начать нашу жизнь заново? Будешь ли ты помогать мне теперь?» Но я не спросил. К тому же это было бы бесполезно — к тому времени он совсем заснул. Я просидел рядом с ним почти до рассвета, а потом выскользнул из трактира и пробрался в конюшню, чтобы Россет мог разбудить меня, когда придет время приниматься за работу. За все это время тафья ни разу не шевельнулся и продолжал вежливо похрапывать, даже когда я вытер у него с губ усы от вчерашнего супа. Я сказал вслух:

— Я становлюсь Лукассой, оттого так с тобой и вожусь.

Но он не проснулся.

Повыше рощицы есть поросший кустарником холмик, где Карш выстроил святилище. Трактирщикам положено

строить святилища при своих заведениях для таких благочестивых путников, как тот мазарит. Когда я пробирался в конюшню, мне показалось, что я вижу Красную Куртку. Тот сидел на корточках у тернового куста на полдороге к вершине холма. Он улыбался. Губы его были сомкнуты, и глаза почти закрыты, а в руках он мечтательно вертел медальон Лукассы. Я остановился, чтобы приглядеться получше, но, если он и был там, я потерял его из виду в сиянии утра, встающего у него за спиной, бледно-голубом и бледно-бледно-серебристом.

ЛАЛ

— Вниз по течению.

— Откуда ты знаешь?

Я еще раз наклонилась к речной воде, которую держала в горсти. Я делала все это немножко напоказ — а может, даже и не немножко: медленно отхлебнула воды, медленно покатала ее на языке, медленно улыбнулась. И наконец сказала:

— Человеческая жизнь оставляет свой след. В воздухе, в воде, на земле. Один дом — не деревня, всего лишь один-единственный дом, где живут несколько людей и пара-тройка животных, которые ходят по берегу, едят, ловят рыбу, пользуются рекой, — и вкус воды меняется. Меняется, и все.

Я еще раз попробовала воду и кивнула.

— Вверх по течению никто не живет. Попробуй — и сам увидишь.

Ньятенери задумчиво сказал:

— Это самое дурацкое утверждение, какое я слышал в своей жизни. Хорошо, что я все еще достаточно молод, чтобы его оценить.

Он присел на корточки рядом со мной, зачерпнул несколько капель, нетерпеливо лизнул их и тут же встал, внезапно рассердившись и в то же время смешавшись. Он позволил развеяться своему женскому обличью, только когда мы поднялись уже достаточно высоко в горы. Он оказался худощавым и седым, с тяжелой костью, но при этом более изящным, чем мог бы быть при его росте. Волосы такие же растрепанные, как всегда (он время от времени подстригал

их на этот свой монастырский манер, напоминающий выжженную землю, хотя зачем — он не объяснял). И глаза у него остались такие же изменчивые, точно небо в сумерках. И все такой же мягко очерченный рот на жестком, усталом лице.

— Глупо, — сказал он. — Я знаю все истории, что рассказывают про тебя, и вполне готов поверить, что Лал-Одиночка может дать ящерице две недели форы и потом найти ее по следу — даже в пустыне, даже с завязанными глазами. Но чтобы ты была способна учуять одного-единственного рыбака, который помочился со своей лодчонки — извини, ни за что не поверю. Я провел молодость в монастыре, а потому не настолько доверчив. Такого не бывает.

Ну что ж, поделом мне. Нечего было устраивать такое представление.

— Порогов выше по течению тоже нет — привкуса белой воды не чувствуется.

Ньятенери только фыркнул. Я вытерла руки о штаны, выпрямилась и указала на небо.

— Очень хорошо. Погляди-ка на наших друзей вон там. Скажи, как их зовут, будь так любезен.

Ньятенери мельком взглянул на кружащих в небе выше по течению черно-белых птиц и ответил:

— Врайи. В наших краях их зовут жрицеловами. А что?

— А то, — ответила я, — что даже в ваших краях наверняка известно, что эти птицы не гнездятся там, где живут люди. Если в пятидесяти милях в округе есть хоть одно поселение, врайи тут не поселятся, пока не пройдет пятидесяти лет с тех пор, как поселение обратится в прах. Скажи мне, что я и тут не права!

Ну, этого он, конечно, сказать не мог: на сотне языков, у сотни народов есть шутки и поговорки о неприязни врайев к роду человеческому. На этом основан один из самых неприятных культов моего народа. Ньятенери вздохнул, почесал в затылке, посмотрел на птиц, отошел от меня, вернулся обратно, снова почесал в затылке, и наконец сказал:

— Ну да. Ни одного дома.

Это было не то, чтобы согласие, но уже и не вопрос.

— По вкусу действительно чувствуется, — сказала я. — Это даже не требует такого долгого опыта, как ты думаешь.

Ньятенери снова отошел, угрюмо изучая каменистый, пологий полумесяц берега, на котором мы стояли, и темный лес на другом берегу. Я немного повысила голос:

— Главный вопрос не в том, к какой стороне находится дом Аршадина, а в том, далеко ли он и как до него добраться. Мои легендарные следопытские способности исчерпаны, так что я бы не отказалась от мудрого совета.

Когда Ньятенери наконец обернулся ко мне и заговорил, кровь у меня на миг застыла в жилах, потому что заговорил он на дирвике. Этот язык уже пять столетий как мертв и забыт — хотя пяти столетий для него маловато. Я встречала трех людей, которые знали дирвик, включая того, кто меня ему научил, и все трое кончили очень плохо. Зачем его выучил Ньятенери и как он догадался, что я его тоже понимаю, я до сих пор не знаю и знать не хочу. Он сказал:

— Мой первый совет — впредь разговаривать на этом жутком наречии. Переживешь?

От этой внезапной доброты у меня защипало глаза. Я рассердилась.

— Переживу, — ответила я. От дирвика болит горло, и язык покрывается густой горечью. Он никогда не был предназначен для обычной беседы. Ньятенери сказал:

— У нас в монастыре был человек, который говорил на нем, но он умер. Я готов поручиться обеими нашими головами, что никто другой его там не знает. Так вот. Поскольку ты явно вынашивала план нападения с самого отъезда, с твоей стороны спрашивать совета у меня очень любезно, но совершенно бессмысленно. Расскажи, как ты предлагаешь построить лодку.

— Скорее, плот, — ответила я. Совсем простая фраза; но на дирвике значение, казалось, отставало от слов, точно обожженная кожа. Я продолжала: — Лодки я строить не умею, и к тому же у нас нет ни времени, ни инструментов. Но плоты мне доводилось сооружать и из меньшего, и плавали они неплохо.

При этих словах я указала на рощицу хвойных деревьев с тонкой корой, каких я никогда прежде не встречала. Стволы их были густо оплетены голубыми лозами.

— К закату мы с тобой вполне успеем построить неплохой плот. Можно будет даже поставить киль, как делают на

островах О'аненью. Я видела, как это делается, давным-давно.

Но Ньятенери медленно покачал головой:

— Эти деревья не годятся. — Выражение его лица было скорее нежным, чем насмешливым, и даже немного печальным. — Ты их знать не можешь, но у нас, в северной стране, где я родился, их называют джараны — обманки, деревья-обманки. Выглядят они как мягкая древесина, но на самом деле они такие твердые, что любая пила, кроме пилы лучшей камланнской работы, обломает о них зубы. А плот из деревьев-обманок утонет прежде, чем успеешь на него забраться. Я бы тебе это сразу сказал, если бы ты рассказала о своем плане раньше.

На его лице не было выражения превосходства, но на дирвике все звучит как безрадостное хихиканье. Теперь пришел мой черед отвернуться и молча шагать взад-вперед, покусывая кончик языка (детская привычка) и чувствуя себя круглой дурой. Да, Мой Друг сказал правду: я терпеть не могу чего-то не знать, даже когда и знать-то мне это совсем неоткуда. И, что еще хуже, я не оставила себе запасного выхода. У меня не было ничего про запас на тот случай, если окажется, что я знаю не все. Даже кумбий, земляной заяц, и тот умнее: в его мире, как и в моем, небрежность — это прозвище Дядюшки Смерти. А я в последнее время чересчур часто поминала это прозвище. И вот я бродила кругами и глазела на эти бесполезные деревья, пока Ньятенери не заговорил снова.

Дирвик странно меняет голос: у меня он сделался девичий, как у Лукассы, а у Ньятенери тембр и высота стали почти такими же, как тогда, когда я считала его женщиной. Он сказал:

— Ты забываешь о нашем верном спутнике.

— Это-то как раз единственное, о чем я не забываю, — резко ответила я. — С чего бы нам еще поганить язык этой отвратной речью, как не из-за того, что в тени прячется он? А при чем здесь он?

— Мне кажется, ему следовало бы помочь нам с лодкой, — сказал Ньятенери. — Это было бы только справедливо, если так подумать.

Я смотрела на него так долго, что в конце концов он

снова заулыбался. Потом старательно стер улыбку с лица — должно быть, затем, чтобы помешать следящему за нами догадаться о чем-то, о чем он еще не догадывается.

— Нет, Лал, я не рассчитываю, что он построит нам лодку, — он это умеет не лучше нас. Он не волшебник — всего лишь тщательно обученный убийца. Но в основе его обучения лежит способность быть готовым к любым неожиданностям. И если ему неожиданно придется путешествовать по воде, он и к этому будет готов.

Он положил руку мне на плечо. Я снова едва не вздрогнула и напряглась от этого ласкового жеста. Он сказал:

— Мы с ними старые приятели.

Слова «приятели» в дирвике нет; мне пришлось угадывать его значение.

— Я знаю этих людей, как ты знаешь свои сны.

Еще мгновение я растерянно смотрела на него, потом разразилась громким хохотом, старательно показывая, что сочла его предложение дурацким. Я отбросила его руку, отвернулась и бросила через плечо:

— Нам придется заставить его поверить, что мы отправились вниз по реке. Это будет не так-то просто.

Ньятенери крикнул мне вслед, потрясая кулаком:

— Да, непросто! Сходи подуйся и поразмысли, как это устроить.

Я так и сделала. Спустилась на берег, нашла большой плоский валун и уселась на нем, подтянув колени к подбородку и стараясь выглядеть как можно более рассерженной. Ньятенери разыгрывал такое же представление у меня за спиной, в середине полумесяца, где мы привязали лошадей и бросили свои оскудевшие припасы. Время от времени он читал мне отрывки из классической северной поэзии в собственном переводе на дирвик, сопровождая их особенно угрожающими гримасами. Я делала вид, что ничего не замечаю. Не знаю, чем этот человек кончит, но родился он на свет явно для того, чтобы сделаться бродячим актером, вроде тех, которые ночевали у Карша на конюшне, когда мы только приехали. Я ему потом об этом сказала.

Мы развлекались так часа два, а матушка Сусати тем временем беззвучно катилась мимо, и поверхность ее была гладкой, точно зеркало. Вокруг царил коварный покой: как я ни

раздумывала о том, что отсюда надо убраться побыстрее, как ни старалась я вслушиваться в малейший звук дыхания, биение сердца, шорох шагов — стоило мне позволить себе перевести дух, и меня тут же окутывала теплая, мягкая дремота. Нет, не то, чтобы я в самом деле дремала — но один раз, когда на середине реки плеснула рыба, я очутилась на ногах, с обнаженным мечом, и крикнула что-то на том языке, на котором я больше не говорю. Кажется, я звала Бисмайю.

Ближе к вечеру мы принялись медленно и угрюмо сближаться. Мы больше не кричали друг на друга, но разговаривали ворчливо — а на дирвике это звучит угрожающе, что было нам очень кстати. Почти одновременно, почти одними и теми же словами мы сказали:

— Прежде всего надо сделать вид, что мы расстались.

Тут мы не удержались от смеха, но это ничему не повредило: на дирвике смех звучит отвратительно. Ньятенери сказал:

— Весь вопрос в том, что нам сделать: подраться или просто разойтись. Неплохо было бы устроить драку.

— Если мы с тобой устроим драку, кто-то из нас умрет. А может, и оба. Вполне вероятно, что он это знает.

— Да нет, не настоящую, а что-то вроде потасовки. Крик, оплеухи, тычки — любовники, поссорившиеся насмерть. Он ведь и так наверняка считает нас любовниками.

Теперь он точно смеялся надо мной — это чувствовалось даже сквозь безличную злобность самого языка. Вместо ответа я смерила его взглядом, давая ему понять, что я тоже помню вкус его кожи, и то, как его ногти вонзались мне в бока, и блаженное слияние плоти. Помню все, но ни о чем не жалею и не тоскую. Я сказала:

— Я пойду вверх по течению и оставлю тебя здесь. А тебе придется сделать вид, что ты строишь плот в одиночку.

— Плот придется строить из всякого мусора — плавника, сухих сучьев, что под руку попадется. На самом деле это для меня самое сложное: соорудить плот, который будет выглядеть достаточно прочно, чтобы такой хитроумный беглец, как Соукьян, мог пуститься на нем вниз по реке — я уж не говорю, через пороги. Мы с ним старые приятели, понимаешь ли, — повторил он.

То, что он нарочно употребил свое истинное имя, непри-

ятно задело меня и ненадолго заставило замолчать. С тех пор, как я его узнала, я произнесла его лишь однажды и всегда старалась думать о своем спутнике только как о Ньятенери.

— Подожди до сумерек и старайся держаться подальше от деревьев. Насколько близко он сможет подойти, прежде чем ты его заметишь?

Ньятенери бросил на меня такой снисходительный взгляд, что он привел бы в ярость даже королеву Вакалшакву Несказанно Добрую, которая — так говорится в преданиях, — была настолько кротка нравом, что дикие горные тарги и нишори оставляли свои логовища и отправлялись в паломничество к ее двору, чтобы пасть к ногам королевы и испросить благословения. Они портили ковры и жрали слуг — которые были не такие святые, как их королева, но зато вкусные. Но Вакалшаква терпеливо заменяла ковры и слуг и ни разу не попрекнула зверей. Я знаю восемь песен про эту королеву, но среди них нет ни единой, сложенной таргом или слугой.

Я чуть заметно кивнула в сторону светло-коричневых водорослей, медленно вращающихся в водоворотике у берега.

— Постарайся набрать как можно больше этих «мертвецких кудрей». На конце стеблей — гроздья воздушных пузырей. Можешь натолкать их под плот для плавучести. Возможно, это даже действительно поможет.

— Возможно, — ответил Ньятенери, растянув губы в зловещей ухмылке дирвика, не глядя в сторону берега. — Спасибо, мысль неплохая.

Эти слова прозвучали как смертельное оскорбление, и Ньятенери резко толкнул меня в плечо, так что я упала в чащу кустарника. Увидев, как я с трудом поднимаюсь на ноги, он оглушительно расхохотался. Я сказала:

— Я оставлю твой мешок, в нем все наши веревки, — и дала ему в зубы.

— И пустые бутылки из-под воды тоже оставь, — напомнил он, встряхнув меня так, что я едва не прикусила себе язык. — И вообще все, что плавает. Когда стемнеет, возвращайся обратно без лошадей.

Так мы обсудили все подробности, непрерывно угощая друг друга затрещинами и пинками. Лошади наблюдали за нами, равнодушно пофыркивая. Из реки выпрыгивала рыба, охотясь за мошками. А где-то рядом, прячась среди дере-

вьев-обманок, ждал темноты неутомимый враг Ньятенери. Когда мы все уладили, насколько можно было уладить, я плюнула Ньятенери в глаза и умчалась прочь, остановившись лишь затем, чтобы крикнуть:

— Извини, что не рассказала тебе свой план насчет плота! Я по-прежнему Лал-Одиночка, и мне трудно довериться даже товарищу. Извини.

Ньятенери оскалился и угрожающе взмахнул рукой:

— Да, я понимаю! Кстати, мне бы следовало тебя предупредить, что плавать я не умею...

Тут я чуть было не испортила весь спектакль, в тревоге уставившись на него, но он рявкнул:

— Признание за признание! Иди и помни, что наш маленький приятель опаснее любых врагов, с какими тебе случалось встречаться. Ступай, ступай!

Я подбежала к лошадям и яростно принялась их навьючивать. Мешок Ньятенери я швырнула на землю, а его лошадь привязала к вороному милдаси. Потом села в седло и погнала лошадей прочь, вверх по течению, прямиком на запад, ни разу не оглянувшись до тех пор, пока мы не доехали до верхнего рога полумесяца. Отсюда Ньятенери уже казался крохотным и далеким. Он стоял на берегу, собирая в охапку толстые, гибкие «мертвецкие кудри». Я крикнула:

— Будь осторожен! — рассчитывая, что этот дурной язык превратит предостережение в прощальное ругательство. Ньятенери даже головы не поднял. Я снова сплюнула — на этот раз затем, чтобы очистить рот от мерзости дирвика, — и поехала вдоль реки.

ЛИС

«Человек, который умеет оборачиваться лисом. Лис, который умеет оборачиваться человеком. Кто ты?» — спрашивает меня мальчишка Тикат, когда мы встречаемся. Только я затыкаю его глупый рот едой. Тогда — лучший способ. Но на самом деле — на самом деле не один снаружи, а другой под ним. Лис и человечий облик — бок о бок, и им вечно мало места, а внизу — о, внизу! Внизу — ничто, такое старое-старое ничто, что оно давным-давно превратилось в нечто.

Правда. Даже ничто чего-то хочет, даже ничто временами жаждет слышать голоса, песни, вдыхать запах земли на рассвете, попить водички, скушать голубка... А я? Я — палец этого ничто, крошечный мизинчик, но и то я — это я, и делаю, что хочу. Ньятенери хочет того, человечий облик — этого, а я делаю, что хочу. Но когда старое ничто зовет, я прихожу.

А старое ничто шевелится — холодное, грузное, сонное ничто чует его, хитроумного мага в трактире, одного в своей норе, загнанного под землю, точно лис, — да-да, и тот другой, оно и его тоже чует, тянется, ищет, почти знает, почти уверено. Над трактиром, вокруг трактира — всюду сила тянется к силе, собаки это знают, куры знают, даже погода, и та знает. Яркое, горячее солнце, ни облачка, день за днем, и все время пахнет дождем, но дождя все нет. Старое ничто говорит во мне: «Узнай. Узнай».

Вот так. Ньятенери далеко, и человечий облик снова сидит в зале, весь такой розовый, рассказывает длинные дурацкие истории, расспрашивает, выслушивает, следит. Трактир кишит народом, как гнилое бревно — червяками: паломники, бродячие торговцы, бурлаки, солдаты в отпуску, пару раз появляются охотники на шекната со своими тонкими, режущими шелковыми сетями и парными пиками. Россет слишком печален, чтобы болтать, Маринеша слишком занята, да к тому же человечий облик ей никогда не нравился. Гатти-Джинни готов болтать весь день напролет, наливать красный эль, но что может знать этот маленький и сердитый? То же самое — Шадри, повар, глупый, как поварята, которых он лупит. Мальчишка Тикат старается держаться подальше от человечьего облика, даже не взглянет через зал. Толстый трактирщик бегает туда-сюда, обслуживает, прислуживает, орет на солдат, когда те щиплют Маринешу. Он каждый раз пристально смотрит на человечий облик. Каждый раз в ответ — приятная улыбка. Почему бы и нет? На этих зубах голубиных перьев не видно...

«Девушка, — говорит старое ничто. — Девушка». Но она большую часть времени проводит с этим вредным магом и к себе в комнату возвращается только по ночам. Если лис тихо, тихо-тихо проскальзывает к ней под руку, тычется носом, она шепчет:

— Ах вот ты где!

Наклоняется ко мне:

— Где же наша Лал, маленькая? Где же наша Ньятенери? Ты не знаешь? Тафья, — это она так его называет, — тафья говорит, что они оба дураки, что их съедят горные тарги, что они упадут в реку и утонут, и чтобы я о них не тревожилась. Но я тревожусь. Маленькая, скажи мне, где мои друзья!

Она все шепчет и шепчет, а потом засыпает, крепко прижав меня к себе.

Старому ничто от этого никакого проку, но что поделаешь! Люди по-разному говорят с себе подобными и с игрушкой, которую берут в постель. Что, залезть к ней в постель в человечьем облике? Сказать: «Привет, это я! Мы с тобой так уже много ночей проспали». Да она так завопит, что даже Лал с Ньятенери проснутся, где бы они теперь ни спали. Нет, лучше подождать до утра. Рано-рано утром, на рассвете, она иногда выходит ненадолго погулять одна. Лучше подождать, говорю я старому ничто.

Но небо стягивается, сжимается. С каждым днем окоем становится все уже, небо и воздух трещат — сила тянется к силе. Ветер хрипит, задыхается; вода разлагается — это чувствуется на вкус, это видно в любой, самой мелкой лужице. Это отдается в каменном полу трактирного зала, слышится в голосах. В трактире бродячие торговцы пытаются поднять свои мешки, потом садятся и плачут. Солдаты напиваются — и ничего не происходит, паломники забывают слова молитв, дерутся друг с другом, бурлаков тошнит, все натыкаются на косяки, говорят, что Шадри их отравил. И все это — дело рук того, что лежит наверху, все это он натворил! Я-то знаю. Все прячется, прячется, натягивает воздух на себя, как одеяло, чтобы тот, другой, его не нашел. На лисов, на людей, даже на паломников ему плевать — ну и что, что все рвется, лопается пополам, точно личинка, превращающаяся в стрекозу, а что потом? Что вылупится из этой личинки? Об этом они подумали, эти двое? Нет-нет, это неважно, совершенно неважно! Маги, одно слово!

Старое ничто: «Девушка!» Ну что ж, выхожу наружу в человечьем облике, наружу, в пыльные сумерки, задумчиво брожу туда-сюда по двору, созерцаю дерево нарил, прохожу в сад, поворачиваю обратно. Вот и она — короткие быстрые

шажки, озирается по сторонам — все боится встретить мальчишку Тиката. Вижу ее — печальное круглое простецкое личико, а в глазах — белый огонь, но огонь этот не ее, он с ней не имеет ничего общего, с бедняжкой, — вижу, как она ходит вот так: столько-то шагов туда, столько-то сюда, — клетка, невидимая, но такая реальная, только что тени не отбрасывает. Что, неужто мне жаль человека? Нет, это невозможно. Это не для меня. И все-таки.

Ну что ж, вперед, добрый дедуля, человечий облик — рассеянная, добрая улыбка, спокойные движения — как бы не напугать в полумраке! Прекрасный вечер, как чудно поют птички (на самом деле птички не поют — в эти дни их совсем не слышно), как приятно встретить такую милую девушку. Пожилому господину необыкновенно повезло. Нельзя ли прогуляться с вами? До большака и обратно? В этом возрасте любой любезности рады.

Ни слова, ни кивка. Но берет человечий облик за руку, и мы идем дальше. Болтает, что-то мямлит, изредка похлопывает ее по руке — последний раз я так гулял лет двадцать назад, можете себе представить? Но где же ваши подруги? Такая высокая, смуглая, изящная, как дождь, и черная, с красивыми удлиненными веками, похожими на паруса кораблей? Человечий облик еще и не такое может сказануть. Она дрожит — не телом, а изнутри, глубже костей.

— Они в опасности.

Она говорит что-то еще, но так тихо, что я разбираю только это.

Старое ничто: «В какой опасности?» Ну как в какой? Попали меж двух глупых магов, точно кур в ощип. Но старому ничто этого мало, оно хочет подробностей. И, главное, что ему надо — не говорит: щупает, ищет, алчет — это да, но словами сказать — никогда. Ох, тяжко жить бедному лису в трех мирах зараз! Я говорю:

— О да, эти горы временами очень опасны. Там можно встретить и разбойников, и нишори, и горных таргов...

Качает головой.

— Нет, дело не в этом, это не они. Мои подруги... они отправились сражаться с волшебником, а с ним сражаться нельзя. Я знаю, я знаю!

Теперь дрожит и телом тоже, карие глаза налиты слезами, но по лицу не катится ни одной.

— Его нельзя убить! Я знаю!

Ну что, старое ничто? Это то, чего ты хотело? Человечий облик хмыкает, поглаживает по руке, говорит:

— Мужайся, милочка. Не бывало еще на свете волшебника, который не мог бы умереть. Все эти сказки о сделках с Дядюшкой Смертью, о волшебных эликсирах, о сердцах, запертых в золотых шкатулках, в дуплах или на луне, — это всего лишь сказки, дитя мое, можешь мне поверить.

Я успокаиваю не только девушку, но и себя. Бессмертный маг! Подумать только! В этом есть какая-то несправедливость. Старое ничто такого не потерпит, это точно.

Однако она успокаиваться не желает — она даже не дает мне закончить — вырывает у меня руку, кричит:

— Нет! Нет! Я им говорила, я же им говорила, но они не желали слушать, они так ничего и не поняли. Его нельзя убить!

Смотрит на меня в упор, на бледном лице — мольба, ей так хочется, чтобы славные белые усы все поняли. Я? Ну, я смотрю вверх, вниз, в сторону большака, в сторону трактира. Скрипит насос у колодца, пьяные гуртовщики поют хором, поблизости никого не видно. И все же кто-то смотрит. Я тоже кое-что *знаю*.

Ее голос спокоен и тих, но он тоже рвется, как небо.

— Я однажды была мертвой. Я утонула в реке. Меня нашла Лал.

Каждую ночь в постели она шепчет то же самое в пушистый мех лиса — но, быть может, на этот раз она расскажет свою историю иначе? Она говорит:

— Лал все обещает, обещает мне, что я теперь живая. Но я не понимаю ничего, кроме смерти.

Просто «смерти» — не «Дядюшки Смерти», хотя всем полагается называть его так, даже лисам. Лукасса продолжает:

— Все, что я знала до реки, у меня отнято. И в этой пустоте сидит смерть и говорит со мной. Она рассказывает мне разные вещи. Лал и Ньятенери никогда не смогут одолеть Аршадина, никогда не смогут его убить. Он такой же, как я, — там некого убивать.

«Ах-х! — вздыхает старое ничто, долгий-долгий вздох,

через все мои жизни. — Ах-х!» Ему-то хорошо вздыхать, а ведь человечьему облику все еще приходится говорить словами. Человечий облик дергает себя за усы, теребит бакенбарды, округляет добрые голубые глаза:

— Ну что ж, дитя, если твои подруги отправились на битву с мертвым волшебником, худшее, что с ними может произойти, — это что им придется очень долго добираться обратно. Смерть есть смерть, кем бы ты ни был. Можешь мне поверить.

Но теперь она отворачивается, не слушает. Поспешно разворачиваюсь — вот он, топает сюда, здоровенные бледные кулаки плотно стиснуты, большая лысая голова набычена, грязный фартук сполз набок — кто же это, как не сам толстый трактирщик? Рука Лукассы выскальзывает из руки человечьего облика, точно тающий снег. Ни слова, ни взгляда — проплывает мимо трактирщика, как принцесса, которых она никогда не видела, возвращается к своей невидимой клетке. А во мне, внутри меня, старое ничто: «Ах-х!» Успокаивается и снова засыпает — оно получило, что хотело, пора и баиньки. Вот и хорошо, пусть себе спит, крутится с боку на бок, храпит, сопит и не играется больше со своими пальцами. Давно пора хоть ненадолго оставить бедного лиса в покое.

Трактирщик смотрит вслед Лукассе, потирает затылок, медленно переводит взгляд на человечий облик. Ох, не могу, ох, сейчас расхохочусь, держите меня четверо! Скорее-скорее, сделаем вид, что это была дружеская улыбка, приветствие толстому дураку, который переворачивает свой дом кверху дном, устраивает бардак в комнатах, выгоняет гостей из постелей — и все из-за нескольких голубков. Все время пялится на человечий облик, никогда не разговаривает, никогда не прислуживает. А что будет, если сказать ему: «Привет, ваша новая гончая никуда не годится, зря только деньги потратили! Ну что, будем заводить новых голубков?» Вместо этого — низко кланяюсь, как один благородный господин другому благородному господину. Улыбка, комплимент насчет прекрасных ужинов, что подают у него в трактире. Человечий облик еще и не такое сказануть может.

Ворчание: «Это не я готовлю». Снова ворчание: «Конюха моего не видали?» Наверное, он в конюшне? Ворчание: «Я там смотрел уже». Снова потирает затылок, срывает бол-

тающийся фартук. «Олух проклятый, никогда его на месте нету». Он не сердится и не огорчен — вообще не проявляет никаких особых чувств. Говорит устало. Интересно.

— Ну что ж, — говорит человечий облик, — сегодня такой славный вечер — если ваш парень не дурак, он наверняка сейчас поет песни под окошком какой-нибудь девочки. Не гневайтесь на него, когда он вернется, почтенный хозяин, — уступите ему кусочек детства!

Он меня совсем не слушает — что-то в последнее время дедулю совсем никто не слушает, — но последние слова до него доходят, да еще как! Он тяжело хмурится — похоже, теперь он и впрямь рассержен.

— Да что вы об этом знаете? Что вы об этом знаете, а? Если у этого паршивца и было детство, то только благодаря мне! Да, это был самый поганый день в моей жизни, но я это сделал, а что мне еще оставалось, а? У меня не было выбора, будь я проклят!

Белое, мясистое лицо наливается кровью, так, что даже в сумерках заметно, бледные глазки прищурены и злобно сверкают.

— Да что вы все вообще об этом знаете? И что я с этого имел, кроме головной боли, и геморроев, и... — Тут он останавливается, что стоит ему немалого труда, и, помолчав, заканчивает: — И всяческих неприятностей? А?

Ух ты! Даже человечий облик растерянно отводит взгляд, не находя ответа. Впрочем, почтенный хозяин ответа и не ждет. Снова угрюмо косится на меня, ворчит — очень любезно! — и топает назад к трактиру, взывая к конюху:

— Россет! Россет, разрази тебя гром! Россет!

Как мила эта вечерняя песня толстого трактирщика! Человечий облик останавливается послушать. У тропинки шуршит что-то вкусненькое, торопится в свою норку. Не дошуршало.

ЛАЛ

Я так и не почуяла его у себя за спиной. Но его чуял конь милдаси. Пока он прижимал свои лохматые черные уши и раздувал алые ноздри, шумно фыркая, я шла вверх по реке. Догорал закат.

Ловушка, которую мы устроили, была настолько детской, что мы могли рассчитывать лишь на то, что наш преследователь сразу отмахнется от нее, сочтя попыткой прикрыть наш истинный замысел. Мы предполагали, что он проследит за мной, на тот случай, если я действительно сделаю петлю, чтобы устроить ему засаду. Но должно было показаться куда более вероятным — по крайней мере, мы так надеялись, — что я просто пытаюсь увести его от Ньятенери, а он не мог рисковать тем, что добыча ускользнет от него на куче кое-как связанного плавника. Так что он должен был повернуть назад куда раньше, чем это осмелилась бы сделать я, и добраться до Ньятенери раньше меня. Вот и вся моя пресловутая ответственность.

Когда поведение вороного наконец сказало мне, что нас больше не преследуют, солнце уже село и я потеряла Сусати из виду. Я старалась держаться как можно ближе к реке, но чем дальше, тем непроходимее делался берег, и мне приходилось объезжать заросли ежевики и шпажника, все дальше в лес. Теперь я даже не слышала запаха реки.

Я спешилась, сняла с лошадей вьюки, расседлала их и взяла себе то, что не могло помешать мне идти. Потом я по очереди поглядела лошадям в глаза, произнесла особые слова и сказала им, что они могут идти за мной следом вниз по реке, а могут и не идти, как захотят, и что вороной милдаси будет их вожаком и благополучно приведет их к людям, на добрые пастбища. Мой Друг научил меня этим словам и говорил, чтобы я всегда так делала, если приходится оставлять лошадей. Не знаю, есть ли им с этого какая польза, но с тех пор я всегда поступаю именно так.

Поначалу мне было трудно идти в темноте по дремучему лесу, по тропе, где до меня прошли только трое моих лошадей. Я то и дело спотыкалась о поросшие мхом корни, в ногах путались колючие ветки, а в воздухе висела какая-то тяжкая духота, которая время от времени заставляла меня надолго останавливаться. Сердце бешено колотилось, и с головой творилось что-то странное. В эти минуты все вокруг расплывалось и казалось ненастоящим, даже опасность, грозящая Ньятенери, — куда менее настоящим, чем самый смутный из моих старых снов. Я тогда не понимала, что со мной происходит, и это пугало куда больше, чем то, что могло под-

стерегать меня в лесу или у реки. Мой главный враг — не волшебники или убийцы, а безумие.

Дважды я теряла тропу, один раз чуть не потеряла меч — плеть дикого винограда аккуратно вынула трость у меня из-за пояса, так что мне пришлось долго вслепую шарить в кустах и палой листве, но в конце концов я нашла дорогу к Сусати. Луна еще не встала, но летний закат был лучше любой луны. Здесь, на севере, летом закаты очень долгие, и облака делаются бледно-лиловые с золотом — такого больше нигде не увидишь, а прибрежные тростники затягивает призрачный полусвет. По сравнению с лесом здесь было светло, как днем. Я вздохнула с облегчением, повесила сапоги себе на шею и пустилась бегом.

Бегаю я хорошо. Бывают бегуны быстрее меня, но немного на свете людей, кому пришлось научиться полностью отдаваться бегу. На плечах у меня болтались сапоги и тяжелые сумки, но, несмотря на это, я покрыла то же самое расстояние быстрее, чем верхом, с двумя лошадьми в поводу. Не слышно было ни звука, кроме моего собственного дыхания и шума реки, который сейчас, в вечерней тишине, казался куда громче. Над головой распростерся иссиня-черный ковер со взъерошенным ворсом, под которым проступало розовое и бледно-золотое. Временами там, где дорога становилась слишком неровной, я переходила на шаг. Два раза осторожно перешла вброд мелкие ручьи с илистым, жадно чавкающим дном. Но по большей части я полностью отдавалась бегу — я сама становилась воплощением бега; и если бы я тогда и думала о чем-то, то о другой женщине на другой ночной тропе и о том, что было у нее за спиной. Но воплощение бега думать не умеет.

Да, воплощение бега думать не умеет. Я едва не прозевала тот крутой поворот, за которым оставила Ньятенери. Остановилась, несколько мгновений подождала, приходя в себя, давая себе время снова стать собой и ловя малейший шум, доносящийся из полумесяца, покрытого галькой и шпажником. Но услышала лишь скрипучий голос долгоногой скиры, бродящей в тростниках. Молча опустила на землю свою ношу, обула сапоги и двинулась вперед.

На берегу никого не было. Луна только всходила. Почти полная. Почти совсем полная — не спрячешься. Я спусти-

лась к кромке воды и присела на корточки, ища хоть какие-нибудь следы. Большая часть плавника и все груды «мертвецких кудрей» исчезли. Значит, Ньятенери все-таки удалось построить свой «плот». Судя по бороздам на глине, перемешанной с галькой, он действительно спустил его на воду, хотя темного пятна подходящей формы и размера на реке видно не было. Но когда луна поднялась достаточно высоко, я увидела на глине отпечатки двух пар мужских ног. Один был в сапогах — это Ньятенери, другой пониже ростом, босой. Отпечатки были перемешаны. Запекшейся крови не видно, следов охромевших ног или тела, которое волокли в сторону, тоже. Ничто не говорило Великой Следопытке Лал, что произошло тут в сумерках, когда Ньятенери обернулся и увидел человека, выходящего из леса.

Я медленно выпрямилась. Ну, и куда мне теперь деваться? Я не знала даже, в какую сторону смотреть, не говоря уж о том, на что рассчитывать и что теперь делать. В тростниках по-прежнему скрипела скира, луна делалась все меньше и холоднее — и я вместе с ней. У меня болел живот от страха за Ньятенери, а потом я разозлилась на него за то, что я за него боюсь и что у него хватило дури потеряться и погибнуть в ночи. Мне и в голову не приходило злиться на его убийцу, пока легкий речной ветерок не подул с другой стороны и я не почуяла его.

Те двое в бане пахли только внезапной смертью — а это начисто стирает любой природный запах, раз и навсегда. А запах этого был почти знакомый, слишком резкий, чтобы быть приятным, но не острый. То был запах не дикого охотника, а надвигающейся бури. Мой меч был уже наготове, хотя я не заметила, когда обнажила его. Впрочем, я этого никогда не замечаю. Я сказала:

— Я тебя вижу. Ты там.

Смешок, раздавшийся у меня за спиной, был под стать запаху: теплая, сонная молния, шевельнувшаяся в своем логове.

— Вот как?

Не успел он договорить, как я уже развернулась к нему лицом. Но к этому времени я была бы уже мертва. В некотором смысле я действительно умерла, прямо там, давным-давно, так что женщина, которая рассказывает вам эту исто-

рию и пьет ваше вино, на самом деле уже призрак. Ладно, не обращайте внимания.

Он был невысокий, как и те двое. Меньше меня. Длинноликий, кривошеий, хрупкого сложения человек в свободной темной одежде вышел ко мне из тростников, в которых минуту назад, когда я их осматривала, точно никого не было.

— Стой, — сказала я. — Стой. Я пока не хочу тебя убивать. Стой где стоишь.

Но он продолжал идти — только немного замедлил шаг. В гаснущем сумеречном свете глаза его были такими бледными, что казались почти белыми, а зубы в широком кривом рту были цвета реки, пенящейся у подводного камня. Волосы очень короткие — словно тень на голом черепе. Он предъявил мне пустые руки и дружелюбно сказал:

— Ну что ты, Лал-Полуночница! Конечно, ты не хочешь меня убивать. Ты не хочешь даже пребывать под одной луной со мной, не так ли?

Россет говорил, что у тех двоих, которых убил Ньятенери, был странный выговор — с холодной вопросительной интонацией в конце каждой фразы. У этого был здешний, монотонный горский выговор, с едва заметной виляющей южной интонацией — на самом деле, почти такой же, как у Ньятенери. Теперь он сказал:

— Что до меня, я с тобой ссоры не ищу. Я свое дело сделал. Дай мне пройти.

Тут, как ни странно, живот у меня болеть вдруг перестал, и страх и злость внезапно куда-то делись. Я ответила:

— Не раньше, чем ты скажешь, что ты сделал с моим товарищем. А может, и тогда не пропущу. Стой где стоишь!

Он улыбнулся. Я медленно отступала, следя за тем, чтобы оставаться на открытом месте, и моля всех богов, чьи имена я почти позабыла, чтобы мне не оступиться. Он терпеливо следовал за мной, держась на таком расстоянии, чтобы его нельзя было достать мечом. Руки его свободно болтались вдоль тощего тела.

— Он мертв и простыл, как вчерашний обед, — сказал он, — и тебе это известно не хуже моего. Или ты думаешь, что ему снова удалось ускользнуть от меня? Но если так, что бы я стал делать здесь? Опусти меч, подруга, и дай пройти.

— И не подумаю, уж извини, — сказала я, продолжая пя-

титься. — Если он мертв, где же тело? Мы твоих спутников похоронили, но у вас, видать, так не принято? Что ты сделал с телом Ньятенери?

Тут он на миг застыл. Если бы я хотела, я бы, наверно, могла достать его в тот момент. А может, и нет. Да нет, вряд ли. Он выжидал. Глаза его блестели лунной белизной в свете луны. Это был не первый человек, который вот так наслаждался своей властью надо мной. Наконец он беспечно сказал:

— Ах, тело? Я просто свалил его на эту кучу дров и отправил в плавание. Это достойный конец для такого, как он, как ты думаешь? Он ведь был чем-то сродни горо.

Горо — это отважный и хитроумный народ, который некогда был в родстве с моим. Горо живут на горстке островов, рассеянных вдоль побережья морей Ку'нрак. Они вечно совершают набеги на своих соседей и друг на друга. Они плавают по всему миру и не боятся ничего на свете. А когда один из них умирает, тело — или то, что от него останется после совершения некоторых обрядов, — укладывают в богато украшенную ладью, поджигают и отпускают на волю волн. Я очень осторожно произнесла:

— Сдается мне, что никакого плота на реке нет. Во всяком случае, погребального костра нет точно.

О, как он захлопал в ладоши! О, как он захохотал! Его смех был похож на клекот спаривающихся стервятников. Он сгибался в три погибели, хлопал себя по бедрам, и хохотал, хохотал, пока не выдохся, потому что я не могла, не смела ударить — мне надо было знать, солгал он или нет. Наконец он с трудом прокудахтал:

— А, значит, ты все же плохо нас знаешь! Постой здесь, подожди немного — совсем немного! — он снова зашелся смехом, — и ты увидишь такой погребальный костер!..

Тут я ударила. Вы бы этого удара даже не увидели. Серьезно. Запястье и рука — никаких выпадов, никаких лишних движений — а значит, и никаких размышлений, — а потом отдергиваешь руку, пока Дядюшка Смерть еще только надевает свои тапочки. Но невысокого человечка с лунно-белыми глазами уже не было там, куда я ударила. Он был почти на том же месте — почти, заметьте себе, клинок зацепил его тунику, — но не совсем. И он уже не смеялся, а издавал нечто вроде мурлыканья.

— Молодец, молодец. Видно, правду рассказывают о Лал с Мечом в Трости. Это будет для меня большой честью.

А вот теперь слушайте. За то время, пока он произнес эти несколько слов, я успела ударить его еще три раза. Я говорю это не из тщеславия, а чтобы вы поняли, каков был мой противник. Даже Ньятенери не знает, что я не просто промахнулась все три раза, но промахнулась серьезно: на этот раз меч не коснулся даже одежды. В свое оправдание я могу сказать только, что он нанес ответный удар — которого я даже не видела, — когда я раскрылась и потеряла равновесие, и все же я сумела отпрыгнуть в сторону и, приземляясь, увернуться от второго удара. Потом я поспешно отступила за пределы его досягаемости. Он последовал за мной, продолжая мурлыкать:

— Славно, ах как славно! Надо сказать, твой приятель меня слегка разочаровал. Надеюсь, тебе не обидно это слышать?

Я ответила финтом от плеча и выпадом. За то, чтобы обучиться этому выпаду, я едва не заплатила жизнью, и у меня ушло четыре года, чтобы обучиться ему как следует. Мой противник его как будто и не заметил. Он ненавязчиво оказался у меня за спиной, по-прежнему лучась дружелюбным весельем.

— Хотя, по правде говоря, он просто слишком поздно меня заметил. И тем не менее от человека, который уходил от нас почти одиннадцать лет, я ждал чего-то большего. Одиннадцать лет! Этот подвиг никому повторить не удастся, я уверен. А, смотри-ка! Вон и огонь.

Я сделала то, чего он хотел. Я посмотрела мимо него, всего на миг — один инстинкт уже заставил меня повернуться обратно, в то время как другой заставлял смотреть на реку. Огня на воде я не увидела, но тут мой противник ударил. В левый бок. До сих пор не понимаю, почему он сломал мне только одно ребро. Боль пришла не сразу — поначалу левая половина груди попросту отнялась. Мне каким-то чудом удалось не выронить меча, несмотря на то что я отлетела в сторону и сильно споткнулась о бревно. Противник очутился рядом со мной прежде, чем ко мне вернулось зрение, но я одновременно ударила ногой, сделала выпад и откатилась в сторону. На этот раз он меня не достал. В тростниках скира издала курлыкающий звук — значит, кого-то поймала.

Я вскочила на ноги, сплюнула и презрительно усмехнулась — надо, чтобы противник видел, что ты над ним смеёшься, даже если ты задыхаешься и не можешь смеяться по-настоящему.

— Что, вот это и есть твой смертельный удар? Всего-то навсего?

Но еще один такой удар — и мне пришел бы конец. И он это знал. Он не рассмеялся, но мурлыканье сделалось громче и приобрело новые оттенки. Он лениво приблизился, говоря:

— Да, ты и в самом деле хороша! Просто невероятно!

Он говорил как любовник — и это, пожалуй, было страшнее всего.

Некоторое время — долго ли это длилось, не помню — я заботилась только о том, чтобы отдышаться и не подпускать его ближе, чем на длину клинка. Вот теперь бок заболел, и очень сильно. Само по себе это не очень мешало — я давно научилась на время забывать о боли, откладывать ее на потом, как другие откладывают домашние дела. Но я знала, что из-за этого теряю в скорости, а если что и могло меня спасти, то только проворство. Я уворачивалась, извивалась, кружилась волчком и подпрыгивала, уходила в кувырок, когда он пытался прижать меня к дереву или к камню, тыкала его локтями, коленями, один раз даже головой, если промахивалась мечом — а мечом я его не достала ни разу. Ньятенери удалось хотя бы пару раз пометить своих противников кинжалом, прежде чем умница Россет их ослепил. Ну, а мне похвастаться нечем — разве что парой синяков в самых безобидных местах. Но, по крайней мере, я осталась жива.

Всходила луна, и тьма постепенно рассеивалась, хотя не уверена, что это было мне на пользу: исчезли тени, где я могла бы укрыться. Мой противник внезапно остановился, нарочно давая мне передохнуть и заодно ощутить, как сильно мне досталось.

— Знаешь, Лал с Мечом в Трости, — сказал он, — я теперь даже жалею, что у меня никогда не будет детей и внуков, которым я мог бы рассказать о тебе. Могу только обещать, что вечные анналы моего странного дома, где ничто не забывается, до скончания веков будут рассказывать людям, куда более значительным, чем ты себе можешь представить, сколь доблестно ты погибла.

Он притворно вздохнул, сморгнул слезу — настоящую — и добавил:

— И твой замечательный меч не будет валяться в грязи: я успею подхватить его прежде, чем ты упадешь наземь. Даю тебе слово.

Я бросилась на него прежде, чем он успел договорить. Приятно вспомнить. Мы двигались вдоль берега в обратную сторону, и теперь уже ему пришлось потанцевать, уворачиваясь, пригибаясь, ныряя и метаясь из стороны в сторону. Нет, мне и тут ни разу не удалось задеть противника — но тем не менее я услышала, что дыхание его участилось, и в белых глазах появилось то же смутное любопытство, какое он, должно быть, видел в моих: «Так это ты? Неужели это будешь ты?» Нет, право же, приятно вспомнить!

Но к тому времени песенка моя была спета. Не из-за ребра — мне приходилось получать удары пострашнее и при этом драться куда лучше, — а потому, что мои лучшие годы были уже позади. Хотя это я знала еще до того. В молодости я ударила бы не три, а четыре раза, пока он меня хвалил. И точно так же промахнулась бы все четыре раза. Прав был Мой Друг: мастер сразу признает того, кто сильнее его, а этот был бы сильнее меня, даже будь я в расцвете сил. Но мне все равно нужно было его убить.

— Плот горит, — мурлыкал он. — Плот горит — видишь пламя на реке?

Но я больше ни разу не спустила с него глаз — Ньятенери этим все равно не поможешь. Ну и, разумеется, кончилось тем, что под ноги мне подвернулся кусок плавника, и я упала. Я тут же вскочила, причем в ту сторону, куда он меньше всего ожидал, но он ударил меня обеими босыми ногами: в правое бедро и в правое же плечо. Я рухнула наземь.

В море, когда накатит большая волна, временами случается, что ты плывешь вниз, в холодную черноту, слишком ошеломленная, чтобы понять, что жизнь в другой стороне. Вот так было и со мной. Когда я наконец с трудом приподнялась на одно колено, он спокойно стоял, скрестив руки на груди и любуясь мною.

— И даже когда ты падаешь без сознания, меч ты все равно держишь высоко. Твое сердце может коснуться пре-

зренной земли — но не твой клинок! Должно быть, он и впрямь много значит для тебя, о легендарная Лал!

Тогда я сочла это жестокой насмешкой. Теперь я знаю, что он хотел выразить искреннее восхищение. Но это все неважно. Главное — что слово «легендарная» напомнило мне о моем воспитании и наследии, по сравнению с которым все это мечемашество — не более чем детская забава.

— И не для меня одной, — ответила я. — Этот меч был откован в моей стране пятьсот девяносто лет тому назад для поэта ак'Шабан-дарьяла. А я его прямой потомок.

Вечные анналы, говоришь? Ньятенери как-то раз упомянул, что эти люди по-своему не менее одержимы легендами, чем я сама. Они способны прервать свадьбу, бросить урожай или просто позабыть умереть ради того, чтобы выслушать еще одну историю о ком-то, с кем когда-то что-то случилось. По крайней мере, мой противник, которому ничто не мешало меня прикончить, оставил меня в живых исключительно ради того, чтобы выслушать историю моего меча. Я еле сумела выпрямиться и посмотреть ему в лицо. Правая половина моего тела заледенела, а левая адски болела. Но это ничего. Будет тебе история...

— От отца к сыну, от сына к дочери и так далее, — сказал он, достаточно вежливо. — Как везде. Жаль, что такая длинная цепочка прервется здесь.

Я не смела отступить хоть на шаг, но, собрав все оставшиеся силы, направила их на то, чтобы удерживать его взгляд, надеясь прочитать в нем, что он сделает в следующие несколько мгновений, и молясь, чтобы он не прочел в моих глазах того же. Потом глубоко вздохнула и протянула ему меч.

— На самом деле в моей семье повелось иначе, — сказала я. — Меч не передается из поколения в поколение — его полагается украсть. Взгляни на клинок.

Он поднес клинок к глазам и прищурился, читая при свете луны выгравированные слова — немногие успевали хотя бы заметить их. Могло показаться, что руки и глаза у него заняты, но я теперь слишком хорошо его знала, чтобы воспользоваться случаем.

— «Украдешь — женишься», — прочитал он вслух. — Странное предупреждение. Если, конечно, это предупреждение.

Я рассмеялась, хотя смеяться было больно.

— Можно сказать и так. С того самого дня как был откован этот меч, воров тянуло к нему, как магнитом. Даже кузнец, который его сковал, пытался украсть его у моего предка через неделю после того, как отдал заказ. И с того дня бедному поэту ни единой ночи не довелось спать спокойно. Взломщики лезли к нему на крышу, подкапывались под стены, натыкались друг на друга в шкафу и завязывали драки прямо в доме. Старые, молодые, мужчины, женщины, малолетние сорванцы — они сползались со всех концов страны, и все лишь затем, чтобы лишить его того самого меча, который ты теперь держишь в руках. Поэт не мог доверять даже ближайшим друзьям — не говоря уже о своих тихих, дряхлых, почтенных родителях. Все это начинало становиться чересчур утомительным. Вскоре мой предок готов был подарить меч первому же взломщику, которого застанет у себя в кладовке, первому же грабителю, который попытается заманить его в безлюдный проулок за рыночной площадью. Это чистая правда, можешь мне поверить!

— Но, разумеется, он его не отдал — иначе откуда бы взялась эта история?

Он отступил на пару шагов, по-прежнему не глядя на меня, и покачал меч на ладонях, любуясь игрой лунных бликов на узком клинке.

— И как же этот добрый человек разрешил свои затруднения?

— Ну, добрым этого моего предка не назовешь, — продолжала я, — но в уме ему не откажешь. Поразмыслив как следует, он велел выгравировать на клинке те слова, что ты видел. И когда одному особенно наглому и ловкому молодому вору удалось-таки спереть у него меч — среди бела дня, заметь себе! — он самолично выследил похитителя и сделал ему странное предложение: оставить меч себе, но с тем условием, что он женится на старшей дочери моего предка и станет членом семьи. Вор согласился не раздумывая, дочка тоже — видно, молодой человек был хорош собой. И так возникла древнейшая традиция нашего рода.

«Вверх, вниз, подними до луны, потом опусти во тьму...»

— Захватывающая история.

И он в самом деле был захвачен, хотя и старался не пока-

зывать этого — настолько захвачен, что даже не обратил внимания, когда я наконец позволила себе сдвинуться с места — совсем чуть-чуть, и не назад, а скорее вбок.

— Даже если у вора не было другого выбора, кроме смерти. Не хочу обидеть дочь вашего предка...

— Ах, но дело-то было совсем не в этом!

И вот тут я его поймала. Он перестал вертеть меч и уставился на меня — и впервые стал похож на человека. Глаза у него сделались круглые — правда, он тут же поспешил снова их сощурить — от благословенного человеческого недоумения и прекрасной, бесценной, вполне человеческой жажды знать, что там дальше. Я была измучена, боялась за свою жизнь, все тело у меня болело — и все же этот взгляд наконец заставил меня почувствовать себя в своей тарелке.

— Молодой человек вполне мог уйти живым и здоровым — и никогда больше не увидеть этого прекрасного меча. Он с удовольствием повиновался условию, начертанному на мече: «Украдешь — женишься», и был верным мужем обеим своим женам. И, поскольку он разбирался в воровстве куда лучше моего предка, меча того больше не видел никто, кроме тех, для кого этот меч был последним, что они видели в своей жизни. Единственная сложность была в том, что он никак не мог заставить себя передать свое сокровище кому-то из собственных потомков, даже на смертном ложе. Я так полагаю, что он приказал бы похоронить меч вместе с собой, если бы проворная девица-служанка не стащила его в последний момент. Ну и, разумеется, его старшему сыну пришлось разыскать служанку и, в свою очередь, жениться на ней, чтобы меч и ловкость рук остались в семье. И так оно и шло с тех пор, пока черед не дошел до моей бабушки. С бабушкой все получилось иначе.

Даже теперь я не могла быть уверена, что он проглотил наживку, несмотря на то что он не отрываясь рассматривал меч и только изредка поглядывал на меня.

— Главное — не давать крови застаиваться, — мурлыкал он почти про себя. — Почти как у нас, заметь.

Но ему ведь надо было узнать — а так ли важна лишняя пара футов расстояния, когда тебе надо узнать, чем кончится рассказ?

— Твоя бабушка... — медленно повторил он, и я сказала — совсем про себя: «Ты мой!»

— Ах, бабушка... — Я вздохнула. — В детстве она казалась мне самым удивительным человеком на свете.

Так оно и было, да благословят боги ее злую, бесстыжую душу.

— Она была дочерью прадедушки, и потому ей никак не полагалось украсть меч и выйти замуж, чтобы сохранить его. Это представлялось ей величайшей несправедливостью, а бабушка была не из тех, кто способен смириться с несправедливостью. Она была низкорослая, вроде меня, и поначалу с нею мало считались, но начиная лет с двенадцати она только тем и занималась, что возилась с оружием и училась им владеть — это-то ей дозволили. Она посвящала занятиям каждое утро и кончила тем, что стала выпивать со старым кирианским мастером Л'кл'йяра, — я увидела, как глаза моего слушателя расширились еще больше, чем раньше, — пока не вызнала всего, что было известно ему, и не научилась изобретать свои собственные ответы на его защиты и удары, его знаменитые обманные выпады и уходы. Они могли сражаться часами. Она сделалась почти непобедимой, моя тихая маленькая бабуля, которая каждый вечер пела мне колыбельные, даже когда я стала уже слишком большой для колыбельных. И когда она поняла, что непобедима, она в тот же день, завершив свои обычные упражнения, попросту взяла меч и исчезла.

— Исчезла?

Я говорила нараспев, настолько же поглощенная ритмом повествования, насколько мой слушатель был поглощен самим рассказом. К этому ритму меня приучили чуть ли не одновременно с тем, как я выучила собственное имя. Но с тех пор я успела научиться еще кое-чему и знала, что теперь все следует замедлить, все — не только свое отступление, но и дыхание, толчки боли, шум крови в ушах, даже собственные мысли, подстроившись под ритм холодной и безмолвной луны. Справа, под раскидистым кустом, бесформенная голубая тень — должно быть, его мешок...

— На самом деле она спряталась в своей комнате, — сказала я. — Но это было почти то же самое, потому что целых три года она выходила из нее лишь затем, чтобы выбросить

тело очередного полуночного гостя, пожелавшего добыть меч, — и тут же пряталась обратно. Никто ее не видел, кроме ее жертв, да еще слуг, приносивших ей еду. О, ее мать и отец являлись к ней чуть ли не каждый день, умоляя ее образумиться, отдать меч и выйти замуж за того, кто украдет его у них, как положено. Но все их мольбы пропали втуне. Бабушка писала им нежные записки, справлялась о здоровье своих братьев, извинялась за то, в каком состоянии вернула последнего вора, — и продолжала держать осаду. Насколько я знаю, на третий год прадедушка, отчаявшись, отправил солдат, чтобы те взломали ее дверь. Покончив с солдатами, бабушка нарочно не стала чинить дверь, оставив комнату открытой нараспашку. Ни единая живая душа не смела даже заглянуть через порог — до тех пор пока не явился мой одноглазый дедушка. Но это совсем другая история.

Это в самом деле его мешок? Должно быть, он самый. Но что может в нем быть? Что носят с собой эти люди? Ньятенери говорил, что он должен быть готов к путешествию по воде, но какая же лодка влезет в такой мешок? Разве что игрушечная? Дура, не смотри на мешок, головой ведь рискуешь — смотри в эти белые, завороженные глаза, держи его, держи! — а теперь выбери место, полшага, вот так, пусть твоя правая нога дрогнет и чуть подогнется, тем более что ей давно этого хочется, — интересно, с этой стороны тоже одно ребро сломано? Хорошо бы нет... И под всем этим — совсем другой трепет, не имеющий отношения к боли и страху. «Я все еще могу делать то, для чего я создана! Мое искусство меня не оставило! Я все еще умею рассказывать истории!»

— И вот эта-то женщина и научила тебя так драться?

Его голос, как ни странно, застал меня врасплох: я была настолько занята тем, как его убить, что почти забыла о нем самом, если вы понимаете, о чем я. Он все еще хотел узнать, чем кончится эта история, прежде чем убить меня.

— Да нет, — сказала я. — Нет, не совсем, — и позволила ноге окончательно согнуться, опрокинувшись в сторону и вниз, вскрикнув — вполне по-настоящему, — упав на левую руку, а правая в этот же миг нырнула в сапог, вынырнула, и, в конце концов, это мне пришлось поймать меч, прежде чем он или мой противник коснулись земли. Тонкий кинжал вошел убийце в горло так глубоко, что торчала одна рукоять.

Рукоять дергалась в такт его дыханию. Он изумленно смотрел на меня. Я медленно поднялась и шагнула к нему.

— Моя бабушка в жизни не держала в руках ничего опаснее кухонного ножа, — сказала я. — Этот меч я купила у бродячего торговца в Форс-на'Шачиме, и о том, что значит эта надпись, я знаю не больше твоего. А драться меня научил злой старый солдат-выпивоха, который перед каждым уроком говорил мне, какова будет плата на этот раз, и предоставлял мне думать об этом во время занятия. Этот кинжал — его.

Это он понял, я уверена. Когда белые глаза уже начали тускнеть, я добавила:

— Извини, что обманула тебя. Ты был слишком хорош, я не могла победить тебя в честном бою. Да озарит солнце твой путь.

У нас так принято прощаться. Услышал ли он это, я не знаю.

НЬЯТЕНЕРИ

Я не сразу понял, что куда-то двигаюсь. Это может показаться странным, но я вообще чувствовал себя очень странно. Мне было плохо, и единственное, что я заметил сразу, — это что один глаз у меня ничего не видит. Слева от меня была багровая тьма, совсем не похожая на прохладную, лунную речную темноту справа. Из-за этого и из-за того, что голова гудела и кружилась, мне потребовалось некоторое время, чтобы осознать, что я вовсе не лежу неподвижно, потому что далекое небо и река медленно и с достоинством движутся куда-то мимо. Моя правая нога болталась в воде, под спиной что-то мешалось — это оказался корявый кусок плавника, который отвалился и уплыл, когда я сел. Как это ни удивительно, я сидел на том самом «плоту», который даже не собирался спускать на воду, и этот плот медленно разваливался подо мной. А я наполовину ослеп, и не умел плавать. И если я не заорал во всю глотку, зовя Лал, то лишь потому, что был слишком ошарашен, чтобы как следует испугаться. Впрочем, это быстро прошло.

Встать я не решился. Мне показалось, что прошло недели две, прежде чем мне наконец удалось подняться на четве-

реньки. Последнее, что я помнил, — это как я связывал узлами длинные плети водорослей, чтобы моя куча плавника хотя бы отдаленно, в полутьме выглядела так, как будто она не развалится сразу, если кому-то хватит глупости спустить ее на воду. Судя по положению луны, с тех пор прошло больше часа, и, как ни странно, большая часть плота все еще была при мне, хотя и рассыпалась на глазах. Я чувствовал, как бревна шевелятся и уплывают прочь, по мере того как вываливаются сухие ветки, которые я натолкал между ними для прочности. «Мертвецкие кудри» прочны и легко сплетаются в канат, но у них есть один серьезный недостаток. Они растягиваются. Я прикинул, что славному кораблю «Гроб Соукьяна» осталось жить минут десять. Это значит, что у меня в запасе минут пять.

Еще больше, чем возможность утонуть, меня угнетало то, что я так и умру, даже не узнав, что со мной случилось. Видимо, меня подстерегли, застали врасплох так же легко, как Россета или Тиката. Я даже не заметил, как подкрался мой противник. Несмотря на то что голова и тело местами болели, а местами онемели, я не помнил ни одного удара. Левый глаз был одним из немногих мест, которые не болели. Но он также не моргал и не видел. Как будто его и вовсе не было.

Я стоял на коленях, боясь, что малейшее движение ускорит гибель плота. Вчерашняя сонная река теперь, казалось, с каждой минутой все ускоряла свой бег, неся меня меж невидимых пустынных берегов навстречу унизительной, бесславной, беспомощной смерти. Совсем не такой конец, какой я выбрал бы для себя. Вот еще одна ветка выскользнула из-под «мертвецких кудрей», и бревно, на которое я опирался, провернулось у меня под рукой. Глупо, конечно, но мне вдруг представился Человек, Который Смеется: как он устраивается поудобнее и начинает обсуждать, в какой именно момент мой плот перестанет существовать в качестве плота и превратится лишь во временное соглашение нескольких бревен. Это был именно такой вопрос, какие он способен обсуждать целыми днями, время от времени налетая на меня, когда мои аргументы кажутся ему чересчур дурацкими, а свои собственные надоедают. В щели, где раньше была ветка, показалась вода. Вода плеснула мне на ногу.

Левый глаз вроде бы начал различать свет и силуэты, но я

по-прежнему не мог определить, далеко ли я от берега. Хотя какая разница? По-прежнему стоя на коленях, я принялся шарить по плоту, куда мог достать, в дурацкой надежде найти какой-нибудь обломок доски, которым можно грести, что-нибудь, чем можно направить плот к берегу, которого я все равно не видел. Одна рука наткнулась на что-то вроде трубочки из позолоченной бумаги, похожей на те бумажные свистки, в которые свистят в западных землях, справляя День Воров. Мне потребовался целый миг, чтобы понять, что это такое, — то был самый длинный миг в моей жизни, — но когда я понял, я отвел руку назад, пока костяшки пальцев не коснулись бревен, и зашвырнул эту штуку как можно дальше. Еще в полете она беззвучно растаяла в огне, озарив полнеба белым рассветным пламенем. В этом ужасном свете, в неестественной тишине, я увидел и катящуюся вдаль реку, и деревья на берегах, и птиц, спящих на ветках, все лишенное цвета, выбеленное жутким сиянием. Вокруг меня вспыхивали ночные мотыльки, тысячи мотыльков сгорали в одно-единственное мгновение. И еще я увидел Лал.

Всего лишь на миг. Потом адская штука, которые одышливые мастера в нашем монастыре делали десятками, сколько понадобится, упала в воду и потухла. Вернулась тьма, и Лал исчезла из виду, так же как спящие птицы. Но я по-прежнему видел ее — я и теперь вижу, как она несется следом за мной по реке, сидя со скрещенными ногами на носу лодочки, которая была меньше моего плота: просто заостренный кусок дерева с рулем и парусом. Вид у Лал был такой, точно она спокойно понукает лодочку, слегка подергивая веревки, точно повод старой жирной кобылы. Увидев меня, она помахала мне рукой.

Я махнул бы ей в ответ, но в тот момент обе руки у меня были заняты, и обе ноги тоже: я отчаянно пытался удержать то, что оставалось от плота. Бесполезная, смешная попытка. Плот все быстрее разваливался на части. Он и так продержался дольше, чем я рассчитывал, когда его делал. Сучья и бревна свободно выскальзывали из-под размокших водорослей. Я услышал, как Лал кричит, чтобы я бросал плот и подержался за любое из бревен, пока она не подойдет. Ей хорошо говорить! Она родилась на воде. А я бы чувствовал себя куда спокойнее в пылающей башне, и мне легче было бы вы-

прыгнуть из окна, чем расстаться с этим проклятым плотом. Чтобы оттянуть время, я принялся разыскивать свой лук, хотя это было бессмысленно. И пока я шарил в темноте, последние несколько бревен выкатились у меня из-под ног, и я плюхнулся прямо в реку, размахивая руками, захлебываясь и брыкаясь, точно повешенный на веревке. Презабавное зрелище, не спорю. Вот улыбнитесь-ка еще раз, и я окуну вас мордой в тарелку с супом. Это поможет вам лучше понять мои тогдашние ощущения. Обещаю, что не стану держать вас там дольше, чем сам пробыл в воде.

Лал говорит, что, когда она меня выудила, я действительно висел на бревне, и так прилип к нему, что вращался вместе с ним, когда бревно крутилось и вертелось в потоке. Но я этого не помню. Когда я снова пришел в себя, я валялся ничком поперек игрушечной лодки Лал, откашливаясь и отрыгиваясь, а Лал по-прежнему держалась за веревки и в то же время колотила меня по спине обеими ногами, чтобы помочь откашляться. Вот это помню. Ножки у Лал маленькие, но запоминающиеся, в особенности пятки.

Когда я наконец смог говорить, я выдавил:

— Это *его* лодка...

Отвечать на это не стоило, и мне ничего не ответили. Я сел, очень медленно и неуверенно, весь дрожа. Вытер губы. Даже при луне и с одним глазом я сразу заметил, как странно она сидит, как избегает лишних движений, как посерела черная кожа.

— Сильно ранена? — спросил я.

— Ребро, — тихо ответила она, указывая на левый бок. — А может, и два.

Я едва разбирал ее слова в шуме реки. Куда только делась холодная неуязвимая Лал-Морячка! Теперь, когда я наконец очутился в безопасности, на борту лодки, она позволила себе вспомнить о собственной боли. Ее огромные глаза уже не видели меня. Еще мгновение — и она свалится, где сидит, оставив это сомнительное суденышко в ненадежных руках капитана Соукьяна, который только что потопил свой собственный корабль. Я осторожно взял ее за плечи, придвинулся поближе и спросил:

— Как остановить эту штуку? В смысле, как пристать к берегу?

Мне пришлось несколько раз повторить вопрос, прежде чем она встряхнула головой, словно пытаясь привести мысли в порядок, положила мою левую руку на руль и сильно сжала. «Толкай», — прошептала она, потом сунула мне в правую руку веревки, управляющие маленьким парусом, выдавила: — «Тяни», и навалилась на меня, окончательно потеряв сознание и едва не уронив нас обоих в воду. Мне пришлось схватиться за мачту, чтобы удержаться.

Даже в темноте видно было, что губы у Лал синие. Сердце у нее колотилось слишком быстро, дыхание было слишком медленным и отрывистым. Я порадовался хотя бы тому, что, судя по звуку, легкие целы. Впрочем, радоваться было некогда. Я пристроил ее у основания мачты. Проклятая лодка крутилась, как собака, которая ловит собственный хвост, а та штука — все забываю, как она называется, — ах да, гик, — моталась из стороны в сторону, норовя пришибить меня, потому что я не мог одновременно укладывать Лал и тянуть все эти веревки. Ненавижу лодки. Теперь я разбираюсь в них немного лучше, чем в ту ночь — и тем сильнее их ненавижу.

Когда я наконец смог сесть и начать управлять лодкой, стало очевидно, что Лал удалось-таки в двух словах объяснить мне, каким образом заставить эту проклятую посудину двигаться куда тебе надо. Толкаешь руль в одну сторону — в данном случае влево, так что лодка резко развернулась к правому берегу реки, — а потом тянешь веревки в другую. При этом, по идее, парус должен поймать ветер и лодка двинется вперед. Но, конечно, если хорошего попутного ветра нет, а как воспользоваться тем, что есть, ты не знаешь, — как раз мой случай! — тогда парус начинает хлопать и обвисает, а гик при этом прилетает с другой стороны прямо тебе в голову. Но тем не менее я упрямо тянул, дергал, уговаривал, ругался, уворачивался, и лодка мало-помалу двигалась в сторону берега, и наконец остановилась, уткнувшись заостренным носом в путаницу свисающих древесных корней. Я привязал ее и вынес Лал на берег.

Я раздел ее, чтобы выяснить, насколько сильно она пострадала. Лал даже не шелохнулась. Сломанное ребро я нащупал сразу — всего одно, слава богам, — но все остальное выглядело целым и невредимым. Я, конечно, знал, что это не так, но самым странным и неприятным было именно то, что

почти никаких следов на теле у нее не осталось. У меня, кстати, тоже. Но весь правый бок оказался горячим на ощупь, и когда я трогал ее, она дергалась и стонала, но ни разу не очнулась.

Наших мешков в лодке не оказалось. Я неплохо разбираюсь в травах и снадобьях, но искать их ночью в незнакомом месте... Под скамейкой на носу нашелся запасной парус. Я изрезал часть паруса на полоски и, как мог, забинтовал сломанное ребро. Потом влил Лал в рот немного воды, снял свою промокшую одежду и улегся рядом с ней, накрыв нас обоих остатком паруса. Я обнял ее и лежал так всю ночь, согревая ее и себя заодно. Я не думал, что мне удастся заснуть, но тем не менее заснул и спал крепко, без снов.

Когда я проснулся, Лал снова не шелохнулась. Дыхание у нее вроде бы сделалось ровнее, но кожа все равно оставалась слишком холодной, и синюшность расползлась на лицо и грудь. Левый глаз у меня уже видел, хотя и несколько расплывчато: должно быть, один из ударов, которых я не помню, повредил нерв. Тело все еще болело во многих местах, но это пройдет. Разгорался робкий, розовый горный рассвет. Я встал и огляделся. Передо мной была Сусати — еще не белозубая, но уже и не вчерашняя тихоня. Справа, слева и позади не было ничего, кроме камней, чахлой невысокой травы и редких деревьев-обманок. Не слишком радостное зрелище. Впрочем, места, где есть река, никогда не выглядят совершенно безнадежными. Я снова укрыл Лал парусом и нагишом захромал к воде добыть чего-нибудь на завтрак.

Рыба в горных реках обычно держится подальше от берегов, потому что ее ловят шекнаты. Чтобы ее подманить, надо пощелкать пальцами под водой — если делать это правильно, щелкая вторым, а не первым суставом, рыба почему-то не может устоять и приплывает. А когда она подплывет, надо очень осторожно пощекотать ей брюшко, и тогда рыбы буквально засыпают у тебя в ладони. Этому трюку меня научила сестра.

На то, чтобы подманить двух рыб приличного размера, ушло немало времени — впрочем, нельзя сказать, чтобы я потратил его зря. Когда я вернулся, Лал все еще спала. Свой нож я потерял, а потому воспользовался ее мечом, чтобы выпотрошить рыбу, и пожарил ее на палочках над маленьким костерком из плавника, бледным и прозрачным, как свеже-

вылупившийся птенчик. Лал не сразу проснулась даже от запаха еды, но когда я уже начал всерьез беспокоиться, она открыла глаза и пробормотала: «Желтый перец я потеряла. Извини». Она не смогла даже сесть, не то что к костру подойти. Я накормил ее, хотя съела она очень мало, и мне несколько раз приходилось будить ее, когда она начинала клевать носом. Потом я ее снова напоил. Когда Лал уснула, я сгреб угли в кучку, еще раз позаимствовал ее меч и вернулся на берег. В десятке футов от того места, где была привязана наша лодка, я приметил несколько валунов, покрытых грязно-серыми пятнами лишайника, так что казалось, будто валуны гниют изнутри. Этот лишайник на севере называется фасска, а в восточных холмах, кажется, — крин. Он растет только высоко в горах, и его всегда бывает довольно мало. Когда я соскреб то, что росло на валунах, вся моя добыча легко могла бы уместиться в горсти. Но мять фасску нельзя, иначе вся целебная сила пропадет. Если она воняет не слишком противно, значит, уже не годится.

Я бережно отнёс фасску к костерку, завернул в рубашку — она уже начала просыхать, потому что солнце наконец поднялось над вершинами, — и принялся искать, в чем бы вскипятить воду. Вся наша посуда осталась в мешках, а мешки были неизвестно где. В конце концов мне повезло: я нашел половинку скорлупы яйца таракки, величиной в две моих горсти. Я устроил причудливое сооружение из палочек, чтобы установить скорлупу над огнем, потом наполнил скорлупу водой, молясь, чтобы она вскипела как следует на такой высоте. Лал пару раз просыпалась и смотрела на меня. Глаза у нее были расширенные и блестели нездоровым блеском.

Возясь с костерком, я все время разговаривал с ней, не обращая внимания, открыты ли у нее глаза.

— Интересно, он когда-нибудь пичкал тебя этим отвратным варевом? На вкус оно как грязь под ногтями, но оно очень полезно, когда дух пострадал не менее тела, и нужно исцелить то и другое одновременно, иначе вообще не выздоровеешь. Он напоил меня им в тот день, когда я к нему явился. Просто чудо, что я не сбежал сразу, как только встал на ноги. И потом еще раз — видела тот шрам поперек спины? Горный тарг успел наполовину перекусить меня и взялся было за вторую половину, когда мне удалось вогнать в него

стрелу. Но к тому времени я уже успел наораться, помолиться всем богам, обмочиться и обделаться от страха, так что просто починить меня было бы бесполезно. Если бы он не влил мне в глотку такое количество фасски, что можно было бы затопить весь рынок в Коркоруа, я бы и теперь лежал у него в хибарке и пялился в потолок. Эта мерзость — замечательное лекарство, если только у тебя хватит духу ее проглотить.

Лал ничего не ответила. Вода в скорлупе наконец закипела, я вывалил в нее лишайник и накрыл большим листом, чтобы дать настояться. Фасску нужно долго-долго кипятить — по крайней мере, до тех пор, пока не почувствуешь, что уже не можешь терпеть этой вонищи. Потом лучше всего добавить туда пару сушеных листьев кирричана, пока варево остывает — они каким-то образом делают это пойло чуточку более сносным, хотя на вид оно все равно остается белесым, как след слизняка. Но листьев кирричана у нас не было — как и всего остального, если не считать рыбы. Так что ничего не поделаешь, придется Лал пить свое лекарство как есть.

К моему удивлению — и страху, — она совсем не сопротивлялась, когда я усадил ее и принялся вливать это пойло ей в рот. Я ожидал, что она его выплюнет — в сторону, если мне повезет. Я ожидал, что она будет рычать, ругаться и пытаться пнуть меня в подбородок своей твердой, как рог, ножкой. А Лал послушно, без возражений проглотила фасску — только слегка закашлялась. Если б она не скривила губы, можно было бы подумать, что она пьет вино, чай или красный эль. Допив, она снова закрыла глаза, молча легла на место и до конца дня больше ни разу не шевельнулась.

Я вымыл ее, искупался сам, немного поспал, снова половил рыбу. Остальное время я потратил на то, чтобы как следует изучить единственное наше достояние. Я никогда раньше не видел такой лодки. На самом деле она была больше похожа на воздушного змея, чем на лодку. В длину в ней было не больше двенадцати футов, а в ширину она в самом широком месте была меньше моего роста. Она состояла из круглых и плоских палочек и дощечек, подогнанных друг к другу так плотно, что швов было почти не видно. Часть палочек — мачта, к примеру, — была сделана из какого-то полого тростника, а многие другие, должно быть, убирались друг в друга — иначе бы все это не влезло в дорожный мешок. Сами

дощечки были куда легче любой древесины, которую мне приходилось видеть. Паруса были как шелковые, но не из шелка. Лодку легко можно было поднять с воды вдвоем, но она явно была рассчитана только на одного путешественника. Я не мог себе представить, как Лал ухитрилась собрать ее в одиночку и как мы поплывем дальше — кстати, далеко ли нам еще плыть? — на этом хрупком суденышке. Пока я размышлял об этом, солнце снова скрылось за горами, и легкий ветерок усилился. В горах ночь наступает рано.

Я уже говорил, что Лал целый день лежала не двигаясь, если только я ее не трогал, что до фасски, что после. Когда я снова улегся рядом с ней, она была в прежнем состоянии: сердце бьется ровно, дыхание тоже достаточно ровное, но кожа заметно холоднее, чем раньше. Отчетливый пульс был обманчив: биение жизни в ней постепенно замедлялось, и я с этим ничего поделать не мог, раз уж снадобье не помогло. Кожа Лал была на ощупь сухой, как крылышки насекомого, и издавала слабый сладковатый аромат, который встревожил меня еще больше, чем холод. Наверное, так могли бы пахнуть чьи-то воспоминания детства или сны об ином мире. Но не Лал, Лал-Морячка, Лал-Одиночка.

Но ночью, где-то после полуночи, она принялась беспокойно крутиться, разбудив меня, и что-то бормотать на языке тех бесконечных песен, которые она постоянно напевала себе под нос. Голос ее становился все громче. Поначалу он звучал испуганно, потом все более гневно. Она вырывалась у меня из рук, глядя на меня широко раскрытыми, невидящими глазами. Я удерживал ее, крепко, но бережно, боясь, что, если я ее отпущу, она может покалечить себя либо меня. Несмотря на это, она успела несколько раз оцарапать мне лицо и до крови искусать себе губы, зовя кого-то, чьего имени я не знал. Но это все ничего. Хуже всего было то, что этот ее странный новый запах сделался таким же невыносимо сладким, каким невыносимо мерзким был запах фасски.

Потом она начала потеть. В какой-то момент холодная сухая лихорадка кончилась, и Лал начала буквально истекать нормальным человеческим потом, задыхаясь и плача, как новорожденная, откинув голову назад, словно купалась под водопадом. Снадобье сделало-таки свое дело — к ней снова вернулся ее собственный запах, пряный и терпкий, почти

горький, ее собственный. И сама Лал тоже вернулась. Она выскользнула из моих влажных рук, уселась и заявила дрожащим голосом:

— Мой меч воняет рыбьими потрохами!

Я положил его рядом с ней, как любимую игрушку, на случай, если она очнется. Теперь я уставился на нее. Она понюхала меч еще раз, скривилась и попробовала лезвие пальцем. Тут же обернулась ко мне — голая, дрожащая, с трудом сидевшая прямо — и гневно осведомилась:

— Что ты с ним делал? Ты знаешь, что ты его испортил к такой-то матери? Проклятье, Соукьян, ты испортил мой меч!

Я отобрал у нее меч — силы уже возвращались к ней, судя по тому, как она воспротивилась, — и закутал ее парусом, чтобы не мерзла. Она отбивалась, ругалась, но я все-таки уложил ее, уселся рядом и сказал:

— Мне нужно было что-то острое. А кроме твоего меча, ничего не осталось.

— Ах, острое? Острое? Да ты знаешь, чего мне стоило сделать этот клинок по-настоящему острым? Теперь мне вообще не удастся заточить его как следует! Да как ты мог! Что ты им делал, дрова колол?

Лал была еще очень слаба — теперь, когда она снова легла, она с трудом могла поднять голову, чтобы лаяться на меня, и время от времени голос у нее пресекался, — но такой сердитой я ее еще никогда не видел.

— Даже Маринеша, даже Шадри, и тот лучше соображает!

— Шадри и Маринеше не приходилось лечить и кормить тебя, — возразил я. — А мне пришлось, и я воспользовался тем, что было под рукой. Если бы ты не бросила все наши вещи...

— Мне надо было убить человека, собрать лодку и спасти твою глупую, бесполезную жизнь! Этот дурацкий плот должен был вот-вот загореться, потонуть — не знаю что! Я вообще не знала, жив ты или мертв, и не собиралась тратить время на то, чтобы укладывать в лодку эти проклятые мешки! Он все говорил: «Горит, горит!»

Голос ее не пресекся, и слез у нее на глазах не было, но я почувствовал себя так же странно и неуверенно, как тогда, когда она назвала меня моим истинным именем. Она так сердилась на меня и выглядела одиннадцатилетней девочкой.

Я рассказал ей о том, что произошло с тех пор, как она

вытащила меня из реки. Лал слушала очень тихо, не сводя глаз с моего лица. Она перестала потеть — хотя к этому времени даже ее волосы вымокли и на маленьких ушах висели капли. Я впервые осознал, как она похудела всего за двое суток. Когда я договорил, она еще некоторое время смотрела на меня, потом покачала головой и тихо перевела дыхание.

— Ну ладно, — сказала она. — Спасибо.

— Ты ничего из этого не помнишь? — спросил я. — Даже фасску не помнишь? Я-то думал, что человек, которого поили фасской, не забудет этого никогда.

— Ничего не помню, — коротко ответила Лал. — И мне это не нравится.

Она снова помолчала, потом улыбнулась. Теперь ей можно было дать лет пятнадцать.

— Не знаю, чем там ты меня напоил, но это была хорошая штука. Не могу сказать, спасла ли она мне жизнь, но она меня вытащила из... — она запнулась, — из такого места, откуда меня не достала бы даже та огородная песенка. Спасибо, Соукьян.

— И тебе спасибо, Лалхамсин-хамсолал, — ответил я. — А теперь спи.

Я обтер ее своей рубашкой. Она уснула прежде, чем я закончил ее вытирать — по крайней мере, казалась уснувшей. Но когда я снова улегся рядом и обнял ее за талию, как будто мы были старинными любовниками, ветеранами многих любовных битв, она сонно пробормотала:

— Завтра отправимся вниз по реке.

— Ни в коем случае, — сказал я ей на ухо. — Тебе и до лодки-то не дойти.

Ответом мне был храп, тоненький, как кружево. Я немного полежал, прислушиваясь к шуму реки и глядя, как звезды скрываются за плечом Лал, а потом тоже заснул.

Перед завтраком мы побеседовали. Она всерьез собиралась немедленно продолжить путешествие. Мне едва не пришлось бороться с ней, чтобы заставить хотя бы выслушать мои возражения. Кстати, бороться с ней было бы накладно — никогда не встречал человека — ни мужчины, ни женщины, — который настолько быстро оправлялся бы от увечий. Одно ребро сломано, над вторым сильно повреждены мышцы, левая рука почти не работает, до правого бедра

лучше не дотрагиваться, и вообще все тело — сплошной синяк; и, несмотря на все это, она вскочила на ноги раньше меня и отправилась осматривать лодку и пробовать заточить свой меч о разные камни. Об этом мы тоже побеседовали.

В конце концов мы пришли к соглашению — чему, вероятно, способствовал небольшой обморок Лал. Мы отправимся в путь завтра с утра, невзирая на ветер и непогоду, и вдобавок она по-прежнему будет носить повязку на ребрах. А я взамен пообещал заботиться о ней не больше, чем во время предыдущего путешествия, и никогда, ни-ког-да не спрашивать, как она себя чувствует. Договорившись на этот счет, мы весь день ловили рыбу, дрыхли и болтали, с легкой грустью обсуждая третьего убийцу, который так унизил нас обоих, и строя бесполезные планы нападения на дом Аршадина.

Я хочу, чтобы вы поняли. У нас с Лал на двоих было куда больше опыта странных битв в странных местах, чем у большинства людей. Но мы не питали ни малейших иллюзий насчет того, что нам удастся одолеть волшебника, достаточно могущественного, чтобы превратить нашего учителя в отчаявшегося беглеца. Как я и говорил Россету, мы могли в лучшем случае отвлечь его, и не больше. Надеяться оставалось лишь на то, что мой Человек, Который Смеется, сумеет воспользоваться передышкой, которую мы ему предоставим. Если, конечно, Аршадин соизволит обратить внимание на наше нападение. Наш опыт, в том числе, позволял чувствовать, что мы привлекли к себе внимание такой персоны, как волшебник. Так вот, я совершенно не чувствовал, чтобы за нами кто-то следил, пока мы купались в реке, сохли на солнышке и обсуждали грядущие дни. Это показывает, чего стоит опыт.

— Нет, — говорил я, — я, конечно, никакой не моряк, и все же не стал бы я доверяться лодке, которая умещается в дорожном мешке. Даже я понимаю, что это глупо.

— Она прекрасна! — говорила Лал. — Великолепное изобретение. Жаль, что ты так плохо разбираешься в лодках — да и в своих прежних товарищах по монастырю, если уж на то пошло. Я была просто зачарована, когда пыталась разобраться, как она устроена. Я почти забыла, что ранена и что ты в опасности. Во всяком случае, могу поручиться, что она

под нами не потонет. По-моему, она вообще не тонет. Изумительно!

Она так радовалась этой несчастной лодке, как будто мы уже завершили свое дело и уничтожили Аршадина. Я одновременно почувствовал себя виноватым оттого, что мне приходится напоминать Лал о суровой реальности, и рассердился оттого, что почувствовал себя виноватым.

— Да, — сказал я, — эта изумительная лодка нам очень кстати. Хорошо бы она еще умела стрелять из лука, взбираться на стены, отгонять горных таргов, нишори и магов, шить одежду, добывать дичь и врачевать раны в придачу. Потому что все наши припасы и оружие остались выше по реке, под охраной покойника. Насколько я вижу, все, на что нам остается надеяться, — это что Аршадин увидит нас и лопнет со смеху. Говорят, бывает и такое.

Я ожидал, что Лал снова набросится на меня за такие разговоры, но на этот раз она осталась спокойна. Похоже, мои слова ее даже немного позабавили.

— Все, что нам требуется, это вывести его из себя, — ответила она. — А если нам с тобой не удастся натворить дел голыми руками, тогда нам останется только подать в отставку и наняться помощниками в «Серп и тесак» к старому Каршу. А теперь помоги-ка мне спустить парус — я хочу попробовать установить его чуточку иначе.

За работой Лал принялась напевать себе под нос какую-то очередную немелодичную, монотонную песню. Я был почти счастлив услышать, что она снова поет.

Ночью, когда я думал, что Лал уже спит, она внезапно повернулась и прижалась ко мне, обняв меня так крепко, как позволяла здоровая рука. Даже в тот вечер, в трактире, она меня так не обнимала. Я неуклюже погладил ее по голове и поплотнее укрыл парусом.

— В чем дело? — спросил я. — Тебе плохо? — Потом вспомнил, что обещал не задавать подобных вопросов, и сказал: — Я вовсе не хотел встревожить тебя насчет наших возможностей. Разберемся с Аршадином, как получится.

Но это тоже звучало глупо и снисходительно — я даже договаривать не стал. Лал не ответила — только еще мгновение обнимала меня, а потом резко отвернулась и тут же заснула. Я еще долго ощущал прикосновение ее руки.

Ну, по крайней мере, утром нам не пришлось долго возиться с погрузкой. Грузить нам было нечего, кроме самих себя, затупившегося меча и рыбы, которую Лал успела накоптить за время стоянки. Теперь она подняла парус, пока я отталкивал лодку от берега и поспешно забирался на борт, цепляясь за мачту и здоровую ногу Лал. По пояс я в воду заходить еще согласен, но никак не глубже.

Как вы легко можете догадаться, я так и не привык к этой утлой, неверной лодчонке за те три дня, которые я на ней провел. Я боялся вставать на ноги, а когда все же приходилось встать, судорожно цеплялся за мачту. С места на место я предпочитал перемещаться, ползая на заднице, как младенец. Когда мы причаливали и высаживались на берег, во сне меня преследовали кошмары, в которых я неизменно тонул. Мало того, что копченая рыба была сухой и безвкусной, меня еще начало от нее пучить, так что когда я переставал бояться, я начинал чувствовать себя неловко. Я был зол и постоянно голоден. Я не привык быть бесполезным грузом, и это бесило меня не меньше, чем необходимость плыть на лодке. И все же я вспоминаю эти три дня с удивительной нежностью.

Идиллия? Это вряд ли. За все это время я обнимал Лал только затем, чтобы не свалиться в Сусати или чтобы заново повязать выстиранные бинты. Мы были одни, но именно поэтому приходилось держаться скромно. Мы старались предоставить друг другу наибольшее уединение, какого можно достичь на куске плавучего дерева длиной в двенадцать футов: отворачивались, не дожидаясь просьб, и вообще как-то старались не мешать друг другу. Помнится, один день прошел почти в полном молчании, если не считать того момента, когда наступил мой черед сменить Лал у руля. Эта смена караула, кстати, сама по себе была изумительна и неизменно повергала меня в трепет: корма была слишком узка, чтобы разойтись на ней без риска свалиться в воду. В конце концов Лал стала просто спрыгивать в воду, чтобы дать мне пройти, а потом непринужденно забиралась обратно или хваталась за веревку и некоторое время плыла за лодкой, проверяя, как чувствуют себя ее ушибы в воде. Так вот, не считая нескольких слов, которыми мы обменялись тогда, единственными звуками вокруг были пение птиц, да еще иногда шум ветра, от которого шла рябь по воде. Наша

лодка, созданная для тишины, скользила вниз по течению, точно тень этих коротких шквалов.

Но в ту же ночь Лал проснулась с криком, задыхаясь от одного из своих кошмаров, которые не тревожили ее с тех пор, как мы выехали из «Серпа и тесака». Успокоилась она очень быстро, но засыпать не хотела, так что мы проболтали почти до рассвета, лежа бок о бок рядом с маленьким костерком, которого нельзя было заметить издалека — но зато и тепла он почти не давал.

О чем же говорили мы тогда в темноте, двое искусных, покрытых шрамами и, несомненно, стареющих воителей? В основном о прошлом — и по большей части о своем детстве. У Лал было два брата, старший и младший, которых она не видела с тех пор, как ее похитили из дому в возрасте двенадцати лет. У меня была старшая сестра, которую я очень любил, больше, чем кого бы то ни было. Она умерла из-за того, что мужчина, которого любила она, оказался человеком глупым и небрежным и не любил никого. Это был первый человек, которого я убил в своей жизни. Мне тогда тоже исполнилось двенадцать.

Лал рассказывала о друзьях, товарищах детских игр — она прекрасно помнила их всех, вплоть до манеры одеваться и игр, которые они предпочитали. У меня не было никого, кроме сестры, но зато я был знаком с одним дровосеком. Ему, наверно, было около сорока: крестьянин с юга, необразованный, суеверный, исключительно честный и живший исключительно своими закаменевшими страхами и обычаями. Но когда нам случалось встретиться в лесу, он всегда делился со мной своими обедами и рассказывал мне длинные-предлинные истории о зверях и деревьях; и когда семья человека, которого я убил, охотилась за мной и пришла следом за мной к его двери, он приютил меня, спрятал и солгал им, хотя если бы они узнали об этом, они спалили бы нас обоих в его хижине. На следующий день я сбежал, чтобы не подвергать дровосека опасности, и никогда больше его не видел. Но каждое утро, просыпаясь, я вспоминаю его имя.

На реке плескались леелтисы, кормящиеся при луне. Это блестящие черные рыбы с широкими и тонкими, как паутина, передними плавниками. Они шлепают ими по воде,

чтобы вспугнуть насекомых. Временами они ловят даже птенцов, слетевших с гнезда. Лал попросила:

— Расскажи про своих родителей.

— Они продали мою сестру, — ответил я. Лал обвила мои плечи рукой. Я помолчал, потом добавил: — Я буду их ненавидеть до гроба. Тебе это, наверно, кажется ужасным...

Лал долго ничего не отвечала, но руки не убрала. Наконец она произнесла:

— Я скажу тебе одну вещь, о которой никогда не говорила вслух, даже себе самой. Когда меня продали и увезли, я была ужасно напугана, буквально до безумия. Единственное, за что я могла уцепиться, это была неколебимая уверенность, что мои родители придут и найдут меня; что пока все это... все это со мной творится, мои замечательные мамочка и папочка вот-вот будут здесь, что они ищут, ищут и не успокоятся, пока я не вернусь домой и не буду отомщена. Быть может, эта вера и помогла мне сохранить рассудок. По крайней мере, я всегда так думала...

Последние слова я еле расслышал.

— Но они тебя так и не нашли.

— Так и не нашли, — прошептала Лал, уткнувшись мне в бок. — Так и не нашли, будь они прокляты...

Я коснулся губами ее век — они были горячие-горячие.

— Они искали тебя все это время, — сказал я. — Они разыскивали тебя повсюду. Я знаю.

— Они могли бы постараться и найти меня!

Она отвернулась и вцепилась зубами в парус, чтобы заглушить долгий вой, теребя ткань, точно зверь, попавший в капкан и пытающийся отгрызть себе лапу. Когда я поцеловал ее, она меня действительно укусила, и довольно сильно, так что я ощутил на ее губах вкус пыли, слез и моей крови — и еще наших пяти ночей, проведенных вдвоем под этим парусом. Но любовью мы занимались очень осторожно. Иначе и нельзя было: тело Лал не выдержало бы моего веса, и ее руки и ноги не могли сжимать меня так, как ей хотелось. Поэтому мы долго-долго шептались и ласкали друг друга, а когда все кончилось, она сказала:

— Завтра вода будет плохая.

И уснула, лежа на мне, уткнувшись носом мне в левое ухо. Так мы и спали.

На следующее утро, уже довольно поздно, в трех милях ниже по течению действительно началась плохая вода. Поначалу я заметил ветер: он становился все сильнее и резче и дул непрерывно, а не налетал играючи, как раньше. Лал приходилось тратить меньше усилий на то, чтобы его поймать, и больше на то, чтобы управиться с лодкой. Ветер даже немного пах морем. Со вчерашнего дня Сусати постепенно сужалась, ущелье становилось все глубже и горы с обеих сторон смыкались над нами. Теперь для того, чтобы увидеть небо, приходилось задирать голову. Скал впереди пока еще не было, и пены тоже, кроме как в тени берега; но лодка начала зарываться носом, и когда я ухватился за мачту, она дрожала, как струна. Я спросил у Лал:

— Откуда ты знала?

— По рыбе, — ответила Лал. Я недоумевающе уставился на нее. — По рыбе, которую мы ели вчера вечером. Рыба, которая живет в бурной воде, отличается на вкус от той, что мы ели раньше. Не знаю, почему, но это так.

Я пялился на нее, пока она не заулыбалась:

— Да нет, Соукьян, это неправда. На самом деле мне просто было очень хорошо с тобой сегодня ночью. Я редко бываю настолько счастлива и не хочу привыкать к этому, потому что сразу вслед за этим непременно начинаются неприятности. Так что эти мои слова насчет реки были сказаны наудачу. Понимаешь?

— Я тоже был счастлив, — ответил я. Мне еще многое хотелось добавить, но как раз в тот миг нос лодки взлетел вверх, вода впереди куда-то исчезла, и сзади нас накрыло волной, так что нос лодки провалился вниз. Я распластался на дне и зажмурился.

— А-а! — сказала Лал. — Вот теперь становится интересно.

Мне показалось, что она совершенно счастлива.

Да, интересно стало, причем сразу же. Наша лодчонка непрерывно раскачивалась и ныряла. Пока я лежал, зажмурившись, мне казалось, что мы летим одновременно во все стороны, безо всякого управления. Когда мне удавалось оглядеться, я неизменно обнаруживал, что мы каким-то образом продолжаем двигаться вниз по течению, почти так же прямо, как и раньше, только куда быстрее, и что волны на самом деле куда меньше, чем кажется, когда они налетают на

лодку. Но теперь они все были белые, белые, как ледяные цветы, как внутренности сангарти, разорванного крупным шекнатом. И еще появились скалы: черные, зазубренные, и там, и сям, и повсюду, пролетающие мимо так близко, что я отчетливо видел зеленые и рыжие водоросли на их боках, сонно раскачивающиеся в бешено мчащейся воде. Мне казалось, что мы бесконечно падаем в чью-то длинную, пенящуюся глотку, и я старался не думать о брюхе, ожидающем в конце пути.

— Река старая, — крикнула мне один раз Лал, — и полна подвохов! Глубокое старое русло, и уйма мелких боковых течений. Нам еще повезло, что сейчас не половодье!

Да, все эти истории о Лал-Морячке — чистая правда. Она сидела, как всегда, скрестив ноги, мокрая от колючих брызг пены; ее плечи и шея были так разбиты, что смотреть она могла только вперед, и при этом она вела нашу лодку сквозь это буйство так же легко, как иглу сквозь складки шелка. Временами она сидела совершенно спокойно, не трогая ни руля, ни веревок; а иногда она чуть откидывалась назад или легонько поводила рукой, точно поглаживая собаку, и лодка послушно виляла в сторону и проходила между двух зеленогубых камней: лакомый кусочек снова ускользнул из зубов реки. Часто нос лодки полностью заливало водой, и я нырял вместе с ним, вверх-вниз, вниз-вверх, словно жертвенные лоскутки, какие лодочники на западе привязывают к лопастям весел. И все же должен вам признаться, что я, впервые в жизни, сам удивлялся собственному возбуждению и что с тех пор я стал лучше понимать людей, которым нравится плавать по плохой воде. Лал я этого никогда не говорил.

Несмотря на то, что мой Человек, Который Смеется, предупреждал нас о том, что дом Аршадина — вовсе не замок, а скорее похож на пастушью хижину, мы едва его не прозевали. На самом деле единственная причина, почему мы его заметили, — это потому, что оба мы увидели дхаррисс, как видела их прежде нас Лукасса. Дхариссы кружили возле окон домика с тростниковой крышей, и было их не меньше десятка, хотя достаточно одной-единственной дхариссе появиться в окрестностях какой-нибудь деревни впервые за двадцать лет, чтобы крестьяне бросили дома, поля и все хозяйство еще до заката. Дхариссы — это маленькие голубовато-серые птицы,

кормятся они рыбой и на вид совсем неприметные, если не считать темно-синей полоски поперек груди. Не знаю, почему, несмотря на то что встречаются они очень редко, во всех землях, где мне случалось бывать, они считаются вестниками злосчастья, беды и всяких ужасов. Но это так. И именно они теснились на подоконниках дома Аршадина, отпихивая друг друга. Я почувствовал, как лицо у меня похолодело. Когда я обернулся к Лал, то увидел, что она делает в воздухе левой рукой знак — как я узнал потом, оберег от зла. Я бы сделал то же самое.

Лал отвела руль до отказа влево и крикнула:

— Держи его там!

Лодка развернулась против ветра и течения и двинулась к берегу. Я висел на руле, а Лал тем временем боролась с парусом, как вдруг внезапно парус резко, неестественно выгнулся, вырвав веревки у нее из рук. Гик развернулся, ударил меня в плечо, когда я пытался пригнуться, и сбросил за борт. Я услышал, как вскрикнула Лал, когда я упал, но ее голос потонул в холодных криках дхарисс, которые кружили над нами, хлопая крыльями. Мгновением позже лодка перевернулась — мачта упала возле моей головы еще до того, как я начал тонуть, и полые трубки, которые были так искусно подогнаны друг к другу, рассыпались и полетели в разные стороны. Бедная лодчонка! Клянусь, я помню, как подумал это.

А еще я подумал: «На этот раз Лал тебя не спасти». Нечего было и надеяться, что она отыщет меня в этой кипящей глотке — хорошо бы у нее хватило сил спастись самой! Река швыряла меня от скалы к скале. Я пытался зацепиться за каждую по очереди, но у меня ничего не выходило: водоросли скользкие, течение сильное. Я просил — молиться я никогда не молюсь, — я просил лишь о том, чтобы утонуть прежде, чем меня размолотит о скалы. Я пытался произнести слова, которые меня учили произносить перед смертью, но река забивала мне их обратно в глотку, и я снова погружался под воду. Через некоторое время даже боль исчезла. Ощущение было такое, словно я засыпаю, медленно ухожу от себя к покою.

А потом мои ноги коснулись дна.

Если вы хотите, чтобы я рассказывал дальше, посидите минутку молча и постарайтесь представить себе, что это такое, когда твое тело говорит тебе «Ты жив!», а ты уверен,

что оно врет. Я вам говорю: я стоял на твердой земле, смотрел вниз, видел, как вода спадает, обнажая мою грудь, пояс, колени, — и при этом знал, знал, что я мертв, без вопросов. В монастыре нам строго-настрого запрещалось рассуждать о загробной жизни, и за исполнением запрета тщательно следили, но когда я обернулся и увидел в сотне ярдов выше по течению Лал, стоящую на растущем островке из щебня и тины, и нас не разделяло ничего, кроме полоски воды, которую мог бы перейти годовалый младенец, — ну что я мог подумать, как не «значит, вот как это бывает: ты уходишь вместе с друзьями в мир, который меняется с каждым шагом!». Может, там оно действительно так и будет. Я, как и вы, надеюсь, что никогда этого не узнаю.

Нет, река не расступилась, как говорится в старых сказках. Нет, она скорее отступила, точно пес, которого отругали за то, что он притащил в дом свою окровавленную, дергающуюся добычу, отступила, бросив нас и прижавшись к противоположному берегу, делая вид, что мы ее вообще не интересуем. Нет, послушайте! Я прекрасно знаю, что реки так себя не ведут и что ни один волшебник, о котором вы когда-либо слышали, не мог бы заставить реку выкинуть такой фокус. Да, мужик, я с тобой согласен — ты даже не подозреваешь, насколько я с тобой согласен. Я просто рассказываю все как было.

Ну так вот. Я подошел к Лал, увязая в иле, и мы встали рядом, глядя на противоположный берег. Насколько нам было видно, река занимала не больше половины своего прежнего русла. По-моему, она даже не текла: на текучей воде играют блики, а мы с Лал видели безмолвную, безжизненную зеленовато-бурую массу, которая с таким же успехом могла быть землей. Я не испугался, когда думал, что утону, а вот теперь мне стало страшно — я был просто в ужасе, потому что это было *неправильно*. Мы с Лал стояли и смотрели, промокшие, дрожащие, измученные, по щиколотку в грязи, смешанной со щебнем, и держались за руки, как дети, не замечая этого. Мы так и не посмели обернуться к глинобитной хижине, которая теперь возвышалась позади нас, грозная, точно замок. Даже когда раздался хохот.

ЛАЛ

Смех далеко не всегда означает для меня то же самое, что для других людей. Мне слишком часто доводилось слышать, как хохочут безумцы: мужчины и женщины тоже, — которые были безумны, но не настолько, чтобы не сознавать, что в их власти сделать все, что они пожелают. Я слышала их — и все-таки жива. Я даже слышала полуденный хохот красного сьярика, и все равно жива, а этим не многие могут похвастаться. Но этот хохот, разносившийся над голыми камнями, был хуже всего. В нем не было жизни, ни злой, ни доброй: ни приличествующего смеху хаоса, ни радостной жестокости — в нем не было улыбки, несмотря на то что хохот был торжествующий. Я могу забыть, как выглядит остановившаяся река, но жуткое ничтожество этого смеха я запомню навсегда.

— Обернитесь, — сказал он у нас за спиной. — Подойдите ко мне.

Мы не сделали ни того, ни другого. Он снова расхохотался. Сказал:

— Сразу видно, чьи вы ученики. Ну, как хотите, — и отпустил реку. Мы увидели, как она внезапно ожила, услышали ее оглушительный торжествующий рев, когда она вырвалась на волю и ринулась на нас, мчась быстрее любого зверя. Любого, кроме нас: мы, мокрые и полуголые, вскарабкались на берег так быстро, что я даже налетела на Аршадина и упала к его ногам. Ньятенери с разгона проскочил мимо, но тут же развернулся, чтобы помочь мне встать. Вот как мы впервые встретились с магом Аршадином.

Он был повыше меня, пониже Ньятенери: плотно сбитый человек в простой холщовой тунике, с бледным, голым лицом с широкой челюстью. Я сказала «голым» не потому, что у него не было ни бороды, ни усов, а потому, что... как бы это объяснить? Да, у него были седеющие волосы, да, у него были складки возле рта, и морщинки вокруг глаз, и даже крошечный шрам под подбородком — но при этом его лицо было совершенно лишено выражения. Жизнь приносит нам морщины, мешки под глазами и все остальное, всем — даже волшебникам, которые живут дольше прочих и всегда выглядят моложе, чем есть. Но только ошибки, которые мы совершаем в жизни, придают каждому лицу свое собствен-

ное, особое выражение. А лицо Аршадина было таким чистым, что казалось нарисованным, несмотря на все морщины. Мне пару раз довелось видеть младенцев, родившихся слишком рано, чтобы прожить в этом мире дольше нескольких минут. В них была ледяная прозрачность и ужасающая мягкость. Вот и Аршадин был такой же.

— Добро пожаловать, — сказал он нам теперь. — Добро пожаловать, Лалхамсин-хамсолал и Соукьян, называющий себя Ньятенери.

Глаза у него были странные, мутные, молочно-голубые. Они, казалось, смотрели в никуда. И голос у него был не мужской и не женский.

Моя трость с мечом каким-то чудом осталась у меня за поясом. Острый или тупой, мой меч еще сумеет пронзить брюхо волшебнику, даже если волшебник очень толстый. Мне стыдно рассказывать о том, что случилось дальше. Уж кому, как не мне, следовало бы знать, что если волшебник на тебя не смотрит, это не значит, что он не следит. Но в присутствии этого человека голова у меня наполнилась каким-то дымом, и ленивые клубы заслонили от меня все мои дорого приобретенные умения и знания. Я сделала выпад — довольно удачно для хромой полукалеки, — увидела, словно со стороны, как острие вошло ему в живот, и еще успела выдернуть меч, чтобы ударить в грудь, прежде чем он рухнет в мою сторону. Только он не рухнул. И из раны вслед за моим клинком не вырвалось струи крови. Он не упал. Раны не было. Крови не было. Ни капли, даже на лезвии — только струйка чего-то вроде светящегося дыма, да и та тут же рассеялась. Тут он не рассмеялся — только взглянул на меня, так, словно я перебила его, когда он говорил.

— Прекрати, — произнес он раздраженным, но по-прежнему безжизненным тоном. — Я следил за каждым шагом вашего путешествия и влиял на развитие событий. Я могу повелевать реками и дхариссами — так неужто ты думаешь, что меня возьмет твой игрушечный меч или коверный гвоздь у тебя в сапоге?

Он сжал левую руку в кулак, потом снова раскрыл ладонь — и Ньятенери, который тем временем успел незаметно перенести вес на одну ногу, готовясь нанести удар с разворо-

та, сложился пополам, и лицо его побелело. Может, он и вскрикнул — но я этого не слышала за шумом реки.

Аршадин на него даже не взглянул. Он повторил свой жест, и все мои мышцы обратились в лед, так что я застыла на месте. Он сказал:

— Каковы бы ни были ваши планы, они потерпели крах. Вы не можете причинить мне вреда, не можете помочь своему учителю. Вам нужны доказательства? Ну, так.

Он очертил на земле круг носком башмака, плюнул в него и закрыл глаза. В кругу затрепетал тяжелый серый туман, и в тумане стоял Мой Друг. Это не был бесплотный образ, какой он послал мне на Северных пустошах: где бы он ни был на самом деле вместе с этим серым туманом, это был именно он сам, сорванный с постели в «Серпе и тесаке». Он стоял и растерянно моргал, глядя на нас троих. Видно было, что он увидел и узнал нас. Он по-прежнему был в своей ночной рубашке, но, несмотря на это, увидев его, я сразу же почувствовала себя в безопасности, как в то утро на причале в Ламеддине, когда кто-то внезапно поднял вонючую корзину из-под рыбы, под которой я пряталась, и я увидела его. Он был здесь.

— А-а, — сказал он, рассеянно озираясь. — Это получилось немного неожиданно даже для тебя, Аршадин.

Он не потрудился поздороваться со мной и с Ньятенери. С неподдельным интересом посмотрел наверх, на хижину с тростниковой кровлей.

— Надо сказать, ты неплохо отстроился. Ни за что не подумаешь, что, когда я уходил отсюда в прошлый раз, она лежала в развалинах.

— Ты разрушил мой дом, — ответил неживой голос Аршадина. — Я этого не забыл.

— Ты, должно быть, забыл, что когда я попросил разрешения удалиться, из стен вырвалось пламя и в полу разверзлись клыкастые ямы. Это было мальчишество и хулиганство и вдобавок не пошло на пользу резьбе на стенах. Я тогда так и сказал.

— Что мне делать с твоими слугами? — спросил Аршадин. — Сильно ли ты ими дорожишь?

— Кто? Я? Кем? Ими? — Мой Друг недоумевающе уставился на него, потом запрокинул голову и расхохотался своим неповторимым смехом — так, будто никто на свете

никогда не издавал столь удивительного звука. Даже мы не смогли удержаться от смеха, несмотря на то что нам было очень плохо и мы чувствовали себя униженными оттого, что предстали перед ним такими беспомощными. Настолько заразительным был этот смех.

— Сильно ли я ими дорожу? Аршадин, неужели ты вытащил меня сюда лишь затем, чтобы задать этот вопрос? Я тебя сто раз предупреждал: не трать силу на такие пустяки — сила ведь не бесконечна, ты же знаешь. Хватило бы и обычного письма.

Аршадин до сих пор ни разу не взглянул на него прямо.

— Сила тратится не зря. Мощь растет, только когда ее используют. Видимо, и легкомыслие тоже. Итак, я еще раз спрашиваю: что мне делать с этими двоими?

Голос у него был ровный и отстраненный, и даже вопрос прозвучал почти без интонации.

Мой Друг снова коротко хохотнул:

— Что делать? Да что угодно! Мне-то какое дело? Я им говорил, чтобы не связывались с тобой. Я им говорил, чтобы занимались своими бандитами и пиратами, что ты — это такая силища, которой они себе даже вообразить не могут, не говоря уже о том, чтобы побороть. Но они пожелали непременно бросить тебе вызов. Пусть теперь расхлебывают. Я не могу вечно избавлять их от последствий их собственной глупости.

Вам это кажется бессердечным? Ну, а для нас это прозвучало дивной музыкой — это была одежда, пища и дом, все сразу. Он мог сколько угодно дурачить и бранить нас, но ни за что бы нас не бросил — мы полагались на это, как ни на что другое. И мне даже теперь не стыдно, что я полагалась на то, что он нас спасет, — ведь и он полагался на наши ум и заботу, а от нас зависело куда больше, чем его жизнь. Мы склонили головы, изображая отчаяние, и ждали незаметного знака. Аршадин разглядывал нас своими мутными глазами, лишенными зрачков.

— Что до меня, — продолжал Мой Друг, уже более оживленно, — то на твоем месте я как можно скорее отправил бы меня обратно в постель. До меня ты сейчас все равно добраться не можешь, а удерживать меня здесь стоит тебе не-

малых сил. Ты больше не можешь расходовать силы впустую. Право же, Аршадин, это добрый совет!

Он выглядел еще более хрупким, чем когда мы расстались с ним. Я удивлялась, как он ухитряется держаться на ногах. И тем не менее в его глазах проступили следы той прежней морской зелени, которая совсем было исчезла, и, самое главное, в жесткую седую бороду были вплетены две ярко-розовые ленточки. Последний раз я их видела в косах Маринеши.

— Да, — ответил Аршадин, — ты всегда давал мне добрые советы — только добрые советы, и ничего более. Я думаю, для тебя будет поучительным остаться здесь и посмотреть, как я разделаюсь с твоими друзьями — или кем там они тебе приходятся. Это научит тебя многому, что тебе следует знать, — и куда большему, чем научил меня ты.

Его голос остался бесполым и невыразительным, но с последними словами лицо его переменилось. Если прежде это лицо, говорившее о жизни, прожитой впустую, пугало меня, то взгляд, который он обратил наконец на Моего Друга, внушил мне еще больший страх. В его глазах вспыхнула такая неутолимая ярость и горечь утраты, что это тяжелое, лопатообразное лицо сделалось почти утонченным, прозрачным, как горящий дом, готовый обрушиться. Рот Аршадина слегка приоткрылся, губы чуть заметно скривились. До сих пор помню клочок отшелушившейся кожи в уголке рта. Он сказал:

— А потом у нас будет время встретиться с теми, кто ждет.

Мой Друг немного помолчал, потом потер губы рукой — знакомый жест, который мне случалось видеть, когда я бывала близка к победе в споре.

— Ну, как хочешь. Но если ты действительно собираешься сделать с ними то, что я думаю, то я тебя всерьез предупреждаю: ты не сможешь заниматься этим и одновременно удерживать меня здесь. Нет, сил у тебя, наверно, хватит, — о, это «наверно», произнесенное с легким пренебрежением, взбесило бы даже меня, а уж Аршадина! — но тебе пока что недостает точности, которая тут необходима. Точность приходит с опытом. Если бы тебе доставало опыта, мне бы ни за что не удалось ускользнуть от тебя, а если бы ты успел набраться его после, мне не удалось бы оставаться вне пределов

твоей досягаемости. Не глупи, избавься прежде от меня, а уж потом... — он взглянул на нас и пожал плечами. — Я всегда считал, что это всего лишь мерзкий и грязный трюк для невежд — но, с другой стороны, о вкусах не спорят, в этом ты прав. В конце концов, кто я такой, чтобы досаждать тебе советами? Ты совершенно прав. Совершенно прав...

Его голос сделался сонным и протяжным. Мы с Ньятенери мгновенно насторожились: это обычно означало, что он собирается подкинуть очередную, совершенно неразрешимую загадку. Он бубнил, бубнил, гудел, гудел, медленно ворочаясь в сером тумане, точно жирная муха, ползущая по окну. Смертельное внимание Аршадина было полностью поглощено им. Аршадин следил за ним так пристально, что на миг совершенно забыл о нас. Мы внезапно обнаружили, что снова можем двигаться. Это было так неожиданно, что стоять на месте сделалось просто мучительно. До сих пор помню эту непривычную боль, вызванную неподвижностью.

Ньятенери бросился первым — я на миг замешкалась, вынимая меч покалеченной рукой. Раздался яростный вопль Моего Друга: «Дураки! Стойте!» Аршадин обратил к нам расчерченную алыми полосами морду горного тарга. Жутко было видеть эти костяные гребни и огромную пасть, истекающую слюной, все на том же коренастом человеческом теле. Ньятенери, не останавливаясь, нырнул под шейные пластины и обеими руками вцепился в оставшееся человеческим горло, рассчитывая, что я брошусь следом со своим мечом. Я и бросилась — но на меня налетели пронзительно орущие дхариссы. Они били меня крыльями по лицу и по голове, и мне ничего не оставалось, как отмахиваться от них мечом, не в силах помочь Ньятенери, который отчаянно цеплялся за Аршадина, постоянно менявшего облик: из горного тарга — в ревущего шекната, из шекната — в восьмифутового нишору с клювом, как топор, а из нишору — в такое существо, что я предпочла бы покончить жизнь самоубийством, чем увидеть его снова. Ньятенери продолжал держаться, иногда только одной рукой, восседая верхом то между лохматыми лопатками, то между крыльями с острыми, как бритва, перьями — точно звереныш на спине матери. Он хохотал. Его губы чудовищно растянулись, обнажая зубы, как у горного тарга, и глаза выпучились точно так же. Должно быть,

таким его видел Россет, когда он убивал тех двоих в бане. Казалось, все происходит очень медленно, как всегда бывает в подобных случаях. Но, конечно, на самом деле все происходит так быстро, что разум тащится далеко позади, усталый и запыленный. Помню, в какой-то момент я увидела Ньятенери сквозь тучу налетевших дхаррисс, и совершенно серьезно подумала: «Да, это ему явно больше по вкусу, чем ходить под парусом!»

А Мой Друг тем временем прыгал по своей туманной тюрьме, пиная и колотя кулаками безмолвные серые стены. Похоже, он начисто забыл о всяком достоинстве, даже о достоинстве зверя, посаженного в клетку, — это был всего лишь обезумевший старик в ночной рубашке. Он орал, пока не охрип:

— Прекратите! Лал! Ньятенери! Идиоты! Прекратите немедленно! Ко мне, придурки! Сюда, ко мне! Вам его все равно не убить!

Аршадин вторично принял облик, более или менее напоминающий нишору. Теперь он распростер короткие, облезлые, блестящие крылья и наконец стряхнул с себя Ньятенери, отшвырнув его ярдов на десять в сторону берега. Ньятенери приземлился, ушел в кувырок, но ударился о скалу. Мне даже издалека было слышно, как он ахнул.

Аршадин уже снова обернулся самим собой. Я бросилась к Ньятенери — Аршадин не обратил на меня внимания. Вместе с настоящим обликом к нему вернулось и это ужасающее безжизненное спокойствие. Он коротко взглянул в сторону Моего Друга, который скакал и беспомощно бранился. Потом Аршадин испустил долгий, почти неслышный вздох, который обратился в черную молнию и ударил в серый туман с тем самым звуком, какой издает клинок, вонзающийся в тело.

Серый туман не исчез и не развеялся — он зашипел и почернел, как мясо на угольях. На миг я потеряла Моего Друга из виду. Ньятенери уже поднялся и стоял, пошатываясь. Я схватила его за запястье и поволокла вперед, пока Аршадин осыпал нас дхариссами и камнями. Камни брались ниоткуда и катились по склону, оставляя самые настоящие следы на земле, ломая настоящие деревья и обрушивая настоящие валуны. Я потеряла Ньятенери и кричала, зовя его, пока

серый туман не накрыл меня, как плотная, тяжелая ткань накрывает птичью клетку, и рассерженный голос не произнес:

— Потише, чамата, будь так любезна! Этой проклятой штукой и без того управлять непросто.

Он был очень близко, и все же я видела его с трудом, и уж подавно не смогла бы отличить его от Ньятенери. Он сидел прямо, словно на стуле с высокой спинкой, чуть выше моей головы. Глаза у него были закрыты. Ущелье с рекой, дом, Аршадин — все исчезло. Исчезли и земля, и небо, и вообще все, кроме серого тумана, безразмерного и бесконечного, уходящего во все стороны, и только где-то там, вдалеке, вроде бы виднелись более темные тени, которые появлялись и исчезали снова. Я громко спросила:

— Где мы? Что случилось? В каком мы времени?

Мне уже приходилось иметь дело с магами. И даже лучшие из них — даже Мой Друг — пользуются любым предлогом, чтобы поиграть со временем. Хотя, насколько я знаю, всех их чуть ли не первым делом предупреждают, что этого делать нельзя. Как бы то ни было, в сложных случаях они первым делом хватаются за это, как другие хватаются за кружку с элем. Я этого боюсь ужасно и не желаю иметь к этому никакого отношения, и, когда это опять случается, я всегда сразу чувствую.

Мой Друг, не открывая глаз, сказал:

— Лал, присядь где-нибудь и помолчи.

Ньятенери взял меня за руку и отвел в сторону. Воздух сделался страшно разреженным и холодным, так что, как бы сильно ты его ни глотал, легким его все равно не хватало. Единственным звуком, раздававшимся в тишине, было наше неглубокое, слишком частое дыхание. В этой серости не было ни ветра, ни малейшего колебания, никакого ощущения, что мы куда-то движемся, если не считать возникающих и исчезающих теней, которые вполне могли быть обманом напряженного зрения. Я обняла себя за плечи, чтобы согреться, и привалилась к Ньятенери.

— Мы далеко, — сказал наконец Мой Друг. — Мы нигде и никогда, и в то же время можно сказать, что мы в другом времени. Это, — он вслепую ткнул рукой в ледяной туман вокруг, — это не волшебная повозка и не ковер-самолет,

уносящий нас к безопасности. Это пузырь времени — но это не наше время. Кто-нибудь из вас меня понимает?

— Я и не желаю этого понимать, — напрямик ответил Ньятенери. — Зачем ты сидишь с закрытыми глазами?

— Затем, что я не знаю наверняка, что случится, если я их открою. Возможно, вы перестанете существовать. Возможно, перестану существовать я. Или само существование может... Нет, не стоит, от таких мыслей даже меня укачивает. Вполне вероятно, что мы просто вернемся назад к Аршадину. Результат будет тот же самый.

Знакомая раздражительность ободряла — и тем не менее в его голосе звучали какие-то новые нотки, которых я раньше никогда не слышала. Не страх, не тревога, не обычная неуверенность — все эти слова тут не годились. А вот мне действительно было страшно. Я буквально потеряла почву под ногами. И еще мне было очень холодно — меня прямо-таки трясло.

— А что произошло там, у Аршадина? — поинтересовалась я. — И куда мы направляемся теперь? И почему, во имя... — я поискала подходящего бога, но так ни одного и не вспомнила, — почему ты сидишь на воздухе?

Мой Друг рассмеялся, но на этот раз его смех меня не успокоил.

— В самом деле? Я и не заметил. Куда мы направляемся? Обратно в трактир естественно, если только меня не будут отвлекать дурацкими вопросами. Этот способ передвижения мне никогда особенно не нравился. Наверно, у меня просто нет к нему природной склонности. Вот у Аршадина — у него есть. Он постоянно носился вперед-назад таким образом, хотя я его предупреждал. Иногда он использовал это, чтобы прийти к обеду.

Он немного помолчал, зажмурившись еще сильнее.

— Ну вот, а теперь эта привычка его подвела. Я никак не мог ему сопротивляться, когда он перенес меня сюда в пузыре времени. Но даже на то, чтобы просто поддерживать существование такого пузыря в нашем мире, уходит масса сил, не говоря уж о том, чтобы заставить его работать на себя. Я знал, что он не сумеет одновременно удерживать в своей власти и его, и меня, и еще вас обоих. Сколько раз я ему го-

ворил! Всякая мощь имеет свой естественный предел — всякая, даже его. Я его предупреждал...

Последнее он произнес почти шепотом, и не для наших ушей.

— А потом вы его отвлекли — довольно неуклюже, надо заметить, но при этом вполне успешно, — и он попытался убить меня в пузыре, думая, что я вами управляю. Это показывает, что он по-прежнему отчасти верит в своего старого наставника — трогательно, не правда ли?

В его коротком смешке было больше сожаления, чем торжества.

— Он говорил о «тех, кто ждет». Это тебя они ждут? — спросил Ньятенери.

— Меня, меня! — ответил Мой Друг с удивительной беспечностью. — Ничего, пусть подождут еще маленько. Ну, а теперь, если никто больше не будет отвлекать меня вопросами, я думаю — и даже почти уверен, — что мне все же удастся переправить это нездоровое явление к столу Карша. Правда, неизвестно, будет ли это именно тот Карш и именно тот стол, но в любом случае это будет полезный и поучительный опыт для всех нас, а для Карша в особенности. Лал, если ты тоже закроешь глаза, то не будешь так сильно дрожать. Послушайся моего совета.

Он был прав. Когда я перестала видеть эту серость, убийственный холод отступил, как будто именно вид серого тумана пробирал меня до костей. И все же я не могла удержаться от того, чтобы время от времени оглядываться вокруг, хотя вокруг ничего не было видно, кроме крохотных темных фигурок, которые не приближались и не исчезали. Я спросила:

— А эти — кто они?

— Люди, чье время мы используем, — коротко ответил он. — Закрой глаза, Лал.

Я зажмурилась. И сказала:

— У Аршадина не идет кровь. Мой меч пронзил его почти насквозь, а крови не было.

— Потому что в нем нет крови, — ответил Мой Друг. — Лукасса была совершенно права: в ту ночь в красной башне он отдал свою жизнь Другим, а они взамен дали ему подобие жизни, для которого кровь необязательна. Я слышал о таких сделках, только это было очень давно, и я никогда не думал,

что такое случится в мое время. Бедный мой Аршадин. Бедный мой Аршадин...

И после этого тихого, бесцветного стона он больше ничего не говорил.

Сколько времени прошло — нашего или еще какого, — сказать не могу. Я слышала, как Мой Друг что-то гудит себе под нос: монотонную, сводящую с ума мелодию в пять нот, которая через некоторое время начала казаться гудением водяной мельницы, неутомимым и, как ни странно, успокаивающим. Кажется, я даже ненадолго задремала.

Нет, я точно задремала, потому что я помню, как вздрогнула и проснулась оттого, что обнимавшая меня рука Ньятенери напряглась. Он очень тихо сказал мне на ухо:

— Лал. Тут что-то происходит.

Даже сквозь серый туман было видно, что лицо у него бледное и напряженное.

— В чем дело? — спросила я. На первый взгляд, ничего не изменилось: мы по-прежнему сидели неподвижно в ледяном нигде, Мой Друг по-прежнему восседал в воздухе и гудел все те же пять нот. Единственное различие, если это можно назвать различием, состояло в том, что крохотные тени, мельтешившие в отдалении, наконец исчезли. Ньятенери сдавил мою левую руку, покалеченную, а я даже и не заметила — только потом увидела новый синяк.

— Смотри! — сказал он.

Серость медленно редела, превращаясь из тумана в грязную мыльную воду, и сквозь воду проступали люди, и эти люди были мы. Ну как объяснить это проще, когда все равно получается чистое безумие? Я увидела нас троих — точные копии, вплоть до ленточек в бороде Моего Друга и речной грязи, засохшей на ноге у Ньятенери, — но они, эти трое, нас не видели. Они отправились по своим делам, которые не имели отношения к этому месту, а за ними последовали другие — некоторые снова были нами, но еще больше было Каршей и Маринеш, а больше всего там было Тикатов. И не было среди них двух одинаковых: попадались двойники Моего Друга, у которых не было ни ленточек в бороде, ни самой бороды, ни ночной рубашки, и двойники Ньятенери, которых я узнавала только по росту и изменчивым глазам. Что до меня самой, у меня голова пошла кругом и даже не-

много начало тошнить от такого количества моих собственных копий, проходивших в двух шагах, не обращая на меня внимания. Они кое-чем отличались друг от друга — одеждой, жестами, — но мне они все казались одинаковыми, как близнецы: низкорослые, широкоротые, с остреньким подбородочком: одно и то же гоблинское личико, к которому я со временем притерпелась, но видеть его десятикратно размноженным! — и у всех одна и та же жуткая походочка враскачку. Да неужели я действительно так хожу? До сих пор не могу поверить, что я хожу именно так.

Вокруг теснились и другие, появляясь и исчезая в рассеивающемся тумане. Я признала Россета — он во всех воплощениях оставался большеглазым, добродушным, не подозревающим о своей собственной силе, — и других слуг и постояльцев «Серпа и тесака». Было там и множество других людей, которых я никогда не встречала или, по крайней мере, не помнила. Люди были непрозрачные, но бестелесные: они проходили друг через друга, как сквозь туман, ничего не замечая. А еще я обратила внимание, что среди них не было ни одной Лукассы.

— Учитель, — довольно громко сказал рядом со мной Ньятенери, а потом произнес то имя, которое я всегда считала истинным именем Моего Друга, — довольно морочить нам голову. Что мы видим? Кто это такие?

Мой Друг по-прежнему сидел, зажмурившись так крепко, что, когда он обернулся к нам, уголки рта у него поднялись кверху, но лицо его в тот миг было ужасно. Это лицо было мне совершенно незнакомо, и оно меня тогда напугало. Он медленно, почти сонно произнес:

— А вот теперь нам всем стоит порадоваться тому, что у меня, по крайней мере, хватило ума не сообщать никому из вас своего истинного имени. Если бы ты произнес его здесь и сейчас, нас троих размазало бы по времени — нет, поперек времени. Тонким слоем. Вы, вообще, имеете хоть малейшее представление, о чем я говорю?

Я молча сжалась перед этим слепым лицом и еще более жутким голосом, как тогда, когда он впервые подобрал меня; но теперь было хуже, потому что я стала старше и почти понимала, что он имеет в виду. Ньятенери какое-то время пытался смотреть ему в лицо, потом смирился и опустил голову. Голос продолжал:

— Да нет, конечно! И с чего это мне вздумалось об этом спрашивать? Если бы вы могли хоть отчасти понять то, что я вам сказал, это свело бы вас с ума. Хотя в данный момент я бы это пережил, рано или поздно это начало бы меня раздражать. Вероятно. Как там эти все, убрались уже?

Почти все двойники скрылись из виду. Осталась пара Тикатов и один Карш. Я ему так и сказала. Он кивнул и выпрямился в своем невидимом кресле. Его руки лепили что-то, тоже невидимое. Невидимое что-то, похоже, дергалось, вырывалось и к тому же росло.

— Когда эти последние уберутся, — приказал он, — скажите мне. Немедленно.

Тикаты исчезли, и остался только один Карш — помоложе, кареглазый, в вышитой жилетке и кожаных штанах преуспевающего южного фермера. Меня не удивило, что он был единственным из всех двойников, который на миг остановился и мельком, но очень внимательно вгляделся в окружавший его серый туман. Где бы он ни был на самом деле, он понял, что где-то происходит что-то, имеющее к нему отношение. Я сказала:

— Он уходит. Уже ушел.

— Ну, так, — тихо сказал Мой Друг, совсем как Аршадин. Он произнес несколько слов, которые даже не были похожи на настоящие слова: будь я в соседней комнате, я бы подумала, что он откашлялся или захрапел. Невидимое существо, которое росло у него в руках, поначалу будто втянулось в него, а потом взорвалось с такой силой, что Моего Друга отбросило назад, и он едва не свалился со своего воздушного насеста. Серый туман сменился ночью, но совсем не похожей на те ночи, которые мне доводилось видеть. Воздух был слишком прозрачный, словно с него содрали шкуру, и звезды слишком большие. Воздуха этого я так и не вдохнула — я затаила дыхание, на час или на миг, пока Мой Друг не открыл глаза. И оказалось, что мы трое мирно, как на пикничке, сидим на заросшем холмике, где Карш выстроил святилище для своих постояльцев. Был вечер, и на востоке, за трактиром, уже вставал бледный молодой месяц. Мы слышали, как свиньи возятся в своем загончике и как Гатти-Джинни орет во дворе.

Прошлой ночью луна над мачтой нашей маленькой

лодки была полная и золотая, и капли лунного света падали в реку, как сок спелого плода. Мы с Ньятенери переглянулись. В конюшне кто-то принялся насвистывать.

ТРАКТИРЩИК

За лошадей они мне заплатили щедро, надо отдать им должное. И к тому же у них хватило совести не пытаться объяснять, куда делись лошади. К тому времени, как доживешь до моих лет, перестаешь ждать от людей правды. И тем более ценишь, когда тебе не врут. А что до того, где их носило и, главное, почему путешествие, из которого черная вернулась охромевшей и похудевшей фунтов на десять, а госпожа Ньятенери Можете-Поцеловать-Мне-Руку — лет на десять постаревшей, заняло у них всего неделю... Ну что они могли рассказать такого, чему бы я поверил тогда или даже теперь? Я взял деньги, велел парню передать Маринеше, чтобы отнесла обед в их комнату, и махнул рукой.

Кстати, к тому времени меня уже куда больше беспокоил старик, чем женщины. Нет, конечно, я признал в нем волшебника еще в первый же день. Волшебника ни с кем не спутаешь — запах у них особый, что ли. Но дело-то было не в этом. Волшебников я не люблю — а кто их любит? — но они обычно держатся вежливо, всегда готовы помочь и стараются поддерживать хорошие отношения с хозяином. Но я знал от Маринеши, что этот волшебник слаб, болен, чуть ли не при смерти и не вылезал из своей комнаты с тех пор, как Россет с Тикатом его туда притащили. А тут, гляди-ка, расхаживает как ни в чем не бывало — на ногах держится, во всяком случае, — и явно по уши увяз в том, за чем ездили эти дамочки — что бы это ни было. К тому же это был не простой лесной волшебник, из тех, что лечат скотину от колик и обещают хорошую погоду к жатве. Нет, извините — это был один из тех, за кем неприятности тащатся в дом, словно приблудные собаки, — и неважно, чей это дом и кому придется их кормить. Я понятия не имел, что это за неприятности, но я их чуял, как можно чуять грозу или телегу навоза за поворотом. Этот запах ни с чем не спутаешь. По крайней мере, я в таких делах не ошибаюсь.

Выставить его? Выставить? Его? Ага, конечно — это чтобы Карш, у которого не хватило духу выставить из «Серпа и тесака» трех баб, отправил теперь подальше волшебника? Не-ет. И я не стыжусь признаться, что улыбался и кланялся ему каждый раз, как мы встречались, и спрашивал, удобно ли ему в его комнате, и посылал ему вино получше того, на что морщила носик госпожа Лал, «которой случалось убивать людей за плохое пойло». Вино он, кстати, оценил — и не раз говорил об этом в ее высочайшем присутствии. У трактирщиков тоже бывают свои маленькие радости.

И все же пока вроде бы ничего не происходило — по крайней мере, ничего такого, что можно назвать происшествиями, чем бы там ни пахло. Летние деньки шли своим чередом, постояльцы приезжали и уезжали — с одним из них сбежала жена Шадри, она это делает почти каждое лето, просто чтобы отдохнуть от Шадри, — лошади были ухожены, обеды готовились, посуда мылась, комнаты более или менее подметались, возчики таскали в кладовку бочонки красного эля и «Драконьей дочери», семейство лудильщиков-нарсаев смылось, не уплатив за постой. Но я сам виноват: надо было взять с них вперед. Мой батюшка был наполовину нарсай, так что уж мне-то следовало бы знать этот народ.

Три дамы вели себя как обычные постоялицы: загорали на солнышке, ездили на рынок в Коркоруа покупать безделушки и древности. Только я все никак не мог понять, зачем они тут торчат — разве что затем, чтобы выхаживать своего приятеля-волшебника. Тикат, похоже, перестал бегать за этой бледной сумасшедшей, Лукассой. Он вообще почти на нее не смотрел и только убирался с дороги, когда она проходила мимо. Лукасса больше, чем когда-либо, походила на блуждающего духа: за глазами лица не видать. Вот Тиката я бы выгнал с удовольствием — просто затем, чтобы выгнать хоть кого-нибудь. Но он с лихвой отрабатывал свои харчи в конюшне, в доме и на огороде. Молчаливый, угрюмый малый с южанским выговором, от которого аж пиво скисает, но работяга добросовестный, этого у него не отнимешь.

Честно говоря, единственный, на кого я мог пожаловаться в то время — так это на парня. Да и то я не смог бы объяснить, что с ним не так, хотя хорошо знал и его, и себя. Конечно, он чуть не ошалел от радости, когда эти дамочки вер-

нулись. То и дело норовил бросить работу и сбегать посмотреть, не надо ли им чем услужить. Ну, тут, конечно, ничего необычного не было. Меня глодало другое: я видел, что его что-то гложет, и чем дальше, тем сильнее. Не то, чтобы он об этом говорил — мне-то не говорил, во всяком случае, он бы скорее сдох, — но даже Гатти-Джинни мог бы догадаться по его лицу и по тому, что он завел привычку тревожно озираться, как будто собрался донимать Маринешу и вдруг услышал, что я его зову. Я тогда думал, что это из-за волшебника. Думал, что парень прилип к нему, как лип раньше к этим женщинам. И от этого мне было не по себе.

РОССЕТ

Конечно, отчасти дело было в жаре. В тех краях в конце лета жара стоит, как в топке, несмотря на горы. Ну, мне-то к тамошней погоде было не привыкать — по правде говоря, мне ее теперь не хватает, — но после того, как появился волшебник, дни казались растянутыми над раскаленными добела угольями, как шкура шекната, которую собрались скоблить. Ночами обычно полегче, потому что с гор прилетает прохладный ветерок, но в то лето ветер прохладным не бывал. Собаки и куры лежали в пыли и задыхались от жары; у лошадей не было сил даже отмахиваться от мух; постояльцы целыми днями сидели в питейном зале, стараясь остудить хотя бы глотку; даже Карш, и тот орал и топал меньше, чем всегда, и давал нам с Тикатом куда меньше распоряжений. Я просыпался у себя на чердаке весь в поту, уже измученный, с головой, набитой пеплом. Жара начиналась с самого рассвета. Почти двадцать лет прошло, а я до сих пор помню странный, безнадежный вкус этих пробуждений.

Потому что это было не из-за погоды. Этот вкус, это ощущение, что за тобой все время следят: гигантская линза собирала над «Серпом и тесаком» жар чьего-то внимания. Когда Лал с Ньятенери вернулись, стало еще хуже: я почти каждый миг, во сне и наяву, ощущал над собой этот неотрывный, холодный взгляд, который не имел никакого отношения ко мне — ко мне, Россету, или кто я там есть на самом деле, — и ко всему, что я понимал и любил в этом мире. Временами

взгляд казался отдаленным; временами приближался настолько, что ощущение было такое, будто он сидит рядом со мной на соломе и роется в моих снах. Но, так или иначе, укрыться от него было некуда, и не было защиты от жестокого уныния этого взгляда, так что я непрерывно испытывал смутный страх и чувствовал себя смертельно усталым. И смертельно печальным, если можно так сказать.

Быть может, и Тикат испытывал те же чувства, но по нему этого заметно не было. Хотя в те дни я его почти не видел: он незаметно взял на себя обязанности сиделки и стража, которые были доверены мне, и теперь проводил большую часть свободного времени наверху, при старике, которого он звал «тафья». Мне его очень не хватало — до того, как он появился, у меня никогда не было друга, почти ровесника, с которым можно было вместе работать, вычищая стойла, или болтать вечерами на чердаке. К тому же я ему жутко завидовал. В основном, конечно, потому, что, находясь при волшебнике, он каждый день виделся с Лал, Ньятенери и Лукассой, но я еще и ревновал, оттого что кто-то дорожит его присутствием и часто зовет его к себе — а это совсем не то же самое, как когда за тобой посылают. Нет, я знаю, что мог бы прийти и сам, без приглашения, но я туда не ходил, и все тут. Я был очень молод.

Женщины держались еще более замкнуто, чем прежде, неважно, выезжали они на прогулку или сидели, запершись у себя или у старика. Когда мне случалось их видеть, я всегда видел их всех вместе, а это было не то. Мне хотелось поговорить с ними по отдельности. Больше всего мне хотелось сказать Соукьяну — который по-прежнему сохранял облик и запах Ньятенери, — что я не стал любить его меньше оттого, что он меня обманул, и если я сторонюсь его, то вовсе не от обиды и не от стыда. Мне хотелось спросить Лал, как и отчего они вернулись так скоро, и сказать, что я присматривал за ее волшебником, как мог. Кстати, третий убийца так и не появился — по сей день не знаю, что с ним стало. И еще мне хотелось сказать Лукассе, что каждый раз, как Тикат встречает ее на лестнице или во дворе, на сердце у него появляется еще одна рана. О, я заготовил для Лукассы целую речь! Я не раз декламировал ее лошадям.

Но вышло так, что ничего этого не было: как будто бы

эти три женщины никогда не выезжали из-за поворота у ручейка, как будто мне приснились и дрожащие ямочки на плечах Лал, и то, как Ньятенери в одиночку убил двух убийц. Настоящим осталось лишь одиночество, которое я ни разу не называл его истинным именем, пока не появились они, — одиночество, да еще жара и страх.

Однажды я спросил у Маринеши, как там волшебник, потому что у Тиката мне спрашивать не хотелось. Она ответила не своим обычным скворчиным щебетом, а вполголоса, неуверенно:

— Да вроде ничего...

Когда я принялся ее расспрашивать, она поначалу крепилась, а потом вдруг разревелась — не расплакалась напоказ, молча, как знатная дама, как она всегда старалась плакать, а именно разревелась, всхлипывая, шмыгая носом, безжалостно теребя мой лучший носовой платок. Насколько я понял, старика она почти не видела с тех пор, как вернулись Лал с Ньятенери, «но я его слышу, Россет, каждую ночь, всю ночь напролет, он все ходит, ходит взад-вперед до рассвета, что-то бормочет, что-то распевает, разговаривает сам с собой. Он, наверно, вообще не спит...».

Я погладил ее по голове и утешил, как мог.

— Ну, значит, он спит днем, вот и все. А потом, Маринеша, он же волшебник, а волшебники не нуждаются ни в сне, ни в еде, ни во всем прочем — по крайней мере, не так, как мы.

Но она вырвалась и заглянула мне в глаза. И во взгляде ее была такая печаль — я и не подозревал, что глаза Маринеши способны вместить столько скорби.

— Там — *другие*, — прошептала она. — Иногда там появляются другие, и они ему отвечают. У них голоса маленьких детей...

И она убежала назад в трактир, не переставая плакать, и утащила мой носовой платок.

Тикат ничего не знал ни про какие голоса. Так он сказал, и я ему поверил. Сдается мне, что боги, духи, демоны, чудища и прочие им подобные в присутствии Тиката никогда не являются. Они просто терпеливо ждут, пока Тикат не уйдет, ждут, сколько придется. Вот Карш не такой. Можно было бы подумать, что и он из таких людей, если они вообще бывают,

но нет. Что до Карша, то чудовища далеко не всегда давали себе труд дождаться, пока он уйдет.

Через пару дней после того разговора с Маринешей он разыскал меня на кухне. Тикат снова латал прогнившую колоду, из которой поят лошадей, а наш последний поваренок снова сбежал: Шадри их так лупит и гоняет, что за год у нас сменяется не меньше десятка поварят. Единственная польза с этого — что они временами сбегают, даже не потрудившись забрать плату. Карш минут пять ругал Шадри, ни разу не повторившись, а потом вдруг взглянул на меня, словно только что заметил — как всегда, — и проворчал:

— Подожди меня снаружи.

Я стоял на улице и ждал еще минут пять. Наконец он вышел, весь багровый, вытирая губы — можно было подумать, что он только что слопал Шадри с гарниром. Постоял немного, не глядя на меня и бормоча себе под нос:

— Проклятый недоумок, косорукий, недоделанный остолоп, и какой только урод внушил этому козлодою, что он умеет готовить?

Потом, когда счел нужным, сказал:

— Россет!

Я часто думаю об этом — как произносила мое имя Лал и как произносил его он. Ничего не могу с собой поделать — до сих пор вспоминается.

— Вы сказали, чтобы я подождал.

Карш кивнул. И сказал:

— Спасибо тебе.

Нет, положа руку на сердце не могу утверждать, что это был первый раз, когда Карш сказал мне «спасибо». Может, и не первый. Я даже не уверен, что я его как следует расслышал: он произнес это каким-то сдавленным голосом. Но я так удивился, как будто Карш вдруг принялся приплясывать и кружиться волчком, приставив палец к макушке. Я уставился на него. Карш разозлился и заорал:

— Ну, чего ты пялишься? Что случилось? Пялится, пялится — никогда еще не видел, чтобы человек так пялился, с первого же дня, с первого раза, как я тебя увидел!

Тут он остановился, откашливаясь и отплевываясь, но глаз с меня не спускал. Я ждал, размышляя, чего он хочет: то ли снова отругать за канавы, то ли приказать не расстраивать

Маринешу. Но он яростно потряс головой, утер губы, перевел дух и спросил:

— Россет, ты как вообще?

Тут уже я немного побулькал, пытаясь выдавить нужные слова.

— Как я? Да нормально...

Карш покивал, так торжественно, словно я только что дал ответ на загадку, терзавшую его всю жизнь.

— Хорошо, это хорошо... — пробормотал он, а потом, глядя куда-то мимо меня, добавил: — Россет, я тут все хотел тебе сказать одну вещь. Давно уже хотел.

Я ждал. Карш продолжал:

— Ты... ты был неплохим мальчиком. Почти не плакал, под ногами не путался. Ты был очень славным малышом!

Последние слова стоили ему таких усилий, что он почти выкрикнул их, как бы говоря: «Попробуй только возразить!» Он стоял, глядя на меня исподлобья, пыхтя, и глаза у него сделались иссиня-черные, как всегда, когда он по-настоящему зол. Всего мгновение — а потом он развернулся и затопал в дом и, еще до того как отворил дверь, принялся снова громко ругать Шадри. А я остался стоять, где стоял, под выскобленным добела небом, дрожа от удивления, усталости и страха и жалея, что не знаю своего истинного имени.

ЛИС

Жарко. Слишком жарко. Бедный маленький лис скользит и бултыхается в своей противной липкой шкуре. У человечьего облика шкуры нет, но Ньятенери грозится десять раз убить, если увидит. Так что не будет человечьего облика, не будет славного красного эля в зале кабака, не будет ничего, кроме жаркого ветра в жарком бурьяне под деревом, на котором спят куры. Все равно, что есть старые метелки. Бедненький лис!

День, ночь, все тянется и тянется. Делать нечего — только спать. Я могу проспать хоть сто лет, если захочу — ничего не есть, ничего не пить, и проснуться, стоит вам обо мне подумать. Но однажды я поднимаю голову — и вот она, смотрит на меня сверху вниз. Лукасса. Глаза старые-престарые — почти такие же старые, как я.

— Лисичка, лисичка... — говорит она тихо-тихо. Наклоняется, берет меня на руки, как тогда, в первый вечер, прижимает к плечу, к шее. Я лижу вкусную соль — совсем немножко. — Лисичка моя, — говорит она. — Помоги ему.

Ему?! Лукасса чувствует, как я рычу, прижимает плотнее.

— Ах, лисичка, он такой добрый, он так добр к людям! Но не к лисам. — И ему угрожает такая опасность!

Вот и хорошо. Пусть теперь тот, другой потрясет его за шкирку и за хвост. Посмотрим, как ему это понравится. Принять человечий облик? Но она сжимает меня так, что я взвизгиваю, и говорит:

— Ты ведь знаешь их, тех, кто приходит ночью. Ты можешь заставить их уйти.

Лучше заставить уйти мага.

Лукасса:

— Ему надо умереть. Пришло его время, ему необходимо умереть.

Я сворачиваюсь у нее на руках, закрываю глаза. Лукасса говорит:

— Но если он умрет сейчас — больной, бессонный, разъяренный, — тогда он станет как они, только хуже, много хуже. Это как-то называется, только я слово забыла.

Ну да, грига-ат, очень страшно, ну и что? Лукасса поднимает мою голову, терпеливо ждет, пока я посмотрю ей в глаза.

— Лисичка, лисичка, я знаю, что ты мне ничем помочь не можешь, но, пожалуйста, ради него. Я прошу тебя, потому что мы друзья.

Целует в нос, сажает на землю.

— Иди к нему!

И стоит, вся такая доверчивая, ждет, что я прямо так и брошусь, побегу спасать злого волшебника от ночных посетителей. А я ложусь, где сидел, и свешиваю язык. Глаза у Лукассы блестят от печали.

— Лисичка...

Ждет. Отворачивается. Я зеваю в пыли: может, курам приснился дурной сон, и они попадали с веток? Нет. Это *моя* печаль. Одним глазом смотрю, нет ли Ньятенери, одним ухом слушаю, нет ли толстого трактирщика, потом снова засыпаю — лисам дурацкие грига-аты не страшны. Страшны волшебники.

Но... но... Не успеваю я устроиться поудобнее в сухом бу-

рьяне, как тут снова появляется старое ничто. «Узнай, узнай. Слишком беспокойно, что-то шевелится?» Я-то знаю, что шевелится: глупые волшебники ловят друг друга, тянутся через небо. Всего лишь глупые волшебники, не более и не менее — но старое ничто велит: «Узнай!», и вот бедному лису больше не спится. И вот я все же бегу, бегу прямо к Лукасси-ному волшебнику. Привет, дружище! Что, голоса нехорошие спать не дают? Вот и славно. Есть все-таки на свете справедливость. Быть может, лис тоже добавит пару слов.

Глубокая, жаркая тьма. Дверь трактира закрыта и заперта на засов, но мыши знают гнилую доску в полу кухни, а что знает мышь, знает и лис. Ползу, извиваюсь, отряхиваюсь. Вот мы и под большой Шадриной плитой — она все еще теплая, огонь задремал на ночь, как и чумазый мальчишка, прикорнувший на двух стульях в углу. Ни звука, только мои когти цокают по камням.

Вверх по лестнице, вместе со сквозняком, по коридору, распугивая тараканов. Из-под двери мага сочится свет свечи, пытается выбраться оттуда. Немудрено. О, да-да, эти голоса мне знакомы, и запахи тоже! Они пахнут молнией, и водостоками под баней, и кровавым снегом, на котором обедал шекнат. На миг шерсть у меня встает дыбом от жалости к бедному старому магу, но это быстро проходит. Магов на свете много, кому и знать, как не мне!

Я у двери. Лучше остаться снаружи. Нет, мне не страшно, но мне не нравится приближаться к ним. У меня от этих голосов зубы ноют. Старое ничто: «Входи, лис!» В человечьем облике или так? Подумав, принимаю человечий облик. Зачем — кто знает? Может, так ходить проще. И в замочную скважину подглядывать удобнее.

В комнате их полно, точно червей в падали. Стены как будто дышат. Одни с лицами, другие без, у некоторых вместо лиц стекло, пламя, сочные пульсирующие кишки. У некоторых — ни тела, ни формы, только кусочки тени, кусочки тьмы, раскачивающиеся в воздухе. Некоторые хорошенькие, как птички или кролики. На других — глаза бы на них не смотрели, на этих других, даже мои глаза. Они сидят на столбиках кровати, ползают по подоконникам, шныряют взад-вперед по балкам. Никогда не видел так много в одном месте. Обычно надо специально посмотреть вбок, прикрыв

один глаз, чтобы их увидеть. Они приходят с другой стороны зеркал.

Маг их видит. Ого-го, еще как видит! Он расхаживает взад-вперед, взад-вперед, не смотрит на них, не садится на постель. Не должен стоять, не должен отдыхать — при них нельзя. Когда-то седой, теперь он белый — белый, как зола, выгорел добела, как Лукасса. Лицо исчерчено бороздами — следы когтей, но без крови. Он шагает взад-вперед, — голова вскинута, ноги топают, — и поет грубую песню, солдатскую песню:

Капитан сказал капралу:
— Здравствуй, братец, как я рад!
А капрал ему ответил:
— Поцелуй меня ты в зад!
Раз-два, левой-правой,
Вот и место для привала,
Брось мешок куда попало,
Поцелуй меня ты в зад.

Снова и снова, хрипя своим сожженным голосом. Этой песни даже Ньятенери не знает. Песня очень длинная. Если он хоть раз остановится, они на него набросятся — нет, не с клыками и когтями, хотя, увидев их, можно так подумать — нет, с глазами, с голосами, с нежным скользящим смехом, со старым позором, старыми предательствами, старыми протухшими тайнами. Они умеют вывернуть воспоминания наизнанку, превратить хорошие сны в такое, что смотреть не захочется, и при этом сделать их настоящими. Вмиг душу в клочья издерут, я-то знаю.

Маги никогда не запираются. Я открываю дверь, вхожу, оставляю дверь приоткрытой — просто на всякий случай. Везде жарко, а здесь холод режет, как ножом. Человечий облик — веселый дедуля — осматривается, хлопает мага по плечу и гремит:

— Ах ты, старый мошенник! Что ж ты никому не сказал, что у тебя гости?

Глаза величиной с тележные колеса, глаза, как мокрые темные кульки, глаза на стебельках и щупальцах — все поворачиваются к человечьему облику. Его не должно быть здесь, он не должен видеть их, веселый дедуля с блестящими глазами. Только маг не поднимает глаз, продолжает шагать по комнате, хрипя:

Капитан сказал капралу:
— Не попить ли нам чайку?
А капрал ему ответил:
— Тебе в харю кипятку!
Раз-два, левой-правой...

Устал, устал, ах, как он устал, едва не упал, когда человечий облик хлопнул его по плечу. Лукасса бы расплакалась. Но не я. Я говорю старому ничто: «Ну, вот оно, вот что тут шевелится. Всего-то навсего. Спасибо, до свидания, лис может идти». Но старое ничто непредсказуемо. «Останься. Следи. Тут слишком много силы, дикой, неправильной. Останься и смотри».

Вот тебе и справедливость! Делать лису больше нечего, как сидеть среди этих мерзких видений и ждать, пока не наступит утро или пока маг не умрет. Это что же, я должен сидеть рядом с ними на кровати или на подоконнике и всю ночь слушать про капитана и капрала? Только потому, что старое ничто думает, будто один маг чем-то отличается от другого? Нет-нет-нет, только не этот лис, не бойтесь. Там, снаружи, куры ждут.

Но что же делать? Человечий облик не может просто взять и уйти, старое ничто не позволит. Ну что ж, значит, придется уйти посланцам, как и просила Лукасса. Потому что это нужно мне — мне, а не кому-то другому. Думай, лис. Человечий облик снова хлопает мага по плечу и подхватывает:

Раз-два, левой-правой,
Вот и место для привала,
Брось мешок куда попало,
Поцелуй меня ты в зад...

Хорошая песня. Маг по-прежнему расхаживает и поет, опустив взгляд — он даже на славного дедулю не смотрит, не то что на посланцев. Но дедуля смотрит на все, глаза блестят, как мои зубы. Дедуля кричит на посланцев, называет их по именам — имена хрустят на зубах, как ночь, как битое стекло, жгутся, как горящее масло, имена как стоялая вода, как ветер. Ветер из дурных мест.

Ох, как им не нравится, когда их называют по именам! Они не визжат, не разбегаются, не обращаются в камень, но им это не нравится. Интересно. Я не могу причинить им вреда, даже если бы хотел, — и они мне не могут, — но все равно интересно. Человечий облик кричит громче, дразнит-

ся именами, даже вставляет их в походную песню мага. Они шипят, бормочут, злятся на меня даже больше, чем на него. Они становятся все ярче, истекают черным пламенем, знаком той силы, что натравила их на старого мага. Комната переполняется их пронзительными голосками, они заглушают «левой-правой», заглушают даже крики человечьего облика. Маг спотыкается, падает на колени, зажимает уши, закрывает лицо, перестает петь. Вот сейчас они на него набросятся, все сразу, хохоча, издеваясь, терзая, ему уже не встать. Бедная Лукасса! Ну что, старое ничто, хватит с тебя? Одним магом меньше, одним грига-атом больше, какая разница? Лису — никакой.

Но тут маг оборачивается, все еще стоя на коленях, глаза огромные и сверкают зеленью, как море сразу после заката. Он вскидывает руку, произносит три слова, похожие на шелест сухой травы, — и они исчезают, все сразу, как погасшие свечи, как захлопнувшиеся двери, как жучки-росянки во рту старка. Ничего не осталось — ни эха, ни струйки дыма, только холодная узкая комната, которая теперь, опустев, кажется огромной. Маг медленно встает и улыбается, очень медленно.

— Спасибо, — говорит он. Дедуля моргает и превращается в рыжего лиса, сидящего на постели. — Это начало становиться довольно утомительным.

— Не надо благодарностей, — говорю я. Я озадачен, и мне это жутко не нравится. Не люблю быть озадаченным. — Я не собирался тебе помогать.

Улыбка все шире и шире, несмотря на отсутствие зубов.

— Знаю. Но все равно я тебе благодарен. Очень остроумно с твоей стороны — догадаться, что их имена режут им слух не меньше, чем нам. Конечно, очень скоро явятся другие, но я, по крайней мере, смогу немного отдохнуть и, быть может, вспомнить какую-нибудь другую песню. Капитан с капралом начинают утрачивать свое очарование.

Смахивает меня с постели, точно пыль, со вздохом ложится. Я скриплю своими замечательными зубами, но существует слишком много историй о лисах, которым случилось укусить мага...

— Щелкни пальцами, скажи нужные слова и прогони их прочь, — говорю я. — Зачем тебе песни?

Он уже наполовину заснул. Кажется, он уменьшается с каждым вздохом.

— Я слишком устал... — шепчет он. — Надо посмотреть на них, услышать их, а я устал. Они меня схватят. Я слишком устал и могу только петь. Спасибо, старый друг...

Последнее слово завершается храпом. Я долго стою и смотрю на него помимо своей воли. Это я-то его друг, я, лис, друг мага? Да нет, усталый злой старик знает, что это не так. И все же я пришел к нему, сам того не желая, и помог ему, не собираясь этого делать — я собирался помочь только лису. Все как про́сит Лукасса, целуя в нос. Терпеть этого не могу. Маг храпит. Кончики усов дрожат на сквозняке. Здесь есть кто-то еще, кто смотрит вместе со мной, — нет, не старое ничто. Смерть, мертвое место, высотой с окно, в углу за кроватью, не шире моих сложенных передних лап. Там, где оно, нет воздуха. Нет, эта комната не для лисов. Умница этот человечий облик, что оставил щелку в двери.

Назад по коридору, когти — цок-цок, цок-цок, — мимо храпа, мимо вздохов, мимо всхлипываний. Лис в доме, плывет в потоках людских звуков, людских запахов. Я слышу, как маг бормочет во сне — то же, что всегда:

Раз-два, левой-правой,
Вот и место для привала...

И мои лапы невольно подхватывают ритм.

ТИКАТ

Конечно, я знал, что он болен. Я обычно первым приходил к нему по утрам — даже раньше женщин, — а запах комнаты больного я знаю не хуже любого другого. Но для меня болезнь — это моровое поветрие, родильная горячка, колики, черная кровь, костная гниль и прочие деревенские немочи, которые мы врачуем так же, как болезни домашнего скота. Мой тафья плохо спал — это было заметно; он худел с каждым днем, цвет лица становился все хуже, и говорил он по большей части хриплым шепотом, слушать который мне было так же тяжело, как ему — разговаривать. Но когда я предложил остаться ночевать у него в комнате, он чуть ли не прикрикнул на меня, насколько позволял его сорванный

голос, и запретил даже входить к нему после заката. Ну откуда мне было знать, что его от заката до первых петухов гоняют до полубезумия? Запах безумия был мне незнаком.

Ухаживая за ним, мы с Лукассой сблизились, хотя и довольно странно: я как будто снова шаг за шагом подкрадывался к Кролику, моему коньку, украденному у милдаси, стараясь не встревожить его даже мыслью о поимке. Мы почти не разговаривали. Главное — она, похоже, больше не боялась находиться в одной комнате со мной, хотя не знаю, что было бы, если бы тут не было тафьи. Мы молча распределили обязанности: она мыла и брила тафью, хотел он того или нет, и ежедневно меняла его пропитанное потом белье. Я так и не узнал, где она брала свежие простыни: Карш их берег как зеницу ока. Пару раз она попросила меня помочь перевернуть тюфяк, иногда я отбирал у нее горшок и опорожнял его сам. Она каждый раз вежливо благодарила меня, но по имени ко мне не обращалась.

Ну, а я приносил еду, подметал пол, забирал пустые тарелки и слушал его, когда ему приходила охота поговорить. При Лукассе он никогда не разговаривал — кстати, теперь я вспомнил, что и при двух других женщинах тоже. Видите ли, они его любили, а я нет. Тафью не обязательно любить — его можно даже ненавидеть, как любого другого. Я считал его мудрейшим человеком, какого когда-либо встречал, не считая моего учителя, но мудрость его, на мой взгляд, была чересчур игрива, и игра эта слишком легко становилась опасной. И все же я был ему по душе, это я знаю — быть может, потому, что я ничем не был ему обязан и не особенно старался добиться его расположения. Возможно, дело именно в этом. Противоречивый был человек.

Иногда он рассказывал о своей жизни. Жизнь у него была очень долгая. Сколько ему было лет, я так и не узнал, но даже если половина того, о чем он рассказывал, правда — все эти путешествия в поисках тайных знаний, испытания, ужасы и магические поединки, — на это понадобилось бы не меньше двух обычных человеческих жизней. Волшебники могут лгать, как и обычные люди, — даже лучше, — но все приключения он как раз старался обходить стороной и постоянно возвращался к обычным человеческим горестям и поражениям.

— Была одна женщина, — сказал он однажды. — Мы путешествовали вместе много-много лет. А потом она умерла.

Слез в его бледно-зеленых глазах я не заметил, но наверно насчет волшебников никогда не скажешь...

— Сочувствую, — сказал я. Он отвел взгляд в сторону, но тут снова обернулся и уставился на меня так пристально, что я даже ощутил что-то вроде толчка.

— Это почему? Думаешь, если ты чахнешь и томишься по Лукассе, это уже позволяет тебе осознать чужую утрату? Это нельзя сравнивать. Ты ничего не понимаешь.

И больше он в тот день со мной не разговаривал.

Но в другой раз, жалуясь на плохой хлеб, который печет Шадри, он вдруг совершенно неожиданно спросил меня:

— Тикат, а ты чего-нибудь боишься?

Спросил он это вроде бы беспечно, но голос у него шелестел, как солома на ветру.

— Скажи, чего ты боишься?

Над ответом я думал недолго — не дольше, чем надо, чтобы набрать воздуху в грудь.

— Ничего. Раньше... ну, до всего этого, — я боялся всего на свете, всего, что могло разлучить нас с Лукассой. А теперь случилось худшее, что могло случиться, и мне больше нечего бояться. — Я помолчал. Он начал улыбаться, когда я добавил: — На самом деле мне жаль, что я вообще ничего не боюсь. Наверно, это неправильно.

Он улыбнулся еще шире, обнажив увядшие десны и пеньки зубов. Я подумал, что никогда не позволил бы себе превратиться в такую развалину, если бы мог исправить дело щелчком пальцев. Он сказал — тихо, почти сонно:

— Да, это неправильно — и все же я тебе завидую. Понимаешь ли, то, чего ты боишься больше всего, всегда случается. Всегда. — Последнее слово рассекло воздух, точно хлыст. — Мы сами — волшебники или ткачи, все равно, — призываем то, чего боимся, хотя как это получается, я сказать не могу. Но вот ты сидишь рядом со мной, хотя худшее, чего ты боялся, случилось. И все же ты справился с этим и остался жив. Нет, Тикат, я тебе в самом деле завидую.

Я подумал, что он издевается.

— Я выжил, — ответил я. — Разве выжить — это то же самое, что остаться живым?

— Весьма тонкое различие для деревенского парня! — На этот раз в его голосе действительно звучала усмешка. — Насколько я помню, мне самому в разное время случалось бояться многого, очень многого. Но я, похоже, пережил все свои страхи, точно так же как любовь и ненависть. Но самое смешное, что за все эти годы я никогда не боялся смерти. Именно потому, что я тот, кто я есть, и знаю то, что знаю. А теперь вот боюсь. Как ты раньше боялся остаться без Лукассы, так я теперь боюсь умереть. Страшное унижение для волшебника.

Теперь всякая насмешка, надо мной или над собой, исчезла. Он вцепился мне в плечо, и я почувствовал, как исхудали и дрожат его пальцы.

— Тикат, я не могу позволить себе умереть — только не сейчас! Не дай мне умереть!

По мне прокатилась волна паники и растерянности, словно перешедшая из его руки в мою. Я спросил:

— Почему ты обращаешься ко мне? Чем я-то могу тебе помочь?

Но когда я говорил, он смотрел мимо меня, в сторону окна. Потом громко произнес:

— Ах, вот ты где! А я уж начал думать, что ты меня бросил.

В комнате больше никого не было. Он обращался к солнечным зайчикам, играющим под подоконником.

— Нет-нет, конечно, я слишком хорошо тебя знаю.

Он говорил добродушным подтрунивающим тоном, словно вот-вот рассмеется.

Тут я вышел, чтобы не слышать, как солнечные зайчики ему ответят. В коридоре Маринеша подметала пол. Она быстро взглянула на меня и тут же отвернулась. Я понял, что она подслушивала под дверью, — Маринеша не умеет врать, даже молча. Я сказал:

— Ему не стало хуже. Не лучше, чем вчера, но и не хуже.

Я хотел пройти мимо, но она выпрямилась и заслонила мне дорогу, придвинувшись ко мне ближе, чем обычно. Если я не говорил, что Маринеша довольно хорошенькая, с большими темно-серыми глазами, пухлыми губами и кожей, которая могла бы загрубеть от работы и все-таки не загрубела, то это потому, что мне было все равно. Ее внешность не имела для меня значения. Она слишком много болтала, но всегда держалась со мной довольно мило, при том, что не

упускала случая уколоть Россета. Теперь она спросила, встревоженно, но робко:

— Тикат... Тикат, он действительно говорил... говорил с кем-то другим?

— Ага, — ответил я. — Со старым знакомым, который почему-то выглядит точь-в-точь как стенка. Насколько я знаю, у волшебников таких друзей много.

На самом деле мне хотелось поскорее уйти, чтобы поразмыслить над словами тафьи наедине. Но Маринеша не отходила с дороги. Она закусила губу, отвела взгляд и сказала очень тихо:

— Тикат, Лукасса ведь не единственная женщина на свете.

Я едва ее расслышал. Она покраснела так сильно, что, казалось, даже ее соломенно-русые волосы потемнели от прихлынувшей крови. Я ответил довольно резко — в последнее время я почему-то сделался довольно резким:

— Даже если бы Лукасса была единственной женщиной на свете, она мне не нужна — ни она, ни любая другая. Мне никто не нужен, Маринеша. С меня хватит.

Маринеша робко коснулась моей щеки. Я взял ее за запястье и молча покачал головой. Вроде бы я сделал это не очень грубо, но когда я обернулся, Маринеша стояла, прижав руку к губам, как будто я ее ударил. До сих пор вижу, как она стоит, и чувствую себя виноватым. Обижать Маринешу было совершенно незачем.

Дни тянулись к осени, но при этом не становились ни короче, ни прохладнее. Мне уже начало казаться, что я всю жизнь тяну лямку в этом трактире, как Россет. Я удивлялся, зачем я вообще тут торчу. Дома остались люди, которым меня, наверно, не хватает, а Пустоши, смертельно опасные по весне, зимой и вовсе станут непроходимыми. Мне нечего делать в этом трактире. Незачем было и приезжать сюда. Все это впустую. Пора признаться себе в этом и вернуться домой. И все же я продолжал тянуть лямку.

Однажды Карш велел нам с Россетом поменять сгнившие балки в коптильне. Это работа утомительная в любую погоду, а в такую жару она сделалась еще и опасной: пальцы были влажные, скользкие, бревна все норовили вывернуться и пару раз едва не переломали нам ноги. Но наконец нам удалось приноровиться, и я как раз стоял внизу, подавая бревно

Россету, сидевшему на крыше, когда увидел в дверях Ньятенери. Рядом с ней сидел лис.

Мы приладили балку, и Россет усердно принялся ее приколачивать, не глядя на Ньятенери. Ньятенери была хороша собой — этакая воительница, высокая, с меня ростом, и с короткими, густыми волосами, каштановыми с проседью. Далеко не красавица и даже не хорошенькая, как, к примеру, Маринеша, — но и у нас в деревне, встретив ее на улице, вы бы непременно оглянулись ей вслед и вспоминали бы ее гораздо дольше, чем иных красавиц. Я впервые видел их с лисом вместе. Лис смотрел прямо на меня, прижав одно ухо и смеясь ярко-желтыми глазами.

Ньятенери сказала:

— Мне надо поговорить с вами обоими. Россет, спустись оттуда.

Она говорила негромко, но Россет поднял голову и, поколебавшись, легко спрыгнул с крыши на кучу соломы.

— Соукьян... — сказал, почти прошептал, он. Я тогда не знал, что значит это слово.

— Он умирает, — сказала Ньятенери. — Мы ничего не можем сделать.

Ее смуглое лицо оставалось бесстрастным, но говорила она медленно, как будто выдавливала слова, борясь с отчаянием. Я знаю, как это бывает. Она сказала:

— Это произойдет завтра ночью.

— Откуда ты знаешь? — Россет, сам того не замечая, вцепился в мою руку, точно ребенок. Я потом долго чувствовал его хватку. — Он ведь сильный, ты просто не знаешь. Когда он пришел, я думал, он не переживет и одной ночи, но ведь он же выжил, и эту ночь он тоже переживет! Ты не можешь этого знать!

Он моргал, быстро-быстро.

Ньятенери посмотрела на него с большей нежностью, чем можно было ожидать от этой заносчивой дамы.

— Он может, Россет. Он знает.

Россет долго смотрел на нее, потом очень медленно кивнул. Ньятенери сказала:

— Он хочет, чтобы мы были там. Ты, я, Лукасса — и Тикат.

Она сделала паузу, чтобы я понял, кто именно предложил позвать меня.

— Он хочет, чтобы мы все присутствовали.

— Но почему завтра? — Темные глаза Россета были сухими, упрямыми и сердитыми. — Откуда он... почему именно завтра ночью?

— Завтра же новолуние! — Ньятенери, похоже, была искренне удивлена. — Волшебник может умереть только в ночь новолуния.

Очевидно, она была уверена, что даже деревенские олухи вроде нас должны знать такие простые вещи, и теперь досадовала на свою уверенность. Она повернулась и ушла, но лис остался сидеть на месте, не сводя с меня желтых глаз. Я слышал у себя в голове его голос — это скрипучее, насмешливое тявканье ни с чем не спутаешь: «Ну что, парень? Что, братец-конокрад? Не правда ли, теперь ты дальше от дома, чем кто бы то ни было на свете?» Я не мог двинуться с места. Наконец он лениво потянулся: сперва передом, потом задом, как собака или кошка, — и поскакал следом за Ньятенери. Пыльная пичуга вспорхнула почти у него из-под носа, он напружинил лапы, прыгнул, но промахнулся.

Россет смотрел на меня, как я на лиса.

— Что, у тебя завелся новый друг?

— Какой там друг! — сказал я. — Я просто время от времени оставляю для него кое-какие объедки, чтобы он не трогал цыплят Карша. Должно быть, он запомнил мой запах.

— С каких это пор ты стал так заботиться о цыплятах Карша?

Голос у Россета был тонкий и напряженный. Я пожал плечами и наклонился за последней оставшейся балкой, но Россет снова схватил меня за руку и воскликнул:

— Тикат! Почему мне никто не говорит, что происходит? Отчего на самом деле умирает волшебник? Почему он так уверен, что умрет именно завтра, в новолуние? Происходит что-то ужасное, а мне никто не говорит, в чем дело! Постояльцы дерутся у себя в комнатах. Лошади выбивают двери денников и бросаются друг на друга, точно демоны, даже старый бедолага Тунзи. Маринеша говорит, что Шадри будит весь дом каждую ночь — кричит, что его хоронят заживо. Почему Гатти-Джинни швырнул бутылкой в бродячего певца? Почему вода в колодце сделалась гнилостно-сладковатой, точно гной, и почему ветер не утихает ни на миг? Что пыта-

ется сказать мне Карш — и почему, почему именно теперь? Почему у тебя какие-то секреты с лисом? И главное, Тикат, что за нами следит? Что смотрит на нас всех с неба, из колодца, из глаз лошадей?

Я обнял его за плечи. Похоже, это удивило его не меньше, чем меня самого. Россет всегда внушал мне странное чувство — меня к нему вроде как тянуло. Я ни к кому не испытывал ничего подобного, кроме Лукассы. Поначалу это пугало меня, но чем дальше, тем меньше. Я сказал:

— Не знаю. Я был уверен, что все это мне только мерещится.

Россет отчаянно замотал головой.

— Нет, это все на самом деле! Тикат, давай поговорим! Давай сопоставим то, что известно нам обоим. Я расскажу тебе о том, что я почти вижу, а ты расскажешь мне, что тебе «мерещится». Я расскажу тебе, о чем я начал догадываться, а ты скажешь, что ты...

— Чего я боюсь, — закончил я, вспомнив волшебника. Россет озадаченно заморгал. Я сказал: — Не обращай внимания. Давай, Россет. Поговорим.

Мы говорили очень долго, дольше, чем когда бы то ни было, пока приколачивали на место последнюю балку и замазывали крышу смесью соломенной сечки и конского навоза, чтобы не протекала. У нас тоже так делают. Я рассказал о том, что лис оборачивается Красной Курткой, и о том, как моя Лукасса утонула, а потом Лал подняла ее со дна реки своей песней. Россет оба раза набрал было воздуху, чтобы сказать «Врешь!», но не сказал. И я тоже не сказал «врешь», когда он сообщил, что Ньятенери на самом деле не женщина, а мужчина, которого зовут Соукьян, и что он убил двух людей — опасных, злых людей — в бане. Уж не из них ли был тот, кто коснулся меня и оставил лежать без сознания в коридоре у двери волшебника? Но этого я так и не узнал. Рассказывая про Соукьяна, Россет покраснел и начал запинаться, но я все понял. Я похлопал его по плечу и кивнул. У нас в деревне один из священников говорит, что любовь мужчины к мужчине — великий грех, а другой говорит, что грешно только разбавлять вино, пережаривать мясо и разводить огонь не так, как делает это он. Что до меня, мое мнение по этому поводу никого не касается.

— Ну, и что же нам известно? — спросил я наконец. — Нам известно, что Лал и Соукьян приехали сюда искать своего друга и учителя и обнаружили, что он во власти волшебника по имени Аршадин, более могущественного, чем он сам. Так?

— Ну, насчет того, что Аршадин более могущественный, — это еще неизвестно! — возразил Россет. — Если бы этот был здоров и полон сил, все могло бы быть иначе.

Россет очень преданный.

— Может быть, — сказал я. — Но пока что Аршадин не дает ему набраться сил и посылает к нему по ночам голоса и видения, которые мучают его, если верить Маринеше. Так что, на мой взгляд, сейчас Аршадин его сильнее.

Россет прикусил нижнюю губу и упрямо набычился. Я продолжал:

— А если этот Аршадин способен творить такие злые чудеса, должно быть, он и стоит за всем, что творится этим летом в «Серпе и тесаке».

Я только теперь осознал, что за все время ни разу не произносил названия трактира. И внезапно мне ужасно захотелось жить в мире, где я бы вообще его не знал.

Россет поспешно закивал и открыл было рот, но я его перебил.

— Правда, все это совсем не мое дело, — сказал я так холодно, как только мог. — Эта навозная куча — твой дом, а не мой, и это единственное, что меня сейчас радует в жизни. Что бы ни произошло — или, наоборот, не произошло, — что бы ни стало с твоими поссорившимися волшебничками, я уеду туда, откуда приехал, и ничего об этом не узнаю. — Я встал. — Ну, все, я пошел. Мне еще надо помочь Гатти-Джинни прибраться в кладовках.

Я успел дойти до двери, когда Россет сказал:

— А Лукасса останется тут.

Я начал отвечать, но он перебил меня так же резко, как перед этим я перебил его.

— И я останусь, и Маринеша, которая была добра к тебе. Тебе что, правда все равно, что с нами станет, а, Тикат?

На два года моложе меня, а ревет, точно голодный шеснат! Мы некоторое время молча смотрели друг на друга. Я отвел глаза первым. И сказал:

— Я не уеду, пока она не окажется в надежном месте — если для нее найдется надежное место. А потом — ну что ж, потом мы с Кроликом можем отправляться домой или еще куда-нибудь.

Россет ничего не сказал. Я продолжал:

— Вам, остальным, придется самим о себе позаботиться. Я не умею любить больше чем одного человека за раз. Это и так достаточно трудно. А теперь я пошел в кладовки.

Я уже вышел из коптильни и зажмурился, привыкая к яркому свету, когда Россет снова меня окликнул:

— Тикат! Я прожил тут всю жизнь и ни разу не назвал это место домом. Ни разу. Но ты прав — это все-таки мой дом. И я буду защищать его, как смогу — его и моих друзей тоже. Спасибо, Тикат, что ты меня научил.

Я не обернулся. Я пошел к трактиру, вверх по склону, под палящими лучами солнца.

ПОВАРЕНОК

Это было лучшее время, какое бывало в трактире, потому что к полудню Шадри обычно засыпал, растянувшись на огромной колоде для рубки мяса, точно еще одна большая скользкая туша. Стоило ему захрапеть — и он не просыпался до вечера, когда наступало время готовить ужин, если только у кого-то хватало сил на то, чтобы есть. Но, несмотря на это, никто из других мальчишек не смел удирать из кухни вместе со мной, даже затем, чтобы поглазеть на постояльцев или погладить старого Россетова осла. Они все забивались в самые темные уголки, какие могли найти, и спали весь день напролет, как и сам повар. Некоторые даже храпели, в точности как он.

Все, кроме меня. Я каждый день, как только Шадри раскрывал свой мокрый, кривой рот и начинал храпеть, пробирался через судомойню и выскальзывал в черный ход, уже разевая свой собственный рот, чтобы набрать воздуху, даже прежде, чем на меня навалится полуденная жара. Никогда больше не видел такой жары: едва вставало солнце, ты начинал истекать потом, точно жирное мясо на сковородке. И неба такого я никогда больше не видел: поначалу белое, точно кость, а к вечеру белое, точно зола. Поздно ночью оно стано-

вилось белесо-лиловым, но при этом тьма стояла непроглядная. И днем или ночью, в доме или на улице, все мы жарились, точно на сковородке. Все превратилось в одну большую сковородку.

В судомойне было попрохладнее — это вообще самое прохладное место в доме, не считая винного погреба, куда в самую жару уходил вздремнуть Карш. Но я бы ни за что на свете не провел лишней секунды на кухне, а в трактир никому из нас, кроме самого Шадри, ходить не разрешалось. Поэтому я обычно для начала пробирался в конюшню и помогал Россету.

Россет был мой друг. Он, конечно, был намного старше, взрослый уже, и часто у него бывало слишком много работы, или он был занят какими-то своими мыслями, так что поболтать нам не удавалось. Но он никогда не сердился на меня, и пару раз даже прятал меня на чердаке и врал Шадри, который прибегал меня искать, шипя и размахивая своими длинными ручищами. Россет никогда не боялся Шадри, что бы тот ни делал. С Россетом я чувствовал себя в безопасности.

В тот день лошади лежали на соломе и не хотели вставать даже затем, чтобы их почистили или осмотрели копыта. Россет делал с ними, что мог, а я таскал воду и спихивал с чердака свежее сено. Потом мы устроились отдыхать в пустом деннике, усевшись так, чтобы нас было не видно от входа, и немного поболтали. Помнится, я спросил, почему все время так жарко, и Россет объяснил, что это из-за того, что в небе дерутся два великих мага. Он рассказал мне целую историю про этих магов, но я недослушал — заснул посреди рассказа, положив голову ему на руку.

Спать мне пришлось недолго, потому что пришел Тикат и разбудил меня. Он и Россета тоже разбудил, наверно. Сказал, что, жара там или нет, а Карш требует разгрузить телегу овощей с рынка. Тикат мне никогда не нравился. Не то чтобы он меня обижал — просто не нравился, и все. Временами я не мог понять, что он говорит, из-за этого его южанского выговора, а когда понимал, он обычно говорил мне, чтобы я убрался и не путался под ногами. Но когда они с Россетом уходили, Тикат указал на свой обед — прошлогоднее яблоко и пару непочатых хештисов, целиком покрытых румяной корочкой поджаренного сыра, — имея в виду, что я

могу это съесть. Так что, наверно, он был не так уж плох для южанина.

Остаток дня я бродил вокруг трактира, время от времени заглядывая на кухню, чтобы убедиться, что Шадри по-прежнему храпит. Я прятался в коптильне, в кладовке, в бане — даже в вонючем маленьком святилище на холме — отыскивая тень по мере того, как солнце ползло по небу. Но через некоторое время мне начало казаться, что солнце вообще не движется. Я смотрел, смотрел на него, глядя сквозь пальцы, и оно не сдвинулось даже на ноготь. Когда наступил полдень, оно так и зависло над конюшней, с каждой минутой становясь все тяжелее и наливаясь жаром, пока не сделалось снаружи белым, как ромашки. Но внутри оно было темное — черное, набухшее пятно, как желток в протухшем яйце. Когда оно сделалось таким, я перестал на него смотреть, но зато я начал слышать, как оно бьется, колотится, точно железное сердце. Этот медленный гул слышался повсюду, все время, он отдавался в костях, в глазах. И это гудящее солнце так и не двигалось с места.

Я не знал, что делать. Хотел найти Россета, показать ему, что творится с солнцем, но он все еще был занят где-то вместе с Тикатом. Вышел на улицу Гатти Молочный Глаз. Я немного поговорил с ним, потому что он ненавидит Шадри и ни за что не сказал бы ему, что я сбежал с кухни. Но все, что он мог сказать, — это как он боится сегодняшнего новолуния. Он повторял это раз за разом, закатывая свой белый глаз. «Не люблю я, когда луны нету, ох, не люблю! Луна должна быть всегда, хотя бы кусочек, чтобы можно было найти дорогу в темноте. Ночь без луны — это плохо». Так что с ним мне лучше не стало.

А потом пришел старик в красной куртке, и он меня утешил. Он пришел поздно вечером — по крайней мере, в другой день были бы уже сумерки. Обычно он именно в этот час приходил из Коркоруа, где жил его внук, и сидел в зале, болтая и попивая эль. Я это знаю, потому что Россет мне рассказывал — сам-то я в зале был только один раз, прибирался после драки, — и потому, что старик разговаривал со всеми. Он всех знал, даже поварят. Голос у него был странный, неприятный какой-то — он как будто расшатывал какую-то косточку внутри головы. Но все равно его все любили, кроме толстого Карша.

Когда старик увидел меня, ошивающегося в тени больших деревьев, что растут во дворе, он окликнул меня по имени и спросил:

— Эй, малыш, что ты тут делаешь так далеко от своих горшков и кастрюль? Разве ты не видишь, что даже солнце отказывается садиться от удивления?

Он порылся в кармане куртки и сунул мне пыльный леденец.

— Нет, не от удивления, — ответил я. Старику, похоже, жара была нипочем — как будто стоял самый обычный вечер, если не считать того, что в обычный вечер я был бы на кухне, носился туда-сюда, подавал, помешивал, мыл, чистил, все время следя за тем, чтобы не подвернуться под руку Шадри. Я сказал:

— Я не знаю, что такое с солнцем, с погодой и с людьми, но я тут ни при чем. Я просто хочу, чтобы все это прекратилось.

Старик подхватил меня и покружил в воздухе. Он был куда сильнее, чем можно было подумать, глядя на его седые волосы и худые старческие руки.

— Ну что ж, мальчик, — сказал он, — я могу прекратить это, если тебе так хочется. Хочешь, все это прекратится? Хочешь, я поговорю с солнцем и скажу ему, чтобы отправлялось спать, потому что одному мальчику хочется отдохнуть? Скажи одно слово — и я это сделаю!

Я кивнул. Он сказал:

— Ну ладно! — и поставил меня на землю. Мы оба рассмеялись.

Я отошел на несколько шагов и оглянулся — сам не знаю, почему. Старик был уже на полпути к двери трактира — не той, что вела в питейный зал, а резной, через которую ходили постояльцы. Я окликнул его, чтобы напомнить о его обещании, но он даже не обернулся. И в дверь он не постучал, а просто отворил ее и вошел внутрь, уверенно, точно сам Карш. Дверь захлопнулась за ним сильно, но совершенно беззвучно. Я это видел.

И сразу же небо начало темнеть, и жуткий медленный гул, исходящий от солнца, утих. Птицы защебетали, как бывает вечером. Я знаю, что если бы я поднял голову, то увидел бы, как солнце скользит по небу, точно масло по сковородке. Но головы я не поднял. Я стоял, зажмурившись, чувствуя, как на небе зажигаются звезды.

ЛАЛ

Это было глупо. Никогда еще мне не бывало так стыдно за себя. Все мы — Соукьян, Лукасса, Россет и я — толпились у постели Моего Друга, словно равнодушные родственники, ожидающие, когда он огласит свое завещание, сложит руки на груди и вежливо отойдет в мир иной. А ведь мы были его друзьями, и расставание наше было ужасным и безнадежным, — но мне больше всего запомнилось, как болел мой незаживший бок оттого, что я изо всех сил сдерживала неуместные девчачьи смешки. Непростительно. Совершенно непростительно. Лично мне кажется, что мое дурацкое поведение заметил только Соукьян, но даже если бы и все заметили — поделом мне.

Весь этот день и всю предыдущую ночь Мой Друг был не с нами. Нет, он не был мертв и не впал в беспамятство — он скитался где-то далеко, на грани, которую мы себе даже представить не могли, и сражался с наступающим новолунием. Нет, конечно, надежды на победу не было, даже для него. И все же он сражался. Он лежал без сознания, изо рта у него текла слюна, и исхудал он, точно молодой месяц. Он лежал на тюфяке в крошечной, запущенной комнатенке, и боролся за дневной свет. И проиграл.

В тот миг, когда солнце скрылось, он коротко охнул и открыл глаза. И сказал — так, точно его всего на минуту прервали кашлем или неуместным вопросом:

— Теперь слушайте. С грига-атом вам надлежит поступить так.

Из всего, что случилось тогда и потом, ничто не ужаснуло меня так, как эти слова, произнесенные ровным, сорванным голосом.

Мой Друг сказал:

— Времени у нас совсем мало, так что слушайте внимательно. Грига-ата нельзя ни победить, ни уничтожить — Лал, ты меня слышишь? Однако возможно ненадолго отвлечь его, и, быть может, таким образом вам удастся спастись. Если, конечно, вы сделаете все так, как я скажу.

Он оглядел комнату, в которой быстро темнело.

— А где Тикат?

— Сейчас должен прийти, — хрипло ответил Россет. —

Карш отправил его в святилище, чистить жертвенники. Он сейчас придет, честное слово!

Мой Друг накрыл своей дрожащей рукой руку Россета. И мягко сказал:

— Грига-ат уничтожит это место и всех, кто здесь есть. Быть может, вам удастся кое-кого спасти. Не знаю. Я вам помочь ничем не смогу.

Соукьян плакал. Он плакал беззвучно, стоя очень прямо, и слезы медленно катились у него по щекам одна за другой. Лукасса отчего-то вдруг раскраснелась, и губы у нее были плотно сжаты. Мой Друг продолжал:

— Как вам известно, есть такие существа, которые способны двигаться только по прямой, так что самая обычная ширма может защитить даже от ужаснейших из них. Есть другие, которые не могут пересекать текучей воды. Грига-аты подобных слабостей не имеют.

Он кивнул в сторону вазы с серебристыми печальницами, стоявшей на столе.

— Лукасса, дай-ка мне их. Побыстрее.

Вазу утром поставила на стол Маринеша. Цветы успели поникнуть и высохнуть еще до того, как их сорвали, и все же найти печальницы в конце лета, да еще такого страшного, было большой удачей. Вместе с печальницами — у нас на юге они выше и темнее, и их называют «тени ветра» — Маринеша поставила в вазу два или три цветка шули. Шули всегда бывают того же цвета, что небо, под которым они расцвели. Эти были совершенно бесцветные и теплые на ощупь, даже в воде. Мой Друг взял у Лукассы вазу, хотя казалось, что он ее не удержит. Цветы слабо зашевелились у него в пальцах.

— Это вас не спасет, — сказал он. — Грига-ат не шарахнется от них и не спрячется в угол. Но, быть может, оно хоть на миг вспомнит эти цветы. Быть может, они напомнят ему, что когда-то оно было человеком.

Он не давал нам возможности сломаться. Кажется, никто из нас не смотрел друг на друга — я, во всяком случае, не осмеливалась. Самой мне казалось, что вся кровь у меня в жилах обратилась в слезы. Мой Друг сказал:

— Оно будет выглядеть, как я. Поймите это, ради всего святого. Это существо будет похоже на меня, как две капли воды, и оно будет голодно. Теперь слушайте. Бросьте цветы

ему под ноги — прямо вместе с вазой. Лучше всего, чтобы это сделал ты, Соукьян. И бегите. Бегите без оглядки и не останавливайтесь даже затем, чтобы помочь друг другу. Не смотрите грига-ату в глаза. Поняли?

Никто из нас не мог вымолвить ни слова. Я услышала его раздраженный вздох — знакомый, как собственное дыхание, и столь же драгоценный, — и меня опять поразил бесслезный гнев и решимость на лице Лукассы. Мой Друг продолжал:

— Когда я умру, не плачьте — на это не будет времени...

И тут отворилась дверь, и неторопливо вошел старик в красной куртке.

Теперь я знаю все про лиса. Я знаю, кем он был, и как они с Соукьяном встретились, чем они были и чем не были друг для друга. Но в то время я не знала, какое отношение лис имеет к любезному, развеселому старичку в красной куртке. А потому была ошеломлена, когда Соукьян развернулся и разъяренно прикрикнул на старика на свистящем языке, который я могла бы узнать — я ведь слышала, как он говорил на нем с лисом в тот первый вечер. Красная Куртка на него даже не взглянул. Он лучезарно улыбнулся всем нам и направился к кровати. Я преградила ему путь — сама не зная, почему.

— Пропусти меня, глупая женщина! — приказал он. Поначалу его голос был похож на лисье тявканье Красной Куртки, но к концу фразы сделался иным. Этот голос я тоже когда-то слышала.

— Пропусти его, Лал, — тихо сказал Мой Друг у меня за спиной. Тогда я поняла, кто это, и отступила в сторону.

Он не сменил облика, пока не подошел вплотную к кровати и не взглянул на Моего Друга сверху вниз желтыми лисьими глазами. Глаза изменились первыми, сделавшись молочно-голубыми, лишенными зрачков. Эти глаза я тоже помнила. Дальнейшее превращение происходило медленно — с жуткой, ленивой медлительностью, — но когда оно завершилось, трудно было даже представить, что на этом месте был кто-то, кроме Аршадина. Аршадин произнес своим ровным, бесцветным голосом:

— Я тебе давно говорил, что под конец мы встретимся именно так. Ты не сможешь утверждать, что я тебе не говорил.

Мой Друг ответил ему с тем же выводящим из себя спокойствием, что и всегда:

— Погоди бахвалиться, Аршадин. Ты, конечно, велик, а я немощен, и все же тебе понадобилось немало времени, чтобы вырвать у меня солнце и погрузить его во тьму. И даже теперь ты не можешь меня убить. Тебе придется подождать новолуния. Я бы на твоем месте захватил с собой книжку или вышивание.

Но на этот раз ему не удалось задеть Аршадина. Тот равнодушно ответил:

— Я могу подождать. Ты лучше всех знаешь, как я умею ждать. Вот другие не могут.

— Тогда им придется научиться, — отпарировал Мой Друг. — Я лучше твоего знаком с этими твоими «другими», и ни один из них не осмелится покончить со мной, пока я лежу тут. Так что сходи, возьми стул, посидим и поболтаем напоследок. Поимей снисхождение к старому зануде, — добавил он, и я затаила дыхание: «У него есть план! О да, у него есть план! Надо быть наготове!» Даже тут я была готова поверить, что Мой Друг перехитрит Дядюшку Смерть.

Рядом стоял табурет, но Аршадин не обратил на него внимания. На прочих присутствующих он внимания тоже не обратил. Он остался стоять, белесый, рыхлый и сырой, как кусок свежего сыра. Но его внимание было физически ощутимо. Оно казалось зримым зверем, разверзшим свою алую пасть над Моим Другом, лежащим на кровати.

— О чем нам с тобой говорить? — бесстрастно спросил Аршадин. — Я знаю то, что знаешь ты, а тебе следовало бы наконец понять то, что я пытался сказать тебе с первого дня, как поступил к тебе в ученики.

Последнее слово сорвалось с его поджатых, тонких губ с такой силой, что Мой Друг поднял руку, словно бы желая защититься от него.

— К тебе в ученики, — повторил Аршадин. — Я был твоим воспитанником, твоим подмастерьем, твоим престолонаследником. Я бы с радостью продался самому жестокому работорговцу из западных земель, лишь бы навеки избавиться от этих почетных титулов. Слышишь ли ты меня, о учитель? Слышишь ли ты меня хотя бы теперь?

Мой Друг не ответил. Соукьян тихо зарычал и шагнул к

Аршадину. Я схватила его за руку. Россет все посматривал на дверь — ему явно хотелось, чтобы поскорее пришел Тикат. Что до Лукассы, она не сводила глаз с Аршадина. Она смотрела на него с такой жадностью, что можно было подумать, что это ее возлюбленный, если не видеть, как стиснуты ее губы. Она выглядела много старше своих лет.

Аршадин ее не замечал. За окном последние пятна заката растаяли в странной, белесой тьме. То была не прозрачная летняя ночь, какие обычно бывают на севере, а водянистый ложный рассвет, серый и изменчивый, точно ртуть. Ночь была пронизана рассеянным светом, так что в комнате было довольно светло, хотя свечей не зажигали. Россет выпрямился и застыл на месте. Глаза у него были расширены и неподвижны. Я обняла его за плечи, и юноша, дрожа, прижался ко мне.

С кровати послышалось бормотание Моего Друга:

— Мне мало чему пришлось учить тебя, Аршадин, но это немногое дорого тебе обойдется, когда ты наконец узнаешь это из других рук.

Голос его дребезжал, слова начинали путаться. Он говорил:

— Ты никогда не был моим учеником — вот в чем ошибка. Мне следовало бы насмешничать, запугивать тебя, забрасывать неразрешимыми загадками, оскорблять без передышки, с утра до вечера, как я делал с Лал, с Соукьяном, и со всеми прочими. Это они были учениками — ты же был мне равным с самого начала, и я дал тебе это понять. Вот в чем ошибка.

У него не было сил даже покачать головой — он едва сумел перекатить ее со стороны на сторону.

— Но как же еще прикажете вести себя с равным? У меня не было опыта в таком деле. Быть может, ты поведешь себя умнее, когда настанет твой черед...

Последние слова прозвучали, точно шорох дождевых капель по палой листве.

Я подумала, что он уже умер, но Аршадин знал, что это не так. Он наклонился над ним и крикнул в закрытые глаза:

— А если ты считал меня равным, почему же ты не доверил мне то, что мне нужно было знать? Почему ты был так уверен, что я использую это во зло? Я был молод, у меня еще

был выбор — у меня было много путей, много дорог, у меня все это было!

И снова я увидела, как его лицо всего на миг озарилось этой старой болью и сделалось почти прекрасным в своей печали. Но Аршадин тут же взял себя в руки и сухо продолжал:

— Многое могло бы произойти иначе. Такой конец не был предрешен нам с самого начала.

Мой Друг открыл глаза. На этот раз, когда он заговорил, голос его переменился. Он звучал несказанно устало, но спокойно, звонко и на диво молодо. Такое часто бывает с людьми на пороге смерти. Он сказал:

— Нет, Аршадин, был. Был. Пока ты оставался таким, каким ты был, у тебя была одна дорога. А я, будучи тем, кто я есть, любил тебя, каким ты был. Так что, как видишь, мы были обречены на это. Иначе быть не могло.

Он протянул дрожащую руку и взял правую руку Аршадина.

И все же, зная это, я любил тебя.

Аршадин отдернул руку, как будто прикосновение старика его обожгло.

— Ну и что? Кому какое дело? — осведомился он. — Твоя любовь — это твои личные трудности. Но я имел право на доверие! Скажи, что это не так, — и умрешь лжецом!

Теперь он почти визжал, сделавшись в своей мелочной ярости куда более человечным, чем я могла себе представить.

— Клянусь всеми вонючими богами и демонами, я имел право на твое доверие!

— Да, — мягко ответил ему Мой Друг. — Да, имел. Да. Извини.

Я никогда прежде не слышала, чтобы он извинялся.

— Но все равно, должен тебе сказать, что ты поступил глупо. Зря ты променял кровь своего сердца на желание своего сердца. Это сделка старая и очень нехорошая. Я полагал, что ты сумеешь распорядиться лучше.

Аршадин не ответил. Мой Друг сделал нам с Соукьяном знак подойти поближе, и мы подошли, встав у кровати напротив Аршадина. Я чувствовала запах волос Соукьяна и холодный аромат, неопровержимо свидетельствовавший о том, что Мой Друг умирает. Аршадин обильно потел, но его пот не имел запаха.

Мой Друг взглянул в сторону окна и кивнул, приветствуя новолуние. Соукьяну он сказал только: «Не забудь про цветы», а мне, более резко: «Чамата, что бы ты ни замышляла, забудь об этом!»

Лукасса и Россет протиснулись между нами, вслепую нашаривая его руки. Он истратил последний остаток своих телесных сил на то, чтобы оттолкнуть их и прошептать: «Нет-нет, не подходите близко, нет». Мы все отступили от кровати, даже Аршадин. Мой Друг произнес имя, которого я не знала, и умер.

Кое-что из того, что произошло в этот момент, я помню очень отчетливо. Помню, как мы четверо уставились не на тело, а на Аршадина, словно это он должен был превратиться в демона — что, впрочем, разумно. Он и сам поначалу выглядел встревоженным и растерянным, но потом поспешно начертил над кроватью пару знаков и пробормотал какие-то слова, от которых у меня по спине побежали мурашки, и уши заболели изнутри, как всегда бывает от таких вещей. Россет зажал уши руками, бедняжка. Я задвинула его себе за спину.

За плечом Аршадина, в окне начали светиться глаза, проступившие из белесой тьмы: сперва два, потом четыре, потом много-много, словно морозные узоры, затягивающие стекло. И ни одна пара не была похожа на другую — но во всех светилась злоба. Аршадин обернулся и заговорил с ними — с ними, или с чем-то еще, с чем-то, встающим из глубины позади этих глаз, с огромной волной, которая вынесла к окну эти злобные искорки. Аршадин воскликнул:

— Смотрите, он ваш! Он в вашей власти навеки! Я сделал, что обещал, и наш договор исполнен. Верните мне мою кровь, как обещали!

Если ему и ответили, я этого не услышала, потому что как раз тогда Мой Друг, который был мертв, шевельнулся, что-то пробормотал и медленно открыл глаза.

Мы мгновенно отвернулись, как он и приказывал. За других сказать не могу, но я тут же мельком взглянула на него — просто не могла не взглянуть. Он — нет, оно, — мне даже теперь страшно говорить об этом, — встало на постели и потянулось, испустив негромкий, задумчивый вздох. Словно ребенок в ночной рубашке, пробуждающийся к новому дню. Потом оно спустилось на пол и направилось к Аршади-

ну. Оно улыбалось — чуть заметно, ровно настолько, чтобы я могла разглядеть пламя, полыхающее меж черных зубов.

Аршадин, похоже, немного смутился, но не испугался, надо отдать ему должное. Это достойно уважения. Быть может, он ожидал, что та волна, вздымавшаяся позади глаз за окном, обретет плоть, вежливо поблагодарит его и избавит от этого жуткого создания, но, даже если так, он не проявил ни малейшего признака тревоги. Он надменно заговорил с грига-атом — на этот раз на языке, на котором говорят между собой волшебники. Я его немного понимаю. Аршадин велел грига-ату признать его и поклониться ему. Но даже от этих простых слов комната содрогнулась, словно сами стены попытались повиноваться приказу.

Стены повинуются волшебникам. А грига-аты — нет. Оно продолжало идти, не обращая внимания на заклинания, сотрясающие небо. Волшебник отступал шаг за шагом. Грига-ат по-прежнему был похож на человека, которого мы знали: он не вырос ни на дюйм, не сделался массивнее, у него не появилось дюжины лишних голов и рук — в моей стране демонов всегда рисуют многоголовыми и многорукими. Но когда оно улыбалось, изо рта било пламя, и из глаз у него катились кипящие, вонючие желтые слезы. Чудовище вытянуло руки, словно распахнуло объятия, и по-прежнему молча надвигалось на Аршадина.

Но и тогда Аршадин продолжал смотреть в лицо грига-ату, призывая силы, от которых бедный старый трактир содрогался до самых винных погребов. Мы слышали, как над головой трещат балки, как в соседних комнатах вылетают окна, как хлопают двери, разлетаясь в щепки. Должно быть, храбрость содержится все же не в крови и не в душе, потому что Аршадин был отчаянно храбрым человеком. Но будь он в десять раз храбрее и в сотню раз могущественнее, он все равно бы не смог ничего поделать с тварью, которая когда-то была Моим Другом. Чудовище по-прежнему наступало на него.

А мы четверо? Соукьян даже не взглянул на вазу с цветами, и я не подумала обратиться в бегство или хотя бы вытолкать за дверь Россета с Лукассой. Все советы умирающего волшебника пропали впустую: мы стояли, как будто нас разделяли сотни миль и сотни лет, одинокие, затерянные в голой пустыне, где не было ничего, кроме грига-ата. Во мне, на-

пример, не было места ничему, кроме невероятной истинности того существа, что надвигалось на Аршадина, и его слабой улыбки, полыхающей над содрогающимися стенами. Я помню только, что я ахнула, уставилась на эту тварь и так и стояла, окаменев на месте. Больше ничего сказать не могу.

Аршадин был не только храбр, но и горд. Он больше не звал на помощь, пока грига-ат не прижал его к окну. Тогда Аршадин развернулся, развернулся спиной к чудовищу, к нам, ко всему, кроме ночи за окном, и крикнул, все на том же языке волшебников:

— Осмелитесь ли вы бросить меня, воспользовавшись мною? Ну что ж! Я сам найду применение этому созданию. Верните мне мою кровь, или я найду ему такое применение, что вы пожалеете, что не сдержали слова! Послушайтесь моего совета, господа!

Пустая похвальба? Быть может. Он так и не отвернулся от окна, даже когда руки грига-ата почти коснулись его. Быть может, грига-ат его действительно коснулся, но этого я никогда не узнаю. Ночь вступила в комнату, не только из разбитого окна — она хлынула изо всех щелей, из каждой дыры от гвоздя в полу, через все поры изможденного дерева. Должно быть, так же, как тогда в башне, когда Аршадин призвал ее впервые, тьма собралась в углу, медленно образуя сгусток, сверху круглый, а внизу оканчивающийся рваной, перекрученной бахромой теней. Все вместе было высотой примерно по подбородок Россету. Как и в башне, сгусток этот превратился в проход в некое иное место, в темную арку, которая притянула мой взгляд и больше не отпускала. Под аркой зашевелился ветер — ветер иного мира, пахнущий горелой кровью.

Тьма заговорила с нами. Говорила она не словами — ее голос пел в корнях волос, чертил осколком битого стекла по лишенному кожи телу. «Идите ко мне, — пела тьма. — Будьте со мной. Будьте мною». Я повиновалась немедленно, не колеблясь ни секунды. Казалось, у меня нет выбора — да я и не хотела, чтобы выбор был. Соукьян оказался слева от меня, Россет взял меня за правую руку. Лукасса вскрикнула, но ее голос долетел будто издалека. Мы шагали прямиком в этот черный провал, и в тот миг я увидела — или почувствовала —

или узнала, — что там, на другой стороне. Нет, это место — не то, что вы думаете.

Но об этом мы говорить не станем, потому что тьма все-таки сдержала слово, данное Аршадину. Тьма явилась не за кем-то из нас, а за Моим Другом. Теперь, когда он стал таким, он мог, как молот, сокрушить основания мира. Тьма утратила интерес к нам и прекратила звать. Знаете, на что это было похоже? Как будто тебя вытащили из воды, когда ты уже прекратил барахтаться и начал спокойно погружаться на дно. Или как будто тебя оттащили от края обрыва, когда высота наконец убедила тебя, что ведь это все равно случится рано или поздно, так почему бы и не теперь? Еще мгновение — и я, по крайней мере, точно погибла бы. Да, я благодарна судьбе. Да, я знаю, мне следовало бы быть более благодарной.

Теперь тьма звала грига-ата: «Будь со мною, будь мною, будь мною...» Существо быстро отвернулось от Аршадина и издало звук, который я почувствовала, но не услышала, точно низкий стон воздуха, который бывает перед землетрясением. Соукьян, Лукасса и Россет отвернулись, но я на этот раз отворачиваться не стала. Храбрость и дерзость тут ни при чем: я просто застыла, слишком ошеломленная и растерянная, чтобы не взглянуть в глаза грига-ату.

Глаза были не его. Да, они остались зелеными, но это была зелень глубочайших северных морей, ледяная, склизкая зелень водорослей, которые вытаскивает якорь из неблагословенных мест, что с начала времен не видели солнца. Они охотились за солнцем, эти глаза, они собирались пожрать солнце. Но куда ужаснее было то, что в остальном лицо его не переменилось. «Оно будет как две капли воды похоже на меня», — предупреждал нас Мой Друг. И это была правда: как две капли воды, только еще больше — так же, как знакомые, любимые лица оборачиваются ужасно, чудовищно знакомыми в моих ночных кошмарах. Быть может, все мы, даже волшебники, — лишь смутные наброски того добра, что в нас есть, того зла, что мы могли бы совершить. Если это так, то, что смотрело на меня сейчас, было оригиналом Моего Друга, сутью его личности. Он был самим собой, всем, чем он мог бы быть — и он был ничем, в нем не было ничего, кроме разрушения. Нет, я не обратилась в камень,

увидев его, как бывает в старых сказках. Но и невредимой я не ушла. Остальное — мое дело.

Грига-ат не обратил на меня внимания. Чудовище прошло мимо. Оно все еще сохраняло лицо и облик — и даже запах, точно лодка, вытащенная на солнце, — того человека, которого я любила. Огонь только начал просачиваться сквозь тело, робко мерцая меж ребер и из подмышек. Грига-аты горят не сгорая, вечно. Со временем они становятся похожими на звезды, облаченные в человеческую плоть. Они испепеляют и поглощают все, к чему приближаются. За шаг перед тьмой чудовище остановилось, поворачивая тело Моего Друга туда-сюда, в странной нерешительности. Один раз оно даже оглянулось. Я спрятала лицо, как и остальные.

Кто-то принялся яростно ломиться в настоящую дверь настоящей комнаты. Этот звук как будто нарушил равновесие: грига-ат шагнул вперед и исчез из этого мира. Я еще некоторое время видела его — мне показалось, что это было очень долго: удаляясь, он разгорался все ярче, медленно вращаясь в черном проходе между тем, что мы знаем, и тем, чего мы знать не можем, ибо не вынесем этого знания. Кажется, я что-то крикнула ему вслед; но, если так, мой крик был заглушен, потому что в это время дверь подалась и в комнату ввалился Карш. Следом за ним вбежал Тикат.

ТРАКТИРЩИК

Должно быть, мне следует быть благодарным за то, что бутылки с полок посыпались не на меня, а на возчика-кинарики. Кинарики как раз расплачивался — он протянул руку, любезно оставив сдачу мне, и вдруг широко раскрыл глаза и беззвучно осел на пол. Что, боги ждут от меня благодарности? Ну хорошо. Благодарю.

Но больше эти боги от меня ничего не дождутся до конца моей жизни. Можете им так и передать, если вы имеете обыкновение беседовать с богами. Всего какая-то минута — и «Серп и тесак», бывший мне домом в течение тридцати лет, начал буквально разваливаться на глазах. Я знал, что этим кончится, еще в тот день, когда пустил к себе тех трех дамочек. Следом за бутылками посыпались все кружки и стака-

ны, что были в доме, а за кружками и стаканами — висячие лампы. Я сперва подумал было, что это джавак, хотя этих смерчей в наших краях не бывало с тех пор, когда Россет был еще маленьким. Но когда два стекла вылетели наружу — не внутрь, а именно наружу, — как будто их там и не было, и полки за стойкой начали отваливаться, протяжно скрипя старыми гвоздями, прочно засевшими в старых досках, я понял: это не джавак. Пивные насосы стонали и шатались у меня под рукой, норовя вывернуться из гнезд. Старые ржавые доспехи, которые я приколотил к стене, чтобы их не сперли, принялись летать по залу, точно болты из самострела. Одним таким зашибло торговца шкурами из Деварати, но, по-моему, он оклемался.

Землетрясение? Землетрясение?! Да пол даже не шелохнулся! Мои клиенты — те, что были в сознании, — попадали на пол и лежали, цепляясь за него ногтями, словно ящерицы за стену, а вокруг летали скамейки, осколки стекла и перевернутые столы. Полминуты — и я единственный во всем питейном зале остался стоять на ногах, хотя меня не поддерживало ничто, кроме возмущения. Потому что я-то ни на миг не усомнился в том, откуда все это разорение. Бури, вулканы, разгневанные боги — все чушь! Причина, проклятая причина всего этого бардака была у меня над головой, всего в нескольких дюймах, и я уже бросился туда, хотя со стороны могло показаться, что я стою на месте. Я просто ждал, пока мои ноги догонят мою ярость.

Тут в дверь со двора ввалился Тикат. Он пригибался, чтобы не упасть. Когда я вышел из-за стойки ему навстречу, я почувствовал себя крохотной лодчонкой, которая пытается отчалить от берега в бурю. Тикат что-то орал и указывал наверх. Я его не слышал из-за грохота, но и так понял, что он спрашивает про свою безумную Лукассу. Я покачал головой и крикнул в ответ:

— Где этот чертов мальчишка? Ты мальчишку не видел?

Он не потрудился ответить. Он пробежал мимо, наступая на клиентов и доспехи, оскальзываясь в лужах эля и вина. К лестнице. Я вскарабкался по лестнице следом за ним и отпихнул его с дороги, прежде чем мы добрались до площадки. Нет, эту дверь никто, кроме меня, взламывать не будет!

ТИКАТ

Даже внизу, в питейном зале, было достаточно плохо. Окна вылетели, но на меня все равно навалилась такая тяжесть, что я чувствовал себя, как под водой, когда все нырял и нырял за Лукассой. Я даже задержал дыхание, боясь захлебнуться, и раздвигал воздух руками, пробираясь вперед. А сверху дул жаркий, вонючий ветер, и нас с Каршем мотало от стены к перилам, а ступеньки разлетались у нас под ногами. Казалось, мы вовсе не продвигаемся вперед — точно птицы, которые летят навстречу буре, и их медленно сносит назад, и хорошо, если не слишком далеко. Долго ли это продолжалось — сказать не могу.

Теперь я думаю — я сказал «думаю», — что тогда бы я, наверно, сдался, если бы не Карш. Не то, чтобы он хоть раз оглянулся на меня после того, как отпихнул меня в сторону, не говоря уже о том, чтобы подбадривать. На самом деле один раз он даже оступился и рухнул на меня, и тут бы мы оба и покатились вниз по разлетающимся в щепки ступенькам, если бы мне не удалось поймать его и одновременно устоять на ногах. Но этот громогласный толстяк ни разу не дрогнул и даже не оглянулся. Он нагнул мясистую шею, сгорбил плечи и пробивался вперед, отдуваясь и бранясь, навстречу ветру. Я шел следом, прячась у него за спиной и не понимая, что гонит его вперед. Потому что это ведь был Карш, вы же понимаете. Был бы кто другой на его месте, я бы понял, но Карш...

На площадке он приостановился и встряхнулся. Я увидел его лицо, побелевшее от гнева, который накатывает на Карша, когда все идет не так, как ему хотелось бы. Голубые глаза потемнели, сделавшись почти лиловыми, и он до крови закусил нижнюю губу. А потом помчался дальше по коридору, заполненному сыплющейся штукатуркой, клубами пыли и визжащими постояльцами. Постояльцы расталкивали друг друга, ломясь к лестнице. Меня почти сразу сбили с ног, но я сумел откатиться в сторону и подняться на ноги, переступив через упавшего человека в фиолетовом халате. Коридор гремел и ходил волнами, как те железные листы, с помощью которых бродячие актеры изображали гром. Я заслонил лицо руками и принялся пробираться к двери комнаты тафьи.

Карш был уже там. Сперва он колотил в дверь кулаками. Потом покрутил ручку, попинал дверь ногами и, наконец, принялся бросаться на нее с разбегу. На то, чтобы орать, у него уже не хватало дыхания — я слышал, как он тяжело хрипит, впечатываясь в толстые старые доски. Когда дверь наконец подалась и мы с размаху влетели в комнату, я оказался на шаг позади.

В дальнем конце комнаты не было ничего. Пустота. Нет, вы послушайте, не перебивайте. Послушайте меня. Пустота была пастью: видно было, как ее края кривятся и сходятся, точно губы. Пасть уже начинала закрываться, и оттуда дул гнилой ветер. Далеко впереди — или далеко внизу, — виднелась яркая-яркая искорка. Она падала в пустоту, отважно сияя. Я понял, что это было.

Лукасса стояла ко мне спиной, рядом с пустой кроватью. Там были и другие, но я видел только ее. Когда мы с Каршем вломились в комнату, она не оглянулась на шум. Она пошла вперед, к этой черной пасти, которая закрывалась все быстрее. Шаги Лукассы были легки, как тогда, когда она выходила мне навстречу. Она не бежала, но сердце и глаза ее стремились вперед. Она исчезла в пустоте прежде, чем я успел ее окликнуть; и прежде, чем я успел прыгнуть туда сам, пустота захлопнулась и исчезла — осталась лишь осевшая, рушащаяся стена крохотной комнатенки, заполненной звуком ее имени.

ЛУКАССА

Я не Лукасса.

Я никто.

Кто может миновать врата смерти дважды? Никто. Я — никто. Я прошла эти врата, и они меня подождали. Они не хотят ждать, но я их заставлю.

Холодно, холодно, холодно, как в реке. Кто-то звал — зовет меня, далеко позади, на краю Лукассы. Но я тогда не была Лукассой. Я — рисунок, который соскребли, нарисовали заново и опять стерли. Далеко впереди — звезда. Звезда поет, обещает сказать мне мое имя, со временем, если я ее догоню. Быть может, я здесь — я была здесь — именно за этим? Надо спешить. Спешила ли я?

Смерть — нигде, выстланное молниями. Я помню. Под ногами — холодное нигде, но я шла быстро, потому что помню дорогу. Кругом лица, и прежде были лица, плавающие во тьме между мной и звездой. Когда я умру в первый раз, я увижу те же самые лица.

Здесь, на дне реки, тише тихого. Надо мной, на поверхности, вода рычит и бесится — она будет терзать меня, когда я упаду ей в зубы. Но лежа на дне, я посмотрела наверх, сквозь тишину, и увидела, как мимо плывут лица — так много грубых, усталых деревенских лиц. Почему они узнают меня и ласково улыбаются мне? Этого не может быть. Я ведь никто.

А дальше — моя звезда. Я отметаю лица в сторону, выхожу из воды, иду через бобовые поля и соломенные крыши, следую за пением звезды. Если идти не уставая, не думая, не надеясь, звезда постепенно становится ближе. Я помню.

Это по-другому. Почему сейчас все по-другому? Смерть есть смерть. Но что-то изменилось. Тьма. Я вижу, как огромные желтые когти рвут ее с другой стороны, рассекая покров тьмы, и из ран сочится зеленоватое свечение. Когти отдергиваются, ударяют снова, они оставляют взбухшие рубцы, как те, что будут у него на спине, когда дядя побьет его за то, что воровал фрукты. Побьет? Кого? Лица начинают щелкать зубами, с шипением проплывая мимо. Их было так много, временами за ними даже звезды не видно.

Почему я должна до сих пор его слышать? Тут шумно — совсем не так, как на дне. Теперь лица несутся на меня, точно пики, и тварь по другую сторону тьмы все хихикает себе под нос, продолжая терзать тьму когтями, и тьма рычит от боли, с каждым ударом все громче. И все равно я слышала вдалеке его зов — далеко-далеко, дальше всего на свете. Это имя, которым он будет звать меня. Это имя — не мое, и никогда не было моим, не было мною.

Надо слушать звезду, и ничего больше. У звезды был женский голос, низкий, хриплый, как у горожанки, с чужеземной интонацией. Я часто теряю звезду из вида, потому что вокруг бьется и корчится тьма, но я все время слышала ее пение, чистое, как утренний ветер. Если она по-прежнему будет петь, в один прекрасный день я ее догоню, и тогда она скажет мне мое имя.

На этот раз смерть была совсем другой. На этот раз

смерть кипит, бурлит, кишит движением, красками и мирской суетой. Почти как обычная рыночная площадь, если не считать тех, кто стоит за прилавками и того, чем тут торгуют. Эти существа и вещи невозможно ни вообразить, ни описать словами. Впрочем, это неважно, потому что они все равно были не настоящие. Вот речное дно — настоящее.

Когда я прохожу мимо, они устремляются за мной, эти твари из огня и грязи, которые урчат, бормочут и терзают мою тень, потому что у них нет теней. Неважно. Эта смерть — сплошная тень; эта смерть была похожа на теневые фигурки на стене, которые кто-то делал — для кого? Что эта была за грязная оштукатуренная стена с длинной щелью возле кладовки с метлами, на которую отбрасывали тень тонкие гибкие пальцы, изображая шевелящихся чудищ? Эта смерть — подделка, жалкая страна, которая облезает слой за слоем, точно луковица, под ударами желтых когтей. И даже эта тварь снаружи — не более чем шумная тень, когда я наконец посмотрю ей в лицо, стоя над клочьями тьмы. Когти — дряблые и сморщенные, как гнилые овощи, и кровожадное хихиканье — всего-навсего старческий кашель. Неважно. Иду дальше.

Может, и звезда тоже только тень? Тьма изодрана в клочья, осталось только низкое, вязкое небо цвета когтей. Звезда кажется крупнее и ближе, движется вяло, прилипает к небу. Звезда была мужчиной, а не женщиной. Он горит ярко-ярко — неудивительно, что я так хорошо вижу его издалека. Он поет и зовет. Что я должна делать, когда догоню его? Не помню. Но я это знаю.

Здесь что-то есть. Не тень, нечто иное. За всем этим дурацким представлением таилось чье-то ожидание. Нечто поспешно бросает свои марионетки и ускользает, когда я подхожу ближе. Нашла ли я его? Оно хотело ту звезду, оно движется к звезде, как и я. Оно настоящее, как и речное дно. Подбирается к звезде.

— Покажись! — говорю я. Не показывается. Я говорю: — Покажись, чего тебе бояться? Это же твоя игра, не моя.

Оно подпускает меня почти вплотную, шуршит в осыпавшейся штукатурке разрушенной Вселенной и снова ускользает следом за звездой. Это рассердило меня. Оно не может догнать звезду, но будет вечно вспугивать ее, чтобы и

я не смогла ее догнать. У меня есть вечность, но у звезды-то нет. Откуда я это знаю?

Нет, на дне реки будет лучше, чем здесь. Миры под ногами, как разбросанные игрушки, но они ненастоящие — все ненастоящее, кроме звезды и меня, и еще этого трусливого нечто, которое крадется впереди меня. А он по-прежнему зовет, громко кричит через все поддельные небеса и преисподние, непрестанно повторяя то имя, которое не я. Крики пробуждают пепельные создания, сделанные из сырой опавшей листвы. Багряно-золотые бабочки с длинными и острыми рыбьими зубами кружат и сопят возле самого лица. Что-то вроде ходячих холмов безмолвно встает у меня за спиной. Существа, похожие на людей, сотканных из сумерек, пляшут и сплетаются передо мной, потом отходят, оглядываются и плачут, видя, что я не иду за ними. Потом все скрывается в волнах густого тумана, преграждающего мне путь. Но звезда зовет, и я иду мимо.

К чему? Куда? Быть может, все это уже было? Звезда медленно-медленно плывет назад, мне навстречу, и то, другое, отползает в сторону. Его не видно, но оно сопит. Внезапно лица исчезают. Нет больше ни ярмарочных великанов, ни нарисованного пейзажа: все цвета, кроме отсутствия цвета, стекли, словно смытые дождем, и остался лишь слабый восковой звездный свет над узкой лентой нигде, и я между ними. В этой пустоте кромешной слышатся лишь три звука: сердитое пение впереди, зов далеко позади, и тихое хриплое сопение в такт моим шагам. Тысяча лет, десять тысяч лет, десять тысяч тысячелетий.

Как может он звать так долго — и как я могу слышать его? Я ложусь на спину, на дно реки, всего на миг, чтобы еще разок взглянуть на те, другие лица, но и они тоже исчезли. Но мне все равно трудно встать и идти дальше, следом за звездой, хотя я и не ведаю усталости. Наверно, мне хотелось бы уметь уставать. Чтобы мне могло быть холодно или жарко, чтобы я могла сердиться или бояться. Как хорошо уметь бояться! Но у меня есть важное дело, и только звезда может сказать мне, что это за дело. Но почему он все зовет меня этим именем?!

А что, я пела? Значит, это я пела все эти века? Я шла следом за собственной песней?

Кто-то «да»,
А кто-то — «нет»,
И так идет с начала лет.
Кто-то «нет»,
А кто-то — «да»,
Но боги видят не всегда.
Кто-то встал, другой упал,
Вот ты промазал — я попал,
Так вертится колесо,
Дни смыкаются в кольцо...

Детская песенка. Но что это были за дети? Племянники. Чьи-то глупые племянники распевали эти дурацкие стишки. А как же звезда? Что, звезда вообще не пела? Значит, это я пела все время, зовя его назад, так же, как когда-то кто-то вызовет меня песней со дна реки? «Овощи. Она пела овощам...»

Звезда теперь так близко, что я вижу: это вовсе не звезда, просто человек, старик, падающий в это старое-старое небо. Он улыбается и поднимает руки, показывая мне пламя, сочащееся из-под ногтей. Пламя тоже видит меня — оно манит, смеется, тянется к моим рукам. У человека прекрасное лицо, мудрое и решительное. Он заговорил со мной, но я не могу разобрать слов — мешает пламя, бьющееся у него под языком. Но мне не надо слышать его. Теперь я знаю, что делать.

Когда я коснусь его руки, он освободится и от неба, и от огня, освободится от всего, чего хочет от него это бледное место. И тогда мы вместе пойдем назад, на дно реки. Там тихо. Вода исцелит его ожоги. Я встаю на цыпочки, чтобы коснуться горящей руки.

И тогда! Там!

Оно встает между мною и стариком, и не остается ничего, кроме его голоса. Оно говорит: «Мое!»

Не могу смотреть. Не могу думать. «Мое!» Должно быть, у меня течет кровь из глаз и из ушей: голова полна крови. Голос пронзает меня — здесь, здесь, здесь: «Мое! Мое! Мое! Мое!», — пока я не падаю на колени, пряча лицо, пытаясь воскликнуть: «Твой! Да-да, он твой, и я твоя!» Но слова отказываются повиноваться мне. Ведь у меня есть дело, и слова это знают. «Мое, мое», но я не могу сдаться, мне это не дозволено. Я встаю.

И вот что я увижу.

Поначалу оно выглядит почти как человек. Оно высокое, нагое, со впалой грудью и вздернутыми широкими костля-

выми плечами. Жидкие пряди бесцветных волос. Голова слишком маленькая для такой толстой шеи. Огромные глаза — прекрасные бесформенные очи, похожие на цветы, на брызги воды, озаренные солнцем. Длинные трехпалые руки. Ушей нет совсем. Кожа белая, как мучной червь, туго натянутая и кривящаяся вокруг влажного синего рта. Рот полон зубов, мелких, острых, как зубья пилы. Зубы уходят внутрь до самой сине-зеленой глотки. Даже губы усыпаны зубами, даже влажный язык. Этот круглый сверкающий рот не может говорить, но одно слово вылетало из него снова и снова, терзая меня, все дни, что смыкаются в кольцо. «Мое! Мое!»

Я зажимаю уши, хотя это не поможет. И говорю: «Нет!»

«Мое!» Раскаленная игла пронзает меня до мозга костей, но я больше не падаю. Мои кости отвечают: «Нет! Он принадлежит мне». Мне никто не принадлежит, ведь я и сама — никто, но так говорят мои кости. «Ты не можешь забрать его. Я пришла, чтобы отвести его на его место. Отойди, ты!»

Я снова тянусь к пылающему старику — он снова протягивает мне свою руку с огненными ногтями — и снова это слово обжигает мой мозг, словно его лизнул этот зубастый язык. «Мое!» Но на миг сам этот голос меняется — он почти озадаченный, чуточку неуверенный, требовательный окрик готов превратиться в вопрос. Другое слово. Мои кости снова отзываются стоном. «Сделка».

Кто-то ответил:

— Он не заключал сделок. Ты не имеешь права на него.

Мой собственный голос. Дрожит, нагой на краю вечной бездны. Я снова тянусь к руке старика. Чувствую, как Оно жадно следит за моей рукой, но молчит. Пока молчит.

Рука яростно пылает в моей руке, не обжигая меня. Из того места, где соединились руки, поднимается прозрачный черный дым, но я чувствую только, как между наших ладоней слабо шевелится что-то живое. Старик смотрит на наши сомкнутые руки и наклоняет голову, быстро, но торжественно, чтобы поцеловать мою руку. Вот поцелуй — тот жжется. Я пытаюсь отдернуть руку, но старик волочится следом, словно часть меня, и ухмыляется. Он не то, что я думала, совсем не то. И все же мне надо что-то сделать — сделать что-то для него, с ним. Но если ему не суждено упокоиться на дне реки, то что же тогда?

Надо действовать так, как будто я знаю, что делать. Надо идти. Тут непонятно, где лево, где право, где верх, где низ — я могла бы описать круг, стоя на голове, и не заметить этого, — но из ничто любой путь может вести в нужную сторону. Я повернулась и отправилась обратно, откуда пришла, продолжая крепко сжимать руку старика. Под сухой пергаментной кожей, точно сердце пичуги, билось пламя.

Огненные пальцы сомкнутся на моем запястье. Они по-прежнему не обжигают меня, но мне приходится остановиться. Старик по-прежнему насмешливо улыбался и ждал. Позади него ждало Оно. Круглый синий рот пульсировал, точно обнаженное сердце. Взглянув на него, я чувствую, как мое собственное сердце замирает и кровь течет в обратную сторону. Они хотят напугать меня, но я ведь никто, я мертва — кто они такие, чтобы я их боялась? Я сильно тяну старика за руку.

— Пойдем, пойдем домой, — говорю я ему, точно заблудившемуся животному — или тихому пьяненькому папе. Чьему папе? — Нам с тобой надо на дно реки, — говорю я.

Он послушно прошел следом за мной еще несколько шагов — а Оно все следит, не двигаясь с места, — а потом развернулся ко мне лицом и вскинул руки. Снова улыбка, из которой ползет пламя, а потом он взрывается, растет, уходя головой в окутывающую нас дымку. Он растет так быстро, что ничто не в силах вместить его — и я не успеваю следить за ним глазами. Он разливается вширь и ввысь, наполняя ночь собою, с безмолвным стоном, который поглощает меня, как река. Я так же беспомощно болтыхаюсь в волнах его бесконечной ярости, как он сам в этом бледном дряхлом небе.

Но он не может причинить мне вред. Я дважды миновала врата смерти, один раз — по доброй воле, и ничто здесь не может причинить мне вред. Я снова тянусь к его огненной руке и кричу в ухо, похожее на закатное облако:

— Идем со мной! Я отведу тебя домой!

Проходит год — или месяц — или несколько минут, — и он снова становится ростом с обычного человека. Он впервые видит меня своими удивительными, жуткими глазами, зелеными, как небо перед большой бурей. Он издает странный звук — тихое шипение, хриплое, предостерегающее и жалобное. Я говорю:

— Тебе нечего тут делать, так же, как и мне. Ты ведь знаешь.

И тут Оно приходит в движение. Оно скользит в нашу сторону на длинных аистиных ногах, которые сгибаются и вперед, и назад. Синие губы на вытянутом лице выпячиваются, словно обрели собственную жизнь, тянутся ко мне. Мне хочется спрятаться за спиной горящего старика. Но, помнится, я осталась на месте, только внутренне сжалась. Прятаться нельзя — а то ребята тебя заклюют. Я снова говорю:

— Ты не имеешь права. Пропусти нас.

«Сделка. Наша сделка». Каждое слово выжигается у меня на лбу, точно каленым железом. Эти ожоги никогда не заживут. Мои слова отвечают:

— Сделка? Поговори об этом с ним, с другим — это он заключил с тобой сделку.

Я их не понимаю, этих слов, но старик смотрит на меня и беззвучно смеется алым ртом. Старик проходит мимо этого Оно, не глядя в его сторону и не дожидаясь меня.

Трехпалая рука тянется, тянется вниз, к моему плечу. Я не могу допустить, чтобы эта рука коснулась меня — я вижу липкую дрянь на длинной белой ладони. Я шарахаюсь в сторону, но рука указывает мимо меня, туда, где должен быть горизонт, но вместо него — лишь пятно бесцветной мути, где ничто сходится с нигде. Оно приказывает нам уходить. Так я подумала. Я еще раз оглядываюсь назад и иду следом за стариком.

Они тут же появляются снова, все разом, встают во тьме, точно созвездия. Ни одно не похоже на другое, ни одно не похоже на Оно, и все же все они — части единого целого. Одно — с меня ростом, похожее на человека, слепое и со множеством крохотных человеческих ручек и ножек, словно насекомое. Другое — наполовину как огромная грозовая туча, а снизу — пульсирующая багровая слизь. Третье — красивое, похожее на прекрасную рыбу, но такое тонкое и прозрачное, что внутри него видны суетящиеся мелкие тени. Еще одно — точно куча драгоценных камней, меж которых сверкают бесчисленные глаза. Еще одно — вообще всего лишь яркий силуэт в небе, созвездие из сусального золота и крови. И еще, и еще, и еще одно, и нам со стариком никак их не обойти. Они все тут, они ждут нас даже на дне реки, и у меня в костях, вечно. «Наша сделка! Наша сделка!»

Странно то, что эти жуткие крики терзают меня не сильнее, чем тогда, когда все они были одним Оно. Единое целое,

единое желание. Должно быть, дело в этом. Что касается остального — я знала только, что они хотят плохого. Хотя я теперь не могу знать, что такое хорошо и что такое плохо. Да вряд ли они и сами это знают. И еще я знаю, что они настоящие, даже если это — не настоящий их облик. И что они хотят заполучить горящего старика.

— Ну что ж, — говорю я ему. — У нас впереди долгий путь, а они стоят у нас на дороге.

На этот раз он сам берет меня за руку. Мы идем к ним, и они плотнеют и смыкаются перед нами, не двигаясь с места. Так испуганное животное ощетинивается и кажется больше. Старик поднял свободную руку, направив на них все пять пальцев. Из-под ногтей вырываются сине-зеленые языки пламени. На концах языков — яростно ощеренные головы хищников: шекнатов, нишори, горных таргов. С каждым нашим шагом головы становятся все больше. Те, что ждут нас, не отступают ни на шаг, но видно, что им страшно. Оно боится старика.

Старик улыбается им, ненадолго распахивая печь, что пылает внутри него. Я вежливо говорю: «Разрешите, пожалуйста!», — и они расступаются, ровно настолько, чтобы мы могли пройти между ними. Потом смыкаются вокруг, возвышаясь над нами, точно горы, обжигая мне кости своими горячими словами. Но огненные звери тоже окружают нас, они говорят на своем языке, они шипят и рычат, по-своему прося разрешения пройти. И там, где мы проходим, всегда оказывается достаточно места.

Внезапно я чувствую, что это уже слишком для мертвого человека. Слишком странно, слишком одиноко, слишком безумно. Если бы не старик, я бы, наверно, легла прямо здесь, по ту сторону никогда, между камней с блестящими глазами, бормочущими паучьими лапами и сложенными крыльями, и позволила бы этому Оно делать со мной все, что захочет. Но Оно хотело заполучить только старика — почему, я не знаю, как не знаю и того, почему этого нельзя было допустить. Просто нельзя, и все. Я держусь за его руку, трепещущую от бьющегося пламени, и он смотрит на меня и улыбается своей убийственной улыбкой, и так мы пройдем.

«Сделка, сделка! Наша сделка!» Быть может, они — зло, но и зло может страдать от несправедливости. Обиженные вопли преследуют меня еще долго после того, как Оно оста-

лось позади, после того, как мы прошли мимо, возвращаясь на дно реки. А может, мы вернулись к вратам смерти и оставили их позади, когда зов наконец тоже утих? Старик не должен быть с этим Оно, но где он должен быть? Куда он хочет пойти? Каждый раз, как я оглядываюсь на него, он смотрит на меня, и хотя лицо его спокойно и величаво, пламя под кожей смеется. Пламя шуршит, как бумага, в которую заворачивают подарки. Откуда я это знаю? Кто станет дарить мне подарки — ведь я же никто?

На обратном пути — или это был путь вперед? Туда или оттуда? — нас не зовут песни, мы не встречаемся с голодными тенями, не проходим рынков, которые превращаются в миры, что оказываются всего лишь опилками и битой посудой. Нас только двое, и мы молча шагаем в извечной тьме, а ведь у меня больше нет в запасе вечности. Теперь я чувствую себя усталой, хотя раньше не умела уставать, не умела чувствовать, и чем дальше мы идем, тем меньше я понимаю, куда мы идем. Я не знала этого и раньше, но тогда я шла за пением звезды. А теперь мне даже хочется, чтобы кто-то по-прежнему звал меня по имени, хотя это имя и не мое. Я могла бы идти на этот зов, куда бы он ни звал, и старик мог бы следовать за мной. А теперь тьма смыкается вокруг нас — я чувствую, как она тычется мне в спину — и смеется, смеется. И теперь мне начинает становиться страшно. Как будто я живая.

Но все равно, когда он оборачивается, я готова к этому. Я сказала:

— Нет. Тебе не надо на дно. Нет. Тебе нужна моя помощь, если ты хочешь обрести покой.

Но он нависает надо мной, пламя струится из руки в руку и развевается у него за спиной, точно бело-голубая мантия. Он открывает рот и с хохотом вливает пылающий яд мне в жилы. Я тщетно закрываюсь руками и зову кого-то на помощь, потому что бесконечной ночи пришел конец, и мне тоже. Но кто придет на помощь, когда зовет никто?

ЛИС

Человечий облик! Он спер человечий облик!

Я чувствовал, чувствовал, как он уходит — с ледяным шелестом, как нож, выскальзывающий из раны. Никогда, ни-

когда, никогда еще, никто еще не позволял себе такой наглости! Грабеж! Замечательный дедуля, человечий облик, чудные белые усы, красная солдатская куртка, такие улыбчивые щеки, такие блестящие внимательные глаза, восхитительная свобода стоять, сидеть, говорить, смеяться, петь, пить красный эль — все пропало, все стащили, и внутренности тоже! Постучи по животу — и услышишь эхо. Вот что такое был мой человечий облик! Все пропало!

Другой. Не старый злой волшебник, а тот, другой, который сильнее, который его в плену держал. Сперва крадет солнце с неба, потом человечий облик — «хо-хо, что же может поделать бедный лис с таким могуществом?». Хо-хо, куда больше, чем хотелось бы, глупый волшебник! Человечьего облика даже старое ничто не трогало, сколько мне ни приходилось бегать по его поручениям в этом мире. Ах, глупый, небрежный, тщеславный волшебник! Этого лиса так просто не возьмешь.

Но этот лис может сидеть под Маринешиным деревом нарил и думать, думать очень быстро, потому что времени очень мало. Наконец-то закат, пылающий, как обездоленное сердце некоего лиса. Ветра нет — по крайней мере, тут, под деревом. Я сижу и смотрю, пока окна трактира не начинают падать на меня, сверкающие и колючие, как снежинки. По черепице гремят кирпичи от трубы, черепица медленно осыпается — жаль, жаль славных тепленьких голубков, — карнизы выгибаются, точно брови. Грохот, звон, внутри вопли, толстый трактирщик ревет, точно шекнат, который ищет себе шекнатицу. С неба бьют молнии прямо в комнату волшебника — это все там, в той комнате, и ветер, и пламя, и тьма, да-да-да. И человечий облик тоже.

Ну так что, лис — который навеки останется лисом, если не будет действовать быстро и ловко, — обратно туда, в ту комнату? Да, и все же... Нет-нет, на «все же» нет времени — но в чем дело-то? Беленькая безумная светящаяся малышка. Лукасса. Ушла в ветер, дальше, чем ветер, туда, где нет ни подруг, ни трактирщиков, ни ручных лисичек, туда, куда людям ходить не положено. Она ушла туда следом за григаатом, который был старым злым волшебником. Лукасса.

А мне-то какое дело? Меня это не волнует, все равно как и войны магов. Мое дело — вернуть человечий облик, и все.

Пусть себе плюются друг в друга заклинаниями, ломают друг другу игрушки, колдовством переносят друг друга через полмира — только пусть не хватаются своими волшебными руками за то, что принадлежит только старому ничто и мне. Старое ничто говорит: «Найди его. Найди вора. Объясни ему». Вот так. И пускай Лукасса сама о себе позаботится.

И все же...

У нас со старым ничто друзей нету. Соглашения — да, удобные спутники — сколько угодно, а друзей нету, не бывает. Этих людей и различать-то трудно, какие уж там чувства! Ньятенери, Лукасса — удобная сумка, теплые руки ночью, и ничего больше. Пусть себе целуют в нос, сколько влезет, какая разница? Не бывает.

«Найди!» — говорит старое ничто. Снова грохот, визг, еще несколько окон рассыпаются снегом. Трактир толстого трактирщика корчится и скрежещет по земле. Люди напуганы, высыпают во двор, бегают, толкаются, падают. Наверху, в комнате волшебника, прислонившись к пустой, разбитой раме окна — тот, другой. Лицо говорит: «Я победил, победил!» Плечи не так уверены. Старое ничто: «Теперь! Сейчас!»

Пускай Лукасса сама о себе позаботится.

Помочь ей, помочь злому волшебнику? Никогда.

Стоит привязаться к человеку, к одному-единственному человеку — и этому конца не будет! Не бывает. Я — тот, кто я есть.

Старое ничто: «Ты мой мизинчик, мой усик, моя родинка. Приведи его ко мне, сейчас же, быстро. Это он, это его алчность мешает мне спать. Ты получишь назад свой человечий облик, а я высосу его силу. Он будет моей левой рукой».

Ну что, снова через гнилую доску за печкой? Да что там, можно войти в дверь, как постоялец, укусить за задницу Гатти-Джинни, пройти между ног у толстого трактирщика, задержаться, чтобы пустить струю ему на башмаки — сегодня все равно никто ничего не заметит. Направляюсь к гостинице. Останавливаюсь. Старое ничто: «Что такое?» Не отвечаю.

«Что такое, ноготок? Усик? — Голос старого ничто во мне звучит так тихо, точно вечерний ветерок, который едва шевелит мой мех. — Неужто какой-то человек для тебя важнее человечьего облика? Ну что ж, выбирай. Это даже инте-

ресно». Когда старое ничто не спит, ему все интересно — все на свете, и ничто его не интересует.

Вечером, перед тем как уснуть, она спрашивает, каждый раз спрашивает: «Лисичка, лисичка, как тебя зовут?» У меня нет имени, а она свое потеряла. В этом мы схожи. Старое ничто: «Выбирай!» Я делаю два шага влево, четыре шага вперед. Что, дальше налево? Да-да, налево, четыре шага за угол, один за другим. И я там. А эти маги вечно такую бучу разводят!

Та же самая тьма. Зачем придумывать что-то другое? Та же самая узкая черная дорога под ногами, то же самое мерзкое небо. Унылое место. Каждый раз забываю. Я иногда хожу сюда, потому что старое ничто сюда не ходит. Не может? Кто его знает. Тут вообще трудно что-то знать, все наперекосяк, скользкое какое-то. Сиди тихо, лис, раскройся и слушай. Смотреть тут все равно не на что. Слушай, где она.

Сперва я чую грига-ата. Запах у них холодный, а вовсе не горячий — из-под огня тянет приятным холодком, как среди лета иногда повеет далекой зимой. Ни с чем не спутаешь. Уши прижимаются, шерсть встает дыбом, невольно вскакиваю. Нет, я грига-атов не боюсь — это тело боится. И тут я слышу Лукассу.

Тут, за углом, все другое. Время не имеет значения, конец — то же, что начало, пространство не настоящее. Лукасса и грига-ат могут быть и позади, и впереди, и даже под ногами, где угодно. Может, я смотрю прямо на них, сам того не зная. Но я слышу Лукассу, потому что слушаю. Слышу тем местом, где был человечий облик.

Слабый вскрик, который тут же обрывается — а чего кричать-то, когда к тебе обернулся грига-ат и помощи ждать неоткуда? Я отвечаю — тявкаю по-лисьи, слова остались там, где человечий облик. Мгновением позже во тьме, прямо надо мной, Лукасса, почти скрытая окутавшей ее огненной тенью. Грига-ат хочет поглотить ее, сделать живой частицей своего пламени. Они не все это умеют, но этот может — он и меня, хорошего, может сожрать, только отвернись. Вот так. Лис снова садится, очень осторожно, опять тявкает.

Лукасса оборачивается. Карие глаза затянуты серой дымкой от пребывания здесь. Людям тут плохо, неправильно это, все равно как кости, торчащие наружу. Эти глаза меня не видят, они не видят ничего, кроме грига-ата. Проклятый

злой волшебник! Мог бы и рассказать ей, что происходит. Ну, теперь уж поздно.

Но Лукасса вскрикивает: «Моя лисичка!», и эти два слова помимо моей воли пронзают меня, точно холодным железом. «Лисичка, лисичка!», — и она бросает грига-ата и бежит ко мне, падает на колени, тянется ко мне через все нигде. Не девчонка, а стихийное бедствие: она и плачет, и смеется от страха, усталости, радости, безумия, невежества и любви. И ради этого я бросил человечий облик? Голубочки, будьте так добры, съешьте меня!

Грига-ат нависает над нами, сам как полыхающее белое небо. Лукасса, дура, отпусти меня! Но слов-то нет. Приходится укусить ее за руку — сильно, больно. Вскрикивает, отпускает, смотрит обиженно — что ж, извини. Медленно отступает. Помнит ли он нас хоть немного, старый волшебник, что сидит в грига-ате? Нет. Холодные зеленые глаза сочатся сквозь пламя, он тянет руки, чтобы подобрать нас, поглотить нас обоих, бросить в топку, которая у него вместо сердца. Он может. Если бы я по-прежнему умел принимать человечий облик, он и тогда мог бы.

Остался один путь. Один-единственный.

Когда же это было-то? Давным-давно. Даже злой волшебник еще не родился, когда я в последний раз ходил в своем истинном обличье. Нужды не было, и проку с него никакого, а неприятностей уйма. Сойдет и лис. А там, где не сойдет лис, сойдет человечий облик. Ну, а теперь ничего не поделаешь. Старому ничто это не понравится. Но старого ничто тут нет. Ничего не поделаешь.

Лукасса снова обвивает меня руками, не боясь, что укушу. Дрожит, трепещет, сжимает слишком сильно, пытается спрятать меня от грига-ата. Не девчонка, а стихийное бедствие. Я заглядываю ей в глаза — отпусти, Лукасса, мне не следует менять облик в твоих объятиях, правда, не следует, уж поверь. Друг. Друг мой. Отпусти меня.

И она смотрит мне прямо в глаза — и отпускает. Рука грига-ата вцепляется в нее. Я роюсь в глубине, бужу свое «я» — в глубине, где оно спит, нет ни забот, ни обликов, ни даже старого ничто. Мое «я». Извини, что разбудил. Как спалось? Ты мне нужно, мое «я».

Понятия не имею, как я выгляжу,— но я вижу, как изме-

нились глаза Лукассы. Когда ее схватил грига-ат, она даже не вскрикнула, не пыталась отбиваться — а теперь такой ужас, такое разочарование, будто ее предали. Было бы даже обидно, только я не умею обижаться. Что, Лукасса, неужели это так страшно? Ты меня не видишь? Неужели в этой древней твари не осталось и следов твоего лиса? А вот я бы тебя узнал.

Грига-ат отступает, держа Лукассу между нами, точно фонарь. Решает — бояться, не бояться? Теперь моя очередь тянуть руки — руки у меня длинные, серые, очерченные сияющей каймой. Морщинистые пальцы растопырены. Я говорю:

— Отпусти ее!

Голос у меня серый и тяжкий, как молот. Лукасса закрывает лицо, зажимает уши.

— Отпусти ее!

Во мне встает воспоминание. Водой и небом был этот мир, когда явился я — вода, небо, громадные деревья и старое ничто. Лисы были — много лис, — но людей не было, а потому и грига-атов тоже. И магов тоже не было, ни единого — всех этих волшебников, которые пытаются быть богами, демонами и обычными людьми зараз. Были еще создания вроде меня, и другие тоже, в воде, в лесах. Лис забывает, человечий облик забывает. Я помню.

Грига-ат что-то вспоминает. Медленно отпускает Лукассу. Лукасса смотрит вперед, назад — кто страшнее? Я говорю: «Лукасса, ко мне», но она не может вынести звуков моего голоса. Двигаюсь к ней, протягиваю руку, она шарахается прочь, теперь позади меня. Хорошо. Грига-ат шипит, жутко ухмыляется, все никак не может решиться. Я заговариваю с ним на Изначальном Наречии, которого ни лис, ни человечий облик никогда не знали. Я говорю ему:

— Узри меня и скройся. Сухие ветки, палая листва, что бы тебя ни ждало, — убирайся туда.

И поворачиваюсь к нему спиной.

Мое дело сделано. Остается отвести Лукассу домой, в ее мир. От этого мира его отделяет лишь тонкая шкура — нет, даже меньше, всего лишь шорох, — но эту грань могут перейти только мертвецы, безумцы и лис. Лукасса не безумна — значит... Должно быть, это тоже натворил старый волшебник. Ах, как же я не разглядел? Дурень, дурень! Лукасса, бедняжка...

В последний раз оглядываюсь назад. Грига-ат скорчился.

Не двигается. Больше не нападет. Огонь под покровом текучей, ползучей тьмы слабеет — грига-ату не удалось пожрать нас, и теперь тьма всасывает его, вбирает в себя. И поделом тебе, злой волшебник. Нечего было будить мертвецов, чтобы они тебе поклонялись. Это постыдно даже для мага. Ты всегда был тем, чем стал теперь. Будет только справедливо бросить тебя здесь. И я с радостью это сделаю.

Но Лукасса не уходит.

Четыре шага вправо, за угол и вниз, проще простого. Но она не идет. Все еще боится. Придется гнать ее вперед, воспользоваться страхом — времени нет, и выбора тоже. Она шарахается от меня, мечется туда-сюда, глупая и упрямая, как курица. Все пытается вернуться к грига-ату. Нет, это безумие! Что же еще? Я приказываю ей остановиться, идти со мной, но от моего голоса она совсем шалеет. Она спряталась бы за грига-атом, если бы посмела. Она говорит:

— Я пришла за ним.

Вот всегда так! Всегда! Свяжешься с этими людьми, размякнешь — и пожалуйста. Зачем было говорить себе, будто ты не знаешь того, что знаешь? Она готова пройти через тебя насквозь — через тебя, через грига-ата, ей все равно — и все ради этого злого, пропащего старикашки. Живая или мертвая — она дура до мозга костей! И тебе тоже поделом, глупый лис! Я глупо хватаю ее — отнести ее на место, и покончить со всем этим. Она выворачивается:

— Нет, нет, я пришла за ним! Лисичка, ты где? Лисичка, помоги!

Смотрит на меня и плачет.

Ну что, втиснуться обратно в лисий облик, чтобы она успокоилась? Но теперь я сделался таким же дураком, как она. Это все из-за людей. Опять... Ничего не поделаешь. Я оборачиваюсь к грига-ату, медленно и внятно говорю:

— Ну что ж, идем. Идем с нами.

Никогда больше! Ни за что! Старое ничто, наверно, лопнет со смеху!

— Идем с нами.

Грига-ат делает шаг. Лукасса ахает. Еще шаг. Снова ахает. Грига-ат останавливается, смотрит на нас. Глаза, как зеленый пепел. Не зная нас, может ли оно знать, кто это? Может ли оно выбирать — тот мир, этот?

— Ну, пошли, пошли.

Горячий синий оскал. Еще шаг. Лукасса хлопает в ладоши, поет от радости. Ни за что на свете!

— Пошли.

РОССЕТ

Вот тут у меня получилась дырка в памяти. Ветер помню, помню ужасающий, невероятный грохот, крики в коридоре, помню, как «Серп и тесак» дрожал крупной дрожью, точно испуганная лошадь. Помню, как, держась за руку Лал, шел вместе с ней и с Соукьяном в черноту на месте стены, в черноту, которая очень любезно пригласила нас в себя. Она нам всякие картинки показывала, эта чернота. Картинок не помню, но помню, что шел туда вполне охотно. Это я помню так же хорошо, как грига-ата.

А потом — пустота. Нет, даже не пустота, не дырка, а как будто время вдруг икнуло, раз — и нету. Следующее, что я вижу, без малейшего разрыва — это что Карш трясет меня за грудки и орет во всю глотку. Слова по отдельности я понимаю, а вот смысла уловить никак не могу. Я болтаюсь в руках Карша, точно тряпка, а Тикат у него за спиной кричит в стену:

— Лукасса, Лукасса!

Другой волшебник тоже здесь, стоит и смотрит на Тиката со странной, рассеянной улыбкой, которая расплывается все шире на его безгубом рту. Это как сон. И мне все время кажется, что это длилось очень долго.

Тут вмешался Соукьян. Он задвинул меня себе за спину и удержал Карша на месте, упершись одной рукой ему в грудь. Помню, как он сказал таким низким и хриплым голосом, что Карш непременно должен был догадаться, кто он, несмотря на личину:

— Стой где стоишь, толстяк!

Его слова я понял. Потом он обратился ко мне:

— Россет, с тобой все в порядке?

Прежде чем я успел ответить — если я вообще мог говорить, — Карш взревел:

— Пропади ты пропадом! А о чем, по-твоему, я его спрашивал, глупая ты баба?!

Тут я заржал — просто не мог удержаться от смеха. И даже не столько потому, что знал, что Соукьян не баба, сколько потому, что Карш отродясь с постояльцами так не разговаривал. Соукьяну тоже пришлось меня немножко потрясти. Наконец я выдавил:

— Да-да, все в порядке.

Я вывернулся из рук Соукьяна и огляделся.

В комнате царил бардак, окно исчезло, дверь висела на одной петле — это уж Карш постарался, хотя я этого тогда не знал. Казалось бы, устроить бардак в зачуханной комнатенке вроде этой, куда обычно пристраивали отсыпаться пьяных бурлаков, не так-то просто. Но стены комнаты прогнулись, словно какой-то великан сдавил их двумя пальцами, половина пола — там, где прошелся грига-ат, — обуглилась и покоробилась. В дальнем углу были рассыпаны Маринешины цветы. Как ни странно, они остались целы — только ваза разбилась.

Лал возилась с Тикатом, пытаясь заставить его замолчать. Краем глаза я увидел, как Соукьян медленно-медленно подбирается к волшебнику Аршадину. В лице Соукьяна была смерть. Аршадин по-прежнему стоял, улыбаясь в пространство и с каким-то благоговейным удивлением ощупывая свое лицо и тело. Казалось, он не замечает ничего вокруг, и все же мне захотелось крикнуть Соукьяну, чтобы он поостерегся. Но тут на меня снова набросился Карш и на одном дыхании спросил, действительно ли со мной все в порядке и какого черта я вообще делаю в комнате этого треклятого волшебника. Он то бледнел, то краснел и сам дрожал, точно лошадь. Я тогда подумал, что это из-за трактира, из-за того, что единственная вещь на свете, которую он любил, разрушена. Мне стало его жалко.

Соукьян сделал последний шаг перед прыжком, и я таки крикнул: «Осторожно!» Но Аршадин уже обернулся. Небрежно махнул пухлой белой рукой в сторону Соукьяна, и Соукьян рухнул на пол. Рот у него был открыт, но дышать он не мог: я видел, как выпучились у него глаза и напряглась грудь. Он задыхаясь катался в ногах Аршадина, хватался за горло, терзал руками грудь, тщетно стараясь разорвать ее,

чтобы впустить хоть немного воздуха. Аршадин смотрел на него сверху вниз, задумчиво кивая.

Я рванулся было к Аршадину, но Карш так ухватил меня за обе руки, что синяки потом не сходили несколько дней. Лал пролетела через комнату брошенным кинжалом, золотистые глаза сузились и сделались ледяными. Аршадин искоса глянул на нее — и она застыла на месте, дико озираясь, то ли защищаясь, то ли бросая вызов, размахивая руками, чтобы отразить врагов, для нас невидимых. Она явно не видела никого, даже Соукьяна, который корчился на полу. Это тоже длится целую вечность, но на сон уже не похоже.

Аршадин заговорил.

— Кончено, — сказал он все тем же высоким, бесполым, жутко спокойным голосом. — Теперь у вас новый хозяин.

Тут Соукьян помешал ему: отчаянно извиваясь, он из последних сил пнул Аршадина и попытался свалить его на пол. Аршадин шагнул в сторону, и Соукьян только бессильно замолотил пятками по полу, как я по стене, когда голубоглазый убийца схватил меня за горло. Тут я не выдержал. Мне удалось ткнуть Карша локтем в живот. Он охнул и выпустил меня. Я снова кинулся на Аршадина.

Аршадин кивнул Лал, и та развернулась мне навстречу, присев и злобно глядя на меня невидящими глазами. Аршадин указал на пол и объявил:

— Пусть его пример послужит уроком...

Но закончить он не успел, потому что тут появились Лукасса и грига-ат.

Они вышли из складки воздуха. Складка почти тотчас же разгладилась, я едва успел заметить, как воздух расступился, чтобы пропустить их. Лукасса вышла первой и обернулась, видимо, зовя за собой грига-ата, а за ними... за ними на миг показалось нечто, чего я видеть никак не мог. Оно было серое и большое, и оно тоже увидело меня, хотя и не могло меня увидеть. И хватит об этом. Не успел я перевести дух, как проход закрылся и исчез, а на пол прыгнул лис Соукьяна и спокойно уселся на задние лапы, наблюдая, как лицо Аршадина меняет цвета. Аршадин еще и звуки издавал, но это было уже не так интересно.

То, что произошло потом, случилось так быстро, что рассказывать об этом придется очень осторожно. Лукасса сдела-

ла два шага и рухнула на руки — не к Тикату, а ко мне. Она сбила меня с ног, мы оба упали на пол, ее голова рассекла мне губу, и зуб потом шатался. Грига-ат встряхнулся, чихнул и снова обернулся старым волшебником. Почему я так уверен? Ну, хотя бы потому, что для начала он бросил Соукьяну пару слов, и Соукьян вздохнул, как будто в первый раз за сотню лет, осторожно вздохнул еще раз, медленно сел и сразу же потянулся к Лал. Она подняла его на ноги, и они несколько секунд поддерживали друг друга. Потом оба обернулись к Аршадину.

Он, конечно, был не в своем уме — любой, кто хочет всегда быть хозяином, безумен, — но значит ли это, что и отвага его была чистым безумием? Лично я так не думаю. Он встретил старого волшебника так же дерзко и пренебрежительно, как всегда.

— Ну, вот мы и снова встретились, — сказал он. — Куда тебя отправить на этот раз?

Но губы его с трудом выговаривали слова, и лицо было, как тающий лед.

Старик и сам выглядел безмерно усталым, но запах смерти и отчаяния, сопровождавший его прежде, исчез. Его зеленые глаза были яснее, чем мне когда-либо случалось видеть, и яркие, как молодая листва, а смех его был — точно родник, бьющий из скалы. Он сказал:

— Обо мне не заботься, бедный мой Аршадин. Давай-ка лучше подумаем, куда бы нам отправить тебя, подальше отсюда — и побыстрее. Ибо ничто на свете не проходит просто так. И те, кого ты обманул, не терпят обмана.

Несмотря на смех, голос его звучал решительно и настойчиво.

Лукасса шевельнулась у меня на руках. Я бережно-бережно передал ее Тикату. Наши глаза на миг встретились; потом он опустил голову и коснулся волос Лукассы. Я отвернулся.

— Я свое слово сдержал! — отпарировал Аршадин. — Если они оказались слишком слабы, чтобы удержать тебя, что же они могут сделать со мной? Все по-прежнему.

За спиной у меня Карш бормотал:

— Убью подлую тварь! Дайте мне только до нее добраться, я ее убью!

Я думал, он про Аршадина. Я решил, что Карш наконец-то догадался, кто истинный виновник разрушения «Серпа и тесака». Но Карш уставился на лиса, который по-прежнему сидел, свесив язык и созерцая все происходящее с выражением явно презрительным. Услышав слова Карша, лис обернулся и посмотрел на меня так же, как тогда, в первый день, из сумки Соукьяна — как будто на дне его глаз переливалось мое истинное имя.

— Аршадин, — сказал старик, — у нас нет времени! Я соглашусь на все, что ты предложишь, но тебя надо убрать отсюда сию же минуту. Аршадин, послушай меня! Я тебя умоляю!

Аршадин расхохотался. Его смех меня изумил: он был на диво искренним, и в нем звучало неподдельное веселье. Я до сих пор его слышу. И вот я думаю: чему он смеялся? Была ли то гордыня, слепая вера в то, что новообретенная сила защитит его от любой мести, от людей и нелюдей? Или это был смех обреченного, которому нечего терять и некуда бежать? Этого я, конечно, не знаю. И все же это не худшее воспоминание о дурном человеке.

— Все по-прежнему, — повторил он. — Только ты можешь вернуться оттуда, где ты побывал, и по-прежнему приставать ко мне с требованиями вести себя хорошо!

Рядом с Аршадином воздух снова пошел волнами — круглыми такими, как от камня, брошенного в спокойную воду. Круг потемнел, выпучился и превратился в синий рот, с губами, усеянными влажно блестящими красными и голубыми зубами. Аршадин обернулся и ударил по этому рту, выкрикивая слова, которые звучали, как треск деревьев, падающих во время бури. Круглые губы вытянулись, словно для ужасного поцелуя, обняли Аршадина, втянули его в себя и исчезли.

В тишине я услышал пение Тиката. Он так и не поднял глаз. Он укачивал Лукассу на руках. Его длинные светлые волосы наполовину закрыли ему лицо, смешавшись с темными кудрями Лукассы. Тикат тихо напевал себе под нос. Песню я знал — это была колыбельная про Бирнарик-Бэй. Только слова он переврал. А может, это я их неправильно помню.

ТИКАТ

Она спала без просыпу почти трое суток.

Я, не спрашивая дозволения, уложил ее в лучшей комнате наверху. Россет говорит, что эта комната иногда пустует годами, потому что Карш бережет ее для знатных гостей, которые в Коркоруа заезжают редко. Когда Карш расшумелся из-за комнаты, тафья сказал ему, довольно мягко:

— Почтеннейший господин трактирщик, в тот день, когда Лукасса проснется в этой постели, я восстановлю ваше заведение в его прежнем виде, и еще клопов повыведу в придачу. Но если вы до тех пор скажете еще хоть одно слово по этому поводу, то обещаю: все это, — он указал на разгром, который устроил в «Серпе и тесаке» волшебник Аршадин, — вам еще раем покажется.

Карш бурей умчался проверять дворовые постройки, а тафья вздохнул и пошел караулить у постели Лукассы.

На самом деле он сделал даже больше, чем обещал. На третье утро все мы проснулись и обнаружили, что крыша у трактира на месте, что в заново отстроенных стенах красуются целенькие окна в новых рамах, полы такие же ровные, как и были, обе трубы такие же высокие, фундамент, пожалуй, даже попрочней, чем был, пивные насосы, водяные баки и трубы работают вполне исправно, как будто их и не скручивало, точно тростинки. Клопы действительно исчезли, и вывеска над дверью была заново подмалевана. Вот это, как ни странно, дико разозлило Карша. Он весь день бродил по дому и бубнил себе под нос, что вывеска, мол, и так была вполне себе ничего и что волшебники никогда не умеют вовремя остановиться. Последнее, кстати, правда — с тех пор я и сам в этом убедился.

Лукасса проснулась только к вечеру. Лис спал у нее на кровати, да и сам тафья уснул — по крайней мере, так мне казалось: он был великий притворщик. Она проснулась мгновенно, и в глазах у нее был страх. Я осторожно взял ее за руки и сказал:

— Лукасса...

Не знаю, смог ли бы я вынести, если бы она меня и теперь не узнала. Но я увидел, что она узнала меня, даже прежде чем она заговорила. Она сказала тихо, но отчетливо:

— Тикат. Ты здесь...

— Я здесь, — сказал я, — и ты здесь со мной, и он тоже, — я кивнул в сторону тафьи, громко храпящего в своем кресле. — Ты его спасла. Я думаю, ты спасла всех нас.

Лукасса ответила не сразу — некоторое время она молча смотрела на меня. Ее лицо было лицом незнакомки. Так оно и должно быть. Даже если мы любим друг друга с рождения и до смерти, все равно мы не знаем друг друга по-настоящему, и забывать об этом не стоит, хотя и приходится. В дверь заглянула Маринеша, робко улыбнулась и снова исчезла. Лукасса сказала:

— Когда я была там, в том месте, я все время слышала, как ты меня зовешь.

У меня до сих пор болело горло от крика. Я опустил голову и коснулся лбом ее рук. Она продолжала, то и дело запинаясь:

— Тикат, я не помню тебя и того, что было... что было до реки. Он говорит, что я никогда не вспомню — ни тебя, ни себя, никого.

В глазах у нее стояли слезы, но она не плакала.

— Но я знаю, что ты мне друг и действительно любишь меня. И что я тебя обидела.

Одна ее рука повернулась и сжала мои пальцы.

— Ты не виновата, — сказал я. — Ты не могла иначе — так же, как я не мог не звать тебя. Но я и не думал, что ты меня слышала.

— Нет, я слышала!

Она впервые улыбнулась знакомой улыбкой, которую она всегда старается сдерживать, потому что, если она улыбается слишком широко, становится виден кривой зуб слева.

— Меня это ужасно раздражало, до тех пор, пока не понадобилось, чтобы отыскать обратный путь. Но к тому времени я перестала тебя слышать.

— Я больше не мог кричать, — сказал я. Лукасса посмотрела мне в глаза и кивнула. Ее рука сильнее стиснула мои пальцы. — Я просто не мог, Лукасса, — повторил я.

Она снова кивнула. Я посмотрел на лиса. Раскосые глаза крепко зажмурены, пушистый хвост прикрывает мордочку, шерстинки с черными кончиками шевелятся от дыхания. Лукасса погладила его свободной рукой, и он, не просыпаясь, выгнулся от удовольствия.

— Ты знаешь, это ведь он был человеком в красной куртке, — сказал я. — Я встретился с ним по пути сюда, когда догонял тебя и Лал.

— Он может быть и чем-то другим, — прошептала Лукасса. — Чем-то совсем другим, ни на что не похожим.

Я еле расслышал ее. Больше она ничего не сказала. Мы немного посидели молча, просто держась за руки и глядя друг на друга и по сторонам. Все вопросы, которые мне хотелось ей задать, сидели на кровати рядом с нами — казалось, тюфяк прогибается под их весом. Наконец Лукасса сказала:

— Мне хочется рассказать тебе про то место, про то, каково там находиться. Мне хочется рассказать кому-нибудь.

— Я не имею права... — начал я, но она перебила:

— Мне хочется тебе рассказать, но я не могу. Та девушка, которая могла бы рассказать тебе, как все было, умерла.

Я уставился на нее, ничего не понимая. Лукасса сказала:

— Она так и не вернулась — она умерла по ту сторону черных ворот, и это так же верно, как то, что девушка, которую ты знал, утонула в реке. И вот я здесь и говорю с тобой, а кто я такая? Тикат, можешь ли ты мне сказать, живая я или мертвая? А если я живая, кто я?

Она попыталась отнять у меня свою руку, но я держал крепко, несмотря на то что ее изумрудное кольцо впилось мне в палец. Лис проснулся и картинно зевнул, потянулся передними лапами и посмотрел на нас.

— Ты такая же живая, как и я, — сказал я. — Ты — это ты. Если ты не та Лукасса, которую я искал здесь, быть может, той Лукассы никогда и не было. Сам я никогда не стану тем Тикатом, каким был прежде, и меня это вполне устраивает — лишь бы мы с тобой помнили друг друга.

Тут я разжал ладонь, и она отвела руку, но потом протянула ее обратно, так, что кончики наших пальцев соприкоснулись. Я спросил:

— Лукасса, а что мы будем делать теперь? Я думал, мы сможем вернуться домой, к прежним Тикату и Лукассе, но это не получится.

— Не получится... — отозвалась она очень тихо. — Лал возьмет меня с собой, если я попрошу, но только если я попрошу. А Соукьян...

Она развела руками, и я увидел шрамы, которые нащупал

прежде: два длинных расплывчатых пятна на бледной ладони, и темный след, как от удара хлыстом, на тыльной стороне, чуть пониже кольца.

— Соукьян возьмет меня, если попросит Лал. Вот так.

Эта ее улыбка была мне незнакома.

Я взял ее руку и поцеловал ладонь со шрамами. Она на миг сжала руку в кулак, потом снова распрямила. Я сказал:

— Я взял бы тебя куда угодно, но я не знаю, куда ехать.

Мы немного помолчали, а потом я добавил:

— Ну, на худой конец, можно и остаться. Будем работать в трактире и стареть вместе с Каршем.

Я сказал это в шутку, но ее лицо затуманилось, и я понял, что она приняла мои слова всерьез. Я собрался было объяснить, что пошутил, когда за спиной у нас вежливо кашлянул тафья.

— Есть одно предложение... — сказал он.

Давно ли он проснулся и слушал нас? А кто его знает. С ним никогда не угадаешь. Мы оба обернулись к нему. Его зеленые глаза сверкали так же насмешливо, как желтые глаза лиса. Он был чрезвычайно доволен собой, совсем как лис.

— Похоже, с моей ламисетией можно и подождать малость, — сказал он. — Я возьму вас с собой.

Когда он посмотрел на Лукассу, его глаза переменились. Он сказал ей:

— Я сам миновал врата смерти, но то, во что я превратился, было хуже смерти. И я остался бы таким навечно, если бы не ты. Так что я твой вечный должник. К тому же...

Лукасса яростно замотала головой. Она сказала:

— То, что я сделала, я сделала не по своей воле, не понимая, что и к чему все это. Так что ты мне ничем не обязан.

Голос у нее был усталый и бесцветный.

— Не перебивай! — сурово сказал старик. — Однажды я на десять минут обратил Соукьяна в камень за то, что он перебил меня на один раз больше, чем следовало.

Но он улыбался Лукассе почти с восхищением.

— К тому же, — продолжал он, — моя извечная потребность кого-то учить, похоже, пережила черные врата вместе со мной. Так что, если у тебя хватит ума поехать со мной, возможно, мне удастся...

— Я не хочу быть волшебницей, — перебила Лукасса. — Это не для меня. Ни за что и никогда.

Она снова вцепилась в мою руку.

Старик тяжко вздохнул.

— Вот Лал — она волшебница? Соукьян — волшебник? Молчи и слушай. Если ты поедешь ко мне домой, возможно, со временем мне удастся припомнить способ позволить этой Лукассе и той Лукассе — той, что осталась лежать на дне реки, — иногда встречаться, беседовать друг с другом, быть может, даже немного пожить вместе. Ну, а может быть, и нет — я ничего не обещаю. Но крыша у меня не течет, еда обычно довольно приличная, и вообще дом очень уютный.

Тут он улыбнулся — веселой, ехидной, беззубой улыбкой. Мне вспомнились слова Красной Куртки, слова лиса: «Кости налиты тьмой, а кровь — густая и холодная от древней мудрости и тайн».

— Немного беспокойно время от времени, но вообще очень уютно, — добавил он.

— Тикат тоже должен ехать с нами, — твердо сказала Лукасса. — Без Тиката не поеду.

Тафья посмотрел на меня и чуть заметно приподнял свои брови, похожие на мохнатых гусениц. Я сказал:

— Ну, работать я умею, ты же знаешь. Ну, и пока буду жить у тебя, постараюсь научиться всему, чему смогу.

Мне было неловко разговаривать с ним таким тоном, и я вертел кольцо на пальце Лукассы, не замечая, что делаю.

Тафья долго молчал. Он, похоже, внимательно смотрел — не на нас, а на лиса. Лис зевнул ему в лицо, спрыгнул с кровати и с достоинством удалился, задрав хвост. Наконец старик сказал:

— Тебе, Тикат, я буду рад не меньше, чем Лукассе, но на твоем месте я бы дважды подумал. Может оказаться, что ты научишься куда большему, чем рассчитываешь. В тебе таятся дары, сны и голоса, которые в моем доме могут пробудиться, как нигде больше. Так что на твоем месте я бы хорошенько подумал...

Я не знал, что ему ответить. Я продолжал играть с кольцом Лукассы, пока оно не соскользнуло с костяшки и едва не упало мне в руку. Лукасса поспешно схватилась за кольцо и сказала:

— Не надо, не делай этого! Мне нельзя его снимать. Лал дала мне его, когда подняла меня... Если я его потеряю, я умру совсем, рассыплюсь в прах — мне ведь уже давно следовало бы стать прахом.

Руки у нее были влажные и дрожали, и голос дребезжал от страха.

Тафья посмотрел на нее с такой заботой, с такой нежностью, что на миг лицо у него сделалось как у нее — он выглядел как она, как еще я могу это сказать? Всего на миг — но я буду помнить об этом, даже когда перезабуду все его магические штучки. Он сказал ей, очень-очень мягко:

— Лукасса, это не так. Кольцо это Лал подарил я, кому же и знать, как не мне! Оно дарует утешение и усмиряет кое-какие печали, только и всего. Твоя жизнь — в тебе, а не в кольце. Сердце Лукассы, душа Лукассы, дух Лукассы — вот что делает Лукассу живой, а вовсе не мертвый зеленый камень в куске мертвого металла. Я тебе докажу. Отдай кольцо.

Ей потребовалось немало времени, чтобы перестать дрожать и начать слушать его, и даже потом она не соглашалась снять кольцо, что бы мы с ним ни говорили. Поначалу она твердила только: «Нет! Нет!», — пряча лицо в сжатые кулаки. Но наконец обернулась к старику и сказала ему:

— Я отдам кольцо Лал. Когда будем уезжать отсюда. Мы с Тикатом и ты. Я верну его Лал, а она может вернуть его тебе, если захочет. Или оставить себе.

И уперлась на этом. Тафья покачал головой, дунул себе в бороду и проворчал:

— Ну, если уж твое ученичество начинается с этого, к чему же мы придем под конец? Когда я был грига-атом, ты со мной держалась куда почтительнее.

Но ему все равно пришлось удовлетвориться ее решением. Я думаю, оно его и в самом деле по-своему устроило.

ТРАКТИРЩИК

С тех пор все не так. Плевать мне, что он там наговорил и какой он великий маг. О нет, работать оно работает — если вы полагаете, что этого достаточно. Кое-что работает даже лучше, чем прежде — я не настолько глуп, чтобы утверждать,

что это не так. Но это совсем не то же самое, что восстановить в прежнем виде. Вещи можно заменить, починить, но потерянного все равно не вернешь. Склеенное и целое — разные вещи.

Ну ладно, ладно, не стоит из-за этого переживать. А рассказывать-то больше почти и нечего. Следующие две недели прошли в хаосе, ни больше ни меньше. С трактиром управлялись Маринеша и Россет — сжальтесь надо мной, о боги! — потому что я был занят. Я умасливал, успокаивал и просил прощения у постояльцев. Постояльцы были рассержены. Кое-кто пострадал — хотя, слава богам, немногие; что до того возчика-кинарики, мы его так и не нашли. А кое-кто так перепугался, что не вернулся даже за своими вещами, не говоря уже о том, чтобы заплатить по счету. Мало того, что я потерял уйму выгодных старых клиентов, но к тому же история разошлась по всей округе, и с тех пор я только тем и занимаюсь, что пытаюсь восстановить репутацию заведения в прежнем виде. И в этом мне никакой волшебник не поможет, будьте уверены!

Лал сообщила мне, что она и ее спутники наконец-то свалят из трактира, как только волшебник и маленькая Лукасса наберутся сил для путешествия. Кроме того, она принесла мне извинения — бесполезные, но довольно учтивые, не могу не отметить, — за весь ущерб, который они причинили «Серпу и тесаку». «За весь ущерб» — как будто она хоть отчасти способна понять, что они натворили на самом деле. Госпожа Ньятенери не дала себе труда извиниться. Но оно и к лучшему. Еще одного потрясения я бы не пережил.

Россет в эти дни старался не попадаться мне на глаза. Правда, он и так старается держаться от меня подальше; но обычно не проходит и дня, чтобы мне не пришлось орать на него по какому-нибудь поводу. Честно говоря, я и сам не особенно рвался с ним видеться. В конце концов, я взбежал по рушащейся лестнице навстречу толпе орущих идиотов и выломал прекрасную прочную дверь исключительно ради того, чтобы мне не пришлось воспитывать себе нового конюха. Мало ли что люди могут подумать. Потом чувствуешь себя как-то неловко.

Я окончательно убедился, что он снова задумал сбежать с женщинами и волшебником и не желает встречаться со

мной, потому что я разгадаю его замыслы с первого взгляда. Однажды вечером я поразмыслил, посоветовался у себя в комнате с двумя бутылками забродившего снадобья для чистки упряжи, которое делают к востоку от гор, — местные называют его «Почки шекната». И в конце концов мы втроем решили, что если парню так охота уехать, то пусть себе убирается к чертовой матери. Он раз десять пытался сбежать, когда был помоложе, но я каждый раз его отлавливал; а теперь он достаточно востер, чтобы смыться завтра или послезавтра, если сегодня не получится. Ну и пусть себе катится, скатертью дорожка. Но прежде чем он скажет мне «до свиданья», мне тоже надо сказать ему пару вещей.

Из-за этих размышлений ночь тянулась чересчур медленно, а «Почки шекната» пились чересчур быстро, так что наутро, когда я отправился его разыскивать, я не слишком уверенно держался на ногах. Он втирал вонючую мазь собственного изготовления в бока рыжего мерина, владелец которого явно владел еще и парой шпор в придачу. Россет разговаривал с конем — не словами, просто мычал что-то себе под нос, словно втирал свой голос в больные места вместе с мазью. Я смотрел на него и ждал. Наконец парень почувствовал мой взгляд и резко развернулся, так же как делают эти женщины.

— Я с ним почти управился, — сказал он. — Сейчас пойду в свиной загон.

Там одна жердь расшаталась, понимаете ли, и я уже неделю его пинал, чтобы он ее заменил. Он управился с мерином, нагреб свежего сена ему в кормушку, а потом ненадолго прислонился к коню, как делают лошади. И вышел из денника. Мы стояли, глядя друг на друга. Он готовился выслушать распоряжения и краем глаза следил за моими руками. Я рассматривал его крупные короткопалые руки и две полоски пуха над верхней губой. Парень никогда не вырастет таким же крупным, как я, но, возможно, будет посильнее меня.

— Мне надо с тобой поговорить, — сказал я. Ох, как у него глаза забегали!

— А жердь-то как же? — сказал он. — Свиньи того и гляди...

Я кивнул в сторону кипы сена и сказал:

— Сядь.

Он сел. Я хотел остаться стоять, но в голове слишком гудело, так что я перевернул ведро и уселся напротив Россета.

— Если хочешь уехать со старым волшебником и прочими, — сказал я, — тебе незачем делать это тайком. Уезжай, пожалуйста. Я тебя не держу и бить тебя не стану. Забирай все, что тут есть твоего, и уезжай. Закрой рот! — сказал я, потому что челюсть у него отвисла, как та жердь в загоне. — Ты меня понял?

Россет кивнул. Я не знаю, что он испытывал — радость, облегчение, злость, разочарование? Я иногда не могу это определить.

— Но сперва тебе придется меня выслушать. Это мое единственное условие: чтобы ты выслушал все, что я тебе расскажу. Рот закрой! Тебе совершенно не обязательно еще и выглядеть идиотом. Ты меня слышишь, Россет?

— Ага... — ответил он. Вот так всегда: болтает без умолку, когда не надо, а когда надо, слова не вытрясешь. От этого его пустого, настороженного взгляда голова у меня разболелась еще сильнее. И зачем я вообще завел речь об этой проклятой истории? Можно было и подождать. Пятнадцать лет ждал — почему бы не подождать до завтра, или до той недели, или вообще до могилы?

— Ну так вот, — сказал я. — Давным-давно мне пришлось отправиться по делу в Чет-на'Деку. По какому — это не важно. Дорога туда была долгая, а обратно и того хуже. Знаешь, почему?

— Из-за разбойников? — спросил он. Догадаться нетрудно — в Чете народ сплошные разбойники, что тогда, что теперь.

— Из-за разбойников, — кивнул я. — А может, тогда война шла — хотя большой разницы нету, разве что солдаты в мундирах, а разбойники без. Я так и не узнал, что за шайка побывала в той деревне.

Россет молча слушал. Я встал, ногой подвинул ведро вправо, обошел его, снова сел.

— Я возвращался один и пешком — не по своей воле, а потому что ни за какие деньги не мог нанять ни проводника, ни повозки. Это и сейчас невозможно, насколько я знаю. Из оружия у меня с собой был только посох, отцовский, такой, знаешь, с железным наконечником. Я шел по ночам, держась в стороне от больших дорог, и на третий день увидел вдалеке столб дыма. Черного дыма, как от пожара.

Глаза у Россета оставались неподвижными и непроницаемыми, как вода в колодце, но он подался вперед и стиснул руками край кипы, на которой сидел.

— В ту ночь я дальше не пошел, — продолжал я. — Я слышал, как мимо проехали всадники, много всадников, достаточно близко, чтобы я расслышал, как они смеются. Я двинулся в путь не раньше полудня следующего дня, и потратил столько времени, прячась за деревьями у дороги, что до деревни добрался, когда солнце уже садилось. Когда идешь на цыпочках, это сильно замедляет продвижение.

Я не хотел, чтобы он подумал, будто я пытаюсь выставить себя героем. Разговор и без того был достаточно неприятный.

— Как она называлась? — спросил он так тихо, что с первого раза я его не расслышал. — Как называлась деревня?

— Откуда я знаю? Спросить было не у кого, там не было ни единой живой души. Одни трупы. Трупы вдоль единственной улочки, на порогах собственных домов, сброшенные в колодец, плавающие в поилке для лошадей, на столах на площади. Одну женщину затолкали в печку деревенского пекаря — может, это была его жена, или дочка, откуда мне знать? Живот у нее был вспорот, точно мешок с мукой, как и у всех прочих.

Я старался говорить как можно быстрее и равнодушнее, чтобы поскорее покончить с этим. Кое о чем я говорить не стал.

— И что, там никого не осталось? — Он прокашлялся. — В живых не осталось никого.

Это был не вопрос. Мы разговаривали точно в храме, когда священник читает молитву, а молящиеся послушно повторяют последнюю строку. Я сказал:

— Я так и подумал. Пока не услышал детский плач.

Ну что ж, по крайней мере, он избавил меня от необходимости рассказывать хотя бы часть.

— Я... — прошептал он. — Это был я...

Я снова встал. Мне хотелось попытаться передать ему, как это было: тишина, монотонное зудение мух, воняет кровью, дерьмом и гарью — и пронзительный, сердитый, голодный плач, восходящий к небу вместе с последними струйками дыма. Вместо этого я повернулся к нему спиной, сунул

руки в карманы фартука и уставился на злую черную лошаденку Тиката, жалея, что у меня не хватило ума захватить с собой остатки «Почек шекната».

— Я не сразу нашел тот дом, — сказал я. — Мне пришлось свернуть в переулок, а там все было изрыто ямами и колеями — впору ноги переломать. Домик был в одну комнату — глинобитные стены, крыша, крытая дерном, обычная деревенская хижина. У порога росли печальницы, это я помню. Над дверью висела небольшая охапка колючей дики.

В тех краях дику вешают над дверью, чтобы отвести зло. Россет ничего не сказал. Я продолжал:

— Дверь была заперта на щеколду и еще чем-то привалена изнутри. Я постучал, толкнул дверь, потом окликнул хозяев.

Я обернулся к нему.

— Я действительно окликал их, Россет. Четыре, пять, шесть раз.

Не знаю, почему мне так хотелось, чтобы он поверил. Какая разница, в конце концов? Но тогда это почему-то казалось важным.

— Я кричал: «Эгей! Там кто-нибудь есть? Есть кто дома? Вы меня слышите?» Но никто не ответил. А ребенок все плакал.

Он попытался снова сказать: «я», но голос ему отказал — только губы шевельнулись. Я услышал снаружи шаги, голоса, и понадеялся, что нас прервут — кто угодно, хоть Шадри, хоть эта проклятая лиса. Лиса не показывалась в трактире с той ночи, когда все полетело в тартарары, но теперь она уже чудилась мне в каждой тени, под каждым кустом. Было бы очень кстати, если бы она именно сейчас забежала в конюшню. Но вокруг не было никого, кроме меня, и голова у меня гудела все сильнее, а в глотке все сильнее пересыхало, а голос мой все звучал. А Россет все смотрел на меня.

— Я подошел к окну, — сказал я. — Выбил посохом ставню и перелез через подоконник. Внутри было темно, Россет, потому что хижина была заперта, а я только что влез с улицы, где светило солнце. Я слышал ребенка — тебя, — но не видел, где ты, и вообще ничего не видел. Мне пришлось некоторое время постоять, чтобы привыкнуть к темноте.

Он знал, что будет дальше. Не в подробностях, как я, но

видно было, что он все понял. Он сидел, уставившись в пол, то и дело облизывал губы и на меня не смотрел. Лицо и руки у меня сделались холодные. Я сказал:

— Кто-то ударил меня. Сильно ударил, вот сюда, в голову. Я подумал, что мечом. Я упал, и они все набросились на меня. Они били меня молча — мне казалось, что по меньшей мере дюжина людей колотит меня во все места одновременно, пинает и рубит, точно сечку из корня тиали. Целая дюжина людей убивала меня, а я их даже не видел. Клянусь, мне так показалось.

— Но их было только двое, — сказал Россет. Лицо у него сделалось белым, как у Лукассы, и сморщилось. — Их было только двое.

— Ну, я ведь не мог этого знать, верно? Я тебе говорю, они не произнесли ни слова! Все, что я знал, — это что меня убивают, как собаку!

Я не замечал, что кричу, пока пара лошадей не заржала от испуга.

— Кровь заливала мне глаза, Россет, я ничего не видел, я думал, что мне разрубили череп. Взгляни, вот тут, пятнадцать лет прошло, а до сих пор чувствуется. Я подумал, что сейчас меня ухлопают, как ту женщину в печке, понимаешь?

Россет не ответил. Он встал с сенной кипы и принялся ходить по кругу, безвольно опустив руки и по-прежнему не глядя на меня. Походив, он зачем-то подошел к мерину, которого лечил, потом снова повернулся и остановился. Я сказал:

— Посох был со мной. Мне кое-как удалось подняться, и я просто принялся размахивать им во все стороны, вслепую, в темноте, пытаясь отогнать их. Я просто хотел их отогнать, и все!

Мне пришлось снова сесть. Пот тек с меня ручьями, и я начал задыхаться, словно опять пробежался вверх по лестницам. Россет остался стоять, глядя на меня сверху вниз.

— Моя мать и мой отец, — сказал он.

Я кивнул, ожидая следующего вопроса — того, который я слышу во сне почти каждую ночь, даже теперь. Но он не мог задать его — он не мог произнести ни слова. Поэтому мне пришлось сказать это все самому, несмотря на то что в груди у меня медленно каменел здоровый кусок цемента.

— Я убил их, — сказал я. — Я этого не хотел. Я не знал.

Во сне он обычно с криком бросается на меня, пытаясь вцепиться мне в горло. Я был готов к этому, как и к тому, что Россет расплачется, но он не сделал ни того, ни другого. Колени у него медленно подогнулись, он рухнул на пол и остался стоять на коленях, плотно обхватив себя за плечи и уронив голову. Я услышал тонкий сухой звук. В той сгоревшей деревне я его не слышал.

— Они, должно быть, решили, что это один из убийц вернулся обратно, — сказал я. — Один из солдат, или из разбойников, кто бы они ни были.

Я рассказал ему, что родителей его я похоронил, что я не оставил их гнить вместе с прочими убитыми и что я могу отвести его в ту деревню и показать могилу, если он захочет. Это правда: я мог бы отыскать это ужасное место, даже если бы по нему прокатились морские волны.

Россет раскачивался вперед-назад, чуть заметно.

— И ты забрал меня с собой, — прошептал он, не поднимая глаз. — Ты похоронил их и забрал меня с собой.

— А что мне оставалось? Слава богам, тебя уже отняли от груди. В ближайшем городке я купил козу. Я макал хлеб в парное молоко, и так и кормил тебя всю дорогу.

Я попытался пошутить, чтобы он перестал раскачиваться.

— Ты был тяжеленный, как небольшая наковальня. На одной руке я нес тебя, другой тащил козу — не представляю, как женщины с этим управляются! Если бы ты весил хоть на одну унцию больше, я бы, наверно, бросил тебя, где нашел.

Ну, тут он вскочил! Весь съежился, дрожит, лицо сморщилось, зубы оскалены. Он вцепился в горло — не мне, а себе.

— Лучше бы ты меня бросил! Лучше бы ты оставил меня там, с ними, и отправлялся своей дорогой, сволочь, и больше никогда о нас не вспоминал! Чтоб твое жирное брюхо сгнило! Лучше бы ты дал мне умереть вместе с моей семьей, с моей семьей!

Он кричал и еще много всякого — все, что накопилось у него за пятнадцать лет. Я не перебивал его, ждал, пока не выдохнется. Один раз он меня ударил, но бить он на самом деле не умеет, а мой жир смягчает удары. Когда он наконец умолк, задыхаясь так же, как я, я сказал:

— Мне жаль, что я убил их, твоих родителей. Я пожалел об этом в тот же миг, как остался один в запертом доме и

вытер кровь со лба. И с тех пор не переставал жалеть об этом. Я ни на мгновение не забываю об этом, во сне и наяву. Я живу с этим куда дольше твоего. Это мое дело, и оно останется при мне до могилы. Но за что я не стану просить прощения ни у тебя, ни у кого другого — так это за то, что я взял тебя с собой. Несомненно, это был самый дурацкий поступок за всю мою жизнь — но, быть может, это был мой единственный добрый поступок. Ну, может, и не единственный — но, возможно, кроме тебя, мне предъявить будет нечего. Когда придет мой час.

Долго ли мы стояли, глядя друг на друга? Не могу сказать. Но мне казалось, что солнце не раз успело встать и сесть у меня за спиной, что лето сменилось зимой, а зима летом, и я действительно видел, как Россет повзрослел у меня на глазах. Хотел бы я знать, ощущал ли он то же, что и я, глядя на меня, видя меня, чувствуя, как уходит его детство? И все, что я сумел сказать после стольких лет, после того, как столько готовился, было:

— Кроме тебя, мне предъявить будет нечего. Могло бы быть и хуже.

Мы еще немного посмотрели друг другу в глаза, и я добавил:

— Гораздо хуже.

Наконец Россет сказал:

— Я не поеду с Лал и Соукьяном.

Его голос звучал спокойно и отчетливо, без слез и без гнева.

— Но я уеду. Не сегодня, но скоро.

— Когда хочешь, — сказал я. — Сам решишь. Ну, а мне пора идти гонять Шадри и орать на Маринешу. Такая у меня должность — всех дел никогда не переделаешь.

Россет непонимающе уставился на меня. Он никогда не понимает, когда я шучу. За все годы так и не научился. Я повернулся и пошел прочь.

Он окликнул меня, когда я был уже на пороге конюшни.

— Карш!

Я вздрогнул, как будто меня не окликнули, а хлопнули по плечу, когда я думал, что рядом никого нет. Я и не помню, когда он в последний раз называл меня по имени. Россет сказал:

— Я помню песню... Кто-то пел мне песню. Про то, как мы поедем в Бирнарик-Бэй и будем целый день играть на берегу... Это все, что я помню. Я хотел бы знать, как ты думаешь... как ты думаешь, это они пели мне ту песню, мои родители?

Хорошо все-таки, что я такой толстый. Жир смягчает не только удары.

— Такие песни поют только родители, — ответил я. — Наверно, это были они.

Я поскорее вышел из конюшни и пошел во двор. Скоро он будет петь «Бирнарик-Бэй» своим собственным соплякам и каждый раз распускать сопли. Ну и хрен с ним. Дурацкая песня, как и все колыбельные, но это единственная колыбельная, какую я знаю. Я пел ее ему всю дорогу, пока шел через эту разбойничью страну, где я его нашел, всю дорогу до дома, до «Серпа и тесака».

ЛАЛ

— Чего? — переспросила я. — Извини, я не расслышала. Что ты собираешься сделать?

— Мне придется вернуться, — повторил Соукьян. — У меня просто нет другого выхода.

Мы были одни в святилище для путников. Соукьян хотел помолиться перед отъездом. Мы собирались уехать завтра. До сих пор он ничего не говорил о своих планах, и я предполагала, что мы тихо-мирно доедем вместе до Аракли, а в Аракли сходится немало дорог. А теперь он говорил, тщательно укладывая зеленоватые кусочки благовония в две жестяные курильницы:

— Я устал жить в бегах, Лал. Да и староват я уже для такой жизни. Я не хочу провести последние годы короткого века, пытаясь уничтожить все новых и новых убийц, которых будут присылать за мной. А для этого мне придется вернуться в то место, откуда их присылают. В то место, откуда вышел я сам.

— Да это же сущее безумие! — воскликнула я. — Ты ведь сам говорил, что они не прощают и не успокоятся, пока ты не будешь мертв. Уж лучше тогда покончи жизнь самоубий-

ством прямо сейчас! Здесь, по крайней мере, тебя похоронят с честью, да и ехать никуда не придется.

Соукьян медленно покачал головой.

— Я не хочу, чтобы они меня простили. Я хочу, чтобы они прекратили меня преследовать.

Он махнул рукой, благословляя курильницы, и поджег благовония.

— Я просто хочу покончить с этим, так или иначе.

— Да уж, это самый верный способ! — сказала я. — Мне ли не знать! Я ведь сражалась с одним из них, если ты помнишь.

Соукьян стоял ко мне спиной, тихо говоря что-то в тонкие струйки дыма, слабо пахнущего болотной водой. Я разозлилась:

— Значит, ты собрался драться с ними со всеми, чтобы покончить с этим раз и навсегда? Героическая смерть, ничего не скажешь. Знала бы я — своими руками тебя тогда утопила бы!

Тут Соукьян рассмеялся. Смеется он всегда как бы про себя, даже когда смеется не один — будто что-то скрывает.

— Лал, разве я говорил, что собираюсь с ними драться? В самом деле? А я-то думал, ты меня неплохо знаешь!

Он повернулся ко мне лицом.

— У меня есть план, Лал. У меня там даже найдется пара союзников и еще кое-какие старые связи. Я заключу сделку. Поверь, это не более опасно для меня, чем ходить с тобой под парусом.

Он положил руки мне на плечи и тихо добавил:

— Хотя так счастлив, как с тобой, я там не буду. Быть может, так счастлив я не буду никогда.

— Глупости! — ответила я. — Терпеть не могу глупостей!

Я говорила совсем как Карш. Никогда еще я так не злилась на Соукьяна, даже тогда, когда обнаружила его обман. Быть может, я злилась еще сильнее оттого, что злиться-то было не на что.

— Ну, что еще за план? — спросила я. — Расскажи мне свой замечательный план!

Соукьян снова покачал головой.

— Может быть, потом. Это слишком длинная история.

— Истории слишком длинными не бывают, — возразила

я. Внезапно я почувствовала себя ужасно усталой. Я поняла, что мне совсем не хочется новых приключений, не хочется снова куда-то ехать... Я отвела руки Соукьяна и принялась расхаживать по маленькой комнатке без окон. Все святилища для путников примерно одинаковы, по крайней мере, в этой половине мира: белые стены, всегда свежевыкрашенные — так велит закон, и, видимо, даже Карш им не пренебрегает, — сундуки, в которых хранятся ритуальные одеяния, свечи и статуэтки богов, которым поклоняются последователи десятка наиболее распространенных религий. Основные религии бывают разные, в зависимости от местности, но той, в которой воспитана я, нет нигде. Обычно меня это не волнует, но не в тот день.

Соукьян сказал мне в спину:

— Лал, ты тут ни при чем. Это моя жизнь, мое прошлое, моя собственная маленькая судьба. Мне надоело ждать, когда она в очередной раз загонит меня в угол. Я решил для разнообразия отправиться ей навстречу. И встретиться с ней не в бане и не на речном берегу, а там и тогда, где я сам пожелаю. Так что больше говорить не о чем.

Не о чем так не о чем. Он принялся окуривать благовониями свой лук, меч и кинжал, бормоча что-то себе под нос. Дело это долгое и нудное, а потому я вышла и уселась в сухую траву, сердито грызя стебельки и глядя, как стайка туриков гонит снежного ястреба, который подобрался чересчур близко к их гнездам. Потом вернулась в святилище, хотя возвращаться после того, как вышла на середине церемонии, не полагается. Соукьян стоял на коленях, опустив голову, сложив оружие перед собой. Я сказала:

— Зимой через Пустоши не пройти.

— Я знаю, — ответил он, не поднимая головы. — Поеду на побережье и отправлюсь на юг через Лейшай. Эта дорога длиннее, но безопаснее — по крайней мере, поначалу.

Когда последний комочек благовония догорел, он неуклюже поднялся на ноги — тело затекло — и в последний раз отвесил поклон в никуда. Потом спросил:

— А ты?

Я пожала плечами.

— В Аракли, пожалуй. Мне уже случалось проводить там зиму.

Болотный запах благовоний все еще щекотал мне ноздри. Он был полон чужих воспоминаний, и это меня раздражало.

— А потом? — спросил Соукьян. Я не ответила.

— Слушай, — сказал он, — я ведь рассказал тебе, куда еду. Мне будет куда спокойнее, если я буду знать, где ты.

— Я — Лал, — ответила я. — Я там, где я есть.

Соукьян еще несколько мгновений смотрел на меня, потом кивнул и зашагал к двери святилища. Когда он открыл ее, мы оба услышали неподалеку смех Лукассы. Мы и не думали, что когда-нибудь услышим, как она смеется вот так, беззаботно. Ее смех пронесся мимо, как ветер в траве. Соукьян придержал дверь, но я сказала:

— Я еще немного побуду тут.

И отвернулась к белым сундукам, где хранились чужие боги.

РОССЕТ

Я доехал с ними до того поворота, где впервые их встретил — до пчелиного дерева Маринеши. На этот раз я ехал не позади Лал, а на старом белом Тунзи, который явно гордился, что принимает участие в такой важной процессии. Впереди, на высоком гнедом жеребце, ехал волшебник. Жеребец этот просто взял и появился в конюшне вчера вечером. Прихожу, а он стоит и преспокойно жует овес и ячмень вместе с лошадьми постояльцев, как будто имеет полное право тут находиться. Тикат и Лукасса ехали рядом с волшебником на низкорослых милдасийских лошадках с козьими глазами, а я ехал позади, между Лал и Соукьяном. Я всегда буду помнить, как это было, потому что больше я ни с кем из них не встречался.

Рассвет был прохладный и ветреный. Ветер гнал вдоль дороги сотни опавших листьев. Листва в этом году опадала слишком рано: осень наступила сразу же, как кончилось это ужасное лето, устроенное волшебниками. Осень косила сухие стебли в полях и стряхивала с деревьев жухлые бурые плоды, которых даже птицы не клевали. Осень навевала на меня тоску, потому что мне казалось, будто и вся моя жизнь лишается дружбы, веселья и мечты, как деревья лишаются

листьев. Как видно, Соукьян прочел это у меня на лице, потому что он наклонился с седла и положил руку мне на затылок, как делал раньше. Как только трактир скрылся из виду, личина Соукьяна растаяла, словно туман под лучами утреннего солнца. Его каштановые с проседью волосы отросли, грубая монастырская стрижка сделалась почти незаметна, но сумеречные глаза и нечаянно-нежные губы остались прежними, как у Ньятенери.

— Природа любит все расчистить и начать сначала, — сказал он. — Попомни мои слова, на будущий год весна будет такой дружной, какой здесь много лет не видывали. И не скажешь, что тут вели войну двое магов.

— Не скажу, — ответил я, — потому что к будущей весне меня здесь не будет.

Лал обняла меня за плечи, и я еще раз вдохнул ее запах: запах далеких дорог и чужих, теплых звезд. Она сказала:

— Как много хорошего погорело, не успев созреть! Смотри, чтобы с тобой такого не случилось.

Ее рука коснулась руки Соукьяна, и Лал поспешно ее отдернула, погладив меня по голове, чтобы скрыть это. Она завела одну из своих бесконечных полупесен, полурассказов. Я жадно вбирал эту песню, как и тяжкий вздох Соукьяна, как и скромную, почти неприметную заботу Тиката о старике и Лукассе. Мне захотелось подъехать к нему и попрощаться как следует — мы ведь были друзьями. Но он уже ушел из моего мира, так же окончательно и бесповоротно, как волшебник Аршадин.

Да, никогда еще дорога до дерева и ручейка у поворота не была такой короткой, как в тот день. И я не мог ни сделать, ни сказать, ни придумать ничего, от чего бы она стала хоть чуточку длиннее. Мне оставалось лишь постараться запомнить все: летящие по ветру листья, метнувшегося в сторону от дороги шукри, который присел на задние лапки и принялся плеваться в нашу сторону, внезапные потоки холодного воздуха с гор, шесть цветных ленточек в бороде старого волшебника. Лал напевала, конец головного платка Лукассы трепетал на ветру, Тунзи непрестанно пускал ветры, что меня ужасно смущало. Я все это помню и до сих пор вспоминаю это перед тем, как заснуть.

Этого не видно, пока не минуешь поворот, но сразу за

поворотом дорога разделяется на две: одна идет вдоль гор на Аракли, а вторая поворачивает на восток, к большой дороге, которая ведет в Дерридоу, в Лейшай и дальше к морю. У пчелиного дерева волшебник натянул повод и развернул коня так, чтобы оказаться к нам лицом. Он по-прежнему оставался довольно хрупким, на мой взгляд, — Соукьян говорил, что он вряд ли когда-нибудь обретет прежнюю силу, — но в седле держался прямо, не хуже Тиката, и его зеленые глаза были такими нетерпеливыми, точно все, ожидающее его впереди, будь то доброе или дурное, должно случиться в первый раз. Я знаю, так себя полагается чувствовать людям в моем возрасте — но мне так не казалось, по крайней мере, в то утро. У меня было такое чувство, что все кончено.

— Тут мы расстанемся, — объявил волшебник. — Больше мы никогда не встретимся.

Он как-то ухитрился сказать это так, что это прозвучало радостно — я бы даже сказал, вселяло надежду. Но объяснить, как это у него получилось, я бы теперь не смог.

— Мы вместе с Тикатом и Лукассой отправимся на запад, — продолжал он. — У меня вроде бы был дом — то ли в Форс-на'Шачиме, а может, и в Каракоске. Дома волшебников обычно путешествуют не меньше самих волшебников. Но я уверен, что рано или поздно мы с ним повстречаемся, и он меня узнает, даже если окажется, что я его забыл.

Он обернулся к Лал и Соукьяну.

— Ну, а вы двое, кому столь многим обязан глупый, тщеславный старикашка, которого вы давно переросли? Где мне искать вас после нынешнего дня, если вдруг захочется подумать о вас?

Лал ничего не ответила. Соукьян сказал:

— Мне надо съездить на юг. Путешествие будет тяжелое, и твои мысли мне очень пригодятся. Они будут мне нужны так же сильно, как всегда.

— Чушь! — ответил волшебник, но все равно видно было, что он доволен. — Ладно. Но с твоей стороны было бы разумно вести себя хорошо, проехав Битаву, держаться подальше от Королевского тракта и забыть о потайной лестнице. После тебя ее стерегут — они не собираются повторять ту же ошибку дважды.

Соукьян кивнул. Волшебник чуть заметно махнул рукой — то ли благословил, то ли так просто. И обратился к Лал:

— Ну, а ты, чамата?

Когда Лал заговорила, то обращалась не к нему, а к Соукьяну, и так тихо, что казалось, будто она говорит сама с собой:

— Если ты едешь на Лейшай, пожалуй, я провожу тебя дотуда. Давненько я не бывала на кораблях — неудивительно, что я так плохо соображаю. Мне надо оказаться на палубе.

Соукьян накрыл ладонью ее руки. И сказал:

— Я посажу тебя на корабль.

Он открыл было рот, чтобы сказать еще что-то, но тут из его сумки показался черный нос и блестящие глаза лиса, совсем как в тот весенний день.

— А-а, — сказал ему Соукьян, — ты все же выбрал Лукассу! Я так и думал.

А Лукассе он сказал:

— Он не мой, и я не могу оставить его себе или подарить — он всегда идет туда, куда хочет.

Провел рукой по шее лиса и сказал в острое ухо:

— Ну что ж, ступай, старый товарищ.

Но Лукасса рассмеялась, покачала головой, подъехала поближе и заглянула в глаза лису.

— Что, неужели ты поедешь со мной и с волшебником? Да нет, вряд ли. Кто угодно, только не ты.

Она взяла в ладони острую мордочку, наклонилась и прошептала что-то, чего я не расслышал. Потом быстро чмокнула лиса пониже маски. Лис негодующе тявкнул и нырнул в сумку.

— Он просто хотел попрощаться, — тихо сказала Лукасса.

Тут все вокруг меня начинают прощаться, как-то слишком быстро и скомканно. Тикат пожимает мне руку, внезапно смущается, бормочет что-то про младшего братика, который умер во время морового поветрия. Лукасса целует меня в нос, как лиса, с той же милой неуклюжестью, и что она помнит, а чего не помнит, я никогда не узнаю. Лал целует меня совсем иначе и говорит:

— Где бы ты ни был, что бы с тобой ни случилось, помни: есть на свете человек, который тебя любит.

Соукьян снимает с себя серебряный медальон — вот этот, видите? — и вешает его мне на шею.

— Стоит он недорого, и никакой магической силы в нем

нет, но за него ты сможешь купить себе хотя бы ужин — или приобрести друга, если найдется человек, который его признает.

С одной стороны на медальоне восьмиугольный рисунок, а с другой — выпуклая надпись, которую я не могу прочитать.

— Но мне же нечего тебе подарить! — возражаю я. Соукьян улыбается и что-то достает из кошелька, висящего на поясе. Я не сразу понимаю, что это, но потом узнаю рваную тряпку, покрытую ржаво-бурыми пятнами.

— Как ты думаешь, — мягко говорит Соукьян, — многим ли людям случалось пролить кровь ради меня? Я этим дорожу не меньше, чем всем остальным, что у меня есть.

И тоже целует меня, так что я получил по поцелую от всех троих.

Что до волшебника, то он рассеянно говорит:

— Передай Маринеше, что ее доброта не забыта. Прощайте, прощайте.

Он явно торопился ехать дальше и уже развернул коня, когда Лукасса вспомнила, что собиралась вернуть Лал кольцо с изумрудом. Лал поколебалась, глядя на кольцо с какой-то непонятной тоской, потом протянула его волшебнику. Тот небрежно запихал кольцо в карман и ткнул коня каблуками. Жеребец тут же рванулся вперед, и Тикат с Лукассой поскакали следом, не оглядываясь. Но на повороте старик повернулся в седле и громко крикнул мне:

— Тебя зовут Ванд! Не забывай нас, Ванд!

И мы остались втроем — Лал, Соукьян, и я, и еще мое истинное имя.

— Хорошо хоть, вовремя вспомнил, — сказал Соукьян. — Совсем память потерял.

— Да он вечно так, — возразила Лал. — Наверно, так навсегда и останется бродячим фигляром.

Говорить было уже совсем не о чем, и потому они в последний раз сказали мне «до свидания» и поехали прочь, как всегда, споря друг с другом. Перед тем как скрыться из виду, они оба обернулись, но было уже слишком далеко, чтобы разглядеть их как следует.

Тунзи совсем не хотелось возвращаться в трактир. Он заржал и рванулся подо мной, пытаясь последовать за осталь-

ными. Когда я натянул повод, чтобы развернуть его, он неуклюже загарцевал на дороге, один раз даже на дыбы встал, так что под конец вымотал нас обоих. Но все равно домой он повернул неохотно и тащился еле-еле — с тем же успехом можно было спешиться и вести его под уздцы. Но я расплакался и долго не мог успокоиться, так что оно и к лучшему, что мы ехали так медленно.

Карш встретил меня на перекрестке. Это удивило меня не меньше, чем мятеж Тунзи. Когда я его увидел, он шел медленно, но голос его звучал так, как будто он незадолго перед тем бежал бегом.

— Я подумал, что ты мог все-таки уехать с ними. Передумать в последнюю минуту...

— Когда соберусь уезжать, я тебе скажу, — ответил я. Карш кивнул и взял Тунзи под уздцы, но конь захрапел и рванулся, все еще пытаясь повернуть обратно. Я сказал:

— А вот он хотел ехать с ними, очень хотел. Никогда в жизни не видел, чтобы он так артачился.

— Что ж, — сказал Карш. Он тяжело пожал плечами и повел Тунзи по дороге к «Серпу и тесаку». — Даже у старых толстых меринов бывают свои мечты. Иногда самые удивительные.

Через некоторое время я спешился, потому что мне было как-то странно ехать, когда Карш идет пешком. Мы молчали, пока не подошли к трактиру так близко, что стало слышно, как орут петухи, как скрипит колодезный насос и как Гатти-Джинни жалуется небесам на какую-то несправедливость. Тут я сказал:

— Мое истинное имя Ванд.

Карш пару раз повторил его, без особого выражения.

— Но ты, если хочешь, можешь по-прежнему звать меня Россетом, пока я не уехал, — сказал я. — В конце концов, какая разница?

Карш покачал головой.

— Да нет, разница есть, — проворчал он. — Ванд... Раз тебя так зовут, значит, так и будем звать. Ванд.

Тунзи почуял завтрак и прибавил шагу.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОСЛЕДНИЙ ЕДИНОРОГ. Роман.
Перевод Ю. Соколова 5

СОНАТА ЕДИНОРОГА. Роман.
Перевод О. Степашкиной 181

НАГИНЯ. Рассказ.
Перевод Ю. Соколова 313

ПЕСНЯ ТРАКТИРЩИКА. Роман.
Перевод А. Хромовой 327

Литературно-художественное издание

Питер Бигл

ПОСЛЕДНИЙ ЕДИНОРОГ

Ответственный редактор *Д. Малкин*
Редактор *Л. Корзун*
Художественный редактор *А. Сауков*
Технический редактор *Н. Носова*
Компьютерная верстка *Е. Попова*
Корректор *Н. Цыркова*

В оформлении переплета использована иллюстрация художника *Таргеле*

ООО «Издательство «Эксмо».
107078, Москва, Орликов пер., д. 6.
Интернет/Home page — www.eksmo.ru
Электронная почта (E-mail) — info@ eksmo.ru

По вопросам размещения рекламы в книгах издательства «Эксмо» обращаться в рекламное агентство «Эксмо». Тел. 234-38-00

Книга — почтой: Книжный клуб «Эксмо»
101000, Москва, а/я 333. E-mail: bookclub@ eksmo.ru

Оптовая торговля:
109472, Москва, ул. Академика Скрябина, д. 21, этаж 2
Тел./факс: (095) 378-84-74, 378-82-61, 745-89-16
Многоканальный тел. 411-50-74. E-mail: reception@eksmo-sale.ru

Мелкооптовая торговля:
117192, Москва, Мичуринский пр-т, д. 12/1. Тел./факс: (095) 932-74-71

ООО «Медиа группа «ЛОГОС».
103051, Москва, Цветной бульвар, 30, стр. 2
Единая справочная служба: (095) 974-21-31. E-mail: mgl@logosgroup.ru

ООО «КИФ «ДАКС». 140005, М. О., г. Люберцы, ул. Красноармейская, д. 3а.
Тел. 503-81-63, 796-06-24. E-mail: kif_daks@mtu-net.ru

Книжные магазины издательства «Эксмо»:
Москва, ул. Маршала Бирюзова, 17 (рядом с м. «Октябрьское Поле»). Тел. 194-97-86.
Москва, Пролетарский пр-т, 20 (м. «Кантемировская»). Тел. 325-47-29.
Москва, Комсомольский пр-т, 28 (в здании МДМ, м. «Фрунзенская»). Тел. 782-88-26.
Москва, ул. Сходненская, д. 52 (м. «Сходненская»). Тел. 492-97-85
Москва, ул. Митинская, д. 48 (м. «Тушинская»). Тел. 751-70-54.

Северо-Западная Компания представляет весь ассортимент книг издательства «Эксмо».
Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, д. 84Е
Тел. отдела рекламы (812) 265-44-80/81/82/83.

Сеть магазинов «Книжный Клуб СНАРК» представляет самый широкий ассортимент книг издательства «Эксмо».
Информация о магазинах и книгах в Санкт-Петербурге по тел. 050.

Вы получите настоящее удовольствие, покупая книги в магазинах ООО «Топ-книга»
Тел./факс в Новосибирске: (3832) 36-10-26. E-mail: office@top-knlga.ru

Всегда в ассортименте новинки издательства «Эксмо»:
ТД «Библио-Глобус», ТД «Москва», ТД «Молодая гвардия»,
«Московский дом книги», «Дом книги в Медведково», «Дом книги на ВДНХ».
Книги издательства «Эксмо» в Европе: www.atlant-shop.com

Подписано в печать с готовых диапозитивов 16.12.2002.
Формат 84 × 108 $^{1}/_{32}$. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная.
Бум. писч. Усл. печ. л. 33,6. Уч.-изд. л. 34,4.
Тираж 10 100 экз. Заказ 7877

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленных диапозитивов
в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.

Любите читать?
Нет времени ходить по магазинам?
Хотите регулярно пополнять домашнюю библиотеку и при этом экономить деньги?

Тогда каталоги Книжного клуба "ЭКСМО" – то, что вам нужно!

Раз в квартал вы БЕСПЛАТНО получаете каталог с более чем 200 новинками нашего издательства!

Вы найдете в нем книги для детей и взрослых: классику, поэзию, детективы, фантастику, сентиментальные романы, сказки, страшилки, обучающую литературу, книги по психологии, оздоровлению, домоводству, кулинарии и многое другое!

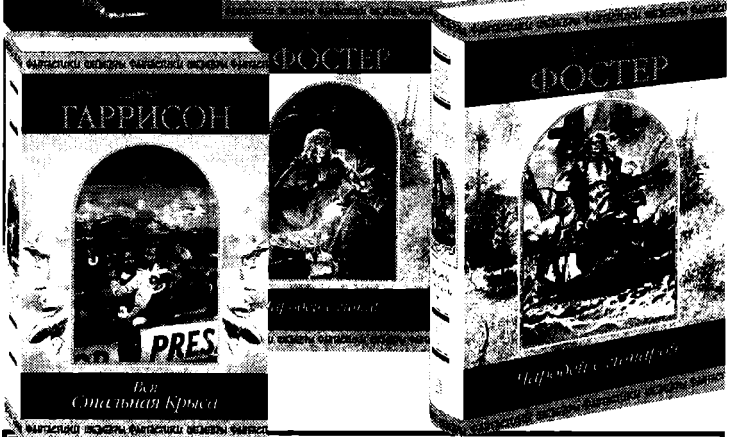
Чтобы получить каталог, достаточно прислать нам письмо-заявку по адресу: **101000, Москва, а/я 333.**
Телефон "горячей линии" **(095) 232-0018**
Адрес в Интернете: **http://www.eksmo.ru**
E-mail: **bookclub@eksmo.ru**

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЭКСМО ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Серию

"ШЕДЕВРЫ ФАНТАСТИКИ"

В серию вошли проверенные временем шедевры золотого фонда фантастики, признанные классикой жанра. Читателей ждет встреча с супермастерами!



БЕСТСЕЛЛЕРЫ ЛЕТА – 2002:

А. Азимов «Сны роботов»
А. Д. Фостер «Чародей с гитарой» (в 2 тт.)
Р. Шекли «Паломничество на Землю»

Все книги объемом 400-500 стр., твердый, целлофанированный переплет, шитый блок.

Книги можно заказать по почте:
101000, Москва, а/я 333, Книжный клуб «ЭКСМО»
Наш адрес в Интернете: http://www.bookclub.ru

Издательство Эксмо представляет

Серию «История будущего»

Собрание лучших произведений фантаста №1!

Спрашивайте в магазинах

Р. Хайнлайн «Восстание 2100 года. Дети Мафусаила. Модкейн с Марса»

Р. Хайнлайн «Луна – суровая хозяйка»

Р. Хайнлайн «Человек, который продал Луну. Зеленые холмы Земли»

Все книги объемом 400-500 стр., твердый, целлофанированный переплет, шитый блок.

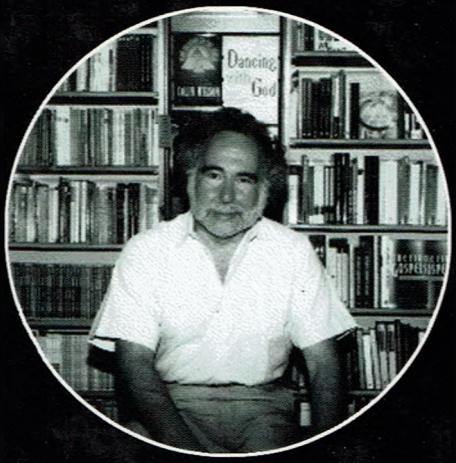
Книги можно заказать по почте:

101000, Москва, а/я 333, Книжный клуб «ЭКСМО»

Наш адрес в Интернете: http://www.bookclub.ru

Питер

БИГЛ



Peter S. Beagle